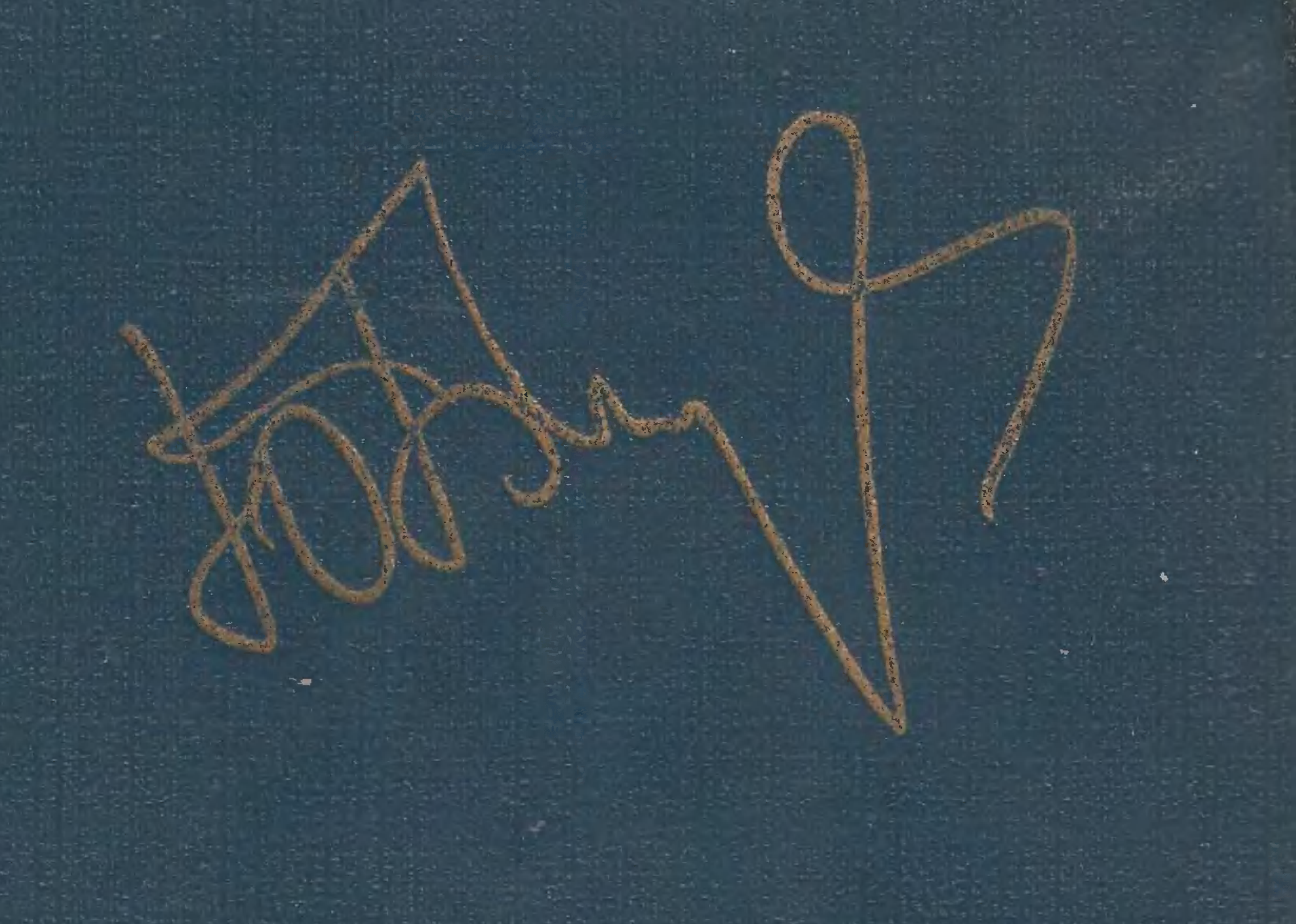


ТИШИНА. ВЫБОР

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

ТИШИНА. ВЫБОР

РОМАНЫ

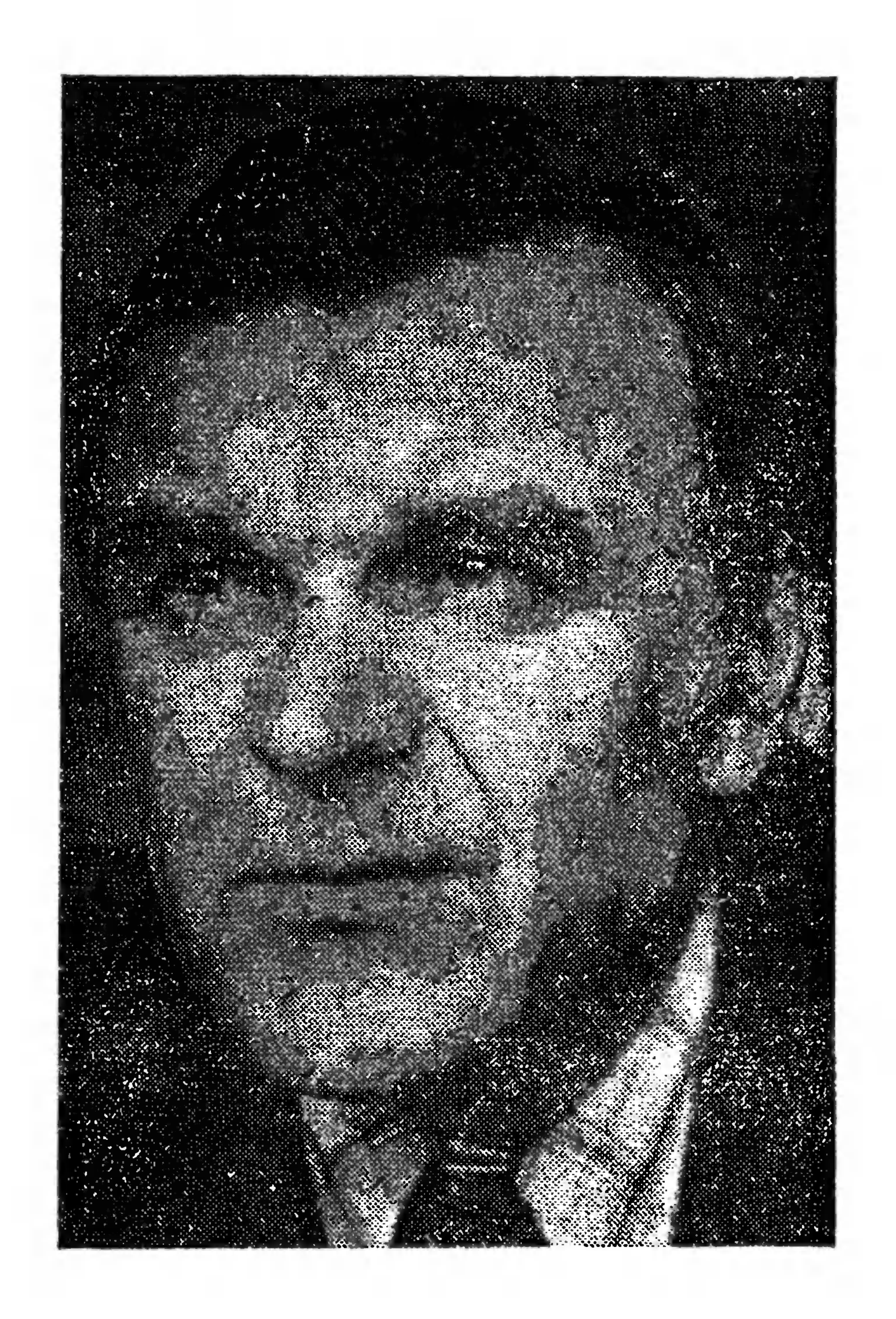
«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА • 1983

ББК84Р7
Б81

Художник А. УСТИНОВИЧ

Б $\frac{4702010200-023}{074(02)-83}$ 634—83 подписное



ТИШИНА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1945

ГЛАВА ПЕРВАЯ

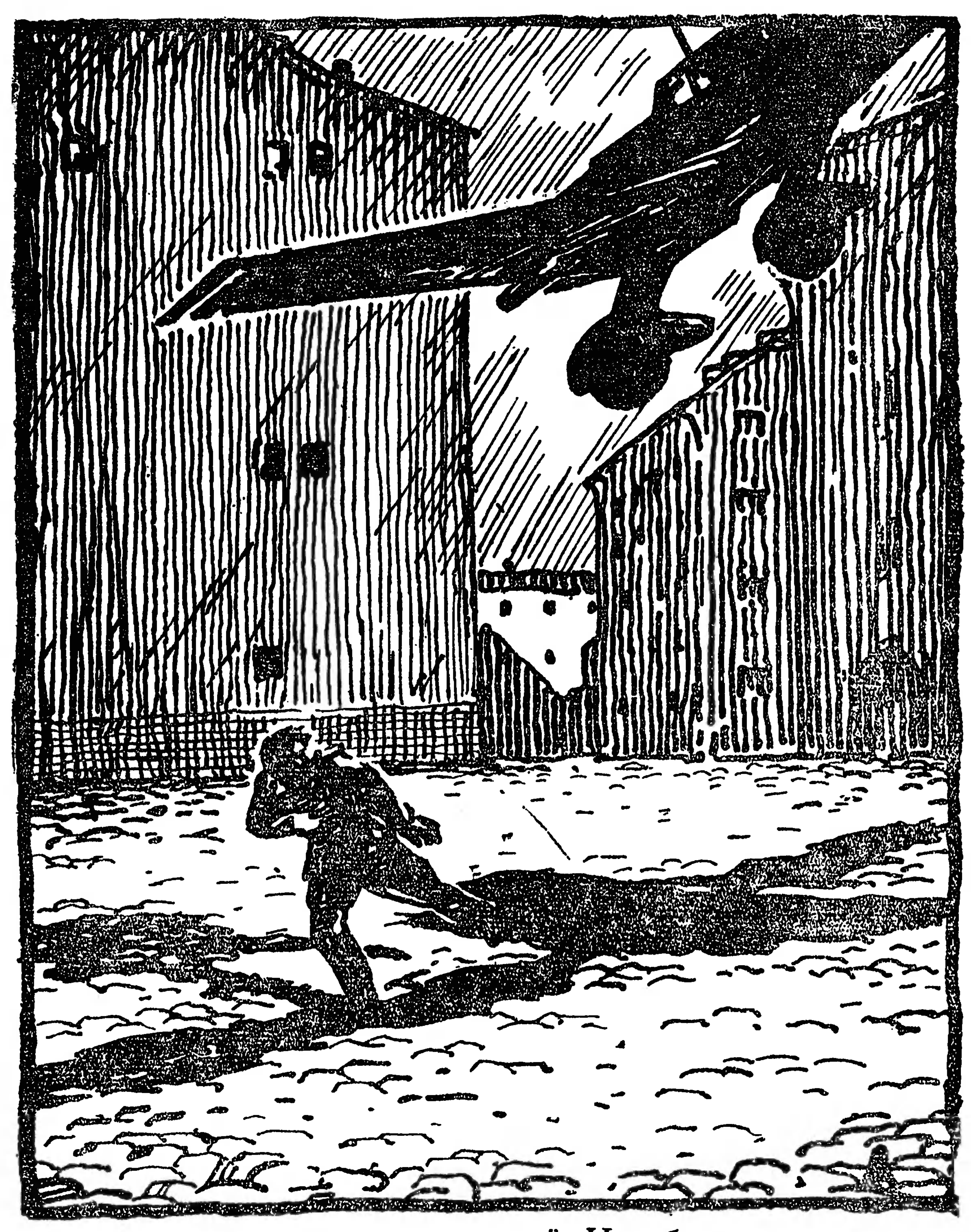
...Выбиваясь из сил, он бежал посреди лунной мостовой, мимо зияющих подъездов, разбитых фонарей, поваленных заборов. Он видел: черные, лохматые, как пауки, самолеты с хищно вытянутыми лапами беззвучно кружили над ним, широкими тенями проплывали меж заводских труб, снижаясь над ущельем улицы. Он ясно видел, что это были не самолеты, а угрюмые гигантские пауки, но в то же время это были самолеты, и они сверху выследили его, одного среди развалин погибшего города.

Он бежал к окраине, там, на высоте — хорошо помнил,— стояла единственная неразбитая пушка его батареи, а солдат в живых уже не было никого.

Задыхаясь, он выбежал на каменную площадь, и вдруг впереди, в освещенном луной пролете улицы, возникли новые самолеты. Они вывернулись из-за угла, неслись навстречу ему в двух метрах над булыжником мостовой.

Это были черные кресты с воронеными пулеметами на плоскостях.

Он ворвался в подъезд какого-то дома — все пусто, темно, вымерло. Все квартиры на этажах закрыты. Лиф-



товая решетка затянута паутиной. Не оборачиваясь, спиной ощутил ледяной сквозняк распахнувшейся двери и понял: позади — смерть.

Хватая кобуру на бедре непослушными пальцами, с тщетной попыткой дотянуться к ТТ, он, мертвея от своего бессилия, обернулся. В проеме парадного горбато стоял плоский крест самолета, щупающими человеческими зрачками глядел на него, и этот крест из досок должен был сделать с ним что-то ужасное. Тогда, всем телом прижимаясь к стене, напрягаясь в последнем уси-

лии, он ватной рукой охватил ускользающую рукоятку пистолета, лихорадочно торопясь, поднял онемелую руку и выстрелил. Но выстрела не было...

— А-а!.. Где патроны?..

Сергей закричал и, сквозь сон услышав задушенный, рвущийся крик, вскочил на диване, сел на смятой простыне, потный, с изумлением озираясь: где он находится?

— Черт! — сказал он и облегченно, хрипло рассмеялся.— Вот черт возьми!..

И сразу почувствовал сухую теплоту комнаты.

Было морозное декабрьское утро. На полу, на занавесках, на диване — везде солнечный снежный свет, везде блеск ясного белого утра. Толсто заиндевевшие, ослепляли белизной окна с узорчатой чеканкой пальм по стеклу; на столе мирно сиял бок электрического чайника. И в комнате пахло дымком, свежим горьковатым запахом березовых поленьев.

Жарко и ровно гудело пламя в голландке. Старая Мурка лежала возле печи в коробке из-под торта, купленного Сергеем в день приезда в коммерческом магазине; кошка, жмурясь, старательно облизывала беспомощно пищащие серые тельца котят, тыкавшихся слепыми мордочками ей в живот.

Сергей увидел и солнечный свет, и Мурку, и новорожденных котят и с радостным приливом свободы улыбнулся оттого, что он в это декабрьское утро проснулся у себя дома, в Москве, что только что ощущаемая им опасность была сном, а действительность — это уютное солнце, мороз, запах потрескивающих в голландке поленьев.

В квартире тихо по-утреннему. Он, испытывая наслаждение, услышал в коридоре серебристый голосок сестры; затем мерзло хлопнула наружная дверь, проскрипел снег на крыльце.

— Сережка, спишь? Газеты!

Вошла Ася, худенький подросток в стареньком отцовском джемпере, посмотрела живо и чуть заспанно на Сергея, весело заулыбалась, кинула газету ему на грудь.

— Проснулись, ваше благородие? Лучше вот... почитай. Наверно, от жизни совсем отстал?

Сергей потянулся на постели в благостном оцепенении покоя, развернул газету, свежую, холодную с улицы — она пахла краской, инеем,— и тотчас отложил: читать не хотелось. Он лежал и курил. И так лежа, с

особым удовольствием видел, как Ася, присев перед печью, раскрыла дверцу, обожгла пальцы, смешно поморщилась, лицо было розовым от огня. Потом подула на пальцы и засмеялась, косясь на Мурку, лениво и безостановочно лижущую своих котят.

— Знаешь, я стала затапливать печку, наложила дров, зажгла, вдруг — раз! — кто-то как метнется из печки, только дрова полетели! Смотрю — Мурка, глаза дикие, в зубах котенок пищит. Оказывается, она хотела детенышей в печь перенести, устроить их потеплее. Вот дура-дура! Дурища, а не мамаша!

Ася со смехом погладила утомленно мурлыкающую кошку, одним пальцем нежно провела по головам ее мокрых, жалко некрасивых котят.

— Не такая уж она дура,— улыбнулся Сергей.— По крайней мере, шла на риск.

«Ведь все это мне тоже снилось,— подумал Сергей,— и морозное утро, и кошка с котятами, и печь, и Ася...»

Он сказал:

— Ася, брось папироску в печку. Я встаю.

— Интересно, это приятно? — Ася взяла папиросу, покраснев, поднесла к губам, вобрала дым и закашлялась.— Ужасно! Как ты куришь?

— Ты это зачем?

— У нас в школе некоторые девчонки пробуют. Ты знаешь, я два раза вино пила.

— Это такие соплячки, как ты? Бить вас некому. Марш в другую комнату! Я оденусь.

— Подумаешь! — Ася дернула плечами, вышла в другую комнату, оттуда сказала обиженным голосом: — Ты грубый. В тебе осталось благородного только твои ордена и довоенная фотокарточка.

— Ладно, Аська,— миролюбиво сказал Сергей и потянул со стула обмундирование.

В этот час утра кухня, залитая морозным светом, была пустынной. Солнце ярко сияло и на цементном полу в ванной, колючие веселые лучики играли, искрились на инее окна, на пожелтевшем глянце раковины. Старое, еще довоенное зеркало над ней отражало потрескавшуюся стену, облупленную штукатурку этой старой маленькой комнаты, в которой летом всегда было прохладно, зимой — тепло.

Он мечтал об этой ванной в те дни, когда думать о доме было невозможным.

Сергей брился, радуясь переливу солнца на пузырях в мыльнице, легкой пене мыла, щекочущей подбородок, мягкой и острой безопасной бритве. Впервые за этот месяц он ощущал, что обыкновенный процесс бритья — разведение душистой пены, намыливание горячей пеной щек, прикосновение лезвия к распаренной коже лица, которая становится чистой, молодой,— приносит несказанное удовольствие.

После бритья он по обыкновению вставал под душ в ванной, ровный шум прохладной воды, теплые иголочки по всему телу, махровое полотенце — и Сергей чувствовал себя в отличном настроении, когда казалось, что все прекрасное в жизни он бесповоротно и счастливо понял и оно никогда не должно исчезнуть.

Он знал, что это ощущение до сумерек.

Вечером или особенно декабрьскими мглистыми сумерками, когда фонари горели в туманных кольцах, это чувство полноты жизни исчезало, и боль, странная, почти физическая боль и тоска охватывали Сергея. В доме и во дворе, где он вырос, его окружала пустота погибших и пропавших без вести: из всех довоенных друзей в живых остались двое.

Когда он уже стоял под душем, оживленно растираясь под колючими струями, послышались быстрые шаги из коридора, стукнула дверь на кухне, потом возле ванной раздался голосок Аси:

— Сережка, к тебе Константин. Что ему сказать?

— Пусть подождет. Без штанов я к нему не выйду.

— Фу, какой грубиян! — сказала Ася за дверью.

Минут через пять он вышел, надевая на ходу китель,— мокрые волосы были зачесаны назад,— спокойно, насмешливо и твердо поглядел на сестру. И Ася, будто не узнавая, с удивлением и восторгом провела мизинцем по длинному ряду зазвеневших орденов, по кружочкам медалей, спросила то, что спрашивала уже не раз:

— Сережка, за что ты получил все это?

— За грубость.

— Пожалуйста, ты не городи, а скажи серьезно. Опять какую-то чепуху отвечаешь!

— За грубость, честное слово, Аська.

Он вошел в комнату, чувствуя, как после душа горячо звенит все тело, сел к столу, не здороваясь, сказал шутливо:

— Давай, Костька, завтракать. Вот этот омлет из яичного порошка жарила моя сестра. Проникся, какие у нас сестры? Ася, раздели нам это пополам.

Константин, высокий, худощавый, с узким лицом, с темными усиками, докуривая сигарету, сидел на маленькой скамеечке подле печки, брезгливо и заинтересованно разглядывал тоненько пищащих котят. С хрипотцой в голосе он говорил сквозь затяжку сигаретой:

— Красивое создание кошка, а? Что-то есть от женщины. Или, наоборот, в женщине — от кошки.— Он покосился на Асю.— Ася, вы меня не слушайте, я по утрам болтаю чушь, когда не высплюсь. А, черт, трещит башка после вчерашнего!

— Не потрясай болезнями,— сказал Сергей.

— Оставьте в покое котят! — сердито проговорила Ася.— Я просто не знаю, чем я буду теперь кормить их — молока нет, ничего нет...

— Ася, у меня остаются иногда талоны на хлеб. Будете менять на какой-нибудь кошачий продукт.

— Вы просто богач.

— Иногда.— Константин по-военному одернул кремового цвета пиджак с щегольским разрезом сзади, потер двумя руками голову, коротко засмеялся, показывая из-под усиков великолепные белые зубы. Вышел в коридор и тотчас вернулся, подбросил на ладони бутылку, всю залепленную цветной этикеткой.

— Под твой омлет с салом или наоборот — ямайский ром!

Вынул из кармана немецкий ножичек, отделанный перламутром, ногтем подцепил штопор. Не спеша вытащил пробку, разлил по стаканам, приготовленным для чая, подмигнул Асе.

— Вам бы рюмочку, а? — И тут же продекламировал: — О донна Ася, донна Ася, как я люблю твои глаза, когда глаза твои большие ты подымаешь на меня.

— Пошлость! — заявила Ася.— И никакой рифмы!

— Нет, за твои параллели я тебе сегодня накостыляю по шее,— сказал Сергей прежним тоном и посмотрел стакан на свет.— Неужели ты, Костька, обыкновенную родную водку можешь променять на какой-то паршивый ром?

— После войны решил попробовать все вина мира — своего рода идея фикс!

— Аська, ты слышала? — спросил Сергей.— Он тебя не поражает идеями?

— Давайте рюмку, Асенька,— сощурясь, предложил Константин.— Вы единственная женщина среди нас. Правда ведь?

Немного подумав, Ася достала из буфета рюмку, поставила ее на стол, сказала с виноватым выражением:

— Немножечко... капельку...— И взглянула на удивленного Сергея протестующе.— Не воспитывай меня, пожалуйста!

— Видишь? — Константин поощрительно и щедро налил Асе полную рюмку.— Какого лешего лезешь в личную жизнь сестры?

Сергей молча вылил из ее рюмки себе в стакан, взял бутылку из рук Константина, накапал в рюмку несколько капель, точно лекарство, сказал тоном, не терпящим возражений:

— Одному из вас я в самом деле нахлопаю по шее, другую, соплячку, выставлю за дверь!

— Где нет доказательств — там сила! — Константин захохотал, чокнулся с рюмкой Аси, выпил, крякнул ожесточенно. Опять подмигнул сердито нахмурившейся Асе, поймал вилкой ускользающий на сковородке кусочек сала, зажевал с аппетитом.

— Аська, выйди,— приказал Сергей.— У нас мужской разговор.

— Нет, Сергей, ты... невозможный! — Ася, краснея, швырнула полотенце на стул.— Просто ужасный грубиян!

— Так ты можешь продать часы? — спросил Сергей после того, как она вышла.

— Подожди,— сказал Константин.— Твои часы? Какая марка?

Сергей снял часы — черный с фосфорической синевой циферблат, тоненькая, как волосок, пульсирующая секундная стрелка — отличные швейцарские часы, которые носили немецкие офицеры, положил их на скатерть.

— Трофейные. Взял в Праге. Лежали в ящиках. В немецкой комендатуре.

Константин взвесил часы на ладони.

— На фронте я никогда не брал часы. Часы напоминают человеку, что он смертен. Полторы косых дадут за эти часы. Повезет — две. Постараюсь.

Сергей разлил ром в стаканы, поинтересовался:

— Что это за «полторы косых»?

— Полторы тысячи рублей. О наивняк! Привыкай к понятиям «карточки», «лимит», «коммерческий магазин», «Тишинский рынок».

Константин, еще жуя, достал коробку «Казбека», придвинул Сергею, чиркнул зажигалкой-пистолетиком, закуривая, договорил по-домашнему:

— К вечеру у меня будет солидная пачка купюр. Вернут долг. Можешь часы не продавать. На шнапс бумаг хватит. Оставь часы для худших времен. Зачем тебе деньги, когда у меня есть?

— Надо купить костюм. Отцовский не лезет.

— Купим! Деньги — это парашют, дьявол бы их драл! — сказал Константин.— Пустота под ногами — и тогда открываешь парашют! — От выпитого вина смуглое лицо его стало дерзко-отчаянным.— На Тишинку поедем хоть сейчас. К спекулянтским мордам визит сделаем.

В его манере говорить, в его движениях ничего сходного не было с прежним аккуратным Костей — всегда умытым, застегнутым на все пуговички сшитой из теткиной юбки курточки, всегда приготовившим уроки, всегда детски красивеньким, чинно и пряменько сидевшим за партой. Был он робок перед учителями, жаден той особой жадностью прилежного ученика («свою резинку надо иметь», «задачу списывать не дам — сам решай»), которая постоянно раздражала Сергея. Они жили в одном доме, но прежде не были друзьями. Даже в десятом классе Константин ходил в своей аккуратной курточке, был замкнут, тих, нелюдим.

Они встретились полмесяца назад, и было странно видеть на Константине офицерскую шинель, спортивный пиджак с двумя нашивками ранений, с тремя орденами под лацканами и гвардейским значком, и странными казались как бы чужие темные усики. Он изменился так, как будто ничего, даже смутных воспоминаний, не оставалось от прежнего.

— Наш план на сегодня? — спросил Сергей, испытывая знакомое по утрам чувство легкости, оттого что жизнь вроде бы только начиналась.

— Рынок и танцы с девочками,— ответил Константин беспечно, спрятал часы в карман и тут же пропел задумчиво: — «О поле, поле! А что растет на поле? Одна трава — не боле. Одна трава — не боле...» Пошли... Асенька, привет! — крикнул он из коридора в кухню, когда,

надев шинели, они вышли.— Плюньте на мелочи и берегите нервы! Сережка — известный бурбон!

Ася выглянула из кухни, озабоченно стягивая тонкой тесемочкой передник на муравьиной талии; темные длинные глаза скользнули по лицу Сергея беспокойно.

— Опять до ночи, Сережа?

— Как получится,— ответил он с нарочитой грубостью и поцеловал ее в лоб.— Я позвоню.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Двор без заборов (сожгли в войну) и весь маленький тихий переулок Замоскворечья были завалены огромными сугробами — всю ночь густо метелило, а утром прочно ударил скрипучий декабрьский мороз. Он ударил вместе с тишиной, инеем и солнцем, все будто сковал в тугой железный обруч. Ожигающий воздух застекленел, все жестко, до боли в глазах сверкало чистейшей белизной. Снег скрипел, визжал под ногами; звук свежести и крепости холода был особенно приятен после теплой комнаты, гудевшей печи.

Этот жестокий мороз с солнцем, режущий глаза сухой блеск были знакомы Сергею по сталинградским степям — наступали на Котельниково; звон орудийных колес по ледяной дороге, воспаленные лица солдат, едва видимые из примерзших к щекам подшлемников, деревянные, негнущиеся пальцы в продутых стужей рукавицах; и снова скрип шагов, и звон колес, и беспредельное сверкание шершавого пространства... Хотелось пить — обдирая губы, ели крупчатый снег. Где же конец этой степи? Где? Он шагал как в полуяви, и представлялась ему парная духота метро, шумящие эскалаторы, лица, смех, а он ест размякшее эскимо, пахнущее теплым шоколадом... Очнулся от глухих, сдавленных звуков, вскинул голову, не понимая: рядом, держась за обледенелый щит орудия, толчками двигался заряжающий Капустин, сморщив обмороженное лицо, тихо стонал, всхлипывая: слезы сосульками замерзали на подшлемнике: «Не могу... не могу... Умереть лучше, под пули лучше, чем мороз».

Ничего этого не было сейчас. Вспомнилось же неожиданно — просто вдохнул запах холода, и всё возникло перед глазами. Вспомнилось тогда, когда он шел по улице бодрый, сытый, шинель, облегавшая его, хранила

домашнее тепло, руки мягко грелись в меховых перчатках.

Дыша паром, плотнее натягивая перчатки, Сергей сказал:

— На фронте ненавидел зиму. После Сталинграда на передке возил с собой железную печку даже летом.

— «Мороз и солнце — день чудесный»,— поглядывая по сторонам, пробормотал Константин.— Какую-нибудь машину бы, дьявола, поймать. Хорошо было дворянам раскатывать на тройках, под волчьей полстью! — Он похлопал себя по бокам, говоря быстро: — Я тоже под разрывными вспоминал милую старину. Тепло, настольная лампа, вьюга за окном, папироса и томик Пушкина... Сто-ой! — заорал он и махнул рукой.— Стой, бродяга!

«Эмка», плотно заиндевевшая от радиатора до крыльев, пронеслась мимо, покатила в глубину белого провала — улицы. Там, в конце этого провала, над снежной мглистостью, над мохнатыми трамвайными проводами висело оловянное декабрьское солнце.

— На кой тебе машина? — сказал Сергей.— Доберемся пешком. Потопаем по морозцу, Костька.

— В такую погоду хорошо ослам топать,— захохотал Константин, усики его поседели от инея, лицо, ошпаренное холодом, стало красным.— Идет себе и занимается гимнастикой ушей. Я, к сожалению, двигать ушами не в силах.

— Опусти ушанку. Не на полковом смотру.

— Иди ты... знаешь куда? Видишь, попадаются хорошенькие женщины. После войны стало больше красивых женщин... Я прав, девушка?

Константин ласково подмигнул бегущей навстречу по тротуару высокой девушке — полы длинного пальто колыхались, мелькали узкие валенки, под шерстяным платком — бело опушенные инеем ресницы, нажженные морозом щеки. Она не ответила, только улыбнулась и пробежала мимо.

Константин заинтересованно оглянулся, потирая ухо кожаной перчаткой.

— Природа иногда создает, а, Сережка? Иногда смотрю, и грустновато становится, ей-богу. Меня хватило бы на всех.— Он взглянул на Сергея оживленно.— Ладно, заскочим в забегаловку. Симпатичный павильончик. Тут, недалеко. Погреемся.

Деревянный павильончик, синея крышей, виднелся в аллее заваленного метелью бульвара. На пышных от вчерашнего снегопада липах каркали вороны, сбивали снег — белые струи стекали по ветвям. Забегаловка в этот утренний час была свободной, разрисованные морозом стекла сумеречно ее затемняли; кисло пахло устоявшимся табачным перегаром, холодным пивом. За стойкой, опершись локтями, в халате поверх пальто стояла широкая в плечах продавщица, игривым голосом разговаривала с молодым парнем, пьющим пиво,— шинель без погон горбилась на его спине, к столику прислонен костыль.

— Привет, Шурочка! — воскликнул Константин на пороге.— Холодище адово, а вроде посетителей нема! Один Павел тебя, что ль, тут веселит? А ну-ка налей нам по сто граммов коньячку для приличия!

— Здравствуй, Костя! На работку собрался с самого ранья? Мороз-то надерет сегодня...

Женщина, не без кокетства улыбаясь подкрашенными губами, зазвенела на мокрой стойке стаканами, повернувшись толстым телом, погрела ладони над огненной электрической плиткой, красными пальцами взяла коньячную бутылку. Парень поставил недопитую кружку, детски светлые глаза настороженно обежали фигуру Сергея, задержались на его погонах.

— Познакомьтесь — мой школьный друг Сергей! Капитан артиллерии, весь в орденах, хлебнул дыма через край,— представил Константин, перчаткой смахивая крошки со стола.— Шурочка, мы торопимся!

Парень подхватил костыль, ковыльнул к Сергею, протянул жилистую руку, сказал:

— Павел. Сержант. Бывший шофер. При «катюшах».— И озадаченно спросил: — А ты капитан? Когда же успел? С какого года? Лицо-то у тебя...

— С двадцать четвертого,— ответил Сергей.

— Счастли-и-вец! — протянул Павел и повторил с завистью: — Счастливец... Повезло.

— Почему счастливец?

— Я, брат, по этим врачам да комиссиям натаскался,— заговорил Павел с хмурой веселостью.— «С двадцать четвертого года? — спрашивают. Счастливец вы. К нам, говорят, с двадцать четвертого и двадцать третьего года редко кто приходит». А я с двадцать третьего... Ранен был, капитан, нет?

— Три раза.

— Все равно счастливец,— упрямо повторил Павел.— Только оно, капитан, счастье-то, по-разному выходит...

— Эй, хватит там про счастье! Его как подарки на елке не раздают! — крикнул Константин, раскладывая на тарелке бутерброды.— Садись, Сережка! А ты, Павел?

— Нет, не буду я. Пива можно,— ответил Павел, садясь против Сергея, и вытянул левую ногу.— Нельзя мне с градусами пить. Спотыкнешься еще. Я ногу лечу. По утрам часа два гимнастику ей делаю.

— А что с ногой? — спросил Сергей.

— Так. Ничего. Осколком под Кенигсбергом. А работать надо?..— вдруг спросил он высоким голосом.— Работать-то надо? Как же жить? И вот тебе оно, капитан, мое счастье... Куда ни кинь — везде клин. Ни в грузовые, ни в такси не берут. Кому нужен я? Нога... Как жить? Вот и говорю: счастливец ты, капитан,— проговорил Павел, жадно осушил кружку, перевел дух, раздувая ноздри коротенького носа.

— Завидовать мне нечего,— сказал Сергей.— Профессии никакой. Десять классов и четыре года войны.

— Ты бы, дорогой Павлик, на курсы бухгалтеров поступал. Сам читал объявления,— сказал Константин.— Милая, тихая профессия. Счеты, накладные, толстая жена. У бухгалтеров всегда уютные жены, много детей. Верно, Шурочка? — Он подошел к стойке, бросил новенькую, шуршащую сотню перед улыбающейся продавщицей, ласково потрепал ее по розовой щеке.— Сдачу потом, Шурочка.

— Счастливцы,— упорно бормотал Павел, глядя в пол.— Эх, счастливцы вы...

— Ты хочешь сказать — ни пуха ни пера? — спросил Константин.— Тогда — к черту!

Они вышли на морозный воздух, на яркое зимнее солнце.

Рынок этот был — горькое порождение войны, с ее нехватками, дороговизной, бедностью, продуктовой неустроенностью. Здесь шла своя особая жизнь. Разбитные, небритые, ловкие парни, носившие солдатские шинели с чужого плеча, могли сбыть и перепродать что угодно. Здесь из-под полы торговали хлебом и водкой,

полученными по норме в магазине, ворованным на базах пенициллином и отрезами, американскими пиджаками и презервативами, трофейными велосипедами и мотоциклами, привезенными из Германии. Здесь торговали модными макинтошами, зажигалками иностранных марок, лавровым листом, кустарными на каучуковой подошве полуботинками, немецким средством для ращения волос, часами и поддельными бриллиантами, старыми мехами и фальшивыми справками и дипломами об окончании института любого профиля. Здесь торговали всем, чем можно было торговать, что можно было купить, за что можно было получить деньги, терявшие свою цену. И рассчитывались разно — от замусоленных, бедных на вид червонцев и красных тридцаток до солидно хрустящих сотен. В узких закоулках огромного рынка с бойкостью угрей скользили, шныряли люди, выделявшиеся нервными лицами, быстрым мутно-хмельным взглядом, блестели кольцами на грязных пальцах, хрипло бормотали, секретно предлагая тайный товар; при виде милиции стремительно исчезали, рассасывались в толпе и вновь появлялись в пахнущих мочой подворотнях, озираясь по сторонам, шепотом зазывая покупателей в глубину прирыночных дворов. Там, около мусорных ящиков, собираясь группами, коротко, из-под полы, показывали свой товар, азартно ругались.

Рынок был наводнен неизвестно откуда всплывшими спекулянтами, кустарями, недавно демобилизованными солдатами, пригородными колхозниками, московскими ворами, командированными, людьми, покупающими кусок хлеба, и людьми, торгующими, чтобы вечером после горячего плотного обеда и выпитой водки (целый день был на холоде) со сладким чувством спрятать, пересчитав, пачку денег.

Морозный пар, пронизанный солнцем, колыхался над черной толпой, все гудело, сновало, двигалось, выкрики, довольный смех, скрип вытоптанного снега, крутая ругань, звонки продаваемых велосипедов, звуки аккордеонов, возбужденные, багровые от холода лица, мелькание на озябших руках коверкотовых отрезов, пуховых платков — все это, непривычное и незнакомое, ослепило, оглушило Сергея, и он выругался сквозь зубы. На какое-то мгновение он почувствовал растерянность.

Тотчас его сжала и понесла толпа в своем бешеном круговороте, чужие локти, плечи, оттеснив, оторвали Константина, уволокли вперед, голоса гудели в уши назойливо и тошно:

— Коверкот, шевиот, бостон, сделайте костюмчик — танцуйте чарльстон! Даю пощупать, попробовать на спичку!

— Кто забыл купить пальто? Граждане! Сорок восьмой размер!

— Полуботинки, не будет им износу! Эй, солдат! Не натерли те холку сапоги? Бросай их к хрену! Наряжайся в полуботинки! Гарантирую пять лет!..

— Что-о? Это кто спекулянтская морда? Сволочь!.. Я Сталинград защищал — вон смотри: двух пальцев нет! Осколком... Я тебе дам «спекулянт»! Так морду и перекосорылю!

— Штаны, уважаемые граждане, кому теплые ватные женские штаны? Прекрасны в холодную погоду!., Я, гражданочка, вполне русским языком ответил: за вашу цену я их сам сношу! Все! Закон!

— Вы, товарищ капитан, на костюмчик, вижу, смотрите? Глядите, пожалуйста. Модные плечи. Двубортный, на шелку. Прошу вас... Я дешево...

Стиснутый кипевшей сутолокой, криками людей, Сергей очнулся от искательного простуженного голоса, увидел перед собой морщинистое, виноватое лицо, красноватые веки, несвежее кашне, торчащее к подбородку из облезлого воротника; через руку как-то робко был перекинут темно-серый костюм. Сергей резким движением освободился от сковавшей его тесноты, продвинулся ближе к этому человеку, сказал:

— Да, мне нужен костюм. Вы, кажется, продаете?

— Очень дешево,— забормотал человек,— именно вам, товарищ капитан... Именно вам...

— Почему именно?

— Костюм носил сын... Лейтенант... Два раза надел перед фронтом... Не вернулся...

— Нет,— сказал Сергей.

— Что вы?

— Костюм не возьму.

— Товарищ... Я прошу. Вы посмотрите костюм! — заговорил человек с мольбой.— Мне нужны деньги... Я прошу очень маленькую цену. Я даже ее не прошу. Вы назначьте...

— Я не возьму костюм,— повторил Сергей.

Ничего он не сумел объяснить этому человеку. Он никогда не брал и не носил вещей убитых. Преодолевая брезгливость, мог снять оружие с трупа немецкого офицера, просмотреть документы, записные книжки — это было чужое. Но особенно после боя под Боромлей он не испытывал любопытства к непрожитой жизни своих солдат. Убитый под станцией Боромля лежал лицом вверх в смятой пшенице, все тело, лицо были неправдоподобно раздуты от жары, будто туго налиты лиловой водой, вздыбленная грудь покрыта коркой засохшей крови — следы пулеметной очереди,— и трудно узнать возраст погибшего. Сергей достал из кармана его гимнастерки слипшуюся красноармейскую книжку и тотчас почувствовал, что задыхается... «Сержант Аксенов Владимир Иванович... 1923 года рождения... Домашний адрес: Москва, Новокузнецкая улица, дом 16, кв. 33...»

Он, Сергей, жил рядом. В переулке. Пять минут ходьбы. Может быть, они встречались на улице. Может быть, учились в одной школе... И в том, что убитый был москвич, жил совсем рядом, но они не знали друг друга, было нечто противоестественное, разрушающее веру Сергея в то, что его не убьют.

— Товарищ... Товарищ... вы посмотрите, вы осмотрите со всех сторон... костюм... Я не спекулянт. Вы лучшего не найдете. Это довоенный материал,— лихорадочно убеждал человек и все виновато, робко, теснимый толпой, совал костюм в руки Сергея.— Вы отказываетесь не глядя. Так нельзя. Это костюм сына...

— Эй, чего прилип к человеку? — хрипло крикнул кто-то за спиной, протискиваясь к Сергею.— «Костюм, костюм»! Может, военному брючки надо. Есть. Стальные. Двадцать девять сантиметров! Ну? По рукам? Твой рост! Проваливай, папаша!

Он локтем оттолкнул человека с костюмом.

— К черту! — сквозь зубы сказал Сергей, увидев перед собой сизое хмельное лицо.— Я сказал — мотай со своими брюками!

— Но, но! Здесь не армия, а рынок... Не черти́! Сам умею!

— Я сказал — к черту!

Впереди, в гудении голосов, послышался возбужденный оклик Константина; он бесцеремонно — против крутого движения людей — проталкивался к Сергею; шарф

на шее развязан, меховая шапка сдвинута со лба: казалось, было ему жарко. И, сразу все поняв, оценивающе окинув взглядом робкого человека, затем нагловатого торговца брюками, он сказал усмехаясь:

— Уже атаковали? Я сам тебе выберу роскошный костюм. Пошли!

Место, куда вывел он Сергея, было тихое — в стороне от орущей толпы, закоулок за галантерейными палатками, где начинался забор. Несколько человек с поднятыми воротниками топтались около забора, перед ними на зимнем солнце блестели кожей чемоданчики. Эти люди были похожи на приезжих. Двое в армейских телогрейках сидели, как на вокзале, на чемоданах, от нечего делать лениво играли в карты.

— Подожди здесь,— сказал Константин.— Твои офицерские погоны могут навести панику. Там иногда ходят патрули. Я сейчас.

Он подошел к забору, сейчас же двое в телогрейках поднялись и не без уважения пожали руку Константину. Тот, прищурясь, оглянулся на Сергея, по сторонам, потом все трое полезли через дыру в заборе — на пустырь. Люди возле чемоданчиков не обратили на них никакого внимания: притопывали сапогами, хлопали рукавицами, крякая от мороза, солидно переговаривались простуженными голосами.

«Черт его знает какая таинственность»,— подумал Сергей.

Рынок своей пестротой, своей накаленной возбужденностью вызывал в нем раздражение и одновременно острое любопытство к этому скопищу народа.

Рядом с галантерейными палатками, за которыми непрерывно валила, текла толпа, метрах в тридцати от забора заметен был высокий, узкоплечий человек в солдатской шинели; он потирал руки над многочисленными ящичками с блюдечками и подставкой, похожей на мольберт, обращаясь к смеющейся толпе, зазывно-бойко выкрикивал:

— Граждане, не что иное, как эврика! Послевоенное открытие! Мыльный корень очищает все пятна, кроме черных пятен в биографии!

В двух метрах от него на раскладном стульчике за разостланным на снегу брезентом сидел парень-инвалид (рядом лежал костылек), ловко и быстро трещал колодой карт, перебирал ее пальцами, метал карты на бре-

зент, приглашая к себе хрипловатой скороговоркой и нагловатыми черными глазами:

— Моя бабка Алена подарила мне три миллиона, два однополчанам раздать, один — в карты проиграть! Подходи, однополчане, фокусом удивлю, много не возьму! Подходи, друга не подводи! Туз, валет, девятка... По картам угадываю срок жизни!

В толпе, сгрудившейся вокруг парня, ответно посмеивались, вытягивали шеи, все любопытно следили за картами, однако никто не просил показать фокус: видимо, не доверяли.

Со смешанным чувством грусти и любопытства к этому зарабатывающему на хлеб инвалиду Сергей долго глядел на худое зазывающее лицо парня, наконец сказал:

— Что ж... покажи фокус.

— Трояк будет стоить, товарищ капитан. Загадывайте карту! — обрадованно воскликнул парень.— Враз назову невесту!

— Загадал.

Сергей знал нехитрый госпитальный фокус, но виду не подал, когда проворный парень этот стремительно выщелкнул из колоды карту на брезент; под его распахнутой телогрейкой зазвенели медали на засаленных колодках.

— Дама! — сказал парень.— Червонная. Ваша невеста.

— Дама-то дама. Да не моя невеста. Давай следующий фокус.

— На десятой карте угадываю срок жизни.

— Угадывай.

Парень выложил карту с неуверенным азартом.

— Три года!

— Ба-атюшки светы, такой молодой! — ахнул в толпе голос.— Грехи наши тяжкие!..

Сергей невольно оглянулся, увидел в черном пуховом платке сморщенное старушечье личико, жалостливо мигающие веки, ему стало смешно.

— Не беспокойтесь, бабушка. Я сто лет проживу. Сто лет и три года.

— Сдается мне, товарищ капитан...— неожиданно проговорил парень и наморщил лоб.— Мы с вами нигде не встречались? Голос и лицо вроде знакомы... А?

— Слушай, и мне кажется, я тоже тебя где-то...— вполголоса ответил Сергей, вглядываясь в дрогнувшее

лицо парня.— Ты был на переправе в Залещиках? На Днестре? Был?

Бросив колоду карт, тот медленно привстал, не отрывая от Сергея растерянного взгляда. По толпе прошелестел шумок удивления; кто-то прерывисто-длинно вздохнул, старушка в пуховом платке набожно зашевелила губами, мелко перекрестилась; засуетившись, локтем пощупала, прижала к боку свою кошелку, и тотчас начали расходиться люди, улыбаясь с сомнением,— все могло быть здесь разыграно: рынок не вызывал доверия.

— Не был я на Днестре,— выговорил парень.— Может, на Одере, на Первом Белорусском. В разведке. Я в полковой разведке...

— Мы шли через Карпаты, в Чехословакию,— ответил Сергей, еще минуту назад веря, что они где-то встречались.

— Обознались! — засмеялся парень и разочарованно повторил: — Обознались, значит! Эх, елки-палки!..

Сергей смотрел на его узкий, решительный, с горбинкой нос, на его медали под распахнутой телогрейкой — был он похож на тот заметный на войне тип людей, о которых говорят: такой не пропадет.

— Сколько зарабатываешь тут в день?

— Полсотни.— Парень запахнул телогрейку.— Инвалид второй группы. Пенсия — с воробьиный нос. Чихнуть дороже!

— У меня только тридцатка. Возьми,— проговорил Сергей.— На кой тебе этот цирк! Придумать что-то нужно.

— Ежели бы эту тридцатку на год! — едко хохотнул парень.— С тебя, капитан, денег не возьму. С тыловиков беру.

— Сергей, давай сюда!

От забора к палаткам быстро шел Константин, с веселым видом призывно помахивал снятыми перчатками.

— Ну как? — спросил Сергей.

— Все в порядке. Можешь швырять чепчик в воздух. Не полторы, а две косых дали за твои часики.— Константин перчатками похлопал по боковым карманам.— Здесь твои — две, здесь мои — пять. Вернули долг.

— Кто вернул? — Сергей взглянул на забор, где стояли люди возле чемоданчиков.— Те двое, в телогрейках?

— Долго объяснять. Не все ли равно? Пошли, вы-

беру костюм. Только прошу — в торговлю не лезь. Все испортишь. Кстати, тебе пойдет строгий цвет. Ну, темно-серый. Верно?

— Не знаю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В комнате Константина было жарко натоплено.

Сергею нравилась хаотичная теснота этой комнаты с ее холостяцкой безалаберностью, старой мебелью: громоздкий книжный шкаф, широкий диван, на котором валялись кипы английских и американских военных журналов, голливудских выпусков с фотографиями снежнозубых кинозвезд, и везде были беспорядочно разбросаны книги, на креслах, на спинках стульев висели галстуки, раскрытый патефон стоял на тумбочке, заваленной пластинками,— веяло от всего чем-то полузабытым, мирным, довоенным.

Сергей лежал на диване, распустив узел нового галстука, рассеянно листал затрепанный иллюстрированный журнал сорок второго года. Константин в белейшей, свежей майке брился перед зеркалом, задирая намыленный подбородок, говорил, указывая глазами на книги:

— Все это покупал на Центральном рынке, когда вернулся. Два месяца лежал на этом диване и читал как с цепи сорвался. Хотелось копнуть жизнь по книгам. Запутался к дьяволу — и пошел в шоферы. То, что говорили нам в школе о жизни,— примитивная ерунда. Помнишь, только думали о подвигах на пулеметной тачанке. «Если завтра война...» Красиво несешься на тачанке в чапаевской папахе и полосуешь из пулемета. «Полетит самолет, застрочит пулемет, и помчатся лихие тачанки...»

Константин усмехнулся, сделал жест бритвой, изображая пулеметные очереди.

— Какими романтичными сопляками мы были! — снова заговорил он, разбалтывая кисточкой пушистую, лезущую из стаканчика пену.— Сейчас мне ясно почему. Вспомни: везде побеждали — челюскинцы, рекорды летчиков, Стаханов. В этом-то и дело. О, все легко, все доступно! И наше школьное поколение жило, как на зеленой лужайке стадионов. Нас приучали к легкой победе. Но зачем? А, бродяга! — Константин наклонился к зеркалу, пощупал щеку.— Режется, кочерга несчастная! Вы-

пускают лезвия как для лошадей. А войну выиграли, леший бы драл, большой кровью. Не дай бог нам этих зеленых лужаек!

— Противоречишь сам себе,— сказал Сергей, рассматривая на обложке молодого светловолосого оберста [1], из бронетранспортера глядящего в бинокль на солнечно-снежный пик Эльбруса.— Мне хочется, чтобы вернулось то время. Но без криков «ура». По каждому поводу. Я хотел бы еще пожить в то время, среди ребят...

Он отбросил журнал, заложил руки под голову и стал глядеть в потолок на абажур, наполненный зеленым огнем. Было тихо, тепло. Сквозь зашторенное окно отдаленно, слабо донесся шум и звон трамвая. Сергей с размягченным задумчивым лицом прислушался к этому зимнему стихшему шуму, долетевшему сюда, во двор, через вечерние заснеженные крыши замоскворецких переулков, сказал:

— Иногда вот так, как сейчас, лежишь ночью, а на улице где-то прозвенел трамвай, и вдруг вспомнишь школу, метель, сидишь у окна, дребезжит стекло, последний урок... Витька Мукомолов сидит рядом, рисует яхты. Хотели пойти в мореходку, в торговый флот... Черт знает о чем только мы с ним не мечтали.

Константин в зеркале посмотрел на Сергея, двумя пальцами погладил выбритый подбородок.

— Я понял так: ты хотел, чтобы то вернулось?

— Может быть,— ответил Сергей.

— А мне кажется — только начинаю жить. Понял, Сережа? Только начинаю!

Рывком Константин стянул майку, перекинул полотенце через плечо, вышел на кухню. Было слышно в тишине, как зашепелявила вода в кране, звонко полилась, заплескала в раковину, как принялся фыркать, звучно шлепать себя ладонями по телу Константин, восклицая: «Ах, хорошо, дьявол! Отлично! Превосходная штука — вода!» Видимо, он испытывал возбуждение и удовольствие не только потому, что был здоров, крепок, но и оттого, что многое было отчетливо ясно ему, раз и навсегда понятно в жизни, точно все знал, что надо делать,— и Сергей подумал с удивлением: Константин в чем-то опытнее его, может быть, потому, что вернулся с войны сро-

[1] Полковника *(нем.)*.

ком раньше. И от этой его обретенной уверенности возникало ощущение покоя, не хотелось думать о том, что не было решено и было туманно, непонято.

— Долго будешь плескаться? — сказал Сергей задумчиво, хотя сам все время чувствовал странную тягу к воде, как будто хотелось смыть прошлую окопную грязь, пот, едкую гарь — порой даже мнилось, что от рук все еще дымно пахнет порохом.

— Ах, дьявол! Ах, здорово, ах, вундершён[1]! — ахал Константин, умываясь, и крикнул из кухни: — Я тебе покажу сегодня, Серега, роскошную жизнь! Завалимся в ресторан. В «Асторию»! Будем жить по коммерческим ценам!

Сергей снял со спинки стула, надел легкий, шелестящий серебристой подкладкой пиджак и, затягивая галстук, подошел к зеркалу. Он разглядывал себя внимательно: костюм шел ему, был лишь немного тесен в плечах, облегал фигуру, как китель; это ощущение (не хватало тяжести пистолета на боку) было ему знакомо.

Было незнакомо лицо — сильно обветренное, с новым, чуть смягченным выражением, от которого за четыре года он, пожалуй, отвык, белая сорочка подчеркивала грубую темноту лба, шеи, темноту глаз.

— Комильфо, вернувшийся в свет,— сказал Сергей, с грустным интересом узнавая и не узнавая себя.

Никогда в жизни он не носил ни галстуков, ни хороших костюмов, вернее, не успел до войны, и сейчас в этом шелковом галстуке, модном костюме, чудилось ему, было нечто полузабытое, далекое, когда-то вычитанное из книг.

— Костя! — позвал Сергей неуверенно.— Оценивай и рявкай «ура».— И рукой провел по поясу, будто машинально поправлял на ремне кобуру пистолета.— Ну как?

Причесывая мокрые волосы, вошел Константин, весь обновленный, свежий, смуглый румянец проступал на скулах, очень серьезно осмотрел Сергея, дунул на расческу, сказал:

— Наверно, и перед свадьбой, если когда-нибудь женимся, то, целуя невесту, будем хвататься за пистолет на заду... А костюм великолепный. И сидит здорово. Ты в нем красив. Девочки будут падать направо и налево.

---

[1] Замечательно *(нем.)*.

Только галстук, галстук! — воскликнул Константин и захохотал.— Нелепость в квадрате! Не то коровий хвост намотал на шею, не то шею на коровий хвост. Дай-ка завяжу.

— Ладно, действуй,— согласился Сергей, подставляя шею.

Константин ловко завязал Сергею галстук, застегнул пуговицы на его костюме и посоветовал:

— Ты не скромничай. Надень ордена. Все, до последней медали. Сейчас их носят все.

— Обязательно портить костюм?

— Это принципиально добровольно.

— Хорошо. Надену все — те, что дороги, и те, что не дороги!

Константин пожал плечами.

— У тебя есть такие?

— Трудно заработать первый орден.

Они вышли на улицу. К вечеру заметелило. Снег порывисто вместе с дымом сметало с крыш, густой наволочью стремительно несло вдоль домов, заметенных подъездов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Огромный зал «Астории» встретил их нетрезвым шумом, жужжанием голосов, суетливой беготней официантов между столиками — той обстановкой зимнего вечера, когда ресторан полон, оркестр устал и музыканты, неслышно переговариваясь, курят, сидя за инструментами на эстраде.

Они, скинув шинели в вестибюле, вошли после холода улицы в теплое сверкание люстр и зеркал, в папиросный дым, и эта обстановка гудящего под блеском огней зала оглушила, ослепила в первую минуту Сергея, как и утром сегодня хаотичная толпа Тишинского рынка.

Стоя среди прохода, он оглядывал столики, эту пестроту ресторана с чувством ожидания и растерянности. Здесь было много военных всех званий — от лейтенанта до генерала, были здесь и безденежные штатские в потертых, но отглаженных костюмах, и полуголодные студенты, получившие стипендию и скромно делящие один салат на четверых, и темные личности в широких

клетчатых пиджаках, шумно пьющие водку и шампанское в компании медлительных девушек с подведенными бровями.

Свободных мест не было. Константин, слегка прищурясь, скользнул взглядом по залу, сейчас же уверенной походкой подошел к наблюдавшему у крайнего столика седому метрдотелю и тихо и внушительно сказал что-то. Метрдотель как бы проснувшимися глазами скосился из-за плеча в направлении Сергея, кивнул издали и, солидно откинув голову, повел их в глубину зала.

— Прошу вас сюда,— сказал он бархатным баритоном, передвигая чистый прибор.— Единственный столик. У нас в эти часы очень много посетителей. Кондеев! — строго окликнул он пробегавшего мимо сухопарого официанта.— Обслужите, будьте любезны, фронтовиков... Располагайтесь.

— Прекрасно,— сказал Константин.— Благодарю вас.

Они сели.

— Как тебе удалось в такой толкучке? — спросил Сергей, когда метрдотель с достоинством занятого человека отошел к своему месту.

Константин развернул меню, ответил улыбаясь:

— Иногда не нужно умирать от скромности. Я сказал, что ты только что из Берлина. И как видишь, твой иконостас произвел впечатление. Результат — вот он. Как говорится, шерсти клок.

— И это неплохо,— сказал Сергей.

Он посмотрел на ближние столики. Багровый, потный человек с налитой шеей (на лацкане нового пиджака — орденские колодки) быстро жевал, одновременно разговаривая, наклонялся к двум молоденьким, вероятно только что из училища, младшим лейтенантам. Младшие лейтенанты, явно смущенные бедностью своего заказа, отхлебывали из бокалов пиво, растерянно хрустели убогой соломкой; сосед их, этот багровый человек, пил водку, аппетитно закусывал ножкой курицы и, доказывая что-то, дирижировал ею.

Сергей перевел взгляд, мелькнули лица в дыму, и ему показалось — недалеко от эстрады девушка в сером костюме поглядела в его сторону с чуть заметной улыбкой и тут же снова заговорила о чем-то с молодыми людьми и полной белокурой девушкой, сидевшими рядом за столиком возле колонны. Сергей сказал серьезно:

— Посмотри, Костя, у меня слишком пресная вывеска? Или идиотское выражение?

— Не нахожу,— произнес Константин, деловито занятый изучением меню.— А что? Обращают внимание? Пожинай славу. Молодой, красивый, весь в орденах. И с руками и ногами.— Он проследил за взглядом Сергея, спросил вскользь: — Вон та, что ли, со вздернутым носиком? Ничего особенного, середняк. Впрочем, не теряйся, Серега.

— Циник чертов.

Лавируя между столиками, подошел сухопарый официант, озабоченно махнул салфеткой по скатерти, сказал с приятностью в голосе:

— Слушаю, товарищи фронтовики...

— Бутылку коньяку — это во-первых... Какой у вас — «старший лейтенант», «капитан»?

— Есть и «генерал»,— ухмыльнулся официант, вынимая книжечку для записи заказов.— Все сделаем.

— Тащите сюда «генерала». И сочините что-нибудь соответствующее. От вашей расторопности зависит все дальнейшее.

— Одну минутку.— И официант понесся в тесном проходе среди столиков.

— У меня такое впечатление, что ты целыми днями торчишь в ресторанах,— сказал Сергей.— Пускаешь пыль в глаза, как миллионер!

— А, гульнем, Сережка, на всю катушку, чтоб дым коромыслом. Не заслужили, что ли?

— Когда ехал от границы по России,— проговорил Сергей,— почти везде керосиновые лампы, разрушенные станции, сожженные города — страшно становилось.

— Мы победили, Сережка, и это главное. Что ж, придется несколько лет пожить, подтянув ремень.

— Несколько лет?..

Внезапно заиграла музыка, зазвучали скрипки, говоря о печали мерзлых военных полей; в тени эстрады стояла певица с худеньким, бледным и стертым лицом, ее руки были подняты к груди.

> Я кручину никому не расскажу,
> В чистом поле на дорогу упаду.
> Буду плакать, буду суженого звать,
> Буду слезы на дорогу проливать.

В зале нервно покашливали. «Что это? Кажется, еще и война не кончилась?» — подумал Сергей, сжатый вол-

нением, видя, как внимательно вглядывались в эстраду молоденькие младшие лейтенанты и, уставясь в одну точку, размеренно жевал багровый человек.

— «Буду плакать, буду суженого звать». Ничего гениального. А просто нервы у нас никуда,— услышал он голос Константина.

Тот разливал коньяк в рюмки, покусывая усики, поставил преувеличенно твердо бутылку на середину стола.

— Я понял одно: прошли всю войну, сквозь осколки, пули, сквозь все. И остались живы. Наверно, это счастье, а мы его не ценим. Так, может быть, сейчас, когда мы, счастливцы, остались живы, она нас подстерегает, глупая случайность подстерегает. На улице, за углом, на самолете, в какой-нибудь неожиданной встрече ночью. Остерегайся случайностей. Не летай на самолетах — бывают аварии. Не рискуй. Только не рискуй. Мы всю войну рисковали. Только не рискуй по-глупому.

Сергей, нахмурясь, выпил коньяк, сказал:

— Если бы я понял, что должен сейчас делать! На войне я рисковал, и в этом была цель. Я часто иду по улицам и завидую дворникам, убирающим снег. Уберет снег во дворе и войдет в свою жарко натопленную комнату, к семье. Что ж, пойти в институт? В какой? Да мне кажется, я не смогу учиться. Я завидую людям с профессией, каждому освещенному окну по вечерам. У тебя бывает такое?

— У меня? — Константин засмеялся.— Ты счастливец. Остался жив. Вся грудь в орденах. В двадцать два года — капитан. Перед тобой все двери распахнуты! У меня! — повторил он, хмыкнув.— Я, очевидно, не обладаю тем, чем обладаешь ты. Мы живы. Разве это не счастье, Сережка? Слушай, ну ее к дьяволу, болтовню. Пойдем танцевать. Танго. Здесь вперемежку — военные песни и танго. Выбирай любую, кто понравится. Кого бы мне выбрать на сегодня?

Константин подтянул спущенный узел галстука, загадочно оглядел соседние столики. Сергей видел его гибкую походку, его небрежную беспечность, когда он приблизился к выбранному столику, и то, как наклоном головы он смело пригласил тонкую темноволосую женщину, и она охотно пошла с ним. «Он живет ясно и просто,— подумал Сергей.— Он понял то, чего не понял я. Да, мы остались живы,— это, вероятно, счастье. Странно, я об этом не думал даже после боя. А вот когда нет

опасности, мы думаем об этом. Случайность?.. Какая случайность? Ерунда! Вся жизнь впереди, что бы со мной ни было. Мне только двадцать два...»

И он с острым, пронзительным сквознячком ожидания взглянул на женщин, которые еще не танцевали.

Девушка в узком сером костюме сидела спиной к эстраде, говорила что-то, пальцами поглаживая высокую ножку бокала, молодые люди слушали молча, глядели на ее оживленное лицо.

«Я сейчас приглашу ее...» — подумал Сергей и, когда решительно подошел к столику, произнес негромко: «Разрешите?» — она повернулась, со вниманием посмотрела снизу вверх прозрачно-зелеными глазами, спросила мягким голосом, обращаясь к молодым людям:

— Вы мне разрешаете?

Они, не отвечая, натянуто вежливо разглядывали Сергея, и он, понимая, что помешал им, все же сказал самоуверенно:

— Простите, но, думаю, они разрешат.

— Тогда танцуем все,— проговорил один из молодых людей.— Если уж...

— Правда, я плохо танцую,— с улыбкой сказала она Сергею и встала.

Когда она, положив руку ему на плечо, пошла с ним, подчиняясь ему, слабо прижавшись грудью, задевая его коленями, он удивился условности людских взаимоотношений,— эти когда-то выдуманные людьми танцы неуловимо разрушали человеческую разъединенность; он чувствовал ее сильные пальцы, сжимавшие его руку, будто была она давно знакомой, близкой ему, и вместе с тем чувствовал некоторую ее и свою неловкость от этих движений близости. Он видел морщинку на ее лбу, глаза чуть-чуть настороженно смотрели ему на грудь.

— Странно...— проговорил он.

— Что же странно?

Она вопросительно подняла взгляд. «Может быть, это и есть то, чего я хотел? — подумал он, увидев ее зрачки.— Ничего не надо. Только это. Только вот так...»

И вдруг все исчезло. Это было мгновение, которое он не уловил. Он только посмотрел в зал, желтый от дыма, и тотчас же, как от удара, оборвалась, смолкла музыка, и он словно мгновенно опустился в вязкую глухоту, чувствуя, как пальцы в его руке шевельнулись, мягкий го-

лос спрашивал о чем-то. Он даже улыбнулся этому голосу, что-то сказал, не понимая слов, и когда говорил и улыбался, то подумал: «Еще раз повернуться... возле крайних столиков, посмотреть. Я не мог ошибиться...»

Около крайних столиков он повернулся.

К этим столикам левее колонны шел человек в кителе без погон, белело при свете люстр холеное полное лицо, гладко зачесанные светлые волосы, ранние залысины над высоким лбом. Человек сел к столику, с краю женская сумочка блестела лаком на скатерти, и Сергея удивило то, что столик этот был вблизи стола, за которым только что сидели молодые люди, а он раньше не заметил такое знакомое лицо. И сейчас, облокотившись, человек этот, казалось, в рассеянности подносил папиросу ко рту, следил за танцующими.

Нет, он не мог ошибиться, не мог. Это — командир батареи капитан Уваров. Это он...

«Я сейчас подойду к нему, сейчас все кончится — и я подойду к нему,— вспышкой мелькнуло у Сергея.— Я подойду как если бы...»

— Что вы?

И он очнулся, будто вынырнул из горячей пустоты, ощутил нажатие чужих пальцев на своем плече, и опять его словно обдуло ветерком — ее смеющийся голос:

— Вы перестали танцевать. Мы ведь стоим. Это что — новый стиль?

— Да, да...— машинально выговорил он, так же машинально отпустил девушку, договорил почти беззвучно: — Простите...— И не увидел, а почувствовал, как кто-то пригласил ее тотчас.

Всего пять метров, несколько шагов было до того столика, где сидел человек с полным белым лицом, было несколько шагов осенней карпатской грязи, засосавшей орудия, тела убитых, сброшенные в воду лотки со снарядами. Там среди убитых лежал на станинах раненый лейтенант Василенко...

Крупная рука этого человека поднесла папиросу ко рту, потом он, раздумчиво сдвинув брови, налил в бокал боржом. Не отводя глаз от танцующих, выпил, медленно вытер губы салфеткой. Помнил ли он сожженную деревню Жуковцы? Ночь в окружении и страшное серое октябрьское утро в Карпатах, когда орудия увязли на лугу и немецкие танки расстреливали их?..

Он курил и отхлебывал боржом, лицо исчезало в дыму, маленькая лаковая сумочка лежала на краю стола рядом с его локтем. Чья это сумка — жены, знакомой? Она, наверное, танцевала с кем-то.

— Капитан Уваров!..

Сергей не услышал своего голоса, только понял, что сказал это после того, как человек, вскинувшись, двинул локтем по столу, от нерассчитанного движения бокал с боржомом опрокинулся на скатерти.

— А, ч-черт! — выругался он и, перекосив губы, закрыл мокрое пятно салфеткой.— Что вам? — спросил громко, обтирая сумочку.— В чем дело?

— Не узнаете? — сказал Сергей чрезмерно спокойно.— Правда, я не в военной форме. Трудно узнать.

— Подожди... Подожди, что-то я припоминаю... что-то в тебе знакомое...— заговорил Уваров, голубые его, покрасневшие глаза сверху вниз метнулись по лицу Сергея, и что-то дрогнуло в них.— Капитан Вохминцев? Ты?! — голосом, налитым изумлением, воскликнул Уваров, вставая, и раскатисто захохотал, протянул через стол руку.— Ты — здесь? Демобилизовался? Из Германии?..

Сергей стоял не шевелясь; глядел на уверенно протянутую ему широкую кисть, и в ту же минуту в его сознании мелькнула мысль, что Уваров все забыл, и, чувствуя холодный, колющий озноб на щеках, стянувший кожу, сказал тихо:

— Сядем. Поговорим. Я демобилизовался,— хрипло добавил он.— Из Германии.

И Уваров, отдернув руку, опустился на стул, сказал резким, командным голосом:

— Что за чепуха, хотел бы я знать! Ты это что? Контужен?

— Мы никогда не были на «ты»,— сказал Сергей, напряженно, неторопливо закуривая, с удивлением видя, что пальцы его дрожат.— Мы не были друзьями.

— Ах, дьявол! — качнув головой, преувеличенно весело засмеялся Уваров и откинулся на стуле.— Обиделся? Все ерунда это! Давай выпьем за встречу, за то, чтобы на «ты». А? И не будем показывать свою интеллигентность!

Уваров поставил перед Сергеем рюмку, потянулся за графинчиком, добродушно морщась, но в то же время голубизна глаз стала жаркой, мутноватой, и по тому, как

он внезапно захохотал и потянулся за графинчиком, угадывалось в нем настороженное беспокойство.

— Не пью,— проговорил Сергей, отодвинув рюмку.

— Да ты что? Трезвенник? Нич-чево не понимаю! — огорчился Уваров.— Встречаются два фронтовика, один не пьет, другой обижается, у третьего печенки, селезенки. Что происходит с фронтовиками? — Он накрыл своей рукой руку Сергея, спросил с доверительным простодушием: — Может, перехватил уже. Давно здесь веселишься?

— Брось, Уваров! Ты все помнишь! — сухо произнес Сергей и высвободил руку из горячей тесноты его ладони.

Уваров с судорожной усмешкой медлительно спросил:

— Ты пьян?

— Помнишь, на станинах лежал Василенко, когда я со взводом вытаскивал орудия из окружения? Помнишь?

— Ты пьян,— через зубы выговорил Уваров и, оглядываясь, позвал зычно: — Метрдотель, подойдите ко мне!

Он встал, застегивая китель.

За соседними столиками посмотрели в их сторону. Сергей твердо сказал:

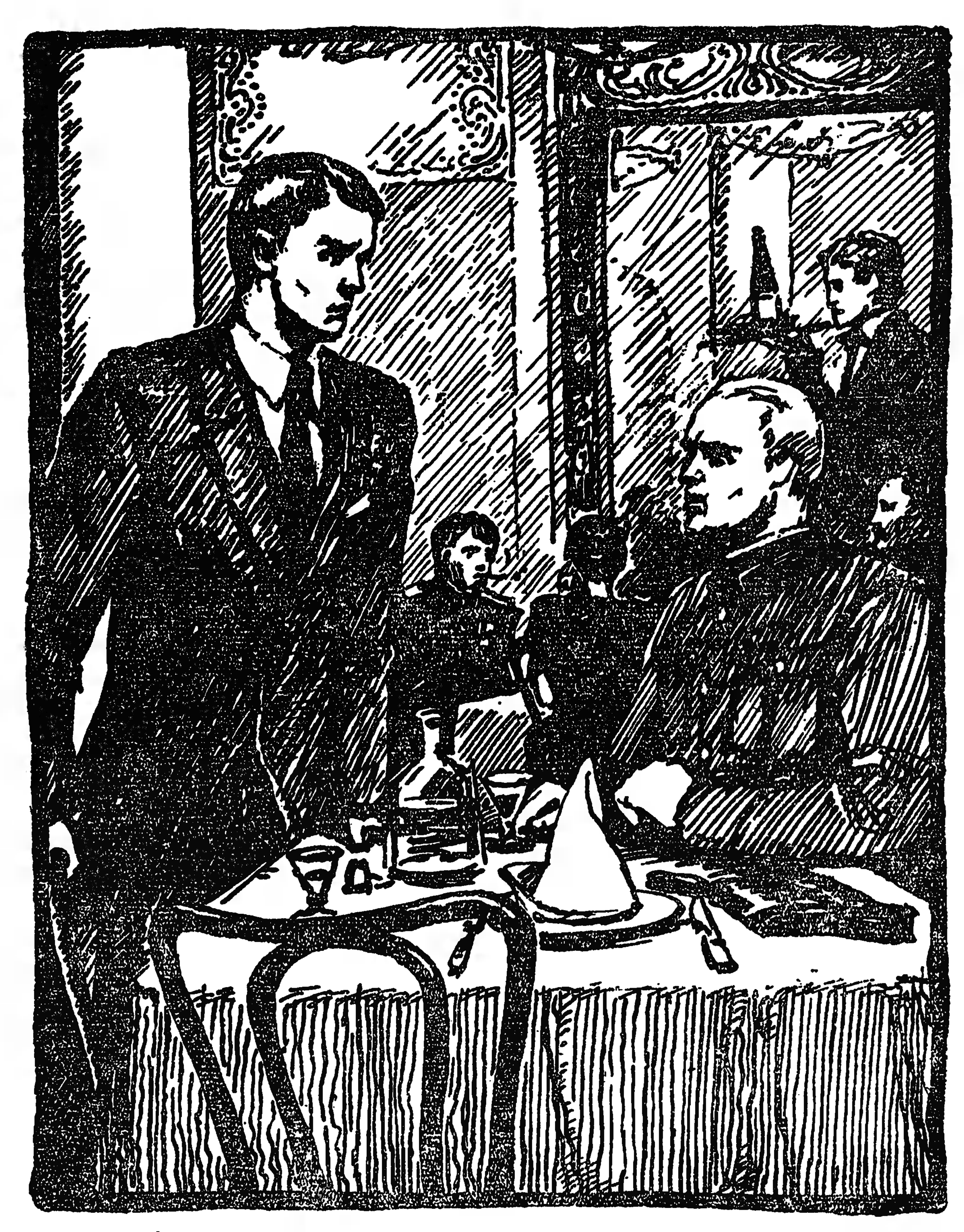
— Если ты позовешь метрдотеля, я выйду на эстраду и скажу, что ты убийца. Я это сделаю.

— Ты это что! — злым шепотом спросил Уваров, опять тяжело садясь.— Будешь вспоминать Жуковцы? Будешь перечислять фамилии убитых? Обвинять меня? Нет, милый, надо обвинять войну. Так ты можешь обвинить половину строевых офицеров, в том числе и себя. У тебя гибли солдаты? А? Гибли?

— В одну могилу врагов и друзей не положишь,— ответил Сергей с трудом.— Братской могилы не получится.— Он глубоко затянулся дымом, чтобы перевести дыхание, договорил отчетливее: — Ты сам взялся поставить батарею на прямую наводку, не зная, где немцы. Когда Василенко сказал тебе в глаза, что ты дуб и ни хрена не смыслишь, ты пригрозил ему трибуналом...

— Не было этого! Вранье!

— Вспомни еще — утром танки окружили Жуковцы и прямой наводкой расстреляли людей и орудия. Всех — двадцать семь человек и четыре орудия. Но Василенко даже в болоте стрелял. А ты притворился больным и как последняя шкура просидел сутки в блиндаже. Бросил



людей... А потом? Все свалил на Василенко — под трибунал его! Мол, он, командир первого взвода, погубил батарею. В штрафной его! Ты, конечно, знаешь, что Василенко погиб в штрафном.

— Вранье!

— Ты отправил Василенко в штрафной. А в штрафной должен был пойти ты.

— Вранье!

Уваров стукнул кулаком по столу, лицо его туго набрякло, точно постарело мгновенно, потемнели мешки

под веками, лоб и залысины облило потом; голубые, с красными прожилками глаза скользили то по груди Сергея, то по залу, и затем он качнулся вперед, кулаком потирая крутой подбородок, неожиданно со сдержанной досадой заговорил:

— Ну чудак ты, ей-богу! Если была какая неразбериха — на то война. Не косись, брат, на меня; я не хуже и не лучше других. Ты считаешь меня своим врагом, я тебя — нет. Просто думаю: ты хороший парень. Только мнительный. Выпьем, Вохминцев, за примирение, за то, чтобы... ко всем матерям это!.. Глупых смертей было много. Война кончилась — бог с ним, с прошлым. Предлагаю выпить за новую дружбу и все забыть!

Он повторил «все забыть», и в последней фразе голос набрал осторожную фамильярную мягкость, ладонь его быстро вправо-влево погладила скатерть, и эти движения будто хотели пригладить, сравнять все, что было осенью сорок четвертого года в Карпатах. Будто не было того октябрьского рассвета, залитого дождями луга, неудобно и страшно затонувших в грязи трупов солдат, четырех орудий, в упор разбитых танками. Василенко корчился на станинах, одной рукой прижимая скомканную, потемневшую пятнами шинель к плечу, в другой судорожно со всей силы стискивал масленый ТТ, дико выкрикивал: «Где он?.. Я прикончу эту шкуру... В штрафной пойду, а прикончу!..» — и плакал по-детски беспомощно.

Была тишина. Она пульсировала в ушах. Сергей почти физически почувствовал сырой запах гнилой воды луга, гнилого тумана, размокших шинелей, крови и чесночный запах немецкого тола... Тишина оборвалась.

Играл оркестр оглушающе беспрерывно, бил очередями барабан, вибрировала труба.

— Тебя не судили потому,— как сквозь ледяную стену, пробился к Сергею собственный голос,— что меня ранило на второй день на перевале. Я знал цену Василенко и цену тебе. Ты всегда боялся меня, когда стал командовать батареей.

— Я? Боялся тебя? Я тебя никогда не боялся и сейчас не боюсь, сопляк! — не сдержался Уваров, и щеки его стали молочно-бледными.— Все понял? Или не понял?

— Нет. Теперь я тебя нашел.

Молчание. Оркестр не играл. Как из-за тридевяти земель, просачивались ватные голоса. Мимо столика теня-

ми шли люди. Говорили... Отодвигались стулья... Что это, кончился танец? Скорее... Сейчас подойдет эта женщина, чья сумочка блестела лаком на столе. Скорее... Это мужское, не женское дело. Здесь никто не должен вмешиваться...

— Теперь я тебя нашел,— повторил Сергей, разделяя слова.— Я ничего не забыл.

Тогда Уваров вдруг навалился грудью на стол, глаза сузились озлобленно.

— Если ты... если ты встанешь... поперек моей дороги... Я тебя сотру! Понял, Вохминцев? Понял? Ты меня знаешь!..

Сергей видел, как совсем немо шевелились узкие губы Уварова, и крупная его рука нервно соскользнула со стола, потянулась к заднему карману. «Что ж, у него может быть оружие... он мог не сдать оружия»,— мелькнуло в сознании Сергея, и с какой-то возникшей ненавистью к шевелению этих узких губ, к его полным щекам он сказал тихо, презрительно:

— Для этого... ты трус.— И добавил еще тише: — Встань!

— Что-о?

— Встань!

Уваров поднялся, и в то же мгновение Сергей резко и коротко, снизу вверх, ударил его по лицу, вкладывая всю силу в удар, ощутив на миг мясистое и скользкое, тотчас увидел отшатнувшееся мелово-бледное лицо, запрыгавший подбородок Уварова. С треском отлетел из-под его большого тела стул к соседней колонне, от толчка со звоном опрокинулись рюмки на столе. Уваров, охнув, хватая руками воздух, упал на ковер в проходе, ошеломленно провел пальцами по носу, глянул на них бессмысленным, тупым взглядом и, переводя глаза на Сергея, издав горлом захлебнувшийся звук, прохрипел рыдающе:

— Держите его... Держите его...

Сергей стоял подле столика не отходя. Он стоял, как в пустоте, и лишь видел в этой туманной пустоте круглые глаза Уварова, ожидая, когда он встанет. Уваров не вставал. Размазывая кровь по трясущимся щекам, он лежал на боку на ковре и, раскачиваясь, повторял задыхающимся слабым криком:

— Он меня изуродовал... Держите его!.. Он меня изуродовал! Держите его!..

— Подлец и сволочь! — отчетливо проговорил Сергей, повернулся и спокойными, очень спокойными шагами пошел к своему столику.

Он смутно различал чернеющую толпу перед собой, какое-то движение, крики, возмущенные взгляды, обращенные на него. Кто-то с багрово-красным лбом цепко охватил его локоть, старательно повис сбоку, засопел в ухо. Сергей вырвал локоть, взглянул в пьяные зрачки этого негодующего багрового человека, сказал: «Не лезьте не в свое дело, разберется милиция»,— и тотчас услышал за спиной женский плач, оглянулся: толстая белокурая девушка, исказив сдерживаемым плачем губы, наклонилась над Уваровым, что-то спрашивала его, смятым платочком вытирала ему щеки. И с неприятным ощущением увидел он в толпе возле нее ту, с которой только что танцевал. Уваров замедленно поднялся. Тут же кто-то схватил Сергея за плечо, послышался голос Константина: протиснувшись сквозь толпу, он, потный, стал перед ним; в лице его, в блестящих глазах — волнение, готовое мигом обернуться помощью.

— Что случилось? Ты кого или кто тебя?

— Ничего,— сказал Сергей.— Пошли.

— Хулиган! — крикнул кто-то в спину ему.— Орденов полна грудь, а хулиганит! Безобразие! Позовите милицию! Убил человека... Здесь не фронт — кулаками махать! Фронтовиков позоришь!

Он увидел багрово-коньячное лицо того человека, который минуту назад цепко удерживал его за локоть; багровый кричал басом, бровки гневно взлетали — он забегал вперед, толкаясь, сновал среди людей, жаждал деятельности, возмущения, наказания. Сергей со злостью оглядел его рыхлую фигуру — от новеньких тупых полуботинок до фальшивой рубиновой булавки в немецком галстуке,— молча оттолкнул его.

Они сели за свой столик. Сергей был бледен, внешне спокоен, только горячие струйки пота скатывались из-под мышек, он подтянул галстук и, чтобы не вздрагивали пальцы, выдернул папиросу из коробки, сильно сжал ее. Константин, как бы все поняв, чиркнул спичкой, дал прикурить, проговорил с успокаивающей невозмутимостью:

— Потом все расскажешь. Вытри пот с висков. Полное спокойствие. Придется иметь дело с милицией.

— Я этого и хочу,— сказал Сергей.

Он жадно выпил бокал ледяной фруктовой воды и снова отчетливо представил лежащего на ковре Уварова, искривленные плачем губы толстой некрасивой девушки — вспомнил и чуть поморщился. «Кто она ему — сестра, жена?» — подумал он без жалости к Уварову, с болезненной жалостью к ней, к ее некрасивому, искаженному болью лицу. «Что это я? — спросил себя Сергей.— Нервы размотались? Я готов пойти ее успокаивать, просить извинения?» И, помедлив, он ответил самому себе: «Нет. Она ничего не знает».

— Закажи еще фруктовой,— сказал Сергей.

Зал гудел голосами, возникло какое-то движение в проходе слева и около вестибюля; оркестр не играл, музыканты, переговариваясь, с любопытством поглядывали на столик, за которым сидел Сергей; донесся сзади чей-то крутой голос:

— Куда смотрит милиция?

«Почему люди осуждают по внешним признакам? — подумал Сергей.— Конечно, не он, а я ударил... Значит, ясно: виноват я... Видели кровь на его лице, его беспомощность, слышали его крик. Люди иногда судят просто: ударил человека — ты подлец, а не он; есть внешний факт, этого достаточно...»

— Почему вы его ударили, вы можете это объяснить? Что такое? Вы ведь фронтовик? И тот человек тоже фронтовик, судя по наградам!

Подошли двое к столику — молодой сухощавый подполковник, рядом — майор лет сорока, квадратный в плечах, неприязненно насупленный.

— Вы можете объяснить? — потребовал подполковник.— В чем дело?

— Нет. Это не объяснишь так просто. Если вы встречали на фронте подлецов, все станет ясным.

— Но драться в общественном месте...— строевым басом пророкотал майор, разводя руками; белый подворотничок врезался в его налитую шею.— Нашли бы другие меры...

— Побить морду — не самое страшное,— вежливо заметил Константин.

— Другая мера — суд,— вполголоса ответил Сергей и, ответив так, на какое-то мгновение подумал, что страстно хотел бы этого суда, где мог сказать то, что знал. И добавил, подняв глаза на майора: — Собственно

говоря, разговор произойти у нас не может. Смешно объяснять здесь причины.

— Леший ногу сломит! — сказал подполковник недоуменно.— Идите в вестибюль, здесь неудобно. Как я понял, вызвали милицию. Идемте, кажется, вы не пьяны?

— Думаю, нет. Пошли. Так будет удобнее.

Он привычно, как китель, одернул пиджак.

В холодноватом вестибюле с натасканным снегом на коврах полулежал на диване под тусклой пальмой Уваров: лицо умыто, бледно, чистым батистовым платком зажимал нос, веки полузакрыты, как у больной птицы. Некрасивая белокурая девушка — глаза красные, запухшие — что-то сбивчиво объясняла всхлипывающим голосом низкорослому капитану милиции, стоявшему посреди вестибюля с сизым, нахлестанным метелью лицом. Шинель была густо завьюжена, на плечах — пласт сухого снега. От него несло стужей улицы. Здесь же стоял с солидно-удрученным видом седой метрдотель, вокруг него в распахнутом пальто, в сбитой на ухо каракулевой шапке суетился возбужденно багровый человек, басовито выкрикивал:

— Это что же, а? Изуродовали человека!

Сергей, увидев столпившихся вокруг Уварова людей, капитана милиции, молчаливо расстегивающего забитую колючим снегом сумку, шагнул к нему, сказал:

— Вот документы.— Вынул и показал офицерское удостоверение.— Это я ударил.

Капитан милиции мрачно повел на него мокрыми бровями, полистал удостоверение, недобро глянул в лицо Сергея, затем — попросил Уварова:

— Ваши документы, гражданин.

Уваров, все так же придерживая одной рукой скомканный платок на носу, другой достал из кармана кителя удостоверение. Капитан развернул его, посмотрел неторопливо.

— Понятно. Студент...

— Слушайте, капитан,— глухо сказал Уваров.— Произошло недоразумение. Я не вызывал милицию. Мы фронтовые друзья. Повздорили, и только.— Помолчал и повторил спокойно: — Это недоразумение.

В вестибюле студено дуло от дверей, широкие стекла окон искрились от уличного фонаря. Метрдотель по-

косился в сторону багрового человека, а тот рванулся к капитану милиции, вскрикивая с одышкой:

— Без-зобразие, фронтовиков поз-зорят!..

— Я вас дружески предупреждаю: лечиться надо от глупости, у вас серьезный недуг,— ровно и ласково отозвался Константин.— Поверьте уж мне...

— Разойдитесь, граждане, по своим местам! — скомандовал капитан, пряча документы в сумку.— Прошу!

Сергей смотрел на Уварова; Уваров как бы не замечал его, не повернул головы — сел на диван, со злой брезгливостью наблюдая за зыбким покачиванием на холодном сквозняке жестких пальмовых листьев; нервный румянец пятнами заливал молочно-белые его щеки. «Кто он сейчас — студент? Он — студент?» — почему-то не веря, соображал Сергей и отчетливо подумал, что ничего между ними не кончено, не может быть кончено, и сказал, обращаясь к капитану:

— Я могу быть свободным?

— Н-да,— неохотно взмахнул перчаткой капитан милиции.— Однако разберемся. Мы вызовем обоих.

— Пожалуйста. Я могу хоть сейчас...

— Нет, особо, гражданин, особо.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Кто этот хмырь?

— Капитан Уваров. Я тебе о нем рассказывал. Командовал батареей в Карпатах. Не думал встретить его здесь. Испортил весь вечер. Ну где твои левые машины?

— Метель, наверно, разогнала. Все «эмки» на вокзалах, ждут ночных поездов. А ты все же молодец, Сережка.

— Поди к черту! Идиотство все это!

Они стояли возле подъезда ресторана, возле высоких, ярко освещенных окон, проступавших среди темной улицы Горького. Около фонарей тротуары плотно завалило снегом, снежный дым несло вдоль огрузших в ночи домов. Сергей поднял воротник, сунул руки в карманы шинели, сказал:

— Пойдем к Охотному ряду. Метро до часу.

— Глупо, но истина.— Константин затоптался, щурясь от снега, летящего в лицо.— Мне, Сережка, мешают деньги. Две тысячи. Их хочется вышвырнуть, иначе со-

жгут карман. К тому же я ничего не сказал Зоечке. Танцевал, раскидывал сети... Предлагаю втроем завалиться куда-нибудь...

— Езжайте куда хотите! — сказал Сергей раздраженно.— Мне осталось пятнадцать минут — закроют метро.

— А может?

— Ничего не может. Пока!

— Физкультпривет! До завтра!

Константин стряхнул кожаной перчаткой белые пласты с груди и, оставляя следы на снегу, быстро зашагал к подъезду ресторана; завизжала промерзшая дверь, со стеклянным звуком захлопнулась.

Сергей шел вниз по улице Горького, чувствуя упругие толчки метели в спину; справа, мутно темнея, медленно проплыло здание Центрального телеграфа. Улица спускалась к Манежной площади, и впереди в мелькании, в движении снега кругло засветились электрические часы на углу — без десяти час. Под часами бесшумно проскользил оранжевыми окнами поздний пустой троллейбус.

Были прожиты сутки и пятьдесят минут новых суток. В этот день он не чувствовал одиночества. Он почувствовал его лишь тогда, когда встретился с Уваровым,— люди, о которых помнил он и которых не было в живых, были, казалось, ближе, дороже, роднее ему, чем отец и сестра...

Да, вот он дома: зима, снег, фонари, тихие замоскворецкие переулки, свободные утра, горячая голландка, улица Горького, довоенный телеграф, метро — ночное; заваленные снегом подъезды. Он все время ждал прежней мальчишеской легкости, теплых июльских дней, всплеска весел и фонариков на Москве-реке в сумерках, спорящего голоса Витьки Мукомолова, который любил носить белую майку, обтягивающую сильные плечи. И была Надя в летнем платьице, с загорелыми коленками. Это было. Витька Мукомолов пропал без вести. И Нади нет. Погибли почти все, кого он знал в девятом и десятом классах. Жизнь сделала крутой поворот, как машина, на этом крутом повороте многие, почти все, вылетели из машины, и он остался один. Только он и Константин...

Сунув руки в карманы, Сергей шел по улице, порывы метели пронизывающим холодом хлестали по груди,

по лицу, и он невольно опять вспомнил о сталинградских степях, о тех дьявольских морозах сорок второго года.

Потом близко зажелтел сквозь снег освещенный изнутри вход в метро на другой стороне.

Он перешел улицу, услышал впереди женский смех и поднял голову. Перед входом в метро, под широкими окнами, двое мужчин с веселым оживлением придерживали за локти тонкую высокую девушку; она, смеясь, прокатилась по зеркально-черной, продутой ветром ледяной дорожке на тротуаре, и они стали прощаться. Девушка в мужской меховой шапке, размахивая планшеткой на ремешке, кивнула этим двум, провожавшим ее, исчезла в вестибюле метро. Морозный пар вылетел из махнувших дверей.

Сергей отогнул жесткий от инея воротник шинели, вошел в электрический свет пустынного вестибюля, машинально поглядел на часы — без пяти час. Вчера он вернулся в три часа ночи. На какую-то долю минуты он увидел себя как бы со стороны — человек, ведущий ночную жизнь, после четырех лет разлуки редко бывающий дома,— и, чувствуя внезапную жалость к Асе, к отцу, распахнул дверцу в крайнюю автоматную будку с запотевшими стеклами, поискал гривенник в кармане. Дома, конечно, могли не спать — ждали его.

— Досада какая... Разъединили. У вас не будет десяти копеек? — послышался звучный голос, и он взглянул, проталкивая гривенник в гнездо,— девушка в мужской меховой шапке, выставив одну ногу в белом ботике из соседней будочки, рассматривала на кожаной перчатке мелочь; офицерская планшетка на ремешке свешивалась через ее плечо.

Он опустил трубку, монета звонко ударилась в коробке возврата. Он сказал полусерьезно:

— Пожалуйста. Рад, что могу вам помочь.

— Спасибо.

Она задержала на его лице взгляд, и он узнал ее. Но не было уже той странной близости, рожденной ее послушными движениями, сильным пожатием руки при поворотах, когда они танцевали. Они были чужими, не знающими друг друга людьми, разделенными этим вестибюлем, этими автоматными будочками и намерениями, с которыми они подошли к телефонам. «Кому она звонила? — подумал он.— Кто были те двое? И, кажется,

Уваров сел около них за соседний столик?.. Но, может быть, это показалось?»

Она улыбнулась несмело.

— Я вас не ограбила?

— Звоните, я найду еще гривенник,— сухо сказал Сергей и снова вошел в будку.

Она вошла в свою, однако не закрыла плотно дверь, оставив щелочку, как бы не стесняясь Сергея,— он видел меховую шапку, белую от снега, по-мальчишески сдвинутую со лба, край глаза, пар дыхания. Она набрала номер привычно, быстро, послушала и, задумчиво водя пальцем в перчатке по стеклу, повесила трубку. Он заметил это.

— Вам нужен еще гривенник?

— Нет. Никто не подходит.

В его трубке были длинные гудки.

— У меня тоже. Нам, кажется, не везет сегодня обоим.

Не ответив, она вышла, начала застегивать расстегнувшуюся планшетку, никак не могла справиться с кнопками, он тоже вышел из своей будки и усмехнулся:

— Разрешите, я помогу? Здесь нужно уметь. Я четыре года носил эту штуку. Может быть, что-нибудь получится.

И преувеличенно развязно взял планшетку, новенькую, гладкую,— такие новые, неисцарапанные, не потертые в траншеях никогда не носил он. Легко застегнул кнопки, с четкостью услышав в пустом вестибюле резкие щелчки в тишине, и выпрямился — она неспокойно и вопросительно глядела на него. Он спросил:

— Вы что, боитесь меня?

— Нисколько. Но зачем это? Я сама сумею щелкнуть кнопками. Спасибо.

— Пожалуйста.

Он надел перчатки, небрежно козырнул, пошел по гулкому безлюдному вестибюлю к лестнице, ведущей вниз, в теплоту огней подземного коридора метро. И тотчас приостановился на повороте, задержанный простуженным окриком:

— Гражданин, придется вернуться, последний поезд отошел!

Навстречу, покашливая, шмыгая валенками, шел милиционер вместе с усталой курносенькой девушкой в форме.

— Черт! — сказал Сергей.

— Без всяких чертей, товарищ,— наставительно произнес милиционер.— Ничего не поделаешь. По рельсам домой не потопаете. Вертайтесь.

— Черт! — повторил Сергей.— Не повезло!

Он начал подыматься по лестнице назад, заметил бегущие по ступеням вниз белые боты, полы расклешенного пальто, с досадой сказал:

— Возвращайтесь назад. Могу вас обрадовать. Метро закрыто.

— Как закрыто?

— Закрыто, закрыто! — на весь вестибюль начальственно крикнула курносенькая девушка в форме.— Освобождайте, граждане! Не задерживайте, я закрываю.

Возле метро снег закрутился на тротуаре, ожег кипящим холодом, ветер ударил Сергея в бок, подхватил, замотал планшетку девушки. Она, щурясь на Манежную площадь, придерживая пальто у сдвинутых колен, проговорила беспомощно:

— Хоть бы одна машина!..

Он увидел ее белое лицо, покрасневший нос, зажмуренные от ударов снега глаза, и это лицо показалось ему тусклым и жалким.

— Вы далеко живете? — отрывисто спросил Сергей, но ответа не последовало.— Я спрашиваю: далеко живете? Где ваш дом?

— Вам-то что? — Она из-за воротника прижмурилась на него.— Вам-то что до этого?

— Бросьте! — проговорил Сергей почти грубо.— Замерзнете к черту в своих ботиках, в этих перчатках. Где вы живете? Чего вы боитесь? Говорите...

Она молчала, сжав губы. Он сказал по-прежнему грубовато:

— Ну? Вы думаете, провожать вас мне доставляет колоссальное удовольствие?

Стоя боком, она засмеялась и вдруг повернулась к нему:

— Ну, положим, я живу на Ордынке. Это вам что-нибудь говорит?

— Говорит: полчаса ходьбы. Вам повезло. Нам почти по дороге. Идемте!

— Спасибо! — Она с насмешливой гримасой накло-

нилась, поправила застежку бота, потом сказала: — Ну что ж...

— Тогда пошли!

Когда миновали Исторический музей, чернеющий мрачной громадой, и когда зачернел угрюмо-пустой храм Василия Блаженного на краю Красной площади, по которой катились волны метели, оба замедлили шаги — ветер здесь, на открытом пространстве, наваливался со злой неистовостью; над головой в стремительных токах сухого снега гремели, дергались вдоль тротуара обмерзлые ветви деревьев. Полы ее пальто, планшетка, подхваченные ветром, жестко хлестали Сергея по затвердевшей шинели.

— Идемте быстрей! — поторопил он.

Оттого, что он говорил с ней дерзко, как с мужчиной, и оттого, что она, сопротивляясь, пошла за ним, он почувствовал какое-то грубое превосходство над ней, но одновременно возникала и неловкость.

— Не торопите меня, пожалуйста! — невнятно проговорила она в воротник, остановилась и опять поправила бот уже раздраженно.— Я не хочу бежать, это мое дело! Мне вовсе не холодно, а жарко!

На мосту окатило их жгучим пронзительным паром, несло снизу запахом ледяной стужи — стало невозможно дышать. Они ускорили шаги — была видна через накаленные ветром перила черная вода незамерзших закраин у берегов. Но когда, минуя поток стужи на мосту, вышли по сугробам на угол Ордынки, Сергей почувствовал, что она споткнулась, и механически, непроизвольно, взял ее за рукав, покрытый наростом снега.

— Ну что?

— Ничего,— ответила она.

И, задыхаясь, сняла его руку с локтя. Спросила:

— Просто интересно — сколько сейчас градусов мороза?

— Двадцать пять, по крайней мере.

Метель с гулом ударила по крыше дома, загремело железо, в снежном воздухе пронеслось гудение проводов.

— Придется подождать. На правой ноге жмет туфля...— Она пошевелила ногой в ботике.— Господи, кажется, онемела нога. Это просто анекдот,— сказала она, стараясь улыбаться.— Бывают в жизни глупые вещи. Можно не обморозиться в Сибири и обморозиться в Москве. Что вы так смотрите? Смешно?

— Не вижу ничего смешного. Заходите в какой-нибудь подъезд. И ототрите ногу! Иначе вам долго не придется носить туфельки. Идите сюда! — приказал Сергей.— Слышите? Идите сюда!

Он подошел к первому подъезду, рванул заваленную сугробами дверь. Дверь подалась, завизжала, и, еще держась за обледенелую ручку, он оглянулся. Она, хромая, с напряжением улыбаясь, все-таки вошла в подъезд, а он, пропустив ее вперед, крепко захлопнул дверь и, очутившись в настуженной темноте, отвернул жестяную от мороза полу шинели, принялся шарить спички.

— Ищите место, садитесь,— снова приказал он и едва зажег спичку окоченевшими пальцами.

Она посмотрела на него настороженно, дунула на огонек, сказала:

— И так видно. Не мешайте своими спичками...

Подъезд был темен, грязен, с сизо искрящимися от инея стенами, пахнущий подвалом и кошками; обшарпанная лестница уходила наверх, в потемки этажей, безмолвных, мрачно ночных.

Сергей, отвернувшись, нетерпеливо ждал. Он слышал, как она щелкнула застежкой бота, стукнула о лестницу туфлей, стала что-то делать, и тотчас словно увидел, как, неловко сидя на ступенях, она озябшими руками осторожно растирает пальцы на онемевшей ноге, держа ее на весу,— и с мгновенной жалостью сел рядом с ней на ступеньку.

— Кладите ногу ко мне на колено! — сказал он тихо.— Давайте я разотру. Мне приходилось это делать.

— Я закричу,— сказала она неуверенно.— Слышите, закричу! И разбужу весь дом...

— Кричите,— ответил он.— Сколько хотите.

И уже совсем решительно откинул полу шинели, положил ее ногу на колено — ладонями почувствовал тонкий шелковый чулок, скользкий, ледяной от холода, твердую и крепкую икру. Он ровно, сильными движениями начал растирать ей ступню, все время ощущая в потемках настороженный взгляд на своем лице.

— Ну как, лучше? — выговорил Сергей.

— Мне... неудобно сидеть,— прошептала она.

— Потерпите,— сказал он.— Еще немного.

— Порвете чулок,— выдохнула она жалобно и замолчала.

Тогда он спросил, задохнувшись:

— Что ж вы не кричите?

Она прошептала:

— Мне больно... хватит...

Было какое-то движение: искала рукой бот или туфлю, вплотную подвинулась к Сергею — он неожиданно ощутил своей щекой холодную влагу меха воротника, смешанную с теплотой дыхания, почувствовал на плече тяжесть ее опершейся руки и, чувствуя этот сырой, слабо пахнувший морозом мех, видя ее мокрое лицо, порывисто и неуклюже поцеловал ее в дышащий теплом рот.

Она тряхнула головой, отстранилась изумленно.

— Ого! Салют! Вы это что — в армии так?

— Именно...— пробормотал Сергей растерянно и встал, от внезапного волнения, от неловкости этой злясь на себя, уже плохо слыша, как рядом скрипнула застежка ее надетого бота, но, когда она ветерком прошла мимо, задев его полой пальто, снова в сумеречном воздухе подъезда его коснулся запах сырого меха.

— Как вас звать? — негромко спросил Сергей.— Я с вами почти целый вечер... и не знаю.

Прислонясь к перилам, она ответила насмешливо:

— Вы всегда так знакомитесь?

Он плечом толкнул дверь парадного.

Преодолевая порывы метели, шли по сугробам. Она шагала, наклоняясь, смотрела под ноги, дыша в мех воротника, и Сергей спрашивал себя: «Зачем? Что это я?»

На углу он приостановился, молча закурил, прикрыв ладонями огонек спички.

Она тоже молча подняла голову, зажмурилась, на лице тенями мелькало отражение снега. Вверху, окутанный метелью, в белом кольцевом сиянии горел фонарь. Она спросила:

— Что вы остановились?

— Далеко ваш дом? — спросил Сергей.

— Можете злиться, но не надо курить на морозе,— сказала она, вытянула из его пальцев папиросу, бросила в снег, затоптала каблуком.— Во-первых, меня зовут Нина. Надо было раньше спросить. Ну ладно! — Она засмеялась и своей снятой перчаткой стряхнула снег с его шапки и плеч.— Посмотрели бы на себя — весь в снегу, как индюк в муке! Называется — допровожались! Идемте ко мне, погреетесь. Я отряхну вас веником. Так и быть.

Он только еле кивнул.

Вошли во двор, тихий, весь заваленный сугробами.

— Вот здесь,— сказала Нина, взглядом показав на окна, темнеющие над крышами сараев.

Она открыла забухшую на морозе, обитую войлоком дверь, и оба вошли в темноту парадного.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Сергей проснулся от странного безмолвия в незнакомой комнате, лежал в постели с тревожным, замирающим ощущением, не смог сразу понять, где он.

Стекла окон золотисто горели. Была тишина утра. За стеной в соседней квартире передвигали стулья, слабо доносились голоса. Над головой звеняще тикал будильник. И он вдруг все вспомнил до ясности отчетливо, все то, что было вчера.

Он помнил, как они поднялись на второй этаж и она ввела его в свою комнату. Метель обдувала дом, ударяла по крыше, свистела в чердачных щелях, но ветер не проникал сюда, в тишину, в ночной уют, в запах чистоты, покоя, где веяло теплом, домашней устроенностью и зеленым куполом в полумраке светилась настольная лампа.

Потом они сидели подле открытой дверцы печи, в которой неистово кипело, трещало пламя, было паляще-жарко коленям, сидели без единого слова, и он украдкой смотрел на Нину, а она смотрела на огонь... После того как он вел себя с ней нарочито грубо, после того как он вошел в эту маленькую, незнакомую комнату, ему трудно было нащупать нить разговора, преодолеть неловкость, быть прежним, каким недавно был на улице и в том подъезде; он еще чувствовал на спине холод озноба, боялся — голос его будет вздрагивать.

— Кто вы? — наконец спросил он.— Военная медсестра, врач? Как вы очутились в ресторане?

— Закройте дверцу. Так лучше,— попросила она, а когда он закрыл, взглянула с шутливой благодарностью.— А то сгорят мои шелковые чулки. То есть как — кто я?

Она, смеясь, откинула волосы.

— Да нет,— сказал он, усмехнувшись.— Кто вы вообще?

— Ну, положим, я геолог. И вернулась с Севера.

И очутилась в ресторане. Отмечали мой приезд. А вы как там очутились? — Она поставила ногу на полено, глядя на огненное поддувало.

— Просто так,— сдерживая голос, сказал Сергей. И договорил: — Просто так. Без всякой цели.

Она спросила минуту спустя:

— Зачем вы его ударили? Мстили за кого-то? Мне показалось...

— Не будем об этом говорить,— сказал он.

— Но я хорошо знаю Таню.

— Какую Таню?

Засунув руки в карманы, он с хмурым лицом прошелся по комнате, прохладной после колючего жара печи, постоял у окна, прижался лбом к веющему острым холодом стеклу, повторил:

— Сейчас не хочется говорить.

Он опять присел к печке, раскрыл дверцу, выбрал самое большое полено и, взвесив его на ладони, положил в огонь. Полено захрустело, горячо и буйно закипело в пламени, выделяя пузырящиеся капли сока на торце, и в этот миг охватившего его тепла и тишины он заметил сбоку двери свою шинель, висевшую рядом с ее пальто, заметил мокрый мех воротника и тогда особенно стыдно вспомнил, как неуклюже поцеловал ее в подъезде. И, вспомнив ее изумленно отклонившееся лицо, быстро сказал, пытаясь шутить:

— Кажется, я выполнил свою миссию. Простите. Мне пора.

Было тихо в комнате; ветер с гудением проносился за стенами дома.

Она не ответила. Только повернулась и посмотрела как бы просящими помощи глазами, и он совсем близко увидел виновато подрагивающие уголки ее губ.

— Нина, что ты хотела сказать? Что ты хотела сказать?..— вдруг с трудом, вполголоса заговорил он, видя виновато и робко вздрагивающие губы, и не договорил, и так порывисто и неловко обнял за плечи, целуя ее — стукнулся зубами о ее зубы.

«Кто она? Как это получилось?»

Он оделся, и тут ему бросилось в глаза: прижатая ножками будильника на тумбочке белела записка.

Он осторожно взял ее — мелкий круглый почерк, бисерные буквы:

«Сережа! Я ушла. Всё на столе. Делай что хочешь. До вечера. Нина».

Звонко тикал будильник, и этот единственный звук подчеркивал безмолвную пустоту квартиры.

Сергей ходил по комнате, в смолистом свете утра теплел воздух, становился розовым, и вещи Нины — ее серый свитер на спинке стула, ее узкие туфли под тахтой — тоже мягко теплели от зари. Это были ее вещи, которые она носила, надевала, которые прикасались к ее телу.

«Кто она? Как это получилось?»

Он долго глядел в окно.

После вчерашней метели двор, крыши сараев были наглухо завалены розовеющим свежим снегом, на крышах четкими крестиками чернели по чистой пелене следы ворон... И эти следы на утреннем снегу тихим и сладким толчком тревоги стискивали горло.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Он вернулся домой в десятом часу утра.

Сквозь сон смутно донесся возмущенный шепот Аси, ворчливое бормотание отца — голоса жужжали, колыхались где-то рядом, а он в полудреме старался вспомнить, что было вчера — неожиданное, оглушающее, счастливое,— все, что случилось с ним.

И, уже очнувшись от сна, Сергей с минуту еще лежал, не размыкая глаз, слыша около себя голос Аси, и почему-то хотелось улыбнуться от звенящего и горячего чувства радости.

— Папа, он сопьется — каждый день возвращается на рассвете! Уверена, ходит к каким-то гадким женщинам. Его пиджак пахнет отвратительными духами. Ты чувствуешь? Именно не одеколоном, а духами...

— Не замечаю,— скрипуче отвечал отец.— Вообще, скажи, пожалуйста, откуда это у тебя — «гадкие женщины»? В твои годы странные познания! Духи... какие духи?

— У тебя нет нюха,— со слезами в голосе выговорила Ася.— Я давно говорила. Тебе что керосин, что духи — одно и то же! — И с негодованием воскликнула: — Ужас какой!

Сергей вздохнул, как будто только сейчас просыпаясь, громко затрещав пружинами, повернулся от сте-

ны — и снова, как вчера, светло ударило по глазам уютным солнцем морозного утра, ослепительной белизной окна.

В комнате топилась печь, попискивали котята в коробке, отодвинутой от багровеющего поддувала. Ася, заспанная, аккуратный передник повязан на талии, стояла посреди комнаты, зеркально-черные глаза возмущенно смотрели на пиджак Сергея, висевший на стуле.

— Ах, ты проснулся! — воскликнула она даже испуганно как-то.— Здравствуйте, донжуан несчастный!

Отец, в очках, с сосредоточенным выражением занятого человека, ползал на четвереньках перед дверью, держал галошу в руке и, нацеливаясь, щелкал этой галошей по полу, по солнечным полосам, кряхтел от усилий.

— Э, паршивцы! Пошла прочь!

Исхудавшая кошка зевала, следила за взмахами галоши, изредка мягко вытягивала лапу, лениво играя.

И Сергей, не поняв, в чем дело, засмеялся беззаботно, откинул одеяло, сказал с счастливой веселостью:

— Что у вас здесь? Клопов щелкаете? А ну, Аська, марш в другую комнату, одеваться буду!

— Он еще командует! Лучше бы молчал! — Ася вспыхнула, выбежала, мелькнув передником, в другую комнату, крикнула за дверью: — Просто какой-то кошмар!

Отец, нацелясь, хлопнул галошей, досадливо забормотал, обращаясь не к Сергею, а вроде бы к кошке:

— Мураши. Откуда эти мураши зимой? Брысь, окаянная, все б тебе играть, а котята голодные. А ну — геть! Лезь к своим чадам.— Он подтолкнул кошку к коробке, где возились котята, потом снял очки, взглянул на Сергея близорукими глазами.— Доброе утро, сын...

— Доброе утро... Николай Григорьевич!..— живо ответил Сергей и запнулся с неловкостью человека, заговорившего фальшивым тоном.

Он часто ловил себя на этой фальшиво-фамильярной интонации в разговоре с отцом, которая не позволяла назвать его ни «отцом», ни «папой», создавала некоторую натянутость в их взаимоотношениях, заметную обоим.

Отец смущенно бросил галошу к двери, сел на стул, на спинке которого висел пиджак Сергея, протер, повертел в пальцах очки. Густая серебристость светилась в

его волосах; и было почему-то нечто жалкое в том, как он протирал и вертел очки, в том, что его вылинявшая, довоенная пижама была не застегнута, открывала неширокую грудь, поросшую седым волосом.

Был он до войны статен, темноволос, удачлив во всем; поздним вечером приходил с работы, кидал портфель на диван, целовал мать — красивую, сияющую весело-приветливыми глазами; маленькие сережки, как две капли росы, сверкали в ее ушах; затем отец садился за стол, часто рассказывая о разных смешных случаях на комбинате, которым руководил, при этом хохотал заразительно, молодо.

Во время войны сразу и навсегда кончилась молодость отца, и возник новый его облик, в который Сергей не мог поверить. Из писем знакомых стало известно, что на фронте отец сошелся с какой-то женщиной — медсестрой из полевого госпиталя, и тогда Сергей, ошеломленный, с бешеной злостью написал ему, что не считает его больше своим отцом и что между ними все кончено.

Он узнал, что отец, комиссар полка, выводил два батальона из танкового окружения под Копытцами, прорвался к Вязьме, был тяжело ранен в грудь и позже тыловым госпиталем направлен на окончательное излечение в Москву. Николай Григорьевич застал Асю одну в полупустом, эвакуированном доме, мать умерла. Отец неузнаваемо постарел, обмяк и как бы опустился: лежал целыми днями на диване в своей комнате, плохо выбритый, безразличный ко всему, не ходил на перевязки, с утра до вечера читал старые письма матери, но не говорил ничего. После излечения его уволили в запас.

Он долго не работал. У Николая Григорьевича были серьезные неприятности, осенью его вызывали несколько раз в высокие инстанции — всплыло дело о потере сейфа с партийными документами полка во время прорыва из окружения, отец жил в состоянии равнодушия и беспокойства одновременно и наконец устроился на тихую, совершенно не соответствующую его прежнему характеру работу — бухгалтером на заводе «Диафото», объясняя это своим нездоровьем.

Третьего дня вечером Сергей, вернувшись от Константина, вошел к себе и, раздеваясь, услышал из другой комнаты раздраженные голоса — отца и соседа по квартире Быкова. Он прислушался, удивленный.

— Никакой рекомендации я тебе не дам, никогда не

дам! — говорил отец, взволнованно покашливая.— Я отлично помню шестнадцатое октября. Ты сказал мне: «Конец! Погубили страну, дотанцевались!» И посоветовал порвать партийный билет, бросить в уборную! Так это было? Так! Мол, революция погибла! Так и расскажи в партбюро своей текстильной фабрики: был момент, когда не верил ни во что!

— Ты болен!..— донесся надтреснутый голос Быкова.— Ты болен тогда был, болен! В бреду все привиделось. И ты не чистенький, Николай Григорьевич! Я твою коммунистическую совесть наизнанку знаю, как вот пять пальцев. На фронте с бабой спутался, может, из-за этого и жена твоя умерла, а? По себе о людях судишь?

— Вон отсюда... вон! — шепотом выговорил отец.

Дверь распахнулась — Быков толкнул ее плотной, обтянутой кителем спиной, вышел, пятясь, щеки розовые, глаза неподвижно остекленели, остановились на сжатых кулаках отца, наступавшего из комнаты.

— Ты... ты убил свою жену, вот где твоя совесть старого коммуниста...— бормотал Быков и, перекатив глаза на Сергея, возвысил голос, замахал перед грудью отца пальцем.— Во-от каков твой отец, коммунист, во-от, смотри на него!..

— Вы что, с ума сошли? — спросил Сергей, видя болезненное лицо отца и багровое лицо Быкова, озлобленно махавшего пальцем в воздухе.

Сергей, едва сдерживая себя, двинулся к Быкову, взял его за ворот, коснувшись толстой шеи, и, тряхнув так, что затрещал китель, вывел его, грузного, потного, в коридор и тут предупредил:

— Еще одно слово — и я вас вытряхну из кителя. Поняли?

— Пусти! Рукам воли не давай! — удушливо выкрикнул Быков и, одергивая китель, оглядываясь зло, засеменил новыми, обшитыми красной кожей бурками по коридору к своей двери.

— Ты все слышал? — спросил потом отец, осторожно поглаживая левую сторону груди.— Все?

— Нет. Но я понял.

После Николай Григорьевич, казалось, все время испытывая неловкость и неудобство, помнил эту сцену, и сейчас, в это солнечное морозное утро, присев возле быстро одевавшегося Сергея, он спросил с некоторой заминкой:

— Как дела, сын? Настроение как?

— Настроение великолепное. Перспективы шоферские. Умею водить «виллис», «студебеккер», «бээмвэ»,— ответил Сергей.— Вчера слышал по радио — набирают на курсы шоферов; Шаболовка, пятнадцать. И говорил об этом с Костей, он старый шофер. Подучусь, буду водить легковую или грузовую, все равно. Аська, входи, я уже в штанах! — крикнул он, перекинув мохнатое полотенце через плечо.

— Это, конечно, перл остроумия! — отозвалась из-за двери Ася.— Просто все падают от смеха! Ха-ха!

Она вошла, худенькая фигурка очерчена солнцем, взгляд немигающий, ядовитый.

— Ты прожигаешь жизнь! Поздравляю! Ты вращаешься в светском обществе! Поздравляю! Твой новый костюм пахнет отвратительными духами. На нем был женский волос — отвратительный, золотистого цвета. Покрашенный, конечно.

— Не думаю,— сказал Сергей.— Что касается волоса, то это наверняка Костькин. Вчера он щеголял по Москве без шапки. Был ветер, волосы летели с него, как с одуванчика. Он страшно лысеет.

Ася презрительно возразила:

— С каких пор Константин стал золотистый? Оставь, пожалуйста! Я не дальтоник. Не морочь мне голову. Все очень остроумно. Были пострадавшие от смеха.

— Мороз. Потрясающе действует мороз.

Он звучно поцеловал ее в щеку, Ася отстранилась, произнесла неприступно:

— Я не люблю эти неестественные нежности. Обращай их, пожалуйста, к... своему пиджаку.

— Ася, при чем здесь пиджак? — вмешался Николай Григорьевич.— Что это такое? Хватит, пожалуйста.

— Ничего не хватит, папа! — ревниво перебила Ася, блестя глазами.— Он нас не видит и не хочет видеть. Он, видите ли, скуча-ает!..

— Аська, только не молоти чертовщину,— сказал Сергей.— Не хочу ссориться, честное слово. Когда двое ссорятся по мелочам, оба виноваты. Я хочу быть правым.

Николай Григорьевич в раздумье потер о колено дужки очков.

— Значит, в шоферскую школу? Н-да. Ничего советовать не могу, ты взрослый человек. Только одно:

у тебя ведь десять классов, капитан артиллерии. Доволен будешь? В институт не тянет?

— Все забыл, что учил в школе. Таблица Менделеева, бином Ньютона — тень в безумном сне. Не хочется начинать все сначала, с детских штанишек. Не усижу за партой.

— Зато усидишь в грузчиках,— вступила Ася.— Это ужасно находчиво и современно!

— Когда меня оскорбляют родные сестры, я ухожу в ванную.

Сергей засмеялся, приподнял Асю, опустил на стул и вышел в коридор коммунальной квартиры.

Ванная была занята, ровный плеск воды, кашель, кряхтение доносились оттуда. Сергей, не задумываясь, постучал, узнав по сопению и вздохам соседа Быкова.

— Здесь очередь, уважаемый товарищ!

Из кухни, освещенной солнцем сквозь замерзшее окно, пахнуло теплом — духом соленой поджаренной рыбы, картошки и жирным ароматом тушенки, кофе,— запахами недавних квартирных завтраков. Около плиты с обычным запозданием (вставали поздно) шумно и бестолково возились со сковородкой соседи по квартире: художник Федор Феодосьевич Мукомолов, высокий человек с бородкой клинышком, и его жена — художница Эльга Борисовна, женщина худенькая, спокойная, поблекшая, совсем седая уже. Мукомолов дымил торчащей в сторону набивной папиросой, держал за ручку шипящую сковородку, Эльга Борисовна сыпала из пакета яичный порошок в баночку, говорила усталым голосом:

— Ты ничего не понимаешь, Федя, ты на редкость бестолков в этих делах. Надо сначала маргарин. Все сгорит. Отпусти, пожалуйста, сковородку. И вынь папиросу. Ты сыплешь пепел в разные стороны.

— Не может быть! — Мукомолов согнулся к плите, затряс бородкой над сковородой.— Надо искать, Эленька, искать. Вода заменит маргарин. Я утверждаю. Маргарин — это каноны. Надо ломать каноны. Совершенно верно.

Он постоянно придумывал новшества в кулинарном искусстве, потрясая и убеждая всю квартиру: мясо надо жарить на воде, можно жарить и варить маринованную селедку, поджаривать овес и грызть его, как семечки,— великолепное средство от гипертонии, укрепляет физические силы, удлиняет жизнь.

С вечной папиросой в зубах, он при встречах старомодно снимал шляпу, раскланивался, зимой и летом носил демисезонное пальто, никогда не болел, по утрам гремел в своей комнате гантелями и гирями; порой, идя в ванную или уборную, появлялся на пороге кухни в галошах на босу ногу и в трусах, а вслед ему несся оклик Эльги Борисовны:

— Федя, Федя, ты меня удивляешь! Вернись! Оденься приличнее!

Считали его безвредным человеком, с чудинкой, что и должно быть, разумеется, свойственно художнику, и тем более бросалось в глаза, что Мукомолов-отец ничем не был похож на своего сына Виктора, довоенного друга Сергея.

— Добрый день, здравствуйте, Сергей Николаевич! — воскликнул радостно Мукомолов, не выпуская из левой руки держак дымящейся сковородки и выкидывая Сергею правую руку, будто даря ее.— Гимнастику делали? Нет? Плюньте на ванную. М-м... Петр Иванович Быков подолгу, знаете... Слабость. Идемте ко мне. Нет, нет, идемте ко мне! У меня гири, гантели. Эля, держи сковородку. Я убегаю. Прошу вас, Сергей Николаевич.

Он выпустил сковородку, подхватил Сергея под локоть, потащил по коридору к своей двери, провожаемый упрекающим взором Эльги Борисовны.

Комната Мукомолова, большая, очень светлая от снега и солнца, с кучей дров подле голландки, была увешана и заставлена картинами: портрет беловолосой веснушчатой девочки — губы изогнуты наивной улыбкой полумесяцем; крымские пейзажи; летнее росистое утро на лугу; глубинный мрак чащи с редкими пятнами на листьях; застывшая осенняя вода, затянутая туманцем в ожидании дождя. Сергей провел взглядом по стенам — и внезапно повеяло жарой, палящим солнцем у белых стен крымских домиков, до ощутимости запаха понесло прохладой из мрачной чащи близ тусклой осенней воды,— спросил удивленно:

— Это все ваше?

— Вот великолепные гири, вы только обратите внимание, разного достоинства — от килограмма до пуда, вот вам! — торопливо говорил Мукомолов, сбрасывая со стула измазанные красками потрепанные штаны, и показал

стоявшие здесь гири.— Берите и занимайтесь. Я — каждое утро и даже вечером.— И, смеясь глазами, погладил бородку.— Видите ли, чтобы сделать что-нибудь полезное на этом свете, надо колоссальное здоровье иметь. Особенно в искусстве. Титаническое здоровье Льва Толстого. Несокрушимое здоровье.

— Это все ваше? — опять спросил Сергей, оглядывая картины, и улыбнулся.— Кажется, я все это видел. Через такой луг шли под Лисками. Здесь нас бомбили. В этом урочище под Боромлей... Орудия стояли на опушке.

— Вы ошибаетесь, это... это не Лиски и не... как это, Боромля,— оживляясь, шаря по карманам спички, заговорил Мукомолов.— Но это так, так... ассоциации. Так, так... Вы правы. Садитесь, садитесь.

Торопясь, зажег спичку, прикурил, помахал спичкой, гася, бросил на пол, будто стряхнул нечто, обжегшее пальцы. В волнении начал искать свободный стул — свободных не было: два около мольбертов неряшливо завалены тюбиками красок, кусками пестро заляпанного картона, заставлены чашечками с мутной водой. Мукомолов фыркнул дымом в бородку, сказал виновато-весело:

— Простите, все стулья сожгли в войну. Сухие венские стулья отлично разжигали печь. Пустяки. Минуточку, минуточку. Вот сюда. Вот сюда, сюда зайдите. Как это вам? А?

Взяв за локоть Сергея, завел его за мольберт, повернул спиной к окнам и, скрестив на груди свои большие руки, склонил голову набок, словно бы прицеливаясь.

На мольберте на холсте — задавленный сугробами московский двор без забора, часть улицы, снег на мостовой; солдат, опустив вещмешок, растерянно стоит у двух столбов, где прежде были ворота, в нерешительности ищет глазами номер дома, мальчишка с санками, задрав голову, впился в молодое лицо солдата, рот приоткрыт.

Мукомолов сжал локоть Сергея и тотчас замахал погасшей папиросой, рассыпая в разные стороны пепел, бросил ее в чашечку с водой.

— Нет, нет, мальчишка не его сын! Нет, нет! Это еще до конца не выражено. Нет.

Он снова схватил толстую папиросу из коробки на стуле и заходил по комнате чуть прыгающей, возбужденной походкой.

— Мне один критик говорит: у вас серая гамма! Нет света оптимизма. Вы понимаете? Но чувства, чувства,

человеческие эмоции! «Серая гамма»! Все люди делятся на две половины: больных и здоровых. Для одних — диета, для других — нет. Так вот, этот критик относится к тем, кто кушает только белый хлеб. Черный несъедобен для него: боится, расстроится желудок! Он бы уничтожил Левитана, растряс бы Саврасова в клочья! Вот вам!

Мукомолов трескуче закашлялся, глянул на Сергея, слушавшего и не совсем его понимавшего, лицо неожиданно подобрело, засветилось беззащитно, мелкие морщинки звездочками собрались на висках.

— Простите, Сергей Николаевич, меня ужасно кусают эти критики.— И сейчас же спохватился, вскричал: — А гири? Возьмите себе пудовую! Прекрасно по утрам. Вы молоды, но молодость проходит — не успеешь по сторонам посмотреть. А как нужно здоровье! Для того чтобы кое-что сделать в искусстве, титаническое здоровье надо иметь. Да, да! Хотя бы чтоб доказать, что ты недаром жил, недаром!

Раздался громкий стук из коридора. Дверь приоткрылась, в щель просунулся Быков, весь распаренный, младенчески-розовый после ванны, пророкотал жирным баритоном:

— Ванна свободна. Эльга Борисовна сказала: тут вы. Пожалуйста.— Он улыбнулся одной щекой Мукомолову.— Молодость, Федор Феодосьевич. Не терпится. Очередь, говорит, собралась...

— Входите, входите, Петр Иванович,— пригласил Мукомолов широким жестом.— Что вы в дверях?

— А, показываете новенькое что?

Быков солидно внес свое небольшое упитанное тело, был по-воскресному — в полосатой пижаме, чисто выбритые щеки лоснились, запахло цветочным одеколоном.

— Всё рисуете, всё образы рисуете,— заговорил Быков, туманным, как бы размякшим после ванны взором глядя не на Мукомолова, а на Сергея, и приблизился к мольберту, расставил ноги в широких штанах пижамы.— Н-да... Так... Хм, н-да... Нравится вам, Сергей Николаевич?

Сергей промолчал — общество Быкова было неприятно ему.

— Вы отойдите, отойдите от картины, Петр Иванович.— Мукомолов смущенно потеребил бородку.— Так нельзя... Когда Рембрандт показывал своего «Блудно-

го сына», все подошли близко и ничего не увидели. Рембрандт сказал, чтобы отошли от картины — краски дурно пахнут. Все отошли и изумились. Я не прошу, разумеется, изумляться, но нужно уметь смотреть картины.

Быков насмешливо обежал глазами комнату, поинтересовался:

— А для кого же картины эти рисуете, Федор Феодосьевич? Для музея иль для себя... так, для удовольствия? Деньги-то платят? Ну вот этот солдат сколько стóит?

— Я не оцениваю своих картин! Я не продаю их даже в музеи, как вы говорите! Их не покупают! Сейчас не покупают. Но я не гонюсь за деньгами, нет, нет! Я очень давно не продавал... не выставлялся! Но у меня около тысячи законченных акварелей, и, если каждую оценят минимум по две тысячи рублей, это два миллиона. Вот вам! Съели? — Мукомолов едко засмеялся.

— Эт ты, ого! — выговорил Быков и хлопнул себя по ляжкам.— Выходит, с миллионщиком в квартире живем! Лады, лады... Разбогатеете — миллион займу.

Быков понимающе поглядывал на Мукомолова, на скупую обстановку комнаты, будто снисходительно сочувствуя, жалея и этого неудачника Мукомолова, и эту обстановку, и картины его. И Сергею стало неприятно, зло на душе.

— Вы знаете, что такое реле? — спросил он.

— Что? Какой реле?

— В машине есть реле, которое должно срабатывать.

— Хм,— произнес Быков, настораживаясь.— Как так?

— Оно у вас не срабатывает!

Мукомолов ходил, почти бегал по комнате, наталкиваясь на разбросанный в углах багет.

— Да, да, у меня, может быть, тысяча акварелей!

Вошла Эльга Борисовна, неся сковородку, поставила на маленький столик и, раскрасневшаяся от жара плиты, пальцами отвела волосы со лба, проговорила упрекающе:

— Федя! Ты всех заговорил. Ты просто удивляешь. Как не стыдно! Человек шел в ванную, ты затащил его... Человек стоит с полотенцем. Петра Ивановича тоже задержал.

— Я зайду к вам позже,— сказал Сергей и пошел к двери.

Мукомолов бросился за ним, на пороге схватил за руку, заговорил с веселой доказательностью:

— Сергей Николаевич, мы должны с вами по утрам рубить дрова, пилить дрова в сарае. На свежем воздухе. Это лучшая гимнастика. Если вы составите компанию...

— Сережа,— тихо позвала Эльга Борисовна,— зайди к нам вечером. Я прошу тебя, очень прошу.

— Да, я зайду обязательно,— ответил Сергей.— Я зайду обязательно,— повторил он.

— Я никакие секреты не слушаю,— ухмыльнулся Быков значительно.— Валяйте, валяйте, я ухожу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

До войны Быков с женой вселился в девятиметровую комнату в конце коридора, затем, в сорок первом году, в «клетушку» эту, как называли ее жильцы, въехал инженер-холостяк. Работавший тогда в московском интендантстве, Быков по ордеру райисполкома занял большую светлую комнату, принадлежавшую прежде Мукомоловым. Она пустовала. Мукомоловы не входили в нее, точно пугало их пыльное безмолвие нежилья, школьные дневники на столе, книги Паустовского и Грина в шкафу, запыленные гири и гантели возле дивана. До вселения Быкова все здесь оставалось так, как в тот день, когда Витька Мукомолов уходил в ополчение. Были только вынуты из ящиков стола школьные дневники, и стояла на подоконнике чернильница-непроливайка, покрытая пылью, с засохшими по краям чернилами. И тишина в этой комнате не стирала, не притупляла боль Мукомоловых. Боль была тем сильнее, что никто не сообщил, не написал, не рассказал, где и когда погиб сын. Эльга Борисовна была уверена дикой, не соглашающейся ни с чем верой, что погиб сын в плену осенью сорок второго года, что прошел он и окончил свой путь той ночью, физически ощутимой ею.

В ту октябрьскую ночь мокро шлепал, шумел по крыше дождь, ветер пищал, гудел, проникая в ходы голландки, и в мрачно-холодной темноте комнаты было слышно, как старая липа во дворе, наваливаясь, корябала стены дома.

Ей казалось, кто-то рядом, знакомый и незнакомый, приходил и уходил из зеленого мира, из шума деревьев, улыбался ей, смотрел в глаза, а она сквозь мучительную

тяжесть полусна старалась вспомнить: чей это такой знакомый, такой родной облик, и не могла вспомнить, ощутить его. И вдруг отчетливо и вместе бестелесно выплыл из темноты внятный голос: «Мама!..» Она очнулась — дергалось судорожно горло, села на постели, пальцами вцепилась в подбородок, лихорадочно вспоминая: «Боже мой, кто это? Кто это?..»

Она дрожала, озираясь на черные стекла.

Влажно плескал, стучал дождь, мокро шуршало в углах, скребло и ходило за стеной дома, будто шаги хлюпали в грязи, по лужам, широко и фиолетово вспыхивали окна, и она внезапно увидела среди этого света очертания человеческой головы, прильнувшей к стеклу.

— Мама!..— послышалось ей.

— Витя?!

Она вскочила с постели, упала, больно ушибла ногу, босая выбежала в коридор, в пронизанный сыростью тамбур, плача, распахнула дверь в темноту ночи, хлюпающую, двигающуюся, крикнула с мольбой:

— Витя!.. Витя!..

С плеском лил дождь, ветер резко, сильно ударял дверью о стену тамбура. Никто не подходил к ней. Ей стало страшно.

— Витя, Витя,— шепотом звала она, трясась от рыданий.

Федор Феодосьевич, перепуганный ее криком, ничего не понимая, выскочил следом за ней в одном белье, едва увел в комнату, кашляя, тяжело дыша, зажигал спички — никак не мог прикурить,— спрашивал только:

— Что? Что?

— Витя... Витя... Заглянул в окно. Я... слышала его голос...

Мукомолов говорил растерянно:

— Что ты, Эля, что ты! Это же листья, смотри, прилипли к стеклам. Листья... Эля, успокойся. Где у нас валерьянка?.. Что с тобой?

— Это он... он, я слышала,— повторяла она.— Я видела его... Он звал меня...

— Что ты, Эля, что ты!.. Это осенняя гроза...

Потом, уже в постели, она проговорила тихо:

— Он погиб.— И, как бы прося пощады, уткнулась в худую волосатую грудь мужа.— Он погиб сегодня... в плену...

На фронте странно было читать Сергею в письмах Аси, что Витька Мукомолов пропал без вести. И, сопротивляясь этому, не верил, не хотел верить в его смерть.

С гибелью Витьки уходило что-то, отрывалось навсегда — и исчезал прежний зеленый и летний мир школы.

Вечером Сергей пришел.

Сидели, пили чай с конфетами «драже», полученными по карточкам; абажур низко светился над столом, покрытым старенькой скатертью.

Мукомолов молчаливо отхлебывал чай и после каждого глотка набивал над табачной коробкой толстые гильзы, шумно сопел, двигал под столом ногами. Эльга Борисовна маленькой сухой рукой все время распрямляла уголок скатерти, взглядывая на Сергея беспомощно спрашивающими глазами, говорила ровным голосом:

— Я помню его в последний раз... прислал нам письмо, мы совершенно не знали, где он находится. Просил сухарей, папирос. Совершенно случайно на открытке мы прочли штамп: «Бутово». Я пошла пешком до Красной Пахры. А там — леса... Я искала целый день. Везде солдаты... Не знаю, как меня не задержали. Я его нашла. Он был в какой-то грязной майке и очень бледный. Как он был удивлен! «Мама, как ты меня нашла? — спросил он.— Ты ходила, искала в лесах?» Ты знаешь Витю! Я спросила: «Почему ты грязный?» Он ответил: «Учимся стрелять».— «А почему ты такой бледный?» — «Мама, ты знаешь, какое время...» Он отпросился от вечерней поверки и пошел меня провожать — я торопилась в Москву. Я помню, он шел со мной слева, на голову выше меня, и грыз орехи. Я привезла ему орехи. А вечер был хороший такой, тихий... Витя смотрел куда-то, и глаза его были одинакового цвета с небом. Он уже смотрел по ту сторону мира. Он попрощался со мной, поцеловал меня в щеку, я и сейчас ощущаю... «Ничего, мама, все пройдет...» Это было последний раз, когда я его видела. На следующий день поехал Федор Феодосьевич, там уже никого не было. Валялись консервные банки, одежда, их там переодели...

Эльга Борисовна погладила чайную ложечку, переложила ее, переставила сахарницу и по тому месту, где была сахарница, провела пальцами.

— Он погиб в сорок втором году, в плену. Двадцать седьмого октября.

— Эля! — Мукомолов задвигался на стуле, поднял бо-

родку, нацелясь на синее окно.— Нам никто не сообщил, что Витя погиб в плену. По всей вероятности, из-под Бутова их направили под Ельню. Да, да, видимо, так. Там были страшные бои, самолеты ходили по головам, танки. А они, ополченцы — мальчишки, художники, профессора,— с винтовкой на двоих... против этих танков. Вот как было. Их окружили, несколько тысяч... Художник Севастьянов был в ополчении, бежал из плена, из Норвегии, Эля. Жив сейчас. Если Витя в плену...

— Если бы он был жив, он бы вернулся. Нет, теперь я ничему не верю. Я помню его глаза, когда он поцеловал меня.

Наклонив голову, Эльга Борисовна осторожно тронула правую бледную щеку, где будто жил не тронутый временем тот поцелуй в Бутове, скорбно улыбнулась Сергею влажными глазами. Сергей с хмурым вниманием помешивал ложечкой в стакане.

Он знал, что говорить сейчас о том, что пропавшие без вести возвращаются, как говорил об этом неловкими намеками Федор Феодосьевич, убеждать, что Витька жив и может вернуться,— значило лгать.

Мукомолов закашлялся, не вынимая папиросы из зубов, и, задохнувшись кашлем, заходил по комнате мимо синевших окон, стиснул до хруста руки за спиной.

— Ополчение...— заговорил он вскрикивающим шепотом, оглядываясь на дверь.— О, это московское ополчение! Школьники, студенты, профессора. Там погибли — я уверен, да, да! — Лев Толстой, Репин, Эйнштейн...

Эльга Борисовна заплакала, по-детски закрыв узенькими ладонями лицо.

— Простите, Сережа, простите! Федя, прошу тебя, не кричи,— умоляюще, сквозь слезы попросила она, поднялась, плотнее закрыла дверь, постояла у двери, вытирая глаза, стараясь через силу улыбнуться Сергею.— У нас Быков, когда поругается на кухне, то всегда кричит: «Я тебя посажу!» Странно как-то... Ведь коммерческий директор большой фабрики... Все же он был майор, воевал...

— Быков? — проговорил Сергей.— Какой он майор! Заведующий складом в Германии. Возле складов не воюют!

— Эля! — вскрикнул Мукомолов.— Не переводи разговор, мне нечего бояться. Я пуганый воробей, старый, поживший пес. Я хочу знать. Я хочу спросить у Сергея

Николаевича. Он был другом моего сына, и я спрашиваю его как сына, да, да... Сережа, как вы думаете, знал ли это Сталин?

— Не знаю,— ответил Сергей.

Мукомолов, сконфуженный, пробормотал вроде про себя: «Да, да»,— ткнул недокуренную папиросу в пепельницу на столе, в несколько глотков жадно допил остывший чай и после молчания, продолжая набивать гильзы табаком, снова пробормотал: «Непонятно это, да, да». Эльга Борисовна по-прежнему гладила, теребила уголок скатерти, голубые жилки выделялись на ее маленькой руке. Сергей взглянул на грустное лицо Мукомолова, спросил:

— Вы не договорили, Федор Феодосьевич?

Мукомолов в задумчивости не отводил глаз от коробки с табаком, ноздри широкого носа раздувались.

— Ваше поколение было прекрасно и благородно воспитано. Вы ни в чем не сомневались, вы верили — и это отлично. Ваши прекрасные школьные учителя вас прекрасно воспитали.— Мукомолов покашлял, нервно подергал бородку.— Странно... Странно и страшно получилось... Дети умерли, погибли в бою, в плену, а родители живут... Это непонятная, чудовищная несправедливость — старшее поколение не должно переживать молодое, никогда!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Час спустя Сергей лежал на диване в своей комнате, погасив свет,— был лимит на электроэнергию. Топилась на ночь голландка.

Разнеженная теплом кошка дремала возле постреливающей печи, блаженно вытянувшись, мурлыкая. Котята, вылизанные ее языком, с мокрой шерсткой, жалобно пищали, искали ее открытый мягкий живот, нажимали лапами вокруг сосков.

Сергей взял одного из котят, влажного, теплого, растопырившего лапы, пустил его себе на грудь: существо это беспомощно зашевелилось, дрожа слепой мордочкой, оскальзываясь лапами, заползло к горлу, тоненько пища, тыкалось дрожаще-нежно мокрым носом в шею и подбородок Сергея.

Он погладил его по шершаво-слипшейся спинке.

— Дурак ты, дурак.

В слоистых потемках однотонно щелкали костяшки отцовских счетов в соседней комнате.

Сергей, лаская, гладил котенка, и было ему неспокойно, грустно, как ни разу не было с тех пор, как он вернулся. Лежа на спине, он вспоминал встречу с капитаном Уваровым в «Астории», Нину, сегодняшний вечер у Мукомоловых — и чувствовал, что был растерян и не хватало ему ясности и простоты; не было того, что представлялось месяц назад в гремящем прокуренном вагоне, мчавшемся домой, чего ожидал и хотел он.

— Ну что пищишь, дурак ты, дурак? — шепотом сказал Сергей и положил в коробку растопырившего лапы котенка.

Вечерняя тишина стояла в квартире. Розовое пятно — отсвет печи — суживалось и расширялось на стене, еле слышно щелкали в тишине счеты, шуршала бумага, и как сквозь теплую толщь слабо пробивалась едва уловимая музыка — то ли радио, то ли заводил кто-то патефон. Константин?.. Он дома?

«Жить как Константин? — спрашивал себя Сергей.— А что потом? А дальше как? А завтра, а через год? Да что задавать вопросы? Видно будет... Все будет видно... Главное, я дома... Но почему именно мне повезло, Константину, двум из школы — случайность?»

Звонок в прихожей. Три раза. Движение в глубине квартиры, шаги в коридоре, туго бухнула замерзшая дверь, голоса. Опять бухнула дверь, зазвенела пружиной. Тишина. Щелкнул выключатель, вкрадчиво постучали — и голос:

— Сергей Николаевич!

— Войдите! — Сергей скинул ноги с дивана.

Желтая полоса света из коридора легла на пол комнаты. В дверь протиснулась освещенная сзади фигура Быкова, голос сытый, после ужина, он еще жевал что-то.

— Темнотища-то, ба-атюшки! Вам письмо или повесточка, шут разберет. Что же свет не зажигаете? Экономите?

— Давайте сюда,— сказал Сергей грубовато и при свете из коридора прочитал — это была повестка из милиции, уведомляющая его явиться завтра в одиннадцать часов утра к майору Стрешнекову.— Вы мне что-то хотите сказать? — спросил он Быкова, заглядывающего умиленно-ласково в коробку с котятами.

— К счастью, говорят, котята-то. Одного бы у вас взял,— сказал Быков.— Люблю малышей, даже детеныши безобразного бегемота — прелесть симпатичны. Видели? Я в Лейпцигском зоопарке видел.

— Слушайте, милый Петр Иванович, это вы, кажется, грозитесь тут пересажать всю квартиру? — Сергей посмотрел на него с неприязнью.— Вы? Интересно, как вы это сможете сделать?

Быков, возмущенный, выпрямил свое короткое, плотное тело.

— Глупости, какие глупости люди собирают! Я понимаю, я погорячился, ваш отец погорячился, но зачем глупости собирать? Вы меня еще не знаете, Сергей Николаевич, что ж, вы до войны вот как этот котенок были. Поживем — притремся, делить нам нечего. Нечего нам делить-то. В одной квартире.

— Будьте любезны...— сказал Сергей сдержанно.— Будьте любезны, прикройте дверь с другой стороны.

— Кто там у тебя? — послышался голос отца из смежной комнаты.

— Напрасно вы, напрасно. Покойной ночи, Сергей Николаевич,— заспешил, с озабоченностью наклоняя голову, Быков, затем деликатно закрыл дверь; заглохли шаги в коридоре.

Сергей при свете печи вторично прочитал веющую морозной улицей повестку.

В другой комнате загремел отодвигаемый стул, зашмыгали тапочки.

— С кем ты разговаривал? — спросил отец на пороге, устало снимая очки.— Кто заходил? Можно с тобой посидеть? Мы с тобой почти не видимся, сын.

— Заходил Быков. Передал повестку.

— Какую повестку? Опять в военкомат?

— Нет. Меня вызывают в милицию. Тебя это пугает?

— Но зачем в милицию?

— Вчера я ударил одну сволочь.

— Был пьян?

— Нет.

— Бить по физиономии — не так уж действенно, сын.

— Ты так думаешь? — усмехнулся Сергей.

Отец протер очки, спрятал их в карман пижамы, жесты были спокойно-заученными, а глаза близоруко и утомленно приглядывались к полутемноте в комнате,

озаренной гудящими вихрями огня в голландке. И все это раздражало Сергея своей добротой, домашностью, какой-то слабостью даже, которую он не хотел видеть в отце; и, не в силах подавить возникшее раздражение, Сергей заговорил неожиданно для себя:

— Вот ты, старый коммунист, даже старый чекист, скажи, почему ты терпишь Быкова? Не думал ли ты, что мы даем всяким хмырям взятки, именно взятки, чтобы они не беспокоили нас,— улыбаемся им, молчим, здороваемся, хотя знаем все? Так, что ли?

— Почему ты о Быкове?

— Ты знаешь, что он орет на кухне? Он что, пугает вас всех — и вы лапки кверху?

— Его не подведешь под статью Уголовного кодекса, Сергей. Он никого не убил,— ответил, опираясь на колени локтями, отец.— К сожалению, бывают вещи труднодоказуемые, сын. В августе сорок первого года я выводил полк из окружения, и мой растяпа политрук потерял сейф с партийными документами. Политрук погиб, а я едва не поплатился партбилетом. И хожу с выговором до сих пор. И ничего не сделаешь. Вот так, сын: не было четких доказательств. Не было. И ответил я как комиссар полка. А пятно трудно смыть.

— Что же тогда делать? — спросил Сергей вызывающе.— Терпеть, молчать? Так? Не-ет! Лучше ходить с выговорами! Может быть, ты вину политрука тоже по доброте душевной взял на себя? Ты что — добр ко всем?

— Во-первых, Сережа, на мертвых свалить легко. Во-вторых, я не советую тебе связываться необдуманно.— Николай Григорьевич неуверенно коснулся рукой колена Сергея.— Только терпение и факты. Мерзавцев надо уничтожать фактами, доказательствами, а не эмоциями. Эмоции не докажут состава преступления. У тебя есть какие-нибудь доказательства против того, кого ты ударил?

— Доказательства для военного трибунала.

— А свидетели есть у тебя, сын?

— Только один свидетель — это я...

— Тогда этот человек может обвинить тебя в клевете. И легко привлечь тебя к суду за физическое оскорбление, за хулиганство. Здесь закон оборачивается против тебя.

Сергей встал, раздраженный.

— Ты, кажется, трусишь? Или чересчур осторожничаешь?

Отец тоже встал, сожалеюще-печально взглянул в лицо Сергея, сказал вполголоса:

— После смерти матери мне уже ничего не страшно. Страшно только за тебя. И то после того, как ты вернулся и живешь непонятной мне жизнью.

И пошел в свою комнату, шлепая стоптанными тапочками, горбясь, перед дверью задержался, смутно видимый в темноте, договорил:

— Вот уже месяц ты никак не называешь меня. Слово «папа» ты перерос, я понимаю. Называй меня «отец». Так легче будет и тебе и мне.

«Зачем я так с ним? Он не заслужил этого! — несколько позже думал Сергей, уже на улице, вдыхая щекочущие горло иголочки морозного воздуха.— Я не имел права так говорить. Я раздражен все время... Почему я раздражен против него?»

На углу он зашел в автоматную будочку, насквозь промерзшую, до скрипа накаленную стужей, снял скользкую от инея трубку; подышав на пальцы, набрал номер Нины. Долго не подходили, и неопределенно длинные гудки в пространстве вызывали у него тревогу.

Когда щелкнуло в трубке и женский прокуренный голос пропел «алю-у», он попросил:

— Мне Нину Александровну.

— Нету ее, голубчик, нету.— Голос этот нехорошо фыркнул.— Ушла Нина Александровна.

Сергей резко повесил трубку. Некоторое время стоял в нерешительности — в раздумье глядел, как пар дыхания ползет по обледенелой стене, испещренной номерами телефонов, по инею на стекле, на котором кто-то гривенником вычертил рожицу с выпяченными губами, с комично длинным носом.

Стиснув зубы, он набрал номер Константина, и сразу же отозвался приятно-веселый голос: «На проводе»,— потом громкое чавканье; тоненькой струйкой влился фокстрот, как из другого мира.

— Пошел... со своим проводом,— проговорил Сергей.— Что у тебя там — патефон, компания?

— Прошу государственную тайну не разглашать! — Константин преспокойно жевал.— Никакой компании, за

исключением патефона и бутербродов на столе. Ты что звонишь, а не зашел? Подняться на второй этаж — дороже плюнуть.

— Ты мне нужен. Приходи к метро «Павелецкая».

— Что стряслось? Деньги? Женщина? — Константин перестал жевать.— Мгновенно надеваю штаны. Нет таких крепостей, которые...

Возле метро в морозном пару, вылетающем из дверей,— беспрестанное движение толпы. Подземные скоростные поезда приносили людей из теплых недр туннелей; толпа спеша растекалась от метро, металлический скрип снега раздавался в студеном воздухе; поднятые воротники, голоса, огоньки зажигаемых спичек, простуженно-бодрые выкрики продавцов папирос около входа — развязных парней в телогрейках:

— «Казбек», «Казбек», покупай с разбегу! Запасайся к Новому году! — И бормотание озябшими губами: — Штучный «Беломор», штучный «Беломор»!

Сергей всматривался в эту растекающуюся от дверей толпу, искал на лицах мужчин, даже в походке женщин каких-то особых примет взаимного понимания. Он заметил вдруг немолодого мужчину, несущего елку, завернутую в мешковину, и рядом с ним женщину, молодую, живо говорившую ему что-то, и тогда вспомнил о близком Новом годе, но без праздничного ожидания, а с холодком неопределенного беспокойства.

— Категорический привет! Ты давно?

Подошел Константин в роскошной пыжиковой шапке, в кожанке на меху, красный шерстяной шарф по-модному подпирал подбородок. Сказал, протягивая руку, нагретую меховой перчаткой:

— Э-э, мордализация нахмуренная, решаешь мировые проблемы? Плюнь, не решишь. Пойдем куда-нибудь пиво пить.

— Подышим свежим воздухом,— хмуро сказал Сергей.

Когда отошли на сотню шагов от метро, уже не дуло банным воздухом из дверей вестибюля, острые лезвия мороза резали по лицу, иней оседал на воротнике.

— Американские миллиардеры для сохранения здоровья придерживаются гимнастики дыхания,— не выдержал молчания Константин.— На счет «четыре» — вдох, на счет «четыре» выдох. Делай, братцы, вдох с левой но-

ги... Сделаем, братцы, по-армейски. Не желаете, товарищ Вохминцев, изображать миллионера? Напрасно.

— Помолчи, Костька...

— Ясно. Готов слушать. Что стряслось?

— Ничего. Иди и молчи.

— Не могу! — взмолился Константин плачущим голосом и перчаткою остервенело потеребил ухо.— Приятно прогуливаться весной с хорошенькой девочкой под крендель, а у меня обморожены руки и уши — нахватался сталинградских морозов, хватит! Зайдем куда-нибудь! Хоть в этот знакомый павильончик.

В закусочной, кивая на все стороны знакомым, Константин бесцеремонно-вежливо растолкал стоявших и сидевших за стойками, потеснил кого-то шутя («Братцы, всем место под солнцем»), очистил край столика в углу, крикнул через головы:

— Шурочка, принимай гостей — две кружки!

Пили из толстых кружек, залитых пеной, подогретое пиво; Константин густо посыпал края кружки солью, отхлебывал, вдыхая через ноздри, испытывая явное удовольствие.

— Ей-богу, Сережка, здесь клуб фронтовиков!

Было здесь многолюдно, тесно, накурено. Задушенная сизым дымом лампочка мутно горела под потолком. Голоса гудели, сталкивались в спертом пивном воздухе, пахло селедкой, оттаявшей в тепле одеждой, и перемешивались разговоры, смех, крики, не прекращающиеся среди серых шинелей; и лишь уловить можно было недавнее, военное, знакомое: «Плацдарм на Одере...», «Под Житомиром двинул танки Манштейна...», «В сорок третьем стояли на Букринском плацдарме, через каждые пять минут играли «ванюши»...», «Бомбежка — чепуха, самое, брат, неприятное — мины...». Мужские голоса накалялись, гул становился густым, хлопали промерзшие двери, впуская морозный пар, он мешался с дымом над головами людей; из-за столпившихся перед стойкой спин появлялось игривое, румяное лицо Шурочки, звенящей кружками.

— Клуб,— повторил Константин, подул на шапку белой пены, спросил наконец: — Что все-таки случилось? Чего ощетинился?

— Ерундовое настроение.

— Почему «ерундовое»? Может быть, угрызения совести, что морду набил этому... в «Астории»?.. Плюнь!

Но должен тебя предупредить: ты тактически вел себя неосторожно — на рожон лез, пер грудью, как паровоз.— Константин отпил глоток пива, покрутил пальцами в воздухе.

Сергей поморщился, расстегнул на груди шинель (здесь было душно, жарко), сдвинул назад шапку, вынул папиросу; и, прикуривая, чиркая зажигалкой, с ощущением раздражения против Константина, против этой опытной его осмотрительности сказал:

— Ну а дальше?

Константин возвел глаза к потолку.

— Мы еще не живем при коммунизме, и в наше время, как это ни горько, еще волшебно действуют справки и прочие свидетельства. У тебя их нет. Бумажных доказательств. Чем ты можешь козырнуть против него, Сережка? Сейчас орут: все воевали! Докажешь, что не все воевали честно? Не докажешь! Хорошо, что хорошо кончилось. Плюнь на все это!..

— Еще ничего не кончилось,— перебил Сергей.— Меня вызывают в милицию. Завтра. Я постараюсь доказать.

Гул голосов все нарастал, двери закусочной беспрестанно хлопали, впуская и выпуская людей, пар, желтея, вздымался от порога, обволакивал лампочку.

— Не советую! Вот этого не советую! — убежденно произнес Константин.— Ни хрена не докажешь. Мы победили, война кончилась, ну кто будет разбираться в перипетиях? Тебе ответят: война — на войне убивают. Кто прав, кто виноват — разбираться поздно. Поверь, Сережка, просто я вернулся на год раньше тебя, пообтерся. Ты еще не обгорел. Этот хмырь не так прост. И на кой он тебе?

— Иногда мне хочется послать тебя подальше со всей твоей опытностью! — сказал зло Сергей.— И уж совсем мне непонятна твоя дружба с нашим милым соседом Быковым!

— Напомню: я работаю у него шофером на фабрике. Следовательно, он — мое начальство. С начальством ссориться — плевать против ветра.

— Идиотство!

Константин с грустным выражением посыпал солью на край кружки.

— Ничего не навязываю. Сказал, что думал. Знаю, знаю,— несколько ревниво проговорил он.— Если бы тебе

посоветовал Витька Мукомолов, ты бы с ним согласился. Я для тебя друг второго сорта. Со штампом — «второй сорт». Так ведь? — Константин разминал на пальцах соль.

— Пошли отсюда,— сказал Сергей с неприятным и едким чувством к себе, к Константину.— Надоело.

Они вышли на улицу, изморозь мельчайшей слюдой роилась, сверкала в ночном воздухе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Я пришел вот по этой повестке. Мой военный билет у вас.

— Так. Вохминцев Сергей Николаевич, одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения... Капитан запаса. Так. Ну что ж... За нарушение порядка в общественном месте вы оштрафовываетесь на двадцать пять рублей.

— И только-то? За этим вы меня и вызвали?

— Вас не устраивает, гражданин Вохминцев? Та-ак! Может быть, вас устроит письмо в военкомат, в партийную организацию, где вы работаете? Произвели безобразие, скандал, избили человека — за это по статье привлекают, судят! Ваше счастье, что человек, ваш товарищ, которому вы нанесли физические увечья, не возбуждает дело. Вы это сознаете?

Майор милиции был молод, пухлощек, холоден, на ранней лысине ровно и гладко начесаны волосы; сидел он, углами расставив локти на столе, отгороженном от Сергея деревянным барьером. Неприязненный голос, отчужденно-официальное лицо его не вызывали острого желания доказывать свою правоту: видимо, дежурный майор этот выполнял свои обязанности, верил одним фактам, а не словам, как верит большинство людей, и Сергей сказал сухо:

— Как раз я хотел бы суда. И не хотел бы никакого прощения со стороны этого человека.

— Так, значит? — Майор в некотором недоумении вложил пальцы меж пальцев.— Так... Не больны, гражданин? Или думаете: милиция — игрушечка? Можно говорить, что в голову лезет? Ты посмотри, Михайлов, какие фронтовики приехали! — крикнул он милиционеру, молчаливо стоявшему сбоку дверей.— Ему штрафа мало,

ему суд подавай! Да вы понимаете, гражданин, что говорите? Отдаете отчет?

— Я понимаю, что говорю,— ответил Сергей.— Очевидно, вам кажется, что я ударил этого человека, потому что был пьян или мне просто хотелось ударить...

— Факт есть факт. Не он вас ударил. Простите, гражданин. У меня нет времени... Кажется, все ясно,— служебным тоном прервал майор и положил на барьер военный билет Сергея.— Благодарите судьбу за счастливую звезду. Этакую несерьезность наворотили и оправдываетесь. Неприлично. Вы свободны, гражданин Вохминцев. Я вас не задерживаю. И советую быть разумнее. Не советую портить репутацию офицера.

В интонации майора, в скучном туманном взгляде его появилось сожаление, усталость от этого надоевшего дела, похожего, вероятно, на десятки других дел; и Сергей уже понял это — и все стало мелким, унизительным и неприятным.

— Хотел бы вам напомнить, товарищ майор, что дерутся не только по пьянке,— совсем нехотя сказал Сергей.— И тут никакая милиция, никакие штрафы не помогут!

Он вышел на улицу, зашагал по тротуару, вдыхая после кислого канцелярского запаха крепкую свежесть морозного воздуха. Звенели трамваи, и снег, и белизна солнечных сугробов, и толкотня, и пар на троллейбусных остановках, и новогодние игрушки в палатках, и маленькие пахучие елки, которыми везде бойко торговали на углах,— все было предпраздничнo на улицах. «Что ж,— думал он неуспокоенно, вспоминая разговор с майором.— У меня свои счеты с Уваровым. Это мои личные счеты! Нет, еще ничего не кончено...»

Он сел в автобус и поехал на Шаболовку, в шоферскую школу, куда по рекомендации Константина несколько дней назад подал документы.

Когда ему сказали, что его приняли на курсы, что вечерние занятия начнутся со второго января, он не испытал радости, какой ожидал, только облегчение возникло на минуту. Но едва вышел он из одноэтажного — в конце двора — домика школы, ощущение это утратилось, и было такое чувство, что он обманул самого себя.

Он доехал на автобусе до Серпуховки, слез и пешком

пошел до Зацепы по каким-то не известным ему тихим переулочкам. В безветренном воздухе декабрьских сумерек падал редкий снежок, легко и щекотно скользил по лицу, остужал. Под отблеском холодного заката розовели вечерние дворы, грустно заваленные снегом до окон, за воротами виднелись тропки меж сугробов; дворники свозили на волокушах снег.

Мальчишки в глубине темнеющих переулков бегали на коньках, крича, стучали клюшками по заледенелой мостовой. Не зажигались еще огни, был тот покойный час зимнего вечера, когда далекие звонки трамваев долетают в замоскворецкие переулки как из-за тридевяти земель.

Сергей остановился на углу против витрины фотографии.

Фотографии незнакомых людей тянули его, как чужая и неразгаданная жизнь. Долго рассматривал улыбающиеся в объектив и вполоборота девичьи лица, грубоватые лица солдат, каменное рукопожатие вечной дружбы — онемело стоят, сжав друг другу руки.

Задумчивое лицо молодого капитана, рядом наклонена к его плечу завитая, в мелких колечках голова девушки, светлые брови, невинно застывший взгляд — и Сергей с ощущением какой-то томительной тайны начал угадывать по фотографии характеры этих людей, их судьбы... Кто они? Где они? Кого они любили или любят?

«Что же я, несчастлив? — думал он.— Не то слово — несчастлив... Работать шофером, жить покойно, тихо, жениться — счастье ли это? Вот этот капитан счастлив?»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Заходи, раздевайся. Я рада, что ты пришел!

Она стала поспешно расстегивать холодные пуговицы его пахнущей зимней улицей шинели.

— Только я не одна. Ты не обращай внимания, заходи.

— Кто же у тебя? — обняв и не отпуская ее, спросил он.— Кто у тебя?

— Идем,— поторопила Нина,— в комнату. Ты меня заморозишь. Шинель повесишь там...

Она раскрыла дверь, и он шагнул через порог в теп-

лый после холода запах чистоты, уюта и покоя, тотчас увидел в углу комнаты зеленоватое от света настольной лампы женское лицо с опущенными на щеку волосами. Она сидела на тахте, и Сергей быстро обернулся к Нине, спросил шепотом:

— Кто это?

— Сережа!..— испуганно-сниженным голосом воскликнула Нина.— Это Таня, познакомься, пожалуйста,— уже в полный голос сказала она и быстро подошла к женщине, выпрямившейся на тахте.— Это Сергей!

— Мы знакомы, кажется,— сказал Сергей.

Он сразу узнал ее: белокурые волосы, выпуклый лоб, полные руки; отчетливо вспомнил ее метнувшееся в толпе, искаженное плачем лицо, скомканный платочек, которым она тогда в ресторане, всхлипывая, вытирала щеки Уварова, полулежащего на полу, и вспомнил то ощущение виноватости перед ней, какое появилось у него при виде ее заплаканного лица.

— Здравствуйте,— официальным тоном произнес Сергей.— Я не хотел бы...

Она дернулась на тахте, губы ее перекосились.

— Не надо! Не надо! Не говорите, пожалуйста... Я не могу! Не могу слышать...

— Я извиняюсь не перед ним, а перед вами,— сказал Сергей, хмурясь.

— Вы... вы молчите лучше!..

Она вскочила, полная в талии и почему-то жалкая в этой полноте, и, кусая губы, бросилась к вешалке, срывая пальто, пуховый платок. Она протолкнула руки в рукава, оглянулась затравленно.

— Удивляюсь тебе, Нина!

И выбежала, стукнув дверью в передней.

— О господи! — со вздохом проговорила Нина и сжала ладонями виски.— Как странно все, господи!

Сергей стоял посреди комнаты, не снимая шинели.

— Что это значит? — спросил он.— Ты можешь объяснить?

Нина подняла глаза умоляюще, по лбу пошли морщинки, сейчас же щелкнула ключом в двери, сказала виновато:

— Не дуйся, слышишь?

Потом, не приближаясь к нему, подошла к зеркалу, передразнивая его, нахмурила брови и, надув щеки, сде-

лала смешное лицо, показала язык, затем, исподлобья глядя в зеркало, сказала тихонько:

— Ну посмотри... Ну иди и посмотри на себя... Какое у тебя холодное лицо! Ну подожди. Я тебе объясню. Таня — моя подруга, еще с института. Это тебе ясно?

И тут же с улыбкой сняла с него шапку, бросила ее на полочку, после этого стянула шинель, посадила Сергея на тахту подле себя.

— Ну что тут особенного? Вообще, я не люблю объясняться, доказывать то, что ясно и не докажешь. Это напрасная трата душевных сил. Таня ушла, и все. Ну? Ясно? Да?

Он сказал:

— Я хотел спросить: Уваров тоже заходит к тебе?

— Нет! — решительно ответила она.— Почему Уваров? Мы отмечали мой приезд в Москву, Таня привела его в ресторан — так это было. И больше ничего... Ну хватит, пожалуйста! Я ведь не задаю тебе никаких вопросов о твоих знакомых.

— Я хочу, чтобы все было ясно.

— Для чего?

— Потому что просто хочу ясности.

— Какой ясности, Сережа?

— Ты понимаешь, о чем я говорю.

— Не совсем, Сережа. Неужели война делает людей жестокими?

— Нина, кто были те, в ресторане... с тобой?..

— Это были мальчики, Сережа,— сказала она протяжно,— мои знакомые по экспедиции. Геологи. Они не такие, как ты... Просто не такие. Они не воевали...

— Но ты ведь меня не знаешь.

— Я догадываюсь. А разве ты меня знаешь, Сережа?

Они помолчали.

— Ты всегда такая? — спросил он неловко.— Не представляю тебя где-нибудь в Сибири, в телогрейке. Наверно, рабочие только тем и занимались, что пялили на тебя глаза.

Она опять с улыбкой посмотрела ему в лицо.

— Ну нет! Ошибаешься! Разве можно пялить глаза вот на такую женщину? — Нина строго свела брови над переносицей, сказала притворным хрипловатым голосом: «У вас, товарищ Сидоркин, опять лоток не в порядке? Где ваши образцы? Почему не промыли?» Ну как? Интересная женщина? Не очень!

Она засмеялась, наклонясь к нему, отвела за ухо завиток каштановых волос, и он, с любопытством наблюдая за непостижимым изменением ее лица, засмеялся тоже, привлек ее за плечи, сказал:

— Услышишь твой голос — и хочется встать «смирно». Еще не хватает: «Вы что, первый день в армии, устава не знаете?» Хотел бы быть под твоей командой.

— Как иногда мы все ошибаемся! — растягивая слоги, проговорила Нина.— Нет, ты меня знаешь чуть-чуть, капельку.

— Я просто подумал: что ты любишь и что ненавидишь? Подумал — не знаю почему.

— Я ненавижу то, что и ты.

— Нина, я не имею права задавать вопросы. И этого не надо.

— Да. Я до сих пор ненавижу ночной стук в дверь, Сережа. И голос: «Откройте, почта...» Самые жуткие слова в мире.

— Почему?

— В войну мне принесли две похоронки. И обе — ночью. На отца и старшего брата. Мать умерла в Ленинграде. Это тебе понятно?

— Да.

— Что же ты еще не понимаешь во мне? — спросила Нина и, помолчав, сама ответила: — Когда вижу почтальонов, я обхожу их. Я ненавижу ночь, я боюсь войны. И то, что многие женщины еще носят телогрейки и сапоги, а я платья и туфли,— это тебе понятно? Мне не так легко жилось... И живется. Как хочется тишины, Сережа!..

— Как ты могла подумать, что я осуждаю тебя? За что? — Он обнял ее, увидел на ее плече, на сером свитере темное пятнышко грубой штопки, выговорил шепотом, задохнувшись от нежной жалости к ней: — Я не осуждаю тебя. Ты так подумала?..

Она потерлась щекой о его подбородок и молчала, закрыв глаза.

Потом он услышал ровные и отстукивающие звуки, они казались все отчетливее, громче, и Сергей невнятно понял — тикал на тумбочке будильник. Будильник шел, спокойно и четко отсчитывая секунды, как в то утро. И, на миг пронзительно ясно ощутив оглушительную тишину в комнате, Сергей подумал, что нечто важное вот придвинулось и происходит в его жизни, чего он хотел и

ждал,— и, подумав об этом, почувствовал дыхание Нины на своей шее, и ослабленно прозвучал ее голос:

— Но ведь тебя могли убить на войне, и ты бы никогда...

— Нет...— сказал он.

— Нет?

— Меня не могли убить на войне.

Она прижалась к нему и замерла так, глядя через его плечо на черное занавешенное окно.

— Подожди. Ох, иногда как страшно подумать...

— Но видишь, со мной ничего не случилось. Я не верил, что меня убьют.

— Как ты думаешь теперь жить, Сережа?

— Я тебе говорил — шоферская школа. Буду шофером, плохо? Мне кажется, это тебе не особенно нравится.

— Ты можешь быть и шофером,— сказала Нина.— Но я знаю, в Горнометаллургическом институте открылось подготовительное отделение. Охотно принимают фронтовиков. У меня есть знакомые в этом институте.

— Нина, я забыл таблицу умножения, пятью пять для меня сорок. Забыл все к чертям. Не усижу за партой. А что это — шахты?

— И шахты.

— Понятия не имею. В шахтах добывают уголь, так?

— Просто блестящие знания, тебя примут без экзаменов. Но я сужу, конечно, только со своей колокольни. Ты подумай. Я не могу тебе ничего советовать.

— Я сейчас не хочу об этом думать... Я просто не могу.

Он нетерпеливо притянул ее к себе, чувствуя горячую колючесть ее свитера и почему-то видя все время то пятнышко грубой штопки на плече, осторожно поцеловал ее в теплые волосы.

— Не знаю, что же это...— проговорил он неровным голосом.— Кто ты такая? Зачем я к тебе пришел? Ты это знаешь? Понятия не имею, кто ты такая. И вообще — что происходит?

— Обыкновенная и некрасивая женщина, Сережа. Восемнадцать лет уже миновало, как говорят теперь мужчины. И больше ничего.

— Ты этого, конечно, не понимаешь, и я сам не понимаю,— сказал Сергей намеренно шутливым тоном.— Но я бы все понял, если бы ты пошла за меня замуж. Пойдешь?

— Нет.— Она, смеясь, провела пальцем по его груди.— А кто ты такой?

— Кто я? Бывший командир батареи, а сейчас человек без определенных занятий. Беден. Холост. Но без памяти тянет меня к одной женщине. И сам не знаю почему. Вот и все. Кратчайшая биография. Не нужно анкеты.

Она, не смеясь, уже проговорила полусерьезно:

— Это я знаю. А дальше?

— Что ж... Значит, ты сама не знаешь, что это такое...

— А если это нельзя?

«Что я говорю? Зачем я стал говорить об этом?» — подумал он с мгновенно кольнувшей тревогой, однако преувеличенно спокойно договорил:

— Значит, ты меня не очень любишь, а?

— Сережа-а,— шепотом сказала Нина, снизу взглядывая ему в глаза.— Я тебя вот так...— И наклонилась, чуть прикоснулась губами к своей руке.— Не понял?

— Нет.

— Хорошо. Ты хочешь, я тебе скажу?..— проговорила она, легонько дернув за борт его пиджака.— Хочешь?

— Я этого хочу.

— У меня есть муж, Сергей. Геолог. Он в Казахстане. В Бет-Пак-Дале. Но я ушла...

— Муж? И ты ушла? — спросил Сергей, следя за тем, как она все распрямляла, теребила борт его пиджака.

— Не будем портить друг другу настроение.— Ее ладонь уместилась на его рукаве, погладила ласково.— Не будем думать об этом, Сережа. Разве тебе не все равно?

— Я просто этого не знал,— сказал Сергей вполголоса.

Два часа спустя он возвращался домой; он быстро шел один по улице, ночной, снежной, безмолвной, ледяными вспышками сверкал иней на карнизах, на ручках парадных; лунный свет накалял воздух синим холодом.

«Мне все равно, был у нее муж или не был и есть ли он сейчас,— думал он.— Я люблю ее. Да, я люблю ее. И больше ничего не надо... Я хочу, чтобы мне везло. Во всем везло. Как везло на войне...»

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Константин увидел его на трамвайной остановке, затормозил машину и, опустив стекло, замахал ему из кабины со свистом и криком:

— Серега! Куда тебя несет? Садись! Тысячу лет тебя не видел!

— А ты куда? Привет шоферам! — Сергей залез в кабину, приятно пахнущую теплым маслом, вопросительно глянул на Константина.— Кажется, не виделись неделю? Как жизнь?

— Кой там неделю? Куда исчез? Заходил раз десять. Ася в расстроенных чувствах: дома нет. В чем дело? Женщина?

— Чувствуется служба в разведке.

— Кто она?

— Если помнишь ту, с которой я танцевал в «Астории»...

— Ох ты!.. Вздернутый носик? Неужто она? Когда представишь?

— Когда захочешь.

— Принято. Так слушай сюда, Серега. Тут в Новый год я собираю в одном интеллигентном месте теплую компанию. Дым коромыслом, милые люди. Приходи с ней. Но ты все же меня забыл, бродяга! Забыл вдрызг! Неужели мужская дружба вдребезги, когда появляется женщина?

Он со скрежетом передвинул рычаг, насупленно покусал усики; машина, набирая скорость, неслась по снежной улице, вдоль трамвайных рельсов; подскакивая, трясся, гремел кузов, на стекло сыпалась изморозь. Откинувшись на спинку сиденья, Сергей смотрел на торопливо щелкающий по стеклу «дворник». Константин бешено засигналил на перекрестке, не поворачивая головы, крикнул высоким голосом:

— А, Сережка? Вдребезги?.. Все вниз макушкой? Стойка на лысине?

— Если есть время, давай на Большую Московскую. Мне туда,— ответил Сергей.— Есть время?

— Вот ты уже и откололся! — заключил Константин, всматриваясь в дорогу через стекло.— Ты уже... А все же старых друзей не забывай. Друзей не так много. Их почти нет! Сейчас к ней?

Сергей хорошо знал: все, что он должен был и мог

ответить, будет обидным для Константина; и также знал — особенно обидным могло быть то, что он бросил шоферские курсы и что этот новый толчок в его жизни исходил от Нины. Однако ему самому еще не представлялось ясным, что такое подготовительное отделение загадочного и смутно воображаемого Горнометаллургического института, о котором все время напоминала она. Это неизвестное и новое вызывало лишь беспокоящее любопытство, поэтому Сергей ответил наконец:

— Сейчас на Большой Московской ты пойдешь со мной, и мы посмотрим. Вместе, понял, Костька? Ты куда едешь, на базу?

— Что посмотрим? Что ты из меня лепишь? — Константин с сомнением хохотнул.— Куда вместе? Я зачем?

— Останови у бульвара. Там видно будет.

— Не понял. Я зачем?

— Стоп здесь,— нетвердо приказал Сергей.— Зайдем в одно заведение. Посмотрим.

На худощавых щеках Константина набухли желваки, но все же с видом независимости он затормозил машину в конце бульвара, выжидающе спросил:

— Ну? Без пол-литра не разберешься? А теперь что?

— Пошли.

Это была тихая улица Москвы с домами, обшарпанными войной. Огромное серое здание возвышалось за бульваром.

Длинные коридоры института были пустынны, солнечны, синеватый папиросный дымок плавал в плоских лучах света. Они поднялись на второй этаж, наугад пошли по коридору, мимо дверей аудиторий, одна из которых была приоткрыта, в щелку тек красиво-бархатистый размеренный голос, виднелся глянцевитый край доски, испещренный формулами,— и повеяло на Сергея чем-то далеким, давно знакомым, как четыре года назад в полузабытой школе перед экзаменами.

Константин, пожевывая незакуренную папиросу, заглянул в аудиторию, сказал с ядовитым недоумением:

— Синусы, косинусы, тангенсы. Боже мой, убийство ночного сторожа днем! А что, из них можно сшить костюм? Ты меня не пуж-жай, а скажи — я уважаю образованность.

— Прекрати к черту! Скажите, где здесь... подготовительное?

Навстречу по коридору бежал ныряющей походкой чрезвычайно высокий, худой, в длинном пиджаке, в помятых брюках человек, сутулясь, как все высокие люди; лицо молодое, нервное, маленькое зоркие глаза его светились строгостью.

— Направо. За угол. Вторая дверь,— ответил он, уставив подбородок на Константина.— Это что, папироса? Вы кто такой? Студент? Рано изображаете из себя горняка! Бросьте папиросу! Не курить! Зарубите на носу: здесь не фронт, не атаки, не «ура!», а Горнометаллургический институт... Шагом марш! Вторая дверь!

— В детстве, надо полагать, его мышеловкой напугали,— заметил Константин после того, как человек этот исчез в солнечных полосах нескончаемого коридора.— Куда попали, бож-же мой! В филиал зоопарка?

В небольшой комнате деканата — сдержанный говор, смех и теснота. Здесь сидели на диванах, толпились грубоватые на вид парни в шинелях, в старых, с чужого плеча пальто, в армейских кирзовых сапогах, очередью стояли у столика. За столиком — свежее взволнованное личико белокурой девушки-секретаря; тонкий ее голос звучал с выражением неуверенности и испуга:

— Товарищи, товарищи, всех декан не примет! Вы понимаете? Не примет! Я вам сказала: подготовительное отделение переполнено! Ну что вы, товарищи, все в этот институт бросились? Мало институтов? Приходите завтра с документами: аттестат или справка об образовании, биография... Ну и все остальное.

Тогда Сергей спросил излишне громко:

— Кто последний к декану?

На него оглянулись. Толстоватый, как бы весь круглый паренек в кургузой шинели с нелепо пришитым заячьим воротником подвинулся на диване, сияя широким лицом, выкрикнул приветливо:

— Я крайний. За мной, кажись, никого.

— Деревня! — сказал Константин.— А ну еще подвинься, «крайний»! Еще в институт, как паровоз, прешь! Сэло, сэло!

— А тебе что? — забормотал круглолицый, подвигаясь к самому краю.— А ты зачем ругаешься?

И тут секретарша с вытянутым растерянным личиком уже обратилась к Константину, как за помощью:

— Я предупредила товарищей. Всех декан не примет. Сдайте документы и приходите завтра с утра. Вот вы, новенькие... Вы тоже слышали?

— Милая девушка, мы подождем,— ответил игриво Константин.— Как видите, нас — рота.

— Вперед! Пополнение прибыло! Давай вливайся в нашу роту, братцы!

Вокруг засмеялись охотно.

Высокий парень в танкистской куртке, распираемой налитыми плечами, повернулся от стола; смелые его золотистые глаза глядели прямо, дружески, в зубах — пустая трубка с железной крышечкой; парень этот спросил Сергея не без любопытства:

— Из каких родов?

— Семидесятишестимиллиметровая. Дивизионка.

— Тю, земляк!

На трубке вырезана голова Мефистофеля — змеистые волосы, зловещие брови, узкая бородка; трубка была трофейная; такие не раз попадались Сергею на фронте.

— С Первого Украинского,— сказал Сергей и также не без любопытства показал взглядом на трубку.— Дейтчланд, дейтчланд юбер аллес? [1]

Яволь [2].— Танкист расплылся в улыбке.— Где закончил? В каком звании?

— В Праге. Капитан.

— Ого! — Танкист одобрительно крякнул.— Нахватал чинов! Лейтенант Подгорный, командир тридцатьчетверки. В Карпатах под Санком вам прокладывали дорогу. Як стеклышко...

— Кто кому прокладывал, не будем уточнять. Особенно в Карпатах,— сказал Сергей.— Если помнишь Санок, то не будем.

— Не будем! — блеснул глазами Подгорный.

— Земляки-и! — усмешливо протянул Константин, ревниво наблюдая за Сергеем и танкистом.— Дело доходит до лобызания. Братцы! — в полный голос сказал он.— Кто хочет лобызаться, ко мне! Я тоже с Первого Украинского!

На него не обратили внимания; вокруг Сергея и танкиста сгрудились несколько человек в шинелях; кто-то крикнул оживленно:

---

[1] Германия, Германия превыше всего? *(нем.)*

[2] Конечно *(нем.)*.

— Кто сказал с Первого Украинского, тому жменю табаку дам!

— А с Третьего Белорусского? Есть?

К ним бесцеремонно заковылял маленького роста морячок в распахнутом черном бушлате, под бушлатом на выпуклой груди разрезом фланельки открыт малиново накаленный морозом треугольник кожи. Весь этот слитый из мускулов, в огромных клешах паренек очень заметно выделялся среди армейских шинелей, и выделялся особенно своими пронзительно яркими синими глазами.

— Из Австрии есть кто? Признавайся, братва, ищу земляков! Ну кто? Или ни одного?

— Морячков как будто нема,— сказал танкист и оглянулся.— Сплошь пехота, танки и артиллерия. Сушь и земля.

— Вижу,— согласился морячок.— Ориентиров нет.— И без стеснения уставился светлыми глазами на трубку танкиста.— У тебя много таких дьяволов, лейтенант?

— Пара.

Перевалясь с ноги на ногу, морячок сунул руку в карман бушлата, на миг лицо его стало загадочным.

— Махнем, как после войны на голубом Дунае? Есть?

— Махнем, как в Праге.

Морячок, не раздумывая, вынул блестящий никелевый портсигар-зажигалку, протянул его танкисту, танкист с веселым видом отдал ему трубку. И вдруг таким знакомым, теплым маем конца войны, парком над голубыми лужами на мостовых Праги, тишиной без выстрелов повеяло на Сергея, что он задохнулся от волнения, от того недавнего, незабытого, что не исчезало из памяти каждого.

— Накурили! Дым коромыслом! Кто курил? Это почему у вас трубка? Людмила Анатольевна, почему разрешили? Это все ко мне?

— К вам, Игорь Витальевич... Я предупреждала... Здесь просто какой-то базар образовался!

На пороге деканата стоял, почти касаясь головой притолоки, чрезвычайно высокий человек в длинном пиджаке, тот самый, с нервным молодым лицом, которого встретили в коридоре; он, принюхиваясь, оглядел комнату, ткнул пальцем по направлению морячка в бушлате.

— Почему дымите как труба? Вы кто — журналист, корреспондент, художник? Кто разрешил? Если пытаетесь поступить на горный факультет, запомните: курить бросать! Горняк — это жизнь под землей. Сколько вас тут? Взвод? — И, не ожидая ответа, с неуклюжей стремительностью махнул длинной рукой.— А ну заходите в кабинет. Все! До одного! Выясним отношения!

В кабинет, располосованный лучами солнца, с высоким окном на бульвар, вошли осторожно, не шаркая сапогами, без шума расселись в кожаных креслах, на стульях вокруг письменного стола. Все озирались на стены, завешанные разрезами шахт, чертежами врубовых машин, глядели на модель отбойного молотка на стенде — многое здесь отдаленно напоминало кабинет матчасти военного училища. Константин мигнул Сергею, смешно скривив щеку, будто зуб болел, прошептал:

— Разумеется, занятные игрушки, а я без дыма горю. Мне на базе в два часа быть, как часы. Закон. А я тут болван болваном. Ужасаюсь твоей наивности.

— Езжай,— сказал Сергей.

— Нет уж! — Константин скривил другую щеку.— Страдаю. За друга готов я хоть в воду...

Декан между тем потрогал пресс-папье на чистеньком столе, пощупал стекло, изучающе посмотрел на пальцы, есть ли пыль, после чего внушительно повернул ко всем табличку на чернильном приборе: «Курение для шахтера — вред».

— Вы что там кривитесь, товарищ в кожаной куртке? Мух отгоняете? — четко спросил он, вытянув худощавую шею с заметным кадыком.— Это что ж, по-фронтовому?

— Совершенно верно,— смиренно ответил Константин.

Засмеялись, но декан, не улыбнувшись даже, сцепил на столе руки, уперся в них подбородком, заговорил:

— Так вот. Подготовительное отделение заполнено, забито, мест нет. Нет их. И не понимаю, почему вы атаковали наш институт. Во имя чего? Профессия горного инженера тяжелейшая. Это всем понятно? Половина жизни эксплуатационников проходит под землей — каменноугольная пыль, мокрые забои, газ метан. Грохот. Все время грохот, шум конвейера, машин. Частенько — жизнь в медвежьих уголках. За тридевять земель. И все время опасность, риск — бывают завалы и подземные

пожары. Есть из вас такие, которые хотят рисковать жизнью после войны? Есть? Молчите? Так вот...

Декан отнял руки от подбородка, торопливыми щелчками сбил пылинки мела с бортов пиджака, продолжал тем же тоном:

— Так вот. Другое дело — бухгалтер. Отработал восемь часов — портфель под мышку, а дома жена, горячие щи и не потрескивающая кровля, а крыша над головой. Хочешь — жену под руку и в кино, хочешь — валяйся на диване с газеткой, слушай радио. Заманчиво? Весьма! — Декан одернул галстук, рывком привалился грудью к столу.— А куда рветесь вы? Ни сна, ни покоя! Только насел на щи, тут тебе звонок: бросай щи, беги в шахту — конвейер остановился. Только жену собрался поцеловать, ан нет — стук в дверь, телефонные звонки, паника: завал! Ну как, радостно? Оптимистично? Нравится? Вот вы, например, товарищ в кожаной куртке, что вас манит именно в этот институт, что греет? Какое солнышко?

Константин вздохнул, заложил ногу за ногу, рассматривая кончик покачивающегося сапога, невинно поинтересовался:

— Меня лично, товарищ декан?

— Вас лично. Именно вас. Меня зовут Игорь Витальевич. Фамилия Морозов. Вот так вот.

— Очень приятно, Игорь Витальевич,— вежливо склонил голову Константин.— Моя фамилия Корабельников. Меня лично ничто не манит.

— Не манит? Вас? Лично? Не манит? — переспросил Морозов и стремительно выкинул свою длинную руку в сторону двери: — Тогда прошу вас выйти вон немедленно! И взять у секретаря документы. Если вы их сдали!

— Спасибо. Но я не сдал документы.— Константин воспитанно, невозмутимо поклонился, шепнул Сергею на ухо: — Веселенькое дело... Я все же подожду тебя. Пропадай база!.. Прошу прощения, Игорь Витальевич. Меня ждут производственные показатели.

И не спеша вышел, поскрипывая кожаной курткой, самоуверенно покачивая широкой спиной.

Танкист, сидевший справа, взглянул на Сергея, в золотистых зрачках заиграл отчаянный огонек, коленом толкнул морячка. Морячок полировал рукавом бушлата трубку: открыл крышечку, щелкнул ею и снова закрыл раздумчиво. Парнишка в кургузой шинели, заметной не-

лепым заячьим воротником — белесое круглое лицо было влажно,— глядел на декана с испуганным и уважительным заискиванием. И в эту минуту Сергей понял, что все они пришли сюда с такой же неясностью и неопределенностью, как и он сам.

А Морозов говорил, кулаком отстукивая по краю стола:

— Смею заметить, профессию выбирают, как жену, один раз. И на всю жизнь. В вашем возрасте это следует зарубить на носу. Вариант случайности отпадает. Добавлю к этому: открываются подготовительные отделения в Строительном и Авиационно-технологическом институтах. Тем более, повторяю, что подготовительное отделение нашего института переполнено. И тем более что на ваших лицах я вижу вариант случайности. С удовольствием выслушаю вопросы. На вашем лице я вижу вопрос, товарищ в бушлате. Ваша фамилия?

— Косов. Григорий. Разрешите вопрос?

Морячок, оттолкнувшись от кресла, прочно расставил ноги — носки ботинок накрывали огромные клеши,— и когда заговорил, казалось, напряглась грудь под расстегнутым бушлатом, синие глаза вспыхнули усмешливой недобротой:

— Конечно, я извиняюсь, но вы воевали, товарищ декан?

— Мое имя-отчество Игорь Витальевич. Декан не военное звание. Я воевал две недели под Смоленском. Остальное время воевал с породой, с водой, с углем. В Караганде. Вопрос неисчерпывающ. Но добавлю: в этой войне, Косов, воевали все, и я не разрешу прикрываться шинелью, как броней. Так-то. И никаких поблажек. И никакого размахивания фронтовыми заслугами. Для меня все равны. Все!

— Значит, все равны? А вас не хоронили, товарищ декан, в день вашего рождения? — низким баском спросил Косов.— Ваша мать не получала на вас похоронку? И после войны грузчиком и носильщиком вы не работали?

— Конкретнее! — оборвал Морозов.— Вас устраивает профессия горняка, уважаемый товарищ Косов?

— Конкретнее, при всем к вам уважении я могу трахнуть кулаком по столу! — договорил Косов и сел плотно на свое место, откинул борт бушлата.

— Благодарю вас. Вы можете идти, Косов,— сказал Морозов.

Косов пососал трубку, ответил независимо:

— Я посижу.

— Ну что ж? — Морозов обежал взглядом комнату.— Все разделяют точку зрения Косова? Все будут стучать кулаком по столу? Все будут требовать? И звенеть медалями? Может быть, кто-нибудь скажет о «тыловых крысах», о «тыловых бюрократах»? Вот вы, что думаете вы? Вот вы, в офицерской шинели. Ну, ну! Давайте!

Было декану лет за тридцать, на бледном лице морщинки утомленности; его колючая манера говорить и неприязненно отталкивала, и в то же время притягивала: все менял взгляд — подчас иронически-умный, живой, подчас усталый, как у человека, хронически страдающего бессонницей. И Сергей, увидев жест Морозова в свою сторону, ответил:

— Наши медали здесь ни при чем. Хотя мы можем требовать.

— Вы тоже будете требовать?

— Я — нет,— сказал Сергей уже спокойнее.— Если у вас в институте все переполнено, зачем сюда рваться? Нет смысла. Вы сказали: есть другие подготовительные отделения. Мне все равно.

Он не лгал ни самому себе, ни Морозову, но, сказав это, заметил повернувшиеся к нему удивленные лица и вдруг почувствовал, что ответом своим разрушил сейчас что-то.

Морозов быстро спросил:

— Зачем вы пришли сюда? Ваша фамилия?

— Пришел из любопытства. Узнать. Моя фамилия Вохминцев.

— Адрес подготовительного отделения Авиационно-технологического института: Москва, Земляной вал. Запомнили? Впрочем, разговор идет к концу. Можете посидеть, Вохминцев. Многое проясняется. Так. Прекрасно. Великолепно,— заговорил он размышляюще.— Так, прекрасно,— повторил он, барабаня пальцами по столу.— Просто великолепно.

— Я говорил только о себе,— сказал Сергей.

В комнате — молчание; потоки солнца лилились в окна, и белым потоком сыпались пылинки, струились в световых столбах над плечами Морозова, а пальцы его все

барабанили по краю стола — всем слышен был их стук.

— Нет, нет, не слушайте их! — раздался из глубины комнаты похожий на петушиный вскрик голос, и вскочил в углу парнишка с заячьим воротником на шинели, и, вскочив, рукой махнул по сразу вспотевшему носу, растерянно вытаращил глаза.— Это что же? Все тут говорят?.. Героев из себя ставят! А сами небось... Кулаками ишь будут трахать! Знаю таких! А я из Калуги... Пусть они не хотят. А я хочу! У меня отец на шахте...

И, оборвав бестолковую свою речь, парнишка утер влажные округлые щеки, исчез в углу, представился оттуда:

— Морковин моя фамилия.

— А я бы с тобой, мальчик, в разведку вдвоем не пошел! — внятно, однако не вынимая трубку изо рта, произнес Косов.

— Та у него ж мыслей гора,— сказал Подгорный.

— А я — с тобой! Пусть я не воевал! — по-петушиному колюче выкрикнул из угла Морковин.— Вы здесь не командуйте! Думаете, только вы воевали!

Морозов краем пластмассового пресс-папье звонко постучал по железному стаканчику для карандашей. С лица его сошла усталость, оно оживилось.

— Так! Все ясно. Все хотят курить? Озлобились, не куривши? Вынимайте папиросы. С вами бросишь курить — голова распухнет! А ну, у кого табак?

Он неуклюже выдвинулся из-за стола, вытянув длинную шею, выискивая, у кого бы взять папиросу, тут же перевернул объявленьице перед чернильным прибором — вместо «Курение для шахтера—вред» появилась надпись «Можно курить»,— достал у кого-то из пачки дешевую папиросу, веселея, сказал:

— Гвоздики курите? Небогато, но зло!.. Можете сдавать документы. Все. До свидания. Ничего не обещаю. До свидания. Зайдите послезавтра.

И, закашлявшись, с отвращением смял папиросу, бросил ее в чистейшую пепельницу, скомандовал:

— А ну курить в коридор! Марш!

Сергей вышел. В приемной Константин, по-хозяйски разместившись на диване перед столом секретарши, поигрывая линейкой, таинственно рассказывал ей что-то, видимо, «выдавал светский анекдот». От улыбки полу-

круглые бровки секретарши наползли на лоб, но тотчас, заметив выходивших из кабинета, она сделала строгое лицо, сказала Константину:

— Оставьте меня смешить.— И отобрала у него линейку.— Вы меня заговорили.

— Я вас оставляю и приветствую, Людочка! До встречи!

Константин запахнул куртку, победно щелкнул «молнией».

«Очередной флирт»,— подумал Сергей и сказал:

— Поехали, Костька. Все.

Когда вновь прошли пустые, пахнущие табачным перегаром институтские коридоры и вышли из подъезда на студеный декабрьский воздух, Константин сплюнул, хохотнул:

— Ну цирк! И что ж ты решил?

— Это сложное дело.

— А именно?

— Посмотрим.

— Запутал ты все, Сережка,— сказал Константин, залезая в кабину,— то, се, пятое, десятое. Сам запутался и меня вдрызг запутал. Куда тебя прет? Что тебе, шофером денег не хватило бы?

— Перестань убеждать! Как-нибудь сам разберусь!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Тебя к телефону. Женский голос. Это та твоя... фифочка.

— Нужно говорить сразу, а не расспрашивать, кто и что.

— Возьми трубку, а то брошу.

Ася недовольно передернула плечами, а он стал к ней спиной, тихо сказал в трубку «да», и в спине его, в слегка оттопыренных светлых волосах на затылке и в голосе было что-то настораживающее, новое, чужое, незнакомое ей, будто Сергей обманывал всех и обманывать заставлял его этот мягкий голос в трубке, ласково попросивший: «Пожалуйста, Сергея».

— Его спрашивает женщина, радуйтесь! — Ася закрыла дверь в другую комнату, сердито оправила джемпер.— Вы ее знаете?

— Асенька, посидите со мной. Несмотря на каникулы, я вам устрою новогодние экзамены, есть? — сказал

Константин, небрежно полистав толстый учебник по литературе.— А ну, Евгений Онегин — продукт какой эпохи?

Ася, точно не замечая Константина, переступила через коробку с игрушками, подумала, вытащила огромный серебряный шар, отразивший на блестящей поверхности ее лицо, и держала шар на весу двумя пальцами, ища на елке место.

— Какой еще экзамен? — спросила она.

Был праздничный вечер, морозно пахло в комнате хвоей — свежим негородским духом леса, наступающего Нового года.

Константин сидел на диване, костюм тщательно выглажен; новый галстук, тупые полуботинки, носки в полоску — весь модный, выбритый,— и, положив ногу на ногу, раскрыв на колене учебник, взглядывал на Асю загадочно.

— Значит, продукт какой эпохи? А, Ася Вохминцева? Продукт кр-репостничества... Не знаете? Садитесь, Ася, вкатываю двойку в дневник за нерадивость.

В этот новогодний вечер был он в отличном расположении духа, говорил шутливо, с игривой веселостью, и Ася обернулась от елки, разглядывая его непонимающими глазами.

— Сами фронтовики, а разоделись, галстуки заграничные, надушились одеколоном... Евгении Онегины какие нашлись — рестораны, компании, дома не бываете! Куда вы идете встречать Новый год? И откуда у вас деньги? Говорят, вы их очень любите? Халтурите на машине? У вас какие-то делишки с Быковым? — строго спросила она.— Это правда?

Константин отложил учебник, несколько удивленный, хмыкнул.

— Ненавижу деньги, Ася... Но без денег — пропасть. Галстук действительно заграничный. Куплен на Тишинке. Ничего особенного, обыкновенная тряпка, украшающая мою довольно некрасивую рожу. Вообще, Ася, разве вы не знаете, почему некоторых фронтовиков потянуло к костюмам и галстукам?

— Захотелось необыкновенного, захотелось форсить, вот что.— Ася с настороженностью покосилась на дверь, из-за которой слышался голос Сергея.— И он разрядился, без конца носит новый костюм. Это вы влияете?

— О Ася, нет! — Константин покачал головой.— На

Сергея не повлияешь, вы ошибаетесь. Просто фронтовиков потянуло к тряпкам для придания огрубевшим мордасам интеллигентности, которую они потеряли за четыре года. Но хорошие ребята, понюхавшие пороху, знают недорогую цену этим тряпкам. Не уверены? Ах, Асенька, вы другое поколение. Мы — отцы, вы — дети. Вечный конфликт. Вы в восьмом классе учитесь?

— Вы всегда шутите, всегда цинично говорите! И распускаете хвост, как павлин! — заговорила Ася быстро.— Вон усики какие-то противные отпустили, для цинизма, да? Фу, противно смотреть, и бакенбарды косые — все как у парикмахера! Это все вы сделали, чтобы легче быть наглым, да?

Он на мгновение встретился с ее огромными, нелгущими, черными, чуть раскосыми глазами, подпер подбородок, некоторое время грустным спрашивающим взглядом смотрел на нее, наконец сказал:

— За что же вы меня так ненавидите, Асенька? Вы меня очень ненавидите? За что?

Она молчала с независимой строгостью и ходила вокруг елки, все еще держа двумя пальцами блестящий шар, привстала на носках, напрягая ноги, решительно отводила ветви локтем, угловатая, неловкая в этом широком зеленом джемпере. И Константин, вздохнув, поднялся с дивана, подавляя в себе растерянность оттого, что она молчала, затем дружески заулыбался, желая смягчить ее непонятную неприязнь к нему.

— Давайте я повешу, Асенька, у меня длиннущие руки. И улыбнитесь, пожалуйста. Девочкам не идет хмуриться, ей-богу!

— Уйдите! Я вас не просила!

Она отдернула руку, спрятала шар за спину, и Константин, словно натолкнувшись на что-то острое и жесткое, помолчал в озадаченности, опять вздохнул.

— Что ж, Асенька... У вас такое лицо, что вы можете меня побить. Ну что я должен сделать, чтобы заслужить ваше расположение?

— Как вам не стыдно! Не думайте, что я девочка, ничего не понимаю! — торопливо заговорила она.— Мы получаем хлеб по карточкам. Все получают, а вы мандарины приносите! Откуда они у вас? Быков дал? Я видела... видела, Быков утром мандарины на кухне мыл! Вы у него взяли!

Константин посмотрел на маленький чемодан, на ман-

дарины возле елки — мандарины эти он принес вместо новогоднего подарка — и воздел руки, блеснули запонки на манжетах.

— Ася, у меня достаточно денег, чтобы купить на Тишинке мандарины. Боже, за что вы меня упрекаете?

Она перебила его:

— Тогда откуда у вас деньги? Я знаю, как плохо живут люди, а у вас откуда? Значит, вы нечестно живете! Разве шофер столько денег получает? Нет, нет, я знаю! Если бы папа узнал, что вы принесли эти ужасные мандарины! Он бы вас выгнал!..

Все лицо ее источало брезгливость, презрительно опустились края рта; она мотнула косой по спине и, вешая шар на елку, договорила через плечо стеклянным голосом:

— Не ходите к нам больше! Поняли?

— А-ася,— жалобно сказал Константин.— Зачем резкости?

Нарочито громко вздыхая, он стоял позади нее и, пытаясь нащупать путь примирения, обескураженный ее злой прямотой, не знал, что говорить этой девочке.

Когда он услышал голос вошедшего в комнату Сергея: «Н-да, черт побери!» — и увидел, как тот рассеянно, хмуро зачем-то похлопал себя по карманам, Константин вторично попробовал растопить ледок неприязни, повеявшей от Аси, засмеялся:

— Твой разговор по телефону напоминал доклад. Ася, его часто рвут и терзают по телефону? — спросил он, снова обращаясь к Асе, еще не в силах преодолеть инерцию трудного разговора с ней, и тут же понял — говорить этого не стоило.

— Ася, выйди в другую комнату,— сухим тоном приказал Сергей.— Ну что ты стоишь? Выйди. У нас мужской разговор,— повторил он резче, и Константин заметил, как при каждом слове Сергея замирала худенькая, в широком джемпере спина не отвечавшей ему Аси, как все ниже наклонялась ее тонкая шея.

— Давай мы оба выйдем, погутарим в коридоре,— миролюбиво предложил Константин.— Не будем мешать.

И вихрем мимо него мелькнул зеленый джемпер Аси — подбородок прижат к груди, глаза опущены,— и дверь в другую комнату хлопнула, потом донесся ее непримиримый голос:

— Папа сказал, чтобы ты был сегодня дома, а не в компании с Константином! Понятно тебе?

Они переглянулись.

Досадливо пожав плечами, Сергей в новой белоснежной сорочке, с новым галстуком, съехавшим набок, прошелся по комнате, сказал прежним резковатым тоном:

— Все не так, как задумано! Едем через полтора часа к Нине. Она не может приехать. Потом, кто-то там хочет видеть меня. Люди, в чьих руках моя судьба. Понял? Это даже интересно! — Сергей заложил руки в карманы, круто повернулся на каблуках к Константину.— Ну? Ясно? Звони в свою компанию, скажи — не сможем, не будем. Поедем к Нине. Ну что задумался? Давай к телефону!

— Решил, Серега, за меня? Как в армии?

— А что тут решать!

— Не считаешь ли ты, Серега, меня за мумию? — поинтересовался Константин.— Спросил бы, куда меня душа тянет — в ту компанию или в эту? Или эгоизм разъел уже и твою душу? А, Серега?

— Хватит, еще будем разводить нежности! Решай по-мужски: туда или сюда?

— Сюда. Конечно, сюда.— Константин с заалевшими скулами пощипал усики.— Поедем. Только вот хлопцев обидим. Хорошие ребята собираются на Метростроевской. Ладно. Снимаю предложение. Согласен к Нине.

— Другое дело. Звони!

Когда на Ордынке вышли из троллейбуса и, как бы освобожденные, вырвались из тесноты, запаха морозных пальто, из толчеи новогодних разговоров, из окружения уже оживленных и красных лиц, вся улица была в плывущей карусели снегопада.

На троллейбусной остановке свежая пороша была вытоптана — здесь чернела длинная очередь, загорались огоньки папирос; компания молодых людей с патефоном, будто завернутым в белый чехол, весело топталась под фонарем: наперебой острили, хохотали. Был канун 1946 года. И везде — в скользящих под снегопадом огнях троллейбуса, в окнах домов, в красновато-зеленоватом мерцании зажженных елок — была особая предновогодняя легкость, чистота, ожидание. Это чувствовалось и в запахе холода, и в фигурах редких прохожих, которые

бежали навстречу, завьюженные, в побеленных шапках, все несли авоськи со свертками, с торчащими из газетных кульков бутылками полученного по карточкам вина — и сейчас хотелось верить в долгие дни этой праздничной возбужденности и доброты.

— «Мне-е в холо-одно-ой земля-нке-е тепло-о»,— затянул Константин глубоким басом.

— «От твоей негасимо-ой любви-и...» — подхватил Сергей.

Огромные окна аптеки на углу были пустынно-желтыми; снежные бугры перед подъездами темнели следами.

Переходили улицу: около тротуара завиднелась какая-то изгородь, сплошь забитая снегом, там мутно блестел красный фонарь, и фигура, укутанная в тулуп, в женском, намотанном на голове платке двигалась возле фонаря, лопатой расчищала горбатый навал сугроба, наметаемого к изгороди: видимо, замерзли водопроводные трубы, и шли тут работы в эту новогоднюю ночь.

— С Новым годом, мамаша! — сказал Сергей, шутливо козырнув с чувством освобожденной доброты ко всем.

— Какая я т-те, к шуту, мамаша? — густо прохрипела фигура, закутанная в тулуп, выпрямилась, мужское лицо недовольно глядело из-под платка.— Глаза разуй, поллитру хватил?

— А платок, платок зачем? — захохотал Константин.— У жены напрокат взял? Тебя, дядя, в упор в бинокль не различишь!

— Ладно, ладно! — обиженно загудел тулуп.— Давай дуй, справляй! К девкам небось бежите? Чего хохочете-то, ровно двугривенный нашли? — И, сплюнув себе под валенки, с сердцем метнул облако снега в сторону тротуара, под длинные полосы электрического света, разлитые из мерзлых окон.

Оба снова засмеялись, овеянные на тротуаре колючей снежной пылью, и Константин, с улыбкой удовольствия стряхнув налипший пласт на рукава кожанки, посмотрел на часы.

— «Уж полночь близится, а Германна...» — И, ударив Сергея по плечу, фальшиво пропел: — Мы рано премся! Не люблю приходить до разгара!

Когда через темную арку ворот, дующую сквозным холодом, вошли в маленький двор и остановились под

шумевшими на ветру липами, когда Сергей нашел над дымящимися крышами сараев ярко-красное окно в стареньком трехэтажном домике Нины, он с внезапной остротой почувствовал сладкое, тревожное и горькое давление в горле, как в первое утро после проведенной ночи у Нины, когда, проснувшись в ее комнате, он увидел четкие крестики вороньих следов на розовой крыше сарая. И то, что Константин вошел в этот обычный замоскворецкий дворик лишь с некоторой заинтересованностью гостя, не зная того, что помнил, ощущал сейчас Сергей, буднично отдаляло его и принижало его чем-то.

— Куда идти? Какой этаж? Однако твоя Ниночка живет не в хоромах...— Константин, задрав голову, прижмурясь от снега, летящего ему в глаза, оглядывал горевшие во дворике окна.— Не вижу карет и швейцара у подъезда.

И Сергей ответил:

— За мной! Не упади на лестнице, наступив на кошку. Лифта не будет!

По полутемной лестнице поднялись на второй этаж, позвонили и, стоя в ожидании под тусклой лампочкой на площадке, услышали из-за обитой клеенкой двери смешанное гудение голосов, смех, потом возглас: «Ниночка, звонят!» — и затем побежал к двери перестук каблуков вместе со знакомым голосом:

— Сейчас открою!

Щелчок замка, свет неестественно яркой передней, из квартиры на лестничную площадку вырвались звуки патефона, в проеме двери вырисовывались узкие плечи Нины.

— Вы просто молодцы!

Весело улыбаясь, она воскликнула: «Быстрей, быстрей!..» — и втащила Сергея в переднюю, и уже в передней, заставленной галошами, женскими ботами, заваленной пальто, он заметил в открытую дверь за ее спиной незнакомые ему мужские и женские лица и, оглушенный хаосом смешанных голосов, на какое-то мгновение почувствовал растерянность оттого, что в этой комнате с ее обычной зимней тишиной было нечто непривычное. И он, пересиливая себя, улыбнулся Нине.

— Ну раздевайтесь, быстро! Хотя есть время... Сами знаете, мужчины не умеют терпеть, когда стоит вино на столе! Быстро, быстро! — Она засмеялась, протянула

Константину руку.— Мы еще незнакомы. Нина. Я, кажется, чуть-чуть вас знаю со слов Сергея...

— Костя... Константин. Я тоже чуть-чуть,— попав в луч ее взгляда, произнес Константин, бережно сжал ее пальцы и тотчас вынул из карманов две бутылки вина, поставил их на тумбочку, меж валявшихся кучей мужских шапок, договорил шутливо-галантно: — Прошу вас, Нина, без ненужных слов. Живем в тяжелое время карточек, лимитов и прочее... А кажется,— он моргнул на дверь,— мужчин здесь хватит. Простите, вы на меня не сердитесь?

— Нет, нет, что вы! — воскликнула Нина.— Хорошо, идемте. Я вас сейчас познакомлю со всеми.

— Только ни с кем нас не знакомь,— остановил ее Сергей.— Мы сами познакомимся.

Их встретили оживленным гулом, обрадованными возгласами полушутливых приветствий, как встречают даже в незнакомой компании новых гостей; в плавающем папиросном дыму лица повернулись к ним; и тут молоденький паренек в очках, как-то неудобно сидя у края стола, неизвестно зачем зааплодировал, глядя на Нину, заорал ожесточенно:

— Горько!

И в полутени абажура пара, топтавшаяся в углу комнаты под звуки патефона, обернулась с любопытством; и кто-то приподнялся с дивана, помахал им в знак приветствия. Стоя среди говора, смеха, шума, Сергей мгновенно понял, что их ждали здесь, в этой, видимо, давно знавшей друг друга компании; и он, неприятно оглушенный, скованный и шумом и многолюдством, не очень ловко представился всем сразу вместе с Константином:

— Сергей.

— Костя, он же Константин.

И Нина, встав между ними, спросила: «Все познакомились?» — после чего взяла обоих под руки, подвела к столу, поворачивая голову то к одному, то к другому, сказала ласково:

— Мы сядем здесь. Я — посредине. Будете за мной ухаживать оба.— И добавила шепотом: — Видите, я уже многих усадила за стол: негде танцевать. Пусть сидят. Я сейчас. Садитесь! — Она посадила их и, улыбаясь, скользнула глазами по толкотне в комнате.— Товарищи геологи и горняки, прошу всех к столу! Мальчики, по-

смотрите на часы. Свиридов, оставьте патефон и включите радио!

Патефон захлебнулся и смолк, перестала шипеть пластинка, потом загремели стулья, пододвигаемые к стóлу, послышались со всех сторон возгласы:

— Пора, пора, терпежу нет! Включить радио!

И сейчас же за столом стало теснее, заколыхались незнакомые лица, девушки со смехом стали разбирать разномастные, собранные, по-видимому, у всех соседей тарелки, парни с бывалым видом пьющих людей взялись за бутылки, изучающе рассматривая этикетки; кто-то потребовал рокочущим басом:

— Штопор мне, Ниночка, штопор! Дайте мне орудие производства!

— В углу! Сдерживайте Володьку и отберите у него селедку! Сожрет все в новогоднем восторге! — крикнули в конце стола.

Возникло то оживление, когда садятся за стол, и прежней растерянности, появившейся вначале у Сергея при виде этой толчеи совсем незнакомых людей, уже не было. Он закурил, поискал глазами пепельницу, не нашел ее поблизости, но сосед справа, паренек в очках, некстати заоравший давеча «горько», пододвинул к нему чистое блюдечко, сказал с нетрезвой вескостью:

— Сойдет! В этой компании сойдет, верно, Сергей?

Был он возбужден; похоже, выпил перед тем, как идти сюда, выглядел смешно, наивно, неряшливо, очки странно увеличивали его по-мальчишески косящие глаза, и лицо, худое, остроносое, имело обалделое выражение.

— Я вас знаю и понимаю! — сказал он с категоричной хмельной прямотой.— Огонь, дым, смерть... и студенческая скамья, карточки и профессора в пальто на кафедре. Поколение, выросшее на войне, и поколение, выросшее в тылу. Вы воевали, мы учились. Два разных поколения, хотя разница в годах... с воробьиный нос. Вы презираете наше поколение за то, что оно не воевало?

— Пожалуй, нет,— сказал Сергей.— А к чему этот вопрос?

Локоть паренька, как по льду, оскальзывался на краю стола, стекла его очков ядовито сверкали.

— Бросьте! — Паренек в очках взъерошился, хлопнул несильным кулачком по столу.— Поколение, испытавшее

дыхание смерти, не может быть объективным к тем, кто не воевал! А я не воевал!

— И что же?

— Откровенность за откровенность. Отвечайте мне!

— Только на равных началах. Вы уже громите стол кулаком. Равенства нет,— ответил Сергей.— Вы меня запугиваете.

Взрыв смеха раздался за дальним концом стола — разговор, вероятно, был услышан там. И, удивленный вниманием к себе, Сергей поднял голову и неясно увидел в полутени абажура, среди молодых возбужденных и смеющихся лиц, чье-то очень знакомое лицо — оно, чудилось, ободряло и кивало ему, а рядом было женское лицо, которое искоса смотрело в направлении Сергея, кривилось вымученной гримасой.

«Уваров?.. Он здесь?» — мелькнуло у Сергея, и его словно обдало горячим парным воздухом. Было нелепо и противоестественно, что, войдя в эту комнату, он в первую минуту не заметил их — Уварова и его девушку, кажется, ее звали Таня... Но вдвойне бо̀льшая противоестественность была в том, что, зная друг о друге то, чего не знали другие, они сидели за одним столом, и Уваров, как если бы между ними ничего не было, даже ободряя, кивал ему сейчас, а он, нахмурясь, еще не знал, что̀ надо было ответить и делать на это участие.

— Тиш-ше!

— Радио, радио включите!

— Петька, поставь бутылку, кто открывает вилкой?

— Ша, пижоны, как говорят в Одессе!

Крики эти, смех, толчея в комнате уже проходили мимо, не касались сознания Сергея, и он, соображая, что ему делать, видел, как Уваров ножом с настойчивой требовательностью стучал по бутылке. Он устанавливал порядок на своем конце стола, и две девушки, сидя напротив Уварова, что-то весело говорили через стол, а он отрицательно качал головой.

«Что это? Зачем это? Как он здесь?..— спрашивал себя Сергей.— Его знают здесь?» — соображал он, ища решения, и тут же услышал удивленный шепот Константина над ухом:

— Ты ничего не видишь? Куда мы попали, маэстро? Ты видишь того хмыря, ресторанного? Твой фронтовой дружок? Что происходит?..

— Сиди и молчи, Костя, посмотрим, что будет дальше,— вполголоса ответил Сергей.

— Так что ж вы замолчали? — просочился сбоку из папиросного дыма нетерпеливо задиристый тенорок, и придвинулось к Сергею ядовитое сверканье очков.

— Мы разве с вами не доспорили? — плохо вникая в смысл своих слов, ответил Сергей.— Кажется, все ясно.

В это время прозвучал за спиной жестковатый голос:

— Прошу прощения, разрешите с вами лично познакомиться?

Сергей обернулся: позади него стоял невысокий старший лейтенант средних лет, лицо сухое, болезненно желтое, с глубоко впалыми щеками. Новый китель аккуратно застегнут на все пуговицы, свежий подворотничок педантично чист, темные цепкие глаза глядели в упор; левой рукой старший лейтенант опирался на палку.

— Свиридов. Рад познакомиться с фронтовиком. Тем более — со своим будущим студентом.

— Не понимаю.— Сергей почувствовал, как плотно и сильно сжал его плечо Свиридов, и вместе с тем, слыша смутный шум за столом, там, где сидел Уваров, спросил: — Но почему «студентом»?

Губы Свиридова немного раздвинулись, улыбался он неумело, некрасиво, и, выговаривая фразы прочно, округляя их, он сказал:

— Вы подавали документы в Горнометаллургический институт и разговаривали с доцентом Морозовым. Вчера списки утверждались. Я присутствовал от партбюро и отстаивал фронтовиков. Я преподаю в институте военное дело. Вас отстояли. Поздравляю. Списки сегодня утром вывешены.

— Отстояли? Меня? От кого отстояли?

Свиридов скупо улыбнулся изгибами рта, взгляд был немигающ, внимателен, голос, отделенный от улыбки, звучал по-прежнему увесисто:

— Это неважно сейчас.

— Что ж... Спасибо, если отстояли,— сказал Сергей.

И через минуту, когда он сел, чья-то рука мягко легла сзади на его плечо,— Нина наклонилась над ним и, заглядывая ему в глаза, сказала тихонько:

— С тобой хочет поговорить один человек. Иди сюда, пересядь на тахту. Он хочет... Здесь никто не будет мешать.

— Кто он?

— Узнаешь...

Сергей пересел на тахту с неприятным чувством перед вовсе ненужным новым знакомством — не хотелось сейчас отвечать кому-то на вопросы или спрашивать, желая казаться вежливым, общительным человеком, как это надо было делать в гостях.

— Здорово, Сергей! Очень рад тебя встретить здесь!

Этот знакомый рокочущий басок будто толкнул Сергея, и, еще не веря, он увидел: рядом опустился на тахту Уваров в очень просторном клетчатом, с толстыми плечами пиджаке, синего цвета галстук выделялся на свежей полосатой сорочке, на тесном воротничке, сжимавшем крепкую шею.

Сергей быстро взглянул на неопределенно улыбающееся лицо Нины, на излишне веселое лицо Уварова и, криво усмехнувшись, выдавил:

— Ну?

Уваров, наморщив брови, бодро заговорил примирительным тоном:

— Ну как, Сережа? Будем физиономию друг другу бить или брататься? Ну... здорово, что ли? Ниночка, вы можете нас не знакомить. Мы знакомы. Верно?

Он со скрытым напряжением, с нарочитой уверенностью засмеялся, а Сергей все смотрел в его лицо, как бы отыскивая следы после той встречи в ресторане, вспомнил его вскрик: «Он изуродовал меня!» — поморщился, ответил сдержанно:

— Однажды я тебе сказал... я не люблю братских могил. Это, наверно, ты помнишь!

— Так.— Уваров вроде бы в раздумье потер лоб длинными пальцами; вдруг, обращаясь к Нине, проговорил: — Мира не получается. Что ж будем делать? Может быть, кому-нибудь из нас нужно умереть, чтобы другому было свободнее? Остроумнее не придумаешь!

Нина взяла Сергея за локоть, вздыхая просительно, и затем взяла за локоть пожавшего плечами Уварова, легонько толкнула их друг к другу, прошептала обоим:

— Ну, мир? Перемирие? Сидите.

— Я готов,— принужденно сказал Уваров.— Но перемирие может состояться тогда, когда его хотят обе стороны.

— Он прав,— ответил Сергей, в то же время думая: «Мелодрама! Чем кончится эта мелодрама? Зачем он хо-

чет говорить со мной? И зачем вмешивается Нина?..»

Он договорил:

— Братание вряд ли у нас получится.

— Нет, нет, только мир,— уверительно повторила Нина.— Мир, мир. Прошу вас обоих, Сережа.

Уваров расстегнул пиджак, удобнее развалился на тахте, полное лицо его выражало добродушную обезоруженность.

— Боюсь наболтать банальщины, Ниночка, но один в поле не воин.

Сильный, голубоглазый, в своем клетчатом, сшитом, видимо, в Германии костюме, Уваров бесцеремонно начал разглядывать полочки сбоку тахты, стал трогать фигурки тунгусских богов, образцы кварца, говоря своим рокочущим баском:

— Геологи, в особенности женщины,— удивительные люди. Стоит им хотя бы на полгода обосноваться в городе, как окружают себя тысячами вещей. Это что же — тяга к уюту? А, Ниночка? Или — ха-ха! — геологическое мещанство? Хм, что это за сопливый слон? Не положено. Мещанство. На партийное собрание вас.

— Я беспартийная, Аркадий.

— На суд общественности вас. Экую настольную лампу в комиссионном оторвали! Мещанство высшей марки!.. Да, да, Ниночка! Верно, Сергей? — обратился он к Сергею дружелюбно и просто, как к близкому знакомому, от его манеры гладко говорить повеяло чем-то новым. Этот Уваров не был похож на того капитана Уварова, который три месяца командовал батареей и которого он встретил в ресторане недавно.

Широкая фигура Уварова в просторном немецком костюме раздражающе лезла в глаза, и какая-то непонятная сила сдерживала Сергея, заставляла сидеть, наблюдать за ним с особым едким интересом. «Нет, в ресторане он был другим. Тогда в нем было то, фронтовое: взгляд, осанка, тогда он был в кителе...» И чувствуя неприятную испарину на висках, Сергей не вытирал ее — не хотел выказывать скрытого волнения.

— Мещанство надо понимать иначе,— когда человек трясется только за свою шкуру,— сказал Сергей.— Это известная истина.

— Сережа,— робко остановила его Нина и вздохнула.— Ну я прошу... Я не буду мешать. Я лучше уйду.

Уваров, однако, со спокойным видом покатал на ладони кусочек кварца, спросил:

— Не остыл еще? Ну скажи, Сергей, признаешь объективный и субъективный подход к вещам? Мы с тобой оба воевали, но некоторые штуки оцениваем по-разному.

— Ты воевал? — Сергей раздавил окурок в пепельнице на тумбочке.— Правда одна. Ты хочешь две!..

— Значит...

— Значит, братская могила?

— Какая могила?

— Вали все в одну яму? Все, кто был там, воевали?

— Вот что, Сережа...— медленно проговорил Уваров, положив кусочек кварца на полочку, и, так же медленно и вроде без охоты шутя, вынул военный билет.— Может, ты посмотришь мой послужной список?

— Я знаю его,— сказал Сергей.— Ты пришел к нам из запасного полка и ушел в запасной полк.

— У каждого судьба складывается по-своему. В войну — особенно.

Слыша голос Уварова, Сергей опять потянулся за сигаретами — было горько, сухо во рту, но сигарету не достал, рука осталась в кармане пиджака, и, сидя так, в полутени, в этом неудобном положении ощущая возникшую тяжесть во всем теле, он думал с раздражением на самого себя: «Не так, не так говорю с ним! Он уверен, спокоен... И мне надо говорить... Только спокойно!..» С коротким усилием он изменил неловкую позу, посмотрел неприязненно в ждущие глаза Уварова.

— Не забыл лейтенанта Василенко? Надеюсь, ты помнишь его?

— Но откуда ты все можешь знать? — Уваров сделал изумленное лицо, шумно выдохнул из себя воздух, как спортсмен после длительного бега.— Тебя ведь увезли в госпиталь, насколько я помню?

— Я встретил в госпитале писаря из трибунала. Это тебе ничего не говорит?

— Ох, Сережа, Сережа,— сказал Уваров с выражением тяжелейшего утомления.— Ниночка,— позвал он расслабленно,— я уже бессилен... Я уже не могу!..

Сергея особенно злило, что Уваров обращался к Нине, точно в верном поиске у нее поддержки и точно заранее зная, что эта поддержка будет. Она подошла, осторожно улыбаясь обоим, и Сергей, нахмуренный, от-

вернулся, подумал: «Почему она вмешивается в то, во что не должна вмешиваться?»

За столом хаотично шумели, кричали, крики, смех смешивались в оживленный гул, заглушая разговор на тахте, но ожидаемого мира не было в этой комнате. Он был и не был. Мир был фальшив.

— Мальчики, садитесь за стол! — поспешно сказала Нина и погладила обоих по плечам.— Хотите — для вас я найду водку? Старую бутылку. Привезла из Сибири. С довоенной маркой!

— Подождите, Ниночка! — мягким баском произнес Уваров, взглядом задерживая Сергея.— Мы не договорили.

— Мы договорили,— сказал Сергей.

— Нет, Сережа,— перебил Уваров все так же мягко.— Простите, Ниночка, можно нам еще минутку один на один?

— Да, да, я ухожу, говорите.

Сергей сознавал всю глупость, всю неестественность своего положения и хорошо понимал, что не может, не имеет права быть сейчас здесь, сидеть на одной тахте с Уваровым, но что-то сдерживало его, и он, как бы помимо воли своей, старался дать себе отчет, чего же он не понимал в этом новом, все забывшем, казалось, Уварове, а знакомое и незнакомое его лицо было потно, голубые глаза чуть покраснели, в них по-прежнему искрилось добродушие, веселое желание мира.

— У тебя, Сергей, странные подозрения. Основанные на слухах. У тебя нет никаких доказательств. Остынь и рассуди трезво. Я не хочу с тобой ссориться, честное слово. То, что было,— черт с ним, забудем. Я не навязываю тебе дружбу, хотя был бы рад... Пойми, Сережа, нам учиться в одном институте, только на разных курсах. Я стою за то, чтобы фронтовики объединялись, а не разъединялись. Нас не так много осталось. Ей-богу, ты во мне видишь другого человека. Хотя, я понимаю, это бывает... Я хочу, чтобы ты объективно понял... Я сам себя часто ловил на том, что сужу о людях не так, как надо.

— Товарищи фронтовики, прекращайте секреты! — крикнул Свиридов из-за стола, изображая на худом своем лице неумело-комическое нетерпение.— Занимайте места!

И в эту минуту Сергей понял, что надо прекращать

этот разговор. Слова, которые говорил сейчас Уваров, и то, что они сидели сейчас здесь, на тахте, близко друг к другу,— все с противоестественной нелепостью соединяло, сближало их, и Сергей резко поднялся, сказал:

— Значит, дело в психологии? А я-то не знал!

Уваров встал следом за ним, вроде бы нисколько не задетый открытой этой насмешкой, проговорил тоном серьезного и дружеского убеждения:

— Подумай обо всем трезво, честное слово, ты не прав. Ну подумай.— И бодрым голосом ответил Свиридову, глядевшему на них: — Иду, иду, Павел! Нам необходимо было поговорить!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Я знал, что надо делать, тогда, в ресторане, но что делать сейчас? Улыбаться, разговаривать с соседями, с парнем в очках? Развлекать девушек, как это делает Константин, показывая какой-то фокус с рюмкой и вилкой? Новый год — я разве забыл об этом? Тогда зачем я пришел сюда? Что я делаю? Знаю, что нельзя прощать, но сижу здесь, за одним столом с ним?.. Значит, прощаю?»

Уваров сел справа от Свиридова, закурил, потом с почти обрадованной улыбкой кивнул Сергею, и тот, испытывая вязкий холодок отвращения к самому себе, внезапно подумал, что после ресторана, после этого разговора он почему-то не ощущал прежней ненависти к Уварову, а оставалось в душе чувство усталости, неудовлетворения и горечи.

Он искал в себе прежней острой ненависти к Уварову — и не находил. Он не мог определить, понять точно, почему так произошло, почему это недавнее, жгучее незаметно перегорело в нем, как будто тогда, встретив Уварова впервые после фронта, он вылил и исчерпал всю ненависть, и постепенно ее острота притуплялась, чудилось, против его желания. Но, может быть, это и произошло потому, что никто не хотел верить, не хотел возвращаться назад, к прошлому, которое было так близко,— ни Константин, ни майор милиции, ни те люди в ресторане, ни все те, кто смеялся, разговаривал теперь в этой комнате с Уваровым; они не поверили бы в то, что произошло в Карпатах. Он спрашивал себя: что же изменилось — время или наша победа отдаляла войну?

Или было желание плюнуть на все, что не давало покоя ему, мешало жить? Он еще сопротивлялся, не соглашался с этим, но замечал, как люди уже неохотно оглядывались назад, пытаясь жить только в настоящем, как вот и сейчас здесь... Если бы каждый из сидящих за этим столом помнил о погибших — о разорванных животах, о предсмертном хрипе на бруствере окопа, о фотокарточках, залитых кровью, которые он после боя вместе с документами доставал из карманов убитых,— кто бы смеялся, улыбался сейчас? Но улыбаются, острят, смеются... И он тоже четыре года так жадно мечтал о какой-то новой жизни, полновесной, праздничной, которая в тысячу раз окупила бы прошлое... Уваров... Разве дело только в Уварове? Никто не хочет копаться в прошлом, и нет у него доказательств... Но есть настоящее, есть жизнь, есть будущее, а прошлое в памяти людей стиралось...

— Ты что хмуришься? Перестань курить.

Легкие Нинины пальцы легли на руку, потянули из его пальцев сигарету, бросили в блюдечко — и она повторила шепотом:

— Ну? Будем сидеть букой?

— Нет,— сказал Сергей.

И она на миг благодарно прижалась к нему плечом.

— Ты посмотри на Костю. Он молодчина.

Константин в это время, взяв на себя команду на своем конце стола, возбужденный новой компанией, вниманием девушек, которые уже называли его Костенькой, подмигнул, как давнему приятелю, пареньку в очках, налил в его рюмку водки, после чего весело прищурился на Нину.

— Вам? — И спросил так галантно, что Нина засмеялась.

— Конечно, водку, Костя. Пожалуйста.

— Нина — не женский монастырь, нет! — пробормотал паренек в очках.— Не монастырь кармелиток!

— Пе-етень-ка-а,— протяжно сказала Нина и ласково взъерошила ему волосы.— Петенька, ты пьян немножко? Да, милый?

Тот мотнул головой, угрюмо отшатнулся на стуле.

— Не надо... не хочу... ты не надо... так... Не люблю...

— Братцы! Разговорчики! Внимание, даю площадь!..

Все замолчали. В тишине комнаты возник приближенный, отчетливый шум Красной площади: гудки автомо-

билей в снегопаде, шорох шин — звуки новогодней ночи, знакомые с детства, и там, в метели, рождаясь из снежного шелеста, из гула пространства, мощным великолепием раскатился, упал первый бой курантов.

— Тише приемник! У всех налито? Сергей, у тебя налито? Приготовиться, братцы! Сережа, налито у тебя? Ухаживайте за фронтовиками там, на том конце! Первый тост фронтовикам!

И неожиданно командный голос Уварова, перекрикивая мощность приемника, опять будто окунул Сергея в ледяной сумрак октябрьского рассвета в тусклых Карпатах — этот командный голос был связан только с тем, в нем было только то...

«Нет! Не хочу думать о том! Все — новое, надо жить новым»,— стал убеждать себя Сергей, и, стараясь найти это непостижимое новое, он с надеждой посмотрел на праздничное последнее приготовление, вызванное командой Уварова.

А Уваров стоял за противоположным концом стола, держал, сосредоточенно серьезный, стакан, наполненный водкой; снизу поднял к Уварову цепкий взгляд Свиридов; глядела в ожидании, подперев пальцем щеку, белокурая девушка, которую, кажется, звали Таня...

Лицо Уварова изменилось — губы его на секунду каменно сомкнулись.

— Я предлагаю тост... Первый тост...

Губы Уварова разжались, слова, тяжелые и железные, срывались с них, падали в тишину. Все напряженно молчали, лишь посапывал досадливо, гася папиросу в блюдечке, парень в очках.

— Я предлагаю тост... как бывший солдат. Тост за того... с именем которого мы ходили в атаку... стреляли по танкам, умирали... С именем которого мы защищали Родину и победили...— Уваров помедлил, из-за плеча остро глянул на Свиридова, закончил страстно зазвеневшим голосом: — За великого Сталина!

И в следующий момент, скрипнув палочкой, распрямился над столом обтянутый новым кителем худощавый Свиридов, без улыбки, безмолвно чокнулся с Уваровым. Все неловко вставали, отодвигая стулья; потянулись друг к другу стаканы,— и Сергея вдруг хлестнуло едкое чувство чего-то фальшивого, неестественного, исходящего от Уварова; он тоже встал со всеми, сжимая в пальцах рюмку,— стекло ее стало скользким. Рядом — сдержан-

ное шевеление голосов, шорох одежды, потом еле различимый шепот и прикосновение Нининых теплых волос к его щеке:

— Сережа... Я с тобой чокнусь, милый...

И стакан Константина ударился об его рюмку.

— Старик, давай... Что думаешь?

Он ясно увидел под светом абажура потный лоб Уварова, строгий взор, впалые щеки Свиридова, опущенные глаза белокурой девушки и подумал со злым ожесточением к себе: «Зачем я шел сюда? Зачем мне нужно было приходить сюда?»

— Я хотел сказать...— внезапно проговорил Сергей, едва узнавая свой голос, отдаленный, чужой, отдававшийся в ушах, и, глядя на Уварова, на его крепкое лицо, от которого словно пахнуло болотной сыростью карпатского рассвета, договорил глухо: — Я с тобой пить не буду! Не тебе говорить от имени солдат!

Была плотная тишина, неясно желтели лица в оранжевом свете абажура, и лицо Уварова сейчас же отклонилось за круг абажура, потеряв резкость черт, лишь были очень ясно видны в одну полоску собранные губы.

— Послушайте, послушайте, что он говорит!.. Вы все слышали? Он преследует Аркадия! Он сводит свои счеты,— с отчаянием, рыдающим взвизгом выкрикнула полная белокурая девушка.— Он ненавидит Аркадия!..

— Товарищи дорогие, прекратите свои распри! — умиротворяюще громко сказал кто-то.— Новый год! Портите всем настроение.

— Браво! — пьяно воскликнул парень в очках и зааплодировал.— Это я люблю! Драма в благородном семействе!

— А может, помолчишь ты, друг любезный в благородных очках! — выплыл вежливо-недобрый голос Константина, и его локоть толкнул локоть Сергея.— Садись, Сережа, посидим и выпьем ради приличия...

Сергей, не двигаясь, сказал только:

— Подожди, Костя.

— Все это оч-чень странно! — донесся от того конца стола скованный и тяжелый голос Уварова.— Особенно для фронтовиков... Но если, друзья, у кого-то не в порядке нервы... Я здесь не несу никакой ответственности и объясняю все только непонятной подозрительностью и неприязнью Сергея ко мне.— Голос его перестал быть тяжелым, зазвучал тише, и, пытаясь улыбаться, он за-

кончил со снисходительным спокойствием человека, не желающего обострять случайное недоразумение.— Я не буду сейчас выяснять наши фронтовые отношения. Не стоит портить праздник, друзья. Понимаю: бывает неосознанная неприязнь...

Увидев эту улыбку, Сергей вспомнил, ощутил знакомое чувство, испытанное им тогда в ресторане, когда он ударил Уварова и когда люди позже осуждали его, а не Уварова, и, подумав: «Ему стоит позавидовать — умеет себя держать в руках...» — и напряженным усилием сдерживаясь, сказал тем же тоном, каким говорил сейчас Уваров:

— Да, конечно, не стоит портить праздник. Но я не буду мешать всем.

Он повернулся, увидел перед собой увеличенные глаза Нины и крупными шагами вышел в переднюю, решительно перешагнул через кучу галош, женских бот, сорвал с вешалки шапку; в этот миг оклик из комнаты остановил его:

— Сергей, подожди! Подожди, я говорю!

Нина выхватила у него шапку, спрятала за спину и вся подалась к нему, загораживая путь к двери.

— Подожди, подожди! Ты только подожди...

— Ты хочешь помирить меня с ним? — грубо выговорил Сергей.— Зачем? Для чего, я спрашиваю?

— Я ничего не хочу,— сказала она.

— У нас с тобой прелестные общие знакомые! Но тебе придется выбирать.

— Что выбирать?

— Знакомых.

— Но ты не должен...

— Ты не должна! Но тебе придется выбирать. Не хочу понимать твоей доброты ко всякой сволочи,— жестко сказал он, выделяя слово «доброты», и рывком потянул шинель со спинки стула, заваленного грудой пальто.

Она по-прежнему держала шапку за спиной и, теперь не останавливая, удивленно глядела на него, покусывая губы.

Он повторил:

— Тебе все ясно?

Она молчала.

— Дай, пожалуйста, шапку,— сказал он и неожиданно для себя сделал шаг к ней, сразу отдалившейся, как бы ставшей чужой, с силой притянул ее к себе.— Пойдем

со мной или оставайся! Слышишь? Не хочу, чтобы ты оставалась здесь. Ты это понимаешь?

— Ничего не слышу, ничего не вижу, где мои галоши? — раздался предупреждающий голос, и Сергей, недовольный, обернулся к вышедшему в переднюю Константину.— Я с тобой, Сережка,— пробормотал он, деликатно вперив взор в потолок.— Потопали. Разбит выпивон вдрызг.

— Костька, подожди там! Если нетрудно — выйди!

— Ясно,— с огорчением щипнул усики Константин и, насвистывая, поспешно прошел в комнату, тщательно закрыл за собой дверь.

— Ты будешь раздумывать? — И Сергей резко притянул ее за плечи.— Ну?

— Это все? — спросила она.

— Где твое пальто?

— Вон там...

Отпустив ее, он с непонятной самому себе грубой уверенностью начал снимать, кидать на тумбочку, на спинку стула холодноватые чужие пальто, и в этот момент послышался сзади сдавленный смех — Нина, прислонясь затылком к стене, уронив руки, странно, почти беззвучно смеялась, говорила шепотом:

— Они останутся здесь, а я... Просто девятнадцатый век! Тройка, снег, новогодняя ночь... Ты понимаешь, что делаешь? Вон там мое пальто, Сережа...

Он выдернул из тесноты одежды на вешалке ее пальто и, помогая одеться, увидел на ее шее, над шерстяным воротом свитера, светлые завитки волос и, до спазмы в горле весь овеянный всепрощающей мучительной нежностью, прижался к ним губами.

— Нина, быстрей!

— Хорошо. Иди вперед, я закрою...

Она с таинственным видом пошла на цыпочках, щелкнула замком, пропустила Сергея вперед на лестничную площадку, и здесь, исступленно обнявшись, они несколько секунд стояли и целовались в тишине под неяркой, запыленной лампочкой перед дверью. Дом праздновал; где-то на нижнем этаже приглушенно звучала музыка.

— Идем...

— Быстрей! Внизу тройка, медвежья полсть и бубенцы!

Тихо смеясь, она схватила его за руку, они ринулись вниз, перепрыгивая через обшарпанные ступени лестни-

цы, наполняя лестницу гулом, и только на первом этаже, не освещенном лампочкой, Нина, переводя дыхание, едва выговорила, наклоняя голову Сергея к своему лицу:

— Куда ты хочешь меня вести?

— А ты куда хочешь?

— Куда ты.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Константин вернулся на рассвете, уже серели окна,— пошатываясь, ощупью поднялся по лестнице спящей квартиры, с пьяной осторожностью открыл дверь в комнату и, не зажигая света, долго пил из графина воду жадными глотками. Затем упал на диван, не сняв костюма, лежал неподвижно в темноте, его отвратительно подташнивало, и он не скоро уснул.

Проснулся поздним утром — болело, ломило в висках, мерзкий, пороховой вкус был во рту.

— Э-э, идиот! — сказал он вслух, застонав, будто в чем-то был смертельно виноват.

Угнетало его, не давало покоя то, что остаток ночи провел в совершенно незнакомой компании — возвращаясь после встречи Нового года домой, неожиданно вспомнил адрес Зои, с которой познакомился недавно, поехал на окраину Москвы. Там, в чужой компании, много пил, ругался с хмельными крикливыми парнями, потом вывел робко отталкивающую его Зою в переднюю, целовал ее шею, грудь сквозь расстегнутую кофточку, она говорила ему, что сейчас не нужно, что сюда войдут, а он убеждал ее куда-то вместе поехать.

«Что я там наделал? Что я там натворил?» — ворочаясь на диване, стал вспоминать Константин, но помнил лишь смутные лица этой чужой компании, крик, хохот, ощущение своих плоских, тогда казавшихся блистательными острот, и эту переднюю, испуганно сопротивляющиеся глаза Зои, ее испуганный шепот: «Костенька, потом, потом...»

«Что я наделал, что наговорил, идиот в квадрате! Зачем? — подумал он, испытывая брезгливость к себе, ко всему тому, что было в конце ночи.— Зачем я живу на свете таким непроходимым ослом? Именно ослом, животным!..»

С наслаждением уничтожая себя, он сам казался себе глупым, плоским, ничтожным и не искал, не находил

оправдания тому, что было вчера. В его памяти одним ясным пятном задерживалось начало вечера: елка, Ася, мандарины, снегопад на улице, приход в студенческую компанию. Но все это затмевалось, все было убито поздним, черным, ядовито-черным, уже пьяным бессмысленным.

Хотелось пить. Он потянулся к графину, который почему-то стоял на полу, начал пить, разливая воду на грудь, глотками сбивая дыхание, обессиленно поставил графин на пол. Не вставая, долго искал по карманам папиросы, пачка оказалась разорванной, смятой, пустой. Он швырнул ее без облегчения, вспоминая, где можно найти окурок. «Бычки» могли быть на книжных полках, где-нибудь в уголке: читая перед сном, загасил папиросу, оставил на всякий случай.

Константин приподнялся, пошарил на полках над диваном и не нашел «бычка». Потом, расслабленный, он лежал в утренней тишине дома, слушал его звуки с болезненной отчетливостью, силясь понять смысл вчерашней пьянки, этого утра, тишины и этой омерзительной минуты похмельного лежания на диване.

«Что делать? Что делать?» — думал он, глядя в потолок, на однообразную простоту электрического шнура, на сеть извилистых трещинок, освещенных тихим зимним солнцем.

Внизу, в безмолвии дома, на кухне глухо, как из-под воды, загремела кастрюля или сковорода, донеслись голоса: должно быть, художник Мукомолов жарил обычную свою утреннюю яичницу из американского порошка, нежно ссорился с женой. Константин представил запах подгоревшей яичницы, и его затошнило.

Он застонал, озирая комнату: громоздкий книжный шкаф, пожелтевшие от табачного дыма шторы, разбросанные американские и английские журналы на стульях, увидел валявшиеся на полу окурки, обугленные спички и тоскливо потер лицо, обросшее, несвежее. «Побриться бы, помолодеть, почувствовать надо уверенность. Надеть свежую сорочку, галстук...»

С трудом встал, покачиваясь, отыскивал на подоконнике бритвенный прибор, налил в мыльницу холодной воды из графина (в кухню за горячей не было сил идти). Подошел к зеркалу, вгляделся: непонятно чужое, непроспанное, с тонкими усиками и косыми бачками лицо глядело на него неприязненно, мутно.

«Зачем? Для чего я живу? Что делать?» — опять спросил он себя и бросил бритву на подоконник, упал грудью на диван, мысленно повторяя в пыльную духоту валика: «Зоенька, не ломайтесь, не надо осложнять, дорогуша!» «Дорогуша? Как я сказал: не надо осложнять? Пошляк, глупец! «Зоенька, не ломайтесь!..»

Не сразу расслышал — не то поскреблись, не то слабо толкнулся кто-то в дверь из коридора. Затем преувеличенно громко постучали, и он, даже вздрогнув, крикнул:

— Не заперта! Вваливайтесь! — И, вскочив на диване, проговорил осевшим, фальшивым голосом: — Ася? Зачем вы ко мне?..

Ася вошла боком, каблучком решительно закрыла дверь, молча повернулась к нему.

И, ощутив ее внимательное молчание, он на миг с ненавистью снова почувствовал свое лицо, вспомнил ее слова о парикмахерских бачках, растерянно метнул взгляд по беспорядочно разбросанным вещам в комнате, наступил ногой на окурок около дивана. Сказал отрывисто:

— Уходите, Ася! Закройте дверь с той стороны! («И сейчас острю с плоскостью болвана») Уходите! — попросил он.— Пожалуйста!

Она не уходила, смотрела, нахмурив брови.

— Где Сергей? — спросила она.

— Не знаю. А что стряслось? Пожар? Потоп?

— Он опять не ночевал дома,— сказала она подозрительно.— Я не знаю, что... происходит, не понимаю... Где вы с ним были вчера? Ответьте, пожалуйста, Константин. Где Сергей? Может быть, случилось что?.. Пожалуйста, ответьте прямо! Отец послал меня к вам... Я и сама хочу знать! Почему вы дома, а его нет?

— Случилось? Ну что с ним может случиться, Ася? — сказал Константин наигранно-смешливым тоном, однако ощущая все время, как он противен, неприятен ей, в этой неприбранной комнате, сидящий на диване с помятым лицом.— Ну, может, он влюбился, Ася. Вероятно? Вполне. Какие могут быть тут испуги, опасения и прочая дребедень? Асенька, не надо волноваться. Может быть, он встретил такую женщину... девушку, с которой можно броситься куда угодно очертя голову! И если такую встретил — его счастье. Вы должны просто радоваться, в воздух чепчики бросать...

— Влюбился?

Она приблизилась к дивану, худенькая ее фигурка ожидающе напряглась, а он, проклиная себя, понял, что его защита Сергея была неловка, неубедительна, и, прикрыв руками небритые щеки, проговорил почти беспомощно в ладони:

— Асенька, родная, вы ведь знаете, что я крупный осел и остряк-самоучка. Ничего не знаю, наболтал не думая. Но только с Сергеем все в порядке. Это я знаю.

— До свидания! — Она отошла и через плечо высокомерно сказала ему: — И побрейтесь хоть! И не обманывайте меня. Я люблю правду, а вы всё врете! Почему вы врете?

Константин отнял ладони от лица, вытянул окурок из переполненной пепельницы, но курить его уже было нельзя — раскрошился в пальцах.

И он вдруг почувствовал пустоту оттого, что она уйдет сейчас.

— Ася, подождите,— тыча окурок в пепельницу, хрипло проговорил Константин.— Посидите, а? Ну посидите просто, и все. Не глядите на мою противную рожу, я сам готов по своей витрине трахнуть кулаком, поверьте, я отношусь к ней без удовольствия. А вы просто посидите, полистайте журналы, ведь никогда у меня не были. А я побреюсь, и — хотите? — эти баки к черту! Вы ведь ненавидите эти гвардейские баки. Посидите. Хотите, я эти баки... Посидите, Ася...

Слова привычно подбирал полусерьезные, ернические, но голос звучал просительно-мальчишески: нет, ему нужно было живое дыхание в комнате. Он боялся одиночества, боялся остаться сейчас один, казнясь воспоминаниями вчерашней липкой нечистоты, которую хотелось содрать с себя.

Ася независимо отвернулась, разглядывая полки, заставленные пыльными книгами, тихонько, настороженно шевелилась темная коса за спиной.

— Как вы живете странно! Как будто вы здесь не живете! Поставьте графин на тумбочку, ему не место на полу. Возьмите и поставьте! — приказала она.— Это ведь ужас какой-то!

Он поставил. И она спросила так же строго:

— У вас есть какой-нибудь тазик, тряпка, швабра? Ну какие-нибудь орудия производства? — прибавила она тем тоном, который не разрешал ему улыбнуться.

— Ася, ничего не надо!

— Это мое дело. Не командуйте.

— Там, в коридоре, под столом, кажется.

— Я сейчас. А вы брейтесь хоть. У вас ужасно неприятное лицо. Наверно, так и думаете, что вы нравитесь женщинам? — спросила она дерзко и покраснела.

— Асенька, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны,— ответил Константин, привычно пытаясь обратить все в шутку.

Но она пошла к двери, покачивая за плечами косой, стукнула дверью, и наступила тишина.

— Неприятное лицо...— бормотал он, делая злые гримасы в зеркале, намыливая щеки.— Пакостная физиономища... Парикмахерская вывеска... О, как я тебя ненавижу! Баки косые отпустил, болван!

Когда послышался скрип двери, он даже задержал дыхание — увидел в зеркале Асю: она внесла ведро, швабру, милое лицо неприступно хмурилось, и Константин готов был на то, чтобы она хмурилась, презирала, ненавидела его, но только была бы, двигалась, что-то делала здесь. Он смотрел на нее в зеркало, все медленнее водя бритвой по щекам,— и неожиданно ее голос:

— Думаете, я все делаю это с удовольствием? Нет! Мне просто жаль вас — погрязли, утонули в окурках!

— Ася, я сбрил баки, видите, я вас послушался,— с грустным весельем проговорил Константин.— Я не такой уж пропащий человек.

— Поздравляю! Бурные аплодисменты, все встают. Кстати, у вас есть какие-нибудь тапочки? Вы думаете, я буду портить свои единственные туфли?

С намыленной щекой он чрезвычайно поспешно кинулся к дивану, вытащил из-под него стоптанные тапочки, неуверенно покрутил их в руках. Ася, стоя возле ведра, поторопила его:

— Ну давайте! Что вы их разглядываете? Брейтесь!

Он с непривычным замешательством покорно подошел к зеркалу; в глубине его было видно: она, опираясь на швабру, быстро сняла туфли, надела тапочки; потом подтянула юбку, заправила ее за поясок. Он заметил, ноги у нее были прямые, высокие, с сильным подъемом,— и тотчас узкие черные глаза испуганно-гневно скользнули по его лицу в зеркале. Она крикнула, одергивая юбку:

— А ну отвернитесь! Как вам не стыдно!

— Ася, милая...— сказал Константин.

— Какая я вам еще «милая»?

— Ну хорошо, просто Ася, почему вы меня так терпеть не можете? — спросил Константин, уставясь мимо зеркала в стену, с опасением ожидая треск двери позади.

Она помолчала. Она как будто замерла, всматриваясь в его спину.

— Вот что. Идите к окну и добривайтесь наизусть! — подумав, по-взрослому опытно приказала Ася.— И не смейте смотреть в зеркало, что я буду делать! Я не люблю, когда за мной наблюдают.

— Я буду так... как приказано... Только приказывайте.

Он послушно двинулся к окну, сияющему морозно-солнечной насечкой на стекле, вздохнул облегченно, стал добриваться «наизусть», ощупью, слыша ее несильные шаги, плеск воды, мокрый шорох швабры по полу; ее возмущенный голос звучал в его комнате:

— Понимаю: у вас пол заменял пепельницу! Журналы — половую тряпку. А это что за бутылки у стены? Это вы всё выпили? К вам что — приходили всякие женщины?

— Ася!..— взмолился Константин, делая попытку обернуться.

— Пожалуйста, молчите! Я вас не спрашиваю, я все знаю. Если бы я была вашей сестрой, я бы всех ваших знакомых разогнала на четыре стороны. Не разрешила бы гадостей!

«Она девочка! — подумал он с тоской.— Сколько лет мне и сколько ей? Страшная разница!»

— Если бы вы были моей сестрой, Ася!

— Я не хочу быть вашей сестрой!

Она отодвинула с грохотом стул, швабра стукнула о плинтус возле ног Константина, зловеще зашуршала бумага в углу, снова стукнула швабра о плинтус — и сейчас же удивленный голос Аси заставил его обернуться от окна:

— Кто это?

Прислонив швабру к подоконнику, Ася бережно, кончиками пальцев сняла с этажерки маленькую пожелтевшую фотокарточку.

— Ваша мама? Я ее не знала такой... Это ваша мама?

— Мама. Тоже не помню ее такой. Фотокарточку

отодрал от какого-то старого документа,— сказал Константин.— Двадцать шестого года.

— Где ваши отец и мать?

— Исчезли.

— Куда исчезли? — еле внятно спросила Ася, не отрывая взгляда от молодой женщины с оживленным лицом, коротко подстриженной под мальчика.— Она очень красивая, мама ваша... Куда они исчезли?

— Люди исчезают тогда, когда умирают или когда их заставляют умирать,— сказал Константин.

— Костя, Костя, Костя, здесь что-то не так, вы что-то не говорите, вы что-то скрываете! — заговорила торопливо Ася.— Пожалуйста, объясните, слышите? Это секрет? Секрет? — Я никому...

— Ася, спасибо за полы,— вдруг тихо, преодолевая хрипотцу, выговорил Константин, несмело взял ее руку, смуглую, худенькую, прижал к губам, повторил: — Спасибо. С Новым годом, Асенька!..

— Зачем? — задохнувшись, прошептала Ася.— Вы... зачем? — И, краснея, крикнула уничтожающе: — Никогда этого не делайте! Не смейте!

Он молчал, глядя в пол. Она выбежала, не закрыв дверь.

Он проверил все карманы старых брюк в шкафу — в это утро у него не было денег.

Так начинались все утра после праздников.

Спустя полчаса он надел чистую сорочку, галстук, насвистывая, небрежной походкой сошел по узкой лестнице на первый этаж.

Было одиннадцать часов. Было солнечное утро нового года. На кухне около крана стоял художник Мукомолов в стареньком халате, испачканном красками, скреб ложкой по сковородке. Вода хлестала в раковину, брызгала на халат. Пахло жареной селедкой, от этого запаха Константина чуть подташнивало.

— А-а! — воскликнул Мукомолов, улыбаясь как бы одними заспанными, припухшими веками.— Добрый день, здравствуйте! С Новым годом! С Новым годом, Костя! Как праздновали?

— Все так как-то,— ответил Константин и повернул в коридор, полутемный, теплый, пахнущий пальто и галошами, постучал к Быковым.

Быковы еще завтракали. Сам Петр Иванович, красный, распаренный, в не застегнутой на волосатой груди пижаме, пил, отдуваясь, короткими глотками крепкой заварки чай и одновременно заглядывал в газету. Жена, Серафима Игнатьевна, женщина довольно полная, не первой молодости, намазывала сливочное масло на край пирога, умытое лицо было умиротворенно-добрым, благостным. На столе — графинчик с водкой, колбаса, сыр, раскрытые банки консервов, начатое рыбное заливное — остатки вчерашнего новогоднего вечера.

— Костенька! — певуче сказала Серафима Игнатьевна.— Родной вы наш, голубчик, я вас таким холодцом угощу, вы что-то к нам не заходите! Забыли нас совсем?

Быков поверх газеты глянул на Константина, поставил стакан на блюдце, значительно подвигал кустистыми бровями.

— Немчишки-то опять шевелятся. Нда-а! А, Константин, голова-то небось трещит? Перегулял, что ли? Не за холодцом он, мать, знать надо,— с пониманием добавил Быков.— Завтракал? Дай-ка, мать, чистую рюмку. У добра молодца глаза красные.

— При виде водки я говорю «нет»,— сказал Константин.— Чаю выпью. Пришел за папиросами. Знаю, у вас где-то были папиросы.

Быков почесал бровь, крякнул с укоряющим удивлением.

— Значит, прогорел, деньги в трубу пустил? Эх, легкая твоя жизнь! Была бы мать, конечно, жива — деньги-то для нее бы берег. Ну ладно, ладно, ничего, я тоже в молодости на боку дырку крутил! Кури, дыми на здоровье!

Быков обтер салфеткой пот с красного лица, шумно отпыхиваясь, вытащил плотное тело из-за стола, склонился к этажерке, достал откуда-то из-под книг коробку папирос, раскрыл ее перед Константином.

— Кури, дыми, «Северная Пальмира». Что, неужто денег-то на папиросы нет? Это как же ты ухитрился деньги-то прогудеть? Эх, беззаботность, беззаботность, Константин! Пей, да голову имей. Налить, что ли? Чтоб хмельная дурь прошла...

Закуривая душистую папиросу, Константин только промычал отрицательно, с отвращением сморщившись при мысли о водке, кивнул рассеянно Серафиме Игнать-

евне (она налила ему в огромную чашку горячего крутого чая, придвинула сахарницу).

В комнате Быковых было ощущение тепла, довольства, недавнего праздника, по-зимнему пахло хвоей, серебрилась густой мишурой елка в углу меж окнами; вокруг, теснясь, сияла под солнцем старинная полированная мебель. На полу — толстый и пушистый немецкий ковер зеленел травой, цветистый и тоже немецкий ковер — на диване, повсюду антикварные фарфоровые статуэтки, хрустальные вазы на буфете, бронзовая, комиссионного вида настольная лампа: немецкая овчарка задранным вверх носом поддерживает голубой купол абажура — безвкусица и неумелое стремление к крепкой и прочной красоте создавали этот странный добротный уют.

— А где ж твой приятель, неразлейвода, Сергей-то твой? — спрашивал Быков, истово прихлебывая из стакана.— Иль врозь?

— Сегодня — да. Сегодня я в одиночестве,— сказал Константин, положил папиросу на край блюдечка, стал размешивать сахар в чашке.

Быков между тем аккуратно взял папиросу, переложил ее с той же аккуратностью в пепельницу, благодушно закряхтел.

— Оно, приятели-то, конечно, хорошо, да семья лучше. Жениться бы тебе надо. А то деньги туда-сюда мотаешь, а цели нет. Когда жена в доме, есть куда деньги-то нести. Помочь, что ли, жениться-то? — Быков, весь вспотев, промокнул багровый лоб салфеткой.— Я тебе на фабрике кралю такую подыщу — пальчики пообкусишь. У нас девчат хороших — табунами ходят. Комната у тебя есть. Да вот глаза родительского на тебя нет. А я родителев твоих прекрасно знал. (Серафима Игнатьевна вздохом подняла, опустила над краем стола полную грудь.) Знал, м-да... Интеллигентные были люди...

— Превосходно, благодетель вы мой! — воскликнул Константин, делая вид, что от радости захлебнулся чаем.— Как это прелестно — коммерческий директор сват у своего шофера! Это демократично. Я заранее троекратно благодарю вас!

И, сдерживая подмывающую веселую злость, притворяясь через меру растроганным, пустил папиросный дым кольцами к потолку; разговор этот занимал его.

— Смеешься, никак? Или в себя не пришел после похмелья-то? — сурово спросил Быков.— У меня образова-

ние не такое, как у тебя, классов, институтов не кончал. У меня опыт вот где! — Он похлопал звучно по своей толстой короткой шее.— Все из практической жизни, из уважения к хорошим людям, к государству. Вот как оно складывалось. Большого не достиг, в министры не вышел, а по хозяйственной части, сам знаешь, конкурентов у меня мало. У меня фабрика ни разу без материалов, сырья не простаивала. Нету у меня на поприще снабжения конкурентов. А все от опыта. Так или не так? Так что ж ты дураком лыбишься? Мало я тебе добра сделал? Только все ведь в трубу пускаешь! Денег огребаешь кучу! Левачить разрешаю... И все в трубу.

Константин с притворным ужасом округлил глаза.

— Да что вы, Петр Иванович! Какие тут улыбки? Смех сквозь слезы «Над кем смеетесь?» Мне хочется хохотать над собой до слез. Добра вы мне сделали много. Действительно. Соглашаюсь. Но, как говорят одесситы, разрешите мне посмотреть в ваше доброе, честное, открытое лицо и, вы меня очень простите, спросить: а вы плохо живете, голодаете?

Серафима Игнатьевна прекратила грызть чайный сухарик, заморгала веками на Константина, на медленно багровеющего Быкова, вмешалась обеспокоенно:

— Петя... Костя... поговорили бы о чем-нибудь другом. Костя, вы всегда интересно рассказываете... Где вы праздник встречали? Мы вчера хотели вас пригласить. Петя поднялся к вам, постучал — вас не оказалось. Мы были одни. Дочь обещала на праздники из Ленинграда приехать — не приехала...

— Эх, шелапут ты, шелапут! Ты посмотри на него! Полюбуйся нахальством,— укоризненно покрутил головой Быков.— Я ль тебе добра не желаю? Вот она, благодарность! Спасибо. Я, значит, плох? С фронта без профессии вернулся, я тебя в шоферы устроил. На машине на своей, как на собственной, ездишь. Левача зарабатываешь — разрешаю, а? Потому что я тебе заместо отца. Или этот,— он неприязненно пошевелил в воздухе пальцами,— Сергеев папаша помогал тебе? Ведь этому дай волю, с дерьмом меня съедят и фамилию не спросят. А все от зависти: мол, честно, хорошо живу. И ты туда же... Смешочки!

— Бывает прорыв юмора... Психология — вещь тонкая, не будем бросаться в дебри, заплутаемся в трех соснах,— вежливо возразил Константин.— Я слегка заплу-

тался и — упа́си боже — никого не вывожу на чистую воду. Знаком с человеческими слабостями. Благодарю за папиросы. Мне очень было приятно...

Он чрезмерно ласково улыбнулся.

— Запутался? У тебя что — машину задержали? — Быков не без тревоги посмотрел Константину в усики, под которыми блестели ровные зубы.— ОБХСС?

— О нет, не это!

— Смеешься, значит, щенок эдакий,— обозлился Быков.— А ты запомни — даю жить всем. А на ногу наступишь — меня не узнаешь. Клевету не прощаю.

— О Петр Иванович! Я ведь люблю жизнь. Я ведь три года мерз в окопах! — засмеялся Константин.— А с вами — как за каменной стеной!

Он вышел от Быковых с ненавистью к своей наигранной веселости и вместе чувствуя облегчение оттого, что не попросил денег, за которыми шел.

Был первый день тысяча девятьсот сорок шестого, уже невоенного, года.

Вечером он зашел к Сергею.

— Слушай, осточертело мне все. Обрыдло, плешь переело. Может быть, рвануть в твое высшее учебное заведение? А как там отношение к фронтовикам? Соответствующее?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1949

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На углу под фонарем Константин прочитал название улицы, потом уверенно подошел к низкому забору; за ним одноэтажный домик смутно белел в зарослях акаций, желтоватый свет едва просачивался сквозь листву. Здесь, на Островидова, пахло сладковатым теплом, как пахло на всех ночных улицах Одессы,

когда он от вокзала шел в лунной тени безлюдных тротуаров, нагруженный двумя чемоданами.

Он приехал из Москвы, бросив все, приехал загореть на южном солнце, забыв обо всем, поваляться на прокаленном песке пляжей и, обсыпаясь горячим песком, глядеть на постоянно меняющееся под светоносным небом теплое море, а вечером, надев белую сорочку, подчеркивающую черноту лица, фланировать по знаменитой Дерибасовской, знакомясь с темноволосыми одесситками, и пить холодное вино, и есть мороженое на террасах летних, увитых плющом кафе.

Он приехал сюда, думая об этой беспечной курортной жизни, которую во всей полноте своей представлял в раскисшей дождями Москве. Его потянуло сюда потому, что был в Одессе однажды после войны, и еще потому, что Быков в разговоре с ним настоятельно посоветовал поехать именно в Одессу, поселиться у хорошо знакомых людей, дальних родственников, и сам помог Константину добиться скорого получения плацкартного билета — в московских кассах стояли нескончаемые очереди.

Константин нашел этот домик на Островидова, 19, во втором часу ночи и, потный, уставший от дорожных разговоров, от длительной ходьбы по городу, от тяжести чемоданов, свистнул с облегчением, ногой пнул провинциально скрипнувшую калитку, вошел во двор. Внятно потянуло сыростью деревянных сараев, этот запах тотчас смыло влажно-теплой струей воздуха — мягко и душисто дуло из глубины черного сада.

В тишине, гремя цепью по проволоке, огромная собака выскочила из-за сарая, начала прыгать, яростно вставать на задние лапы, залилась хриплым лаем.

— Ах ты, милая моя, сволочь ты эдакая! Брысь отсюда! — Константин угрожающе махнул чемоданами, шагая по тропке меж кустов.

— Томи, цыц! На место! — крикнул голос от крыльца, и оборвался лай, тише зазвенела цепь; и этот же голос спросил: — Кто там?

— Я не ошибся — Островидова, девятнадцать? Что у вас за город? Сплошной кошмар — ни одного такси! — сказал фамильярно Константин.— Пер от вокзала пешком. Здравствуйте. Будем знакомы. Константин,— прибавил он, завидев фигуру человека на крыльце: забелела в темноте рубашка.

— Прошу.— Человек сошел со ступенек; разгорелся,

погас уголек папиросы, осветив мясистый нос.— Заходите! Я вас давно жду.

— Спасибо за гостеприимство. Одесса всегда славилась... Благодарю!

Человек этот пропустил Константина на террасу, закрыл на ключ дверь, затем сказал: «Идите прямо»,— и через закоулок коридора ввел его в низкую, неярко освещенную запыленной люстрой комнатку со старым письменным столом, потертым диваном, на котором лежали свернутая простыня и подушка. Константин, испытывая удовлетворение, бросил в угол чемоданы, с полуулыбкой поклонился хозяину.

— Как разрешите вас?..

Высокого роста, в несвежей сатиновой рубашке, висевшей на худых плечах, хозяин дома был медлителен, стоял у двери, заложив одну руку за подтяжку, на угрюмо-небритом лице его было выражение терпения. Он сказал наконец прокуренным голосом:

— Аверьянов. Это ваша комната. Устраивайтесь. Получил телеграмму днем. Я к вашим услугам.

Константин сел на диван, закинул ногу на ногу.

— Ну прекрасно! Эта комнатка мне подойдет. Насчет платы договоримся. Далеко отсюда море?

Аверьянов мимолетно покосился на Константина.

— Море вы найдете.— И остановил внимание на чемоданах.— Петр Иванович писал мне...

— Ах да! Вот этот чемоданчик в чехле прислал Быков,— спохватился Константин.— Кажется, здесь консервы, масло... Что-то в этом роде. У вас тут плохо с продуктами? Просто цирк — ведь в Одессе никогда плохо не жили! Кошмары!

— А я думал, балагуры только у нас в Одессе...

Аверьянов угрюмо скомкал улыбку, поставил чемодан в сером зашитом чехле на письменный стол и, вынув из кармана перочинный ножичек, ловким движением полоснул лезвием по швам чехла. Спросил:

— А ключ позвольте?

— Его у меня нет. Я не открываю чужие чемоданы,— ответил Константин, засмеявшись, и порылся в кармане.— Попробуйте. Может, мой подойдет. Ключи — стандарт. Жалкий примитив.

— Попробуем.— Аверьянов взял у Константина ключик, не торопясь примерил его к замочкам — они щелкнули,— откинул крышку, заглянул с мрачным интересом.

— Фу-ты ну-ты...— выдохнул он, роясь в чемодане.— Все не то, все не то... Как нельзя понять, что Одесса — южный город? — Он еще раз ковырнул пальцем внутри чемодана, захлопнул крышку, недовольный.— Петр Иванович живет как на Марсе. Не догадывается, как трудно! Чесуча, чесуча идет!

Аверьянов со сдержанным раздражением выговорил это, и Константин, несколько озадаченный, спросил:

— Что трудно? Какая чесуча?

— Совсем обыкновенная. На нее спрос.— Аверьянов, казалось, усиленно соображая что-то, заскреб щетину на подбородке.— А что прикажете мне делать с бостоном? Не сезон, совсем не сезон!

— Каким еще бостоном? — спросил Константин.— Что вы меня, как лопуха, за нос тянете?

— Э-э, подождите,— пробормотал Аверьянов.— Я сейчас.

Он приоткрыл дверь, на цыпочках вышел, унося чемодан, и Константин, весь напрягаясь от охватившего его беспокойства, уловил ватные шаги в тишине дома, вязкий шепот, мышиную возню за стеной и потом, чувствуя холодок по спине от мысли, мелькнувшей в его голове, оцепенело сидел на диване — веселое ощущение приезда мгновенно стерлось, давило мертвенное безмолвие дома. «Значит, чесуча, чесуча? Ах, чесуча!..» — подумал он, ужасаясь острой своей догадке; и здесь без стука вошел на носках Аверьянов, протянул толстый пакет — сверток в газете,— сказал своим прокуренным голосом:

— Это Петру Ивановичу. У вас есть надежный карман?

— Карманы как карманы. Давайте!

Константин пощупал плотный пакет, кинул его на крышку чемодана и спросил с усмешкой:

— Надеюсь, это не бриллианты, не золото ацтеков? Если бриллианты по два карата, то завтра впломбируйте их мне в зубы. Так делают международные контрабандисты-спекулянты. Что в этом пакете?

Аверьянов выкатил выцветшие стоячие глаза, лицо его стало подозрительным, обрюзгшим.

— Вы шутник.— Вытянул из шкафчика на стол початую четвертинку, хлеб, тарелочку с нарезанной колбасой.— Десять тысяч. Это мало, считаете?

— Что-о? — Константин встал.— А ну принесите сюда чемодан!

Во дворе залаяла собака. Под окном, в саду, прозвенела, заскользила по проволоке цепь, донесся близкий топот собачьих лап. Аверьянов, прислушиваясь к лаю во дворе, тяжело задышал носом: было слышно, как кто-то завозился, по-женски протяжно вздохнул за деревянной стеной.

Собачий лай смолк. Звенели цикады в саду.

Аверьянов поправил занавеску на окне, засипел шепотом:

— Вы что, маленький? Сорок девятый год — не сорок шестой. Не понимаете? Опасно! Вчера взяли с бостоном Кутепова... На вокзале взяли...

— Я сказал: принесите сюда чемодан! — уже бешено крикнул Константин и нечетко, как сквозь дым, увидел сгорбленную и боком семенящую к двери узкоплечую фигуру Аверьянова — и сразу сомкнулась тишина, будто дом опустился в глубокую, сдавившую дыхание воду. «Чесуча и бостон — ах, как здорово!»

Затем шорох шагов за стеной, и так же боком протиснулся в дверь Аверьянов, без уверенности поставил чемодан перед Константином, зашептал:

— Вы что, сумасшедший? Кто считает копейка в копейку до реализации?

— Идите к...— грубо выругался Константин.

И ударом ноги раскрыл крышку чемодана, увидел на дне его, за смещенными банками консервов, свернутые отрезы черной материи и сейчас же вспомнил, как Быков при нем, аккуратно укладывая эти банки, говорил ворчливо, что дальний родственник его рад будет этому продуктовому подарочку из столичных магазинов.

— Так! — сказал Константин и, подхватив с крышки чемодана плотный пакет, втиснул его в боковой карман.— Все ясно. Ну что ж, прекрасно живем. Может быть, вы мне объясните, далеко ли мне топать до ОБХСС?

— Шутите, шутите, да знайте меру! — Аверьянов судорожно попытался улыбнуться.— Вы шутите, как сумасшедший...

— Я был идиот, когда считал, что везу продукты голодающему родственничку,— произнес Константин, чувствуя, как все тело его окатило нервным знобящим холодком.— Не думал, что буду сбывать нецензурный товарик. Вот так, господин Аверьянов. Наивняков нет.

ОБХСС оплакивает вас и толстячка Быкова. Куда денешься — закон!

Аверьянов в растерянности жевал губами, машинально оттягивая подтяжки, внезапно небритое морщинистое лицо его задергалось, запрыгал подбородок,— и он бессильно, напрягая жилистое горло, заплакал; слезы потекли по щекам, застревая в щетине. Он умоляюще и жалко глядел на Константина сквозь влагу, наползающую на глаза.

— Что? Что с вами такое? — крикнул Константин.

— Я прошу, прошу,— кусая пальцы, придушенно стал вскрикивать Аверьянов, отклоняясь к стене.— Я прошу... Прошу... У меня жена, семья...

Константин поднял свой чемодан, скомандовал Аверьянову:

— А ну откройте дверь! Куда выйти?

— Я прошу вас... У меня жена, дети... не хватает на жизнь, поймите!..

— Ваня! Ванечка! — взвизгнул пронзительный голос за стеной.

— Это жена... Я прошу вас, прошу...

Аверьянов порывисто впился как бы закостеневшими пальцами в рукав Константина, потянул его к двери, во тьму сыро пахнущего плесенью коридора, говоря с задышкой:

— Я умоляю, не надо, не надо... Я сейчас выведу вас... я сейчас...

Наступая в проходе на заскрипевшие корзины, задев плащом за что-то тупое на стене, Константин ринулся за ним по коридору, ослепнув в потемках; потом спереди хлынул из раскрытой двери серый свет, мельнули там искаженные щеки, губы Аверьянова, и Константин вывалился в мокрые кусты у крыльца, захлеставшие по голове, по плечам ледяным ливнем росы.

Он кинулся по саду напрямик, к забору, утопая в рыхлых клумбах, плохо видя в кустах; заросли проволокой цеплялись за ноги, влажные ветви били по коленям, хватали, отбрасывали назад чемодан, ставший стопудовым.

«Неужели так глупо, так глупо? Нет, нет! Не может быть, чтобы так глупо!.. Что же это я?» — задыхаясь, думал Константин и почти наткнулся на штакетник за акациями, различил деревянную калитку и ударил

по ней носком ботинка. Крик Аверьянова толкнул его в затылок:

— Я умоляю, прошу!..

— Черт с вами... Живите...— ответил со злостью Константин, не оборачиваясь.— Черт с вами...

И вышел на сумеречную перед рассветом улицу, темно заросшую каштанами, зашагал по пустынному тротуару под чужими окнами, оглушая себя стуком своих шагов; и только когда впереди заблестел росой незнакомый, сплошь заросший травой пустырь, каркас разрушенного дома, тут только он остановился, обливаясь потом, не зная, куда пойти.

«Куда? Где переночевать? Куда теперь?..» — соображал он и, поспешно отряхнув мокрые, облепленные лепестками брюки, двинулся торопливыми шагами наугад — к вокзалу.

Когда он подходил к вокзалу, небо над домами краснело, нежно золотились кроны каштанов вдоль улицы, заспанные дворники звучно шаркали метлами по брусчатке мостовых.

И это тихое летнее утро с легчайшей розоватостью прозрачного воздуха немного освежило Константина.

Среди толчеи, смешанных звуков и запахов утреннего вокзала Константин окончательно пришел в себя — длинная очередь шумно толпилась у кассы на Москву; окошечко было наглухо закрыто, висело объявление: «Касса справок не дает». В очереди ему сказали, что билетов на сегодня нет, что стоят за семь суток, что, возможно, будет на сегодня лишь несколько мест за час до отхода ночного поезда. А он твердо знал, что должен был уехать отсюда, уехать сегодня, чего бы это ни стоило, уехать хоть в тамбуре, хоть на крыше, хоть на тормозной площадке товарного вагона.

Четверть часа спустя он сдал чемодан в камеру хранения и теперь со спокойным лицом вышел на привокзальную площадь, уже людную, уже южно блестевшую солнцем, жарким лаком вымытых такси, стеклами ранних и еще свободных автобусов, и некоторое время постоял на площади, окаймленной кипевшей зеленью.

Еще не зная, что делать, он перешел площадь, затем на привокзальной улице сел в маленький полупустой трамвай, поехал к морю, в Аркадию. Трамвайчик, гремя, проворно катился в утренне-прохладном зеленом туннеле

каштанов, из открытых окон упруго дул в лицо легкий душистый ветер, и Константин думал: «Убить время до вечера»...

Он заплыл далеко от берега в теплой полуденной воде.

Впереди на море серебрились солнечные поля, темные и сияющие косяки уходили до туго натянутой нити горизонта; там шел, дымил в синей бесконечности белейший пароход, постепенно опускался за край знойной синевы.

Константин плыл не спеша, наслаждаясь запахом воды, движением своего сильного тела, своим дыханием; зеркальное сверкание солнца на мелких волнах щекочуще ослепляло его. Он с фырканьем окунался в это игривое сверкание, в эту свежесть и влагу; лицо, волосы были мокрыми, мокрыми были ресницы, и все сияло вокруг, расплывалось в мягкой радуге. Он увидел, как зеленая вода обтекала его покрасневшие от долгого лежания на песке плечи, и вдруг задохнулся от полновесного ощущения молодого здоровья, от удовольствия жить, дышать, чувствовать свое послушное тело.

«Неужели все так могло кончиться?» — подумал он, и на секунду исчез радужный блеск волн, сразу почувствовал под собой черную, холодную толщу глубины. Тогда он перевернулся на спину, отдыхая, и его охватило безграничное летнее небо с белыми дымками облаков в выси.

«Что я хочу и что я вообще хочу?» — спросил он себя и, вспомнив ночь, озяб в воде и злыми рывками, шумно выплевывая воду, поплыл к берегу в неосознанном порыве к людям.

Толчок необъяснимого одиночества гнал его к берегу — он плыл все быстрее, потеряв ровное дыхание; приближались ажурные здания санаториев, белизна тентов на пляже, накатывало оттуда теплым ароматом зеленых парков, а он, отплевываясь, чувствовал только рвотный вкус воды во рту и лихорадочно торопился ощутить твердое дно под ногами.

Когда, обессилев, пошатываясь, выходил из моря, здесь на мели пестрела, переливаясь под зеленой водой, галька, шуршала и звенела, перекатываемая волной, ударяла по ногам. А он лег животом на горячий песок, думая: «Мне бы еще раз встретиться с Быковым! Доехать до Москвы!..»

Он минут пять полежал так лицом вниз и повернулся на бок.

Стало немного легче. Вокруг гудение пляжа, прокаленные солнцем теневые зонтики, нагие шоколадные тела, смех девушек в купальных костюмах и резиновых шапочках, играющих в волейбол на песке, визг детей, барахтающихся в воде, знойное море, запах мокрых топчанов, на которых сидели во влажных плавках парни, стучали костяшками домино, из репродуктора над санаторием лились песенки джаза — все говорило о жизни праздной, курортной, южной.

В репродукторе защелкало, кашлянуло, ломкий голос заговорил солидно и бесстрастно:

— Внимание! Алик из Москвы, у входа на пляж вас ждет Надя с улицы Горького.

— Гражданка Желтоногова, у входа в санаторий вас ожидают муж и товарищ. Повторяю...

«Одесса»,— подумал Константин.

Тогда он встал, поправил облепленные песком плавки, подошел к загорелым девушкам в купальных шапочках, обвораживающе усмехнулся:

— Среди вас нет гражданки Желтоноговой? Ах нет! Тогда разрешите постучать с вами в волейбол?

Ему не удалось достать билет, но удалось сесть на ночной поезд — его улыбка, вид разбитного парня, его ордена смягчили неприступную суровость проводницы. Его даже впустили в купированный вагон, на сидячее место, и он, довольный, радостный, потом уже, далеко за Одессой, сидя в купе этой молодой проводницы, сказал с иронически игравшей под усиками улыбкой:

— Не имей сто рублей, не имей сто друзей, а имей одну нахальную морду. Как вы считаете, дорогуша, у меня крупно наглая морда?

— Ну что вы! — Она прыснула стыдливым и намекающим смехом.— Вы очень интересный мужчина!..

Поезд несся сквозь ночную тьму; тьма эта густо шла за черными стеклами, в ярко освещенном спальном вагоне было комфортабельно, чисто, тепло, стрекотал вентилятор, вбирая папиросный дым, цветной коврик вдоль всего вагона мягко и приятно пружинил, из открытых купе уютно, сонно зеленели настольные лампы, дребезжали там ложечки в пустых стаканах, шуршали газеты,

в одном играли в преферанс, звучали голоса, смех, а непроглядная темнота мчалась и мчалась мимо света окон, и шевелились от дрожания вагона белые занавески.

Константин, заглядывая в купе, улыбаясь, прошел до конца коридора и здесь, в туалетной с качающимся от скорости полом, опершись плечом о зыбкую стену, зло вынул толстый пакет из внутреннего кармана пиджака — он точно жег ему грудь, этот пакет.

Он нетерпеливо разорвал газету, увидел пачку сотен, тут же проверил замок в туалетной и бегло сосчитал деньги. Здесь было десять тысяч.

— Так,— сказал он,— все точно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Москве хлестал по улицам дождь, сильный, грозовой, неистово-летний, свинцово кипела вода на тротуарах, буйно плескала в канализационные колодцы. Потоки, бурля, катились по мостовой, мутными реками залили трамвайные рельсы, и трамваи, потонувшие колесами в наводнении, остановились на перекрестках; гроза согнала людей в ворота, к подъездам, прижала к витринам магазинов.

Константин, не доехав остановку, сошел с троллейбуса на Зацепе и целый квартал бежал под дождем, не разбирая луж, проваливаясь по щиколотку в дождевые озера, но, когда, до нитки промокший, вбежал в свой переулок, тяжко отпыхиваясь, насильно замедлил шаги, повторяя мысленно: «Привет, привет, Петр Иванович! Вот я, кажется, и вернулся».

Он был рад, что маленький их двор, весь в пелене летящей сверху воды, был пуст,— никто не стоял, не прятался от дождя под навесом крылец и никто не видел его, он был рад, что дверь парадного была открыта, не надо было звонить. Он шагнул через порог в полутемный коридор, стремительно прошел мимо двери кухни и, не постучав, вошел к Быковым, на пороге выговорил, раздувая ноздри:

— Где Петр Иванович? Где он?

Серафима Игнатьевна в ситцевом переднике сидела около обеденного стола, грустно, медленно протирала полотенцем посуду. В комнате было сумрачно, и сумрачно было на улице; быстрые струи барабанили, стекали по

стеклу; бурлило, шепелявило в водосточной трубе под окном.

Увидев в дверях Константина, промокшего, в помятом плаще, облепленном влажными пятнами грязи, увидев его набухшие грязные ботинки, набрякшие водой брюки, она ахнула, уронила полотенце на посуду, зашевелила мягким ртом:

— Костенька... Костя... Что это?.. Что это?

— К дьяволу «Костенька»! — крикнул он, швыряя заляпанный грязью чемодан на ковер.— Где этот паук? Я спрашиваю — где? Где эта харя?

— Костя... Костенька, что ты? Что ты... на работе он..— поднеся к подбородку пухлые руки, как бы защищаясь, выговорила Серафима Игнатьевна.— Что, что ты?.. Разденься! Мокрый весь, господи!

— Ладно,— сказал Константин, посмотрел на свои ноги и вытер один ботинок о ковер на полу.— Ладно,— обещающе повторил он и вытер о ковер другую ногу.— Эта тряпка, кажется, стоит тысяч пять. Все равно — ворованная. Ясно? Дошло? А я подожду вашего супруга! — Он схватил чемодан, оглянулся бешеными глазами.— У меня есть время, милая Серафима Игнатьевна. Я подожду!

В коридоре он тоскливо замялся против двери Вохминцевых, не решаясь войти, пытаясь успокоиться, потом все же постучал несильно.

— Можно?

— Войдите.

Сергей лежал на диване, листал толстый учебник по горным машинам и одновременно, наматывая волосы на палец, сбоку заглядывал в тетрадь. Константин сначала, чуть-чуть приоткрыв дверь, увидел его утомленное лицо и пепельницу на стуле, заваленную окурками, вошел совсем бесшумно, спросил шепотом:

— Здорово. Ты один?.. Один?..

Отбросив книгу, Сергей пристально взглянул на Константина, опустил ноги с дивана, изумленный.

— Подожди, насколько я понимаю, ты удрал в Одессу? Ты откуда? Ну и видик у тебя, хоть выжимай! Что там, землетрясение? Раздевайся!

— Один? Больше... никого..— переспросил шепотом Константин, скашивая брови на дверь в другую комнату.— Аси и отца нет?

— Никого. Да раздевайся! Чихать начнешь завтра,

как лошадь. Вон влезай в отцовскую пижаму! — грубовато приказал Сергей.— Ну что случилось? И вообще, что напорол с институтом?

— Плащ сниму, пижаму не надо, а под копыта дай старую газету — твоя Ася насмерть убьет за лужи! — И Константина передернуло.— Вот, Серега! Если я сегодня не изобью Быкова,— понял? — буду последняя сволочь. Я влип, как цыпленок...

— Что? Куда влип? — Сергей нахмурился.— Говори яснее!

— Чемоданчик, который он мне сунул для дальнего родственничка, был не с маслом, не с хлебом — с отрезами бостона! И этот домик, куда я приехал,— спекулянтский. Удрал, как заяц, фамилию свою забыв!

— Дурак ты чертов! — выругался Сергей.— Совсем ошалел, милый? Чемодан чужой повез... Ты что, не знал, что такое Быков?

— Пойдем,— попросил Константин, пощипывая усики.— Пойдем в павильон к Шурочке. Пообедаем. И поговорим...

— Никуда не пойдем!

Сгущались в комнате сумерки, дождь перестал, и лужи во дворе, влажный асфальт, мокрые крыши домов блестели, отражая после грозы тихое вечереющее небо.

Сергей открыл форточку, свежо потянуло речной сыростью, звучно шлепались об асфальт редкие капли, обрываясь с карнизов. Он повторил:

— Никуда не пойдем. Пообедаем здесь. И поговорим здесь. Ты мне еще ни черта не объяснил, почему удрал из института. Завтра сдавать горные машины. Знаешь это? Или спятил?

Константин с ироническим выражением полистал толстый учебник, насмешливо заглянул в записи Сергея, сделал движение головой, будто кланяясь в порыве светской благодарности.

— Целую ручки, пан студент, целую ручки... Вечер добрый. Желаю пятерку. Что ж,— он вежливо улыбнулся,— каждый умирает в одиночку. Но если уж ты стал равнодушным — наступил конец света. Целую ручки.— И, язвительно кланяясь, потоптался на газете, зашуршавшей под его грязными ботинками.

Сергей, не расположенный к шуткам, ударил его по плечу, заставил сесть на стул.

— Иди... знаешь куда? Гарольд Ллойд, юморист копеечный! Сиди, никуда не уйдешь. Пока сам не выгоню, понял? Будем обедать.

Но он не прогнал Константина ни через час, ни через два — сидели после обеда и разговаривали уже при электрическом свете, когда вспыхнули первые фонари на улице и во дворе зажглись в лужах оранжевые квадраты окон.

— Так где эти деньги? — спросил Сергей.

— Вот. Десять тысяч.— Константин достал из внутреннего кармана пачку, положил на стол.— Вот они, десять косых.

— Спрячь,— быстро приказал Сергей,— кажется отец!..

Хлопнула дверь парадного, шаги послышались в коридоре, потом — покашливание за стеной, стук снимаемых галош подле вешалки.

— Отцу ни слова,— предупредил Сергей.— Ясно?

— А! Знакомые все лица, и Костя у нас! — сказал Николай Григорьевич, входя с потертым портфелем и газетой в руке и близоруко приглядываясь.— Что-то ты редкий у нас гость! Обедаете? Отлично. Я перекусил в заводской столовой.

— Что значит «перекусил»? — возразил Сергей.— Когда?

Николай Григорьевич как-то постарел, и особенно заметна была после работы болезненная бледность, тени усталости вокруг глаз, и густо серебрились виски, сединой были тронуты волосы. В последние дни был он молчалив, рассеян, замкнут, тайно пил утром и перед сном какие-то ядовито пахнущие капли (пузырек с лекарством прятал за книгами в шкафу). По вечерам подолгу читал газеты, а ночью, ворочаясь, скрипел пружинами, при свете настольной лампы все листал красные тома Ленина, делал на страницах отметки ногтем, засыпал поздно.

— Ты сел бы с нами, отец,— сказал Сергей недовольно.— Я сам готовил обед. Консервированный борщ.

— И я вас давно не видел,— сказал Константин.

— Не стоит, я сыт. Не буду мешать.— Николай Григорьевич с предупредительностью кивнул обоим, прошел в другую комнату, за дверью тихо скрипнул стул, зашелестели листы газеты.

— Старик, кажется, болен, но виду не подает,— сказал Сергей вполголоса.— Все время молчит.

— Так, может, для старика схлопотать профессора? — предложил Константин.— Завозил одному дрова в сорок пятом. Телефон есть. Терапевт. Из поликлиники Семашко. Блат. А-а, вот и мой шеф! С фабрики приперся. Наконец-то!..— вдруг сказал он и, привставая, словно бы поставил кулаком печать на столе.

Донеслись бухание парадной двери, громкое перхание, топот ног, с которых сбивали грязь, грузные шаги по коридору — и тотчас медленный темный румянец пятнами пошел по скулам Константина.

— Это он. Я пошел!

— Подожди! — задержал его Сергей и вылез из-за стола.— Что ему скажешь? Что будешь делать? Бить морду?

— Н-не знаю!.. Может быть. Здесь я не ручаюсь! — Константин блеснул заострившимися глазами на Сергея.— Что это за осторожность, Сереженька? Кажется, тогда, в «Астории», этой осторожности не было?

— Подожди! Вместе пойдем!..

В это время раздался басовитый, раскатистый голос из коридора: «Костя, Константин!» — затем вибрирующий стук в дверь, и в комнату суетливо втиснулся в неснятом, защитного цвета полурасстегнутом пальто Быков; от свежего уличного воздуха квадратное лицо розово; брови расползались в настороженно-радостном удивлении; развязанный шарф болтался, свисал с короткой его шеи.

— Константин, вернулся, шут тебя возьми? Ты чего же от Серафимы Игнатьевны удрал, шалопай эдакий? — вскричал Быков, весь излучая добродушие, приятность, одни складки морщин неспокойно затрепетали над бровями.— А ну идем, идем! Обедать идем!

Он схватил Константина за локоть, потащил к двери, возбужденно посмеиваясь, и тогда Константин высвободился сильным рывком и, загораживая дверь, стал перед Быковым.

— Я пообедал, благодарю вас,— выговорил он.— Вам привет от Аверьянова. И благодарность... За подарочек. Просил передать вам, что Кутепов засыпался с бостоном. А мне позвольте доложить: чесуча, чесуча идет! А не ваш бостончик!

— Что? Ты зачем?.. Зачем?.. Что такое? — задыхаю-

щимся басом проговорил Быков, дернул Константина за лацкан пиджака и начал багроветь — с полнокровного лица багровость эта переползла на глаза, на белках проступили жилки.— Какую ты глупость говоришь! О чем болтаешь?..

— Спокойно, Петр Иванович, без нервов! — Константин стряхнул руку Быкова с лацкана пиджака, нежно-фамильярно потрепал его по чугунно напряженному плечу.— Я хочу вас спросить: значит, вы хотели, чтобы я транспортировал в Одессу ворованный вами бостон в чемоданчике и привозил вам денежки? И сдавал в сберкассу? Или вам лично? Вы хотели сделать меня коммивояжером?

— Какая сволочь, какая паршивая сволочь! — с презрительным изумлением выдавил Быков и засмеялся.— Вы посмотрите на него — какая сволочь! — выдохнул он, обращаясь не к Константину, а к Сергею.— Вытащил его из дерьма, устроил... поил, кормил, как сына... Сволочь паршивая!.. Клевещешь? Клеветой занялся? А, Сергей? Послушай только!

— Когда моих друзей называют сволочью, я даю в морду! — резко сказал Сергей.— Это обещаю...

— Та-ак! — протянул Быков, опустив сжатые кулаки; щеки его затряслись от возбуждения.— Оклеветать захотели? Грязью облить? Сговорились? Вы в свидетели не подойдете, не-ет!.. Со мной — не-ет! Оклеветать?

— Вот свидетель! Вот ворованный бостончик! Держи-и... десять тысяч!

Константин выхватил из кармана пачку денег, со всей силой швырнул ее в грудь Быкову, пачка разлетелась, сотенные ассигнации посыпались на пол; Быков попятился, делая отряхивающие жесты руками, прохрипел горлом:

— Подлог? Деньги? Подкладываете? Ах вы гниды! Оклеветать?.. Оклеветать?

Константин, надвигаясь на Быкова, топча грязными ботинками деньги на полу, выругался сквозь зубы:

— Я... могу... попортить вывеску!.. Не шутя! Заткнись, идиот! Думаешь, не кумекаю, как делаются эти отрезики? Объясню!..

— Костя, подождите! Не троньте его!..

Они оба оглянулись. Николай Григорьевич стоял в дверях, лицо было бледно. Он серыми губами выговорил:

— Не надо, Костя, не марайте рук! С этим человеком надо говорить не так. Не здесь... В прокуратуре. Оставьте его.

— Та-ак! Оклеветать?.. Меня?..— задохнулся Быков, выкатив белки, и потряс в воздухе пальцем.— Поймать! Свидетелей сфабриковали? Не-ет! Деньги не мои! Номерок не пройде-ет, Николай Григорьевич!.. Я вам... вы меня семьдесят лет помнить будете! Я вас всех за клевету потяну, коммунистов липовых! Вы меня запомните... На коленях будете!.. Я законы знаю!

Он попятился к двери, распахнул ее спиной, задыхаясь, крикнул на весь коридор накаленным голосом злобы:

— Клеветники! За клевету — под суд! Под суд!.. Честного человека опорочить? Я законы знаю!..

И все стихло. Тишина была в квартире.

Константин со смуглым румянцем на скулах закрыл дверь, посмотрел на Сергея, на Николая Григорьевича. Тот, по-прежнему бледный до серизны губ, проговорил шепотом:

— Этот Быков... дай волю — разграбит половину России, наплевав на Советскую власть. Когда же придет конец человеческой подлости?

— Ты ждешь указа, который сразу отменит всю человеческую подлость? — спросил Сергей едко.— Такого указа не будет. Ну что, что ты будешь делать, когда тебя оплевали с ног до головы? Утрешься?

— Не говори со мной, как с мальчишкой.— Николай Григорьевич слабо потер левую сторону груди, сказал Константину обычным своим негромким голосом: — Соберите деньги, Костя. Ах, Костя, Костя, не подумали? Не надо было объясняться с Быковым, выкладывать ему карты, это все напрасно. Это мальчишество. Соберите деньги и немедленно отнесите их в ОБХСС или в прокуратуру. Это нужно сделать. Иначе к вам прилипнет грязь, не отмоетесь. Вы меня поняли, Костя?

— Я идиот! — яростно заговорил Константин, собирая с пола деньги, и постучал себя кулаком по лбу.— Экспонат из зоопарка! Слон без хобота! Зебра с плавниками!

— Хватит! Началось самоедство! — прервал Сергей раздраженно.— Будем кричать «караул»? Действуй, и все! Это отец, старый коммунист, боится, что к нему прилипнет грязь.

— Сергей! — с упреком произнес отец, и лицо его

дернулось.— Замолчи! — И очень тихо, виновато добавил: — Пожалуйста, замолчи...

Сергей увидел седину в его волосах, землистое, дернувшееся лицо и оторванную пуговичку на его поношенной и застиранной пижаме, сказал отворачиваясь:

— Прости, если это тебя...

И Николай Григорьевич стесненно и грустно улыбнулся:

— Когда-нибудь ты поймешь, что значит для коммуниста душевная чистота.

Дверь захлопнулась — исходило безмолвие из другой комнаты, не доносилось шуршания газеты, лишь скрипнули пружины: должно быть, он лег.

И этот звук пружин, и нахмуренное лицо Сергея, и видимое нездоровье Николая Григорьевича, и отвратительная сцена с деньгами, и ощущение своей легкомысленности и глупости — все это вызвало в Константине чувство стыда, неприязни к себе, будто пришел и грубо разрушил здесь хрупкий мир.

— Наворотил я тут у вас! — проговорил он.— Гнал бы ты меня к такой хорошей бабушке. Сам виноват — какая тут... философия? По уши в дерьмо провалился, так самому и расхлебывать это дерьмо! Не невинная девочка. Ладно, пойду.

— Подожди! — остановил Сергей.— Подожди меня. Накурился и зазубрился до тошноты. Ночь не спал над конспектами. Пойдем подышим воздухом... Отец! — позвал он, подойдя к двери.— Мы пошли. Слышишь?

Было молчание.

— Отец! — снова позвал Сергей и уже обеспокоенно распахнул дверь в другую комнату.

Отец сутулился возле письменного стола, позванивала ложечка о пузырек, в комнате пахло ландышевыми каплями.

— Иди, иди, я слышу.

— Тебе бы полежать надо, отец. Вот что!

— Оставь меня.

Сергей вышел.

Прижатая к крышам чернотой туч узкая полоса неба просвечивалась водянистым закатом. Было зябко, мокро, от влажных заборов несло запахом летнего ливня.

Они шли по тротуару под темными и тяжелыми после дождя липами.

— Ну, что думаешь делать? — спросил Сергей.— Как дальше?

— Не знаю. В наш железный двадцатый век длинные диалоги не помогают.

— Понимаешь, что ты наерундил? Решил бросить институт? Три года — и все зачеркнул?

— Сам, Серега, не знаю! Сяду опять за баранку. Надоело мне все! Вот та́к надоело!

Константин провел пальцем по горлу, оступился в лужу, выскочил из нее, потряс ногой с остервенением.

— Везет! Все лужи — мои. Есть счастливцы, которым вся пыль — в глаза! Не проморгаешься... Ну а ты... Ты институтом доволен? Только откровенно. Или так — не чихай в обществе? Привычка?

— Привык. Уже привык. Даже больше, чем привык. Что морщишься?

— Ну?

— Что ну?

— Размышляю. Туды бросишь, сюды. Куда? Куда бедному мушкетеру податься? Откровенно? Баранку крутить — убей, надоело! Тоска берет, хочется лаять, как вспомнишь! Институт? Конспекты, учебнички — жуткое дело вроде разведки днем. Сидеть за партой — седина в волосах. Денег была куча, сейчас одна стипендия в кармане. Идиллия! А хочется какой-то невероятной жизни.

— Какой жизни?

— Вон, читай — дешево, выгодно, удобно! Это относится к таким, как я...

Константин рассмеялся, моргнул на рекламу авиационного агентства — неоновые буквы над корпусом электрического самолета вспыхивали, перебегали по высоте восьмиэтажного дома.

Они шли безлюдным переулком, в сыром воздухе отдавались шаги.

— Тогда что тебя тянет? — спросил Сергей.— Что тебя тянет в конце концов?

Константин сплюнул под ноги, ответил полувесело:

— Ничего, Серега, ничего. Я как-нибудь... Я как-нибудь... Не в таких переплетах бывал. Было шоферство. Хотел создать эту, как ее, независимость. Деньги — они дают независимость. А денег больших не скопил. А что было — вроде швырнул в уборную. Четвертый год в институте — и не могу зубрить, не могу сидеть с умным видом за столом и изображать будущего инженера. Мне

чего-то хочется, Сережка, сам не пойму — чего? Ладно, кончено! Давай в кино рванем, что ли. Или куда-нибудь выпить!

— Ты как ребенок, Костька,— сказал Сергей.— Брось сантименты, не сорок пятый год. Мы только начинаем жить. Это после войны все было как в тумане. Пойдем пошляемся по Серпуховке, может, что-нибудь придумаем.

— Да, Серега, сорок девятый — не сорок пятый...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Они оба сдавали экзамены последними.

В опустевшей лаборатории горных машин было горячо и тесно от ярого солнца: блестели на столах металлические детали разобранных врубовых машин, маслено отливала новая модель горного комбайна; чертежи на стенах ослепляли сияющими световыми пятнами.

Доцент Морозов в белых брюках, в белой, распахнутой на шее рубашке сидел поодаль экзаменационного стола, на подоконнике, со скрещенными на груди руками и не глядел ни на Сергея, ни на Константина — заинтересованно следил за игрой бликов на потолке, был, казалось, полностью занят этим.

Здесь была тишина, и в лабораторию отчетливо доносилися крик воробьев среди листвы бульвара, звон трамваев, за дверью гудели голоса, колыхался тот особый неспокойный шум, который всегда связан с летними экзаменами.

На столах перед Константином и Сергеем лежали билеты.

— Ну,— сказал Морозов,— кто готов? Кто первый ринется в атаку? Кстати, подготовка по билету — фактор чисто психологический. Это не ответ по истории, по литературе, представьте. Там требуется оседлать мысль, влить в железную форму логики. Я признаю даже косноязычное бормотание. Без риторических жестов, без ораторских красот. Горные машины — это практика. Рефлекс. Привычка, как застегивание пуговиц. Знание, знание, а не ораторская бархатистость голоса. Ну, полустуденты, полуинженеры, кто ринется первый? Вы, Корабельников? Вы, Вохминцев?

— Разрешите немного подумать? — сказал Сергей, набрасывая на бумаге ответы по билету, и усмехнул-

ся: — У меня нет желания очертя голову идти в атаку, Игорь Витальевич.

После вчерашней сцены с Быковым, после долгого разговора с Константином он сел за конспекты и учебник поздно ночью, когда уже все спали, лег в четвертом часу, совершенно не выспался, встал, чувствуя тяжелую голову, и не было в сознании той утренней ясности перед экзаменом, когда накануне пролистан учебник и прочитаны конспекты.

Однако ему, наверное, повезло: неисправности угольного комбайна, металлические крепления, область применения их — он это помнил, но не в силах был нащупать точной и прямой последовательности, записывал на бумагу ответы, знал: Морозов по предмету своему ставил только или двойку, или пятерку.

— Может быть, вы, Корабельников, решитесь?

Морозов, продолжая с любопытством следить за бликами на потолке, помял пальцами тщательно выбритый подбородок, внезапно крикнул, словно бы обращаясь к матовой люстре над головой:

— Будьте любезны, Корабельников, выньте книгу из стола, не шуршите страницами! Не нарушайте академическую тишину! Вы где служили, в разведке? Плохо конспирируете! Я не признаю такой конспирации! Позор! Что, времени не хватило? Зуб болел? Или вечером кого-нибудь провожали? Кладите учебник на стол и читайте в открытую! Это меня не пугает!

Морозов оттолкнулся от подоконника, прошагал длинными ногами мимо Константина в конец лаборатории, задержался перед дверью, зачем-то послушал гудение голосов в коридоре, и Сергей, не закончив писать ответы, с беспокойством посмотрел на Константина.

С потным лицом, покрытым смуглыми пятнами, Константин сидел, устремив взгляд на билет, одна рука лежала на столе, другая была искательно опущена. По всей его позе, по опущенной этой руке было видно: он «велико горел без дыма». Затем Константин быстро вынул учебник из стола, положил поверх билета, решительно встал.

— Нет смысла, Игорь Витальевич.

По тому, как сказал это он, но более по тому, как проследовал по аудитории к Морозову и подал ему зачетную книжку, чувствовалась готовность на все.

— Ставьте двойку. По билету на пятерку не знаю.

Морозов сунул зачетную книжку в карман брюк, прочитал вопросы в билете Константина, бесстрастно спросил:

— Значит, по билету на пятерку не знаете? Ну что ж, я вам поставлю двойку, и вас снимут со стипендии. Это знаете?

Константин сделал неопределенный жест, и Морозов с убийственным спокойствием поинтересовался:

— Как будете жить? Что будете есть?

— Сапоги,— проговорил Константин.— Они помогут.

— Что-о?

— Продам великолепные яловые армейские сапоги. Разрешите идти?

— Вот как? Сапоги? И портянки тоже?

Морозов размашистой походкой зашагал по лаборатории, пересекая солнечные столбы; он шагал и при этом нервно ударял ладонью по тупому корпусу комбайна, по столам, по деталям врубовой машины, говоря вспыльчиво:

— Какой из вас, к друзьям собачьим, инженер, если вы свое... свое... не знаете? Стыд и позор! Конец света! Буссоль небось знали? Знали! Иначе бы какой разведчик! Как вы приедете на шахту без знания техники? Стыд! Как? Что? Можете мне не знать ни искусство, ни литературу, но техника... техника! Что будете делать? Как уголь рубать — ручками, кайлом, топором, зубами? Великолепно! Просто великолепно! Милейший студент, слов не нахожу от восторга!

Морозов сел к столу, выкинул перед собой зачетку Константина.

— Значит, двойку хотите или кол вам влепить за легкомысленность? И по всей справедливости... Учитывая ваше пролетарское происхождение и фронтовые заслуги!

— Как хотите, Игорь Витальевич,— равнодушно произнес Константин.

Морозов забарабанил пальцем по билету, заговорил внятно:

— Вот, вот, у вас первый вопрос — крепления в лаве! Что ж, не знаете? Значит, что же? Поставите крепления, на них кто-нибудь из шахтеров плюнет, харкнет, высморкается с чувством — и рассыплются ваши крепления в пыль! Завал! Людей погубите? Нет, убийц я из института не выпущу! Нет! Это уже за гранью! Нет и нет! Таких

инженеров в нашем государстве не надобно! Может быть, вы не хотите учиться в институте? Вам надоело?

Стало тихо. Слышно было жужжание голосов из коридора; сквозь листву бульвара пробился в лабораторию весенней трелью трамвайный звонок.

— Игорь Витальевич! — громко сказал Сергей.— Разрешите отвечать? Я готов.

Он не был готов, но уже не вникал в смысл билетных вопросов,— смотрел на смугло-красное лицо Константина, на раздраженное лицо Морозова, хорошо помня вспыльчивость и небыструю отходчивость доцента, который жестоко не прощал незнания системы креплений; был в связи с этим известен всему институту случай, когда он добился исключения студента на середине четвертого курса.

— Вы хотите отвечать? — отделяя слова, спросил Морозов.— Прекрасно! Давайте ваш билет. Корабельников, подойдите ко мне, не изображайте недвижимое имущество! Вы, Корабельников, и вы, Вохминцев, будете отвечать без билетов. Все вопросы в билете можете забыть. Вот так-то! Жалуйтесь хоть самому министру высшего образования, хоть богу, хоть дьяволу!

Морозов засунул билеты под экзаменационный лист, обвел Константина колющими зрачками, показал подбородком в сторону металлических стоек — креплений для угольного комбайна.

— Будьте любезны, подойдите к этим штуковинам, Корабельников. Що цэ такэ? Зачем вона, цэ гарна овощь? Ась?

Константин подошел к стойкам.

Сергею была знакома эта манера Морозова в моменты неудовольствия и раздражения коверкать язык, «гонять» по всему курсу, недослушивать, перебивать ответы, понял, что Константин сейчас «поплывет», и, чувствуя в себе какую-то злую, подмывающую уверенность, опять сказал настойчиво:

— Игорь Витальевич, разрешите мне.

Морозов откинулся на спинку стула не без интереса.

— Прекрасно! Значит, хотите своим телом закрыть амбразуру? Ну что ж, это даже любопытно. Посмотрим, широка ли у вас грудь. Корабельников, походите возле креплений, пощупайте болты и подумайте. Вохминцев, прошу вас. Представьте такую петрушку. Вообразите на мгновение: вы — главный инженер шахты. Сняли трубку,

звоните в лаву. Спрашиваете: «Как комбайн, сколько заходов?» Бригадир гундит, он всегда будет гундеть в таких случаях: «Стоит, хоть черта дай, проверяем».— «Как стоит?» Вы каскетку на макушку, напяливаете робу — и в лаву. Там возня и кутерьма возле комбайна. Машинист сопит и, как всегда, лезет ключом в редуктор. В это время рабочие лавы, вполне возможно, могут в десять этажей материться и сыпать неприличные выражения на голову бригадира. А бригадир гундит: «Ребята молодые, неопытные», туда, сюда и всякие лирические слова... Ваше решение? Без развернутого ответа. Без подлежащих и сказуемых. Конкретнее! Работа остановилась, вся лава стоит!

Вот она, излюбленная манера Морозова предлагать вольный вопрос. Сказав это, довольно ухмыльнулся, мелькнула лихая щербинка меж передних зубов, и Сергей на мгновение почему-то подумал, что вот так он, Морозов, бегал в войну по лавам Караганды, и, уже точнее подбирая слова, внутренне готовясь к следующему вопросу, ответил намеренно неторопливо:

— Проверить цепь, нужный для нового пласта наклон зубков. Возможна заштыбовка. Это первое... Самое же примитивное — соседняя лава перебивает напряжение. А второе...

— Стоп, стоп! — не утверждая, не отрицая, оборвал Морозов и остро уколол зрачками Константина.— А вы как думаете-полагаете?

Константин затоптался около стоек, покусал усики.

— Вполне возможно...

Морозов хмыкнул, не дал договорить:

— Почему этак неуверенно? Вохминцев, покажите, как это делается. Детально покажите. И быстро. На вас глазеют рабочие лавы. Ошибетесь — ваш инженерский авторитет превратится в пшик! В мыльный шарик!

Сергей ожидал иного каверзного вопроса, однако ему вторично повезло. Но теперь, сознавая, что он, не ошибаясь, объяснит все детально и точно, Сергей нарочито замедлил движение, прокручивая цепь комбайна, не спеша отвечал и одновременно надеялся, что эта его неторопливость поможет Константину сосредоточиться, но вместе с тем вдруг показалось ему, что после невезения с билетом было уже Константину все равно.

— Стоп, стоп! — Морозов опять перебил Сергея.— Медленно! Медленно закрываете грудью амбразуру. Все, все! С вами все! Где ваша зачетная книжка! Дайте ее сюда. Оставьте ее здесь. И прошу вас выйти из аудитории!

Сергей не ожидал этого.

— Я думал, вы зададите третий вопрос,— проговорил он, невольно уже испытывая раздражение к декану, к его нервному тону, будто Морозов намеренно взвинчивал, дергал и его и Константина.— Вы не даете сосредоточиться, Игорь Витальевич. Дайте Корабельникову подумать. Сколько он хочет. Здесь не мотоциклетные гонки.

— Вон ка-ак! — Морозов привстал, вытянул шею из воротника апаш.— Гонки? Я иного мнения. Противоположного. Чушь ерундите! В жизни вам некогда быть тугодумом! Двадцатый век с его планами стремителен. Инженер-эксплуатационник должен с быстротой молнии принимать решения. Должен знать производство, как родинки на лице жены. Возражаете, нет? Наши недостатки идут от тугодумства, из негибкости, из незнания! Больше поворотливости, больше инициативы, находчивости — вот основное для инженера! Покиньте аудиторию, Вохминцев! Немедленно! И в болото ваш либерализм! Не ожидал от вас!.. Выйдите!

— Выйди,— попросил Константин и азартно и зло обернулся к Морозову.— Что ж, спрашивайте, Игорь Витальевич, задавайте вопросы. Хуже чем на тройку не отвечу. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей... Задавайте вопросы.

— Боитесь потерять стипендию?

— Я не миллионер, Игорь Витальевич.

— Ну что ж, попробуем! Слова не мальчика, но мужа! Готовьте боеприпасы к контратаке!

Сергей, удивленный внезапной решимостью Константина, положил в молчании на стол перед Морозовым зачетную книжку, увидел какое-то отрешенное, улыбающееся лицо друга и вышел из лаборатории.

В коридоре шумно, сильно накурено.

Уже сдавшие экзамен студенты толпились возле окон, сидели на подоконниках, залитых солнцем, ходили по коридору компаниями, ожидая последних, кто еще мучился над билетами в опустевших аудиториях, договаривались, всем вместе, собравшись, пойти в ближний прохладный бар в подвале, с чувством сброшенного груза и

обретенной свободы выпить, закусывая сосисками, по кружке холодного пива,— так обычно завершались экзамены.

Как только Сергей вышел, к нему, спрыгнув с подоконника, вразвалку подошел низкорослый Косов, в морской фланельке, тесной на крутых плечах, и следом Подгорный, небритый, добродушно суживая золотистые глаза; спросили почти одновременно:

— Ну как? Порядок, Сережка? Или нулевая позиция?

— Пока не знаю. Кажется, Костя сыплется с великим треском. Морозов вскипел, когда Костя добровольно согласился на двойку. У него — система креплений. Морозов больше читал нотаций, чем спрашивал.

— Признак не шибко.— Подгорный озадаченно почесал редкую щетину на щеках.— Влепит чи не влепит двойку?

— Возможно,— ответил Косов.— Обрати, Сергей, на этого танкиста внимание. За бритву не брался все экзамены. Под Льва Толстого работает. Эпигон.

— Та я ж и на фронте перед боем не брился,— не сердясь, сказал Подгорный.— Такая привычка. Не можу! Уверенность должна быть. Як же Костька-то, поплыл?

— Подождем.

Косов протянул Сергею пачку «Беломора», дорогую, не по студенческим деньгам, купленную, видимо, в честь завершения последнего экзамена. Закурили около распахнутого окна, на теплом ветерке, рядом с тяжелой дверью лаборатории — оттуда не доносилось ни бегло спрашивающего голоса Морозова, ни ответов Константина, а тут в коридоре гудели голоса, солнце по-летнему припекало подоконники, открывались и закрывались двери аудиторий, потные, счастливые, сдавшие экзамен студенты победно потрясали зачетками, хлопали друг друга по плечам, облегченно хохотали. И тогда Сергей с отчетливой ясностью подумал: если Константин сейчас не сдаст Морозову горные машины, то немедленно, не раздумывая ни минуты, бросит институт.

— Братцы, пончики! В буфет привезли, горячие! Рубль штука. Расхватывают!

Подошли — весь круглый, с белесым лицом и желтыми островками конопушек на лбу Морковин, за ним Лидочка Алексеева, высокая, темноволосая. Оба они в бу-

мажках держали поджаристые пончики; Морковин жевал, двигая набитыми щеками, моргал светлыми коровьими ресницами.

— Сдал? — спросила Лидочка, смело приблизилась к Сергею, улыбаясь, поднесла к его губам пончик.— Подкрепись, бедненький... Голодный, наверно?

— Не видишь разве, я курю? — сказал Сергей, отводя лицо.

— О боже мой, когда ты перестанешь хмуриться, ужасно надоело! — сказала со вздохом Лидочка и дернула плечиками.— Кого вы ждете? Все сдали или кто-нибудь плывет?

Сергей не ответил.

— Наш Морозец сегодня ужасно не в духе, наверно, с женой поссорился,— весело сказала Лидочка Сергею.— Заставлял меня раз десять включать врубовку и все называл «уважаемая». А Володьку, милого нашего Морковина, совершенно замучил трагическим описанием завала. «Ваши действия?»

Морковин, возбужденный, уселся на подоконнике; несмотря на жару, был он одет в полную студенческую форму, украшенную горными погончиками, сообщил, радостно ужасаясь:

— А знаете, братцы, когда пятерку ставил, такое лицо стало! Ну ровно тысячу рублей одалживал! Свирепствует!

— Не надо сдавать, кореш, экзамен вместе с женщиной,— наставительно заметил Косов, снизу вверх взглядывая на высокую Лидочку ясно-синими глазами.— Морозов не терпит женщин-горнячек. Нервы не те, писк, визг, батистовые платочки, а тут тебе — грубый уголь. Дошло?

— Что это? Что это у тебя за мозаика? — Лидочка стремительно отогнула край тельника, выглядывавшего из раздвинутого ворота косовской рубашки, и оттопырила губы, читая синюю татуировку на выпуклой его груди: — «Не забудь мать свою». Ха-ха! Кто это тебя разукрасил? Мне казалось, ты парень из интеллигентной семьи.

— О, женщина! — Косов взглянул снизу вверх — она была на голову выше его.— Женщина, тебе известно, что я командовал взводом морской разведки? А во взводе у меня были и блатники. А я был мальчишкой, салагой, ходил, путаясь в соплях.

— Ну и что? И разрешил себя расписать? Какое художество!

— Женщина, мне нужно было держать их в руках. И я ходил на голове.

— Та що ты ей объясняешь? — заторопился Подгорный и, ухмыляясь, поднял лицо к лучам солнца.— Та я знаешь, що в танке возил, Лидочка? О, скажу — и не поверишь! В сорок первом. Я возил четыре мешка денег. Две недели я был миллионер. Похоже?

— А деньги куда же? — спросил Морковин, перестав жевать.

— Как куда? В какой-то штаб сдал. Выкинул из танка, и все.

— Фронтовые воспоминания в перерыве между экзаменами,— засмеялась Лидочка.— Чудные вы, мальчики.

В это время дверь лаборатории распахнулась, в коридор шумно вышел Морозов с кожаной папкой под мышкой, следом Константин — смуглый румянец горел на скулах, темные волосы прилипли к потному лбу; его пухлая полевая сумка не застегнута, распирая ее, открыто торчали оттуда конспекты.

— Вохминцев, возьмите зачетку! — громко сказал Морозов.— Вы свободны, можете пить пиво и досыта наслаждаться жизнью. Ваша же зачетка, дорогой товарищ Корабельников, останется у меня как моральный задаток. Завтра в половине третьего зайдете ко мне домой. Предварительно позвоните. Все. Будьте здоровы.

И, раскланиваясь, зашагал по солнечному коридору, сквозь голубые полосы дыма, мимо группок толпившихся студентов, неуклюже рослый, в белой рубашке апаш, как бы смешно подчеркивающей его неловко длинную шею.

— Боже мой, какое все же золотце Морозов! — восхищенно воскликнула Лидочка, вытерла пальцы о бумажку, но никто не обратил на ее слова внимания — все окружили Константина.

Тот стоял несколько взволнованный, блестели капельки пота на запачканном маслом лбу, говорил, посмеиваясь, охрипшим голосом:

— Братцы, это был грандиозный кошмар! Лобное место времен Ивана Грозного! Гонял по всему курсу, не давая отдышаться. «Почему это? Для чего это? Зачем это?», «Представьте такое положение», «Вообразите следующее обстоятельство». Лазил на карачках возле ком-

байна и врубовки, нащупался болтов на всю жизнь.— Посмотрел на свои руки, темные от смазки, с изумлением.— В годы своего шоферства никогда так лапы не замазывал. Ну и Морозец! Он, ребята, одержимый. Он в темечко контуженный техникой. Фу-у, дьявол! Чуть живьем не съел.

Он, отдуваясь, все посмеивался, все разглядывал свои руки, и ясно было, что он зол, с трудом скрывает неприятное ему волнение; и Сергей сказал, оживленно хлопнув Константина по плечу:

— Пошли на бульвар. Выпьем газированной воды. Идемте, я угощаю,— предложил он, подмигивая Косову и Подгорному.

— Меня ты, кажется, не приглашаешь? — спросила Лидочка безразличным тоном.— Как это благородно!

— Даже учитывая эмансипацию, у нас мужской разговор,— сказал Сергей.— Фракция женщин может оставаться на месте.

— Не лезь к ним, Лидка. У них фракция фронтовиков,— проговорил Морковин, сидя на подоконнике.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бульвар был полон студентов всех курсов, успевших и еще не успевших сдать экзамены: везде сидели на скамьях, разложив конспекты на коленях, лихорадочно долистывали недочитанные учебники, и везде ходили группами посреди аллей, загораживая путь прохожим, разговаривали взбудораженными голосами, охотно смеялись, радуясь тому, что «свалили экзамен», что уже было лето.

Возле тележки с газированной водой в пятнистой тени лип вытянулась очередь, звенела мокрая монета, шипела, била струя воды в пузырящиеся газом стаканы. И от мокрых двугривенных, от этого освежающего шипения, от прозрачного вишневого сиропа в стеклянных сосудах веяло совсем летним: знойным и прохладным.

С удовольствием и расстановками выпили по два стакана чистой, режущей горло газировки; Константин, раздувая ноздри, вылил второй стакан на испачканные в машинном масле руки, вымыл их, вытер о молодую траву, сказал превесело:

— Так что, в Химки, братва, купаться поедем? Или куда-нибудь в Кунцево?

— Пока сядем здесь,— предложил Сергей.— Позагораем.

Сели на горячую скамью, и Константин освобожденно расстегнул на груди ковбойку, отвалился, глядя на испещренную слепящими бликами листву над головой, дыша глубоко, с медленным наслаждением.

— Братцы, а жизнь-то все-таки хороша,— сказал Косов. Он подкидывал в воздух влажный двугривенный и ловил его.

— Особенно потому, что райской не будет,— пробормотал Константин.

Подгорный, нежась на солнце, весь обмякший от жары, размягченный, хитро и благостно зажмуривался, наверно, хотел сказать что-то и не говорил.

— Оптимисты, дьяволы,— опять пробормотал Константин.— Жертвы суеверия.

— Нет, хлопцы, я вам должен сказать,— заговорил Подгорный с блаженной ленцой.— Скоро планета Юпитер вспыхнет солнцем, научно доказано, много водороду. Появятся над нами два солнца — вот тогда будет жизнь!

— Деваться будет некуда,— сказал Косов.

— Да вы что, температурите? — спросил зло Константин.— Градусники купили в аптеке?

— Вот что, Костька,— проговорил Сергей,— Морозову ты должен сдать. Что бы это ни стоило. Беру на себя всю теорию. Буду гонять тебя по системе креплений весь вечер. Завтра утром ты, Костька, приедешь в институт, запрешься с Косовым в лаборатории, и он погоняет тебя по деталям и неисправностям. Он запарится, поможет Подгорный. Приемлем план?

— Куда ж денешься,— сказал Подгорный, сладостно, лениво позевывая.— Таки дела в танковых частях...

— Ну, устроим утром аврал? — Косов поймал в воздухе монету, зажал ее в кулаке, прицелился в Константина жарко-синим глазом: — Ну, орел или решка?

— Вы что меня атаковали? — произнес Константин, все наблюдая пеструю путаницу солнца и теней на листве.— Нажим партийной группы на беспартийного большевика? Но таким образом я превращусь в фикус с желтыми листьями. Плюньте на все — поедем в Химки!

— Брось,— сказал Сергей.— Поехали домой. Поехали, Костька.

— А ну, р-раз — майна, вира! От-торвем от предмета!

Косов захохотал, сильным локтем сдвигая со скамьи разомлевшего на солнцепеке Константина, и тотчас Подгорный с другой стороны начал подталкивать его в бок, заговорил убедительно:

— Та що мы тебе, подъемные краны? Соображаешь чи ни?..

— Хватит тут меня щупать, я вам не болт крепления. Уцепились — в рукавицах не оттащишь! Вы что, святые?

Константин поднялся в расстегнутой до пояса ковбойке, с видом плюнувшего на все человека засвистел сентиментальный мотивчик, но сейчас и этот свист, и обычная его полусерьезность раздражали его самого, как раздражали слова Сергея, лениво-добродушные взгляды Подгорного, и низкорослая фигура Косова, и эта их вынужденная уверенность в том, что с ним будет, как надо.

И вдруг Константин особенно почувствовал, что у него пропал, стерся интерес к завалам, креплениям, комбайнам, штрекам, лавам, циклам — ко всему тому, к чему был интерес у них. «Что же делать? Что делать тогда?»

— Что ж, Сережка, приду домой, включу радиолку, и все будет в ромашках и одуванчиках,— с обычной своей беспечностью сказал Константин.— И все великолепно.

— Это как раз не удастся,— ответил Сергей.— Поехали.

— Привет коллегам! Как дела? Свалили?

От группы студентов, идущих навстречу по аллее, отделился Уваров. Его синяя шелковая тенниска облегала чуть покатые плечи; его мускулистые, со светлым волосом руки, крепкое лицо были тронуты первым загаром — вид спортсмена, приехавшего с юга.

— Свалили машины, гордость третьего курса? — спросил он приветливо обоих.— Все в полном порядке или не хватило одной ночи? Ты, я слышал, Сергей, сразу поставил Морозова в нулевую позицию — пять с плюсом отхватил? Ходят слухи в кулуарах.

— Миф,— ответил Сергей.— Нулевых позиций и плюсов не было. Ну а на четвертом курсе?

— Все в кармане.— Уваров, улыбаясь, похлопал себя по карману тенниски, где лежала зачетная книжка; был он, видимо, в отличном, как всегда, настроении, доволен этими экзаменами, своим здоровьем, прочным душевным равновесием.— Вы куда спешите, хлопцы?

— По хатам.

— Да вы что? — весело поразился Уваров.— Мы собрались отпраздновать это дело, присоединяйтесь! Пойдем в бар: здесь жарища, а там свежее пиво, раки, сосиски, а? Третьекурсники! Я против всяческой субординации. Даже Павел Свиридов пойдет. Как говорят, глава партийной организации будет держать на пределе, все будет в норме. Объединим два курса — ваш и наш — и тихо, мирно атакуем бар. Павел! — крикнул он.— Присоединяем к себе третьекурсников?

— Я не пью пиво.— Константин брезгливо провел ребром ладони по горлу.— Меня тошнит от пива. Отрыжка. Икота.

— К сожалению, привет,— сказал Сергей.— Спешим домой. Обед стынет.

— Вы меня удивляете! Просто гранитные скалы! — захохотал Уваров.— Значит, тренируете силу воли?

— Что поделаешь — воспитываемся,— вздохнул Константин дурашливо.— Режим. Экзамены. Соседи по квартире.

— Жаль, хлопцы, просто на глазах гибнут лучшие люди,— сказал Уваров и тут же вновь шутя крикнул в сторону группы студентов, стоявших сбоку аллеи: — Слушай, Павел, выяснилось: в нашем институте есть студенты, нарушающие обычаи экзаменов! Предлагаю разобрать на партбюро со всей строгостью! Жаль, хлопцы!

Свиридов, отрывистым своим голосом разговаривавший в группе студентов, сухощавый, прямой, в очень плотно застегнутом новом кителе без погон, с нездорово желтым лицом, приблизился к Сергею, опираясь на палку-костылек.

— Куда вы, Вохминцев? Подождите минутку. Такой день... Разрешается пятерки отпраздновать. Что уж там!

— Ждут дома,— сказал Сергей.— Это невозможно.

Прежде, когда Свиридов преподавал военное дело, он не всегда носил китель, изредка появлялся на занятиях в черном, нелепо сшитом и неудобно сидевшем на нем гражданском костюме, но после того, как ушел по бо-

лезни в запас и стал освобожденным секретарем партийной организации, военную форму носил постоянно, именно это его упрямство нравилось Сергею: вероятно, Свиридов не мог забыть армию, в которой ему не повезло. Ему было тридцать два года, а внешне он выглядел гораздо старше — давняя желудочная болезнь высушила, источила его.

— Есть люди,— сказал Константин уже на автобусной остановке,— есть люди, которые утром вместе с костюмом надевают на себя лицо. Не замечал?

— Ты о ком?

— Вообще. Некоторые всю жизнь носят маску. Цирк! Скрывают застенчивость — развязностью, наглость — смущением, эгоизм — ложным альтруизмом... А нужно ли вообще сдирать эти маски, Сережка? Зло сразу выскочит, как поплавок из воды. А?

— Не пожалел бы половины жизни, чтобы содрать эти маски.

— Тогда в первую очередь, Сережка, сдери эту маску с себя.

— Не понял. Какого черта!

— Часто тебе приходится терпеть? Или вы уже друзья с Уваровым?

— Ты весьма наблюдателен, Костенька!

— Но вы уже два года улыбаетесь друг другу. Философия случайности? Впрочем, Уваров — первостатейный малый: пятерочник, член партийного бюро, общественник, со Свиридовым — неразлейвода. Не кажется ли тебе, что этот парень вместе с костюмом надевает на лицо улыбку? — Константин щелкнул пальцами, подыскивая слова.— Улыбочка душевного парня — одежда! Ни с кем не хочет ссориться — мил всем! Голову наотрез — идет верным путем. На улыбочки и общительность клюют все! И ты клюнул.

— Хватит.

— А что хватит? Полагаешь, он забыл, как ты ему набил харю?

— Ерунда. Не хочу сейчас об этом!.. Давай садись в автобус, едем!

...Он каждый день встречался с Уваровым в институтских коридорах, вместе сидел на партийных собраниях, вместе в перерывах курили около подоконников, и Сергей вроде бы привык к нему, смирился с этим, и уже не хотелось думать о прошлом — мысль об Уварове все-

гда вызывала тупую усталость, и каждый раз, когда он начинал думать о нем, появлялось злое ощущение недовольства собой. При встречах Уваров был простодушно-приветлив, подчеркивал свою особую расположенность и, открыто выказывая радость, улыбался ему: «Привет, старик!» Был он неузнаваемо другим, выглядел, казалось, моложе, чем пять лет назад, на фронте,— похудели щеки, отчего обострилось, но помягчело лицо. И Сергей уже постепенно погас, притерпелся к этому новому, непохожему на того, встреченного после фронта Уварова, не было желания и сил возвращаться к прежнему, и не было той непримиримости, которую он чувствовал в себе три года назад.

Только раз прошлой зимой на студенческом собрании он, сидя позади Уварова, увидел вблизи его сильную, упрямо неподвижную шею, край пристального, в задумчивости устремленного глаза — и тогда что-то оборвалось, сместилось в душе. И вновь кольнула прежняя ненависть. Тот, видно, ощутил это внимание — шея ослабла, край голубого глаза стал покойно-улыбчив, Уваров оглянулся назад, сказал доверительно: «Старик, не болит у тебя башка от этих бесконечных собраний? Я уже готов». Сергей молча и твердо смотрел на него, и было такое чувство, точно замешан был в чем-то отвратительном и противоестественном.

Через несколько дней это ощущение прошло.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Конец, Сережка, конец — сказал Константин и, перегибаясь через подоконник, вылил из графина воду на голову.— Перестарались. Я уже перенасыщенный раствор, из меня сейчас начнут выделяться кристаллы. Я на пределе.

— Абсолютно?

— Окончательно. Нет, Сережка, хорошо все-таки поживали в каменном веке — никаких тебе шахт, никаких машин, сиди, оттачивай дубину и поплевывай на папоротники.

— Кончаем.— Сергей развалился в старом кресле, устало и не без удовольствия вытянул ноги.— Да, Костька, неплохо было в эпоху первобытного коммунизма. Мечтай только об окороке мамонта — прекрасная жизнь. И все ясно. Ну и духота...

Все окна и двери были раскрыты, но вечерний сквозняк слабо тянул по комнате, папиросный туман вяло шевелился под потолком.

— Все ясно! Где вы, мамонты? — Константин, дурачась, ударил учебником по столу.— Все! С этим все! Перерыв, перекур, проветривание помещения. Виват и ура! Как будем разлагаться — радиолу крутанем и по случаю жары тяпнем жигулевского пива? Или наоборот?

— Сначала к Мукомоловым — на нас обида. Встретил утром. Приглашал обязательно зайти. Ясно?

— Согласен на все.

В комнате-мастерской Мукомолова по-прежнему пахло сухими красками, холстами, табачным перегаром, по-прежнему возле груды картин, накрытых газетами, белели стойками два мольберта перед окнами (к свету), бедно жались по углам старые, покорябанные стулья, на заляпанных сиденьях повсюду валялись тюбики красок, стояли баночки для мытья кистей; была все та же аскетическая обстановка в комнате. Но странно, она не казалась пустой — со стен внимательно и отрадно смотрела иная жизнь: наивное лицо беловолосой некрасивой девочки с большим ртом и удивительно умными, мягкими глазами; рядом — знойный лесной свет солнца сквозь листву берез; первый снег в московском переулке, на снегу грязный след проехавшей машины; луговая даль после дождя. Сергея поражало это противоречие, несоответствие запущенности мукомоловской мастерской с полнозвучной жизнью картин, неужели здесь, в комнате, жили лишь начерно, а на стенах — набело, ярко, счастливо?

Когда они вошли, Мукомоловы сидели при свете настольной лампы на диване, Федор Феодосьевич занимался тем, чем обычно занимался по вечерам,— сопя, подобрав под себя ногу, набивал табаком папиросные гильзы; Эльга Борисовна вслух, ровным голосом читала газету, то и дело поправляла черные, с проседью волосы, падавшие на висок.

— Эля! Кто к нам пришел! Ты посмотри — Сережа, Костя! Эля, Эля, давай нам чай! — Мукомолов вскочил, смеясь, долго двумя руками тряс руки Сергею, Константину.— Эля, Эля, Эля, посмотри, кто к нам пришел! Ты посмотри на них!

— Очень рада вас видеть, Сережа и Костя,— со слабой улыбкой проговорила Эльга Борисовна, свернула га-

зету, сунула ее куда-то на полочку; смущенно запахнула мужскую, очень широкую на ее маленькой девичьей фигурке рабочую куртку, запачканную старой краской на рукавах.— Я одну секундочку... Только поставлю чай.

— Ну зачем беспокоиться,— сказал Сергей.

— Садитесь, садитесь на диван, садитесь! Вот коробка с папиросами, это крепкий табак! — вскрикивающим голосом заговорил Мукомолов и забегал подле дивана, спотыкаясь, задевая за подвернувшиеся края коврика на полу, и вдруг сильно закашлялся, сотрясаясь телом, прикурил папиросу, с жадностью вобрал дым.— Да, да, да! Ничего, ничего. Главное — вы пришли. Спасибо. Я рад. Это главное... Это большая радость!

Мукомолов задержался около дивана, тоскливыми глазами обежал лица Сергея и Константина, сконфуженный, вытер носовым платком пот со лба и выдавленные кашлем слезы в уголках век.

— Фу, жарко... Вы чувствуете — ужасно душные вечера,— проговорил он извиняющимся тоном и сел, сгорбясь, теребя бородку.— Ну как вы поживаете? Что новенького у молодежи? Как успехи?

— Все по-старенькому, если не считать экзамены и всякую мелочь,— сказал Константин.

— А как вы? — спросил Сергей.— Что у вас нового, Федор Феодосьевич?

Мукомолов подергал бородку, рассеянно разглядывая стершийся коврик под ногами, и как будто не расслышал вопроса.

— Простите, Сережа. Что у меня? Что у меня, вы спрашиваете? Дайте-ка мне газету, Костя! — встрепенувшись, воскликнул Мукомолов с деланной, вызывающей веселостью.— Там, на полочке, куда положила Эля! Вы читали газеты? Нет? Вот послушайте, что пишется. Вы только послушайте.

Он, торопясь, развернул газету, оглянулся на дверь, помолчал некоторое время, пробегая по строчкам.

— Ну вот, пожалуйста! Вот что говорит один наш деятельный художник: «Космополитам от живописи, людям без роду и племени, эстетствующим выродкам нет места в рядах советских художников. Нельзя спокойно говорить о том, как глумились, иезуитски издевались эти антипатриоты, эти гнилые ликвидаторы над выдающимися произведениями нашего времени. Мы выкурим из всех щелей людей, мешающих развитию нашего

искусства... Странно прозвучало адвокатское выступление художника Мукомолова, пейзажики и портреты которого напоминают, мягко говоря, вкус раскусанного гнилого ореха, завезенного с Запада. Однако Мукомолов с издевкой пытался...» Ну, дальше этот отчет читать не нужно, дальше идут просто неприличные слова в мой семейный адрес... Во как здорово! А вы как думали!

— Не понимаю. Это... о вас? — проговорил Сергей.— Я читал зимой о космополитах. Но при чем здесь вы?

— При чем здесь я, Сережа? Меня просто обвиняют в космополитизме, в отщепенстве. В чуждых народу взглядах... Вот и все.

Мукомолов быстро стал зажигать спички, ломая их, глубоко затянулся, выдохнул дым, вместе с дымом выталкивая слова:

— Началось с того, что я пытался защитить одного критика-искусствоведа, его обливали грязью. Но я его знаю. Все неправда. Этому нельзя поверить. Шум, свист, топанье — ему не давали говорить. Ему кричали из зала: «Ваши статьи — это плевок в лицо русского народа!» А это культурный, честный, с тонким вкусом человек, коммунист, уважаемый настоящими художниками, смею сказать. Кстати, он тяжело заболел после этого полупочтенного собрания. И что, вы думали, было сказано после этого? — Мукомолов отсекающе махнул зажатой в пальцах папиросой.— Один наш монументалист на это сказал: «Нас инфарктами не запугаешь». Вот вам!..

Константин, с грустным вниманием слушая Мукомолова, положил ногу на ногу, слегка покачивал носком ботинка.

Сергей, хмурясь, спросил:

— Но почему... в чем обвиняют вас? Именно — в чем?

— Не знаю, не могу понять! Чудовищно все это! Мне кричат, что мои пейзажи — идеологическая диверсия. Что я преклоняюсь перед западным искусством, что я эпигон Клода Монэ! Но где, в чем влияние Запада? — Мукомолов недоуменно повел бородкой по картинам на стенах.— Не знаю, не понимаю. Ничего не понимаю.

Мукомолов сказал это уже с тихим отчаянием и тотчас, спрятав газету на полочке, преобразился: через порог, поправляя одной рукой волосы, мелким шагом переступила Эльга Борисовна, неся чайник. Мукомолов кинулся к ней, неловкий в своей старой расстегнутой

куртке, подхватил чайник, с излишним стуком поставил на стол — тень Мукомолова качнулась на стене, по картине,— воскликнул с оживлением:

— Спасибо, Эленька! Будем чаевничать напропалую. Чай великолепно действует против склероза и, несомненно, омолаживает организм.

И тут же, энергично опережая жену, начал молодо бегать от низкой застекленной тумбочки, заменявшей буфет, к столу, ставя чашки, бросая ложечки на старенькую скатерть, а Эльга Борисовна, все прикасаясь к волосам, как бы прикрывая седые пряди, сказала смущенно:

— Почему вы сидите без света? Со светом веселее и лучше.

И повернула выключатель — оранжевый, еще довоенный абажур над столом наполнился огнем. В комнате стало теснее: портреты, лесные и полевые пейзажи, чудилось, придвинулись со стен, раскрытые окна превратились в черные провалы.

Сергей смотрел на Мукомолова, вытирал пот на висках. Теплые струи воздуха, запах нагретого асфальта вливались в духоту комнаты. Мукомолов наклонился к столу, нацеливая дрожащий носик чайника в чашку. Было тихо, жарко, все молчали. Крутой чай с паром лился в чашку. От пара, ползшего по скатерти, от молчания, от застенчивой улыбки Эльги Борисовны было еще жарче, теснее, неудобнее, и еще более неудобно было Сергею оттого, что он не понимал до конца злой смысл того, о чем говорил сейчас Мукомолов, лишь чувствовал, что где-то рядом совершалось противоестественное, неоправданное, ненужное. Ради чего?.. Зачем?

— Идеологическая диверсия...— вспоминающим голосом заговорил Мукомолов, наливая чай в другую чашку.

— Федя! — с испуганной мольбой проговорила Эльга Борисовна и прикрыла глаза сухонькой ладонью.— Умоляю, оставь эту тему... Федя, я тебя прошу...

— Эленька, я старый человек, и мне нечего бояться,— рассерженно фыркнул носом Мукомолов.— О, наше молчание, равнодушие не приводят к добру! Ну хорошо, я не скажу ни слова. Я буду молчать, как старый шкаф!

И Мукомолов неуспокоенно засопел.

— Я знаю, что с тобой будет,— чуть слышно сказала Эльга Борисовна.— За вчерашнее выступление, Федя,

тебя исключат... выгонят из Союза художников. Что мы будем делать? Что?

В голосе ее внезапно зазвенели слезы, и сейчас же Мукомолов трескуче закашлялся, преувеличенно живо, бодро заходил вокруг стола; наконец, преодолев приступ кашля, он забежал в угол, где лежали гантели и гири, там вытянул руку, согнул в локте и, сощурясь, с детской наивностью пощупал свои мускулы.

— Ну и что? У меня хватит силы! Пойду в декораторы. Нам много не надо — проживем!

— Вы видели этого сумашедшего? — тихо спросила Эльга Борисовна.

Мукомолов присел к столу, покрутил ложечкой в стакане, потом благодарно покивал Эльге Борисовне и, видимо, утоляя жажду, выпил в несколько глотков весь стакан, сказал:

— Ах, как хорош космополитский чай!

— Все это пройдет,— неотрывно глядя на чашку, к которой не притронулась, произнесла Эльга Борисовна.— И не надо портить настроение мальчикам. Витя бы тебя тоже не понял... Просто, Федя, произошла ошибка... Все пройдет, все успокоится.

— Ошибка, Эленька? Может быть! Но никто не хочет таких ошибок! — воскликнул Мукомолов и протестующе отодвинул стакан.— Чудовищно все! Чудовищно, потому что несправедливо!

Громко закашлявшись, Мукомолов вскочил, подошел к окну и, сгорбясь, закинул руки за спину, но вдруг сутулые плечи его поежились, он плечом неловко стер что-то со щеки и снова, решительно распрямив спину, сцепил пальцы на пояснице.

Сергей и Константин переглянулись; этот жест Мукомолова, это движение плеча к щеке и неуверенные слова Эльги Борисовны «все пройдет» неприятно и остро ожгли Сергея, и он сказал вполголоса:

— Что бы ни было, Федор Феодосьевич, я бы боролся... Здесь какая-то ерунда и ошибка.

Он произнес это, злясь на себя за чужие, ненужно бодряческие слова, за то, что ничем не мог помочь и еще не мог полностью осознать все. Он знал только одно — была открытая и жестокая несправедливость в отношении безобидно тихой семьи Мукомоловых, всегда связанной в его памяти с именем Витьки. И, сказав об ошибке, он верил, что это не может быть не ошибкой.

— Я не такими представлял космополитов, как вы, Федор Феодосьевич,— добавил он.— Ерунда ведь это.

— И на этом спасибо, Сережа,— пробормотал Мукомолов.

Но он не отошел, не повернулся от окна, все сильнее сцепливая за спиной пальцы. Эльга Борисовна, опустив глаза, трогала морщинки скатерти на углу стола, Константин ложечкой рисовал вензеля по блюдечку.

Молчали. Они поняли, что им нужно уходить.

— Спокойной ночи, Федор Феодосьевич.

— Спокойной ночи, Эльга Борисовна.

Когда несколько минут спустя они поднялись на второй этаж в комнату Константина, Сергей упал в кресло, вздохнул через ноздри и грубо выругался; Константин извлек откуда-то из недр буфета две бутылки пива, заговорил с усмешкой:

— Н-да, успокоили, называется, старика... Ему наши жалости — до лампочки. Нет, у нас не соскучишься! — И он поставил бутылки на стол, отчаянно щелкнул пальцами.— Все равно жизнь продолжается. Выпьем, Сережа? Остались две последние. Из энзэ. Остатки студенческой роскоши.

— Давай выпьем. Что происходит, Костька?

— Обычный перегиб палки! Подожди. А что от Нины? Письма, телеграммы? Мне хотелось бы ее сейчас увидеть. Улыбка женщины успокаивает. А, чушь говорю, из какой-то оперетты.

— Нина на Урале, Костька.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В конце июня Сергей шел один из института к метро.

В глубине узких заросших переулков особенно чувствовался летний вечер с жарковатым запахом пыли.

Он шел мимо высокого забора, над которым в зеленеющем небе висел среди верхушек лип острый, как волосок, молодой месяц; доносились из-за деревьев крики, удары мяча задержавшейся волейбольной игры. Возле одного крыльца вспыхивал огонек, темнели силуэты: девушка в белых босоножках сидела на раме прислоненного к перилам велосипеда, парень, обнимая ее, зажигал и гасил ручной фонарик; девушка взглянула на Сергея, помотала ногой, отвернулась с улыбкой.

Ему некуда было торопиться. Он любил в поздние сумерки бродить по москворецким переулкам.

Он вышел к метро, долго стоял перед витриной «Вечерки», потом долго читал объявления на афишной будке: не хотелось домой, не хотелось спускаться в метро, в сквозняковый подземный воздух, уходить сейчас от этих тихих летних сумерек, от пыльного заката, угасающего за площадью.

В институте было собрание перед каникулами и практикой, длинная речь директора, студенческий капустник, танцы, буфет, дешевые бутерброды, суета, разговоры. Он устал, и после разговоров, и после духоты институтского зала было приятно ощущать будоражащий воздух вечера, и была свобода и совсем неожиданное одиночество. Он испытывал неясное удовлетворение — все кончилось, цель достигнута, экзамены сданы. «А дальше? А дальше что? Летняя практика на шахтах? Да, практика. А дальше? А Нина? Когда же я ее увижу?»

Он знал, что скоро увидит ее.

И ему хотелось побыть здесь, близ метро, читать заголовки газет вперемежку со свежими афишами: об испытании американцами атомной бомбы на островах Тихого океана, о солдатских сборах западногерманского «Стального шлема», о начавшихся концертах Московской филармонии, о летних гастролях Аркадия Райкина в саду «Эрмитаж» — заголовки газет кричали, рекламы концертов успокаивали, возвращали к жизни обычной, мирной. К этому теплому вечеру лета, к прозрачному умиротворению, покою во всем.

Нина должна была приехать в начале июля. Он знал, что скоро ее увидит.

В конце марта ранним утром он проводил Нину до такси и, не стесняясь шофера, поцеловал ее.

— Это вообще какая-то глупость: ты должна уезжать каждый год? И всегда к черту на кулички — Урал, Сибирь, Бет-Пак-Дала.

— На вокзал не провожай. За минуту на вокзале можно возненавидеть друг друга. В Бет-Пак-Далу еду первый раз — ты это знаешь. После Урала заеду туда на неделю. Меня посылают. Вот и все.

— Кажется, твой муж там? — спросил Сергей излишне спокойно.

— Его снимают и переводят.

В уголках ее губ проступили морщинки, и эти морщинки, впервые увиденные им, были сейчас неприятны ему, но он ответил с нежностью:

— Мне не важно это. Я жду тебя, Нина. Счастливо, в общем.

Когда она поцеловала его, села в такси и машина, завывая мотором, свернула за угол, улица стала неправдоподобно пустынной, серой, на подсыхающих мостовых стояла ранняя мартовская тишина. В этой тишине белым, усталым за ночь светом горели фонари, и далеко на вокзалах перекликались гудки паровозов. Он представил: где-то на окраинах Москвы начиналось полное утро, мокрые от тумана поезда пришли на рассвете, ожидая, шипели на путях; и крыши вагонов, и платформы холодны, влажны по-весеннему.

И он представил, как она вошла в теплое купе вагона Москва — Свердловск, уже вся отдалившись от него, от прошедшей ночи, когда они оба ни часу не спали,— и безнадежно опустошенный зашагал по гулкому тротуару Ордынки.

«Его снимают и переводят». Раз — прошлой осенью — муж ее прислал непонятную срочную телеграмму, состоявшую из трех слов: «Поздравь счастливой охотой»,— и Нина, прочитав вслух ее и обратный адрес «Почтовое отделение Жумбек»,— сказала:

— Значит, у него не ладится с экспедицией. Тогда — страшная, истребительная охота. А потом плов и водка... Я ненавидела эту охоту. Но он там полный хозяин и это ценит больше всего. Набрал себе в экспедицию каких-то головорезов. А ведь, знаешь, он способный геолог, только разбросанный, несдержанный человек.

Он молчал, делая вид, что это не касается его.

Три года продолжалась их связь, и он хорошо знал Нину, но порой она казалась старше, опытнее его, и он чувствовал едва заметную настороженность по ее чересчур внимательному взгляду в упор; по тому, как иногда звонила вечером из геологического управления, робко объясняя усталым голосом, что задержится сегодня и нет смысла ему приходить, только не нужно обижаться; по тому, как, идя с ним по улице, она задерживала глаза на лицах детей, мальчиков — и он видел, как становилось беззащитно-нежным ее лицо.

Однажды он спросил ее:

— Что с тобой, Нина?

— Ты действительно меня любишь? Ты никого не сможешь любить так, как меня?

— Я люблю тебя. Я не представляю, что бы со мной было, если бы я не встретил тебя тогда. Я прихожу к тебе и забываю все.

— И только-то, Сережа?

— Нина, мне даже приятно, когда ты молчишь. Наверное, такое бывает... к жене.

— И ты ни разу не сомневался, Сережа?

— В чем?

— Ну, в том, что я нужна тебе? Именно я...

— Ты спрашиваешь это?

Поднявшись на тахте, чуть наклонясь вбок, подобрав ноги, она пальцем кругообразно водила по стеклу звонко стучащего на тумбочке будильника и наконец сказала полусонным голосом:

— Как-то не так у нас, Сережа.

— Что же не так? — спросил он.

— Пойми меня только правильно, я никогда не говорила об этом,— начала она с неуверенностью.— Нам нужно что-то делать, Сережа, что-то решать окончательно. Меня иногда унижает... вот это... то, что между нами три года уже. Я сама себе кажусь седьмым днем недели. Я хочу, чтобы ты понял меня... Я устала жить как на перекрестке, Сережа.

Он понял, о чем говорила она, и понял, что никогда серьезно не задумывался над этим. Он привык к тем отношениям, которые сложились между ними за эти годы. Нина сказала:

— Сережа, я иногда думаю, что тебе просто так удобно: приходить ко мне, когда тебе нужно. А я уже так не могу.

В то раннее мартовское утро, когда он провожал Нину в экспедицию, когда она сказала, что ненавидит последние минуты на вокзале, Сергей возвращался с чувством внезапной и мучительной пустоты, он сознавал: все, что было связано с Ниной, должно быть решено им, а не ею.

Сергей вошел в вестибюль метро, постоял в очереди у кассы.

Впереди тоненькая, с выгоревшими волосами девушка звенела мелочью на вытянутой ладошке, и паренек в тен-

ниске отсчитывал, застенчиво перебирал деньги, отсчитал и просунулся к кассе:

— Два билета, пожалуйста.

Лето в полную силу чувствовалось и под землей: рокот эскалатора, летящий сквозняк, пестрые платья, белые брюки, панамы, спортивные майки, молодые лица, кофейно покрытые загаром,— все напоминало о золотистом песке дачных пляжей, о водной станции, накаленной солнцем, о взмахах весел, прохладном дуновении свежести по реке.

Эскалатор равномерно опускал Сергея, и он наслаждался механической плавностью движения.

Он стоял рядом с тоненькой девушкой: у нее были теплые, без блеска глаза, с нижней ступеньки она неподвижно смотрела на парня в тенниске, а он, облокотившись на поручень, смотрел на нее таким же долгим, размягченным взглядом, медленно краснея.

И Сергей невольно отодвинулся, как бы не замечая их робкой близости, которой они еще стеснялись: им, видимо, было по восемнадцати...

Полз, стрекотал эскалатор, сзади шуршал «Вечеркой», по-домашнему зевал в газету дачный мужчина в соломенной шляпе и, зевая, толкал в ноги Сергея сеткой, набитой консервными банками; спеша подымались, плыли навстречу, перемещались лица на соседнем эскалаторе, веяло струей подземной прохлады, и Сергей думал: «Им по восемнадцати, а мне уже двадцать пять...»

— Простите, молодой человек! Вы что, не спешите?

Тугая сетка, набитая консервными банками, жестко нажала в бок, прошуршала, задев его, соломенная шляпа, и Сергей посторонился, навалясь на поручни. И в ту же секунду что-то знакомое, светлое мелькнуло среди лиц на соседнем эскалаторе — он не ясно увидел, а почувствовал это знакомое, мелькнувшее там,— обернулся. Но тут ступеньки эскалатора ушли из-под ног, кончились, и силой движения вниз его толкнуло на каменный пол.

Вырвавшись, он протиснулся сквозь хаос бегущих от перрона к соседнему эскалатору толп, еще не совсем веря, скользя глазами по быстро подымающемуся потоку людей на ступенях, увидел удаляющийся вверх белый плащик, повернутое в профиль загорелое лицо, рванулся к перилам.

— Нина!..

«Она вернулась?!»

Он крикнул, она не услышала его — эскалатор заглушил голос,— она только сняла серенький берет, тряхнула головой — волосы рассыпались по плечам. И улыбнулась стоявшему слева человеку в кожаной куртке — была видна спина его, прямая шея. Он склонился к ней, и Сергей успел заметить незнакомое, дочерна выдубленное солнцем большое лицо, крупный и твердый подбородок... И Нина и лицо это поплыли вверх, смешались в сплошном черно-белом потоке.

Сергей, с двух сторон стиснутый текущими к эскалатору людьми, уже чувствовал, что не мог обмануться, хотя увидел их так коротко, нереально, как будто их и не было.

— Гражданин, не мешайте!

— Вы что... заснули? Растопырился!

Его толкали к эскалатору, его повлекло, как в водовороте. Он плечами попытался высвободиться из этой потянувшей его вперед тесноты, сделал несколько шагов вперед, и тугой людской поток понес его за собой на ползущие вверх ступени, и он стал подыматься, соображая: «Кто это, ее муж? Это он? Она вернулась с ним?..»

В вестибюле он сбежал с эскалатора, вглядываясь в толпу, в движущиеся лица, но здесь их не было. Он вышел из метро, торопливо достал сигареты, оглядываясь, сдерживая сбившееся дыхание. Площадь кипела легковыми машинами, переполненными троллейбусами, чернеющими около остановок пешеходами, неоновый свет лился на асфальт, на головы людей.

И он увидел их. Они ждали на переходе через площадь, пропуская вереницу машин,— Нина без берета, в коротком плащике, широкоплечий, даже грузный, человек в куртке, держа чемодан, уверенно охватив ее плечо, что-то говорил ей, а она чуть-чуть кивала.

«Значит, она вернулась с ним? Но она дала телеграмму: «Выезжаю днями»... Почему она дала неточную телеграмму? Значит, он вернулся?..»

Он уже твердо знал, что этот человек с дочерна загорелым лицом — ее муж, что она вернулась из экспедиции не одна. Он теперь увидел его и против желания чувствовал, что грубовато-резкая внешность этого незнакомого человека не вызывала в нем неприязни, и первое его неосознанное решение — подойти сейчас к Нине — мгновенно показалось ему непростительным мальчишеством.

Вереница машин пронеслась, и он видел, как они перешли площадь, как человек в куртке поддерживал Нину под локоть, как в такт шагам волновался ее плащик, потерялся в сумраке вечера на той стороне площади.

Только тогда он двинулся по улице, и словно бы из пелены доходили до него гудки автомобилей, шум троллейбуса, кипение вечернего города, и возникала мысль, что вот здесь все кончилось: неужели три года он подымался по лестнице, счастливо торопился, затем с размаху открыл последнюю дверь, а за ней — провал, мертвенная пустота?..

«Нет! Не может быть! Не может быть!..»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Я, ей-богу, умею держать утюг в руках, я не такой уж негодный парень, Асенька. И не пижон, поверьте. Наглаживал себе брюки с юных лет, научился этому мастерству в совершенстве.

— Ну что вы врете, Костя! — сказала Ася строго.— Ясно по вашим брюкам: вы их на ночь кладете под матрас. Не пускайте пыль в глаза. Вот пепельница. Можете сидеть, и курить, и наблюдать молча. Вы поняли?

Было десять часов вечера.

В комнате тихо, по-домашнему пахло снежной свежестью выглаженного белья, белейшей стопкой сложенного на краю стола. Ася в ситцевом сарафанчике, в тапочках на босу ногу — смуглые плечи обнажены — послюнила палец, осторожно потрогала зашипевший на подставке утюг, помотала пальцами, стала гладить, от старательности высунув кончик языка; лицо озабоченное, капельки пота выступили над верхней губой.

— Ах, Ася, как вы жестоки ко мне! Ни в чем не доверяете. Вы смотрите на меня как на не приспособленного ни к чему балбеса. Прошу вас, не надо.

Константин ходил вокруг стола, смешливо косил брови, говорил жалобно, полусерьезно, однако не пытаясь, как обычно, вызвать у нее улыбку, смотрел на ее разгоряченное лицо, видел дрожащие росинки пота на верхней губе, втайне наслаждаясь нежностью к этим чистым капелькам, и легкостью ее жестов — она не прогоняла его, как прежде, а снисходительно разрешала быть здесь, и он был рад этому.

— Ася, ей-богу, очень жарко сегодня, и еще ваш

утюг... Дайте же мне. Я помогу. Я умру от безделья.

— Да, давайте говорить о погоде. Какой душный вечер! — смеясь, сказала Ася и сдунула волосы со щеки.— Действительно: просто какая-то Сахара! Я, например, чувствую себя бедуинкой.

Она постриглась недавно, и как-то незнакомо, без кос, обнажилась ее шея, от этого Ася казалась выше ростом, и было что-то новое, взрослое в ее плечах, спине, голых руках, даже в интонации голоса.

Ася вопросительно посмотрела на Константина, опять сдунула волосы со щеки — наверно, не привыкла к новой прическе, короткие волосы мешали ей,— потом спросила с легкой насмешкой:

— Лучше скажите, как вы там сдали свои горные машины? Всякие свои штреки, копры? Наверно, было бормотание, а не ответ?

— Крупно плавал, но потом прибило к берегу. Сдал. Не будем касаться грустных воспоминаний.

— Теперь, конечно, на практику?

— Ох, придется, Ася.

— А я так похудела за экзамены, даже тапочки сваливаются. Чертовски трудный был первый курс. В медицинском вообще трудно учиться. Впрочем, это не жалобы, а факт. Я довольна.

И Ася набрала в рот воды из стакана, надув щеки, брызнула на белье, спросила неожиданно:

— Вы, кажется, хотели удирать из института?

— Была чудовищная попытка, Ася.

— «Попытка»! Вы просто патологический тип,— сказала Ася с осуждением и блеснула на Константина глазами.— Сами не знаете, чего хотите! Ну чего вы хотите вообще?

— Ася, есть вещи, которые долго объяснять. Просто у меня сохранились животные признаки. Иногда сам себя не понимаю. Потом — я ведь чуточку старше вас.

— Не козыряйте старостью. Как можно не понимать себя? Просто не Костя, а Гамлет, принц датский!

— Ася!

— Тише, не кричите, как в гараже, папа спит! Будете кричать тут, я вас прогоню немедленно.

Он увидел на спинке стула пижаму Николая Григорьевича и понял — его нет дома, она обманывала.

— Ася, я шепотом...

— Ну?

— Ася...

— Я знаю, что я Ася. Уже девятнадцать лет знаю. Ну что вы, честное слово! — Она настороженно поглядела на него.

— Ася... Я... буду брызгать вам... водой. Клянусь, сумею, вы будете довольны. Вот через неделю уеду на практику, и такого усердного дурака не найдете, который будет вам брызгать водой. Я сделаю это талантливо.

Константин с дурашливой и умоляющей гримасой потянулся к стакану, но тотчас Ася проворно повернулась к нему, выхватила стакан, гладкое стекло скользнуло в ее пальцах, и Константин торопливым движением подхватил стакан на лету, расплескивая воду на ее сарафанчик. От неожиданности Ася ахнула, поспешно двумя руками отряхивая намокший подол, взглянула быстро — чернота глаз будто от головы до ног уничтожающе перечеркнула Константина.

— Терпеть не могу, когда мужчина лезет в женские дела! Ну что с вами делать? Облили меня талантливо, вот что! Уходите сейчас же, вы мне не нужны со своей помощью!

Она наклонилась, сдвинув колени, начала выжимать намокший подол, лицо стало сердитым, а когда она наклонилась, Константин увидел трогательную нежную округлость ее груди в разрезе сарафанчика и сейчас же отвел глаза, растерянный, боясь, как бы она не перехватила его случайный взгляд, боясь ее стыда и гнева. Ему хотелось поцеловать ее в худенькую склоненную шею.

— Ася, я сейчас на кухню... я сейчас воды...— пробормотал Константин, с неуклюжей осторожностью поставил стакан на стол и, не решаясь оглянуться на нее, почему-то на цыпочках подошел к раскрытому окну. В черноте двора сопело, хлюпало, шелестело, точно ломали веточки на кустах: сквозь световой конус сыпались капли дождя, свежего, обильного, летнего.

— Ася, я сейчас...— повторил он виновато.— Я сейчас...

И с решимостью подставил голову быстрым теплым струям, покрутил головой в этой льющейся сверху влаге, сдавленно говоря туда, в дождь, точно убеждая и казня себя:

— Мне на кухню... мне на кухню... О болван!

— Что вы там делаете? — крикнул Асин голос за его

спиной.— Купаетесь? Тогда идите в ванную! — И она, не сдержавшись, засмеялась.— У вас такой вид, будто вас из бочки с водой вынули! Возьмите мой зонтик!

Он, чувствуя на своем лице глупую улыбку, сказал:

— Ваш зонтик, Ася, нужен мне как рыбе галоши. Просто мне хочется набить себе физиономию, глупую, развратную физиономию. Не смейтесь, я себя знаю! Великолепно знаю!

— Что, что? — шепотом спросила Ася и, покраснев, машинально провела руками по влажному сарафану.— Что вы так смотрите? Вы совершенно мне гладить не даете. Вы что это сказали?

И она, вроде рассерженная его словами и тем, что он мешал ей, задернула на окне половину занавески, заявила уже полуснисходительно:

— Когда вы начинаете говорить, всегда что-нибудь ужасное ляпнете.

— Ася, я сам знаю, что я не ангел, но вы обо мне думаете очень уж плохо,— глухо сказал Константин.— Вы почему-то все что угодно можете мне говорить. А я ведь не мумия.

— Лжете, в глаза лжете! Вы сами какую-то глупость сказали!

Из темноты окна наносило плеск дождя, стук капель о подоконник, брызги летели на худенькие плечи Аси, они были неподвижны, она смотрела, замерев, только покусывала нижнюю губу,— и снова его охватило желание поцеловать ее в подбородок, в тонкую обнаженную шею.

И, боясь этого, боясь и себя и ее, он сделал веселое выражение, по-дурацки бодро, как показалось ему, выговорил:

— Я ухожу, Ася.

— Уходите! — сказала она.— Буду рада!

Когда несколько дней он не видел ее, ему тревожно было на душе, и он ждал спешащий стук Асиных каблуков по коридору, звук ее голоса заставлял его вздрагивать, он даже на слух определял, когда она набирала воду из крана — создавая на кухне хозяйственный шум, зачем-то отворачивая кран до отказа. Порой ему хотелось встретить Асю не дома, не в коридоре, а одну на улице, серьезно, отчаянно сказать ей: «Ася, если бы вы меня знали, все было бы иначе. Я могу быть другим...

Просто была война. Я могу все забыть... Я даже могу быть серьезным, только поверьте мне. Только поверьте».

И по вечерам, лежа на диване, он думал об этом: то, что она была моложе его на шесть лет, жила, думала иначе, чем он, не знала всего, что знал он, и то, что она была сестрой Сергея, очерчивало нечто непредолимое между ним и ею.

Он повторил отрывисто:

— Я ухожу, Ася... Вы только на меня не сердитесь.

— Уходите, пожалуйста! Я не задерживаю! Буду очень рада!

Он подошел к двери и, пересиливая себя, спросил грустно:

— Вам со своей холодностью легко жить на свете? Почему вы такая холодная, Ася?

— Холодная? Пусть я лед, снег, камень! Не читайте мне нотации. Лучше быть холодным, злым, чем легкомысленным! — заговорила Ася с непонятной мстительностью.— Вы себя достаточно показали! Терпеть не могу грязных людей!

Ее голос толкнул его в спину, и он не сказал ни слова, распахнул дверь и, торопясь, закрыл ее, вышел в коридор.

— Костя!

Он услышал, как сильным толчком раскрылась дверь, сразу же обернулся — в проеме двери стояла Ася, вся напряженная, глаза встревоженно увеличены, и он видел одни глаза, огромные, блестящие, сплошной чернотой.

— Костя, Костя,— прошептала она.— Подождите! Идите сюда, в комнату, в комнату!.. Костя, Костя!

И втянула его в комнату, схватив за руку, дрожь сухих пальцев передалась ему, он непроизвольно порывисто сжал их с нерассчитанной нежностью, и внезапно она испуганно выдернула кисть и стала перед ним, почти касаясь его груди, опустив голову,— он чувствовал чистый запах ее волос,— теребила на узенькой талии поясок сарафанчика, как бы опасаясь посмотреть ему в лицо. Потом тихонько отошла от Константина в угол комнаты, оттуда поглядела пристальным взглядом, вдруг, зажмурясь, ладонью шлепнула себя по одной щеке, затем по другой, говоря:

— Вот тебе, вот тебе!

— Ася...— только произнес Константин.

— Костя, вы ничего не спрашивайте. Хорошо? Хорошо? Дайте слово ничего не спрашивать! — ожесточенно, едва не плача, проговорила Ася и топнула ногой.— Ах, какая я дура! Сама себя ненавижу! Это ужасно! Мне надо было мужчиной родиться, брюки носить! Просто ошиблась природа... Ненавижу себя!

И резко отвернулась, беспомощно и косо глядя на темное, сыплющее дождем окно. Константин на цыпочках приблизился к ней, помолчав, сказал шепотом:

— Если бы вы были мужчиной, я бы умер, Ася...

— Что? — с ужасом спросила она.— Что?

— Я бы умер, Ася...

В двенадцатом часу вечера пришел Сергей.

Во второй комнате молча сбросил намокшие ботинки, надел старые тапочки и, выйдя к Асе и Константину, спросил угрюмо:

— Где отец? Опять торчит в своей бухгалтерии? Великий бухгалтер наших дней! — добавил он раздраженно.— У самого сердце ни к черту, а сидит до двенадцати часов. Наверно, думает, без его подсчетов весь мир перевернется. Государственный деятель!

— Не смей так говорить об отце! — сказала Ася сердито.— Ты очень грубо говоришь об отце. И грубо разговариваешь с ним всегда! В тебе жестокость какая-то! Прекрати, пожалуйста, эти глупости!

Морщась, Сергей лег на диван, закрыл глаза; лицо было осунувшимся, отчетливо проступала морщинка на переносице, и Константин спросил медлительно:

— Что у тебя, Серега?

— Так. Ничего. Дождь идет. Ладно. Я спать хочу. Пошли все к черту!

Он чуть покривился, подбил под голову маленькую диванную подушку, уже стараясь не слушать ни голоса Константина, ни Аси, ни плеска дождя, усилием воли заставляя себя заснуть.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В его сознание, замутненное сном, тупо ворвалось мгновенно возникшее движение — как будто рев танкового мотора за окном, как будто голоса людей, шаги, дребезжание стекол над самым ухом,— и, ничего не понимая, он открыл глаза, вскочил на диване.

Темнота недвижно стояла в комнате, глухо, с сопени-

ем, с бульканьем хлестал дождь, звенел по стеклам, бил по железному козырьку парадного.

«Фу ты черт! — подумал он облегченно.— Откуда танки? Что за чушь лезет в голову! Который час? Рассветает?»

Он потер кисть, замлевшую от неудобного лежания во сне, потянулся за часами на столе, но тотчас отдернул руку, словно ударили по ней: сильное дребезжание стекол над головой заставило его разом повернуться к темному окну, плотно слившемуся со стенами.

— Кто там? — крикнул Сергей.

— Быстро, откройте!

Кто-то стучал, по-чужому настойчиво, было слышно хлюпание ног по лужам во дворе, но странно: в коридоре не звонил звонок, чужой голос не повторил «откройте» — все стихло. Сергей соскочил с дивана, на бегу зажег электричество и, открывая дверь в коридор, на какую-то долю секунды замедлил поворот ключа — внезапно пронеслась мысль о воровской банде «Черная кошка»: ходили слухи, что она появилась в Москве. Но сейчас же, почему-то сомневаясь в этом, вышел в коридор, и здесь, перед дверью, переспросил громко и недовольно:

— Кто там? К кому?

— Откройте! Проверка документов!

— Попытаюсь.

Он щелкнул замком, отступил в сторону.

Ворвалась дождевая свежесть, облила холодом грудь Сергея. Шаги по ступеням, топот ног, приглушенный голос: «Мамонтов, вперед!» — и, еще не увидев людей, их лиц, Сергей понял, что это не то, о чем подумал он. Слепящий свет карманного фонарика полоснул его по лицу, по глазам, скакнул вперед, в коридор, выхватил мокрый воротник плаща, погон, лакированный козырек фуражки мягко прошедшего вперед человека, и другой человек, остановившийся возле Сергея, посветил фонариком, спросил:

— Вы кто? Фамилия?

— Вам кого нужно? Вы кто? Из милиции? Уберите фонарик, что вы светите мне в лицо? — нахмурясь, сказал Сергей, невольно подумав, что это могли прийти за Быковым, и повторил: — К кому?

— Я спрашиваю вашу фамилию! — властно произнес голос.— Фамилия?

— Положим, Вохминцев.

— Идите вперед, Вохминцев. Зажгите свет в коридоре. Вперед, вперед. В комнату, гражданин Вохминцев! — скомандовал начальственный голос, и до Сергея ясно донеслись из комнаты тревожные голоса Аси, отца, и он увидел: вспыхнул свет в коридоре, в комнате, к настежь раскрытой двери, стуча каблуками, подошел, сделал поворот кругом, застыл с белобровым негородским лицом солдат в шинели, по-уставному поставил винтовку у ног.

Увидев все это, он вошел в комнату, еще полностью не сознавая, убеждая себя, что происходит, произошла страшная ошибка, невероятная обжигающая нелепость, и, еще не веря в это, остановился, вздрогнув от голоса,— низенького роста сухощавый капитан в плаще с погонами государственной безопасности (на погонах блестели капли дождя) держал в желтых пальцах какую-то бумагу, говорил спокойно, тусклым, гриппозным голосом:

— Вохминцев Николай Григорьевич? Вот ордер на арест. Собирайтесь.

Отец в нижнем белье, только пиджак накинут на плечи,— все это делало его жалким, незащищенным, лицо болезненно-небритое, будто в одну минуту постаревшее на десять лет,— мелко подрагивая бровями, даже не взглянул на бумагу, взгляд перескочил через голову капитана, встретился с глазами Сергея и непонимающе погас. Он мелкими глотками два раза втянул воздух, согнулся и сразу ставшей незнакомой, старческой походкой, не говоря ни слова, вышел в другую комнату. Капитан двинулся за ним, оттуда, из второй комнаты, донесся его носовой голос:

— Быстро, гражданин Вохминцев. Прошу быстро!

Было видно в открытую дверь, как он, оставляя следы грязи на полу, прошел к письменному столу, вприщур окинул стол, стены, потолок, неторопливо набрал номер телефона, сказал в трубку негромко:

— Да. Мамонтов. Мы здесь. Да. Слушаюсь. Хорошо. Слушаюсь.

В комнату из коридора испуганно выдвинулась толстая, укутанная в платок дворничиха Фатыма — понятая, как догадался Сергей. Второй офицер, старший лейтенант, ручным фонариком указал ей на стул, Фатыма села, робко озираясь. Старший лейтенант, с круглым деревенским лицом, тонкогубый, со светлыми степными глазами, глядел на Сергея в упор, расставив ноги.

«Отец вернулся поздно ночью. Я не слышал, когда он вернулся»,— мелькнуло у Сергея, и приглушенные голоса в коридоре, и чужие голоса в квартире, и Фатыма, и следы на полу, и разнесшийся запах армейских сапог, мокрых плащей, наклоненная к телефону худая и чужая шея низенького капитана, и его слова, произнесенные в трубку, и эта вся грубо заработавшая машина вдруг вызвали в нем бессилие, злость и страх перед страшным, неотвратимым, беспощадно что-то ломающим в жизни его, отца, Аси. И в то же время не исчезала мысль о том, что все это нелепое недоразумение, что сейчас капитан, разговаривавший по телефону, положит трубку, извинится, объявит, что произошла ошибка... Но капитан положил трубку, потом, внимательно разглядывая стол, бумаги на нем, скомандовал, не поворачивая головы:

— Поторопитесь, поторопитесь, гражданин Вохминцев! Быстро! Прошу.

И Сергей бросился в другую комнату, туда, к отцу, которого торопил, подхлестывал этот чужой голос. Отец не спеша одевался, но никогда так неловко, угловато не двигались его локти, его руки искали и сомневались, словно бы вспоминали те движения, которые нужны были, когда человек одевается. И то, что он стал повязывать галстук, как всегда, задрав подбородок, опустив веки,— и этот задранный подбородок, опущенные веки бросились в глаза Сергею своей жалкой, унижающей ненужностью. И его снежно-седые виски, крепко сжатые губы, небритые щеки показались Сергею такими родными, такими своими, что, задохнувшись, он выговорил хрипло:

— Отец...

— Что, сын? — спросил отец, и непонятно затеплились его глаза. И повторил: — Что, сын?

Ася лежала на постели, судорожно натягивая одеяло до подбородка, в огромных блестящих зрачках ее плавал ужас и в шевелящихся бледных губах был тоже ужас. Она повторяла, вздрагивая:

— Папа, папа, папа... Что ж это такое? Папа...

— Э-э, интеллихенция, халстуки завязывает. Хватит! — раздался сзади приказывающий голос — старший лейтенант с деревенским лицом, со светлым пронзительным взглядом проследовал к отцу, выхватил из его рук галстук, швырнул на стул.— А ну кончай, давай выходи. Давай прощайся.

— Ваша работа не исключает вежливости,— сухо сказал отец.

— Папа! — вскрикнула Ася, дрожа, вся потянувшись к отцу с постели так, что одеяло сползло, открыло голые руки, и отец с каким-то новым, незащищенным выражением наклонился к ней, поцеловал в лоб, сказал едва слышно:

— До свидания, дочь... Обо мне плохого не думай... Прости... Вот оставляю вас одних...

А когда обернулся к Сергею в своем старом, потертом пиджаке, не успев застегнуть воротник сорочки — на сорочке нелепо блестела запонка,— когда в глазах его будто толкнулась виноватая улыбка, Сергей сильно обнял отца, ткнулся виском в колючую щеку, выговорил с ожесточением и надеждой:

— Отец, это ошибка! Все выяснится. Ошибка, я уверен — ошибка, я уверен, уверен, отец....

— Знаю, ты не любил меня, сын,— серым голосом проговорил отец.— Я для тебя был чужой... Почти чужой...

И отец как-то странно, болезненно, обняв Сергея, беспомощно поглядел на с ужасом прижавшую ко рту одеяло Асю, на стены комнаты, на письменный стол, проговорил:

— Живите как надо.

— Давай, пошли! — прервал старший лейтенант, нетерпеливо кивая на дверь, и отец быстро пошел и только задержался на пороге, на секунду дрогнув плечами, точно еще хотел повернуться, и не повернулся, исчез в коридоре, в его сумрачном колодце.

Все было унижающим, противоестественно оголенным в присутствии этих людей в защитных плащах: и прощание отца, слова его, и то, что Сергей, глотая спазму, застрявшую в горле, не крикнул в эту минуту ему: «До свидания, папа!..»

— Ася...— зачем-то тихо позвал Сергей и не договорил.

В это время низенький капитан, аккуратно расстегивая плащ, подошел к книжному шкафу, растворил дверцы, вынул книгу, потряс, полистал ее, бросил на стул, гриппозно хлюпнув остреньким носом, достал другую... Ася, бледная, комкая на груди одеяло, со страхом смотрела на книжный шкаф, на листающего без стеснения

страницы капитана, и Сергей заметил: бескровные губы, брови ее вдруг задрожали, она придавила одеяло к подбородку и сжалась, застонала, подавляя рыдания.

— Ася... я прошу тебя... Оденься,— глухим голосом проговорил Сергей.

И в тот момент, когда в другой комнате он сдернул с вешалки летнее Асино пальто, зычный окрик остановил его:

— Ку-уда?

Старший лейтенант, прочно загородив дорогу, рванул из его рук Асино пальто, торопливо начал ощупывать карманы, подкладку, и Сергей почувствовал чужую силу, чужие пальцы, хватающие карманы, и внезапно, стиснув зубы, выговорил:

— Уберите руки!

Старший лейтенант изо всей силы держал пальто, Сергей видел, как упруго набухли желваки, стали мучными скулы старшего лейтенанта, твердо впились ему в лицо светлые глаза. Со сжавшей его злобой Сергей упорно смотрел в побелевшие, жесткие, готовые на все глаза, и в его сознании скользнула мысль, что он никогда еще не видел такое мучное, видимо, жившее ночной жизнью лицо. Сергей произнес с трудом:

— Отпустите пальто! Я пока не арестован!

— Сидеть! В комнате сидеть! Никуда не выходить! Вот здесь сидеть! — яростным шепотом крикнул старший лейтенант.— Ясно?

— Князев! — окликнул капитан невнятно.

Видимо, тот вынужден был сдержаться: не отводя от Сергея белого взгляда, отпустил пальто, узловатой кистью привычно провел по боку, где под плащом оттопыривалось, мотнул головой.

— А ну на место! Скажи-жи, быстряк!

Потом с ощущением бессилия Сергей сидел на диване, чувствовал: рядом ознобно вздрагивала Ася, укутанная в пальто, полулежала, прислонясь затылком к стене, мертво вцепившись пальцами в его руку. Он не знал уже, сколько времени шелестели страницы книг, выбрасываемых из шкафа, сколько времени ходили по комнатам чужие люди, упорно отодвигая шкафы от стен, заглядывая в щели; не знал, зачем трясли книги над полом, ища в них что-то.

Ему хотелось курить, непреодолимо хотелось втянуть в себя горький ожигающий дым, помнил, что сигареты

в правом кармане пиджака, оставленного в другой комнате на спинке стула перед диваном, но не вставал, не желая выказать волнения, которое унизило бы его, лишь успокаивающе стискивал ледяные пальцы Аси и слегка отпускал, гладил их.

А они делали, видимо, привычную свою работу, не снимая плащей, фуражек, не разговаривая. Капитан сидел на краешке стула, по-птичьему согнувшись, опустив острый носик, желтыми, прокуренными пальцами шевелил страницы книг, тряс их, кидал на пол, изредка лез за скомканным платком, трубно сморкался, промокал носик, вытирал губы, глаза, покраснев, гриппозно слезились. И Сергею казалось, что его желтые пальцы оставляют следы гриппа на книгах, на стекле шкафа, на вещах, к которым он прикасался.

Дождь плескал по асфальту двора, и было чудовищно странно, что в окне, как всегда, жидко светился дворовый фонарь, трясущийся от дождевых струй.

Старший лейтенант, широко, по-деревенски хозяйственно раздвинув ноги в хромовых, слегка собранных в гармошку сапогах, обрызганных грязью, в сдвинутой на затылок фуражке, сидел за письменным столом, порой настороженно косясь на Сергея, читал бумаги отца, листал их, послюнив палец; с излишним стуком выдвигал ящики, в которых лежали письма, документы, ордена, конспекты Сергея, недоверчиво нахмуриваясь, выкладывал ордена, документы, письма перед собой. И были ненавистны Сергею его цепкие руки, плоская спина, плоская широкая шея, светлые степные волосы, заляпанные сапоги, собранные щеголеватой гармошкой. Старший лейтенант тщательно и подробно просмотрел документы, сложил их стопкой отдельно, хмыкнув, достал из ящика какую-то бумагу.

— А ну... иди-ка сюда!

С усмешкой держа в одной руке исписанный листок бумаги, он поднял другую руку, из-за плеча поманил Сергея.

— А ну-ка сюда иди! Это твое? — И локтем толкнул документы, ордена в сторону, установил локоть на столе, читая про себя, шевеля губами.— Твое, а?

По медлительности, нехорошей усмешке его, с какой он мог глядеть на непристойность, по мелкому почерку на тетрадном листке бумаги Сергей сейчас же догадался, что, очевидно, у него письмо Нины, и, испытывая жела-

ние встать, выхватить письмо из этой цепкой узловатой кисти, сидел на диване, стиснув зубы,— заболело в висках.

— А? Как же? Любовью занимаешься? Кто она? — различил он негромкий голос.— А?

Сергей проговорил:

— Прошу не тыкать! Кто она — не ваше дело! Идите руки вымойте с мылом, протрите спиртом, прежде чем касаться чужих писем!

— Как не стыдно! Как вам не стыдно! — сдерживая плач, крикнула Ася, вонзив пальцы в ладонь Сергея.— Вы ведь советский человек!

— Встать!

— Вот как? А дальше что? — спросил Сергей и, как в темной дымке, встал, смутно видя перед собой посветлевшие добела глаза, готовый при первом движении этого человека сделать что-то страшное, готовый ударить его, уже не сознавая последствий, уже не думая, чем это кончится. И он снова спросил: — Ну? Дальше что?

— Князев! — простуженным голосом позвал капитан и поднес платок ко рту, гриппозно чихнул, утомленно, с выражением страдания склонился над книгой.

— Освободить диван! Что тут в диване? — тише, подчеркивая в голосе злую вежливость, проговорил старший лейтенант.— Ну-ка, посмотрим!..

И Ася, не понимая, пошатываясь, испуганно поднялась, прижимая к груди полу пальто, и старший лейтенант тотчас сдернул одеяло, простыню, отбросил ногой матрас, стал выкидывать из ящика пересыпанную нафталином зимнюю одежду. Потом выпрямился, обратил набрякшее краснотой широкое лицо и вдруг, даже с видом странного заискивания, сбоку заглянул в глаза Сергея.

— Так где же хранится троцкистская литература, а?

— Что?

— А ну оденьтесь-ка, покажите, где у вас сарай! Пройдемте,— неестественно улыбаясь, приказал старший лейтенант.

И когда Сергей прошел мимо неподвижно сидевшей с положенными на коленях руками Фатымы, мимо застывшего солдата в коридоре, когда толкнул дверь из парадного на улицу, старший лейтенант включил карманный фонарик, ободряя заискивающе-вежливо:

— Прошу, прошу...

Лил дождь, но темнота ночи поредела, в водянисто

посеревшем воздухе чувствовался близкий рассвет, проступали силуэты домов, мокрый асфальт, мокрые крыши. Из водосточных труб хлестали потоки воды, дождь глухо шумел в черных, едва различимых вдоль забора липах, когда шли к ним по лужам от крыльца, и затем мягко застучал, забарабанил над головой по толю сараев, после того как Сергей резко, с каким-то мстительным щелчком откинул мокрую холодную щеколду, и оба — он и старший лейтенант — вошли в горько пахнущую березовыми поленьями тьму.

— Вот наш сарай,— сказал Сергей.— Ищите!

Капли, просачиваясь сквозь дырявый толь, с тяжелым однообразным звуком падали в щепу.

Желтый луч фонарика пробежал по белым торцам поленьев, сложенных штабелем, скакнул вниз, вверх; вспыхнула влажная щепа на полу, изморосно замерцала отсыревшая стена за штабелем поленьев, свет прямым коридорчиком уперся в стену, настойчиво поискал по углам.

— А ну отбрасывайте поленья от стены! — скомандовал лейтенант.— В угол — дрова!

— Что-о? — спросил Сергей.— Дрова перекидывать? Хотите искать — перекидывайте! Нашли идиота! Ищите!

Старший лейтенант круто выругался, откинул несколько поленьев в угол, внезапно луч фонарика впился в пол возле заляпанных грязью сапог, Сергей увидел перед собой ртутно скользнувшие глаза, едкий табачный перегар коснулся губ.

— О себе не думаешь, ох, много болтаешь, парень. Ты институт кончаешь, Сергей... Видишь, имя даже твое знаю. Давай по-простому, я тоже воевал,— с неумелой мягкостью заговорил он.— О себе подумай, тебе институт закончить надо, инженером стать. А можешь его и не закончить... Я воевал, и ты воевал. Я коммунист, и ты коммунист. Жизнь свою не порть. Я в лагерях видел всяких. Где у отца троцкистская литература?

Сергей молчал; крупные капли шлепались в щепу, одна остро и неприятно попала ему за ворот, ледяным холодом поползла по спине. Он проговорил насмешливо:

— Вот здесь, за дровами, в подвале с подземным ходом. Ну ищи, откидывай дрова! Найдешь!

— Смеешься, Сергей?

— Плачу, а не смеюсь.

— Та-ак.

Старший лейтенант вплотную приблизил белеющее свое лицо к лицу Сергея, заговорил, тяжеловесно разделяя слова:

— Смотри... другими... слезами... умоешься.— И жестко возвысил голос: — А ну выходи из сарая!

В комнатах все носило следы чужого прикосновения — валялись книги на стульях, на диване, на полу; настежь были открыты дверцы буфета, книжного шкафа, шифоньера, выдвинуты ящики стола — все как будто насильственно сместилось, сдвинулось, зияло неопрятно обнаженным нутром.

Капитан, обтирая покрасневший носик, уже устало ссутулился за обеденным столом, писал что-то автоматической ручкой, слезящиеся глаза его на сером немолодом лице моргали страдальчески — он дышал ртом, лоб морщился, короткие брови изредка вздымались, как у человека, готового чихнуть и сдерживающего себя.

Перед ним на скатерти блестели на свету два обручальных кольца — отца и матери, хранимых почему-то отцом, наивно светились позолоченные старинные серьги матери, кажется, подаренные ей молодым Николаем Григорьевичем еще в годы нэпа, слева стопкой лежали телефонная книжка, документы, бумаги, старые письма.

— Есть ещё золотые вещи и драгоценности? — спросил капитан, обращаясь к Асе утомленно.

— Нет,— шепотом ответила Ася.— Нет, нет...

Капитан склонился над бумагой — светлая капелька собралась на кончике носа, звучно упала на бумагу. Он через силу сделал нахмуренное лицо, вместе с кашлем продолжительно высморкался — вся маленькая сухая фигурка заерзала, зашевелилась, скулы покраснели, и было жалко, неприятно видеть его старательно скрываемое смущение. По-прежнему хмурясь, он смял платок, сунул его в карман, сказал тихим голосом старшему лейтенанту:

— Кончайте.

Тот, упершись кулаками в стол, напружив плоскую шею, медлительно, вроде не слыша капитана, читал то, что было написано на бумаге, облизывал губы, думал сосредоточенно.

— Буфет,— наконец сказал он и показал бровями на буфет.— Входит в опись?

— Пожалуй.

Капитан опустил матового оттенка веки, взял ручку; терпеливо проследив за движением сухонькой кисти капитана, старший лейтенант, крепко ступая, вышел в другую комнату, споро собрал на письменном столе бумаги Сергея — записную книжку, письма,— вернулся, положил все это перед капитаном, сказал что-то коротко ему на ухо.

— Пожалуй,— ответил капитан, помедлил и маленькой желтой рукой стал складывать бумаги в кожаный портфель.

Он встал.

И Сергей понял, что, несмотря на свое звание, капитан этот тайно побаивается старшего лейтенанта, его наглой решительности и что вследствие этого старший лейтенант, несмотря на низшее свое звание, имеет бо̀льшую власть, что они оба, делая одно дело, остерегаются, не любят друг друга. И, поняв это, чувствуя злое отвращение к ним обоим, сказал:

— Вы взяли мою записную книжку, мои письма. Они не имеют никакого отношения к отцу.

Старший лейтенант поиграл желваками, глянул на ручные часы; капитан застегнул плащ, надвинул фуражку так, что выпукло выделился бугорок затылка, и первый последовал к двери, неся портфель.

— Выходи,— махнул пальцем старший лейтенант Фатыме, и она, чудилось, все время ареста и обыска дремавшая на стуле, в углу комнаты, взметнулась в полусне, заспешила, переваливаясь толстым телом, в коридор.

Выходя последним, старший лейтенант распрямил грудь, задержав воздух в легких, зорко прицелился зрачками на Сергея, затем проговорил обещающе:

— Еще встретимся, Сергей Николаевич.

И перешагнул порог, не закрыв двери.

Все было кончено. Даже в коридоре потушили свет. Все неожиданное и насильственное ушло с ними, исчезло вместе с затихшими шагами на крыльце. Все смолкло, только дверь еще была открыта в темноту коридора.

Сергей вскочил с дивана и так бешено, изо всей силы хлопнул дверью, что посыпалась от косяков штукатурка, зазвенели стекла в окнах. Он заходил по комнатам, наступая на книги, на разбросанную по полу бумагу, будто жадно искал выхода и не находил, потом бросился к окнам, распахнул рамы в серую муть утра, глотнул сырой воздух, как воду.

— Проветрить, проветрить! Проветрить, к чертовой матери! — говорил он.— Всё к чертовой матери! Ася, Ася, дай мне папиросы, у меня в кармане!.. Или есть у нас водка, есть водка? Что-нибудь выпить...— заговорил он срывающимся голосом, глотая воздух около окна.

Ася крикнула со слезами:

— Сергей, что с тобой?.. Сережа!

Она шарила в его пиджаке, висящем на стуле, не попадая в карманы; ее расширенные глаза, налитые ужасом, не отрывались от спины Сергея.

— Сережа, миленький...

Она приблизилась к нему, протягивая папиросы, стуча в нервном ознобе зубами.

— Сережа, миленький... Что же это? Как же теперь?

Горячий колючий комок унижения и бессилия застрял в горле, и он не мог проглотить этот комок, и слезы душили, не давали дышать, мешали ему улыбнуться Асе — губы были как каменные. Он потер горло, точно сдирая на нем что-то липкое, проговорил с усилием:

— Ничего... Я с тобой. Я буду с тобой...

И обнял ее за худенькие трясущиеся плечи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Не раздеваясь, уже в конце ночи он задремал на диване, неудобно прикорнув на боку, и в дреме не покидало его острое, тоскливое ощущение неудобства, какое-то беспокойство, как будто воровски спал на краю вокзальной лавки среди беззвучно кричащих вокруг людей.

— Сергей, Сережа!..

Он рывком сел на диване — и сразу почувствовал свинцовую тяжесть в болевшей голове.

Было утро, солнце висело над мокрыми крышами.

Ася, собравшись комочком, лежала на своей кровати, укрывшись не одеялом, а пальто, дышала часто, жалобно всхлипывая во сне; синие тени проступили в подглазье. И Сергей, вспомнив все, подумал, что она звала его во сне, что он очнулся от ее голоса, позвал шепотом:

— Ася!..

Она не ответила. И тотчас громкий стук в дверь повторился, и вместе с ним — громкий голос Константина в коридоре:

— Сергей, открой! Открой!

С тошнотворным отвращением к этому стуку Сергей встал, медленно повернул ключ, увидел на пороге Константина, заспанного, в расстегнутой на груди ковбойке, молча потянул из пачки сигарету, зажал ее зубами.

— Сережка! Отца? Ночью? — Константин обежал взглядом комнату со следами беспорядка — книги, бумаги еще валялись на полу.— Сережка... ночью взяли... отца? Я слышал возню — ни дьявола не понял! Что молчишь, т-ты?..

— Да,— сказал Сергей.— Не все ли равно когда.

— И Ася?..— Константин на цыпочках подошел к кровати, где, свернувшись калачиком, лежала она под пальто, наклонился с желанием помочь, прошептал: — Асенька...

Она на секунду посмотрела на него со страхом и повернула голову к стене, застонав, как от боли.

— Быков! — вдруг охрипшим голосом проговорил Константин.— Сволочь Быков! — крикнул он.

И рванул дверь, выскочил в коридор, и тут же Сергей услышал грохот его бега, бешеное хлопанье дверью в глубине квартиры и следом бросился за Константином в конец темного коридора, где была комната Быкова..

— Костя! Сто-ой!..

Он не успел догнать его — увидел в распахнутую дверь стол, белую скатерть, чайную посуду и куда-то в потолок обращенное страшное, налитое лицо Быкова. Константин, вцепившись в его шелковую пижаму, подняв его со стула, яростно тряс его так, что рыхло колыхалось короткое плотное тело, а тот, не отбиваясь, только толстыми складками съежив шею, багровый, вздымал голову к потолку, хрип вырывался из его трубкой вытянутых губ.

— Па-аскуда! Сволочь!.. Это ты... это ты, б... доносы строчишь? Ты людей мараешь?.. Чай пьешь, сволочь, когда тебе каяться нужно! На коленях ползать! — Константин, крича, перекосив неузнаваемое лицо, сумасшедше дернул Быкова к себе, затрещала, лопнула, расползлась пижама на нем, обнажила пухлую волосатую грудь. И в это же мгновение Сергей, напрягая мускулы, со всей силы оторвал их друг от друга. Быков в расползшейся до живота пижаме отлетел к этажерке, ударился о нее спиной, от удара полетели на ковер фарфоровые слоники.

Он тяжело сполз на пол, рыская по лицам обоих глазами загнанного зверя.

— Костя, подожди! Костя, стой! — крикнул Сергей, став между Быковым и Константином.— Подожди, я тебе говорю!

— Живет мразь на земле: ест, спит, ворует, ходит в сортир! — задыхаясь, еле выговорил Константин.— Ну что с ним делать? Что с ним делать? Убить, чтоб не вонял! За такую сволочь отсидеть не жалко! Подумать только, человеческим голосом говорит! А? Все берет от жизни, а сам копейки не стоит! Гроша не стоит!

— Ответите... за все ответите... я вас всех... ответите... истязание...— судорожным горлом сипел Быков и зло заплакал, слезы побежали по щекам, он рванулся, пошарил вокруг по полу, потом лихорадочно схватился по-бабьи за щеки, закричал удушливым шепотом: — Лююди! Люди-и! На помощь, на помощь!

— Люди, помогите этой мрази, поверьте этой шкуре! Люди-и! — передразнил Константин.— А ведь этой проститутке кто-то верит, а? Верят, а?

А Быков, все покачиваясь из стороны в сторону, сдавливал щеки ладонями, с одышкой выталкивал сиплый крик:

— Люди, люди-и!..

Моргали влажные пухлые веки, выражение злости в его лице не соответствовало жалкой бабьей позе, неуверенному крику, разорванной на волосатой груди пижаме, и Сергей, испытывая отвращение к его голосу, грузному телу, к его хриплому дыханию, ко всему тому, что он знал о нем и не знал, спросил самого себя: «Мог ли он оклеветать отца? — И ответил почти твердо: — Мог...»

Он ответил сам себе «мог», но все же не поверил так, как без колебаний поверил этому Константин, и, чувствуя боль в голове, не оставлявшую его после ночи, сказал:

— Пошли, Костя.

— Я еще доберусь до тебя, паук! — выговорил Константин с ненавистью и пинком отшвырнул валявшегося на полу фарфорового слоника.— Заткнись, самоварная харя!..

— Петя, что ты? Что они с тобой сделали? — взвизгнула жена Быкова на пороге комнаты.

— Люди-и!.. Люди-и!.. На помощь! — все нарастая, все накаляясь, переходя в сиплый рев, неслось из комнаты Быкова.

— Ты встанешь завтракать, Ася?
— Мне не хочется, Сережа. Я полежу.
— Что у тебя болит?
— Ничего.
— Ну что-нибудь болит?
— Нет.
— Ну что-нибудь?
— Нет. Немножко озноб. Это грипп. Дай градусник. Пожалуйста...
— Ася, я принесу тебе в постель завтрак. Или, может быть, ты встанешь?
— Я не хочу есть. Возьми градусник. У меня просто грипп.

Он взял градусник, влажный, согретый ее подмышкой, долго всматривался в деления: температура была пониженной — тридцать пять и четыре. Ася лежала, укрытая одеялом, голова повернута к стене, освещенной низким ранним солнцем; белизна ее лба, в ознобе посиневшие веки, худенькая, жалкая шея вызывали в Сергее чувство опасности. Никогда он не испытывал такого страха за нее, такой близости к ней, к ее ставшему беспомощным голосу, будто только сейчас понял, осознал, что это единственно родной человек, которому был нужен он. «Я любил ее всегда, но не замечал ее жизни, не видел ее, был груб, равнодушен...» — подумал он, ни в чем не прощая себе, и проговорил вполголоса, нежно, как никогда не говорил с ней:

— Сестренка, не хочу слышать слово «не хочу». Ты должна позавтракать. Я сделал великолепную яичницу. Попробуй. Армейскую яичницу.

— Я спать... Больше ничего. Спать...— прошептала Ася, не поворачиваясь от стены, и, когда говорила это, край рта ее начал вздрагивать и сквозь сжатые веки медленно стали просачиваться слезы. Потом с закрытыми глазами кончиком одеяла она вытерла щеку, спросила по-прежнему шепотом: — Костя здесь? Пусть уходит, пусть уходит! И ты уйди... Я одна. Мне одной...

Сергей посмотрел на Константина. Тот стоял у двери, плечом к косяку, тоскливо покусывая усики, и, разобрав ее шепот, мрачно, с хрипотцой сказал:

— Асенька, я ухожу. Да, мы уходим, Асенька.

Они оба вышли в соседнюю комнату, Константин после тягостного молчания спросил:

— Она видела все?

— Да.

— Ну что мы стоим как идиоты? — непонимающе воскликнул Константин.— Ну что, чем, как лечить ее? Что ты думаешь?

— Не надо орать.— Лицо Сергея было серо-бледным, заострившимся, как от болезни.— Я попросил бы тебя,— добавил он мягче,— говорить потише.

В другой комнате была полная тишина.

— Жизнь бьет ключом,— произнес Константин ядовито.— И все по головке. Все норовит по головке. Н-да, стальную головенку нужно иметь. Ну что мы стоим дураками?

Сергей не узнавал его — шла от Константина какая-то непривычная для него и раздражающе нетерпеливая сила, когда он спросил опять:

— Слушай, ответь мне одно: ты хоть знаешь — он на Лубянке?

Сергей был разбит, опустошен ночью, не было сейчас желания говорить о том, что было несколько часов назад, в ушах, как во сне, звучал стук в дверь, чужие голоса, шаги — и горькое удушье подступало к горлу; хотелось лечь, закрыть глаза.

— Костька, уйди, я полежу немного,— проговорил он и лег на диван, стараясь забыться.

И тотчас нечто скользкое, вызывающее тошноту заколыхалось перед ним, и среди этого скользкого, неприятного мелькала не то пола плаща, намокшая от дождя, не то козырек фуражки, лакированно блестевший за мутной тьмой, в которой почему-то пахло мокрыми березовыми поленьями, и звонко стучали капли, били в висок металлическими молоточками, и оттуда черное, бесформенное непреодолимо надвигалось на него. И, пытаясь уйти от этого, что вбирало, всасывало его всего, пытаясь не видеть козырек фуражки среди удушающего запаха березовых поленьев, он, глотая слезы, застонал и сам, как сквозь железную толщу, услышал свой стон...

«Что это? Что это со мной?»

Он судорожно вскинулся на диване,— слепило в окно солнце, под его пронзительной яркостью четко зеленела листва лип. Был полдень, тишина, жара на улице.

— Что это я? — вслух сказал Сергей, чувствуя мокрые щеки, вспоминая, что он сейчас плакал во сне, и стыдясь себя.— Что это я? — повторил он с ощущением беды, и тут только дошли до него голоса из глубины комнаты.

В углу комнаты на краю стула сидел Мукомолов, против него — сумрачный Константин; Мукомолов подергивал, пощипывал бородку, смотрел в пол, говорил с возбужденным покашливанием:

— Это ужасно, чудовищно! Зачем это, зачем это, кому это нужно? Ужасно! Николай Григорьевич — честный коммунист. Я верю, я знаю. Кому нужен его арест?

— Таким сволочам, как Быков,— ответил Константин.— Вот вам ответ на все ваши вопросительные знаки. Чему вы удивляетесь? Подлецам верят! Верят их словам, доносам! А вам — нет!

— Не делайте обобщений, Костя! Стыдно! — шепотом вскрикнул Мукомолов.— Что значит верят? Ложь, цинизм! Я живу, вы живете, живут другие люди, миллионы советских людей. Подлецы — накипь! Именно — грязная накипь! Мы должны счистить эту грязь, да, да! Так, чтобы от нее брызги полетели, брызги! Это жаль, это горько! Но не все подлецы! Нельзя! Кроме того, эти органы — да, да! — контролирует Берия!..

— А кто его знает? — неохотно проговорил Константин.— Я с ним чай не пил.

Сергей, закрыв глаза, слушал голос Константина и думал, что все это было: его, Сергея, грубовато-ядовитые разговоры с отцом, и открытая насмешка, и грустные, что-то особо знающие глаза отца — сознавал теперь, что не мог ему простить усталости после войны, после смерти матери, его замкнутости, похожей на равнодушие, его ранней седины. Он не мог простить ему старости.

«Болен... Он был уже болен, болен! — подумал он и даже замычал, стискивая зубы,— вспомнил долгие лежания отца на диване по вечерам, тишину, шуршание газеты, молчаливую возню с позванивающими пузырьками за дверью и запах лекарств из другой комнаты.— У него все время болело сердце! Что я сделал? Как помог? Раздражался, злился!.. Один вид отца раздражал меня...»

Он пошевелился, весь в поту, прежнее удушье в горле, что было во сне, не отпускало его. «Что мне де-

лать?» — подумал он, глубоко глотнул воздух и, преодолевая это незнакомое оцепенение тела, спросил:

— Как Ася?

Мукомолов, с яркими пятнами на щеках, сутулый, в своем длиннополом пиджаке, нелепой прыгающей походкой приблизился к дивану, бородкой повел на дверь в другую комнату.

— Там Эльга Борисовна. Ничего, ничего... Это, как говорится...— забормотал он неопределенно и чуть исподлобья посмотрел выцветшими глазами как бы сквозь Сергея, точно видел особое, свое.— Там они, да, да, женщины...— все бормотал он и вынул чистый клетчатый платок, высморкался и, вроде не зная, что сказать, долго вытирал мясистый нос, бородку, покашливая.— Вам, Сережа... это полагается, да, да, члену партии... Это необходимо... здесь никого не обманешь... и нет смысла... Заявление в партком... Поверьте... так лучше... В партком института вам надо...

Мукомолов жадно закурил папиросу; казалось, задымилась вся голова.

— Николай Григорьевич арестован органами МГБ, и в этих случаях... да, да...

Сергей проговорил отчужденно:

— Это ошибка, Федор Феодосьевич. Отец будет дома. Зачем мне заявление?

— Да, да, да,— согласился грустно Мукомолов и подергал бородку так, что папироса затряслась в зубах.

— Никаких заявлений, пока своими ушами не услышу правду! — сказал Сергей, вставая с дивана.— Пока все не узнаю об отце. Я на Лубянку пойду, к министру пойду — все узнаю. Заявление! Зачем! Какое заявление?

— Сережка-а,— протянул Константин,— не будь наивняком. До министра ты не дойдешь. А осторожность — часть мужества, как сказал один умный человек. Не лезь напролом, Сережа... Напиши. Бумаги не жалко. На всякий случай.

Сергей проговорил:

— Такая осторожность — это мужество для сволочей. «Знать ничего не знаю, отца арестовали, я к этому отношения не имею». А я знаю, что отец не виноват.

Мукомолов рассеянно глядел в окно, на солнце, которое в оранжевой пыли садилось за крыши домов, Константин угрюмо рассматривал ногти, и Сергею было сей-

час больно оттого, что они слушали его невнимательно.

— Фамилия министра МГБ Абакумов,— напомнил Константин.— Рад, если ты дойдешь до него.

— Я все узнаю. Я потрачу на это все время, но узнаю все,— повторил Сергей.— Я все узнаю!.. Иначе не может быть.

— Действуйте, действуйте, Сережа, дорогой! — Мукомолов рывками заходил по комнате, рассыпая вокруг себя пепел от папиросы.— Нужно бороться, нужно не опускать голову! Простите, Сережа, мы здесь мешаем, мешаем!.. Вам надо побыть одному, обдумать все! Эля! — окликнул Мукомолов, замявшись перед дверью.— Эля, Эля!

Дверь приоткрылась, и бесшумно вышла Эльга Борисовна, маленькая, хрупкая, тихая; темные близорукие глаза озабоченно прищурены; вечернее солнце красновато озаряло ее лицо.

— У нее не грипп, никаких признаков,— шепотом сказала она.— У нее нервы, Сережа... Она бредит, плачет, бедная девочка. Ее преследуют какие-то ужасы... О, как это понятно, как понятно... Я позвоню на Петровку, у нас знакомый врач... Федя, перестань курить, пожалуйста, и не кричи! Девочке нужны покой, тишина... Сережа, если ты позволишь, я буду с Асей. Бедная девочка сжимала мне руку, когда я сидела рядом... Боже мой, боже мой...

— Это... это серьезно? — спросил Сергей, желая сейчас только одного — чтобы с Асей не было серьезно.— Это... быстро проходит?

— Как я могу знать, Сережа? Надо вызвать хорошего врача.

— Уже,— мрачновато вмешался Константин.— Я вызвал профессора из Семашко. Этому профессору в тяжелые времена завозил дрова. Это не забывают. Будет через час.

— Спасибо, Костя,— сказал Сергей.

— Пошел... со своим спасибо! — ответил Константин, отмахиваясь.— Еще лобызаться, может, полезешь с благодарностью?

Мукомолов и Эльга Борисовна посмотрели на них удивленно и не проронили ни слова.

В комнате пронзительно затрещал телефонный звонок. Сергей, вздрогнув, сорвал трубку, сказал «да»,— и мяг-

кий, чудовищно знакомый теплый голос прозвучал в мембране, как будто из другого, несуществующего мира:

— Сере-ежа...

— Его нет дома.— Он опустил трубку, слыша удары сердца.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Справочная МГБ находилась на Кузнецком мосту — Сергей точно узнал адрес и быстро нашел ее.

После жары полуденной улицы, запаха бензина, гудения машин, горячего света стекол, после душного асфальта тревожно было войти в пахнущий холодным бетоном подъезд, в полутемную от запыленных окон приемную с кабинетно-темными дубовыми панелями, с застывшей здесь больничной тишиной. Люди сидели возле стен молча, не выказывая друг к другу любопытства, подобрав ноги под стулья, лица выделялись тусклыми пятнами.

Когда Сергей вошел сюда, охваченный преувеличенной решимостью, неисчезающим желанием действовать, и спросил громко: «Кто последний?» — и когда послышался бесцветный ответ: «Я», он почувствовал ненужность своего громкого голоса — сидящие на крайних стульях взглянули на него не без опасливого недоверия. Женщина в белом пыльнике, с усталым красивым лицом вздохнула; беззвучно захныкала у нее на коленях, кривя большой рот, девочка лет пяти, придавливая к груди соломенную корзиночку; лысый, начальственного вида мужчина, бесцветно ответивший «я», помял кепку в руках и замер, держа ее меж колен.

— Я за вами,— уже вполголоса проговорил Сергей, и этот кисловатый казенный запах приемной, этот чужой запах неизвестности сразу обострил ощущение беспокойства.

Лампочка сигналом зажглась, погасла над дверью, обитой кожей, и человек в углу растерянно вскочил, лихорадочно-спешно засовывая газету в карман пиджака, и мимо него из серых тайных глубин комнаты одиноко простучала каблуками к выходу высокая женщина, непослушными пальцами скомкала на лице носовой платок, высморкалась, всхлипывая. Человек с газетой оглянулся на нее, оробело ссутуленный, открыл дверь, обитую кожей, и тихая, словно бы пустая, без людей, комната поглотила его.

Все молчали, прислушиваясь к слабо возникшим, зашуршавшим голосам за толстой дверью. Лысый мужчина начальственного вида тискал кепку, глядел в пол. С улицы, залитой солнцем, глухо — сквозь двойные пыльные стекла — доносились гудки автомобилей на Кузнецком мосту. Девочка стеснительно завозилась на коленях красивой женщины, растянула губы, крохотные сандалики ее, белые носочки задвигались над полом.

— Тетя, пи-ить,— захныкала она тоненько и жалобно.— Тетя Катя, я хочу пи-ить. Я хочу-у...

— Подожди, родная, потерпи, деточка,— заговорила женщина, обняв худенькое тельце девочки, просительно посмотрела на соседей.— Сейчас наша очередь, и мы пойдем домой. Потерпи, потерпи, маленькая...

Все отчужденно молчали, не обращая внимания на красивую женщину и девочку в новеньких сандаликах. Лысый мужчина, неотрывно, тупо уставясь себе под ноги, мял кепку. Мальчик лет пятнадцати, в футбольной безрукавке, испуганно расширенными глазами следил за лампочкой над дверью, ерзал на стуле, весь напряженный, пунцовый. Рядом с женщиной старуха в темном платке, в новых сапогах, около которых темнел узел, старательно жевавшая из кулечка, заморгала на девочку красными веками, вынула из кулечка деревенский пирожок, бормоча тихонько:

— Покушай, покушай, милая. Ить я тут третий раз... Из Бирюлева... Вот зятю велели одежду привезти. И двести рублей... Две сотельных можно... В дорогу-то... О господи, грехи наши...

«Все они... так же, как я? — подумал Сергей, оглядывая сидящих в приемной, угадывая в них то, что было в нем самом.— Кто они? Как у них случилось это? Когда?»

Вспыхнула лампочка. Немой свет, сигналя, потух над дверью; вышел тот человек с газетой, торчащей из кармана, сутуло зашагал к выходу, обтирая ладонью взмокший лоб.

— Валенька, пошли, Валенька... Бабушка, она не голодная... Спасибо...

Красивая женщина, бледнея, суетливо встала, потащила девочку за руку к двери, девочка протянула другую руку к пирожку, косо, нетвердо переступая сандаликами, и ее маленькое тельце оказалось точно распятым между дверью и этим пирожком. Девочка в голос заплакала,

упираясь сандаликами в каменный пол, и женщина, с рассерженным лицом, силой втащила ее за дверь.

— О господи, грехи...— всхлипывающе забормотала старуха, аккуратно завернула пирожок в газету, по-мужски сложила на коленях большие темные руки.

«Они ведь узнают так же, как я...— думал Сергей, остро чувствуя эту появившуюся нить, которая связывала его и с лысым мужчиной, и со старухой, и с красивой женщиной, и с девочкой, ушедшими за толстую дверь.— Как у них случилось это? Так же, как с отцом? Или, может быть, муж этой красивой женщины или отец девочки в сандалиях — враг?»

Он мог и хотел поговорить со старухой, с лысым мужчиной и беспомощным подростком в безрукавке, выяснить обстоятельства ареста, сравнить их и обстоятельства ареста отца. Но отчужденно разъединяющее людей молчание давяще стояло в этой тусклой от пыльных стекол приемной.

В дверь входили и выходили люди — пустела приемная. Она теперь гулко и каменно отдавала шаги. Никто не задерживался там, за обитой кожей дверью, более пяти минут. Время продвигало Сергея все ближе к сигналам лампочки, и со все возрастающим ожиданием он пересаживался на опустевшие стулья. И вдруг свет коротко зажегся вверху, словно резанул по зрачкам, но что-то, казалось, темно и душно надвинулось, из безмолвия таинственной комнаты; широкой фигурой, шумно сопя, тенью прошел мимо лысый мужчина, расправляя смятую кепку на голове; и Сергей, как через очерченную границу, перешагнул за этот свет лампочки в чрезвычайно узкую, тесную, освещенную сбоку окном, похожую на коридор комнату.

За огромным — на половину кабинета — письменным столом, лишь с двумя тоненькими папками на углу, выпрямившись, сидел средних лет, уже полнеющий майор МГБ, ранние залысины были заметны над высоким лбом, он небрежно держал папиросу у полных, с поднятыми уголками губ, близко поставленные к переносице карие глаза весельчака глядели сейчас заученно-покойно. Эту бесстрастность, как показалось Сергею, немолодой майор умел терпеливо сохранять в течение дежурства, потом, видимо, взгляд его мигом менял выражение, тотчас веселел, готовый к своей и чужой остроте.

— Слушаю, слушаю,— сказал он приятным барха-

тистым голосом с выражением официальной заинтересованности.— Садитесь, молодой человек. Слева от вас стул.

— Я пришел выяснить насчет отца,— сказал Сергей, не садясь.— Я хотел бы узнать...

— Фамилия?

— Вохминцев.

— Имя и отчество?

— Николай Григорьевич.

Майор потянул папку с угла стола, раскрыл ее бледными интеллигентными пальцами, полистал, обволакиваясь дымом папиросы. И хотя в эту минуту ничего не выражающий взгляд его пробежал по бумаге и он все выше подымал брови, листая, щелкая страницами в папке, Сергей стоял перед столом, с задержанным дыханием ожидая внезапной виноватой улыбки на полукруглых губах майора, его вежливого извиняющегося голоса: «Простите, произошла ошибка, ваш отец уже освобожден. Он, возможно, ждет уже вас дома. Так что, молодой человек, простите за ошибку...»

— Вохминцев Николай Григорьевич?.. Ваш отец, Вохминцев Николай Григорьевич, одна тысяча восемьсот девяносто седьмого года рождения, находится под следствием.

— Под следствием?

Этот спокойный голос майора вдруг сдвинул, смял все в Сергее — все еще живущую в нем надежду, и тоскливая, сосущая пустота холодком озноба охватила его. Он сказал через силу:

— Мой отец не может находиться под следствием, он не виноват ни в чем. Его арестовали по ошибке...

— Следствие все покажет, гражданин Вохминцев. По ошибке никого не арестовывают в Советском государстве, смею заметить. Заходите. Узнавайте.

Светлые волосы над залысинами были успокоительно влажны, гладко блестели после утреннего умывания и причесывания, лицо мучнисто-белое, холеное, только темнота заметна была под близко поставленными к переносице глазами весельчака,— похоже, он плохо спал ночь. И голос его прозвучал слегка заспанно:

— Я вас не задерживаю, гражданин Вохминцев.

Рука майора заученно потянулась к кнопке. И на миг, приостанавливая это движение, Сергей подался к краю стола, где чернела маленькая кнопка сигнализации, про-

говорил голосом, заставившим майора взглянуть любопытно-зорко:

— Объясните, пожалуйста, в чем его обвиняют?

Майор безмолвно разглядывал Сергея.

— Где он находится? В тюрьме? Можете ответить? Почему отца арестовали — я могу знать?

Майор не нажал кнопку и, выждав, сказал официально,— в голосе прозвучал оттенок раздражения:

— Ваш отец находится под следствием. Повторяю.

— Долго оно будет продолжаться... это следствие? — проговорил Сергей не в меру громко.

Он испытывал то прежнее ощущение непроницаемой стальной стены, притиснувшей его, то бессилие и отчаяние от противоестественной человеческой несправедливости, которую почувствовал тогда в сарае один на один со старшим лейтенантом, и, уже не веря даже в уклончивый ответ майора, спросил еще:

— Вы что-нибудь знаете о деле моего отца?

Голос майора был чрезвычайно сух, вежлив:

— Ничего не могу ответить вам положительного, гражданин Вохминцев.

И Сергей почувствовал, будто летит в черный провал каменного колодца без дна, сдавленный подступавшими со всех сторон душными стенами, нескончаемо уходящими вверх,— он падал в эту неправдоподобную глубину, цепляясь за стены, срывая ногти, и с оборвавшимся сердцем он закричал в бездну колодца: «В чем обвиняют отца? В чем?» Потом из глубины проступило покойное лицо, близко поставленные к носу карие глаза человека веселого нрава; человек этот, вероятно, привык здесь ко многому. Он торопился покончить с этим неожиданно затянувшимся посещением. Его рука лежала на кнопке сигнала.

— Ваш отец находится под следствием. Я вам сказал об этом русским и ясным языком. Больше ничего не могу добавить. Вы задерживаете посетителей, гражданин Вохминцев.

— Тогда разрешите все же спросить, зачем... на кой черт ходить к вам? Ходить для того, чтобы ничего не узнать?

— Вы, кажется, забываетесь,— внезапно откинувшись, не без любопытства во всей позе полнеющего сорокалетнего человека произнес майор и, обежав глазами лицо Сергея, добавил с выражением улыбки: — Иногда

легко войти, трудно выйти. Не будьте чересчур уж смелым, бывает это очень опасно. Это абсолютно ваше личное дело — ходить или не ходить,— увидев вошедшую посетительницу, корректно проговорил майор и привычным жестом отодвинул папку на угол стола.— Вы ко мне? Прошу вас. Садитесь. Слева от вас стул.

— Спасибо за откровенность,— сказал Сергей.

Он вышел на улицу; везде был пестрый хаос толпы, поток машин стекал по Кузнецкому, была парная духота, и Сергей пошел по тротуару, как в жаркой печи, не ощущая внешних толчков жизни.

То, что он говорил майору в справочной МГБ, представлялось теперь глупым мальчишеством, ненужным вызовом, не имеющим никакого смысла. Все шло от растерянности перед страшной, где-то вблизи неумолимо заработавшей машиной, той машиной, о существовании которой он изредка слышал, но работу которой не видел раньше. Железные шестерни с хрустом прошлись рядом, задели, смяли его, и прежняя уверенность в себе, что была так необходима ему, оборачивалась теперь беспомощной наивностью. Он с жадной надеждой еще искал точку опоры и, не находя ее, чувствовал, что, вот-вот переломав кости, насмерть разобьется; и все колебалось, рушилось, ускользало из-под ног.

«...Мы еще встретимся, Сергей Николаевич...», «Иногда легко войти, трудно выйти...». Нескрытый намек, предупреждение звучали в этом. Только наивной своей смелостью он заставил их говорить так. Кому нужна его смелость? Или что-то произошло, изменилось — и нет доверия, никому не нужна откровенность? Не лучше ли молчать и терпеть — это выход? Это выход? Но зачем тогда жить? «Не будьте чересчур уж смелым, бывает это очень опасно». Если б в войну кто-нибудь сказал так, он набил бы морду. Что ж, мера человеческой ценности изменилась? Кто мог это сделать? Кому нужно было арестовать отца? Зачем? Где истина? Кто ее знает? Знает и терпит? Во имя чего? В чем тогда смысл?

«Что я должен делать? Что делать?»

«Измениться. Взять себя в руки. Надеть маску милого, доброго парня. Со всем соглашаться».

«Не могу! Не могу!»

«Тогда тебе сломают судьбу, дурак! Не будь чересчур смелым. Будешь искать истину? Она давно найдена».

«Не могу, не могу, не могу! Не могу быть камуфляж-

ным. Есть вещи, понятые раз и навсегда. С детства. С войны».

«Можешь, можешь! Должен. Иначе гибель!»

«Не могу, не могу!»

«Можешь! Сначала заставь себя, потом привыкнешь!»

«Не могу!»

«Можешь!»

Он приостановился на тротуаре, мокрый от пота, в ноги дышало жарой асфальта, пекло голову, и улица, оглушая визгом тормозов, гудками, летела, неслась перед ним — мимо сквера, мимо Большого театра, и от этого гула, блеска солнца стучало, колотило в висках.

«Под следствием... Я должен сейчас же поехать в институт. Я должен сегодня отказаться от практики. Что я должен еще сделать?»

...Теплые сквозняки продували троллейбус, охлаждая лицо, пестрота улиц скользила сбоку, пропеченное зноем кожаное сиденье пружинило, кидало Сергея вниз-вверх, а позади шевелился в тесноте, в ровном шуме мотора, пробивался чей-то дребезжащий голос:

— Не смотрите, что я деревенская женщина, говорю, а я за вас, дохторов, ухвачусь. Что хотите делайте, а его не упустите. А он все на фронте животом мучился. А как вернулся, поест — схватится за живот. «Ой, мама, пропадаю!» Я говорю: «На фронте самые главные врачи были, чего ж ты у них не полечился?» — «Был я у профессора, говорит, мама, сказал: «Неизлечимо».— «Врешь, говорю, не был».— «Нет, говорит, не был. Я, говорит, как они зашуршат это, сердце рвется. Ничего, я вином вылечусь». Три раза раненый он был, весь фронт провоевал. Ну вот, поехал он в аккурат перед Октябрьскими к дяде, чистое белье надел, гимнастерку новую, медали надел, а назад его мертвого привезли. Когда, значит, у него случилось, его сразу в больницу, а у них чего-то неправильно перед самой операцией. Его на самолет — и в Куйбышев. А летчик молоденький, в пути сбился да вместо Куйбышева в Кинели сел. А когда в Куйбышев прилетели, рассвет уже. Семь минут он пожил... и рвало все... лучше б на фронте его убило! Как вспомню я...

Сергей услышал хрипловатый визгливый плач и оглянулся: темное морщинистое лицо пожилой женщины, сидевшей сзади, было искажено судорогой, слезы ползли по трясущимся морщинам; грубые, с рабочими буграми пальцы прижимали кончик черного головного платка к

распухшему носу. Вся в черном, эта женщина деревенски и траурно выделялась здесь.

И Сергей почувствовал жгучую жалость к ее морщинистому лицу, к ее изуродованным работой рукам: эта женщина, выделявшаяся черным платком, грубыми руками, была ненужной, чужой в этом городском троллейбусе, было чужим, некрасивым ее горе, и возникла вдруг связь, как из колючей проволоки сплетенная связь между ним и ею — и как будто опаляющим зноем повеяло ему в глаза...

Если на фронте солдат был убит не в бою, а возле окопа, выйдя по своей нужде, то даже тогда он погибал для родных героически; но вот сейчас солдат умер в тылу обычной смертью, от болезни, и смерть его была ничтожной, никому не заметной, кроме матери его. Нет, он не хотел такой смерти спустя четыре года после войны — смерти от случайности...

— Лучше бы на фронте его убило. Знала бы я...— не смолкали визгливые рыдания женщины, и ее вскрики резко подняли его с сиденья, подтолкнули вперед, к выходу, и он спросил кого-то:

— Простите, вы не сходите?

И испугался звука своего голоса.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Секретарь деканата сказала ему, что в кабинете у Морозова идет партбюро, он нахмурился, постоял в нерешительности перед дверью, спросил:

— Это долго будет?

— Не знаю. А что вы такой бледный, Сережа? Какая-нибудь любовная история?

— Почему, Иннеса? И почему — любовная?

Секретарь деканата, испанка, была чрезвычайно подвижна, худа, наркотически блестящие, с черным отливом, яркие, во все лицо глаза; на ней была всегда клетчатая юбка, спортивная блузка с кармашками; она курила, пачка сигарет постоянно лежала в черной ее сумочке. Иннеса была из Каталонии, ее привезли в тридцать седьмом году в Россию, и говорила она с какой-то наивной, замедленной интонацией, выделяя слова довольно заметным акцентом.

Сергей сказал:

— Худеют разве только от любовных историй?

— Конеч-но. Но я шучу! — Иннеса взглянула на него живо.— Вы говорили, у вас жена. Жена? У вас дети, ребенки? — Она подмигнула.— Сколько?

— У меня много детей, Иннеса,— усмехнулся Сергей.— Один в Рязани, другие в Казани.

— Молодец! Это хорошо!

Смеясь, Иннеса стала перед ним, расставив крепкие ноги, узкая юбка натянулась на коленях, туфли на каблучках носками врозь, весело показала от пола воображаемый рост детей.

— Так, так и так? О, я люблю детей. У меня будет много детей. Так, так и так. Когда я выйду замуж за большого, сильного русского парня. Вот с такими плечами, с такими мускулами! А зачем нахмурился, Сережа?

Она, вглядываясь в лицо Сергея, смешно сморщилась, с ласковостью провела мизинцем по его бровям, разглаживая их, сказала:

— У мужчины должны быть прямые брови. Он мужчина. Надо всегда быть веселым.

— Мне очень весело, Иннеса,— ответил Сергей.

Он особенно, как никогда раньше, ощущал летнюю пустоту института, везде на этажах безлюдные аудитории, накаленные глянцем доски — и одновременно слышал голоса из-за двери кабинета, неясные, беспокоящие его чем-то. Он смотрел на Иннесу и чувствовал в естественной интонации ее голоса, в смешно наморщенных губах, во всей ее мальчишеской фигуре легкую непосредственность, которой не было у него сейчас. И, слыша голоса за дверью и ее голос с милым акцентом, он неожиданно подумал, что хорошо было бы уехать с ней, бросив все, в какой-нибудь тихий приречный городок на горе, работать и ждать, как праздника, вечера, чтобы в каком-нибудь деревянном домике, затененном деревьями, чувствовать ее нежность и доброту к нему...

Он вспомнил о Нине, и ему стало душно. «Я устал?» — подумал он, и тотчас — стук открываемой двери, приблизился говор голосов, шарканье отодвигаемых стульев, и он понял: там кончилось.

Тут же из кабинета Морозова начали выходить члены партбюро, знакомые и малознакомые лица, кивали бегло, закуривали в приемной, и почудилось Сергею нечто настороженное, отталкивающее в их кивках, в коротком рукопожатии, в повернутых равнодушно спинах. Косов, с красной, сожженной, видимо, в Химках шеей,

открытой распахнутым воротом, вплотную подошел к нему, переваливаясь по-морскому, железно стиснул локоть:

— Слушай, старик...

Сергей заметил, как пронзительно засинели его глаза, и, ни слова не отвечая Косову, шагнул в кабинет, готовый к тому, что могло быть, и не желая этого.

— Я к вам, Игорь Витальевич,— сказал он ровным голосом.

Морозов в комнате был не один. Он неуклюже возвышался над столом, собирая бумаги в портфель, полы чесучового помятого пиджака задевали разбросанные листки, узкое книзу лицо было угрюмо-сосредоточенно. Возле стоял Уваров, в расстегнутой белой тенниске, с сильной, покрытой золотистым волосом грудью, подавал бумаги и объяснял что-то сдержанным тоном, декан слушал его.

В дальнем конце стола замкнуто сидел Свиридов, болезненно желтый, с провалившимися щеками, подбородок упирался в кулаки, положенные на палку-костылек.

Все это успел заметить Сергей, от всего этого дохнуло холодом, повеяло подсознательно ощутимой опасностью, увидел, как при его словах: «Я к вам»,— Морозов резче стал защелкивать и никак не мог защелкнуть замочки портфеля, как приветливо и широко, как всегда при встречах, заулыбался Уваров и затем вскинул голову Свиридов, оторвав подбородок от палки. «Что ж,— успокаивая себя, подумал Сергей,— он улыбнулся мне как равный равному».

— Знаю, что вы устали, но мне обязательно надо с вами поговорить, Игорь Витальевич,— выговорил Сергей, подчеркивая «с вами», давая понять, что хочет остаться один на один.

— А-а, так-так,— суховато произнес Морозов.— Поговорить? Ну что ж. Садитесь. Здесь два члена партбюро, секретарь партбюро.— Он глянул на Свиридова и, садясь, вроде обвалился на кресло, глубоко запустил пальцы в волосы.— Ну что ж. Говорите.

Была минута замешательства — и в эту минуту Уваров, улыбаясь с какой-то особой значимостью, пожал Сергею руку, сказал:

— Садись. Все свои. Поговорим, если ты не возражаешь.

— Спасибо. Я сяду.

И непонятная чужая сила заставила Сергея улыбнуться ему, когда он произнес это «спасибо», когда ощутил почти неподчиненное движение своих пальцев в ответном рукопожатии — и, готовый ударить себя, содрать свою улыбку с губ, заговорил, обращаясь к Морозову:

— Я не могу поехать на практику, Игорь Витальевич. У меня сложились тяжелые семейные обстоятельства. Я не могу... Как бы я ни хотел, я не могу.— Голос его ссыхался, спадал, он договорил: — Не могу...

— Какие же семейные обстоятельства, Сергей? Если это не секрет? — спросил Уваров тихим и сочувствующим тоном.— Говори откровенно, здесь все коммунисты. Говори, если можно.

— У меня тяжело больна сестра.

Морозов встрепенулся, привскочил в кресле, взгляд, исподлобья устремленный на Сергея, загорелся гневом. Он звонко шлепнул линейкой по столу и, вытянув длинную шею, крикнул:

— Стыд и позор! Стыд и позор! С нашими студентами не умрешь от скуки, не позагораешь — цепь новостей! Сложные семейные обстоятельства, больна сестра — грандиозная причина, чтобы отказаться от главного! Вы, фронтовик, ответьте мне: в бой тоже не ходили, когда заболевал ваш друг? А? Что? Не объясняйте, я сам за вас объясню. Знаете, что такое для инженера практика? Хлеб, воздух, жизнь! Ясно? Рассиропились, опустили руки, не нашли выхода! Безобразие, женское решение. Не узнаю, не узнаю, не хочу узнавать вас, Вохминцев!

— У меня больна сестра,— сказал Сергей, находя только эту причину, понимая, что она зыбка, недоказательна, но упорно ее повторяя, потому что это была правда.

— А, Вохминцев! — произнес Морозов, досадливо теребя взлохмаченные волосы.— Что же вы?..

— У тебя, кажется, семья состоит из трех человек: ты, отец и сестра,— сказал Свиридов своим обычным, округляющим слова голосом, упираясь подбородком в набалдашник палки, зажатой коленями.— Так, может, отец побыл бы с сестрой? Возможно это?

«Вот оно, главное, вот оно»,— проскользнуло в сознании Сергея, и лицо Свиридова как бы приблизилось к нему, и ввалившиеся щеки Свиридова сдвинулись, точно его пытала изжога,— он отставил палку, налил из гра-

фина в стакан воды, потом послышались жадные щелчки глотков. Морозов, приложив ладонь ко лбу, из-под этого козырька наблюдал за Сергеем, а ему нужно было вытереть пот на висках, но он не вытирал, с усилием не меняя прежнего выражения лица.

— Отец не может быть с сестрой.

— Отец в Москве, Сергей? — спросил тихо Уваров.

— Да. Но какое это имеет значение? — возразил Сергей и тотчас увидел, как Уваров, удивленно улыбаясь, развел загорелыми руками.

— Я имею право поинтересоваться как коммунист у коммуниста.

— Имеешь.

Морозов, заслоняя ладонью глаза, из стороны в сторону качал головой и уже гневно не смотрел на Сергея, а словно бы страдальчески прислушивался к его голосу.

— Ах, Вохминцев, Вохминцев! — проговорил он.— Что же вы, что же вы!..

— Вот, Игорь Витальевич! Вот работа нашего партийного бюро, вот он — наш либерализм!

Свиридов с треском оттолкнул стул и, опираясь на палку, восково-желтый, двигая прямыми плечами, быстро захромал по кабинету.

— Вот, Игорь Витальевич! — Он выкинул сухой, подобно пистолету, палец в направлении Сергея.— Вот они, ваши коммунисты! Ложь! Эт-то же страшно, коли есть такие коммунисты и иже с ними! Страшно! Ты знаешь? Знаешь?..— И порывисто перегнулся через стол.— Вчера ночью был арестован студент первого курса Холмин. За стишки, за антисоветские стишки, которые строчил под нашей крышей! Вот они, смотри,— сочинения! — Он застучал ребром ладони по листу бумаги на столе.— Вот они. «А там, в Кремле, в пучине славы, хотел познать двадцатый век великий, но и полуслабый, сухой и черствый человек!» Понимаешь, что мог... мог написать этот... этот гад, который учился с нами!

— Я бы и не читал эту подлость вслух,— заметил Уваров.— Противно...

— При чем здесь я? — спросил Сергей с сопротивлением.— Знать не знаю никакого Холмина! Какое это имеет отношение ко мне?

— Отношение? Нужно отношение? Хорошо! — Свиридов съежил плечи, опершись на палку, и плечи его пре-

вратились в острые углы.— Ты врешь нам, врешь недостойно коммуниста!

— Прошу поосторожней со словами...

— Брось! Ты не женщина! Слушай правду. Она без дипломатии! Ты врешь нам, трем членам партийного бюро, коммунистам, врешь! Не так? Твой отец арестован органами МГБ! И ты приходишь сюда и начинаешь врать, выкручиваться, загибать салазки! Как ты дошел до жизни такой, фронтовик, орденоносец! Кому ты врешь? Партии врешь! Партию не обманешь! Не-ет! — Он затряс пальцем перед подбородком.— Не обманешь!

Морозов перебил его:

— Павел Михайлович! — И добавил несколько тише: — Прошу, не горячитесь.

— Я говорю правду, Игорь Витальевич! Я не перестану бороться с гнилым либерализмом, который развели в институте! Мы коммунисты и должны говорить правду в глаза! — не так накаленно, но жестко выговорил Свиридов и заковылял к Сергею.— Ты знал, что, как коммунист, обязан был написать в партбюро о том, что отец арестован? Или ты первый день в партии?

— Мой отец невиновен. Произошла ошибка.

— Ты что — гарантируешь? Подумай трезво — органы ошибочно не арестовывают. Может быть, гарантируешь невиновность Холмина, а? Давай не будем разговаривать по-детски. Факты — упрямая вещь. Ты что же — органам МГБ не доверяешь?

Сергей встал, и что-то горячо повернулось в нем, как в самые ожесточенные минуты боя, он уже не хотел оценивать отдельные слова Свиридова, бьющие в лицо сухой пылью, он только твердо понимал общий смысл близкой опасности. Он еще ждал, что Морозов вступит в разговор, но тот, заслонив глаза рукою, молча глядел в окно.

— Может быть, ты скажешь, что и Холмина арестовали по ошибке? — цепко и зло спросил Свиридов.— Вот наш коммунист, твой товарищ Аркадий Уваров, сам нашел эти поганые стишки в его столе. Ты понял, чем пахнут эти стишки?

— Нехорошо, Сережа, нехорошо,— мягким голосом заговорил Уваров.— Сын за отца, конечно, не отвечает. Но ведь были у тебя, Сережа, личные контакты с отцом, разговоры откровенные были. Чего уж скрывать. И если ты замечал что-либо — надо быть бдительным... И тем

более ты обязан был сообщить об аресте отца в партбюро.

Все время, пока говорил Свиридов, он сидел, опустив веки, лишь при словах его о найденных в столе стихах он глянул из-под век на Свиридова с короткой ненавистью, но, заговорив, сейчас же перевел взгляд на Сергея — голубизна глаз была непроницаемо улыбчивой.

— В этом случае коммунист должен быть выше личного, Сережа. Отец это или жена... Знаешь, наверно: в гражданскую войну бывало — сын против отца воевал. Классовая борьба не кончена еще. Наоборот, она обостряется. Если поколебался — моральная гибель, конец...

И Сергей понял: это была тихая, но беспощадная атака на уничтожение — Свиридов верил каждому слову Уварова. Было четыре года затишья, звучали случайные редкие выстрелы, устойчивая оборона, белый флаг висел над окопами — расчетливый Уваров выждал удобные обстоятельства, и силы, которым Сергей теперь не мог сопротивляться, окружали его, охватывали тисками, как бывало во сне, когда один, без оружия попадаешь в плен,— немцы тенями касок вырастают на бруствере, врываются в блиндаж, связывают, и нет возможности даже пошевельнуться...

В эту секунду он осознал все — он в бессилии отступал. И вдруг его недавняя унизительная улыбка, фальшивое, непроизвольное рукопожатие показались ему взяткой, которую он, растерянный, впервые за все эти годы дал Уварову за лживый между ними мир.

— Не знал,— проговорил Сергей хрипло.— Не знал... Почему я не знал? А что я должен говорить об отце? Подозревать отца? За что? В чем? Отец делал революцию... Он старый коммунист... Подозревать отца? Ты что говоришь? Что ты мне советуешь? Так только фашистские молодчики могли...

Он взглянул на Уварова, на его мужественный, крутой подбородок — стол разделял их, Уваров сидел неподвижно, полуприкрыв глаза, и утомленно-сожалеющим было его лицо.

— Вохминцев! — крикнул Свиридов, хромая к столу.— Молчи! За эти слова — знаешь? Гонят из партии! Ты... коммунист коммуниста! Как смеешь?

— Он уже не коммунист,— печальным голосом произнес Уваров.— Жаль, но он в душе уже не коммунист. Разложился... Очень жаль! Хороший был парень.

— Я плевать хотел на то, что ты думаешь обо мне. И не вам, Свиридов, судить. Потому что вы верите не себе, а ему, вот этому «принципиальному» парню... с душой предателя! — проговорил Сергей, как в холодном тумане.— Вы верите ему, я буду верить себе!

— Достаточно! Прекратите! Можете идти, Вохминцев. Когда будет нужно, вам сообщат. Идите, идите...

Был это голос Морозова, и Сергей, все время ожидавший вмешательства, искоса посмотрел на него: то, что Морозов в течение этих минут как бы не участвовал и не замечал боя, который шел рядом, и то, что он сейчас неуклюже и не вовремя оборвал этот бой, уже ничего не решало.

— Вам, Вохминцев, необходимо в партбюро заявление... в связи с отцом. Все, что нужно. Можете завтра принести. Это вам ясно?

И Сергей нехотя и упрямо ответил:

— Заявление, Игорь Витальевич, я писать не буду. Отец не осужден. А то, что он арестован, знаете сами.

— Идите! — Морозов полоснул глазами в сторону двери.— Слышите вы? Идите! Немедленно!

— Жаль. Очень жаль,— сказал Уваров задумчиво.

Он вышел из кабинета, в горле жгла металлическая сухость, ломило в висках, головные боли в последние дни стали повторяться,— и все туманилось в сером песочном свете: приемная, солнце на паркете, кожаный диван, столик с телефоном; и голос Иннесы тоже был вроде бы соткан из серого цвета:

— Как, Сергей?..

Он машинально посмотрел на ручные часы, хотя безразлично было, сколько прошло времени, и машинально улыбнулся Иннесе.

— Вам не хочется холодного пива или мороженого? В жару это идея, правда?

Не разобрал, что ответила она, помешал звук открываемой двери — Уваров со Свиридовым выходили из кабинета Морозова,— и, повернувшись к ним спиной, Сергей договорил нарочито спокойно:

— Вам не хочется выпить, Иннеса? Закатиться куданибудь в ресторан — великолепная идея! Разлагаться так разлагаться.

Он затылком почувствовал, как, замедлив шаги, они

проследовали в коридор, он был рад, что они услышали его. В конце концов было ему все равно.

— Серьезно, Иннеса,— сказал он иным тоном, через силу естественно.— Не хотите ли вы куда-нибудь пойти со мной? Ну в ресторан, в кафе, в бар — куда хотите. Мне хотелось бы...

— Я не могу. На работе, Сережа.

— Какие формальности, Иннеса! Институт пуст, никого нет, одни уже на практике, другие на каникулах, черт бы их драл. Морозов сейчас уйдет. Что ему тут делать? Идемте, Иннеса! Вы ведь говорили, мужчина должен все время улыбаться.

— Потом. Ладно? Завтра. Ладно? Но завтра ты не захочешь.— И, заглядывая ему в глаза, спросила: — Замучился... Плохо тебе?

Она сильно, по-мужски взяла его за шею и слегка прикоснулась губами к щеке — это был особый дружественный знак понимания,— снова спросила:

— Замучился, Сережа?

Она больше ни о чем не спрашивала.

— Нет,— сказал он и зачем-то тронул щеку, где коснулись ее губы, усмехнулся: — Нет. Счастливо, Иннеса.

— Сч-частливо-о! — ответила она.— Завтра ты не придешь, нет?

— Я не знаю, что будет завтра.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Он вернулся домой поздно.

Долго не попадал ключом в отверстие замка, а когда открыл дверь, в первой комнате был полумрак, светил над диваном зеленый ночник, и прямо перед порогом стоял Константин, покусывая усики.

— Ты? — спросил Сергей, пошатываясь.

— Я.

— Как Ася?

— Ты готов? — спросил Константин серьезно.

— Я спрашиваю, как Ася? Какого... ты еще?

— Все так же. Был профессор и врач из районной. У нее что-то нервное. Нужен покой. Ты где надрался? И в честь какого торжества?

— Ася, Ася...— сказал Сергей, нетвердыми шагами прошел к дивану, сел, сутуло наклонился, расшнуровывая полуботинки.— Пьют от слабости,— заговорил он ше-

потом.— Я понимаю. Я не от слабости... Я никогда ничего не боялся... даже смерти... Ни-че-го...

Сергей ниже склонился к ботинкам, дергая шнурки, и вдруг согнутая, обтянутая рубашкой спина его затряслась, и неожиданно было слышать Константину глухие, сдавленные звуки, похожие на проглатываемый стон. Он будто давился, расшнуровывая ботинки, все не разгибаясь, и Константин, в первый раз увидев его таким, заторопился с неистовой энергией:

— Сережка, идем в ванную, старина! Надевай тапочки. Пошли! Душ — великолепная штука. По себе знаю. Надирался как змей. Обдает свежестью — и ты как огурчик. Ко всем дьяволам философию! Истина в душе, за это ручаюсь! Где эти тапочки? Сейчас ты узнаешь, что человечество недаром выдумало душ!

— Не зажигай света,— шепотом попросил Сергей.— Я сейчас... подожди.

— Пошли, Серега. Поверь мне. Примешь душ — увидишь небо в алмазах. Пошли! Жизнь не так плоха, когда в квартире есть цивилизация.

Он обнял его, осторожно довел до ванной, задевая за развешанное в кухне белье, пахнущее сыростью, сказал:

— Давай! Выход из всех положений.

Этот благостный душ был ожигающе свеж, колкие струи ударяли по плечам, по груди: сразу озябнув, Сергей подставил лицо, крепко зажмурясь, навстречу льющемуся холодному дождю, и в этом водяном плену, перехватывающем дыхание, вспомнил, трезвея, о тех солнечно-морозных утрах зимы сорок пятого года, когда после пота, грязи передовой он был влюблен в эту воду, в эту ванну — ни с чем не сравнимое чудо человечества, как тогда счастливо казалось ему.

— Теперь растирайся до боли! Почувствуешь себя младенцем! — Константин приоткрыл дверь, подал мохнатое полотенце, затем крикнул из кухни: — Я сейчас крепкий чай сочиню. И все будет хенде хох!

Сергей не отвечал, растираясь колючим полотенцем,— тишина была в доме, как на степном полустанке, и шагов Константина на кухне не было слышно.

В распахнутое окошечко ванной прохладно тянуло ветерком летней ночи, чернело звездное небо за близкими силуэтами лип, и слабо доносились далекие паровозные гудки с московских вокзалов.

Когда Сергей вышел из ванной, Константин курил

около плиты, незнакомо застывшими глазами смотрел на закипавший чайник, на тоненько дребезжащую крышечку.

— Я тебя ждал сегодня,— сказал он.

— Дай сигарету.

— Я тебя ждал. Хотел поговорить. Очень...

— Сейчас ничего не буду рассказывать. До смерти устал. Дай сигарету и спички.— Сергей ногой подволок к столу табуретку.— Ася меня ждала?

— Сначала была Эльга Борисовна, потом я. Ты ничего не знаешь?

— Я многого не знаю, Костька...— вяло сказал Сергей.— Но меня ничем уже не удивишь.

— Н-да...

Константин полотенцем снял крышку чайника, прищурился на булькающий кипяток, проговорил непрочным голосом:

— Трудно мне сказать это тебе...

— Тогда не говори.

Было молчание. В ванне щелкали, отрывались от душа капли.

Константин, по-прежнему глядя на бурлящую воду, на пар, с тихой решимостью сказал:

— Слушай, Серега... Вот что. Я люблю Асю. Я хотел, чтобы ты... Я люблю ее. И вообще...

Константин со всхлипом затянулся дымом сигареты так, что колыхнулась грудь под полосатой ковбойкой, и договорил с длинным выдохом:

— Я должен был тебе сказать. Я люблю Асю. С сорок пятого. Когда ты был еще в армии.

— На кой черт ты мне говоришь это? — Сергей хмуро посмотрел на Константина.— То есть как любишь? В каком смысле?

Никогда он всерьез не думал об этом, но порой все же появлялась мысль, что, наверное, когда-нибудь вечером зайдет за Асей совсем незнакомый парень, лица которого он не мог представить, ее однокурсник, наделенный теми качествами, что могли бы понравиться в семье; он всегда был спокоен за нее, ибо была непоколебимая уверенность, что не мягкий отец, а он спустит с крыльца любого, кто попытается хотя бы намеком оскорбить его сестру. Он считал, что обладает силой покровительства старшего брата в семье, и то, что Константин нежданно открылся ему, вызвало в нем не удивление, а чувство чего-

то неправильного, не имевшего права быть. Он знал Константина со всеми его слабостями, и если бы он сказал сейчас о некоем очередном увлечении своем, только не о любви к Асе, это было бы вполне естественно и закономерно.

— Вот что,— проговорил Сергей,— с меня хватит всего... Я всем сыт по горло. Не понимаю тебя. Ты прошел огонь, и воды, и черт те что, а Ася святая. Ей нужен парень... ее поколения. Что у вас общего? На кой черт ты говоришь это? Я хочу спать. Мне надо выспаться. Основательно выспаться, Костька. У меня что-то часто стала болеть башка. Я устал.

— Все-таки выпей чаю,— посоветовал Константин и замолчал с мрачным, замкнутым лицом; смуглые пятна проступили на скулах, в темно-карих глазах пригасло обычное выражение иронически настроенного ко всему человека, раз и навсегда осознавшего опытом зыбкость истины.

— Считай, что этого разговора не было,— сказал он, и, показалось Сергею, голос его чуть дрогнул.— Кстати, тебе... звонили... Звонила Нина. В десять вечера. Забыл передать. Я с ней очень мило поговорил. Возьми чайник.

Ручка чайника была невыносимо горячей, Сергей ощутил его ошпаривающую тяжесть и мгновенно перебросил чайник на подставку.

— Спасибо. Уже не нужно.

— Что?

— Спасибо. Уже не нужно. Будем чай пить?

— Я ужинал. Пойду к себе. На верхотуру. Сверху, как говорят, виднее. Завтра утром — тю-тю! — уезжаю на практику. Под Тулу,— сказал Константин.— А все же, Серега, ты считал и считаешь меня за пижона. Так? Откровенно...

— Брось! Ты знаешь, как я к тебе отношусь!

— Нет! Но ведь кто понимал друг друга, как не мы с тобой, кто? И уж если откровенно... ты всегда был серьезный малый, и меня тянуло к тебе, а не тебя ко мне. И я у тебя кое-чему научился, а не ты у меня. Так?

— Брось сантименты, Костька. Я просто был «чересчур смелым человеком» и ничему не научился. А жаль.

— Будь здоров! И не городи ерундовину перед сном — вредно.

Константин взбежал по лестнице на второй этаж.

Здесь, наверху, он прошел сквозь темноту коридора

в свою комнату, ощупью нашел выключатель, зажег свет, и его окружил давно привычный ему хаос холостяцкой обстановки — пыльные книги в громоздком шкафу, иллюстрированные, затрепанные донельзя журналы, повсюду раскиданные на стульях, порожние бутылки из-под пива на подоконнике, кинофотография Дины Дурбин над письменным столом, пепельница-раковина, переполненная окурками; на тумбочке — портативная с пластинками мировой «джазяги» радиола, по случаю купленная в сорок пятом году у летчика, приехавшего из Венгрии. Но чего-то не хватало здесь. Он не находил себе места. Ему не хотелось спать.

Он включил радиолу на тихий звук, полулег в мягкое облезлое кресло, вытянулся в нем — пластинка раскручивалась, шипела, возникли точно отдаленные пространством звуки джаза,— и он, слушая хрипловатый низкий женский голос, потирая лицо и горло, морщась, напевал шепотом: «О Сан-Луи, ты горишь вдали...»

Ночью Сергея разбудил телефонный звонок.

Минут сорок назад, чтобы уснуть, он принял люминал, найдя снотворное в аптечке отца, и сон тяжело потянул его во тьму. Он чувствовал, как засыпал, и чувствовал, как нарастает что-то неспокойное, смутное, то приближаясь, то удаляясь,— как человек, как летящее тело между небом и землей. Но это не было ни человеком, ни телом. Что это было, он не мог понять.

...Потом появились какие-то темные, как туннель, ворота, а позади — он видел — под луной блестела каменная площадь. И он вбежал под арку — преследовал его, настигал, бил остро в спину грохот подкованных сапог.

Этот грохот раздавался на весь город, а людей нигде не было на пустынно мертвенных улицах. Только стучали, приближаясь, железные подковы сапог, отдаваясь тоской в сердце.

Он бежал через арку, через черный туннель, он заметил впереди светящееся под луной отверстие выхода, но мысль о том, что он совсем один в городе, что у него нет оружия, кидала его как сумасшедшего из стороны в сторону. Хватая пустую кобуру, выбившись из сил, он домчался до выхода. Как спасение, как передышка, открылся этот выход... Четыре силуэта вышли навстречу ему, загородив проход из туннеля. Он не видел их лиц, не

видел их мундиров, но знал, что это немцы, и в то же время его настигал металлически ударяющий цокот подков за спиной. И он понял, что пропал, что его окружили и нет выхода из смертельной ловушки,— это конец, его предали...

Отступая, он еще напрасно рванул пустую кобуру на боку,— и тут жестокое, душное, цепкое навалилось на него, ломая тело, выкручивая руки. Вырываясь из тисков, он осознавал, что это последнее в его жизни, что он погибнет сейчас, и почему-то особенно ясно успел заметить за спинами людей в черном чье-то очень знакомое огромное лицо с усиками, но кто это был — никак не мог вспомнить. И вдруг узнал это лицо по крутому подбородку, по улыбающимся губам и, узнав, крикнул, задохнувшись: «Уваров? Уваров!.. Где, сволочь, твой партбилет? Сжег?» И от удара, падая под сапоги, уловил радостный знакомый рев: «В сердце! Бейте его в сердце! В сердце... Он сейчас умрет!»

Сергей очнулся от этого крика, от назойливого постороннего звука.

Открыл глаза — огромная, тяжелая, раскаленная, во все окно луна светила низко, душно, нацеленно прямо в зрачки ему. Он лежал, боясь оторвать взгляд от нее, боясь пошевелиться, скачущими рывками билось сердце; казалось — оно разорвется. «Это сон, неужели сон?» — спросил он себя и приподнялся: настойчиво звонил телефон, накрытый подушкой.

И этот придавленный настойчивый звук стряхнул с него одурманивающий кошмар забытья.

Он вскочил с постели, снял трубку.

— Да,— сказал он хрипло, глядя на отсвечивающие под луной часы на столе. Шел второй час ночи.

— Прости, пожалуйста, я разбудила тебя? Ты спал? Сережа, я хочу тебя увидеть! Обязательно! Сегодня, сейчас!

— Кто это? — Он еще плохо соображал; колотилось сердце и после сна, и после торопливого этого голоса: — Кто?

— Не узнаешь? Это я... Я тебе звонила! Я тебе вчера звонила, сегодня звонила...

— Кто это? Ты мне звонила? — переспросил он.— Нина?..

— Да, да! Я вчера вернулась, я тебе звонила. Послу-

шай... Я звоню из автомата. Я сейчас приеду к тебе... Ты слышишь, Сережа?

— Я не могу сейчас,— выговорил он.— Я не могу... И не надо мне звонить.

— Сере-ежа!..

Он прервал разговор и, накрыв подушкой телефон, с тоской почувствовал, что не так говорил, не так ответил, что не думал все это время о ней, о ее муже, который вернулся в Москву. И как только опять лег и увидел висевшую в квадрате окна чудовищно красную душную луну, почудилось — оборвались все реальные нити с миром.

Снова затрещал под подушкой телефонный звонок, похожий на задушенный крик. Он оглянулся на дверь в комнату Аси, затем схватил свою подушку и накрыл ею телефон — так было легче.

Телефон трещал слабым, жалобным звонком, задавленный подушками. Его звук походил на прерывистый комариный писк. Потом он замолк. С ударами крови в висках Сергей лежал, не испытывая облегчения. Предметы в комнате сместились, потонули в тени — луна заметно сдвинулась над железными крышами к краю окна, был виден из-за рамы багровый раскаленный кусочек ее. И стояло в мире такое безмолвие, какое бывает, когда в лунную ночь переползает через бруствер на нейтралку разведка — туда, в сторону немого гребня немецких окопов...

Он услышал с улицы легкий шум подвывающего мотора, потом четкий и сильный щелчок дверцы, и сейчас же побежал стук каблуков во дворе.

«Неужели она? Не может быть»,— подумал, еще сомневаясь, Сергей и потянул со стула брюки, от волнения не попадая ногами в штанины; робкий, просящий звонок забулькал в коридоре.

Он бросился к двери по темному коридору, нажал, открыл замок и, не говоря ни слова, быстро вернулся в комнату, оставив дверь открытой.

— Сергей!

— Здесь спят.

— Сергей!

В сумраке забелел плащ — она вошла, затихла, остановилась за порогом комнаты.

— Зачем ты приехала? — спросил он нерассчитанно громким голосом.

— Сережа,— сказала она и с робостью выступила из сумрака на лунный свет.— Я не могла ждать. Ты послушай...

— Зачем ты приехала? Для чего? — спросил он холодно.

— Сере-ежа-а, я ничего не понимаю...

Она как-то неумело, не по-женски заплакала, приложив руки к груди, и, плача, опустилась на стул, сжавшись, локтями доставая колени. Он смотрел на нее растерянно.

— Идем,— сказал он.— Асю разбудим. Идем. Я провожу тебя.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Я сегодня узнала все...

— Что ты узнала?

— От Аркадия... от Уварова. Он не был два года и зашел сегодня...

— Ну и что? Что ты узнала?

— Послушай, Сергей, я жалею, что хотела помирить тебя с ним! Жалею! Думала, все проще... Я просто верила Тане. А он притворялся, ждал. И дождался.

— Ты это хотела мне сказать?

— Послушай, Сережка, перестань! Как все мелко, ужасно мелко по сравнению... что случилось с твоим отцом! Это самое страшное, что может быть. И еще смерть.

— Это он рассказал?

— Будь осторожен! Пойми, он не шутит, он пойдет на все. Не горячись на партбюро, будь доказателен. И взвесь все — это главное. Уваров не так прост! Знаешь, что он сказал? «Ну все, конец, ваш Вохминцев испекся!» И какое было лицо — спокойное, лицо победителя! Сережа, послушай... Он сказал: завтра или послезавтра будет партбюро. У тебя есть время. Если оно тебе нужно. Знаю, ты можешь быть сильным, но ты... Пойми, они не шутят! Они не шутят!

— Что ж, спасибо... Я проводил тебя до Серпуховки.

— Подожди! — попросила она.

Они стояли на углу, в густой тени каменного дома, возле наглухо закрытого подъезда.

— Еще...— сказала она.

— Что «еще»?

— Еще проводи. Мне страшно.— Она поежилась.

Пустынная Серпуховская площадь с темным прямоугольником универмага, низким зданием шахты строящегося метро была огромной, безжизненно-синей; металлически блестели под луной дальние крыши, и маленькая фигурка постового милиционера посреди пустой площади казалась неподвижной, неживой. Луна будто умертвила город, и даже не было ночных такси, обычно стоявших на углу.

— Сергей...

— Пойдем,— прервал он.

Она замолчала. Он не смотрел на нее.

Но когда свернули на узкую Ордынку, стало темнее на тротуаре от застывших теней лип, тихая мостовая за ними лежала мертвенно-гладкая, полированная под лунным светом. Он взглянул на Нину сбоку.

Она шла, двигалась рядом, изредка касаясь его плащом, и он видел ее всю — от этих стучащих по асфальту каблуков, этого коротенького старого плаща до молчаливо сжатых губ,— и все было знакомо, тепло, нежно, но одновременно не исчезала ревнивая горькая неприязнь к ней после того, как в этом же плащике он встретил ее с мужем возле метро, и муж, самодовольный, уверенно и нестеснительно обнимал ее за плечи. Он хотел спросить просто: зачем он приехал, почему она не сказала об этом, но боялся сейчас снова сбиться на тот отвратительный самому себе, неприятный тон, каким разговаривал, когда она вошла в его комнату: что бы ни было между ними, он не имел права унижать ее.

Ее каблуки стучали медленнее. Затихли.

— Мы почти дома,— послышался ее осторожный голос, и он увидел: она повернулась грудью, руки засунуты в карманы плащика, в глазах — ждущее выражение.— Спасибо. Ты меня проводил.

Он уловил этот взгляд и хмуро посмотрел вверх. Над аркой ворот, под тополем эмалированная дощечка с номером дома была, как прежде, мирно освещена запыленной лампочкой. Вокруг желтого огня хаотично мелькали ночные мотыльки, стукались, трещали о стекло, роились легким шорохом в листве.

— Я не имел права,— сказал он,— разговаривать так с тобой...

— Еще,— попросила она, несмело улыбаясь, и робко сняла мотылька, упавшего ему на плечо.— Упал к тебе,— сказал она,— прости...

— Что, Нина?..

— Скажи что-нибудь еще. Я прошу...

Она раскрыла ладонь, поднесла к глазам, внимательно рассматривая белого мотылька, который полз по ее пальцам, и Сергей видел ее наклоненный лоб, брови, и в эту минуту ненужное внимание к этому мотыльку вдруг показалось ее правдой, ее естественностью.

— Ну, теперь все,— сказала она и стряхнула мотылька.

— Что «все»? О чем ты говоришь? — спросил он и так порывисто обнял ее за плечи, что у нее безвольно-жалко откинулась голова.— Я не понял, что «все»?

— Я люблю тебя, Сере-ежа... А ты? Ты?

Она качнулась к нему, повторяя: «А ты? Ты?» — и он, чувствуя близко ее почти родные губы, неистово прижался к ним, как будто хотел ей сделать больно.

— Я хочу тебе объяснить. Да, мой муж был в Москве. Ты знаешь, что с ним случилось?

— Нет.

— У него неудача с экспедицией. Его отзывали в Москву, а он не ехал. Он боялся встречи с московским начальством. Ему могут больше не дать экспедицию.

— Он воевал?

— Да. Он майор, командовал саперной ротой.

— Ну и любил тебя?

— На второй месяц сказал, чтобы я не ограничивала его свободу. Потом узнала, что он ездил в районный городок к одной женщине. Я собрала чемодан и перевелась в другую экспедицию. Позже — в Москву. Не будем говорить об этом...

Они помолчали.

— Я только сейчас вспомнила... Знаешь, что он сказал? «Сергей — декабрист, а наше время не для декабристов».

— Кто это сказал?

— Уваров. Ты понимаешь, что это значит?

— То, что сволочь, для меня не открытие. Но он забыл, что наше время не для таких подлецов, как он.

— Он сказал, что ты уже не коммунист, что тебя выгонят из института, Сережа. Но я не хочу верить...

— Если даже со мной что-нибудь случится, я пойду

работать шахтером, забойщиком, я могу носить мешки, грузить вагоны. Я все могу... Только... Только бы...

— Что, Сережа?

— Только... Я хотел бы, чтобы никто не собирал чемодан и не переводился в другую экспедицию.

— Сере-ежа-а, ты не должен об этом... Ты никогда не думай, что я могу... Я могу бросить все, понимаешь? И пойти с тобой уголь грузить, что угодно! Я не знаю, как это передать — что я чувствую к тебе... Как это передать?

— Этого не будет, чтобы ты грузила со мной уголь, этого никогда не будет...— говорил он с нежностью и отчаянием, исступленно обнимая и целуя ее в ледяные губы.— Ты увидишь, этого никогда не будет...

В тишине тоненько и звеняще тикали часы на стене.

Константин, уже одетый, сидел в кресле, растирая рукой грудь,— зябкость утра, вливающаяся через открытое окно, щекотно касалась кожи лица,— и прислушивался к ранней возне воробьев в дворовых липах. Потом воробьи с резким шумом брызнули под окнами из розовеющих ветвей: стукнула форточка на нижнем этаже — одинокий звук эхом раздался в пустоте спящего двора. Ему представилось отчетливо, что форточку закрыли в комнате Аси, и Константин, вмиг очнувшись, вспомнил о времени своего отъезда.

«У меня есть четыре часа,— думал он.— Я сначала зайду к ней, потом я пойду *туда*... Успею ли я все сделать, все как нужно, все как надо? А что раньше, коленки дрожали — не мог отнести эти деньги? Вот они, быковские десять тысяч. Что ж, деньги лежали у меня две недели. Долго собирался. Будет вопрос: «А чемоданчик-то с бостоном в Одессу вы привезли?..» Что докажешь? А может, сказать — нашел деньги?.. К черту их! Смотреть на них не могу! Так что же, Костенька, действуй, вперед, милый, подан свисток атаки, хватит лежать в окопах, в тебя стреляют, в Сережу, в Асю... и не холостыми патронами, а бьют наповал, в голову целят!..»

Константин, охваченный холодком, раскрыл чемодан и, раскидав белье, достал со дна завернутую в газету пачку денег, вложил ее, туго надавившую на грудь, во внутренний карман.

Сделав это, он начал бросать в чемодан белье и ковбойки и, захлопнув крышку, щелкнул никелированными замками — все было готово. Он знал, что не вернется сюда до осени: практика на шахтах длилась два месяца. Он оглядел комнату без сожаления — этот когда-то уютный и привычный ему беспорядок — и ничего не тронул, ни к чему не прикоснулся, только накрыл старой газетой ящик радиолы. «Оревуар, старина!»

«Вот и все, Костенька,— сказал он себе,— вперед, милый!»

Когда, заперев комнату, он быстро спустился по лестнице на первый этаж и тут, стараясь не натолкнуться на вешалки, прошел тихий коридор, нигде не было ни звука — дом еще спал. Константин задержался перед дверью Вохминцевых с желанием постучать, разбудить и Сергея и Асю, но, так и не решившись, подсунул под дверь записку в конверте, написанную ночью.

Старый и чистый асфальт двора предстал в этот час зари огромным, пустынным, и было странно видеть в окнах неподвижные алеющие занавески и закрытые двери парадных — везде покой, сон, и лишь стая проснувшихся на рассвете воробьев все сновала, чирикала, возилась в липах над окнами Вохминцевых, и от этой возни дрожала, покачивалась там багровая листва.

Он стоял и смотрел на окна в комнате Аси: в тени они отливали скользким мазутным светом.

Потом, переборов себя, озябнув весь, он подошел и едва внятно, ногтем тихонько притронулся к стеклу три раза.

И с замиранием в горле глядел вверх, ждал.

Он постучал еще — тихонько отдернулась занавеска, за стеклом мелькнуло плечо Аси, распахнулась форточка над его головой, и он расслышал ее голос:

— Костя, Костя, это ты, да?

И Константин, увидев в это мгновение ее лицо в форточке, упавшие на глаза короткие волосы, сказал глухо:

— Я уезжаю в Тулу, Ася. На практику. До свидания. Я уезжаю...

— Костя, Костя, я слышала твои шаги. Ты ходил у себя в комнате. Ты разве не спал, Костя? — проговорила она шепотом в форточку, взобравшись на стул, и глаза ее испуганно увеличились.— Чемодан... Ты с чемоданом?

— Я уезжаю в Тулу, Ася,— повторил он.— Записка

Сережке под дверью. Для него. До свидания, Ася, не болей... Ну его к черту — болеть! — Он улыбнулся.— До свидания! До осени!

— Костя, Костя, что же будет?

— Прекрасно будет.

Он прощально поднял руку, пошевелил пальцами, все стараясь улыбаться ей, и тогда увидел, как она прижалась лбом к стеклу и заплакала, со страхом глядя на него сквозь свесившиеся волосы, и стала кивать ему, и тоже подняла руку, приложила ее к стеклу.

И он отошел от окна, не поворачиваясь, пошел спиной вперед по асфальту пустынного двора.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Ася, я в институте задерживаться не буду. Тебе полежать надо. Зачем ты встала к телефону?

— Ты спал. А из партбюро звонили два раза.— Она перевела на него темные на бледном лице глаза: сидела на кровати, в накинутом на плечи халатике, в тапочках на босу ногу, отвечала слабым шепотом: — Ты ничего не слышал? Приходил Константин прощаться. Он уехал на практику. Оставил тебе письмо. Сережа, ты не вызывай больше врачей. Мне лучше.— Она отвернулась к стене.— Бедный папа, где он сейчас? Как мы будем без него? И как он без нас? Как он?

— Ася, позавтракай и ложись. Я не буду задерживаться. Я уверен: ошибки потому ошибки, что их исправляют.

Он спал всего часа три (вернулся домой на заре), а когда вышел на крыльцо, на утреннее слепящее солнце, все было, казалось, в песочной дымке, что-то мешало глазам, резало веки, и болели мускулы. Он чувствовал усталость, и долгое, намеренно тщательное бритье и горсть колючего одеколона не освежили его полностью.

— Добрый день, здравствуйте, Сергей Николаевич! — раздался из этого неясного, как бы суженного мира кашляющий голос.— Добрый день!

Возле крыльца, в жидкой тени, Мукомолов в нижней рубахе щеткой буйно чистил, махал по рукавам висевшего на сучке липы старенького пиджачка, в зубах торчала погасшая папироса. Завидев Сергея, он с лихостью потряс щеткой в знак приветствия.

— А вы знаете, она права! — воскликнул он, смеясь одними глазами.— Да, да, женщины часто бывают правы! Могу сообщить вам — меня разбирали!

— Где разбирали? — спросил Сергей, не сообразив еще, и, хмурясь, зажег спичку, поднес к потухшей папиросе Мукомолова.

— В Союзе художников! — Мукомолов заперхал от дыма.— Нацепили столько ярлыков, что будь они ордена — груди не хватило бы! Так и обклеили всего, как афишную будку.— Он закашлялся, щеки стали дряблыми.— Простите, Сергей, я несколько... очень устал, выдохся вчера. На это наплевать. Это все чепуха, мелочи, дрязги... Да, да. Это чепуха! Ниоткуда меня не выгонят, я зубастый!

Он согнал с лица возбужденное выражение — и сразу потух, морщины обозначились вокруг глаз его.

— Простите меня, как с Николаем Григорьевичем? Что известно? А все остальное — чепуха, чепуха. Не обращайте внимания.

— Пока ничего.

— Н-да! А как Асенька?

— Кажется, лучше.

— Это уже хорошо. Заходите вечерком. Буду очень рад, очень рад.

Эта оживленность Мукомолова не была естественной, он за этот месяц постарел, бородка островками заблестела сединой и словно бы согнулась спина, ослабла походка — все это видел Сергей, но в то же время не видел, все это смутно проходило мимо его сознания.

Только на троллейбусной остановке он понял, что торопился, хотя знал: торопиться было бессмысленно.

Он несколько удивился тому, что заседание партбюро проходило в директорском кабинете.

Слои дыма замедленно переваливались в солнечных этажах над столом, и кожаные кресла в кабинете, зеленое сукно стола, графин с водой, белеющие листки бумаги, карандаши на них были неистово накалены июльским зноем. Уличный асфальтовый жар душно и маслено входил в окно, лица лоснились потом.

Сергей сидел в стороне от окна, около тумбочки, вентилятор, звеня тонким комариным зудом, вращался за его спиной. Прохладный ветер от шуршащих лопастей

немного освежал его: он то видел все реально, то темная пелена нависала над глазами, и тогда лица Свиридова, Уварова, Морозова за столом не были видны отчетливо. И в эти минуты он пытался всмотреться в насупленное лицо Косова и в не очень хорошо знакомые лица остальных членов партбюро, в углубленном молчании чертивших карандашами по листкам.

— Если он не понял этого, то должен понять. Я говорю прямо, в глаза ему. Обман партии — преступление. Понял ли он? Нет, как видно, не понял...

Сергея удивляло и то, что сейчас он был спокоен, он даже усмехнулся чуть-чуть, разобрав этот сухой голос Свиридова. Тот стоял очень прямой — прямые узкие плечи, ввалившиеся лимонные щеки задвигались, когда, выталкивая изо рта жесткие, бьющие слова, поправил желтыми пальцами толстый узел галстука, застегнул среднюю пуговицу на пиджаке.

«Зачем он поправляет галстук, для кого это? Почему он не снял пиджак — для официальности? Или торжественной строгости? Почему он? Почему именно он?.. У него гастрит или язва? И больная нога... был ранен? Верит ли он в то, что говорит?»

— Я изложил членам партбюро подробно все как было, когда Вохминцев пришел отказываться от практики. Это только факты.

Сбоку взглянув на Сергея, Косов, мрачно-замкнутый, медленно вынул из кармана брюк трубочку с вырезанной головой Мефистофеля, с железной крышечкой, сосредоточенно начал набивать ее табаком.

«Кто подарил ему эту трубку? Кажется, Подгорный... На подготовительном еще, в сорок пятом...»

— Вохминцев, возьмите пепельницу,— ровным голосом сказал Морозов.

«Он что, успокаивает меня?»

Сергей встал, подошел к столу, взял одну из расставленных на зеленом сукне металлических пепельниц, сел на место. И спокойно поставил пепельницу на подлокотник кресла. Все посмотрели на него: внимательно — Свиридов, мельком, как бы хмуро осуждая,— Уваров, вопросительно, из-под собранного складками лба,— Морозов. Директор института, весь сахарно-седой, подтянув заметное брюшко, этот постоянно веселый профессор Луковский, в чистой крахмальной сорочке, натянутой на округлых мягких плечах, с засученными до полных лок-

тей манжетами (горный мундир висел на спинке стула), молча поерзал на кожаном сиденье кресла в глубине кабинета, тоже достал папиросу, проговорил: «Хм» — и опустил белые брови.

«О чем они думают сейчас все? Они. Все... О том, что я обманул партию? О чем думает Луковский? И он, кажется, неплохо относился ко мне... О чем думает Косов?»

— Я хочу добавить еще к этому следующее, и мне не даст соврать Аркадий Уваров. Однажды во время встречи Нового года — и я и Аркадий Уваров были в одной компании — Вохминцев демонстративно пытался сорвать тост за Иосифа Виссарионовича Сталина. Да, это было. И, видимо, это, мягко выражаясь, не случайно...

Желтые щеки Свиридова сжимались и проваливались, сухие губы выбрасывали слова, как ржавые режущие куски железа, и Сергей, глядя на высушенное лицо его, почему-то некстати подумал, что ему вредно есть мясо, и представил, как он брезгливо ест, двигая провалами щек, и как жена его (какая она могла быть?) и дети (у него, говорили, было двое детей) глядят на его щеки. О чем он говорит дома? И как? Или ложится на койку с грелкой и жалко стонет, страдая от болезни?

— И последнее...— Свиридов сухощавой, будто из одной кости, рукой налил себе из графина воды, выпил залпом — заползал кадык над толстым узлом галстука.— И последнее...— Он наклонил сурово окаменевшее лицо, нашел на столе листок бумаги, после чего значительно оглядел всех.— Последнее... Это заявление в партбюро от члена партии и члена нашего партбюро Аркадия Уварова. Я его прочитаю...

С однотонным шуршанием вентилятор вращался на тумбочке, дуя на волосы Сергея теплым ветром, из окна отдаленно доносились шум улицы, гудки автомобилей, крики детей на бульваре, а рядом, здесь, в папиросном дыму, в душной от толстого ковра под ногами, от нагретых кожаных кресел комнате — здесь настойчиво металлически звучал голос:

— «...назвал меня фашистом. Я считаю, что это самое низкое, самое грязное политическое оскорбление. И я как коммунист прошу партийное бюро разобраться в этом. Член ВКП(б) с 1945 года Уваров».

«В сорок пятом году, значит... Где он вступил в партию, в запасном полку? Конечно, так. На фронте его не

могли принять. И впрочем, в запасном полку, если бы знали... Но он знал, где вступать».

— Перед тем как перейти к обсуждению дела члена партии Вохминцева, перед тем как спросить его, как он дошел до жизни такой, хочу добавить: мы, члены партбюро, авангард, мы в первую голову несем ответственность за высокую идейность членов партии и беспартийных, мы виноваты в том, что развели гнилое болото в институте. Заявляю со всей ответственностью: спустя рукава, нечетко работали, без огонька, и потеряли принципиальную партийную бдительность! Арест первокурсника Холмина и... это позорное дело члена партии Вохминцева должны быть суровым уроком для всех нас. Прошу высказаться. Думаю, регламент устанавливать не стоит, поскольку дело слишком серьезное.

В тот момент, когда Свиридов произнес «развели гнилое болото в институте», Уваров подтверждающе закивал с серьезным лицом, директор института профессор Луковский опять неудобно, грузно зашевелился в кожаном кресле, строго воздел и опустил седые брови. Весь институт знал: этими косматыми бровями профессор Луковский в официальных разговорах скрывал доброту свою, веселую подвижность маленьких живых глаз, и Сергей не видел сейчас их — брови низко опущены, косматились белыми гусеницами, и лишь дедовское брюшко профессора, округлые плечи говорили о прежней его домашности. Было тихо, карандаши членов партбюро чертили по листкам.

«Кто будет сейчас выступать? Уваров, Луковский? Ах, Морозов...»

Морозов погладил лоб, бегло глянул на Свиридова, произнес с грустной шутливостью:

— В порядке реплики, Павел Михайлович. Вы уж, думаю, чересчур смело заострили...

Он улыбнулся, обнажая щербинку меж передних зубов, и подумал Сергей, что реплика эта была подана только для того, чтобы как-нибудь разрядить обстановку.

— Гнилой либерализм никогда, Игорь Витальевич, до хорошего не доводит,— жестко отрезал Свиридов.— Мы перед лицом фактов. А факты — упрямая вещь. Когда я шел работать к вам в партийную организацию, надеялся: преподаватели, опытные коммунисты, будут помогать мне. Не всегда помогают. Студенты больше помогают — это тоже факт. Да, факт! Я прямо скажу — могу гордить-

ся Уваровым как коммунистом, который помогал больше всех. И об этом я буду докладывать в райкоме.

— Хм,— полукашлянул, полупромычал профессор Луковский, завозившись в кресле, по-прежнему скрывая глаза косматым навесом бровей.— Мм... Хм...

Все посмотрели на Луковского, но тот молчал, сопел недовольно, скрестив пухлые руки на животе.

— Прошу коммунистов высказываться.

Снова было тихо. Морозов посмотрел вокруг, начал задумчиво водить карандашом по бумаге, и то, что он никак не ответил Свиридову, то, что Свиридов заговорил о помощи Уварова, то, что его слова о беспомощности преподавателей невольно прозвучали как угроза и предупреждение, вызвало в Сергее не злость, не гнев, а какое-то насмешливое чувство к Свиридову и к замолчавшему Морозову.

— Прошу высказываться, время идет, товарищи члены партбюро.

— Что ж вы, дорогой мой, а? Как же это? Не понимаю, голубчик!

Заговорил профессор Луковский, телом наклонясь вперед, к стулу перед креслом, где висел его директорский мундир, с недоумением взглядывая из-под бровей на Сергея, и его голос зазвучал распекающим тенорком:

— Что ж это вы, а? Солгали партбюро... мм... скрыли... о своем отце... и потом отфордыбачили еще такое, что ни в какие уклады не лезет, голубчик. Обругали хорошего студента, партийца, своего однокашника, фашистом. Вы же сами отлично воевали, знаете, что такое фашизм. Вы что же, позвольте спросить... мм... кхм... убежденно оскорбили его этаким политическим обвинением? Или вгорячах, так сказать, ляпнули: на, мол, тебе, ешь!

— Абсолютно убежденно! — ответил Сергей, и при этих словах обмякло, вмиг растерялось лицо Луковского, разом повернулись головы, и Сергей увидел: плечи атлетически сложенного Уварова как-то бугристо напряглись, обтянутые тенниской, но он не обернулся, не изменил позы, продолжал спокойно рисовать на бумаге.

— Этим словом не ляпают, Вячеслав Владимирович, я хорошо знаю ему цену, с войны! — сказал Сергей.

— Тогда извольте доказательства, дорогой вы мой... доказательства, если уж... хм!

— Пусть он расскажет вам, за что я бил ему морду однажды в ресторане, в сорок пятом году. Думаю, он это честно не расскажет!

— Да, пусть объяснит. Пусть объяснит Уваров! — на все стороны оглядываясь, вставил малознакомый парень в синей футболке.— Все надо выяснить, товарищи. А как же?..

И только сейчас Уваров оторвался от бумаги, проговорил устало, покойно:

— Почему же ты так уверен, Вохминцев? Я расскажу. Почему же... Что ж, разрешите мне, уж коли так далеко зашло.

Он кивнул Свиридову, аккуратно положил карандаш на расчерченный листок бумаги и, не спеша поднимаясь, печально улыбнулся всем голубыми, покрасневшими глазами.

— Вот видите, получается странно,— заговорил он с мягким удивлением и как бы смущенно пробежал пальцами по светлым волосам.— Я не хотел даже здесь выступать. Почему — я объяснял это Свиридову перед партбюро. Ну что ж, если уж так, я должен объяснить. Хорошо. Коротко расскажу по порядку. Мы знакомы с фронта. Здесь Вохминцев напомнил о ресторане, видите ли, о нашей встрече в сорок пятом году.— Он в раздумье перекатил карандаш на сукне, уперся в стол кулаком.— Право, не знаю, мне очень бы не хотелось вспоминать одну трагическую историю и... ну... косвенно, что ли, утяжелять вину Вохминцева. И так достаточно. Но уж если он сам затронул, я вынужден рассказать. В сорок четвертом году, да, осенью сорок четвертого года, мы служили в Карпатах, я командовал второй батареей, Вохминцев — третьей. Да, я, кажется, не ошибаюсь — третьей. Ночью нас вызвали в штаб дивизиона, и Вохминцеву был отдан приказ немедленно выдвинуться вперед на танкоопасное направление, мне — прикрывать его орудиями с фланга. Ну, получилось, говоря вкратце, вот что: Вохминцев, то ли не разобравшись в обстановке, то ли еще почему — не буду додумывать,— завел батарею в расположение немцев, в болота, так что орудия нельзя было развернуть, а утром немецкие танки в лоб расстреляли батарею. Да, погибли все, исключая вот...— Он с выражением мимолетной боли подумал несколько, показал в сторону Сергея.— Вохминцева. Но и он был ранен. Я прибыл утром

к Вохминцеву, и тут случилось странное: он стал обвинять меня в том, что я погубил его батарею, не поддержал огнем. Но дело в том, что я и не мог поддержать его батарею, так как Вохминцев завел орудия на пять километров в сторону, к немцам, а стрелять, как известно, надо было прямой наводкой. Добавлю, что от трибунала Вохминцева спасло ранение и эвакуация в тыл. А потом, как это бывает на войне, затерялись следы. Вот первое.— Он наклонился к столу и, вроде бы отмечая первое, стукнул карандашом по бумаге.

«Вот, значит, как!..— подумал Сергей.— Вот, значит, как он».

— Забыл,— проговорил Уваров и поднес руку к влажному виску,— забыл о главном. Мы случайно встретились в ресторане в сорок пятом году. И там была, как говорят, неприятная стычка между нами. Это еще первое. Второе.— Уваров, словно стесненный необходимостью добавлять подробности, немного помедлил.— Это уж совсем разговор не для партбюро, и стоит ли об этом говорить — не знаю... Второе... совсем личное. И может быть, отсюда постоянная ко мне неприязнь, ненависть, что ли. И здесь я не знаю, что делать. Начиная с фронта, Вохминцев все время испытывает ко мне какую-то странную ревность, совершенно непонятную.— Он удивленно пожал плечами, оглядел всех с полуулыбкой.— Не знаю — в чем ему завидовать мне? Мы равны. Вот все. Я просто должен был объяснить, почему я не хотел выступать на партбюро. Но я протестую против политического оскорбления, недостойного коммуниста.— Голос Уварова окреп, потвердел и снова зазвучал смягченно: — Часто я думал, прошло много времени с войны. А время меняет людей... Вот и все,— повторил он и сел с неловкостью, точно извиняясь за вынужденное выступление, и как после принужденного, неприятного труда очень утомленно провел ладонями по лицу, будто умываясь, стирая незаметно пот, закончил почти сконфуженно: — Простите, говорил сумбурно, наверно, не совсем убедительно. Здесь много личного...

— А свидетели есть у вас? — донесся из угла комнаты низкий голос парня в футболке, и в тишине слышно было, как заскрипел стул под ним.— Есть?

И голос Уварова ответил с прежней полуулыбкой:

— Для этого нужно искать однополчан, фронтовиков. Но я ничего не пытался доказать.

В эту секунду Сергей, не подымая глаз, совсем неощутимыми нажимами загасил сигарету в пепельнице на подлокотнике кресла — он боялся, что рука дрогнет, столкнет пепельницу, уже наполненную окурками, боялся, что он встанет, шагнет к столу, где спокойно и как бы смущенно, но незаметно вытирал со лба пот Уваров. Ему хотелось сказать: «Подлец и сволочь!» — и ударить, вкладывая всю силу, по этому смущенному, лоснящемуся лицу, как тогда в «Астории», в сорок пятом...

Но он не в силах был встать, не мог подойти к столу,— он сидел, опасаясь самого себя, чувствуя, что может сейчас заплакать от бессилия.

Все молчали. Жужжал вентилятор в духоте комнаты.

«Что я молчу? Что я молчу?..» — мелькнуло в голове Сергея.

— Значит, батарею погубил я, а не ты? — чуть вздрагивающим голосом проговорил Сергей.— Теперь понимаю... Переставил нас ролями: меня на свое место, себя — на мое. Я завидовал тебе? Может, поэтому? — Ему трудно было говорить, он перевел дыхание.— Потому что на твоей совести двадцать семь человек убитых? Если нужно, я многих могу назвать по фамилии... Ты не останавливался ни перед чем. За твое шкурничество в Карпатах ответил твой подчиненный, командир первого взвода Василенко. Когда танки расстреливали батарею, ты удрал и отсиживался в каком-то блиндаже, а потом раненого Василенко отдали под суд, хотя в штрафной должен был идти ты. Но на тебя доказательств не было — все погибли. Жаль, что меня ранило... И после я тебя не нашел на фронте...

— И что бы вы сделали, Вохминцев? — оборвал Свиридов, подозрительно косясь на Уварова.— Что?

— Дайте договорить! — громко бросил Косов.— Не перебивайте!

— Ты забыл одну деталь, Уваров. Когда танки добивали твою батарею, Василенко, уже контуженный и раненный, успел позвонить мне, и я приехал. Но среди убитых тебя не нашел. И если бы меня не ранило в тот день, ты был бы в штрафном, а не Василенко.

— Ближе к делу, Вохминцев,— опять перебил Свиридов, в то же время изучающе-внимательно взглядывая на Уварова.— Конкретнее!

— Потом я встретил его в сорок пятом и набил ему морду публично, и он не защищался и почему-то не под-

нял дела против меня. Ну а потом он заявил, что я еще до ареста должен был сообщить об отце куда следует.

— Как не стыдно, Сергей! — с упреком произнес Уваров, легонько поигрывая на сукне карандашом.— Нельзя же так. Нельзя... Так далеко можно зайти.— Он вздохнул и, по-видимому, этим сокрушенный, потупился в стол.— Может быть, мне, товарищи, все же не стоит присутствовать здесь ввиду... исключительного случая? Я бы попросил членов партбюро...— Лицо его стало скорбно-серьезным, он непонимающе поглядел на Свиридова, потом на неподвижно сидевшего Морозова.— Я попросил бы членов партбюро, чтобы это дело разбирали без меня. Есть мое заявление. Секретарь партбюро все факты изложил. Кажется, мое присутствие накладывает на непростое дело нечто личное...

— Это, кстати, умно придумано,— сказал Сергей, усмехаясь.— Молодец! Но ты объясни, где ты вступил в партию, в запасном полку?

— Ну а если так? — без выражения спросил Уваров.— Что же тогда?

— Я это знал. Кто тебе давал рекомендации?

Не повернув к нему головы, Уваров как будто не расслышал этого вопроса, и на миг Свиридов настороженно впился в его лицо замершими зрачками.

— Так кто, кто давал рекомендации? Назови. Забыл? — поторопил Свиридов.— Кто? Помнишь ведь?

— Подполковник Басов и майор Черенков. Но я все же попросил бы товарищей разбирать это дело без меня.

— Они, конечно, не знали тебя по фронту? — все так же резко проговорил Сергей.— Не знали?

— Ну и что же?

— Ничего. Просто на фронте свистели пули — и ты был ясен как на ладони, а в тылу опасности нет — и ты ловко умеёшь надеть на себя маску доброго малого. И в бинокль тебя не разглядишь!

Остро пекло солнце, густо плыл дым над столом, смещая, затуманивая лица. Профессор Луковский, насупленный, весь ушел в кресло, белые его руки были сведены на папиросной коробке, лежащей на коленях. Косов смотрел перед собой непроницаемо синими глазами, посасывая трубку; и угрюмо оглядывался на профессора Луковского мускулистый парень в синей футболке, пытаясь, видимо, что-то сказать, но не говорил; и в ту ми-

нуту показалось Сергею, что Морозов из-под наклоненного лба все время наблюдает за ним, а карандашом водит по бумаге машинально. «Неужели они не чувствуют все?» — скользнуло в сознании Сергея, и тотчас медлительный строгий тенорок заставил его взглянуть на Луковского.

— Зачем же, дорогой вы мой? Оставайтесь... хм... Вы член партбюро, и мы не вправе вас упрекнуть... мм... в личном. Я только хотел бы, чтобы вы не касались воспоминаний, хотя здесь все запутано и... серьезно, надо сказать. С обеих сторон. Перейдем к настоящему. Павел Михайлович, мы отвлеклись. А у меня, дорогой, полтора часа времени.

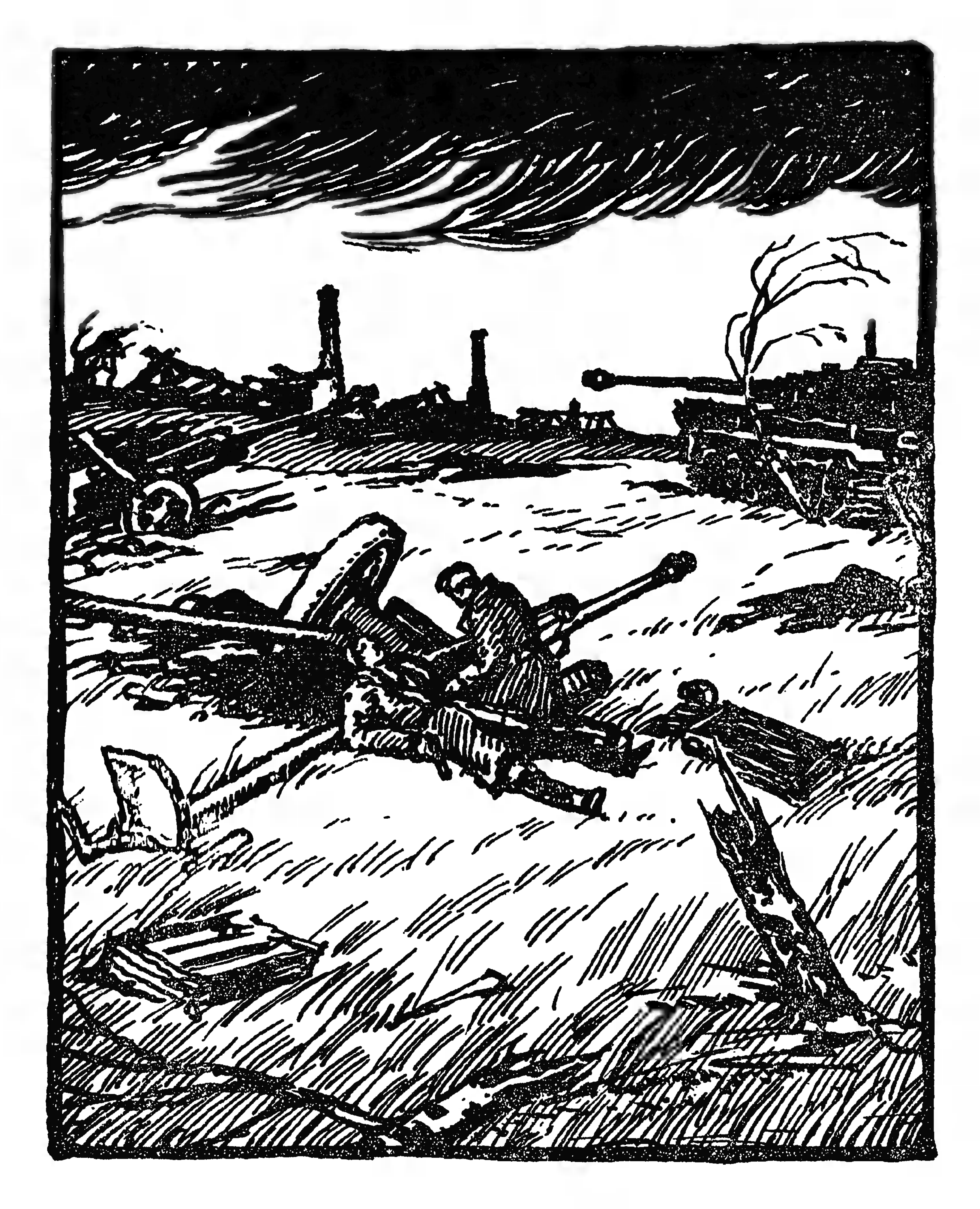
И Луковский, засопев, подался телом в кресле, показывая на ручные часы.

С подозрением слушавший до этого и Уварова и Сергея, Свиридов внушительно постучал карандашом по графину.

— Неорганизованно проходит партбюро. Ближе к делу. Конкретно. Факты, всё говорят факты. Мы не можем не верить коммунисту Уварову, поскольку фактов нет против него. Он не обманывал партбюро, не скрыл ареста своего отца, не оскорбил члена партии, товарища, гнусным политическим ярлыком. А так, знаете, Вохминцев, вы завтра на любого — погубил, убил... Для этих вещей доказательства нужны. Суровые доказательства. А мы тратим время на ваши домыслы и соображения. Факты, факты нужны. Прошу высказываться по существу вопроса. Слушал я, и даже неловко как-то, Вохминцев, знаете ли. Да, неловко, стыдно. Прошу высказываться! А вам посоветовал бы посидеть и крепко подумать над своими ошибками, товарищ Вохминцев. У меня как секретаря партбюро создается впечатление, что вы ничего понять не хотите.

«Значит, ничего не нужно?» — подумал Сергей уже с ощущением, что все гибельно рушится, ломается и он не может ничего изменить. И вдруг впервые в жизни он почувствовал непреодолимую жуть одиночества не оттого, что так просто решалась его судьба, а оттого, что ничего нельзя было доказать, оттого, что не верили ему, не хотели верить.

— Прошу высказываться конкретнее,— проник из духоты комнаты, как через толщу, неумолимо сухой голос Свиридова, и странная мысль о том, что какая-то высшая



человеческая справедливость не может остановить этот голос, что он, Сергей, ненавидит эти впалые щеки Свиридова, толстый узел галстука под кадыком, эти подозрительные, щупающие глаза, эту прямолинейность,— и мысль не вязалась с тем, что в руках Свиридова его судьба и он, Свиридов, направляет ее так, как не должно быть.

— Разрешите?

Сергей увидел, как сквозь серый туманец, низкорослую фигуру Косова; трубка, зажатая в кулаке, погасла;

возбужденный басок его стал ударять, кругло звенеть в ушах.

— Выступление Уварова для меня — это нежное блеяние оскорбленной овечки. Посмотришь на его «хилые» плечи — и не подумаешь, что он беззащитен. Его пытаются оклеветать, а он только улыбается и объясняет все личными отношениями. Абсолютно не верю в его фронтовые, так сказать, мемуары — рассказал все так, будто в обществе в платочек чихнул скромненько. Чепуха какая-то и, простите, баланда! Какого же святого молчал раньше Уваров, если уж так подробно изложил сейчас преступление Вохминцева на фронте? Хочу спросить и Вохминцева: почему до сих пор молчал и он? — Косов исподлобья повел на Сергея засиневшими глазами, перевалился с ноги на ногу.— Как парторг курса я должен сказать: Вохминцев совершил ошибку, и она, конечно, требует наказания. Но меня удивляет вот что: Вохминцев, грубо говоря,— подсудимый, и мы все судьи. Так, кажется? И судья — Уваров как член партбюро? А я бы хотел, чтобы мы одновременно поставили вопрос и об Уварове. Павел Михайлович, это и от вас зависит.— Он решительно повернулся к Свиридову.— Я Уварова плохо знаю, кашу с ним вместе не ел, под одной крышей не спал, и сейчас мы на разных курсах. Он выступал здесь, будто не обвинял, а ласкал насмерть Сергея. А я не верю тихоням с плечами боксеров!

— Вот как бывает, товарищи члены партбюро,— дошел до Сергея прыгающий от изумления голос Свиридова.— Парторг курса... Идейную, политическую незрелость вы показали, товарищ Косов! Не о коммунисте Уварове здесь идет речь, как вы знаете. Вы не верите Уварову, так говорите? А почему? Где факты? Как вы можете о своем товарище, коммунисте... Так необоснованно?

Он гневно замолк, в упор вглядываясь в лицо Косова, севшего на свое место; кончики ушей у Свиридова отливали под солнцем восковой желтизной.

Косов, не отвечая, возбужденно набивал в трубку табак, прижимал его крепкими пальцами, неожиданно засмеялся резковато и зло:

— Бог не выдаст, свинья не съест. Меня ведь коммунисты курса выбрали парторгом! Они и переизберут, если надо.

Свиридов привстал, опираясь на костылек, переложил

с места на место лист чистой бумаги перед собой, произнес иссушенным, как бы отталкивающим тоном:

— Вы отдаете себе отчет, товарищ Косов, как коммунист понимаете, что разбирается дело политического звучания? Я лично как секретарь партийной организации до последнего вздоха, до последнего... буду бороться за идейную чистоту партии...

Он трудно сглотнул, с гримасой потянулся к графину, но воды в стакан не налил, распрямился за столом:

— Коммуниста Уварова мы в обиду не дадим! Нет, не дадим, товарищ Косов! Кто хочет выступить?

«Он не верит ни одному моему слову, что бы я теперь ни говорил,— снова подумал Сергей.— И не верит уже Косову...»

— Вы говорите о бдительности и принципиальности, о чистоте говорите,— нашел в себе силы сказать Сергей.— Но рано хоронить моего отца и меня.

— Мы никого не хороним, товарищ Вохминцев! — не дал договорить Свиридов, застучав карандашом по графину.— Мы разберемся в вашем проступке объективно. Прошу не подавать реплики, вам будет предоставлено слово.

В эту минуту все молчали.

Он знал, что, если после всех выступлений признает свои ошибки, как бывало иногда с другими на партбюро, это смягчит многое. И, не в силах уже преодолеть немое чувство отъединенности, слушая глуховатый голос выступавшего Морозова, кажется, мягко защищающего его и в чем-то сомневающегося, затем журчащий тенорок Луковского, вставшего за креслом со сложенными по-домашнему руками на животе, потом вновь различая жесткий голос Свиридова, он почти на ощупь осязал два слова, змеисто поползшие в жарком воздухе комнаты: «выговор» и «исключить»; и «выговор» возникал в его сознании как нечто ватное, извилистое, серое; «исключить» — режуще-острое, со смертельным жалом на конце. И он только думал сейчас о том, что непоправимо проиграл время, что был нерешителен когда-то и теперь не мог, не умел ничего доказать. И как-то все эти секунды, с неослабевающим напряжением ожидая еще чего-то, что должно произойти,— он почувствовал вдруг тишину, надавившую на уши,— сквозь дым в комнате прояснилось лицо Свиридова на фоне белой стены, сбо-

ку от портрета Сталина, и голос Свиридова прозвучал, чудилось, над головой:

— Ну как, Вохминцев, не осознали свои ошибки? Будете говорить?

«И он воспитывает меня? И он считает, что воспитывает? — почему-то удивленно подумал Сергей, и в сознании мелькнуло одновременно: — Сказать? Выступить? Признать? Значит, отказаться от всего? От всего?» И, переборов молчание, он ответил:

— Нет.

И, ответив это, зачем-то взглянул на стучащие в серой пелене часы и, когда вынул сигарету из смятой в кармане пачки, сигарету, на вкус не ощутимую им сейчас, и зажег быстро спичку, подумал еще: «3 часа 21 минута. Все!»

В 3 часа 22 минуты началось голосование. Пятеро проголосовали за исключение, двое за выговор — Морозов и малознакомый паренек в футболке; Косов и кто-то молчаливый, тихий, на кого он не обратил внимания, воздержались.

— Исключить из членов... из членов Вэ-Ка-Пе-бэ...— донесся до Сергея речитативом плывущий голос Свиридова, диктующий в протокол.

Было душно.

«Этого никогда не будет, чтобы ты грузила уголь, никогда не будет...»

Все кончилось. Ему казалось, кабинет давно опустел, а он еще слышал звук отодвигаемых стульев, негромкие голоса выходивших людей и, когда увидел медленной развалкой подошедшего Косова, сказал шепотом:

— Потом, Гриша, потом.

А рядом — шорох надеваемых пиджаков, сдержанный говор, шаги, кто-то рвал листки с записями, но его не интересовало, что делают, говорят эти люди, и он не смотрел на них, он не мог смотреть на них. Ему хотелось одного — чтобы они как можно быстрее, немедля, ушли отсюда, из этой комнаты, где было партбюро: ему необходимо, ему нужно было все сказать этому добряку директору Луковскому. В те длительные секунды, когда происходило голосование, неожиданно появилась мысль: да, нужно что-то делать. И он понял, что теперь следовало делать,— ему нельзя было больше оставаться в

институте, уйти из института... здесь уже не было для него места. Уйти, не раздумывая, потому что немного позже его попросил бы об этом Луковский.

Он курил, и ждал, и еще находил в себе волю, чтобы сидеть здесь и ждать, пока все выйдут из кабинета. У него удушливо давило в горле и мерзко подташнивало от выкуренной пачки сигарет. Потом сразу стихло в кабинете. Тогда он встал, и задетая им пепельница соскользнула с подлокотника кресла, упала мягко, без стука, окурки высыпались на ковер. Он не хотел подбирать их.

— Ну что еще? Что еще?

В опустевшей комнате, перед дверью, выжидая, сложив перекрещенные сухощавые кисти на костыльке, стоял Свиридов, подозрительно и изучающе смотрел на Сергея.

— Что? — спросил он строго.— Обиделся? Ты что ж, на партию обиделся? Ты думаешь, мы против тебя боролись? А? Мы за тебя боролись. Партия воспитывает, а не карает. Чтобы ты понял, что член партии...

— Вы что думаете, партия состоит из таких дубарей, как вы? — выделяя слова, сквозь зубы проговорил Сергей.

— Ты...— Свиридов угрожающе ковыльнул к нему, упираясь в костылек, синева залила впалые щеки, рот стал плоским.— Ты с-смотри!

— «Вы», а не «ты». Я вступил в партию потому, что видел не таких, как вы! А вам бы я и коз пасти не доверил, а не то что возглавлять парторганизацию. Впрочем, когда-нибудь вам и коз не доверят!

— Молчи, Вохминцев!..— Свиридов ударил костыльком об пол.— Ты что? Ты что?

— Я отказался от последнего слова. Это последнее.

И Сергей, боясь не сдержать слезы, жестким комком застрявшие в горле, подошел к столу, взял листок бумаги, карандаш и, не садясь, останавливая рвущийся, скачущий почерк, написал:

«Директору Московского горнометал. ин-та
проф. *Луковскому*

Прошу отчислить меня из ин-та в связи с семейными обстоятельствами.

Студ. 3-го курса *Вохминцев*».

В коридоре, впиваясь в пол, стучал, удалялся костылек Свиридова.

— Вы, дорогой мой, ждете меня?

— Вас. Вот возьмите.

— Что это? Позвольте, дорогой...

Надевая мундир, застегивая пуговицы, профессор Луковский, проворно втискиваясь брюшком между стульями, приблизился к своему креслу за огромным письменным столом со статуэткой шахтера над чернильным прибором, упал в кресло, его косматые брови взметнулись и приоткрыли наконец глаза, добрые, усталые.

— Что ж это, а? Как же это, а? Зачем же вы, дорогой мой? Прекрасный студент, умный, ведь вы малый, а что наворотили. Зачем вам нужно было... хм... скрывать, оскорблять... ммм... Уварова... ведь тоже прекрасный студент, активист, выдержанный человек. Ай-ай-ай, Вохминцев... Горняки, будущие инженеры, властелины земли. И зачем вы это настрочили? Вгорячах? Мм? Ну признайтесь. С обидой махнули: нá вот тебе, ешь!

Луковский качал седой львиной головой своей, читая огорченно заявление на столе, и, весь домашний, доброжелательный, был участлив, расстроен, и это особенно неприятно было видеть Сергею. Он сказал официально:

— Я прошу вас подписать мое заявление, профессор. Я многое делал вгорячах, но это совершенно осмысленно.

— Прекрасные студенты, умницы, вы же станете гордостью горного дела... Надежда, так сказать. Да, убежден. И как же это вы, Вохминцев, а? Сначала от практики отказались... Потом...— Луковский махнул белой маленькой детской ручкой, произнес не без досады: — Партбюро... и исключили ведь. А? Пятерки... ведь пятерки, ведь пятерки у вас. Помню отлично.

— Я прошу подписать мое заявление, профессор.

Он подумал о том, что Луковский искренне не хочет подписывать заявление, но также был уверен, что завтра придет к нему Свиридов, стуча своим костыльком, и он, Луковский, подпишет все, что тот потребует от него.

— Ай-ай-ай, молодежь... Один стишки, другой это вот сочинение принес. А! Читай, мол, старик, как разбегаются студенты. А о жизни, о профессии думаете? Или так

все? Шаляй-валяй? Вы что же, изменяете профессию? Разочаровались?

— Вячеслав Владимирович!

— Как же это... хм! Как же это случилось, Вохминцев, дорогой вы мой? Мм? И что же мне делать, вашему директору?

— Случилось так, профессор, что подлец выиграл бой,— ответил Сергей как можно спокойней.— И во многом руками умных людей. До свидания. Я зайду еще.

Он шел по длинному коридору, он почти бежал мимо пустых аудиторий, бесконечные стены мелькали серой лентой, разрезанной световыми квадратами окон, а его словно что-то гнало, торопило — скорее, скорее выйти, выбежать отсюда...

— Вохминцев!

Он вздрогнул от оклика. За поворотом коридора на лестницу из закутка безлюдной студенческой курилки поднялся со скамейки неуклюже высокий, нахмуренный доцент Морозов и, не глядя в глаза, кожаной папкой перегородил путь.

— Сергей, слушайте,— выговорил он.— Вечером, часов в десять, зайдите ко мне домой. Сегодня.

— Зачем же это? — не понял Сергей. Морозов был неприятен ему сейчас.— Не ясно, Игорь Витальевич. Зачем?

— Мне надо поговорить с вами. Зайдите. Я буду ждать.

— Благодарю вас. Я не приду.

Он вышел на бульвар.

Свет солнца на песке, пятна теней на аллеях, голоса детей, шумно скользящий поток машин за железной оградой, слитый гул улицы — все это была свобода, ощущение жизни, ее звуков.

Но он еще жил, думал в собранном, как оптическим фокусом, мире и не мог выйти из него. Он пошарил по карманам — осталась последняя измятая сигарета в пачке,— сел на теплую скамью, располосованную тенью, и кажется, сбоку отодвинулась незнакомая девушка в сарафане, в босоножках, с развернутой книгой на коленях, взглянула на него мельком.

А он смотрел на институт за бульваром, враждебно и пусто блестевший этажами окон.

«Ну что же, как же теперь? Что теперь?» — спросил он себя и неожиданно, как бы чужой памятью, вспомнил

о записке Константина, вынул ее из бокового кармана — узкий почерк был небрежен, мелок, неразборчив.

«Серега!

В 11.30 уезжаю в Тульский бассейн (7-я экспериментальная шахта, последнее слово техники) на лето. Уезжаю с чертом в печенках, но ехать надобно.

Под радиолой найдешь мою сберкнижку с доверенностью на твое высокое имя. Там кое-что осталось — все мои капиталы от шоферской деятельности. Я все лето на государственных харчах, ресторанов там, ясно, нет. Мне эти гроши — до феньки. Тебе с Асей могут спонадобиться. Этот старикан, профессор из Семашки, берет 150. Жужжит, если на рубль меньше. Я его предупредил — пусть заваливается без вызова.

Серега! Я все ж тебя люблю, хотя ты никогда не относился ко мне всерьез, бродяга. И даже не рассказал, что у тебя. (Хотя знаю — ты в сорочке родился.) Ты просто думал, что в башке у меня — джаз и распрекрасные паненки. Бог тебе судья!

Обнимаю тебя, старик. Привет и выздоровления Асе.

Твой *Костька.*

Если что, стукни телеграмму, и я брошу все и явлюсь перед светлыми очами твоими. Хотя знаю, что телеграмму ты не стукнешь. Я понял это тогда вечером.

Еще раз обнимаю, старик!»

Они вместе должны были ехать на 7-ю экспериментальную...

Как нужен был сейчас ему Константин с его смуглой донжуанской рожей и ернической улыбкой, с его полусерьезной манерой говорить и его набором пластинок, броско-модными ковбойками, яркими галстуками, с его безалаберностью и его привычкой покусывать усики и независимо щуриться перед тем, как он хотел сострить! Нет, ему нужен был Константин, нет, без него он не мог жить.

Он перечитал записку; девушка в сарафанчике закрыла книгу, испуганно взглянула, когда он, застонав, откинулся затылком к спинке скамейки и сидел так зажмурясь.

— Вам плохо, может быть?..— услышал он робкий голосок.

— Что? Что вы! Жара... Вы видите, какая жара...— Он постарался улыбнуться ей.— Нет, нет, не беспокойтесь...

— Простите, пожалуйста.

Она встала, одернула сарафанчик; поскрипывая босоножками, пошла по аллее, часто оглядываясь.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Целый день он бродил по городу.

Раскаленный асфальт, удушливо горький запах выхлопных газов от проносившихся мимо машин, знойные улицы, бегущие толпы на перекрестках, очереди у тележек с газированной водой, брезентовые тенты над переполненными летними кафе, дребезжание трамваев на поворотах, скомканные обертки от мороженого на тротуарах, разомлевшие потные лица — все это перемешивалось, передвигалось, город жил по-прежнему, изнывал от жары, и ломило в висках от блеска, от гудения, от запаха бензина.

Уехать!.. Куда? У него три курса института. Уехать, да, уехать немедленно, на шахту в Донбасс, в Казахстан, в Кузнецкий бассейн, на Печору! Что ж, он сможет работать шахтером, он знает неплохо горное дело. Новые люди, новая обстановка, новые лица... Работа... Его она не пугает: уехать!.. А Ася? А Нина? Уехать, бросить все? Это невозможно!

Почти инстинктивно он зашел на углу универмага в автоматную будочку, всю накаленную солнцем, снял ожигающе нагретую трубку, механически набрал свой номер и, когда зазвучали гудки, тотчас же нажал на рычаг — что он мог сказать Асе сейчас?

Он постоял, глядя на эбонитовый кружок номеров, потом с мучительной нерешительностью, с заминкой, набрал номер Нины. Гудки, гудки. Щелчок монеты, провалившейся в автомат. Голос:

— Алю-у, Нину Александровну? Нету ее...

И он повесил трубку, обрывая этот голос.

Он захлопнул дверцу автомата, сознавая, что недоделал, не решился на что-то, и медленно побрел по размякшему под солнцем асфальту.

«Уехать? От всего этого уехать? От Нины, от Аси? Невозможно. Не могу!.. А как же жить? Что делать?»

В поздних сумерках он сидел в кафе-поплавке напротив Крымского моста, пил пиво, курил — не хотелось есть,— глядел на воду, обдувало предвечерней свежестью, небо багрово светилось над гранитными набережными; городские чайки вились над мостом, садились на воду, визгливо кричали; вокруг скользких мазутных свай причала течение покачивало щепу, пустые стаканчики от мороженого, обрывки бумаги — и уносило под мост, где сгущалась темнота.

«Почему люди любят смотреть на воду? — спрашивал он себя.— В воде перемена, тяга к чему-то? Тяга к счастью, что ли? Но почему человеческая подлость живет две тысячи лет — со времен Иуды и Каина? Она часто активнее, чем добро, она не останавливается ни перед чем. А добро бывает жалостливо, добро прощает, забывает. Почему? Социализм — это добро, вытекающее из развития человечества. Коммунизм — высшее добро. А зло? Впивается клещами в наши ноги. Как могут быть в партии Уваров, Свиридов, тот старший лейтенант? Может быть, потому, что есть такие, как Луковский. Морозов?.. Морозов, Морозов... «Зайдите ко мне. Надо поговорить». О чем?»

Он не допил пива и расплатился.

— Пришли, Сергей? Очень хорошо, я вас ждал. Очень ждал. Я был уверен, уверен, что вы придете. Садитесь вот здесь. Хотите выпить, Сергей? Вы будете водку или коньяк?

— Благодарю. Я ничего не хочу.

— Ну как же так, если уже... Я бы хотел с вами... Вы можете побыть немного у меня?

— Вы просили, чтобы я пришел?

— Я вас ждал, Сергей. Я вас ждал.

Был Морозов в пижаме, куцей для его длинной сутуловатой фигуры, неудобно как-то торчали кисти рук, видны были безволосые голые ноги в стоптанных шлепанцах. Говоря, Морозов сгибался около низкого столика, на котором в тарелках нарезаны были колбаса, сыр, неловко ввинчивал штопор в коньячную бутылку, казалось, был углубленно занят этим.

Тесный кабинет Морозова в его квартире на Чистых прудах сплошь забит книжными шкафами, тахта со смятыми газетами, письменный стол перед раскрытым окном

завален горами книг, рукописей, на тумбочке возвышалась миниатюрная, сделанная из железа модель копра. Тюлевая занавеска шевелилась, легко надувалась ветром над столом, касаясь рукописей, сквозь эту занавесь точками проступали огни над черными Чистыми прудами.

В квартире тишина. Слышно было, как прошумел, поднялся лифт на верхний этаж.

«Нужно ли было приходить? — подумал Сергей, следя неприязненно за неловкой возней Морозова с бутылкой.— Он ждал?»

— Я никогда не думал... Делают пробки! Крошево, шлак! — вскричал Морозов, задергав штопор.— И ни к богу! Протолкнуть ее, что ли?

— Сразу видно, что вы не воевали в конце войны,— сказал Сергей.— Давайте я открою. По вашему умению вижу: часто пьете.

Он выбил пробку ударом о дно, поставил бутылку на стол.

— Я просто хочу с вами выпить, да, выпить! — заговорил Морозов, быстро наливая в рюмки, расплескивая коньяк.— С некоторого времени я пью сухое вино, но хочу дербалызнуть коньяку. С вами.

— А за что именно? — Сергей усмехнулся.— Это странно... Преподаватель пьет со студентом. Завтра Свиридов состряпает личное дело — лишь стоит узнать. Не опасаетесь?

— Пейте, Сергей!

— Я не хочу. Благодарю.

Морозов выпил поспешно, неумело, скривился, ткнул вилкой в кружочек колбасы, торопливо пожевал, снова налил и, чокнувшись, снова выпил как-то по-мальчишески, неаккуратно, будто хотел скорей опьянеть. Сергей наблюдал за ним с насмешливым удивлением, но не выпил, закурил только.

— Дайте, что ли? — сказал Морозов и потянул из пачки на столе сигарету.— Тысячу раз бросаю курить и никак. У меня в войну после завала на «Первой», в Караганде, легкие малость — да бог с ним! Дайте прикурить.

— Вот спички.

— Пейте. Почему вы не пьете?

— Думаете, Игорь Витальевич, только так можно состряпать откровенный разговор?

— Оставьте, Сергей. Мне просто захотелось с вами выпить. Вы слишком прямой парень, чтоб мне подумать... Не будем банальными идиотами. Вы знаете, как я отношусь к вам,— вы способный человек, и это я всегда ценил. Что уж там — вы сами замечали. Студент чувствует, как относится преподаватель.

— Ну и что? — спросил Сергей.— И что же вы, интересно, думаете об Уварове? То же самое?

— Трудно думаю, Сережа, сложно. Да. Но тактически, если хотите, он был ловчее вас. Опытнее. Не знаю всего, но чувствую, этот парень ловко и неглупо устраивает свою жизнь. Мало кто поверил ему, но чаша весов склонилась в его сторону. Вы понимаете? Все было против вас. Он понял обстановку и выбрал удар наверняка.

— Какую он понял обстановку?

— Пейте, Сережа. Я не могу пить один. Пейте, закусывайте и наматывайте на ус. Еще ничего не кончено.

— Благодарю. Я не хочу. Какую он понял обстановку?

Морозов, похоже, хмелел, лицо его не розовело, а бледнело, он встал и заходил по комнате своей ныряющей неуклюжей поступью, шаркая по паркету шлепанцами.

— Это особый разговор. Есть много причин, которые влияют на обстановку...

— Каких причин? — спросил Сергей.— И почему они влияют?

— Не знаю. Это сложный вопрос. Возможно, тяжелая международная обстановка, могут быть и еще внутренние причины, не знаю. Но идет борьба... И все напряженно. Все весьма напряженно сейчас. А в острые моменты у нас часто не смотрят, кому дать в глаз, а кому смертельно, под микитки. И иные поганцы, учитывая это, делают свое дело, маскируясь под шумок борьбы. Здесь мешается и большое и малое. Вот как-то раз после лекции подходит ко мне Свиридов. «Есть сигнал от студентов — не слишком ли много рассказываете о новейших машинах Запада? Считаю, все внимание отечественной технике должно быть, подумайте о сигнале».

— Свиридов! — повторил Сергей и придвинул к себе пепельницу.— Такие, как Уваров и Свиридов, подрывают дело партии, веру в справедливость. А вы понимаете всё,

молчите и оправдываетесь международной обстановкой и иными причинами. Неужели вас перепугала фраза Свиридова?

— Нет, не перепугала. Но я ответил, что подумаю,— покривился Морозов.— Хотя, как вы знаете, в моих лекциях западной технике уделено мизерное внимание. Свиридов прям, как линейка. И он тупо, по-бычьи проводит борьбу за идейную чистоту института. «Факты, факты!» Не учитываете, что нашлись бы один-два студента, которые написали бы: да, в лекциях доцента Морозова были космополитические тенденции. И пока суд да дело, очень жаль было бы отдавать кафедру какому-нибудь патентованному дураку, который выпускал бы недоучек. Здесь я приношу пользу, это я знаю не один год. Не будете возражать?

— Нет.

— Несмотря ни на что, человек должен приносить пользу.

— Игорь Витальевич, зачем и к чему говорить здесь прописные истины? Именно для этого вы позвали меня — с воспитательной целью? К черту летит все ваше умное молчание, когда ломают кости! А вы мне вкручиваете что-то похожее на проблему разумного эгоизма. Я это читал еще в девятом классе. На черта она мне!

Морозов зашаркал шлепанцами по комнате, серые небольшие глаза его смотрели на Сергея грустно.

— Хочешь сказать, почему я молчал? — спросил он тихо, переходя на «ты».— Почему?

— Нет. Это мне ясно.

— Не совсем. Тактически создался очень неудобный момент. Поверь, я немного опытнее тебя. Так я молчал, потому что весь бой за тебя впереди. Хотя и не знаю, чем он кончится. Если бы ты не скрыл об аресте отца...

— Я уверен и всегда буду уверен, что отец невиновен. Вы же понимаете, что мое заявление об аресте отца — это расписка в моей трусости.

— Все понимаю. Но есть факт, как говорит Свиридов. Объективный факт. И очень серьезный. Беспощадный. Но весь бой еще впереди.

Наступило молчание. Было слышно, как среди безмолвия дома опять прошел с шорохом лифт, на верхнем этаже стукнула дверца.

— Поздно! — проговорил Сергей и внезапно взял рюмку, наполненную коньяком.— Ваше здоровье! — чуть

усмехаясь, сказал он несдержанно-вызывающим голосом.— Я все равно знаю, что когда-нибудь буду в партии. Я все же вступал в нее не в счастливый момент. А в сорок втором. Под Сталинградом.

— Что «поздно»? — спросил Морозов.— Не понял. Что «поздно»?

— Я уезжаю, Игорь Витальевич,— сказал Сергей, сильно сжимая в повлажневших пальцах рюмку.— Как говорят — в жизнь. Что ж, поеду куда-нибудь в большой угольный бассейн... Вот вам и ваша польза — горные машины. Не примут забойщиком, не возьмут на врубовку, на комбайн, пойду рабочим, на поверхность — уголь грузить. Посмотрю...

— Куда?

— Еще не знаю. Все равно. Лишь бы шахта. Что ж, давайте за это выпьем, Игорь Витальевич.

Огни над Чистыми прудами по-ночному просвечивались сквозь надуваемую ветром тюлевую занавеску. И эта уютная комната на третьем этаже, с умными книгами на полках, с тахтой, рукописями, коньяком, рюмками на столике и разговор этот — все вдруг показалось отрывающимся от него. Да, были за тесной комнаткой на Чистых прудах другие города, иные люди, лица, в это мгновение все, что он мог вообразить, отчетливо существовало, было где-то, а решение ехать представлялось непоколебимым, единственно верным — и возникло минутное облегчение.

— Что ж, давайте за это, Игорь Витальевич. А не за разумный эгоизм!

Но Морозова не было рядом; он в раздумье сел за письменный стол, отодвинул груду книг, рукописей, горбато ссутулив костистые плечи, стал что-то нервно, скоро писать, не оборачиваясь, ответил:

— Пей. Я мысленно.

Сергей, однако, держа рюмку, поставил ее обратно, не выпив,— глядел в молчании на Морозова. Странно было: тот сутулился, как человек, привыкший работать над книгами, но громоздкие плечи, спина в несоответствии с этим выглядели грубовато-шахтерскими, недоцентскими.

— Вот,— проговорил Морозов, подходя, провел языком по краю конверта.— Вот! — И он, плотно припечатывая ладонью, поспешно заклеил конверт на столике.— Мой совет тебе: езжай в Казахстан,— прибавил Морозов

отрывисто.— На «Первую». В. Милтуке. Передашь письмо секретарю райкома Гнездилову Акиму Никитичу. Здесь все указано: адрес и прочее. Я проработал с Гнездиловым пять лет. Да, был у него главным инженером. Езжай! И вот что еще, знаешь ли...— Морозов с неуклюжестью выдвинул ящик, вытянул из-под бумаг пачку денег.— И вот, знаешь ли, на первый случай... Да, видишь ли, таким образом...

— Не надо. У меня есть. Почему-то все мне предлагают деньги.

— Ну вот... Теперь выпьем, Сергей.

— Что ж, давайте.

Он медленно, поглаживая перила, вдыхая знакомый запах лестницы, поднялся на второй этаж и здесь, на площадке под тусклой запыленной лампочкой в сетке, увидев знакомые до трещинок, старые, обшарпанные стены перед дверью, переждал немного, не находя в себе сразу решимости нажать кнопку звонка,— все, мнилось, исчезнет, оборвется, упадет куда-то в черноту бездны: и стены, и почтовый ящик, и лампочка в сетке, и ее шаги, и шуршащий звук платья, и всегда обрадованно сияющие глаза навстречу ему, и голос ее: «Ты?» И с тем, что он не будет приходить сюда, не мог, не хотел согласиться и не мог, не хотел поверить, что они расстанутся надолго.

Он знал: это было самым страшным, что могло еще произойти в его жизни.

Сергей нажал кнопку звонка, и, когда дверь открылась, он все еще как будто не в силах был представить, что он по-прежнему здесь.

Нина стояла в передней. Он обнял ее молча и даже зажмурился, ощутив знакомый запах теплых волос.

— Что? Что?

— Я люблю тебя... И больше ничего... И больше ничего...

— Сережа, что?

— Я люблю тебя,— повторял он с сжимающей горло нежностью, прижимая ее к себе, чувствуя напряжение ее тела, дрожь ее пальцев на своей спине.

— Что? Что? Мне страшно, Сережа...

— Я люблю тебя. Я люблю тебя!..

— Что, Сережа, что?..

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Это письмо-записку — свернутый, помятый, грязный треугольник без штампа, без печати — он вытащил утром из почтового ящика, и потом, когда читал его, едва разбирая написанные химическим карандашом и рвущим бумагу неузнаваемым почерком неясные слова, он еще не до конца сознавал, что это письмо отца, что это его так неузнаваемо изменившийся почерк, а когда прочитал и разобрал слабую, убегающую вниз, к обрезу грязного листка, подпись отца, он подумал, что за одну встречу с ним, за то, чтобы увидеть его хоть раз, он мог бы отдать все.

«Дорогой мой сын!

Прости меня, если то, что случилось со мной, отразится на твоей судьбе, на судьбе Аси, на вашей молодости.

Верь, что я всегда любил тебя, Асю, мать, хотя ты никогда не хотел простить мне ее смерти. И многое ты не мог простить мне после войны. Я помню твою неприязнь, твой холодок ко мне, а я ничего не мог сделать, чтобы его разрушить. Мы не совсем понимали друг друга, и в этом моя вина, только моя.

Мой дорогой сын Сергей!

Если ты когда-нибудь узнаешь, что со мной что-нибудь случится,— верь, что я и другие были жертвами какой-то страшной ошибки, какого-то нечеловеческого подозрения и какой-то бесчеловечной клеветы.

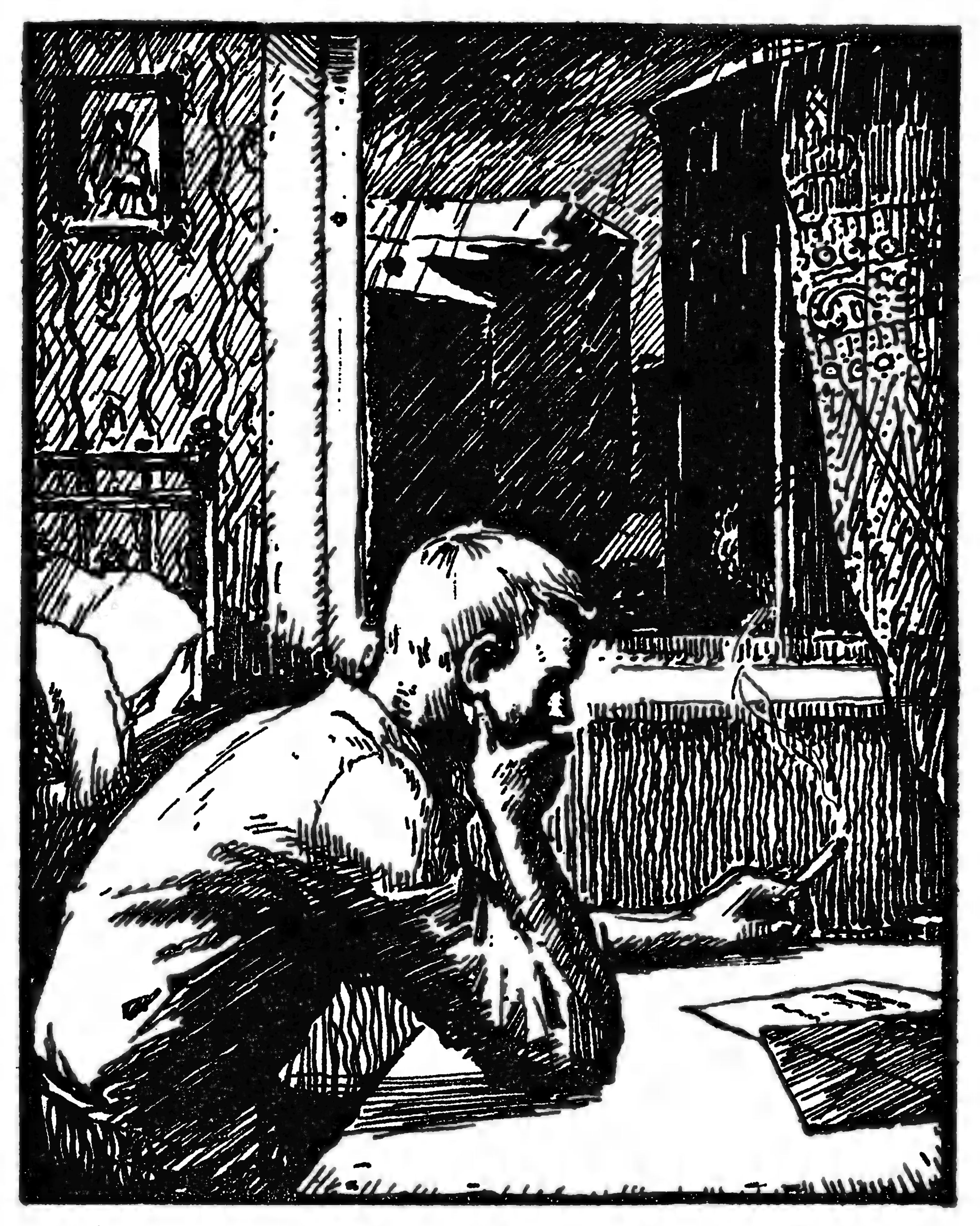
Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой. Ты знаешь это по войне. Нет, самое страшное не допросы, не грубость, не истязания, а то, когда человек не может доказать свою правоту, когда силой пытаются заставить подписать и уничтожить то, что он создавал и любил всю жизнь. Все должно кончиться, как ошибка, в которую невозможно поверить, как нельзя поверить, что все чудовищное, что я видел здесь, прикрывают любовью к Сталину.

Поверь мне, что я невиновен.

Поверь мне, что я коммунист, а не враг народа, как тебе будут говорить обо мне.

Поверь мне, что для меня дело партии — это все мое, чем я жил.

Что бы ни было, мой сын, будь верен делу революции, только ради этого стоит жить! Я верю в твою непримиримую честность.



Люби Асю. И береги ее. Она еще ребенок.

Придет время, и оно, мой сын, само разберется в судьбах правых и виновных.

И прости мне то, что мне не хватало сил быть образцом для тебя. А каждый отец хочет этого.

Помни, что я всегда любил вас.

И последнее... Я понял, что должен уехать очень далеко...

Крепись и не горюй. Смерть — не самое страшное...

Твой *отец*».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В сумерках Сергей вошел во двор института. Огромное здание проступало в сером воздухе, и там было тихо, пусто, сумрачно, лишь за деревьями светилась единственная полоса окон на втором этаже — то был читальный зал библиотеки.

Подняв воротник плаща, Сергей стоял на институтском дворе под тополями, капли пробивались сквозь листву, ударяли по плечам, по лицу его — неприятно холодили брови влагой, и слегка знобило от дождевой сырости.

Целый день он бродил по дождливому городу, без цели шагал по лужам, потом в сумерки начал петлять по мокрым и узким переулкам вокруг института, но, когда увидел со двора яркую электрическую полосу окон читального зала, как бы оборвалось все: лекции, экзамены, разговоры в курилках в конце коридора, горные машины, полуночный треп Косова и Подгорного в общежитии, куда он вместе с Константином заходил иногда поздним вечером, заходил просто так...

«Значит, всё? Это — всё?»

Став под деревьями, он посмотрел в глубину институтского двора, на флигельки общежития, теперь тоже опустевшего,— под желтыми окнами морщилась, лопалась дождевая вода на асфальте.

И не хлопали двери, не звучали голоса — везде было безлюдно.

Он пришел сюда, чтобы увидеть Косова и Подгорного,— знал, что они уезжали сегодня на практику в Донбасс, и он хотел их увидеть.

Когда, миновав двор с прилипшими к асфальту листьями, он на миг заколебался перед дверью общежития, а затем ступил через порог в коридор, освещенный одной матовой лампочкой, остро и едко пахнуло навстречу нежилой обстановкой: темнели сдвинутые к стенам столы, на них — оголенные сетки вынесенных кроватей, зашуршала заляпанная известью бумага под ногами, загремела пустая консервная банка; здесь был сыроватый запах ремонта.

На двери во вторую комнату острием заржавленного рейсфедера было приколото объявление: «Убедительно просим коменданта не беспокоить и не врываться. Уедем

сами. У нас час отдыха. Спасибо за внимательность. С почтением — Косов, Подгорный, Морковин».

Сергей усмехнулся, толкнул дверь.

В комнате был хаос: всюду чернели кроватные сетки, матрацы вздыблены, свернуты в рулоны, на тумбочках кипами лежали старые конспекты, стол завален обрывками чертежей, на подоконниках валялись пузырьки из-под туши — и здесь был тот же ремонтный беспорядок.

Час отдыха заключался в том, что в дальнем конце комнаты, на голой сетке, навалив под голову стопу учебников, лежал, вытянув ноги в носках, Подгорный и задумчиво курил, на ощупь стряхивая пепел в горлышко бутылки от пива, стоявшей на полу.

Рядом в широких и длинных болтающихся трусах, в майке, потно прилипшей к толстой спине, возился, трещал деревянным, как сундук, чемоданом Морковин, он наваливался коленом на крышку, дышал озлобленно: в чемодане что-то не умещалось. Подгорный не обращал на него внимания.

— Здорово,— сказал Сергей.— Час отдыха? А где Косов?

Он остановился посреди комнаты, руки в карманах, с плаща капало, капли шлепали по газетам на полу.

Подгорный быстро повернул лицо к нему, глаза округлились, лоб пошел гармошкой; и приподнялся, уставясь на ботинки Сергея, обляпанные грязью.

— Здоров... Сережка! Ты к нам?..

Морковин вскинулся возле чемодана, переступая толстыми, чуть кривоватыми ногами, учащенно замигал рыжими ресницами и, хлюпнув носом, спросил с изумлением:

— Это как же? Значит, исключили тебя? И ты как? И на практику не едешь?

Подгорный затолкал окурок в горлышко бутылки, оборвал его ядовито:

— Ты бачил, Сережка, морковинский сундук? Думаешь, он горную литературу везет? Заблуждение. Старые галоши, разбитые ботинки, драные рубахи — як собака рвала, а все в сундук кладет. Хозяин! Пригодится на практике. А ты думал! Он знает. Три часа укладывает. Во, погляди, Серега. Да еще на сундуке замок. Он у нас голова-а! Мыслитель! Аж над башкой сияние.

— Отцепись! — Морковин шмыгнул носом, не отводя взгляда от Сергея.— И на практику уже не едешь? — вторично спросил он, съеживаясь.— Значит, всё теперь? Что же тебя, выключили?

Он, видимо, наивно не понимал, как могло случиться это с Сергеем, и Сергей, осматривая комнату общежития, молчал, точно необычным был его приход сюда, куда часто приходил он прежде.

— Вот, заметил? Над башкой нимб мыслей. Сокра-ат! И за что ему четверки ставят, мыслителю калужскому? — съязвил Подгорный.— Садись, Сергей. Ну що стоишь? Григорий по «Гастрономам» бегает. Консервы на дорогу... Сейчас прибудет.— Он вроде раздраженно покачался на кровати, зазвенел пружинами.— Слухай, Морковин, шел бы ты погулять по коридорам. Ну погуляй, погуляй, хлопче!

— Не лезь! — зло огрызнулся Морковин.— Куда ты меня выгоняешь?

И демонстративно сел на чемодан, выставив крупные колени.

— Да! — Подгорный тоскливо перекатил глаза на Морковина.— Бес его возьми, ведь через два часа уезжаем. Слышь, Сережка, через два...

— Значит, через два часа? — проговорил как бы про себя Сергей и, не вынимая рук из карманов, зашагал по комнате; под его ногами шелестела бумага, сырой плащ задевал за угол стола, за спинки кроватей; он, казалось, пьяно, по-больному пошатывался; лицо за эти дни осунулось, похудело. Потом он задержался против окна, вынул одну руку из кармана, зачем-то начал трогать, переставлять на подоконнике пустые пузырьки из-под туши, сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Ладно. Собирайтесь. Мешать не буду. Косова подожду, прощусь и поеду спать.

Голос Подгорного прозвучал за его спиной:

— Ты що думаешь делать?

— Что делать? — повторил Сергей, все переставляя пустые пузырьки.— Уеду на шахту. Буду работать. Это все.

— Шо-о?

— Что тебя удивляет, Мишка?

— Значит?..

— Когда человека исключают из партии, его исклю-

чают и из института,— ответил Сергей, подбросил и поймал пузырек, поставил его на подоконник.— Тебе что — это неизвестно? Я подал заявление. Не стоит ждать, когда Свиридов напомнит об этом Луковскому. Я все понимаю, Мишка. И ты все понимаешь. Не надо удивляться!

В ту же минуту он повернулся от окна — раздались шаги в коридоре, дверь распахнулась: Косов в намокшем старом бушлате не вошел, а шумно, отфыркиваясь, ввалился в комнату, держа две авоськи, набитые банками консервов, свертками, бушлат был не застегнут, шея и грудь розовы, мокры, насечены дождем. Он с размаху грохнул авоськи на стол, сдернул флотскую фуражку, отряхивая ее, крикнул весело:

— Братцы, на улицах штормяга! Шлепал по «Гастрономам» каботажным рейсом на полный ход, вгрызался в очереди, что твоя врубовка. Иес, сэр, овер ол! [1] А ну кинь кто-нибудь закурить! Сережка? И ты тут?

Он увидел Сергея, веселое выражение стерлось с загорелого лица его, косолапо, враскачку, как ходил по морской привычке своей, не желая отвыкать, ринулся к нему, стиснул его кисть.

— Салага, черт! Я искал тебя два дня! Оборвал в автомате телефон. Где ты пропадал? Мы же сегодня отчаливаем...

— Я знаю, что ты звонил.

— Салага ты. Пакостная морда. Кустарь-одиночка. Вот кто ты! Исчез — и концы обрубил. За это шею бьют! Спасибо, что пришел!

Косов на радостях, не выпуская сразу Сергея, рванул его к себе, как всегда, играя силой, заговорил, всматриваясь в его лицо:

— Неужто все-таки на меня обиделся? Или чихнул на всех левой ноздрей через правое плечо? Этого не знал за тобой. Ты копилка за тремя замками. Копилка. Если обиделся — скажи в глаза, чего крутить?

— Какая обида! Пошел ты... знаешь? — Сергей выдернул руку из маленьких железных пальцев Косова, хмурясь, достал пачку сигарет, проговорил: — За что мне на тебя обижаться? Ну что смотришь? Бери сигарету.— Косов ногтями вытянул сигарету.— Черта в сумку! Я еще не умираю, Гришка.

---

[1] Да, сэр, все наверх! *(англ.)*

— Идиотские дела, старик,— сказал Косов.— Все как-то через Пензу в Буэнос-Айрес. У нас часто зуб дергают через ухо. Вот что я тебе скажу.

— Тут на кровати Холмин спал,— как-то не очень внятно пробормотал Морковин, заворочавшись на своем чемодане.— Вот тут он... Знаешь, Сергей?

— Здесь? — Сергей покосился на кровать.

— На этой,— мрачно ответил Косов.— Его переселили из третьей комнаты к нам, пожил пять дней — и амба! Тихий был парень, в очках, без конца читал Маркса и Гегеля. Причем на немецком языке. Читал и курил. Две пачки «Памира» выкуривал в день. Был с виду пацаненок.

— Его... здесь арестовали?

— Нет. Но сюда приходили ночью двое с комендантом и перерыли всю тумбочку и весь матрац.

— Между прочим, имел интерес... интерес имел Уваров к стихам цього Холмина,— сказал Подгорный, со стуком высыпал на стол из одной авоськи банки консервов, договорил вроде между делом: — Частенько приходил: ты, говорят, стихи отлично пишешь, дай почитать. А Холмин все любовную лирику Морковину читал. А контрреволюцию он тебе читал, ну?

Жмуря золотистые глаза, он глянул на замершего Морковина — тот, запинаясь, ответил шепотом:

— Какую контрреволюцию?.. Он про природу стихи писал. А никакой контрреволюции не было.

— Понимай шутки, Володька. Без шуток, браток, тяжело будет на свете жить,— серьезно сказал Подгорный, выволок из-под кровати потертый чемодан, стал как камни кидать туда банки консервов.— Продукты у меня. Назначаю себя завскладом.

И с такой силой захлопнул крышку чемодана, что задребезжали пружины на кровати.

Подгорный разогнулся, длинное смуглое лицо сумрачно, угольно-черные брови сошлись над тонкой переносицей.

— Ты чего молчишь? — спросил он Косова.

Косов ходил кругами по комнате, в расстегнутом бушлате, покачивая плечами, раздумывая, дым сигареты таял за спиной. Услышав слова Подгорного, спросил рассеянно:

— Что?

— Сережка уходит из института,— неудивленно объяснил Подгорный.— Слышал? И вообще...

— Тебе что — предложили? — спросил Косов, дернув ворот рубашки, словно бы жарко было ему.

— Не предложили, но предложат,— сказал Сергей.— Это ты знаешь.

У Косова что-то дрогнуло в лице.

— Знаю! Но ты думаешь, старик, что так все время будет? Знаешь, я ходил в войну на Балтике, такие ночные штормяги бывали — штаны трещат. Вспомни, чертов хрыч, сколько раз казалось на фронте — все, конец, целовались даже, как перед смертью. И все проходило. Да что я тебя агитирую за Советскую власть! Я тебя лозунгами прошибать не буду! Знаешь, что главное сейчас — бороться, но не наворотить глупостей, не подставлять под удар задницу.

Твердый голос Косова отдавался в ушах Сергея, а Косов, все раскачиваясь, цепкой походочкой ходил странными спиралями вокруг стола, рубил маленьким кулаком воздух. Сергей чувствовал озноб на затылке, он зяб, руки в карманах плаща не согревались, и болью резал по глазам свет оголенной — без колпака — лампы, висящей на шнуре над столом. И черный бушлат Косова, черные окна с потеками дождя, голые кровати со свернутыми матрацами — все было неуютно, тускло, обдавало его сырым сквозняком, и не верилось, что Косову было жарко — грудь обнажена под бушлатом, не верилось, что в этой сырой комнате Морковин в трусах сидел на своем холодном по виду чемодане и затаенно снизу вверх глядел то на Косова, то на Сергея.

Сергей спросил:

— Хочешь сказать — мне не уходить из института? Ждать, когда Луковский попросит? Хватит! Хватит, Гришка! Я не пропаду... Будет время — кончу институт. Думаешь, я с охотой ухожу? Разыгрываю оскорбленную гордость?

— Забываешь про нас! — разгоряченно сказал Косов и качнулся к Сергею.— Я соберу ребят, мы пойдем к Луковскому, в райком...

— Мне Свиридов сказал.— Сергей усмехнулся.— Мое исключение — это борьба за меня. Партия не карает, а воспитывает.

— Партия — это не Уваров и Свиридов, леший бы за-

драл совсем! — крикнул Косов.— Партия — это миллионы, сам знаешь. Таких, как ты и я!

— Но в райкоме верят Свиридову...

— Мы слишком много учитываем и мало действуем! — не дал договорить Косов.— А надо действовать. Бог не выдаст, свинья не съест!

— Я все время придерживался этого. Но я уже решил, Гришка. Ничего переигрывать не буду. Все уже сделано. Я уже был у Луковского. Поеду в Казахстан.

— Это что — твердо? — спросил Косов.

— Я не пропаду. Разве во мне дело сейчас?

Он чувствовал едкий запах известки из коридора, до боли резал глаза яркий свет лампы на голом шнуре. И лица Косова, Подгорного, стоявшего в одних носках на полу, и похожее на блин робкое лицо Морковина, наблюдавшего за ним со своего чемодана, странно и отдаленно проступали в этом оголенном свете лампы. И в эту минуту он понимал, что знает нечто большее, чем все они.

— Самое страшное, Гришка, не во мне.

Одновременно взглядывая на Морковина, Косов и Подгорный замялись с каким-то недобрым напряжением. И тот, обняв круглые колени, придавив их к груди, растерянный, вдруг густо покраснел и покорно и тихо потянул из-под матраца брюки, начал, не попадая ногой в штанину, надевать их.

— Тю! — произнес Подгорный.— Ты куда ж?

— На вокзал,— уже натягивая рубашку, путаясь в ней, ответил срывающимся голосом Морковин.— Я мешать не буду. Я ведь не партийный... В одной комнате живем, а разговоры врозь. Как же жить вместе? А может, я... как и вы... Сергея тоже понимаю... понимаю... Может, вы думаете, что я... думаете, что я...

Его пальцы никак не могли найти пуговицы на рубашке, и, когда Сергей увидел его опущенное и будто что-то ищущее лицо и слезы обиды, внезапная жалость кольнула его. И он, как и Косов и Подгорный, недолюбливавший Морковина за его постоянную расчетливость, за его излишнюю бережливость (деньги от стипендии прятал в сундучок на замке, живя иногда впроголодь), сказал дружески:

— Сиди, Володя. Никто из нас не думает...

Тогда Подгорный с нарочитой ленцой поскреб в за-

тылке, сказал: «Ах, бес, ну воображение!» — и тут же грубовато-ласково обхватил Морковина, посадил на чемодан.

— Ну шо ты козлом взбрыкнул? И слухать не хочу — ухи вьянуть. На вокзал вместе поедем. Уразумел?

Морковин, съежившись на чемодане, продолжал тормошить пуговицы старенькой черной, приготовленной в дорогу рубашки,— и Косов выругался, с сердцем отшвырнул носком ботинка кусок ватмана на полу. Сказал:

— Забудь про эти слова! С ума сойти от твоих слов можно. Понял, Володька?

И долго смотрел под ноги себе.

— Это долго не может быть, не может, Сережка. Знаешь,— заговорил он,— мне вчера один тут... знакомый рассказал. Одного журналиста арестовали за то, что у него в мусорной корзине газету с портретом Сталина нашли. Ну за что, спрашивается? Кому это нужно? Бред! Может так долго продолжаться? Нет. Уверен, как черт, что нет.

— Знаю,— ответил Сергей.— Если бы я не был уверен! Не знаю — дождутся ли *там?*

Подгорный, сузив глаза, подтвердил задумчиво:

— От главное. Ой, чи живы, чи здоровы все родичи гарбузовы, есть така песенка, братцы...

Косов, сердито отталкиваясь маленьким кулаком от железных спинок кроватей, кругами заходил по комнате.

— Когда я набирал себе в разведку, то всегда узнавал ребят так. Подходил к какому-нибудь верзиле сзади и стрелял над ухом из нагана. Вздрагивал, пугался — не брал. Пугливых в разведке не надо. И в партии пугливых не надо. Мы что — трусим? Полны штаны? Нет, надо идти в райком, братцы! Сами себя перестанем уважать. Нет, Сережка, надо, надо! Все равно надо! Этот дуб Свиридов под ручку с Уваровым такую чистоту в институте наведут — ни одного стоящего парня не останется! Ну ты как, Мишка? Ты как?

Подгорный ответил после раздумья:

— Дашь сигнал к атаке — пойду. Танки артиллерию поддерживали. И наоборот.— И темно-золотистые глаза его улыбнулись Сергею не весело, не с фальшивой бодростью, а как-то очень уж грустно.

В ознобе Сергей прислонился спиной к косяку двери,

стараясь согреться, но чувствовал, как мерзли от промокшего плаща лопатки, а голова была туманной, горячей,— и смутно появившаяся на секунду мысль о том, что он может заболеть, вызывала странное, похожее на облегчающий покой желание полежать несколько дней в чистой постели, забыться, не думать ни о чем. Он знал, что этого не сможет сделать.

— Я провожу вас до автобуса,— сказал он.— Вам, наверно, пора? Собирайтесь — я провожу.

— А! — отчаянно произнес Косов, рубанув кулаком по воздуху.— Деньки, как в бреду... беременной медузы! Собирай, братцы, манатки! И — гайда до осени. А осенью — или пан, или пропал. Или грудь в крестах, или...— Он поднял свой чемодан и резким толчком бросил на стол.

— Пан. Прошу пана — пан,— без улыбки отозвался Подгорный.

Они собрались быстро — студенческое количество их вещей не требовало большого времени для сборов, в пять минут все было готово. Косов сильным нажатием колена на крышку управился и с чемоданом Морковина, сказал, небрежно пробуя на вес: «Чемоданчик ничего себе — аж углы перекосились!» — а Морковин затоптался возле Косова, отворачивая свое круглое конопатое лицо, пробормотал с беспокойством:

— Разве уж тяжелый?

— Ладно! — обрезал Косов.— Пошли. Понесешь мой чемодан, я — твой. Боюсь, для твоего чемодана у тебя слабы бицепсы.

А когда выходили они из общежития и Косов легко перемахнул из одной руки в другую тяжелейший деревянный чемодан Морковина, Сергей почему-то вспомнил известную слабость Косова — везде демонстрировать силу: о нем говорили, что, если потребуется перенести все шкафы и столы из аудитории во двор и обратно, то лишь Косов согласится на это с удовольствием.

И хотя Сергей понимал, что и Косов и Подгорный знали то, что знал он, и оба чувствовали, как он, и оценивали многое так же, однако он разительно ощущал свое отличие от них — это письмо отца в нагрудном кармане под плащом — и думал, что они не знали всего так оголенно, больно и так ясно.

Они вместе — все четверо — дошли до автобусной остановки и здесь, остановившись на краю тротуара под

фонарем, в стеклянный колпак которого буйно хлестали дождевые струи, стали прощаться.

— Старик, до осени,— сказал резковато Косов, глядя на Сергея угрюмо, исподлобья, не желая быть растроганным в последнюю минуту, но так стиснул кисть Сергея, точно всю силу надежды вкладывал в это рукопожатие.

— Перемелется, Серега, мука буде. Ось поверь, мука буде,— выговорил Подгорный с дрожащей улыбкой и легонько обнял его.— Ось поверь, мука буде...

— Счастливо,— сказал Сергей, скрывая голосом рвущуюся нежность к ним и слабо веря, что они расстаются ненадолго.

И когда взглянул на Морковина, на его как бы замкнутое в поднятый воротник куртки и напряженное лицо, увидел его часто моргающие от дождевых капель веки, он еле внятно услышал его прерывающийся шепот и почувствовал вцепившиеся в его руки пальцы.

— Ведь я тебя всегда... хорошо к тебе... Ты не замечал, а я уважал... И сейчас... Прощай покуда, Сергей.

— Ладно, Володя, ладно,— сказал Сергей.— Счастливо вам.

Они сели в автобус, и теперь не было видно их лиц сквозь замутненные стекла, только неясно темнели силуэты, и эти освещенные окна качнулись, сдвинулись, поплыли в мокрую и жидкую тьму улицы, а потом огни автобуса начали мешаться с огнями фонарей, совсем исчезли, а тут, на мостовой, где только что был автобус, пустынно поблескивал асфальт, усыпанный прибитыми к нему дождем тополиными листьями.

Сергей повернулся и пошел, глубоко засунув руки в карманы промокшего плаща, пошел по темному тротуару, один среди этой безлюдной, шуршащей дождем улицы, а озноб все не проходил, его била нервная дрожь.

«Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой...», «Поверь мне, что я невиновен...» — вспомнил он, и синие на листке буквы, написанные химическим карандашом, всплыли перед его глазами.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В начале августа после трех суток езды через сожженные степи в прокаленном зноем металлическом вагоне Сергей сошел с поезда на новеньком вокзале «Милтук-уголь» и под моросящим дождем вышел на привок-

зальную площадь, сладковато пахнувшую углем и каким-то незнакомым южным запахом.

Город начинался за площадью, вокруг которой по-раннему редко светились окна, и там меж очертаний домов, меж черными шелестящими карагачами, как показалось ему, в самом центре города проходила одноколейная дорога — свистяще шипел маневровый паровоз, мелькали над крышами багровые всполохи, и там протяжно пел рожок сцепщика, доносился лязг буферов, глухой грохот по железу.

Нагружался, наверно, уголь, он гремел в бункерах, и не сразу Сергей различил в сереющем воздухе рассвета справа и слева над улицами размытые очертания копров.

Он вдруг удивился тому, что он уже здесь, Ася далеко отсюда, в Москве, под присмотром Мукомоловых, и вспомнил последний разговор их, когда она сказала, что все понимает и поэтому отпускает его, она все поняла, Ася.

На краю площади, до блеска вымытые дождем, виднелись два такси, как в Москве, мирно горели зеленые фонарики. Одна из машин тронулась, сделала медленный разворот по кругу площади, затормозила около Сергея, из окна дверцы проворно высунулась голова молодого парня-казаха в модной кепочке без козырька, он крикнул:

— Салам, начальник! Куда везем?

— Я не начальник,— ответил Сергей и поднял отяжелевший под дождем чемодан.— Вы ошиблись. Нужно в райком.

— Садись, будь любезен, подвезем.— Шофер мастерски, в щелку зубов сплюнул на асфальт, весело и охотно раскрыл дверцу.— Давай! Откуда сюда?

— Из Москвы.

— Э-э, москвич?

— Был.

Он влез на сиденье рядом с шофером и еле успел достать мокрыми пальцами сигарету, как парень круто затормозил машину, облокотился на руль, подмигнул всем своим выпуклоскулым, подвижным лицом.

— Все, начальник!

— Что?

— Приехали. Райком.

— Уже? — не поверил Сергей, плохо понимая, и все-таки полез за деньгами.— Сколько с меня?

— Веселый парень, анекдоты рассказываешь! — замотал кепочкой и озорно, молодо захохотал шофер.— Какие деньги — пятьсот метров ехали! Только сигарету дай, московскую. «Прима» у тебя? Вот райком! Только рано еще. Спят. Может, в гостиницу поедем? Чего думаешь? Давай.

— Нет. Я подожду. Спасибо. Возьми всю пачку. У меня есть.

Двухэтажное здание райкома было темным.

Он присел на чемодан под навесом. Он мог ждать под этим навесом хоть целые сутки.

Только в десять часов утра он увидел секретаря райкома Гнездилова. Невысокий, кряжистый человек в просторном брезентовом плаще, казавшийся от этого тяжелым, квадратным, грузно ступил в приемную, где пожилая заспанная машинистка безостановочно, пулеметными очередями стучала на машинке, задержал взгляд на Сергее, сидевшем на диване, глянул на чемодан, поставленный у его ног, сказал сочным голосом:

— Доброе утро, Вера Степановна. Это ко мне товарищ?

— К вам, Аким Никитич. Сидел, представьте, с ночи под навесом, пока райком был закрыт. Из Москвы.

— Из Москвы? Ну так. Проходите, коли ко мне.

Сергей вошел в кабинет секретаря райкома.

— Так, так,— говорил Гнездилов, уже за столом прочитывая письмо Морозова, характеристики, документы Сергея, изредка взглядывая недоверчивыми глазами.— На шахту? Работать?

— Да.

— Понятно. А отец арестован, так? Осужден?

— Да. На десять лет. Я узнал только это.

— А ты что же — обманул партбюро?

— Нет.

— Та-ак. Понятно. А Игорь Витальевич твой декан?

— Да.

— Что это ты заладил: да, нет, нет, да. Как заведенный. Эдак мы с тобой не договоримся. Будем мекать да бекать. Ты что, злой очень?

— Я жду вашего решения. Я вижу, что вас не обрадовали мои характеристики,— сказал Сергей.

Очень тесный кабинет секретаря райкома, загромо-

жденный большим письменным столом и длинным, закапанным чернилами другим столом, поставленным к нему перпендикулярно, и деревянной вешалкой в углу, где висел брезентовый плащ Гнездилова, представился вдруг серым, неуютным, и вся простота его теперь выглядела неестественной, а простоватый этот разговор ненужно наигранным, нарочитым.

— Вон как ты крепко рубанул: «Не обрадовали характеристики»! Да, с такой характеристикой, дорогой товарищ студент, в золотари не возьмут. Вот таким образом получается.

Немолодое лицо Гнездилова с крупными чертами — мясистый нос, широкие брови, широкий подбородок — было слегка опухшим после сна, задумчиво-хмурым; голова наголо бритая, наклоненная над бумагами, казалась массивной.

— Эк как ты: «Не обрадовали характеристики»,— продолжал Гнездилов.— Что ж, ты не согласен с исключением? Ошибки не понял? Ну, как на духу говори!

— Нет, с исключением я не согласен.

— Упрямый ты, никак? А это что? Зачетная книжка? На третьем курсе науки проходил. Ну что ж, пятерок много. А это что, тройку схватил? Характер, видать, неуравновешен, так? Ну что ж ты мне скажешь? Что с тобой делать? Что ты будешь делать, если прямо скажу «нет»?

— Что ж, поеду в другое место.

— А если и в другом месте? Пятно ведь везешь. И какое пятно!

— Поеду в третье.

— Неужто на все пойдешь?..

Гнездилов, хмыкнув, пытливо обвел Сергея черными глазами, не спеша поглаживая шею, наголо, до синевы бритую голову.

— В грузчики пойду,— ответил Сергей.— Или рыть землю.

— От отчаяния?

— Нет. Я в войну много покопал земли.

Было долгое молчание.

— Вот что! — наконец сказал Гнездилов, и рука его тяжело опустилась на стол, где лежали документы Сергея.— Ты знаешь, куда приехал? Хорошо знаешь?

— Знаю.

— Так вот что — пойдешь рабочим в комплексную

бригаду на «Капитальной». Понял, что это такое? Осваивать в лаве новый комбайн. Изучал у Морозова небось?

— Да.

— Ну вот. Предупреждаю, на третьем участке все сложно. Все вверх ногами. Сто потов с тебя сойдет, ночей спать не будешь, ног и рук не будешь чувствовать — такая работа! Ну?

«Рабочим комплексной бригады? — медленно повторил Сергей.— Что он сказал — рабочим комплексной бригады? Значит, в шахту?» И он немедля хотел сказать, что очень хотел бы этого, но проговорил вполголоса, сдержанно:

— Вы, кажется, забыли, что я...

— Я ничего не забыл! — жестко перебил его Гнездилов и сдернул трубку телефона.— Ты мою память еще узнаешь. Я все дела твои изучу, парень, и запомни: глаз с тебя спускать не буду.

— Значит, вы серьезно?..— почти шепотом выговорил Сергей.— Спасибо... Я ведь... я ведь готов был и в грузчики,— доверительно и тихо добавил он.— Мне уже было все равно, Аким Никитич.

Телефонная трубка издавала длительные гудки, Гнездилов строго покосился из-под бровей.

— А не справишься с работой — в грузчики, в сторожа переведем! Это обещаю.— И неторопливо набрал номер, заговорил своим густым голосом: — Бурковский? Привет, мученик! Опять горишь? Долго у тебя будет дым без огня? Когда я на твоем месте сидел, у меня, брат, дыма не было! Врубовки? А ты проси и врубовки! Что, я тебе буду ходатайства писать? Нажимай, требуй, из рук выхватывай! Экий у тебя дамский характер! Вот что. Закажи от своей шахты номер в гостинице и давай немедленно на-гора́. Разговор есть. Ну! — Он бросил трубку, тяжело поднялся, снял плащ с вешалки.— Давай, Вохминцев. А через месяц позову тебя сюда. И спрошу. Спрошу строго. Иди. Гостиница направо за углом. Рядом. Сегодня отдохнешь, а завтра — под начальство к Бурковскому. Твой начальник участка. Если он тебя возьмет. Тут я, знаешь, не виноват.

Только возле самой гостиницы Сергей понял, что произошло, но еще не верил в то, что будет жить здесь и что сюда может приехать Нина. Моросило. Расстегнув плащ, откинув капюшон, он стоял около подъезда каменной, по-видимому, недавно выстроенной, четырех-

этажной гостиницы с новенькими вывесками «Парикмахерская», «Ресторан» и не входил в нее,— сдавливая дыхание, билось сердце, и он губами ощущал: дождь был тепел.

А вся неширокая улица перед гостиницей была затянута водяной сетью, мимо домов бежали, скользили мокрые зонтики, и пронесся, шелестя по мостовой, глянцевито-зеленый автобус, тесно заполненный людьми в брезентовых комбинезонах. И где-то близко звучал в сыром воздухе рожок сцепщика. Потом с лязганьем буферов, замедленно пересекая улицу, прошли к железному копру шахты, черневшему за крышами, товарные платформы, их тяжко подталкивала «кукушка». Пар от нее с шипением вонзался в туман.

Дождь не переставал, и небо было низким, мутным, а он все не входил в гостиницу, все смотрел на железный копер шахты, на «кукушку», на платформы, на дома,— и по лицу его скатывались теплые капли.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

— Такси, стой!

Человек выскочил из пустого арбатского переулка, спотыкаясь, бросился на середину мостовой навстречу машине, и Константин затормозил; человек закоченевшими пальцами начал рвать примерзшую дверцу и не влез, а упал на заднее сиденье.

— До Трубной! Быстрей, быстрей!

Константин из-за плеча взглянул на пассажира — молодое, острое, бледное лицо спрятано в поднятом воротнике, иней солью блестел на мехе; кожаный и будто скользкий от холода чемоданчик был поставлен на колени.

— Ну, а если поменьше восклицательных знаков? — спросил Константин.— Может, тогда быстрей?

— Быстрей — ты не понимаешь? — визгливо крикнул парень.— Оглох?

Ночной Арбат был глух, пустынен, с редкими пятнами фонарей на снегу, посверкивала изморозь в воздухе, на капоте машины, на стекле, по которому черной стрелкой ритмично пощелкивал, бросался то вправо, то влево «дворник».

— Что ж, поехали до Трубной,— сказал Константин.

Когда после синеющего пространства Арбатской площади, без единого человека на ней, с темным овалом метро, пошли слева за железной оградой заваленные снегом бульвары, Константин мельком посмотрел в зеркальце: парень сидел, облокотясь на чемоданчик, шумно дышал в поднятый воротник.

Ночью в опустошенной морозом Москве — среди вымерших зимних улиц, погасших окон и закрытых подъездов, среди сугробов возле ворот и заборов — машина казалась островком жизни, едва теплившимся в скрипучем холоде, и у Константина появлялось ощущение нереальности ночного мира, в котором люди жили странной, отъединенной от дня жизнью.

Держа одну руку на баранке, Константин зубами вытянул из пачки сигарету, и, когда чиркнул зажигалкой, зябкий голос раздался за его спиной:

— Дай курнуть, шофер!

Константин из-за плеча протянул пачку, замерзшие чужие пальцы тупо выдирали сигарету.

— Огоньку дай!

Ровно шумела печь, распространяла по ногам тепло. Константин поправил зеркальце, мазнул перчаткой по оранжевому в наплывавших фонарях стеклу, сказал лениво:

— Слушай, мальчик, а ты хороший тон знаешь? Имеешь понятие, что такое... ну, скажем, деликатность? Или перевести на язык родных осин?

— Молчи! Огоньку дай — и все, понял?

— Надо научиться слову «спасибо», мальчик.

— Молчи, говорю! — Парень жадно прикурил и отвалился на сиденье, перхая при каждой затяжке.

До Трубной ехали молча, Константин не продолжал разговор, насвистывая сентиментальный мотивчик, за три года работы в такси он давно привык к странностям ночных пассажиров и только на углу Петровки спросил:

— Ну? Где прикажете остановиться?

— Чего? Чего ты?

— Трубная,— сказал Константин и, затормозив на площади, обернулся.— Прошу. Доехали.

И тут же встретился с приблизившимися глазами парня, губы его ознобно прыгали, трудно выталкивали слова:

— Трубная?.. Трубная?.. Ты подождешь меня здесь, на углу, ладно? Здесь... Твой номер запомнил — двадцать шесть семьдесят два... Ты меня обождешь! И дальше... дальше поедем!

Парень, спеша, вытащил из бокового кармана пачку денег, вырвал из нее двадцатипятирублевку, швырнул на сиденье и выскочил из машины, дыша, как голый на морозе.

— Стоп! — крикнул Константин и опустил стекло.— А ну, потомок миллионера, возьми сдачу! Вот держи аккуратненько ладошкой — и привет от тети!

— Ты!..

Паренек затоптался около машины, переступая на снегу модными полуботинками; глаза его сразу стали напряженными, плоскими, он дрожал то ли от холода, то ли от возбуждения; и, мотнув чемоданчиком, вдруг заговорил с бессильной злостью:

— Я за ней, понял — нет?.. Она в Рязань уехала... Чемодан собрала и уехала! Мне в Рязань надо! Я ее из Рязани привез, женился, а она... Ух, догоню ее — убью! Из общежития уехала!.. Понял? Или нет?

— От кого уехала?

— Да не от тебя!..— срывающимся голосом закричал парень.— Я тут на Трубной к матери, а потом в Рязань! Пять бумаг будет твоих. Ну, шофер, ну? Ну, шесть сотен хочешь?.. Всю зарплату отдам! Ну не понимаешь, да? Мать у меня здесь, на Трубной! Скажу ей — и все! Подожди здесь — и в Рязань! Шесть бумаг отдам!

— Шесть бумаг? Все понял. К сожалению, на первом посту за Москвой задержат машину, и меня выпрут из парка. Мои рейсы в городе, парень.

— Трусишь, таксист? — взвизгнул парень.— Трусишь? Да?

Константин со скрипом поднял прилипшее от мороза стекло,— парень, размахивая чемоданчиком, побежал через пустырь площади к черной арке каменного дома. Там в студеном пару, в радужных кольцах горел фонарь. Парень вбежал под арку, слился с ее темнотой.

Константин развернул машину на площади, поехал в центр.

Выезжая на Петровку, он оглянулся на заднее стекло, там мелькнуло возле арки туманное пятно фонаря. «Трусишь?» — вспомнил он и грудью и рукой ощутил легкую нагретую тяжесть трофейного пистолета во внутреннем кармане.— Значит, теперь трусишь?»

После участившихся в последнее время случаев ограбления такси и после незабытой недавней встречи с тремя молодыми людьми по дороге в Лосинку, которая едва не стоила Константину жизни, он брал в ночные смены маленький плоский немецкий «вальтер», привезенный с фронта. Так было спокойнее.

В центре он остановил машину напротив «Стереокино», это было удобное место — перекресток путей из трех ресторанов, два из них работали до поздней ночи.

Поворачивая машину от Большого театра к заснеженной площади Революции, Константин увидел возле здания кинотеатра, под мерзлыми тополями, одинокую, поблескивающую верхом «Победу» и, подъезжая, осветил фарами номер такси.

«Михеев,— определил он.— Как всегда, здесь».

Константин вылез из машины, подошел к «Победе» и открыл дверцу, улыбаясь.

— Ну что — покурим, Илюша? Дай-ка огоньку, держи сигарету! Кончай ночевать, сделай гимнастику и подыши свежим воздухом!

Михеев, парень с широким скуластым лицом, сонным, помятым, вытащил из машины плотное, как бы замлевшее от долгого сидения тело; разминаясь, поколотил кулаками себя под мышками, выдохнул:

— Ха! Дерет, шут его возьми! Вздремнул малость, Костя... Пассажиров, чертей, мороз разогнал, без копейки приеду, ситуация, мать честная! Это ты мне — сигарету?

У Михеева чуть-чуть косили к носу круглые, немигающие глаза, и именно это придавало его широкоскулому и губастому лицу нечто птичье — всегда настороженное.

— Прошу, Илюша,— сказал Константин, щелчком выбивая сигарету из пачки.— Вот огоньку, же ву при, мой дорогой, спичек нет.

От этих щелчков вылетели из пачки две сигареты, одну успел подхватить Михеев, другая упала под ноги.

Михеев досадливо кряхтя, подхватил ее, обтер о рукав.

— Брось,— сказал Константин.— Снег, Илюша, не убивает бактерии.

— Так прокидаешься — без штанов ходить будешь. Можно взять, что ль? — Михеев аккуратно заложил вторую сигарету за ухо и зажег спичку, прикрыв ее ладонями, прикурил, после этого дал прикурить Константину.— Миллионщик ты, Костька, честное слово, и откуда рубли у тебя? — заискивающе сказал он.— Дорогие куришь... А я — гвоздики, на жратву еле...

— Ох ты, прелесть чертова! — засмеялся Константин.— Ты же больше меня зарабатываешь, Илюша. В сундучок кладешь? Под матрац? Ну, для чего тебе деньги? Женщин, Илюша, ты боишься, в рестораны не ходишь. Ну, когда женишься?

— Без порток, а о женитьбе думать? — сказал Михеев.— Жене деньги нужны. Вот тогда...

— Значит, с деньгами женишься, Илюша?

Михеев сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Тут рассказывали,— заговорил он,— во втором парке шофера убили! Шпана. Гитарной струной удавили. Сзади накинули и... Триста рублей у него и было-то, видать,— Михеев сплюнул, бережно подул на кончик сигареты, поправил ее пальцем, чтоб не сильно горела.— Удавили-то возле Тимирязевки, а выбросили в Останкине. Машину нашли в Перловке. Вот сволочи... Вешал бы я их своими руками. Вешал бы прямо. Неповадно было бы. Что с нашим братом делают!

— Нашли? — спросил Константин.

— Чего? Кого нашли-то? — презрительно фыркнул толстыми губами Михеев.— Найдут, хрен в сумку. Бывает, невинного скорее найдут. Они только штрафовать умеют. А чтоб преступника...— Он крепко выругался и опять сплюнул.— А третьего дня одного... из третьего парка — молотком. Череп пробили. А у него — ни копья. Только из парка выехал... Что с нашим братом делают!

Вся огромная площадь была в слабом свечении зимней ночи, из синеватой тьмы сыпалась изморозь, роилась вокруг белого света фонарей. За бульварчиком проступали тяжелые таинственно белеющие клочками снега меж колонн очертания Большого театра со вздыбленной в черноту неба квадригой. И было темным, казалось пустым здание гостиницы «Метрополь». Только одно окно

покойно светилось над площадью в высоте этажей. Все стало в инее, мороз шевелился, трещал на бульваре поблизости от кинотеатра, давно погасшая огромная реклама и бородатое лицо Робинзона Крузо под ней были, чудилось, посыпаны кристаллами.

Константин, присев на крыло михеевской «Победы», оглядел площадь, ее мрачную пустоту, спросил:

— Ну, Илюша? Еще какие новости?

Михеев смотрел на гостиницу «Метрополь», на единственное горевшее окно, глубокие складки тоскливо собрались в изгибах рта.

— Какой-то иностранец коньяки-виски пьет или с бабой... занимается...— проговорил он.— Вот у кого денег-то! Мне на всяких иностранцев не везет. Ни одного не возил. Я б его пощекотал на счетчик...

Константин задумчиво покусал усики.

— Ну ладно, Илюша, кончай ночевать. Пошли искать пассажиров. Первые — твои, вторые — мои.

— С удовольствием! У тебя ведь счастливая рука! — оживился Михеев, затаптывая в снег докуренную до ногтей сигарету.— Ежели б ты... я б с тобой всегда на пару работал. Везет тебе! К ресторану пойдем?

— Да.

«Уехал ли тот парень с чемоданчиком? — подумал Константин, идя с Михеевым мимо «Гастронома», мимо огромных стекол магазина «Парфюмерия» к ресторану «Москва»; снег звенел, визжал под ботинками, звук этот разносился на всю улицу.— Может, стоило все же отвезти его в Рязань?»

— Детей травят,— сказал Михеев.

— Что?

— В родильных домах. Родился мальчик — и вдруг раз! — умирает. В чем дело? Оказывается, врачи. Поймали трех. В Перове... Слышал? А то в аптеках еще — лекарства продают. А в них — рак. Раком заражают. Через год — умирают... Одну аптеку закрыли. В Марьиной роще. Арестовали шмуля. Старикашка, горбатый... Американцы подкупили...

— Что за чепуху ты прешь! — Константин насмешливо взглянул на Михеева.— Ну, что треплешь, сундук?

— Я при чем? — обиделся Михеев.— Послушай, что люди говорят... Не веришь? Какая же тебе чепуха, ежели...

— Ну что «ежели»?

Михеев не успел ответить, они завернули за угол метро. Перед гостиницей морозный туманец рассеивался клубящимся оранжевым светом ярко и широко освещенных окон,— и внезапно слева с каменных ступенек у дверей ресторана, прорезая тишину, послышался тонкий вскрик:

— Пу-усти-ите!..— И опять: — Пустите-е! Ой, боольно!.. Бо-ольно!..

Михеев, округлив глаза, схватил за рукав Константина.

— Подожди!.. Кричат, что ль?

И, озираясь на ступени, Константин неясно увидел вверху, меж колонн, несколько угловато метнувшихся людей, непонятно сбившихся в кучу; и сейчас же человеческая фигура вырвалась оттуда, нелепо согнувшись, бросилась вниз по ступеням — человек поскользнулся и упал, покатился по ледяным ступеням, вскрикивая:

— Дима, беги!.. Что же это?.. Дима!.. Не трогайте!

— Что за черт! — сказал Константин.— Драка, кажется?

Оттуда, от колонн, трое ринулись вниз, следом за человеком, прыгая через ступени, зазвеневший голос раздался сверху:

— Сто-ой, мерзавец!

— Морды бьют. Надрались,— хихикнул Михеев.— И откуда деньги?

Упавший человек в черном пальто вскочил, затравленно оглядываясь, позвал шепотом:

— Дима... Дима! Беги! — И закрутился на месте, словно искал шапку вокруг себя.

Он кинулся по тротуару в ту сторону, где стояли Константин и Михеев, не заметив их, и Константин увидел испуганное белое лицо, темную ссадину на лбу, короткие, слипшиеся волосы. На миг человек этот приостановился, хватая ртом воздух, вильнул в сторону, побежал по мостовой к улице Горького.

— Держи-и, держи-и его!..

Трое сбегали по ступеням, поворачивали в сторону мечущегося по мостовой человека, и Константина как будто сорвало с места («блатного хмыря ловят!»), и в несколько прыжков он настиг этого петляющего по мостовой, выкинул ногу, встретив жесткий толчок по голени, и человек с размаху упал плашмя, задохнувшись, и в

ту же секунду, когда он упал, Константин услышал топот ног, громкие злые голоса за спиной.

— Молодец!.. Ловко!.. Молодец! — прохрипел, подбегая, невысокий, квадратный в плечах человек (плечи его вздымались), плоское и сильное курносое лицо блестело потом.

С бегу он тыкнул в грудь Константина растопыренными пальцами, отталкивая его, проговорил хрипло:

— Спасибо, помог!

И, наклонясь над лежащим лицом вниз человеком, ударил его ногой в бок.

— Ты с кем, мокрица?.. Я т-тя... произведу в дерьмо!.. На! На! На...

Низенький этот с озверелым лицом бил ногами по безжизненно распластанному телу, при каждом ударе выдыхая воздух, точно дрова рубил, учащенно, поршнями двигались его локти. Тело на мостовой слабо изогнулось, задранное к лопаткам пальто сбилось бугром, руки уперлись в снег — человек, сделав усилие, вскочил и как-то неловко пнул низенького в подбородок двумя кулачками. А Константин только сейчас ясно успел разобрать вблизи его лицо — юное и бледное лицо мальчишки лет восемнадцати.

— Дима, Димочка!..— умоляюще крикнул он, отступая от низенького.— Не бейте Диму!.. За что?

Набычив шею, низенький грузно рванулся к нему, взмахом кулака сбил на мостовую и затоптался, забегал над ним, носком ботинка с оттяжкой ударяя под ребра.

— А-а, ты у меня попоешь! — выдыхал низенький.— Я те покажу Диму!.. А ну, где этот Дима? Вы нас запомните, гниды!..

Константин почувствовал, что все расплывается перед глазами, все становится нереальным, тусклым, и вдруг ему стало больно и трудно глотать — сразу ссохлось в горле.

Смутно увидел, как справа, сутуло вобрав голову в плечи, растерянно отступал спиной, двигался по мостовой Михеев, а возле метро — двое в расстегнутых пальто молча, старательно избивали, гоняя от одного к другому, высокого паренька в короткой куртке, оттуда доносились отрывистые всхлипы:

— За что? За что? Что я вам сделал? За что? Что я сделал?..

— А ну прочь, подлецы!.. Стой, сволочи! Пр-рочь!..

Константин лишь краем сознания понял, что это был его голос, и, стиснув зубы, достиг низенького в три шага, яростным ударом заставил его пригнуться, закрыться и тотчас подлетел к тем двум в пальто, что гоняли высокого паренька в куртке, и отшвырнул их от него. Эти двое, дыша паром, бросились на Константина, удары в челюсть, потом в грудь оглушили его.

Они наступали с двух сторон, угрожающе и осторожно, один кашлял, сплевывал на снег вязким, тягучим. И в этот миг Константин ощутил тишину. Он почувствовал — вдруг произошло неуловимое, не увиденное им. Двое смотрели куда-то мимо него, и когда Константин инстинктивно взглянул на низенького, тот правой рукой суматошно хватал что-то, лапал у себя под пальто — и он понял все.

— Стой, сволочь! Опусти руку! — крикнул Константин и, в это же мгновение вспомнив о пистолете, торопясь, рвущим движением выхватил «вальтер» из внутреннего кармана, шагнул к низенькому.— Назад! Назад, сволочь! Наза-ад!..

— Оружие? — сипло выдавил низенький, отступая.— О-оружие?..

— А ну, спиной ко мне — и марш! Бегом! — со злобой скомандовал Константин и махнул пистолетом.— Бегом, к Манежу! Бы-ыстро!

Заплетающейся рысцой низенький и двое в расстегнутых пальто побежали к Манежу, но, отбежав метров сто, они остановились. Чернели силуэты на снегу. Потом долгий милицейский свисток просверлил ночь; от гостиницы «Националь» приближалась к ним темная фигура постового.

— Быстрей, ребята! Смывайся отсюда! — подал команду Константин возившимся на мостовой парням.

Тот, первый, подымая лицо в крови, зажимая тонкой рукой нос, пытался встать; другой, в куртке, помогал ему, тянул за плечи, беспрерывно повторял сквозь стоны:

— Гоша, Гоша, бежим, бежим... Ты слышишь, быстрей, миленький!..

— Быстрей, быстрей, ребята! — лихорадочно выкрикивал Константин, с особой остротой сознавая, что все это безумие, что он не хотел этого, но ничего уже нельзя изменить.— Ну, что? Что? Вон туда — бегом! На улицу Горького, во двор! Бегом!..

Вталкивая пистолет в карман, он ринулся к угловой станции закрытого метро, возникшее странно пустыми огромными стеклами, резко завернул за угол и мимо безлюдного подъезда гостиницы побежал по тротуару к «Стереокино». Не слышал позади ни милицейского свистка, ни шума погони, ни окриков — все забивало, заглушало собственное дыхание и мысль, колотившая в мозгу: «Зачем это? Как же это? Только бы никого не было возле машины!.. Где Михеев?..»

И тут на краю тротуара, потирая потную грудь, увидел: «Победа» Михеева, задымив выхлопными газами, стремительно разворачивалась по кольцу площади, мимо темной гостиницы «Метрополь», где по-прежнему в высоте этажей светило одно окно («иностранец коньяки-виски пил»), а его, Константина, машина, вся в блестках инея, по-прежнему стояла напротив кинотеатра.

Он раскрыл дверцу, упал на сиденье, руки и ноги сделали то, что делали тысячу раз. Он боялся только одного — чтобы не отказал на стуже мотор.

Мотор завелся... Опустив стекло, глядя назад в проем улицы, откуда можно было ждать опасность, он повел машину по эллипсу площади, сразу же набирая скорость.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он остановил машину в одном из тихих замоскворецких переулков; сеялся снежок. Свет фонарей сузился, сжался, начал падать конусами, стиснутый мелькающей мглой; справа, за железной оградой, чернея, проступала сквозь снег старая каменная церковка, свежая белизна снега не покрывала ее низких куполов.

Машина перегрелась, мотор бился, сотрясая железный корпус.

Левое стекло он не подымал, пока сумасшедше гнал «Победу», петляя по улицам,— внутри машина выстудилась, и Константин весь продрог на ветру, одеревенела левая щека.

«Где был Михеев?.. Видел он или не видел? — спрашивал себя Константин, восстанавливая в памяти, как Михеев растерянно топтался на снегу в тот момент, когда низенький подбегал к пареньку, поваленному на мостовую.— Где сейчас Михеев?..»

И он вспомнил, что уже на Петровке обогнал его, трижды посветив ему фарами, и потом, выглядывая в окно, видел неотступно мчавшуюся следом машину Михеева, желтые качающиеся подфарники. Только перед Климентовским, вплотную притормозив перед светофором, ненужно мигающим в ночную безлюдность улиц, он с нетерпением подождал, когда подойдет «Победа» Михеева; тот притер завизжавшую тормозами машину, опустил стекло, высунув белое испуганное лицо и ничего не спросил, лишь рот его покривился.

— В Вишняковский, к церковке! — глухо бросил Константин.— Там поговорим.

«Видел ли Михеев, когда я?..— думал Константин, ощупывая негнущимися пальцами ствол пистолета в кармане.— Что я должен делать? Могут проверить все ночные такси?..»

Он нерешительно вылез из машины, без щелчка закрыл дверцу. В переулке на двухэтажные деревянные дома, на навесы парадных мягко сыпался снежок, белил, ровнял мостовую, укладывался на железную ограду, на каменные столбы, на углами торчащее железо развороченных куполов и косо летел в темные проемы разбитых церковных окон.

«Да, в церкви, в церкви спрятать!..» — подумал он и еще неосознанно сделал шаг к закрытым церковным воротам, толкнул их, заскрежетало железо.

Он толкнул сильнее — ворота не поддавались. Тогда он подышал на пальцы, обожженные железом, и, спрятав руки в карманы, стал оглядывать ограду, постепенно приходя в себя: «Спокойно, милый, спокойно...»

Завывающий рокот мотора возник, приближаясь, в переулке, свет фар побежал по сугробам, зеленым глазом светил сквозь снег огонек такси.

«Михеев?..» И он тотчас увидел, как впритык к его машине подкатила «Победа» Михеева,— распахнулась дверца, и Михеев, без шапки, почти вывалился на мостовую, подбежал к нему на подгибающихся ногах.

— Корабельников!.. Корабельников!.. Ты-и!..

— А шапка, Илюша, где? — как можно спокойнее спросил Константин.— В машине?

— Ты... ты что наделал? — набухшим голосом крикнул Михеев и схватил Константина за плечи, потряс с яростной силой.— Ты... Ты погубить меня захотел?.. Ты

зачем пистолетом?.. Откуда у тебя? Ты кто такой? Погубить захотел?

Он все неистово тряс Константина за плечи, табачное дыхание его смешивалось с кислым запахом полушубка; выпукло-черные глаза дико впивались в зрачки Константина.

— Успокойся, Илюша.— Константин отцепил его руки от своих плеч, попросил: — Ну не кричи. Пойдем сядем в машину, подумаем...— И, подойдя к машине, раскрыл дверцу.— Лезь. Я с другой стороны.

— Что ты наделал, что ты натворил, а? — бормотал Михеев, вытирая кулаком лицо.— Господи, надо было ведь мне поехать с тобой! С кем связался!.. Го-осподи!..

— Успокойся, Илюша, приди в себя,— заговорил Константин медленно.— Как думаешь, кто были те... которые парнишек?.. Не знаешь?

— Почем я знаю! — крикнул Михеев, кашляя в возбуждении.— Люди были — и все!.. Тот, задний, подбежал ко мне как бешеный, а сам вроде выпимши... Ну я и говорю...

— Что ты говоришь? — быстро спросил Константин.

— Ну и говорю: водители, мол, такси...

— Так,— произнес Константин.— Ну?

— Что — «ну»? Что ты нукаешь? Что ты еще нукаешь, когда делов натворил — корытом не расхлебаешь!.. Что ты наделал? Не понимаешь, что ль? Малая девчонка какая!

Помолчав, Константин спросил:

— Ну а за что они парнишек... как по-твоему, Илюша?

— Мое какое дело! Я что, прокурор? — озлобленно выкрикнул Михеев и дернулся к Константину.— Ты зачем пистолетом баловал? Ты зачем?.. Не знаешь, что за эти игрушки в каталажку? Защитник какой! Какое твое собачье дело? И чего ты лез? И зачем ты, стерва такая, пистолет вытащил? Откуда у тебя пистолет? Жить тебе надоело?.. На курорт захотел?..

Голос Михеева срывался, звенел отчаянной, пронзительной ноткой; он снова вцепился Константину в плечо, стал трясти его, едва не плача. Молча Константин освободил плечо и сидел некоторое время, глядя в широкоскулое лицо Михеева. Тот тяжело задышал носом, подавшись к нему:

— Что? Ты что?

— Слушай, Илюша.— Константин с деланным спокойствием усмехнулся.— Тебе лечиться нужно, Илюша! У тебя, дружочек, нервы и излишне развитое воображение.— Константин засмеялся.— Ну вот смотри — похоже? — И, хорошо понимая неубедительность того, что делает, он нащупал в кармане железный ключ от квартиры, зажал в пальцах, как пистолет и, показывая, поднес к лицу Михеева.— Не похоже, Илюша?

— За дурака принимаешь? — крикнул Михеев.— Хитер ты, как аптекарь! Глаза у меня не на заднице. Ну ладно, поговорили,— добавил Михеев уже спокойнее: — Я в тюрьму не желаю. Я еще жить хочу. Я не как-нибудь, а чтобы все правильно. Поехал я, работать надо... Я отдельно поеду, ты отдельно... Вот так... не хочу я с тобой никаких делов иметь.

Михеев заерзал на сиденье, нажал дверцу, вынес ногу в бурке, неожиданно задержался, растерянно пощупал голову.

— Эх, стерва ты, из-за тебя шапку потерял. Двести пятьдесят монет как собаке под хвост!

— Слушай, Илюша,— сказал Константин.— Здесь я виноват. Возьми мою. Полезет — возьми. Я заеду домой за старой... Вот померь.

Он снял свою пыжиковую шапку, протянул Михееву, тот взял ее, некоторое время подозрительно помял мех, затем, вздыхая прерывисто, сказал:

— А что же ты думаешь — откажусь, что ль? Нашел дурака! Эх, связался я с тобой!..— и вылез из машины.

Константин подождал, пока Михеев развернет «Победу» в переулке, после тронул машину и неторопливо повел ее, петляя по замоскворецким уличкам, в сторону Павелецкого вокзала. Он не знал, куда ему ехать сейчас: то ли к вокзалу — поджидать утренние поезда, то ли вот так ездить по этим переулкам, до конца продумать все, что случилось...

Не переставая падал снежок, замутняя пролеты улиц.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В конце сорок девятого года Константин перебрался в опустевшую квартиру Вохминцевых, вернее, перенес свои вещи со второго этажа на первый — так хотела Ася; и его освободившуюся холостяцкую «мансарду» немедленно заселили — через неделю комнату занял приятный

и скромный одинокий человек, работавший инженером в главке.

Семейство Мукомоловых прошлым летом переехало в Кратово, недорого сняв там половину дачки — поближе к русским пейзажам,— и лишь по праздникам оба бывали в Москве. Константин редко видел их; квартира стала нешумной, казалась просторной, но к этой тишине, к этому простору дома никак не могла привыкнуть Ася.

В новом этом состоянии женатого человека Константин жил, словно в полуяви. Иногда утром, просыпаясь и лежа в постели, он с осторожностью наблюдал за Асей, чуть-чуть приоткрыв веки. Она невесомо ходила вокруг стола, ставя к завтраку чашки, звеневшие каким-то прохладным звоном, и Константин, сдерживая дыхание, зажмуриваясь, испытывал странное чувство умиленности и вместе с тем праздничной новизны и почти не верил, что это она, Ася, его жена, двигается в комнате, шуршит одеждой, отводит волосы рукой и что-то делает рядом; и он не мог полностью представить, что может разговаривать с Асей так, как никогда ни с кем не говорил, прикасаться к ней так, как никогда ни к кому не прикасался. Он вспоминал ее стыдливость, ее неумело отвечающие губы, то, что было ночью, в ее закрытых глазах, в напряженной линии бровей было ожидание чего-то еще очень тайного, не совсем испытанного ею; и он слышал иногда еле уловимый голос ее, пугающий откровенностью вопроса: «А тебе обязательно это?»

Он молчал, боясь прикоснуться к ней в такие минуты, смотрел на ее стеснительно повернутое в сторону лицо, и нечто непонятное и горькое вырастало в нем. Когда же после такой ночи, проснувшись, он смотрел на нее, свежую, опрятно одетую и будто обновленную чистотой, знал: только что стояла в ванной под душем. И Константин тогда со смутной болью как бы вновь слышал в тишине ее слова, зная также: сейчас Ася не будет вспоминать, что говорила ночью, что она радостна ощущением своей утренней свободы. И он ревновал ее неизвестно к кому, не до конца понимал ее стремление по утрам забыть, отделаться от той, другой жизни, без которой она, как мнилось ему, могла обойтись и без которой не мог жить, любить ее, обойтись он.

Он всегда опасался открыть глаза утром и не увидеть Асю.

Тогда сразу портилось настроение, пустота комнат

уныло пугала его. Он оглядывал ее вещи, учебники по медицине на столе, поясок на спинке стула, мохнатое влажное полотенце в ванной, которым она вытиралась. Насвистывая, бродил из комнаты в комнату, не находил себе дела.

Ему казалось, что он отвечал за каждую ее улыбку и ее молчание, за пришитую к его кожанке пуговицу, за растерянный подсчет денег перед стипендией, за ее слова: «Знаешь, я еще могу походить год в этом пальто — не беда. Медики вообще народ нефорсистый, правда, правда».

В сорок девятом году он намеренно завалил два экзамена в институте и без сожаления ушел с четвертого курса, устроился в таксомоторный парк — и был доволен этим. Он был уверен, что именно так переживет трудную полосу в своей жизни и в жизни Аси...

Константин пришел домой в одиннадцатом часу утра.

Привычная процедура конца смены: сдача путевки, мойка машины, разговор с кассиршей Валенькой — и он был свободен на сутки. Но он не торопился со сдачей путевки и денег, не торопился с мойкой машины — все делал, как обычно, шутя, но в то же время поглядывал на ворота гаража, поджидал машину Михеева, а ее не было.

Потом, потрепав по румяной щеке Валю, он сказал ей какую-то пошлость о коварстве румянца и легковесно поострил с заступающей сменой шоферов, сидя в курилке на скамье.

«Победы» Михеева не было.

Ждать дальше стало неудобно.

Константин вышел из парка, по обыкновению весело помахал Валеньке и не спеша направился за ворота.

Все настойчивее падал снег. Он уже валил крупными хлопьями, приглушал звуки, движение на улице. Обросшие снегом трамваи — мохнато залеплены номера, стекла — медленно наползали на перекрестки и беспрерывно звенели; вместе с ними побеленные до дуг троллейбусы пробивались сквозь снегопад. Неясными тенями скользили фигуры прохожих.

Снег остужал лицо, пахло пресной и горьковатой свежестью, но было тяжело дышать, как в воде, давило на уши.

«Михеев,— думал он под толчки своих шагов.— Задержался. Это ясно. Не набрал денег за смену... Я позвоню в парк из дома. Ася... Она уходит в поликлинику в десять. Как хорошо, что она ушла! Я все обдумаю...»

В парадном он снял кожаную, на меху, куртку, стряхнул снежные пласты, смел веником с ботинок. В коридоре было сумрачно, тепло, из кухни шел сытный запах вареного картофеля.

Он открыл дверь своим ключом.

С улицы сквозь толщу мелькающей пелены не пробивалось ни одного звука, а в комнате два голоса — мужской и женский — с бесстрастной красотой дикции сообщали придавленному снегом миру о наборе рабочей силы, о том, что в московских кинотеатрах идет новый фильм,— Ася забыла выключить радио. Константин прошел в комнату и выключил. Потом, не снимая ботинок, лег на диван, положил руки под затылок; волосы, мокрые от растаявшего снега, холодили голову.

«А что, собственно, произошло? — попытался он успокоить себя трезво.— А, черт совсем возьми! Тысячи такси в Москве...»

Он пригрелся на диване, тяжелая дремота скосила его, понесла, он начал падать куда-то, и чьи-то лица, подступая из темноты, провожали его в этом неудержимом, ускоряющемся падении, и позванивало от скорости опущенное стекло дверцы, и не было силы поднять стекло, густой снег, летящий в глаза, в ноздри, душил его. И он чувствовал, что произошло страшное, должно было произойти... Телефон, телефон звонит!..

Константин, очнувшись, огляделся еще не проснувшимися глазами. Все так же шел снег. Тикал будильник на письменном столе. Телефон молчал.

Он соскочил с дивана, быстро набрал номер телефона диспетчерской.

— Валенька,— сказал Константин ласково,— как там мой кореш Илюша — вернулся?

— Десять минут назад домой ушел,— посмеиваясь, ответила кассирша.— А что, соскучился?

— Тронут сообщением, Валенька,— сказал Константин.— Ну, пока, красавица!

Он опять говорил пошлость, знал, что это пошлость, но говорил так — это освобождало его от серьезности.

Константин положил трубку.

На столе под стеклом лежала фотокарточка Аси —

кто-то «щелкнул» из одноклассников (стоит на полевом бугре, ветер скосил в одну сторону платье над коленями и волосы на одну щеку, лицо загорожено книгой от солнца). Эту фотографию он любил и не убирал, хотя Ася иногда протестовала: «Спрячь ее, я тебе не кинозвезда!»

Константин, помедлив, задернул занавеску на окне и после этого вынул из бокового кармана маленький «вальтер».

Пистолет умещался на ладони весь, со скошенной перламутровой рукояткой; был выбит крохотными цифрами номер на металле — «1763», и рядом — знакомое «Gott mit uns»[1]. Над спусковым крючком,— никелированный прямоугольничек: «Вильгельм фон Кунце».

Изящный, аккуратный пистолетик напоминал игрушку, которую все время хотелось держать в руках, трогать зеркально отшлифованный металл.

«Вальтер» этот попал к Константину в сорок третьем.

Низенький «бээмвэ» без камуфляжа, запыленный, гладко-черный, на всей скорости вкатил в то опустевшее село километрах в двух от левого берега Днепра, откуда утром отошли немцы к переправе.

Всю войну он ползал за немецкую передовую за «языками», ползал не всегда удачно, а эти на машине сами перли ему в руки — и он, стоя у крайнего плетня, первый полоснул из автомата по моторной части, по скатам. Их было трое, немцев. Двоих он почти не помнил, третьего запомнил на всю жизнь. В нем было нечто прусско-театральное, даже виденное уже: сухое лицо, прямая, с ограниченными движениями шея, надменные седые брови, две старческие складки вдоль крупного носа; кресты и медали зазвенели под полами черного глянцевитого плаща, когда разведчик бесцеремонно обыскал его: от оберста пахло духами, он был до бледности выбрит.

Он отдал оружие — «парабеллум» на широком ремне, новенький планшет, и, отдавая все это, нервно пожевывал бескровные губы, но глаза были спокойны, задумчиво-выцветшие. Потом от деревни шли осенними лесами, опасаясь столкнуться на дорогах с оставшимися группками автоматчиков.

А на третьем километре этот оберст коротко сказал что-то другому немцу, и тот, смущенный, с заискивающим

[1] «С нами бог» (*нем.*).

потным лицом, залопотал, показывая на ноги, на свой зад, на землю. И Константин понял: просили отдых. Оберст сидел на пне, привалясь спиной к дереву, в распахе непромокаемого плаща неширокая грудь, металлические пуговицы подымались дыханием; вдруг маленькая рука дернулась под плащ к левой стороне груди, стала рвать пуговицы, и искоркой блеснуло там, вроде бы треснуло за его спиной дерево. И он, привстав, откинув на влажный песок крохотный пистолетик, упал лицом вниз, кашляя судорожно, спина туго выгибалась, он будто давился. Лоб был прижат к козырьку высокой, соскользнувшей фуражки, и был виден седоватый затылок с глубокой выемкой шеи.

Он выстрелил себе в рот. Никто тогда не сумел предупредить этот выстрел: при обыске в селе разведчики не нащупали плоского пистолетика под ватной набивкой мундира, и Константин не мог простить себе этого. Таких «языков» он не брал ни разу.

Через час после допроса пленных и просмотра карт и бумаг начальник штаба вызвал Константина.

— Люблю я тебя, Костя, и осуждаю,— сказал он, довольно подмигивая.— Доставь ты этого оберста — носить бы тебе звездочку. Да ладно, бог с ним. Бумаги и карты распрекрасные приволок ты — цены им нет! Возьми-ка вот этот «вальтеришко», помни оберста. Пистолетик-то не так себе — фамильный. С серебром. Считай своей наградой. Беру это дело на себя. Ну, давай к хлопцам. Водки я там указал выдать.

Таким образом стало у него два пистолета: свой, уставной ТТ и этот немецкий «вальтер»; всякого оружия хватало вдоволь, но этот пистолетик был как бы шутливой наградой.

Он сдал свой ТТ в Германии в дни демобилизации, «вальтер» же не сдал и в Москве: он не мешал ему. Сначала пистолет умещался в любом кармане, потом забыто валялся в книжном шкафу за старыми томиками Тургенева. Но в сорок девятом году было тщательно найдено для него секретное место — в толстом томе Брема он вырезал в серединных страницах гнездо, пистолет вплотную вошел туда, и Брем был спрятан в углу шкафа.

Он начал носить его только после того, как трое парней ноябрьской ночью по дороге в Лосинку ударом сбоку вышибли его из машины, а затем, оглушенного, поставили перед собой (сзади третий железными пальцами сжи-

мал и отпускал сонную артерию на шее), с заученной ловкостью проверили его карманы.

Он не хотел больше испытывать унижающее бессилие и чувствовать чужие натренированные пальцы.

Константин достал из книжного шкафа том Брема — и «вальтер» прочно лег в свое гнездо. Он поставил Брема во второй ряд книг, за старым собранием сочинений Тургенева, и это сейчас почти успокоило его.

«Да что, собственно, случилось? — опять подумал он, пытаясь настроить себя на обычную волну.— Все обошлось и прекрасно обойдется. Предопределять судьбу? Зачем и для чего?»

Сев на край стола, он поглядел на фотокарточку Аси и набрал номер поликлиники. Долго не подходили там, наконец бархатистый профессорский баритон дохнул в трубку:

— Да-а! У телефона.

— Пожалуйста, Анастасию Николаевну. Кто? Представьте себе, муж.

— Узнал по голосу, молодой человек. Сейчас. Если потерпите.

Далекий щелчок — это положили трубку на стол, потом неясный говор в мембране и ее голос:

— Костя?

Неужели так просто можно сказать: «Костя?»

— Я жду тебя,— тихо сказал он, глядя на ее фотокарточку: ветер все прижимал юбку к ее коленям, и жарко, как перед грозой, светило летнее солнце. Сколько тогда ей было лет?

— Ты ужасающий экземпляр,— сказала Ася со смехом, и голос и смех ее имели свое значение, понятное только ему.

— Я жду тебя. Вот... и все,— повторил он, не отрывая взгляда от фотокарточки (о чем она думала тогда, защищаясь книгой от солнца?). Он сказал: «Я жду тебя», вкладывая в эти слова свое значение, которое лишь она могла ощутить и понять по звуку его голоса.— Я жду тебя. И как видишь — немного люблю тебя... Чепуха? Дичь? Сантименты? Позвонил муж, оторвал от работы? И лепечет какую-то чепуху. Идиотство, конечно. Так и скажи этому профессорскому баритону. Я просто соскучился. Я так соскучился, что мне хочется выпить...

— Какой же ты у меня дурачина, Костя! Ужасный! — сказала Ася и снова засмеялась.— Ты просто Баран Иванович, ты понял? Я не буду задерживаться.

— Я жду тебя.

И, уже повеселевший, Константин соскочил со стола, прошел в первую комнату, насвистывая, выудил из глубин буфета начатую бутылку «Старки». Налив рюмку, он выпил, затем сказал: «Есть смысл»,— и закусил кусочком колбасы. А после этой рюмки и пахучего кусочка колбасы вдруг почувствовал, что сильно голоден, и почему-то захотелось яичницы с жареной колбасой,— последний раз ел вчера в четыре часа дня.

В кухне было пустынно, тепло. Методично капала вода из крана.

Константин с грохотом толкнул сковородку на плиту, начал с таким веселым нажимом резать колбасу, что кухонный столик закачался, зазвенели, стукаясь друг о друга, баночки из-под майонеза. И тотчас услышал бормотание, посапывание в дальнем конце кухни — как будто проснулся кто-то там от грохота сковороды.

Константин взглянул, почесывая нос.

— Это вы, Марк Юльевич? Кажется, вы стоите на карачках? Потеряли что-нибудь? Будильник? Ходики? Бриллиантовую «Омегу»?

Марк Юльевич Берзинь, заведующий часовой мастерской, латыш, новый сосед, по какому-то сложному обмену переехавший с семнадцатилетней дочерью в смежные комнаты Быкова, стоял на четвереньках под своим кухонным столом, повернув лысую голову в сторону Константина; хищно поблескивала лупа в глазу, спущенные подтяжки елозили по полу.

— Вы напрасно острите, вы понятия не имеете,— сказал он.— Я всегда говорил: мыши — это позор советскому быту. Мы живем не где-нибудь в Аргентине. Я, как дурак, расставляю мышеловки по всей кухне. Я разорился на мышеловках.— Марк Юльевич вздохнул.— Вы посмотрите. Наклонитесь, наклонитесь.

Константин заглянул под его стол.

— Не очень доходит, Марк Юльевич.

— Дойдет,— кротко сказал Берзинь,— когда пообивает пальцы о защелку. С меня хватит этого опыта. Ползая под столом, я окончательно расстроил нервы.— Он деловито нацелился лупой на мышеловку, поставленную возле мусорного ведра.— Вы только взгляните: акку-

ратно объела сало — и удрала. Как это действие называется?

— Да черт с ними! — захохотал Константин.— Плюньте на мелочи!

Берзинь вылез из-под стола с возбужденными жестами человека, который должен что-то доказать, движением брови освободился от лупы (она упала ему в ладонь) и закачал лысой головой.

— Это скороспелые выводы! Вы посмотрите — здесь была крупа? Что сейчас?

Он снял с кухонной полки стеклянную банку, поставил на плиту перед Константином. В банке среди шелухи гречневой крупы сидела мышь, ее носик ерзал, обнюхивая стекло, ушки прижаты испуганно, лапки подобраны под себя. Марк Юльевич рассудительно заметил:

— Она сожрала крупу и не смогла вылезти. Вы думаете, это просто мышь? Нет! Разносчик чумы, бешенства и других заболеваний. Я не могу допустить,— в квартире есть женщины и дети. Моя дочь, как ребенок, боится мышей. Я понимаю Тамару. Думаю, что и ваша жена не очень довольна, когда мыши играют в кастрюлях. Надо бороться... Мы — мужчины... Мы это забываем.

— Наверно,— ответил Константин охотно.— Что вы будете делать с этим представителем грызунов? Пристукните ее шваброй. И к черту — мусор!

Берзинь поправил на плечах подтяжки, просунул большие пальцы под них, воинственно ими защелкал.

— Где швабра? — спросил он.— Вы совершенно правы!

Марк Юльевич нашел взглядом швабру, однако все медленнее щелкал подтяжками, раздумывая.

— Мм... Нет,— проговорил он.— Это жестоко.

Вздохнув, он двумя пальцами взял банку, подошел к окну и не сразу открыл вмерзшую форточку,— крупные хлопья залетели в кухню, тая на голой макушке Марка Юльевича. Он поежился, вытряхнул мышь из банки в сугроб за окном, после чего заявил Константину:

— Вот так мы будем делать.

И, храбро выпрямившись своим маленьким круглым телом, подтянув выступавший из просторных брюк живот, похмыкав носом, спросил грозно:

— У вас какие часы? Марка?

— Швейцарские. Еще фронтовые.

— Хм, да... Зайдите как-нибудь. Я уверен — в них килограмм грязи. У меня нет никаких сомнений.

Двадцать минут спустя Константин, опьянев от завтрака, полулежал на диване; тепло разливалось по телу, но спина еще никак не могла согреться, только сейчас внятно чувствовал лопатками знобящий холодок, промерз за ночь.

«Быков... Переехал... Сейчас в его комнате Берзинь с дочерью. Домашний очень. Пригласить бы его сейчас на рюмку «Старки». Но, кажется, пьет одно молоко».

Он поднялся, включил радиолу и заходил, сунув руки в карманы, из одной комнаты в другую, насвистывая. Свист его вливался в сумасшедшие ритмы, возникало ощущение воздушной легкости, игры, удовлетворенности жизнью: у него была Ася, деньги, здоровье, был смешной Берзинь в квартире, эта радиола, книги, свобода, которую давала ему работа таксиста...

«Что еще нужно человеку, черт побери! Власть, слава? Не создан для этого. Меня тошнит, когда надо командовать людьми. Досыта покомандовал на фронте. Полгода назад предлагали пост начальника колонны. «Три курса института, идейно подкованный товарищ, грамотный, но почему вы не в партии? Такие, как вы...» Они позабыли взглянуть в мою анкету: родители — тю-тю, отец жены — тю-тю...

«Спасибо, я еще не дорос». А что случилось, собственно говоря? Что со мной случилось? О чем это я? Ничего не случилось. Просто фокстротик. Рюмка «Старки»... Легкомысленный фокстротик — и ничего не случилось. А что может со мной случиться? Ровным счетом ничего».

Насвистывая, он подошел к книжному шкафу, в стекле увидел отраженное свое лицо, с интересом всмотрелся и подмигнул себе: «Ну как? А? Живешь?»

«Все прекрасно, конечно. Все отлично будет».

Но вместе с тем его смутно и неосознанно тревожило что-то, будто чувствовал присутствие постороннего живого существа. И, подняв глаза, понял, что это было или могло быть частью *того:* тиснением отсвечивали толстые корешки томов Тургенева, за которыми не виден был том Брема.

«К черту! Выбросить все это из головы! Чтоб не было в памяти! Да что может случиться?»

Он раскрыл дверцы шкафа.

С правой стороны на третьей полке виднелся малень-

кий томик в сером переплете. Уголовный кодекс. Этот кодекс они купили в пятидесятом году и целый вечер листали с Асей, когда узнали, что Николай Григорьевич осужден на десять лет без права переписки.

«Пятьдесят восемь, пункт десять... Прелестная статейка. А что же, интересно, за хранение огнестрельного оружия? Тоже — прелесть? Ах вот.... За хранение огнестрельного оружия.... Так. Пять лет. Пять лет. Пять лет за этот фамильный «вальтер»? Однако никаких доказательств. Была пустая площадь. Только те двое и те трое... Кто они? Михеев? А что может сделать Михеев? Спокойно, как говорят в Одессе. Ша — и не ходи головами, команда была. Никакой фантазии. Вот так пока и будем жить. И нечего изумляться и поворачивать голову в разные стороны — закрутишь шею винтом».

Он захлопнул дверцы шкафа, иронически подмигнул своему отражению, и, подойдя к буфету, налил еще рюмку «Старки».

Фокстротик кончался, затихал на пронзительной нотке.

Шипела, скользя по черному диску, игла.

Константин перевернул пластинку, поставил рычажок на «громко», рассеянно слушая нарастающую вибрацию труб, придушенный голос джазового певца.

Он не услышал стука в дверь — через порог виновато вдвинулся из коридора Берзинь, сложил на животе руки.

— Костенька, я прошу извинить,— у меня такое впечатление, что у вас в комнате конный базар. Сильно ржали лошади, хрюкали свиньи. Я прошу извинить. Томочка делает уроки. И... не делает, а слушает ваши джазы. Я понимаю, конечно, у каждого свои слабости... но можно чуть-чуть потише, я еще раз извиняюсь...

Константин сделал приглашающий жест.

— Садитесь. Вы знаете, Марк Юльевич, что музыка хорошо действует на сердечно-сосудистую систему?

— Первый раз слышу.

— Вы знаете, что Глинка и Римский-Корсаков воспринимали музыку как цветовые пятна?

— Ай-ай-ай...

— Вы знаете, что Пифагор утверждал, что музыка врачует безумие?

— Немыслимо,— сказал Берзинь.— Разве?

Взглянув на удивленное лицо Марка Юльевича, Константин с веселым видом выключил радиолу.

— Конный базар закрыт. Передайте Томочке, что в ее возрасте джаз разрушающе действует на нервную систему. Скажите ей, что это цитата из солидного медицинского автора.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В седьмом часу он, как обычно, встречал Асю возле метро «Павелецкая».

В наступающие предвечерние часы он не мог оставаться дома — томила бездейственная тишина зимних сумерек,— и Константин испытывал нетерпение скорее увидеть ее, радостно и быстро выходившую в толпе из дверей метро и с улыбкой берущую его под руку: «Костя, дурачина, ты давно меня ждешь?» — и эти почти привычные по интонации слова ее постоянно вызывали в нем какую-то всегда новую и невнятную боль, как только он локтем чувствовал Асину кисть в шерстяной перчатке.

Снег перестал, и была особая молодая чернота в небе, прозрачность и свежесть в воздухе и белизна на тротуарах, на заборах, на карнизах.

Метро весело-ярко пылало праздничным огнем электричества; за ним ровный свет магазинов спокойно лежал на белой пелене, но уже скребли на мостовых дворники, темнея ватниками в пролете улицы. Вместе с теплым паром метро поминутно выталкивало из себя спешащие толпы людей, и все длиннее вытягивались очереди на автобусных остановках и за «Вечеркой» около голой лампочки газетного киоска.

Люди не шли, а бежали мимо Константина, растекались в разные стороны от беспрестанно открывающихся дверей. Куда они спешили? Знали ли они то, что порой испытывали он и Ася? И Константин глядел на лица мужчин и молодых женщин, особенно ясно слышал голоса, смех и торопливое хрупанье снега под бегущими мимо него женскими ногами, иногда замечал короткие встречные взгляды — и, почти мучимый завистью, думал, что все они спешили или должны были спешить к тому, без чего не мог жить он и чего стеснялась и боялась Ася. «Мы заслужили это?..»

— Костя! Дурачок, ты давно?

Он вздрогнул даже, услышав ее смеющийся голос.

Ася сбегала к нему по ступеням, размахивая чемодан-

чиком. Подбежала, глаза радостно засветились, взяла его под руку, воскликнула:

— Ну, долго ждал, соскучился? Что ты такой... чертик с рожками... прямо не улыбнешься! Не рад? А то возьму и вернусь, буду спать в кабинете главного врача на диване.

Он улыбнулся ей.

— Ты хоть на жальчайший миллиметрик любишь меня?

Она посмотрела снизу вверх, и он увидел только ее молодо сияющие глаза, в глубине которых был смех.

— Ну, если метрически... то на жальчайший километрик! Согласен? Ну пошли, возьми мой чемодан. Мне будет приятно внимание.— Потом спросила чуть-чуть осуждающе: — Почему от тебя, дурачина, пахнет вином?

— Я никак не мог тебя дождаться, Ася.— И сейчас же он полушутливо добавил: — Бывает, когда я не могу тебя дождаться.

— Не оправдался! Сентиментальность не учитывается. Это в последний раз. Есть?

— Слушаюсь,— сказал Константин.

Они шли по Новокузнецкой улице, мимо деревянных заборов, пахнущих холодом метели, мимо глухо запорошенного школьного бульвара за низкой оградой.

Асина рука легонько и невесомо лежала под локтем Константина, и предупредительно сжимались пальцы, когда он делал чересчур спешащий шаг, а он хотел, чтобы ее пальцы сжимались чаще, лежали ощутимой тяжестью под его локтем, хотел чувствовать каждый ее шаг, движение ее рядом. Он думал: «Любит ли она меня?» — и с тревожным вниманием видел и себя и ее как бы со стороны: себя — тридцатилетнего парня с усиками, в щеголеватой кожаной куртке, эдакого знавшего виды опытного малого; ее — тонкую, в узком пальто, с зеркально-черными нелгущими глазами; и, будто глядя так со стороны, улавливал любопытные взгляды прохожих на Асе — и молчал против обыкновения.

Ася тронула его за рукав.

— Почему ты сегодня ничего не спрашиваешь?

— Не могу смотреть на тебя и говорить одновременно. Не получается синхронности.

— Но ты как-то странно смотришь на прохожих. Осо-

бенно на женщин. Они улыбаются тебе. Это интересно — почему?

— Я смотрю на тебя и на прохожих. Знаешь, о чем они думают?

— Кто — эти женщины?

— Они думают, что я соблазняю тебя. Они принимают меня за потрепанного донжуана, тебя — за десятиклассницу.

— Но у меня накрашены губы,— сказала Ася.— Теперь я буду их красить еще больше. Это спасет тебя. Согласен?

Он ответил опять полусерьезно:

— Зачем? Пусть будет так. Я просто действительно очень соскучился по тебе. Если бы ты запоздала на десять минут, я бы поехал в поликлинику. За тобой.

— Какой ты странный, Костя, бываешь!

Ее рука выскользнула из-под его локтя. Ася почти машинально слепила на железной ограде бульвара комок пухлого снега, задумчиво подержала его в перчатке и бросила за ограду в косые тени на фиолетовых сугробах. Фонарь невидимо светил там, где-то в высоте деревьев.

— Костя,— негромко сказала она.— Ты веришь, что ты — мой муж! И что я — твоя жена? Веришь?

«Зачем она спросила это?» — подумал он и почувствовал, как стала неприятно горячей колючесть шерстяного шарфа, жавшего шею.

— Нет, Костя, ты ответь,— повторила она.— Ты веришь? Я спрашиваю серьезно.

— Я?

— И я...— вполголоса проговорила Ася.— Я даже не представляю иногда: ты, Костя,— мой муж? — Она стояла перед ним, вся вытянувшись.— Прости, Костя, я никак не привыкну... А ты?..

— Да,— сказал он.

— Вот видишь, Костя, как все ужасно получается... Ты бы вот сейчас просто поцеловал меня, а ты стесняешься. И я. А разве муж и жена этого стесняются! Нет, нет, нет! — заговорила Ася быстро, как будто преодолевая препятствие.— Прости меня. Я даже иногда боюсь идти домой... потому что... потому что... ну ты понимаешь... А разве это должно быть? — Она смотрела ему в грудь.— Господи, я никогда не знала... Что-то не так, Костя. Я не умею... не научилась, наверно, быть женой. Я все время помню, что ты друг Сережи, что ты... Почему это?

Какая-то глупость, Костя, прости! Я просто не умею, как другие женщины. Я дура, дура — и больше ничего. Ты, конечно, не все понимаешь?

— Да,— повторил он по-прежнему, глядя ей в растерянное лицо.

— Идем, а то на нас оглядываются,— сердито сказала Ася и взяла его под руку.— Мы соберем толпу. Лучше уж играть в снежки или делать какую-нибудь глупость! Пусть тогда смотрят.

Они пошли, но уже не было у Константина того недавнего возбуждения от праздничной чистоты запорошенных улиц, не было той радостной боли ожидания, когда он встречал Асю,— мигом изменилось, точно стерлось все после этих ее слов, которых он всегда опасался. Константин хотел заставить себя сказать просто и ясно то, что не стоит говорить об этом, что он не может и одного дня жить без нее и поэтому не имеет права обижаться.

Но он сказал, выдавливая слова, застревавшие в горле:

— Ася... верь себе и делай, как ты хочешь...

— А ты? А ты? — с досадой перебила Ася.— Ты же старше меня, ты же мужчина... Объясни ты — я выслушаю все.

— Я сам не научусь быть мужем. И я виноват в этом.

— Что же тогда делать? Что же? Это ужасно, если мы начинаем об этом говорить! Счастье, говорят, муж и жена. А ты разве счастлив? — спросила она с той твердостью, как будто ждала ответа: «Несчастлив».

— Я? Да,— глухо проговорил он и, помолчав, спросил резко и фальшиво: — Ну а ты, Ася?

— Самое страшное, что я не знаю...

Они завернули за угол. Сухо поскрипывал снег в переулке.

— Асенька, родная, это просто чепуха невероятная,— с натянутой улыбкой сказал Константин.— Дичь и чушь.

Она ответила нахмурясь:

— Нет, это неполноценность. Я чувствую... Но я никакая не женщина. И никакая не жена, Костя!

— Мы уже дома,— сказал Константин, испуганно как-то взглянув на ворота.— Я должен... Я схожу за сигаретами. Прости, Ася. У меня кончились сигареты. Я сейчас...

Он осторожно высвободил ее кисть из-под локтя, повернулся и пошел назад, ожидая за своей спиной ее оклика, но не услышал. Дуло метельным холодом из темноты бульвара, а весь переулок был в чистой пороше, и отпечатались на ней свежие следы — его и Асины.

«Зачем она говорила это? Зачем?» — подумал он и без всякой цели зашагал к перекресткам, к огням в любой час оживленной Пятницкой, особенно узкой в этом месте, постоянно заполненной народом, уютно горевшей окнами, отсвечивающей зеркалами парикмахерских, стеклами пивных киосков.

Справа, в глубине тихого и провинциального Вишняковского, зачернела полуразрушенная церковка, проступала в звездном небе куполами, и теперь с притупленной остротой мельком он вспомнил то, что произошло прошлой ночью. «А было ли это? Да черт с ним, что было! Главное другое, вот что случилось!»

Константин толкался по Пятницкой среди кишевшей здесь толпы, незнакомых лиц, мелькающих под витринами, среди чужих разговоров, заглушаемых скрежетом трамваев, среди этого вечернего, непрерывного под огнями людского потока, старался точно вспомнить причину возникшего между ними разговора, но не находил нити логики, и возникал, заслоняя все, жег вопрос: «Не может быть!.. Значит, у нее другое ко мне, чем у меня к ней? «Не знаю». Она сказала: «Не знаю». Страшнее этого ничего нет! Пике... А стоит ли выводить машину из пике?»

Он глотал крепкую свежесть морозного воздуха. Было ему жарко. И саднище щипало в горле. Он все медленнее и бесцельнее шагал по тротуару навстречу скользящему мимо него течению толпы.

Да, конечно, нужно было купить сигарет. У него были сигареты, но надо, надо было запастись. Обязательно купить.

На перекрестке Климентовского и Пятницкой он зашел в деревянный павильончик — не слишком пустой в этот час, не слишком переполненный,— протиснулся меж залитых пивом столиков к заставленной кружками стойке.

— Четыре «Примы».

— Костенька?..

Он взглянул. И не без удивления узнал в продавщице розовощекую Шурочку, работавшую когда-то в закусочной на бульваре; прежним, пышущим здоровьем несокрушимо веяло от ее лица, только слишком броско были накрашены губы, подчернены ресницы, а халат бел, опрятен, натянут торчащей сильной грудью.

— Костенька, никак ты, золотце? — беря деньги красными пальцами, ахнула Шурочка.— Сколько я тебя не видела! Чего ж ты! Женился небось? И дети небось?..

— Привет, драгоценная женщина, вновь ты взошла на горизонте, солнышко ясное! — сказал Константин, рассовывая «Приму» по карманам, обрадованный этой встречей.— А ты как? Пятеро детей? Парчовые одеяла? Солидный муж из горторга?

Они стояли у стойки, за его спиной шумели голоса.

— Да что ты, Костенька! — Шурочка прыснула.— Какой такой муж? Да никакого мужа, что ты!.. Откуда? — сказала она со смешком, а брови ее неприятно свело, как от холода.— Пьяница только какой возьмет!

— Не ценишь себя, Шурочка. Ты — красивейшая женщина двадцатого столетия.

— Пива хоть выпей, подогрею тебе. Иль водочки... Не видела-то тебя, ох, давно! Посиди. Как живешь-то? Совсем интересный мужчина ты, Костя!

Она торопливо налила ему кружку пива и аккуратно подала, разглядывая его, как близкого знакомого, своими золотистыми кокетливыми глазами, в углах которых заметил Константин сеточки ранних морщин. И вдруг поймал себя на мысли: уверенно считал себя еще совсем молодым, но тут ему захотелось очень внимательно посмотреть на себя в зеркало. Он подмигнул Шурочке дружелюбно и отпил глоток пива.

— Все прекрасно, Шурочка,— сказал Константин.— Знаешь, есть японская поговорка? «Тяжела ты, шапка Мономаха, на моей дурацкой голове». Крупицы народной мудрости. Алмазы. Японские летописи! Найдены в Египте. Времен Ивана Шуйского.— И он сам невольно усмехнулся, повторил: — На моей дурацкой голове.

Шурочка громче прыснула, все так же влюбленно глядя на Константина, сказала, махнув рукой перед своей торчащей грудью:

— Счастливый ты, Костя, веселый, шутишь все!

— Хуже, Шурочка.

— Инженером небось стал?

— Последний раз слышу. По-прежнему приветствую милицию у светофоров.

— Ах, какой ты! — не то с восторгом, не то с завистью проговорила Шурочка и, опустив глаза, тряпкой вытерка стойку.— Водочки, может, а? — И наклонилась к нему через стойку, виновато добавила: — Может быть, зашел как-нибудь, я здесь недалеко живу. За углом. Одна я...

— Александра Ивановна!

Кто-то приблизился сзади, дыша сытым запахом пива, из-за спины Константина стукнул о стойку пустой кружкой; белела кайма пены на толстом стекле.

— Александра Ивановна, еще одну разрешите? — В голосе была бархатная приятность, умиленное, бабьего вида лицо благостно расплывалось, добродушные щелочки век улыбчивы.— Еще... если разрешите...

Шурочка не без раздражения подставила кружку под струю пива, потом подтолкнула кружку к человеку с бабьим лицом, он взял и подул на пену.

— Благодарю, Александра Ивановна, чудесное у вас пиво.— Он ухмыльнулся Константину, извинился и отошел к столику.

— Кто это? — спросил Константин.

— Да не знаю, противный какой-то,— шепотом ответила Шурочка, наморщив брови.— Целыми днями тут торчит.— И договорила по-прежнему виновато: — Может, придешь, Костенька, а?

Константин грустно потрепал ее по щеке.

— Я однолюб, Шурочка. К сожалению.

— Ох, Костенька, одна ведь я, совсем одна...

— Рад был тебя видеть, Шурочка.

С треском дверей, с топотом вошла в закусочную компания молодых парней в каскетках, в обляпанных глиной резиновых сапогах — видимо, метростроевцы; здоровыми глотками закричали что-то Шурочке, загородили спинами, осаждая стойку, и Константин из-за их плеч успел увидеть ставшее неприступным Шурочкино лицо; она искала его глазами, со звоном передвигая на стойке пустые кружки. Он кивнул ей!

— Привет, Шурочка! Всех тебе благ!

Константин вышел из закусочной — из душного запаха одежды, из гудения смешанных разговоров,— жадно

вдохнул щекочущий горло воздух, зашагал по Климентовскому.

Пятницкая с ее огнями, витринами, дребезжанием трамваев, беспрестанно кипевшей, бегущей толпой на тротуарах затихала позади.

Климентовский был тих, весь покоен; и была уже по-ночному безлюдной Большая Татарская, куда он вышел возле наглухо закрытых ворот дровяного склада; темные заборы, темные окна, темные подъезды. Лишь пусто белел снег под фонарями на мостовой.

Он пошел по улице — руки в карманах, воротник поднят, шагал нарочито медленно, ему некуда было торопиться сейчас.

«Такую бы Шурочку, кокетливую, красивую и преданную,— думал он, пряча подбородок в воротник.— Жизнь была бы простой и ясной, как кружка пива. Понимание, покой, обед, теплая постель... И все было бы как надо. Но все ли, прости меня, грешного?.. Ася, Ася, что же это?»

— Все спешат, все спешат... Бутафория!

Впереди за углом дровяного склада, против уличного зеркала закрытой парикмахерской покачивался с пьяным бормотанием черный силуэт человека — он делал что-то, нелепо двигая локтями; похрустывал под его ботинками снег.

— Салют! — сказал Константин.— Вы, кажется, что-то ищете?

Человек этот, неверными жестами поправляя шляпу, вглядывался в зеркало, почти касаясь его лицом, говорил прерывистым сипящим баритоном:

— Ш-шля-ппа — это бутаф-фория!.. Бож-же мой, бутафория! — И качнулся к Константину в клоунском поклоне, едва устоял на ногах.— Добрый вечер, молодой челаэк! Я р-рад...

Лицо было властное, бритое, темнели мешки под глазами; пальто распахнуто, кашне висело через шею, не закрывая крахмального воротничка, спущенного узла галстука.

— Все спешили домой, к очагам и чадам... В объятия усталых жен,— заговорил человек.— В домашней постели в любовной судороге забыться до утра, уйти от насущных проблем. Дикость! Бутафория... Трусость! Философия кротов!..— Он горько засмеялся, его лицо исказилось, и не смеялось оно, а будто плакало.

Константин сказал:

— Банальный конец.

— Как вы?..— внимательно спросил человек.

— У всех бывали банальные концы,— ответил Константин.— Вы где-то здесь живете? Может быть, вас проводить? Я охотно это сделаю из чувства товарищества.

— Где я живу,— забормотал человек, угловатыми движениями обматывая кашне вокруг шеи.— На земле... Частичка природы, познающая самое себя. Когито эрго сум! Декарт. Смешно подумать! Сжигание самого себя во имя идеи. Свой дом, стол, кровать, жена... Сжигание! Боимся потерять все это. А он доказал...

— Кто? — спросил Константин.

— Человек. Профессор Михайлов. Он... Один из всего ученого совета... Он в глаза сказал декану, что тот бездарность и, мягко выражаясь, калечит студентов... А мы... мы предали его. Человека... Мы молчали... Во имя собственной безопасности. Мразы! Отвратительные животные. Молча похоронили светило с мировым именем. А Михайлов был вне себя. Он один декану заявил: «Вы вне науки, вы по непонятным причинам сели в это кресло, вы просто администратор в языкознании... вы... лжец, карьерист и догматик!» А мы... не смогли...

— Какого же черта? — пожал плечами Константин.— А впрочем, ясно. Идемте, я вас провожу.

— Вам незнакома, молодой человек, работа «Вопросы языкознания»? Истина уже не рождается в спорах. Нет столкновения мнений. Есть, мягко говоря, директива.

— Где ваш дом? Застегнитесь хотя бы.

— Простите, я дойду сам... Я должен дойти,— запротестовал человек и начал искать на пальто пуговицы.— Подлость живуча. Подлость вооружена. Две тысячи лет зло вырабатывало приемы коварства, хитрости. Мимикрии. А добро наивно, в детском чистом возрасте. Всегда. В детских коротких штанишках. Безоружно, кроме самого добра... Не-ет, добро должно быть злым. Иначе его задавит подлость. Да, злым! А я ученик профессора Михайлова. Я...

— Дойдете? — прерывая, спросил Константин.

Его раздражали вязкая цепкость слов актерски поставленного голоса, холеное лицо, круглые мешки под глазами этого незнакомого и неприятно пьяного человека.

— Бут-тафория,— выдавил человек, в горле его странно забулькало, лицо вдруг съежилось, и он, бросив под ноги шляпу, стал топтать ее ногами, вскрикивая: — Мы не интеллигенты, нет!.. Мы не интеллигенты. Мы не представители науки. Мы не соль земли. Мы не разум народа. Мы попугаи. Комплекс бутафории!

Константин смотрел несколько удивленно, а человек неожиданно вцепился в лацканы его куртки, прижал трясущуюся голову к его плечу, запахло одеколоном.

— Знаете,— Константин со злостью отстранился.— Что я вам — жилетка? Рыдаете в меня? Вы профессору порыдайте! Какой вы там еще... разум народа? Идите спать. Ведь проснетесь завтра, будете вспоминать, что наговорили, тут и сами себя за шиворот к декану отведете. Привет, дорогой товарищ! — Константин сделал насмешливый знак рукой, зашагал по тротуару, не оборачиваясь.

На бульваре среди площади Павелецкого вокзала сел на торчавшую из сугроба скамью, снова подумал с тоской: «Ася, Ася. Что же это?»

Он сидел один на бульварчике, отдаленно скрипел снег, звучали голоса у освещенных подъездов вокзала, под вызвездившим небом разносились мощные гудки паровозов, а он не находил в себе сил встать, пойти домой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В коридоре не горел свет.

Константин в нерешительности постоял за дверью; он был уверен, что Ася спала, он хотел этого; потом вошел и так тихо опустился на диван, что пружины не скрипнули.

Слабый желтоватый ночник в углу распространял по стене сонный круг, и поблескивал кафель теплой голландки; необычным, настороженным покоем веяло от закрытой двери в другую комнату.

Константин разделся, постелил на диване и лежа закурил, поставил на грудь пепельницу. Потемки пластами сгустились под потолком, куда не проникал свет ночника, тишина стояла во всем доме, и доносился однообразный стук капель в раковине на кухне.

Ему нужно было уснуть. И он пытался думать не о

том разговоре около метро, а о Шурочке с ее кокетливым лицом, о том пьяном человеке, яростно топтавшем свою шляпу возле парикмахерской, но все это ускользало куда-то, заслонялось пустынной площадью, квадратным низеньким человеком, его сильным курносым лицом, наклоненным над распластанным на мостовой телом,— и Константин сквозь наплывающую дрему услышал, как что-то стукнуло, упало на пол, и с мгновенным испугом подумал, что это пистолет выпал из бокового кармана...

— «Вальтер»...— прошептал он, круто перегнулся на диване, ткнулся пальцами в пол и увидел пепельницу, опрокинутую, блестевшую круглым донышком на полу.

И уже облегченно вытянулся, положил руку на грудь, в ладонь его туго ударяло сердце.

— Костя? — послышался Асин голос.

Он лежал, не снимая руку с груди, красновато-желтый перед закрытыми веками свет ночника колыхался волнами.

— Костя... ты не спишь?..

Он не ответил и не открывал глаз.

— Костя...— Шаги, легкое дуновение сквозняка по лицу.

Красный свет ночника стал темным — и Константин ощутил возле подбородка осторожный мятный холодок поцелуя, дыхание на виске; и молча, не открывая глаз, он протянул руки, с несдержанной нежностью скользнул по Асиным теплым плечам, по материи халатика, ища по ее дыханию губы.

— Ты только ничего не говори,— попросил он.

— Костя... очень злишься на меня? — прошептала Ася и тихонько прикоснулась щекой к его виску.— Я просто сама не знаю, что тебе наговорила!

— Асенька, обними меня. И — больше ничего.

— Костя, ты знаешь почему?

— Что?

— То, что будет...

Разомкнул веки — увидел близко ее неспокойно поднятые полоски бровей, ее оголенную шею и шевелящиеся, как будто вспухшие губы.

— Я боюсь этого... Я не сумею. Я становлюсь какой-то другой. Меня все раздражает. Я сама себя раздражаю.

— Асенька, но ты же врач... Ты должна знать. У тебя

перестраивается организм. Я это сам читал в твоем справочнике. Я внимательно читал. Да о чем, Ася, я тебе говорю? Ты знаешь это лучше меня в тысячу раз.

— ...Перестраивается в худшую сторону. Мне кажется, что я не перенесу этого. И вместе со мной он.

— У тебя ничего не заметно, Ася... у тебя даже фигура не изменилась. Ты такая же, как была.

— Мне просто иногда страшно. За него. Очень.

— Ася, поверь, ничего не случится. Я совершенно уверен. Честное слово — все будет в порядке. Асенька, полежи со мной. И мне больше ничего не надо. Ты меня понимаешь немножко? Если бы женщины на этом свете хотя бы слегка любили и понимали мужчин, я бы поверил в бога.

— Зачем ты это говоришь?

— Глупость, конечно, говорю. Полежи, пожалуйста, со мной.

Ася легла рядом, легонько прижалась носом к его шее, сказала полувопросительно:

— Я полежу просто так.

— Да. У тебя холодный нос, девочка.

— Костя, кто такой Михеев? Он звонил два раза, говорил какую-то ужасную ерунду. Какими-то намеками. Он завтра утром к тебе придет. Почему он должен прийти? Что-нибудь случилось?

— Нет.

— У вас никакого несчастного случая? Ты ничего не скрываешь?

— Нет.

Он приподнялся на локте и долго, задерживая дыхание, разглядывал ее лицо: одна щека прижата к подушке, возбужденные глаза скошены в его сторону ожидающе; и он будто только сейчас заметил, что кончик носа у нее чуточку вздернут — он поразился этому.

— Асенька,— шепотом проговорил Константин,— ты когда-нибудь чувствуешь, что ты...

— Дурак ты мой,— сказала Ася,— ужасный...

Она прикусила губу там, где он поцеловал, не отводя от его лица темных зрачков.

— Потуши свет,— попросила она.— Я тебя прошу.

Константин проснулся с чувством отлично выспавшегося и отдохнувшего человека, радостный ощущением яс-

ного и теплого утра, которое должно было быть в комнате, и, не размыкая глаз, наслаждался и молодым здоровьем своего тела, и бодрыми трелями трамвайных звонков на улице, и влажными шлепающими звуками за окнами (казалось, сбрасывают с крыш мокрый снег), и поскрипыванием рассохшегося паркета от легких шагов Аси по комнате, и приглушенно тихим голосом радио из-за стены — передавали гимнастику; а когда он открыл глаза, то на секунду зажмурился от совсем весеннего света и воздуха, который имел запах земляничного мыла, тончайшей пыли.

Была приоткрыта форточка над диваном,— едва видимыми тенями струился волнистый парок. Разбиваясь брызгами, позванивали капли по карнизу, и, загораживая низкое водянистое солнце, что-то темное летело сверху мимо оттаявших стекол, и раздавались под окном плюхающие удары.

— Ася! — громко позвал Константин, потягиваясь.— Асенька, весна ведь, а? Как там у классиков? «Весна берет свои права...» Нет, эти классики — ребята молодцы!

А вся комната была в светлом тумане, и в нем, располосованном лучами, подле тумбочки с телефоном стояла Ася, в строгом рабочем костюме, который надевала в поликлинику, теребила провод, говорила удивленным голосом:

— Да откуда вы говорите? Не нужно звонить — просто заходите... Опять твой Михеев,— сказала она, вешая трубку.— Представь, звонит из автомата в трех шагах от нашего дома. Он что — стеснительный такой?

— Асенька,— проговорил Константин.— Ты опоздаешь в поликлинику. Половина десятого. Кто стеснительный — Михеев? Чересчур осел, прости за грубость. Все напутал. Наверно, говорил с тобой одними междометиями?

— Я уже к нему привыкла вчера,— сказала Ася, откинув волосы; солнце отвесно било ей в лицо.— Я все же дождусь его... этого Михеева. Он меня заинтриговал. Просто любопытно: зачем он?

— Он неотразимый мужчина, ловелас, холостяк. И конечно, мушкетер. Это все у него есть. В избытке. Милый человек. Правда, Кембридж не кончал.

Константин, уже одетый, только не застегнута была

байковая домашняя ковбойка, подошел к Асе, успокоительно поцеловал ее в край рта.

— Ася, я могу поклясться... Ну вот он, черт его подери! Наверно, будет просить подменить его. Как всегда.

Звонок толкнулся в коридоре, затрещал и смолк, и Ася, сейчас же выйдя и не закрыв дверь, звучно, быстро щелкнула в коридоре замком. Донесся как бы натруженный голос Михеева: «К Корабельникову можно?» — и откашливание, топот, и в вопросительном сопровождении Аси Михеев — в бараньем полушубке, шапка на голове — медведем шагнул в комнату, не глядя на Константина, а любопытно, вприщур озирая стены.

— Здоров, Константин. В постелях валялся?

— Привет, Илюша,— сказал Константин.— Поздравляю.

— С чем это?

— С весенней погодкой.

— Какая там весна! Закрутит еще.— Михеев покосился на Асю с явным неудобством от ее внимательного взгляда.— Извиняюсь, с вами это я по телефону?

— Да. Раздевайтесь и садитесь,— сказала Ася.— Давайте я повешу ваши полушубок и шапку.

— Да нет. Мне, значит... вот,— хмуро замялся Михеев и неловко снял шапку, вытер ею лоб.— Разговор... Промежду мною и вашим мужем.

Ася, отвернувшись, сказала:

— Ну, хорошо. Я пошла, Костя, не провожай.

— До свидания, Ася. Я буду встречать.

И когда вышла она и потом бухнула пружиной дверь парадного, Михеев все еще переводил немигающие птичьи глаза с неприбранного дивана на книжные полки, от буфета на коврик в другой комнате; коричневое его лицо словно застыло.

— Культурно живешь,— проговорил наконец Михеев.— Чисто, книги читаешь. А это жена твоя? Цыганочка, что ли? Нерусская? Так глазищами меня и стригла, ровно ножницами. Нерусская, так?

— Француженка,— сказал Константин.— Привез из Парижа до революции. Балерина из оперы, внучка Альфреда де Мюссе. Раздевайся, Илюша. Ты все же шофер такси, культуру, так сказать, в массы несешь!

— Ладно уж...

Михеев не снял полушубка, сел, оперся локтем об угол стола, пристально и заинтересованно продолжая

осматривать мебель в комнате, задержал внимание на Асиных тапочках около дивана, заерзал на стуле.

— Если б я женился, покрепче женщину взял,— сказал он завистливым голосом.— Былинка больно — жинка твоя. Оно, конечно, дело понятия. Худенькие да интеллигентные — аза-артные! — И он вроде бы улыбнулся, на миг выказал зубы.— Говорят. Я сам это дело не уважаю.

— А я не уважаю, когда ты бросаешься в философию,— насмешливо проговорил Константин.— Так, дорогой знаток женщин, можно и промеж ушей схлопотать. Это я тебе обещаю.

И, перехватив взгляд Михеева, свернул, сунул постель в ящик дивана, задвинул тапочки под стол, спросил:

— Что новенького скажешь, Илюшенька?

Михеев мрачнея, притиснул шапку к коленям, произнес, задетый тоном Константина:

— Ох, Костя, не ссорься со мной. Я тебе нужный человек. Насмешничаешь? Как бы не заплакали...

— Я же люблю тебя, Илюша. За широту натуры. За доброту люблю. Завтракать будешь? Есть «Старка».

Подумав, Михеев прерывисто втянул воздух через ноздри.

— Не пью я. Завтракал.— И переспросил угрюмо: — Что новенького, говоришь, Костя? Хорошо. Я вчерась позже тебя с линии вернулся. Туда, сюда, путевой лист, деньги сдал. Курю. Глядь — начальник колонны выходит. И директор парка. Что-то говорят. У директора рожа — что вон эта стена. Белая. Стали осматривать машины. Ко мне подходят. Посмотрели «Победу». И вопрос: «Вспомните: на каких стоянках бывали?» Отвечаю. А начальник колонны: «В районе Манежной стояли?» — «Нет»,— говорю.

— А дальше?

— А что — «дальше»! — вскрикнул Михеев, захлебываясь.— Ночь не спал, все бока проворочал. Завтра в смену выходить, а никакой уверенности. Как теперь работать будем? И чего тебе надо было, дьяволу, этих сопляков защищать? Родные они тебе? А ты револьвер вытащил! Откуда револьвер у тебя?

Константин зажег спичку, бросил ее в пепельницу, потом вытянул указательный палец.

— Из этого можно стрелять, Илюша?

— Оп-пять двадцать пять! — с горечью выкрикнул

Михеев.— Чего ты мне макушку вертишь? Без глаз я? Или уж за дурака считаешь?

— Думай что хочешь, Илюша,— сказал Константин.— Только представь себя на месте пацанов. Тебя бы дубасили, а я бы рядом стоял, в урну поплевывал. Как бы ты себя чувствовал, Илюша?

— А за что меня избивать? Не за что меня избивать!..

— Да не важно «за что», дьявол бы драл! — Константин вскипел.— Ладно, все это некстати! Не о том говорим!

Он замолк, теперь внутренне ругая себя за бессмысленную вспышку против Михеева, а тот глядел в окно — веки были красны, крупные губы поджаты страдальчески.

— Политика ведь это,— проговорил Михеев.— А знаешь, как сейчас... Во втором парке паренек один книжку в багажнике нашел. Ну и читать стал. А через неделю его — цоп! — и будь здоров. А за твою пушку, ежели раскопают...

— Какая пушка, Илюша? — перебил спокойно Константин.— О чем ты?

Михеев потискал шапку на колене, наклонил мрачное лицо к столу, повторил тоскливо:

— Политика это. Тебе, может, трын-трава, а мне — как же?

— Ты здесь ни при чем, Илюша,— сказал Константин.— Если что — отвечу я. И не думай об этом. Выбрось из головы. Не преувеличивай. Вспомни: никто нас не видел. Никого не было. Ни черта они нас не разглядели. Слушай, я жрать хочу — присоединяйся! Бутерброд сделать?

— Аппетиту нет,— простонал Михеев.— В горло не лезет.

— Заранее объявляешь голодовку? — Константин отрезал себе кусок колбасы, сделал бутерброд.— Тебе не пришлось воевать, Илюша?

— Начальника разведки фронта я возил. Генерала Федичева.

— Так или иначе. Артподготовки нет — сиди поплевывай на бруствер и наворачивай консервы в окопе. Тогда не убьют, не ранят, не контузят. Аппетит потерял — половины башки недосчитаешься. Все мины, брат, тогда летят в тебя. Арифметика войны, Илюша.

— Пропаду я с тобой,— проговорил Михеев.— Ни за чих пропаду. Какое у тебя отношение к жизни? А? Нету его! Беспутный ты, глупый, отчаянный человек! — Михеев вскинул багрово-красное лицо, зло глянул на Константина.— Вот сидит... и колбасу жует. Артиста изображает. И чего я связался с тобой, с дураком культурным! Разве у тебя какое стремление в жизни есть? Разве тебе в жизни чего надо? Вон в квартире все имеешь. С телефоном живешь! — Михеев, завозившись на стуле, презрительно и твердо договорил: — А я, может, в жизни больше тебя понимаю! И мне из-за тебя в каталажку? За красивые глазки твои?

Константин отодвинул стакан недопитого чая, подавляя внезапный гнев, произнес:

— Сопляк, дубина стоеросовая! — «Что я говорю? Зачем я говорю ему это?» — подумал он и, успокаивая себя, спросил иным, уже шутливым тоном: — Слушай, Илюша, ты коров видел? Ответь мне: почему корова ест траву, солому, хлеб, а цвет дерьма одинаковый?

— Ты чего? — испуганно вскинулся Михеев.— Глупые вопросы. Не знаю!

— Не знаешь, Илюша? Я тоже нет. Что выходит? В дерьме не разбираемся, а о жизни судим! Так получается? Значит, оба мы с тобой в жизни мало что понимаем. Только вот что, Илюша: никакого револьвера у меня нет и не было. Не понимаю, почему ты заговорил об этом? Ну, черт знает что может показаться со страху! Нет, никакого револьвера нет! И прошу тебя, Илюша, успокойся ты!

Всматриваясь в угол куда-то, Михеев вдруг упрямо заговорил, шевеля крупными губами:

— Отнеси ты его... сдай куда надо. Покайся. Ведь простить могут все же: мало что бывает. Как к человеку пришел, посоветовать, может, опыта у тебя нет. Начнут копать это дело. Не таких ловют.

— Знаешь, а мне не в чем каяться и нечего относить,— ответил Константин.— Пойми же меня наконец, Илюша!

— Ну что ж... Я по-человечески хотел посоветовать,— выдавил Михеев и надел шапку, насунул ее плотно на лоб.— Я, видно, политику больше тебя понимаю... Жареный петух тебя еще не клевал, видать! — Расширяя дыханием ноздри, спросил тихо: — Ты что ж, может, меня соучастником считаешь?

— Нет. Ты тут ни при чем.

— Бывай. Ладно. Шито-крыто.

— Ну, будь здоров, Илюша! Договорим на линии! — Константин похлопал его по плечу.— Пока! И не думай ты об этом!

Однако он никак не мог успокоиться после того, как с насупленным лицом ушел Михеев, а потом, полчаса спустя, все шагал по комнатам, морщился, подробно, по деталям вспоминая весь разговор с ним, и, чувствуя приступ горечи от совершенной им сейчас ошибки, он вновь начинал подробно вспоминать свои слова, как будто хотел найти неопровержимые доказательства собственной правоты и неправоты.

«Я не так разговаривал с ним? Я должен был его убедить. Он все видел, он все знает,— думал Константин неуспокоенно.— Нет, в этом уже невозможно сомневаться. Нет, не смог я его разубедить, да как это можно было?»

Все окно не по-зимнему горело солнцем, шлепали капли по карнизу, сбегали по стеклу; ударял по сугробам сбрасываемый с крыши снег.

«Хватит. Сейчас я ничего не придумаю. Поздно. Принять ванну, побриться — и все будет великолепно. Все будет отлично! Лучшие мысли приходят потом».

Константин перебросил банное полотенце через плечо, а когда вышел в коридор, из кухни семенящей рысцой выкатился Берзинь в широких смятых брюках, в опущенных подтяжках; шипящая салом сковородка была выдвинута в его руках тараном, от нее шел пар.

— Томочка, Томочка, я иду! Вы посмотрите, Костя, на эту ленивую девчонку. Нет, я шучу, конечно. Уроки, танцы. Пластинки! Я сам в молодости спал, как слон. Сейчас будем завтракать! Ох, если бы жива была ее мать, Костя!..

Тамара — дочь его, совсем юная девушка, заспанная, еще не причесанная, золотисто-рыжие волосы спадали с одной стороны на помятую подушкой щеку,— выглянула из двери бывшей быковской квартиры, сделала брезгливую гримасу.

— Па-апа, ну зачем так кричать? Просто весь дом ходуном ходит от твоего крика! Неужели ты не понимаешь?

И, заметив Константина, смущенно спохватилась, от-

кинула с лица непричесанные волосы, ахнула, прикрыла дверь.

— Да стоит ли... в самом деле? — с неестественной беспечностью сказал Константин и, не задерживаясь, прошел в ванную.— Все будет хенде хох, Марк Юльевич...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Стояла оттепель.

В переулках снег размяк, потемнел, протаял на тротуаре лужицами, в них космато и южно блестело предмартовское солнце, дуло мягким пахучим ветром, и в тени, в голубых затишках крылец осевшие сугробы были ноздревато испещрены капелью. Влажный ветер листал, заворачивал подмокшие афиши на заборах, по-весеннему развезло на мостовых.

Константин возвращался домой после ночной смены, шел по проталинам, под ногами разлетались брызги, голый местами асфальт дымился на припеке, и было тепло — он расстегнул кожанку, сдернул шарф.

Вид улиц, уже не зимних, с оттаявшими витринами магазинов, с зеркалами парикмахерских (сквозь стеклянные двери виден покуривающий швейцар у вешалки), утренние булочные, пахнущие сухим ароматом поджаристого хлеба; красный кирпич облупленных стен; полумрак чужих подъездов; голуби, стонущие на карнизах; хаотичная перспектива мокрых московских крыш под зеленым небом — все это успокаивало и одновременно будоражило его. Он прочно считал себя человеком города. Он любил город: весеннюю суету улиц, чемоданы у гостиниц, вечерние светы окон в апреле, ночные вокзалы, прижавшиеся пары на набережных, теплый запах асфальта в майских сумерках, людское скопление возле подъездов театров перед спектаклями и поздними киносеансами, любил провинциальный конец зимы в замоскворецких переулках.

Константин дошел до Вишняковского, прищурясь от вспыхивающих зеркал луж, взглянул на старинную церковку, над куполами которой возбужденно носились, кричали галки. Ветер влажно погромыхивал вверху железом, а внизу — запустение, прохладные плиты, темный, старый камень под солнцем в белом помете птиц, почернел снежок на ступенях.

«Вот здесь я хотел спрятать пистолет, в этой церковке,— подумал он вдруг весело.— И кажется, чуть не поторопился. Все идет как надо. Слава богу, все кончилось, все успокоилось, как ничего и не было. Значит, все прекрасно!»

На углу Новокузнецкой он зашел в автоматную будочку — всю мокрую, на нее капало сверху, грязные стекла были в потеках,— быстро набрал номер поликлиники.

— Анастасию Николаевну. Кто спрашивает? Представьте, профессор, муж,— сказал он в трубку, разглядывая натоптанный пол; а когда минуту спустя услышал Асин голос, даже засмеялся.— Аська... Бросай все, скажи, что твой дурацкий муж ошпарился чем-нибудь. Бывает? Конечно. Уважительная причина. Выложи ее профессору — и ко мне. Я брожу по лужам. И доволен. Взгляни-ка в окно. Вы там оторвались от жизни! Окончательно. Ничего не видите, кроме порошков хины. Ты чувствуешь весну?

— Костя, ты с ума сошел! — строго сказала Ася.

— Совершенно съехал с катушек. Бесповоротно. И на вечные времена. От весны. У меня даже температура. Тридцать девять и шесть! По Фаренгейту. По Реомюру. И Цельсию, кажется? — И Константин договорил с нежным упорством: — Представь, что я соскучился... Я жду тебя.

— До свидания, Костя,— сказала Ася спокойно: видимо, в кабинете была она не одна.

— Целую. Кто там торчит около тебя? Профессор? Судя по голосу — у него довольно дореволюционная бородища и отчаянная лысина. Так?

— Хорошо,— ответила она и помолчала.— Пока! Я все-таки задержусь.

— Все равно я соскучился, как старый пес, Аська! Напиши это крупными буквами на своих рецептах, ясно?

Он вышел из будочки на влажный воздух улицы, на капель, на брызжущее в лужах солнце.

В коридоре против двери стоял деревянный чемодан, рядом — галоши. Войдя в сумрак коридора, Константин задел ногой за этот чемодан, удивленно чертыхнулся, и сейчас же мелькнула радостная мысль: приехал Сергей!

Расстегивая куртку, он вбежал на кухню, но она была пуста, он снова повернул в коридор — и в это время навстречу отворилась дверь Берзиня: Марк Юльевич, излучая сияние, кивал на пороге, делал приглашающие жесты.

— Костя, сюда, пожалуйста, сюда! Я услышал, как вы пришли. К вам гость! Вас не было дома, ждал у нас! Пожалуйста! Я рад! Томочка — тоже.

— Ко мне — гость?.. Кто?

— Заходите, заходите!

Константин вошел.

В комнате за столом сидел сухонький человек в помятом пиджачке: полосатая сорочка, немолодое морщинистое лицо с узким подбородком неровно и распаренно краснело после выпитого горячего чая.

Константин вопросительно взглянул на кивающего Берзиня, на Тамару, молча сидевшую в кресле (свернулась калачиком, подперев кулаком щеку), спросил неуверенно:

— Вы... ко мне?

— Вохминцев, значит, ты? — натягивая улыбкой подбородок, проговорил человек и встал, показывая весь свой маленький рост, выставил через стол руку.— Вроде похож и непохож на папашу. Я — Михаил Никифорович, стало быть. Здравствуйте! Разговор для вас серьезный есть. Издалечка, можно сказать... Вот, значит, в каком смысле. Сынок?

И его высокий, какой-то намекающий голос, взгляд прозрачных синеньких глаз разом кольнули Константина ошеломляющей догадкой, и он, мгновенно подумав о Николае Григорьевиче, сказал поспешно:

— Здравствуйте! Идемте ко мне... Я не сын Вохминцева. Я муж дочери Николая Григорьевича.

— Спасибо за чаек, спасибо.

Михаил Никифорович вышел из-за стола, пожал руку Берзиню, потом Тамаре, которая рассеянно протянула лодочкой пальцы, и семенящей, но уверенной походкой, в поскрипывающих сапогах последовал за Константином.

— Оттуда вы? Давно приехали? — спросил Константин уже безошибочно, когда через несколько минут он усадил Михаила Никифоровича за стол и тотчас достал из буфета водку.— Вы... Откуда вы?

— Паспорток бы, извиняюсь, ваш глянуть одним глазком, значит,— своим высоким голосом сказал Ми-

хаил Никифорович, скромно, с руками на коленях, сидя на диване, чуть возвышаясь над столом своей жилистой фигуркой.— Выпить я могу, так сказать, культурно... До шибачки не пью, а так, конечно, ежели нет никаких других горизонтов. А паспорток так... ежели вы зять с точки зрения законного брака.

Константин не без удивления достал паспорт и глядел, как он медленно читал, долго всматривался в штемпель о браке, а затем сказал официально строго:

— Извиняюсь, Константин Владимирович. Дело сурьезное... Я вас никак видеть не должен. Я в командировке здесь, то есть на двое суток...

Константин, не отвечая, чокнулся с рюмкой Михаила Никифоровича, выпил и так же молча пододвинул ему тарелку. Смешанное чувство любопытства и опасения сдерживало его от первых вопросов, и он убеждал себя, что спрашивать и говорить сейчас нужно как бы между прочим, случайно, уравновешенно.

Михаил Никифорович прикоснулся к рюмке с воспитанной осторожностью — мизинец оттопырен,— вдруг сурово нахмурился и, запрокинув голову, вылил водку в горло, тут же деликатно сморщился, стал неловко сильно тыкать вилкой, царапая ею по тарелке. И, жуя, полез во внутренний карман пиджачка, из потертого портмоне вытянул смятый и сложенный вдвое конверт, подал Константину.

— Ежели сына, значит, нету по обстоятельствам, вам письмецо. От Николая Григорьевича. Да-а... Просил передать лично семье. Передайте, говорит, а вас там примут, стало быть. Да-а...

И Константин не мог унять дрожания пальцев, разрывая конверт: положил письмо на стол, медленно разгладил грязный тетрадный листок, испещренный карандашными строчками, падающими книзу, к обрезу листка,— карандаш в нескольких местах прорвал бумагу.

«Дорогой мой сын! Ася не должна этого знать, поэтому я обращаюсь к тебе.

Я все же надеюсь, что через десять лет увижу вас. Теперь я, как многие, жду одного — узнать, что с вами, дорогие мои. Одно слово, что вы живы и здоровы, может изменить в моей жизни многое. Я тогда смогу ждать, надеяться и жить.

И вот что ты должен знать. В Москве 29 января была

очная ставка с П. И. Б. Это было нечеловеческое падение и еще одного человека... (зачеркнуто), которого я считал коммунистом... Но поверь мне, что я все выдержал.

Главное — передай Асе, что я жив, и поцелуй ее крепко. Береги ее.

Обнимаю тебя. Твой *отец*.

Сообщать мой адрес бессмысленно.

Напиши несколько слов и передай тому, кто передаст тебе эту записку».

Константин сложил письмо, но сейчас же вновь, будто не веря еще, скользнул глазами по фразе: «В Москве была очная ставка с П. И. Б.» — и помедлил, остановив взгляд на этой строчке, почувствовал, как кожу зябко стянуло на щеках.

— Что ж, выпьем?

Михаил Никифорович, в ожидании пряменько сидевший на диване, только сапоги поскрипывали под столом, отозвался высоким голосом:

— С вами-то чего ж не выпить! Ежели по единой! — И руки снял с колен, волосы пригладил преувеличенно оживленно.— У нас горькая — страсть редко, по причине далекого движения железной дороги и так и далее. Больше бабы на самогон жмут без всяких зазрений домашних условий. Со знакомством!

И выпил, опять деликатно сморщившись, покрутил головой, понюхал корочку хлеба, передергивая бодро, живо локтями.

— Хор-роша горькая-то!..

Константин посмотрел на его повеселевшее личико, на грубые, темные, узловатые кисти, на вилку, которую он держал неумело, но уверенно, и его поразила мысль, что, наверно, человек этот — надзиратель, что Николай Григорьевич находится под его охраной, и, сразу представив это, с усилием спросил:

— Вы охраняете заключенных?

Михаил Никифорович жевал, взглядывая на Константина, как глухой.

— Курил сигаретку-то...— Он вытер под столом руки о колени и взял из пачки сигарету аккуратно.— Сладкие бывают, да-а... (Константин чиркнул зажигалкой.) Эх,

зажигалка у вас? Очень, можно сказать, культурная штука. А бензин как?

— Я шофер.— Константин показал удостоверение, раскрыл его затем перед Михаилом Никифоровичем, перехватывая его взгляд, добавил: — Вы не бойтесь, я не трепач. Просто интересно. Ну, много там у вас... заключенных? В общем, если не хотите, не отвечайте. Выпьем лучше. Вот, за вашу доброту.— И он прикоснулся к письму на столе.

Наступило молчание.

— Шофер, значит, ты? — Михаил Никифорович, натягивая улыбкой подбородок, вдыхал дым сигареты, прозрачные синенькие глаза светились блестками.— А вид у тебя ученый... Очки на нос — ну что профессор...— Он тоненько засмеялся.— Вредный народ-то, однако, профессора, знаешь то или нет, Константин Владимыч? Ай тут ничего не знают? С виду соплей перешибить можно, а все против, откровенно сказать, трудового народа. Вот что я тебе скажу, ежели ты простой шофер и должен понимать международную обстановку. Враги народу...

— Кто враги? Профессора?

Михаил Никифорович сделал жестким лицо, на лбу проступили капли пота, заговорил строго:

— Пятилетки, значит, и строительство, подъем рабочей жизни и колхозы, значит. Читают нам лекции, объясняют все хорошо... А они, профессора, прекрасно образованные, против гениального вождя товарища Сталина. Я что тебе скажу, послушай только,— внезапно поднял голос Михаил Никифорович.— Убить ведь хотят, каждый год их ловят. То там шайка какая, то тут. Фашистов развелось в городах-то ваших — плюнуть негде! И везут их, и везут, день и ночь. Местов уже нет, а их везут... Ни сна, ни покоя. Чтоб они сдохли! Вот что я тебе скажу, Константин Владимыч, человек хороший... Каторжная у нас работа! Не жизнь, нет, не жизнь. Убег бы, да куда?

— Сочувствую,— сказал Константин, прикуривая от сигареты новую.

Видно было — Михаил Никифорович сильно захмелел, обильно влажным стало его лицо; его синенькие глаза смотрели не улыбчиво, а искательно, вроде бы сочувствия просили у Константина; узел галстука нелепо сполз, расстегнутый воротник рубашки обнажил темную хрящеватую шею.

— Какая же это жизнь? — снова заговорил он страдальческим голосом.— Ну, чего это я болтаю, а? Ну, чего болтаю, дурья моя голова! — залившись тонким смехом и мотая волосами над лбом, крикнул Михаил Никифорович.— Ну, скажи на милость — интерес какой! Язык болтает, голова не соображает, горькая, видать, в темечко шибанула! Никакого тут интереса нет, Константин Владимыч! Совсем жизнь наша неинтересная!..

— Вы рассказывайте,— сказал Константин.— Я слушаю...

— А чего рассказывать! — перебил Михаил Никифорович, качаясь хмельно и смеясь.— Не жизнь у нас, нет, Константин Владимыч! Звери мы, что ли? А? Ведь не звери мы!.. Вы мои мысли уважаете? Или непонятное говорю?

Легши грудью на стол, Михаил Никифорович потянул Константина за рукав, пьяно замутненные глаза его, короткие серые ресницы заморгали, и Константин в эту минуту с ощущением острого комка в горле невольно отстранился, тотчас же взял свою рюмку и выпил двумя глотками водку, проталкивая ею этот комок в горле, спросил:

— А... как Николай Григорьевич? Николай Григорьевич...

— Очень, можно сказать, хорошо.

Михаил Никифорович тоже опрокинул в рот рюмку; вздыхая, пожевал корочку хлеба, после высморкался в носовой платок, зажимая по очереди ноздри.

— Люди там, скажу тебе, разные бывают: один — зверем косится, другой — можно сказать, с пониманием.— Тщательно вытер покрасневший носик, затолкал платок в карман.— Когда на даче, то есть, по-вашему сказать, в карцере, сидел, я ему кусок хлеба, а он мне: «Спасибо, вы же от себя отрываете». Как человеку. Мы обхождение понимаем, не звери, Константин Владимыч. Какого заядлого когда и постращаешь, чтобы, значит, не особенно. А кому и скажешь: мол, понимай отношение справедливости жизни: кормят тебя, вражину, поят, одевают — чего же тебе, шляпы на голову не хватает, такой-сякой! А к вашему тестю уважение есть, уважают его: сурьезный, молчит все.

— Как его здоровье? — спросил Константин.

— Очень, можно сказать, хорошее. Два раза в госпитале лечили его,— ответил Михаил Никифорович.— Вер-

нулся — хорошо работал, не отдыхал даже. Об этом, так сказать, сомлеваться нельзя. Месяц назад повел его к пункту, чего-то у него закололо. Фершел, тоже человек сознательный, постукал, говорит: «Ничего здоровье...»

— Он никаких лекарств не просил... чтобы вы привезли?

— Лекарств-то?

Михаил Никифорович встрепенулся неожиданно, выражение пьяной расслабленности сошло с его влажного лица, покрытого красными пятнами. Он обеспокоенно глянул на будильник, отстукивающий на тумбочке, задвигал плечами и локтями, точно бежать собрался, крикнул высоким голосом:

— Это же время-то сколько! Беседа — хорошо, а дело забыл, пустая голова! Опоздаю я в магазины — баба начисто со света сживет! — И захихикал, все двигаясь на диване.— В универмаг мне надо в ваш! Бе-еда! Просьба у меня к вам, Константин Владимыч, вот, значит, совет ваш... По секрету сказать, никакая командировка у меня сурьезная, а в Москву за одеждой и так далее, двое суток мне дали...

Он суетливо вытащил из потертого портмоне зеленый листок бумаги, развернул перед собой на скатерти озабоченно.

— Купить мне надо, можно сказать. Жене — полушалок, куфайку шерстяную, детишкам — ботиночки, пальтишки, брату — сапоги хромовые. Из продуктов: сахару — пять килограммов, чаю — восемь пачек, колбасы — два килограмма, конфет — один килограмм. Где все это закупить можно, Константин Владимыч? Совет прошу. На два дня я из дому только!

— Где думаете остановиться?

Константин, отъединяя слова, спросил это, в то же время думая об Асе, об этом почти необъяснимом присутствии Михаила Никифоровича здесь, в доме, о длинных темных разговорах его, вызывающих тупую боль в сердце; и не отпускало его едкое ощущение удушья.

— Сродственников у меня в Москве никого. А с Николаем Григорьевичем разговор был... Ночку мне только и переночевать, ежели вы...— с заминкой проговорил Михаил Никифорович, виноватой улыбкой натягивая подбородок, и Константин прервал его:

— Хорошо. Одевайтесь. Пойдем в магазин. Я покажу... где купить!

Письмо отца Ася читала не в присутствии Михаила Никифоровича, она с испугом пробежала первую строчку, молча ушла в другую комнату, закрылась на ключ и там затихла.

Константин, не без колебания решивший показать письмо, хмуро прислушиваясь, сбоку поглядывал на дверь и машинально подливал водку Михаилу Никифоровичу — после магазинов ужинали в десятом часу вечера.

Михаил Никифорович, довольный покупками, согретый до пота водкой, которую пил безотказно, устроясь на диване среди разложенных вещей, пакетов с сахаром, кульков и свертков, вытирал платком осоловелое лицо, возбужденно обострял слипающиеся глаза, борясь с дремотой.

— Дети, конечно, за родителев страдают,— говорил, прочищая горло кашлем, Михаил Никифорович.— И женщины, жены то есть. А разве они виноваты? Скажем, отец супротив власти делов наворотил, а они слезьми умываются.

«Каких же делов наворотил Николай Григорьевич?» — хотелось усмехнуться Константину и жестокими, как удары, словами объяснить, рассказать о честности Николая Григорьевича, о давних взаимоотношениях его с Быковым; и когда он думал о Быкове, что-то нестерпимо злое, бешеное охватывало его. «Быков,— думал он, плохо слушая Михаила Никифоровича.— И Ася, и Сергей, и Николай Григорьевич, и я — всё Быков, всё от него... И это письмо и надзиратель. И Николай Григорьевич — враг народа. Что докажешь! Да Быков... Всё и от него и не от него. Очная ставка — знали, кого вызывали! Ах, сволочь! Что же это происходит? Зачем? Очная ставка? И поверили ему, хотели ему поверить!..»

— Женщины очень уж страдают...— говорил Михаил Никифорович, и размытым серым цветом звучал его голос.— К эшелонам повели колонну, несколько сотен. И тут, значит, такая несуразица случилась. Недалеча от товарного вокзала бабы откуда ни возьмись — из дворов, из закоулков, из-за углов к колонне бросились. Кричат, плачут, кто какое имя выкликает. Они, значит, к тюрьме из разных городов съехались, прятались кто где. Ну, крик, шум, плач, бабы в колонну втерлись, своих ищут... Конвойные их выталкивают, перепугались, кабы чего не вышло до побега. Затворами щелкают... И — приклада-

ми. Командуют колонне: «Бегом, так-распротак». Побежала колонна, баб отогнали прикладами-то. И тут, слышу, один заключенный слезу вслух пустил, другой, вся колонна ревмя ревет — бабы довели, не выдержали мужчины, значит. Кричат: «За что женщин? Дайте с женами проститься!» А разве это разрешено? Не положено никак. А ежели какой побег? Конвойные в мат: «Бегом! Бегом!» Как тут не обозлиться?

— Перестаньте! — послышался ломкий и отчужденный голос Аси.

Она вышла из комнаты, стояла у незакрытой двери.

— Перестаньте! — повторила она брезгливо.

Сухими огромными глазами Ася глядела на сморщенное сочувствием, потное лицо Михаила Никифоровича, сразу замолчавшего растерянно; в ее опущенной руке белел конверт, и Константин особенно отчетливо заметил — как кровь — чернильное пятнышко на ее указательном пальце. И быстро посмотрел ей в глаза, спрашивая взглядом: «Что? Что?»

— Передайте отцу это письмо, если сможете! — сказала Ася холодно.— И, если не трудно, ответьте мне одно: он здоров? Я врач и хочу послать лекарства... с вами. Но я должна знать.

— Очень даже, можно сказать, здоров.— Михаил Никифорович зачем-то незаметно потрогал детское пальто на диване.— Так и велел передать он. А что у нас? У вас газы, автомобили, дышать невозможно, а у нас воздуху много. Очень даже много. Для детей хорошо. Продувает. Скажу вам так. Перед отъездом ходил я тут с Николаем Григорьевичем, то есть папашей вашим, в медпункт...

И Константин, чувствуя, как от слов этих больно начинает давить виски, вмешался:

— Ася, он здоров, Михаил Никифорович мне подробно рассказывал. Нужно обязательно нитроглицерин. В сорок девятом у него болело сердце.

— Это я знаю,— сухо сказала Ася.— У меня на столе, Костя, я приготовила все лекарства.

Она повернулась и вышла в свою комнату, не простившись с Михаилом Никифоровичем даже кивком, и он, ощутив, видимо, ее ничем не прикрытую неприязнь, засовывая оставленное Асей письмо в кожаное портмоне, произнес с ноткой обиды:

— Очень сурьезная... жена ваша.

Он вздохнул глубоко и шумно, потупясь, снова украд-

кой пощупал, помял полу лежавшего на диване детского пальто и, оставшись довольным, начал тереть колени под столом.

— Лекарствов, можно сказать, не надо бы,— внушительно, солидно заговорил он.— У нас кто этими лекарствами баловать начинает — залечивается до больницы.

— Завтра я отвезу вас на вокзал,— сказал Константин, давя сигарету в пепельнице.— Вот вам подушка, простыня. Устраивайтесь. Спокойной ночи.

Ася уже лежала в постели — ладонь под щекой, возле, на подушке — развернутая книга,— не мигая, смотрела в стену, на зеленоватый круг от ночника.

Константин разделся и лег рядом, после молчания сказал:

— Теперь мне кое-что ясно.

— А мне — ничего, ни-че-го...— шепотом ответила Ася, водя пальцем по зыбкому пятну света на обоях,— был виден краешек ее напряженного глаза, поднятая бровь.— Боже мой, Быков, очная ставка... И этот надзиратель у нас в квартире. И хоть бы что... Все смешалось. Как же так можно жить? — Она оперлась на локоть; глаза, отыскивая взгляд Константина, требовательно блестели ему в глаза.— Ты слышал, что он говорил! Я не могу это представить. Что-то делается ужасное... Почему, Костя? Для чего?

— Асенька,— проговорил Константин.— Можно, я потушу свет?

Он погасил ночник и опять лег на спину, подложив кулаки под голову, чернота сжала комнату, лишь лунный свет холодной полосой упирался в подоконник, как зеркалом, отбрасывал блик в тень потолка; из-за стены доносилось всхлипывание, свистящее дыхание носом. Где-то во дворе гулким отзвуком хлопнула дверь парадного.

— Он спит,— с отчаянием сказала Ася.— Ты видел, как он трогал руками это детское пальтишко? Неужели у него есть дети?

— Трое.

— Нет. Если так — тогда страшно! Если бы ты знал, как я ненавижу Быкова и тех... кто поверил ему! Нет, хоть раз в жизни я хотела бы посмотреть всем им в глаза! Именно в глаза!..

— Ася...— тихо сказал Константин.

Он прижался лицом к ее груди и, мучаясь от ощущения своей беспомощности сейчас, робко обнял ее и, зажмурясь, лежал так некоторое время, потираясь губами о ее пахнущую детской чистотой шею.

— Асенька... ты плохо меня знаешь. Я знаю, что делать,— убеждающе сказал Константин.— Этот Быков еще пострижется в монахи. Так должно быть на этом свете. Нет, он еще поваляется у меня в ногах. Я знаю о нем все, чего никто не знает. Вот этого только я хочу!

Она быстро отвернула лицо, шепотом сказала в стену:

— Не надо, не надо этого говорить! Не смей! Ты меня не понял. Я не хочу, чтобы оклеветали и тебя. Ты теперь не один! Ты ничего не должен делать, ни-че-го!

В полночь Константин встал; лунный косяк передвинулся по комнате — теперь твердо освещал стену, были видны цветы обоев. Свет этот был так беспокоящ, вливал такое холодное безмолвие в комнату, что Константин, одеваясь, улавливал дыхание Аси сквозь шуршание своей одежды.

«Не надо, не надо, ты теперь не один!» — звучало в его ушах, как через заведенный моторчик. Он никак не мог заснуть, и эта давящая усталость бессонницы шумела в голове. Тогда, после этих слов Аси, Константин вдруг почувствовал неожиданную отчаянную растерянность, какую-то рвущую душу нежность к ней, к этим словам ее, а после, когда она заснула, он, боясь повернуться, изменить положение, чтобы не разбудить ее, лежал в липко окатившем его поту, замлело, затекло все тело; и когда, измучась, отгоняя лезшие в голову мысли, с расчетом взвесить все, что могло быть, поднялся в полночь, решение было неотступно ясным.

«Еще ничего не случилось,— убеждал он себя.— Она боится за нас. Еще ничего не произошло. Пистолет... Спрятать надежнее пистолет. Немедленно. Сейчас, сейчас. Почему я не сделал этого раньше?»

Он опасался разбудить Асю, заскрипеть дверцами книжного шкафа и, осторожно открывая, приподнял створки — они тоненько скрипнули в тишине комнаты,— отодвинул книги и достал толстый том Брема: как в дыму, гладко поблескивал в нем под лунным светом «вальтер».

Он сунул его во внутренний карман пиджака, колю-

щим холодком ощутил грудью плоскую тяжесть, оглянулся через плечо на тахту — Ася спала. Постоял немного.

И опять, опасаясь скрипа двери, на цыпочках, поспешно вышел в другую комнату, но здесь натолкнулся на отлетевший стул, заваленный грудой одежды, поставленный перед порогом. Сразу оборвался храп, и взлохмаченная тень, фистулой свистнув носом, вскочила на диване, из окна высвеченная косым столбом луны,— Михаил Никифорович испуганно вскрикнул:

— А? Кто?

Константин, от неожиданности выругавшись, запутался ногами в одежде, упавшей на пол, торопливо стал подымать ее, в тот же миг тупо зашлепали по полу босые ноги — он, нахмурясь, выпрямился с чужим пиджаком в руках.

Михаил Никифорович в исподней рубахе, в кальсонах, синей тенью возник перед ним, выкатив остекленные страхом и луной глаза, повторил одичало:

— Ты что это? А? Как можешь?

И рванул к себе пиджак из рук Константина, смял его в горстях, проверил что-то, твердой ощупью скользнул по карманам, все повторяя одичалым голосом:

— Ты что же, а? Как можешь? Документ тут был, а? — И охватил Константина за локти.

— С ума сошли, черт вас возьми! — Константин резко перехватил жилистые кисти Михаила Никифоровича и зло оттолкнул его к дивану. Тот с размаху сел, откинувшись взлохмаченной головой.— Вы что — опупели? Сон приснился? — шепотом крикнул Константин.— Какие документы? А ну проверьте их! Какого черта стул у двери ставите? Забаррикадировались?

— А? Зачем? — прохрипел Михаил Никифорович и, уже опомнясь от сна, отрезвев, посунулся на диване, желтые руки замельтешили над пиджаком, достал зашуршавшую бумажку, жадно вгляделся в нее под луной. И затем, странно поджав худые ноги в кальсонах с болтающимися штрипками, потерянно забормотал: — Это что ж я? С ума тронулся? Аха-ха-ха! Извините, Константин Владимыч, извините меня за глупые слова...

— Тише вы! Жену разбудите! — не остывая, выговорил Константин.— Спите лучше! И положите пиджак под голову, если боитесь за документы. А дверь не баррикадируйте!

— Извиняюсь, извиняюсь я...

Константин повернул ключ в двери, вышел в темный коридор, не зажигая света, прошел в кухню, тихую, лунную. Здесь, успокоясь, подождав и выкурив сигарету, намеренно спустил воду в уборной, несколько минут постоял в коридоре.

Затем на носках приблизился к порогу своей квартиры.

Всхрапывание, посвистывание носом доносились из комнаты. «Позавидуешь — он все же с крепкими нервами»,— подумал Константин.

Потом, вслушиваясь в шорохи спящей квартиры, отпер дверь в парадное.

Через двадцать минут вернулся со двора.

Он спрятал «вальтер» в сарае, под дровами.

Утром Константин поймал такси в переулке, повез Михаила Никифоровича на вокзал. По дороге мало разговаривал, зевал, делая вид, что плохо выспался и утомлен, изредка поглядывал на Михаила Никифоровича в зеркальце.

Тот молчал, вытягивая узкий подбородок к стеклу.

Возле подъезда вокзала Константин облегченно и сухо простился с ним.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда Константин вошел в насквозь пропахший бензином гараж — в огромное здание времен конструктивизма тридцатых годов, с уклонными разворотами на этажи, вразнобой гудевшими моторами перегоняемых машин, с шумом, плеском воды на мойке, около которой вытянулись очередью прибывшие «Победы»,— он увидел в закутке курилки человек семь шоферов заступающей смены.

Стояли, сидели на скамье перед бочкой, покуривали, лениво переговаривались — как всегда, отдыхали перед линией.

Белое морозное февральское солнце отвесно падало сквозь широкие стекла.

Михеев сидел на самом краешке скамьи, теребил Константинову шапку, заглядывал внутрь ее, казалось — не участвовал в разговорах; круглое, плохо выбритое лицо было угрюмым.

— Привет лучшим водителям! — сказал Константин,

здороваясь со всеми подряд, а Михеева еще и ударил весело по плечу.— Как, Илюшенька, настроение? Что ты видишь в донышке моей шапчонки?

Слова эти вырвались почти непроизвольно, однако он произнес их с испытывающим ожиданием, Михеев резко вскинул глаза на него, узко сомкнул пухлые губы, и Константин так же неожиданно для себя сказал оживленно:

— Недавно под настроение махнули с Илюшей «головными приборами». Он оторвал мою пыжиковую, а я его — заячью. Пришлось ее поставить на комод, как клобук мыслителя. Показываю соседям по квартире. Ажиотаж. Крики «ура». Выломали дверь. Был запрос из Исторического музея. Не успеваю снимать телефонную трубку. Что делать, братцы?

В курилке засмеялись. Михеев, не разжимая губ, молчал, кончики его ушей, полуприкрытые волосами, заалели, ярко видимые под солнцем.

— За мной, Илюша, в воскресенье сто граммов с прицепом и даже с двумя,— произнес Константин, сел между Михеевым и пожилым шофером Федором Плещеем, удобно развалившимся на скамье.

— Его на маргарине не проведешь. Он тебя, Костя, разгуляет на твои деньги! — отозвался Плещей и скосил на Михеева глаза, ясные, независимые.— Ну, выдай-ка, Илюха, последнее сообщение. Стоит ли масло покупать в магазинах и лекарство в аптеках? Ну? Откровенно! С плеча лупани! Ты хорошо обстановку в стране понимаешь.

Было Плещею лет сорок пять, тяжелый, крупный, даже грузноватый, с уже белеющими висками — от фигуры его, от умного и как бы неотесанного лица веяло самоуверенностью человека, знающего себе цену.

Работал он когда-то в грузчиках и, может быть, вследствие этого и его нестеснительной прямоты, особенно густого баса, звучавшего иногда на все этажи гаража, сумел прочно и независимо поставить себя в парке.

— Так как же, Илюха? — повторил Плещей.— Масло можно покупать — или отравили его... эти самые? Или разве одну картошку можно? Расскажи-ка! Что говорил мне — сообщи всем. Полезно для высокой бдительности. Мы, брат, разных пассажиров возим. Ухо надо пристрелять. Ну, нажми на акселератор — и рубани за жизнь! И все станет ясным!

— Вы всегда разыгрываете и преувеличиваете, Федор Иванович,— сказал шофер Акимов, сдержанно обращаясь к Плещею.

— Добряк! — захохотал Плещей.— Иисус Христос ты, Акимов!

Михеев поерзал, обеспокоенно перевел глаза на Акимова, на лицо Плещея, потом на молча раскуривавшего сигарету Константина.

Акимов — бывший летчик,— без шапки, светловолосый, в короткой, на «молниях» меховой куртке, стоял, прислонясь к бочке, с серьезной задумчивостью покусывая спичку. Сказал:

— Ну что мы все время Илюшу разыгрываем? Зачем?

— Майор милиции вынул лупу и посмотрел на физиономию пострадавшего,— вставил дурашливо Сенечка Легостаев.

С бутылкой молока в руке Легостаев топтался на цементном полу, легонько выбивал щегольскими полуботинками чечетку и в перерывах отпивал из бутылки — подкреплялся перед линией. Младенчески розовый лицом Сенечка выглядел старше своих лет из-за вставных передних зубов, делавших его лицо наглым и отчаянным.

Сенечка кончил выбивать чечетку, навалился сзади на плечи Акимова, ухмылкой выказывая стальные зубы, спросил:

— Слушай, Илюшенька, а не... этих ли отравителей у нас искали? Директор и механик по машинам шастали, опрашивали насчет стоянок и всяких происшествий?

Константин быстро посмотрел на Легостаева.

— Что, всех? — Константин пожал плечами.— Меня нет. Бог миловал от разговора с начальством.

— Да и тебя сегодня кадровик искал,— отхлебнув из бутылки, добавил Легостаев.— И конечно, Илюшу. С самого утра бегал тут Куняев. Но тебя-то наверняка повышают, Костя! И Илюшу — как чикагского детектива. Дадут пару «кольтов». Пиф-паф! Налет на аптеки!

— Уверен — повышают. А почему нет? — сказал Константин.— Давно жду министерский портфель. Но только вместе с Илюшей. Отдельно не согласен.

«Значит, его вызывали? — взглянув на угрюмо молчавшего Михеева, подумал Константин.— Его... Значит, меня и его. Обоих...»

— Сопи, сопи, Михеев,— снисходительным басом про-

изнес Плещей.— Это помогает. А у меня, знаешь, дети масло едят. У меня четверо пацанов. С аппетитом.

«К кадровику? — думал Константин.— Вызывали в отдел кадров? Зачем? Для чего я понадобился?» И уже смутно слышал, что говорили рядом, но, успокаивая себя, по-прежнему сидел, невозмутимо развалясь на скамье между Михеевым и Плещеем, цедил дымок сигареты.

— Да что вы, друзья, атаковали Илюшу? — сказал удивленным голосом Константин.— Парень он — гвоздь. Молоток.

Плещей поддержал Константина своим внушительным басом:

— Во-во, почти все знает, как в аптеке!

— Пресс! — согласился Легостаев и хохотнул.— Сам видел: в пельменной он масло жрет, аж затылок трясется на третьей скорости.

— Что напали, отбоя нет! — внезапно зло огрызнулся Михеев и неуклюже встал, напружив шею.— А ты, Легостай, молчи! Знаю, как пассажиров под мухой с бабами знакомишь! С простигосподями... Чего ощерился? — Обернулся к Плещею: — Говорить с вами нельзя, Федор Иванович! Странно вы как-то разговариваете!

И пошел, раскачиваясь, к машинам, надевая на ходу шапку, оттопыривая ею алеющие уши.

— Обиделся, никак,— за что, кореш? — крикнул Легостаев и зашагал вместе с ним, размахивая бутылкой, стал что-то объяснять, снизив голос.

— Ну что вы сердите парня? — сказал Акимов умиротворяюще.— Есть люди, которые не понимают шуток,— ну и что? Я с ним одну комнату снимаю. Во Внукове. Честное слово, он обижается.

— Молоток, говоришь? — Плещей, точно не расслышав Акимова, двинул плечом в плечо Константина.— Молоток, да не тот. Не обтешется никак. Трепло! — Он постучал пальцем по скамье.— А? В Москве, говорит, мальчиков в родильных домах умерщвляют. Врачи, мол, и все такое. Все знает. Спасу нет. Орел — вороньи перья. Так, Костя, или не так?

— Не совсем уверен, Федор Иванович.

— Вы очень его прижимаете в самом деле, Федор Иванович,— вставил миролюбиво Сенечка Легостаев, подходя.— Больно он злится на ваши слова... Переживает. Ну его в гудок!

— Чихать я на обиды хотел, Сенечка, левой ноздрей

через правое плечо! Мещанскую темнотищу из него выколачивать надо! — без стеснения грудным басом загремел Плещей.— В затишках говорить не умею. Не мышь я, Сенечка, чтоб под хвост шуршать!

— Не совсем уверен, Федор Иванович,— повторил Константин.

— Это в каком смысле? — не понял Плещей.

— В том же... Значит, меня вызывали в кадры?

— Я-то тебя не разыгрываю! Давай к Куняеву! — крикнул Легостаев.— Повышают, видать, студентов!

Отдел кадров находился в самом конце коридора.

Сюда из гаража слабо проникал подвывающий рокот моторов, здесь всегда была тишина с запахом пыли, засохших чернил, с таинственным шуршанием бумаг на столах. Здесь шоферы невольно снижали до шепота крепкие голоса — всех овеивало непривычной официальной устойчивостью, стук пресс-папье чудился секретным и значительным, как и поставленная печать на справке.

В то время, когда Константин постучал: «Можно?» — и излишне уверенно дернул зазвеневшую стеклом дверь, начальник отдела кадров Куняев в старом, из английского сукна кителе сидел за простым двухтумбовым столом (на плечах серели невыгоревшие полосы от погон), листал папку, разглаживал листы, скуластое лицо было неподвижным, прямые пепельные волосы свешивались на лоб.

— Вызывали? — спросил Константин и бесцеремонно бросил шапку на облезлый сейф.— Кажется, вы интересовались мной, если я не ошибаюсь!

— А, товарищ Корабельников! — Куняев, весь подтянуто плоский, встал, смягчаясь одними серыми сумрачными глазами.— Все шутки шутите, это даже хорошо. Как работается? Садитесь.

Заученно он правой рукой поправил полы кителя, левая — протезная, в кожаной перчатке — мертво, неудобно уперлась в край стола.

— Это, товарищ Соловьев, наш шофер Константин Владимирович Корабельников,— сказал Куняев, кивнув куда-то в угол комнаты.

Константин, садясь, мельком глянул туда, различил между шкафами, за столиком в нише, сухощавого молодого человека в темном костюме; пальто и шляпа ви-

сели на гвоздике, вбитом в стену шкафа. Человек этот, читавший какую-то бумагу, приветливо ответил взглядом,— мягкая улыбка засветилась на его лице,— сейчас же подошел и сильно, дружелюбно потряс руку Константина тонкой и гибкой рукой.

— Очень приятно, Константин Владимирович.

И отошел к нише, снова принялся внимательно читать бумагу под дневным светом окна.

Константин сказал, преодолевая наступившее молчание:

— Слушаю вас.

Куняев положил локоть протеза на стол, опустил глаза к папкам и, поглаживая обтянутый кожаной перчаткой протез, спросил с шутливой фамильярностью:

— Как работается, товарищ Корабельников? Довольны?

— Мм... как вам сказать? Труд в свое время очеловечил обезьяну, товарищ Куняев.

— Хм!..

— Но в наше время является делом чести, доблести и геройства. Следовательно, я доволен. Зарплатой и своим начальством. И отделом кадров,— сказал Константин то ли насмешливо, то ли серьезно — можно было понимать как угодно.

Молодой человек у окна оторвался от бумаги и вынужденно заулыбался, и Куняев тоже слегка раздвинул губы, сказал:

— Ну, ну! Все шутите, товарищ Корабельников! Вот вас в парке за это и любят. Это хорошо. Умная шутка украшает жизнь... создает бодрое рабочее настроение. С шуткой, как говорится, работается веселее...

— Не всегда,— ответил Константин, испытывая смертельное желание закурить, особенно оттого, что на шкафу висело: «Курить воспрещается», оттого, что на столе Куняева не было пепельницы, оттого, что не мог нащупать цель этого вызова.

Его неприязненно настораживало, что Куняев против обыкновения был не один и, казалось, всем телом ощущал присутствие здесь молодого человека, который стеснял его, сбивал с обычного тона.

— Так вот... н-да... зачем я тебя вызывал,— стирая со скуластого серого лица не свою, а точно отраженную, заемную улыбку, и сухо, как всегда, заговорил Куняев. И подал при этом Константину анкету из папки.— Уточ-

нить кое-что хотел. Посмотри насчет наград. И насчет родственников. Точно у тебя? Все в порядке? Добавлений не будет? Каждый год анкеты уточняем. Никаких у тебя изменений? Если есть, впиши. Вон ручка.

Куняев сказал это и стал упорно глядеть в другую папку, занятый следующей анкетой, прямые волосы спадали на выпуклый лоб.

— Уточнить?..— Константин прикусил усики, подумал.— Угу.

— Читай анкету, товарищ Корабельников. Читай внимательно.

В голосе начальника отдела кадров прозвучало нечто раздражающе невысказанное, и Константин вопросительно повел глазами по анкете.

Давний почерк, синие домашние чернила, вспомнил: анкету заполнял еще в сорок девятом году. Он быстро нашел графу «Когда и чем награжден» — все ордена, медали были вписаны («Все в порядке, но что же?» — и следом отыскал вопрос о родственниках: «Есть ли репрессированные?» Здесь его почерком было написано: «Отец жены, Вохминцев Николай Григорьевич, арестован органами МГБ в 1949 году». «Так вот в чем дело!» Следствие длилось девять месяцев, и тогда он не знал, что Николай Григорьевич будет осужден на десять лет. Тогда еще не верилось! И он и Ася узнали об этом в пятидесятом...

«Что же — повторяется история с Сережкой? Значит, сейчас разговор пойдет о сокрытии истины? Этот молодой человек уточнил? Зачем он здесь? Так что же они будут говорить сейчас мне? Значит, за этим я и был вызван? Но почему... именно сейчас, сегодня, а не год, не пять дней назад? Почему сегодня?»

— Насчет наград — все правильно. Если, конечно, я не забыл вписать какой-нибудь значок вроде «отличный разведчик» или «отличный парень»,— сказал Константин, заставляя свои глаза блестеть невинно-весело в сторону строго поднявшего лицо Куняева.— Что касается графы о родственниках, то надо уточнить, если это требуется по форме. Отец моей жены, Вохминцев Николай Григорьевич, после девятимесячного следствия осужден особым совещанием на десять лет по статье пятьдесят восемь. Это я узнал в пятидесятом году. Впрочем, это не важно. Про анкеты вспоминаешь в исключительных случаях. Факт тот, что в графе этого уточнения нет. Разрешите вписать?

— Не важно, утверждаешь? Это как раз важно! — сухо произнес Куняев, из-под лба взглядывая на Константина.— Чего уж тут шутки шутить. Не до шуток. Анкета — твое лицо. А лицо-то каждое утро умывают, а?

Константин с выражением непонимания сказал:

— Что меняет... если я впишу «осужден»?

Выпуклые скулы Куняева отвердели, белыми бугорками проступили желваки, и цветным карандашом он нервозно защелкал по протезу.

— Что — шестнадцать лет тебе? Мальчик?

И сразу посуровел, покосился в угол комнаты на молодого человека, сидевшего незаметно за чтением бумаг.

— Ты что — несовершеннолетний? Ответственности нет?

— Анкеты — всегда стихия,— вздохнул Константин.— Понимаю. Разрешите, я впишу сейчас?

Молодой человек отложил бумагу, провел ладонью по залысинам и, вроде только сейчас услышав разговор, ясным взором поглядел на Константина, на Куняева, сказал мягко, примирительным тоном:

— Бывает. Забыл товарищ Корабельников. Это поправимо. Впишет в анкету, и все в порядке. Правда ведь, товарищ Куняев? — Он с неисчезающей доброжелательностью, вежливо ему кивнул.— Извините, пожалуйста. Не разрешите ли нам поговорить с Константином Владимировичем минут десять? Вы, Константин Владимирович, в пять заступаете? Ну - я не оторву у вас время.

Он подвинул стул, гибким движением сел напротив Константина, уже не обращая внимания на выходившего из комнаты хмуро-замкнутого Куняева, подождал, пока затихли шаги за дверью, и потом с той же предупредительностью, с какой тряс, знакомясь, руку Константина, заговорил мягким голосом:

— Надеюсь, вы не подумаете ничего плохого, если я буду с вами доверителен, Константин Владимирович. Пусть вас не огорчает эта пресловутая графа. В отделе кадров без бюрократизма, как говорится, не обойтись. Ну, осужден ваш родственник через девять месяцев следствия. Ну, вы запоздали сообщить. Это ясно. Тем более он не ваш отец, только родственник. Простите... Вы, наверно, удивляетесь: «Кто это со мной говорит?»

Молодой человек ловко извлек из внутреннего карма-

на удостоверение, предложил его посмотреть Константину.

— Чтоб не было недоразумения, представлюсь. Моя фамилия Соловьев. Я инспектор по отделам кадров. Меня интересует, Константин Владимирович, вот что. Вы служили в разведке во время войны?

— Да. Это записано в анкете.

— Ради бога, забудем про анкету. Передо мной вы, живой человек, анкета — это бумага, так сказать.— Соловьев с извиняющейся полуулыбкой кончиком пальцев прикоснулся к стаканчику, наполненному отточенными карандашами.— Вы всю войну служили в разведке? Именно в разведке?

— Да.

— И, судя по вашим наградам, вы были хорошим и, так сказать, смелым разведчиком, отлично выполняющим задания командования. Вы, наверное, не раз приносили полезные данные, различные сведения о противнике. Я вижу, вы любили свое дело, правда ведь?

— Разведчиком я стал случайно. Как многие на войне стали случайно артиллеристами, пехотинцами, штабистами и прочими.

Соловьев, улыбаясь, ласково перебил его:

— Я понимаю. Но я говорю о результате. Вы же на войне не меняли свою профессию? Значит, она вам нравилась? Константин Владимирович, сколько у вас наград?

— Шесть. Я уже сказал об этом товарищу Куняеву. В анкете — точно.

— Ради бога! — несильным своим голосом и предупредительно воскликнул Соловьев.— Вы опять об анкете. Я хочу говорить о жизни, а вы об анкете! — Он даже оттопырил нижнюю губу.— Я вас не утомил? Мне кажется, вы чересчур скромничаете, Константин Владимирович. Мне почему-то кажется, что у вас больше наград,— какое-то интуитивное, понимаете ли, чувство. Ведь почти каждый офицер-разведчик награждается или холодным оружием, или же... огнестрельным. Я тоже немного воевал, не так, как вы, конечно, но знаком... Приходилось... встречаться и с офицерами разведки.

— Вы хотите спросить, награждался ли я оружием? Это вас интересует?

«Михеев!..» — мелькнуло у Константина, еще не успевшего обдумать ответ, еще не успевшего нащупать все

связи этого разговора, но чувствующего эти связи, и мгновенный страх незаметно и тихо надвигающейся опасности ожег его.

Этот приятно воспитанный Соловьев сидел перед ним дружелюбно, уронив на край стола сложенную лодочкой мраморно-чистую, без следов волоса кисть, лицо длинно, бело, интеллигентно, как у людей, имеющих дело с книгами.

Высокие залысины научного работника, доцента, над залысинами чуть курчавились барашком темные волосы — узкий мысок над благородным лбом. И, излучая уважение, доверчивую внимательность к собеседнику, поминутно встречали взгляд Константина его мягко-карие, почти девичьи глаза. В этом лице, в голосе Соловьева не было острой опасности, мрачной темноты, скрытой предупредительными манерами,— а он вдруг представил себя в ином положении и в ином положении Соловьева — и, представив это и глядя на белую слабую руку на краю стола, покручивающую стаканчик с карандашами, он подумал еще: «Да! Он разговаривал с Михеевым...»

— Почему вы задали этот вопрос: награждался ли я оружием? — спросил Константин с наигранным изумлением.— Не понимаю вас, товарищ инспектор. Как говорили на Древнем Востоке: «Слабосильны верблюды моих недоумений!»

— Почему я задал этот вопрос? — корректно повторил Соловьев и смиренно наклонил голову, точно не желая замечать взгляда Константина и обострять разговора.— По долгу службы. Я обязан иногда просматривать старые документы времен войны. Простите, это не проверка, не подумайте лишнего! Это обязанность. Мне случайно попались в архиве ваши документы тысяча девятьсот сорок четвертого года. Мне непонятна ваша скромность, Константин Владимирович. В старой анкете отмечено вашей рукой, что вы награждены оружием, пистолетом «вальтер» за номером... одну минуту...— Соловьев скользнул кистью за борт пиджака, достал из кармана исписанный листочек бумаги.— Пистолетом «вальтер» за номером одна тысяча семьсот шестьдесят три,— добавил он ровным голосом.— Пистолет, разумеется, получен вами за храбрость, за проявленную доблесть. Так зачем же так скромничать, Константин Владимирович? Нужно было внести эту заслуженную награду в анкету. И все было бы кончено. То есть все встало бы

на свои места. Вы могли его сдать или не сдать — это уже дело военкомата. Меня интересует чисто человеческая сторона. Зачем скрывать награду, заслуженную кровью?

— Я действительно был награжден пистолетом «вальтер»,— ответил Константин.— Но в сорок пятом году перед отъездом в тыл я сдал его в штабе дивизии в Будапеште. Следовательно, такой награды у меня нет.

Соловьев неслышно заложил ногу за ногу, охватил щиколотку двумя пальцами.

— У вас, конечно, есть документы о сдаче оружия?

— Какие могли быть документы в сорок пятом году, когда началось повальное движение славян на родину?

— Но... дается документ о сдаче наградного оружия. Именно наградного.

— В те времена подобные документы не выдавались. Все было проще.

Соловьев задумался на минуту; свет солнца из окна падал на его опущенные веки, на прозрачное от бледности лицо, четко просвечивал курчавый мысок над чистым высоким лбом, и этот жестко курчавый мысок почему-то бросился в глаза Константину, когда губы Соловьева выгнулись внезапно полумесяцем, блеснула улыбка, но уже насильственная, нетерпеливая — Константин заметил это по странному несоответствию черных волос и белых зубов.

«Михеев!.. Михеев!..» — опять подумал он с ледяным потягиванием в животе.

Соловьев вскинул глаза, спокойно, осторожно погрел ладонь на блещущем стекле, узенькая кисть была на вид бескостной, белела на столе, а он глядел в окно и продолжал улыбаться.

— Константин Владимирович,— заговорил он ласково,— наградное оружие — это ваша биография и это ваше дело. Ради бога, не подумайте, что это меня касается. Ради бога! Я готов забыть свои вопросы, простите великодушно. Но другое касается меня.— Рука Соловьева замерла на стекле.— Меня, как советского человека, и вас, разумеется, как советского человека и, если хотите, как бывшего разведчика, человека в высшей степени бдительного. Разведка — ведь это бдительность, я не ошибаюсь?

— Вы не ошибаетесь.

— Ну вот видите. И здесь, Константин Владимирович,

мне бы очень хотелось чувствовать ваше плечо. Я говорю с вами очень откровенно. Вы — уважаемый человек, вас, как я знаю, любят в коллективе. Вы по образованию — почти инженер, начитанны, разбираетесь в людях...

— Не много ли достоинств вы записываете на мой счет? — сказал Константин.— Я ничем не отличаюсь от других. Вы меня мало знаете.

— Я вам верю, Константин Владимирович. Я от всей души... очень вам верю! — проникновенно, с подчеркнутой доверительностью в голосе произнес Соловьев.— Нет, я не ошибаюсь. Я представляю людей вашего коллектива. Хорошие люди. Очень хорошие люди... Но... в последнее время поступают не совсем хорошие сигналы... Мы, советские люди, не должны смотреть сквозь пальцы на некую легкомысленность, аморальность. Как называют, темные пятна прошлого... Не так ли? Мы должны охранять чистоту советского человека, воспитывать... Вот, например, шофер Легостаев... Сенечка, вы его зовете...— Соловьев при слове «Сенечка», развеселившись, точно оттенил юмором имя «Сенечка», как бы пробуя его на вкус.— Веселый, хороший парень, верно ведь? А ведь что говорят: знакомит пассажиров с девицами легкого поведения, развозит их по каким-то темным квартирам... Правда разве это? Ну просто мальчишеская легкомысленность?.. Ну, что вы скажете об этом?

— Не знаю. Не замечал.

— Да, конечно, это не все знают,— согласился Соловьев очень охотно.— Да, да... С молодежью разговаривать по меньшей мере трудновато, тем более — воспитывать... Ох, молодежь, молодежь! Еще хочу посоветоваться с вами, проверить, что ли, Константин Владимирович. Сигналы тоже бывают ошибочны, неточны... Есть у вас... уже пожилой, уважаемый шофер, старый член партии Плещей Федор Иванович. Правда, что он груб, прямолинеен, резок, понимаете ли? Не так ориентирует коллектив... ну, в некоторых серьезных вопросах,— говорят, конечно, с преувеличением... Мне хотелось бы разобраться. Ну, как это так? Я слышал,— Соловьев беззвучно засмеялся, как смеются в обществе, давясь от услышанного мужского анекдота,— его даже... его ядовитого язычка... побаивается ваш директор... Гелашвили. Верно, а?

— Не знаю. Не замечал,— повторил Константин.

Его обматывала, туго и клейко опутывала паутина

слов, тихо и ровно стягивающих, как невидимая сеть: в них не было ни осуждения, ни требовательного допроса — в них был только намек, смешливое, снисходительное любопытство немного знакомого с людскими слабостями человека, который не хочет ничего осложнять, ничего преувеличивать. Но сквозь текучую паутину слов, сквозь эти туманно мерцающие полувопросы Константин напряженно угадывал нечто такое, что не касалось уже его (это он ожидал все время разговора), а было ощущение, что его расчетливо и вежливо прощупывают, прощупывают его связи и отношения к Легостаеву, к Плещею; и Константин вдруг, ужасаясь своей смелости, похожей на опасную игру, прямо глядя в мягкие и ясные глаза Соловьева, спросил:

— А можно без езды по проселочным дорогам? Скажите, для чего этот разговор?

— Ну что ж, давайте,— живо и весело согласился Соловьев, а Константин, не ожидавший этого охотного согласия, с зябким холодком и напряжением во всем теле увидел, как зашевелились близкие губы Соловьева, потом услышал конец фразы: — ...понял, что вы достаточно умный человек! И я очень хотел, чтобы вы, именно вы, бывший разведчик, помогали нам...

— Кому — «нам»?

— Мне,— уточнил Соловьев, поправляясь.— Мне. Человеку, обязанному воспитывать людей, Константин Владимирович.

— То есть,— перебил Константин.— Тогда... что же я должен делать?.. Я не понял.

— Вы понимаете, Константин Владимирович,— произнес Соловьев и не спеша носовым платком чистоплотно провел по бровям, по ямочке на подбородке.

— Вы ошибаетесь,— вполголоса сказал Константин.— Должен вам сказать... Я работаю с отличными ребятами и ничего такого не замечал, не видел!

— Константин Владимирович! — с укоризненной мягкостью проговорил Соловьев и сделал расстроенное лицо.— Ай-ай-ай, я с вами разве ссорюсь? Разве был повод?

— Простите.— Константин поднялся.— Мне можно идти? У меня в пять — смена.

— Одну минуточку.— Соловьев тоже встал.— Потерпите одну секундочку.

Он тронул Константина за пуговицу, словно бы в раз-

думье покрутил, нажал на нее, как на звонок; мягкой доброжелательности не было на его лице, сказал твердо:

— Да, хорошие ребята. Не сомневаюсь. Но как вы относитесь к тому, что у одного из ваших шоферов есть огнестрельное оружие, которое он пускает в ход с целью угрозы? Как вы назовете это, Константин Владимирович? Потом разрешите еще вопрос. После войны вы работали шофером у некоего Быкова Петра Ивановича?

— Да, работал, а что?

— Вы не ответили на первый вопрос.

Безмолвно Соловьев склонил набок голову, точечки зрачков обострились, застыли, прилипнув к зрачкам Константина, этим молчанием и взглядом испытывая его.

— Вы, к сожалению, ошибаетесь, товарищ Соловьев! — глухо проговорил Константин, беря с сейфа шапку.— Вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Вы сами говорили: сигналы бывают ошибочны. Так разрешите мне идти?

Не отводя зрачков от лица Константина, Соловьев проговорил отчужденно:

— К сожалению, я уже ничем не смогу вам помочь. Если кое-что подтвердится! До свидания, Константин Владимирович. На этой бумажке мой телефон. Возьмите. Может быть, пригодится. Желаю вам счастливой смены. Надеюсь, этот разговор был между нами...

«Вот оно что!» — подумал он.

В парке не было ни Плещея, ни Акимова, ни Сенечки Легостаева — выехали на линию.

Знакомый звук моторов, не прекращаясь, толкался в стекло, в цементный пол, в стены; эхом хлопали дверцы; усталой развалочкой шли шоферы от прибывавших из рейсов машин, толпились возле окошечка кассы, считали деньги, бережливо вытаскивая их из всех карманов, держали путевые листы; нехотя переругивались с дежурным механиком, щупающим царапины на крыльях, ударяющим носком ботинка по скатам. Были обычные будни, к которым Константин привык, которые были такими же естественными, как сигареты в кармане.

Но Константин, выйдя из коридора отдела кадров, сразу почувствовал какое-то резкое смещение, какую-то угловатую и тусклую неверность предметов, испытывая странное отъединение от всего этого, точно и звуки, и

голоса, и машины, и лица шоферов, и солнце в окнах — все было временным, непрочным, не закрепленным в своей привычной реальности.

«Михеев! — подумал он, ища глазами.— Да, Михеев!»

И Константин даже обрадовался: «Победа» Михеева ожидала на выезде, и он стоял тут же, была видна спина его, широкий и сильный наклоненный затылок. Чистой тряпочкой он аккуратно протирал капот, закраины крыльев, но локти его двигались сонно, и спина, обтянутая полушубком, чудилось, тоже спала.

«Вот он, не уехал! Вот он...»

— Люблю я тебя, Илюша, и сам не знаю за что! — проговорил Константин и сзади уронил руку на плечо Михееву.

Тот, вскрикнув, испуганно обернулся, длинные волосы щеткой легли на воротник, зеленоватые глаза округлились.

— Ты... зачем меня?.. Ты за что?

И Константину показалось — тот ждал его.

— Ничего страшного. А все же мне кажется, что ты сволочь, Илюшенька! — сказал Константин, не отпуская напрягшееся плечо Михеева.— Очень похоже! Я не ошибся?

Михеев вырвал плечо, ощетинившимся медведем отпрянул в сторону.

— Ты чего пристал? Сильный, что ль? — придушенно выкрикнул он.— Драться будешь? — И суетливым рывком раскрыл дверцу, схватил гаечный ключ на сиденье.— Не подходи! Я тебе — смотри! Оглоушу! Пристал!..

— Предупреждаю, заткнись!

Константин шагнул к нему, взялся за отвороты полушубка Михеева, с силой придавил спиной к дверце, так что тяжко рванувшаяся рука его, в которой был ключ, зацарапала по металлу,— и пошел к своей машине с невылитой, тошнотворной в эту минуту ненавистью к Михееву, к себе, к своему бессилию.

— Константин Владимирович!

Навстречу от курилки пробирался среди машин Вася Голубь, его сменщик, совсем мальчик, с мускулистой фигурой гимнаста; приблизился, сияя весь. Он грыз вафлю и начатую пачку протянул Константину:

— Подкрепитесь! Лимонная. Ждал вас, ждал! Запоздали. Я вам даже записку написал, в машине оставил.

С драндулетом все в порядке, немного тормоз барахлит — подтянули. Возьмите вафлю, какие-то лимонные стали выпускать! Как у вас перед сменой?

— Прекрасное настроение,— сказал Константин.— Дай-ка попробую вафлю. Все хорошо, Вася.

Выехав из парка, он откусил кусок от вафли, вкус ее был приторно-вязок, душист, как тройной одеколон. Он выбросил вафлю в окно, закурил терпкую и горькую сигарету.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Нас, пожалуйста, на Тверской бульвар.

Он не взглянул на пассажиров, машинально переключил скорость. Потом донесся молодой басок, разговор и смех за спиной, но Константин не слушал, не разбирал слов — как он ни пытался после выезда из парка вернуть прежнее спокойствие, это уже не удавалось ему. Было ощущение рассчитанной или не случайно поставленной ловушки; он понял, что полчаса назад ему терпеливо, вежливо и настойчиво предлагали выход, однако — почему, зачем и для чего это делали, если знали, что у него было оружие? Тогда с какой целью испытывали его?

«Так ли все это?»

— Ты не смейся! Ну, какое же это зло, Люба? — послышался громкий голос с заднего сиденья.— Это же скорее добро! Поверь. Она поймет, что я не отнимаю тебя у нее...

«Зло?..— думал Константин, глядя на асфальт, мчавшийся под колеса островками блещущего под солнцем льда.— А что же — добро? «Добро»,— с неприязнью вспомнил он сморщенное, плачущее лицо человека, ночью топтавшего свою шляпу возле парикмахерской.— Именно... понятие из Библии. Белого, непорочного цвета. Ангельской прозрачности голубиного взгляда, божественно воздетого к небу. И венец над головой, черт его возьми! Прав был тот, топтавший шляпу? Да, именно! А добренькое добро наивно, доверчиво, как ребенок, чистенько, боится запачкать руки. Оно хочет, чтобы его любили. Оно очень хочет любви к себе. И я хотел любви к себе, улыбался всем, ни с кем не ссорился, дайте только пожить! Быков... настрочил донос. Очная ставка! И — поверили!.. Но почему он спросил о Быкове?.. Изучал анкету?

Наводил справки? Как это понять: «После войны вы работали с Быковым»?

«Так что же? И с тобой так? Верить в чистенькое добро? И что же? Что же?»

Он очнулся оттого, что невольно глянул на пассажиров в зеркальце — в нем как бы издали дрожал пристальный взгляд девушки и гудел из-за спины убеждающий басок, особенно четко расслышанный Константином:

— Пойми, Люба, мама не будет возражать. Мы скажем ей все. У матери своя комната. Люба, ты должна жить у меня.

— Но я не могу, не могу! Я не хочу ссориться с твоей матерью. Мне кажется, она ревнует тебя ко мне.

— Люба...

В зеркальце возникла юношеская рука, поползла на воротник к подбородку девушки, и рыжая кроличья шапка парня надвинулась на зеркальце, загородила ее лицо, ее рот.

Константин сказал:

— Тверской бульвар.

Когда они сошли, он посмотрел им вслед. Они стояли на тротуаре, парень что-то быстро говорил ей, она молчала.

«А Ася... Ася! Как же Ася?»

Трое сели на Пушкинской площади — один грузный, головой ушедший в каракулевый воротник, щеки мясистые, лиловые от морозца, на коленях портфель с застежками на ремнях.

Отпыхиваясь, тучным своим телом создав на переднем сиденье тесноту, жирным баритоном сказал:

— Прошу нажать, уважаемый водитель!

— Нажму, если выйдет.

Грузный человек рассеянно покопался в портфеле, подал какую-то бумагу двоим на заднем сиденье, потом, мучаясь одышкой, начальственно заговорил:

— Ну и что же, что же, товарищ Ованесов? Вы считаете, что я волшебная палочка, что я вам из-под земли грейферные краны достану? Министр, только министр... Резолюция Василия Павловича — и пожалуйста! Выше Василия Павловича не прыгнешь — портки лопнут! Тр-ресь по швам — и по шее еще дадут!.. Ха, строители-мечтатели! Дети вы, дети! Расчеши вас муха!..

Молодой голос сказал сзади:

— Шахта будет пущена в эксплуатацию в этом году. Вы прекрасно знаете, что шахта союзного значения, с новейшим оборудованием. Шахта без грейферных кранов — чемодан без ручки, Михал Михалыч! Как вы предлагаете — лес вручную разгружать? Рабочим носить бревна под мышками? Ошибаетесь, мы не дети! Мы и зубки можем показать, Михал Михалыч! Мы будем драться, Михал Михалыч.

В зеркальце — молодые вызывающие глаза с упрямством устремлены на грузного человека; тот захохотал, колыхнул животом портфель на коленях.

— Давай жми, Сизов, грабь, выколачивай, пиши письма! У меня пятнадцать новых шахт на шее, вот где! — Он похлопал себя сзади по каракулевой шапке.— Сроки! План! Проектная мощность! И все требуют, на горло наступают, дерут! Вы что ж думаете — я один решаю? Вам там, в Туле, хорошо, а мне, мне как?

Третий произнес:

— Вам лучше, как видно, Михал Михалыч.

— Что, что? — осерженно пробормотал грузный.— Как это — лучше? Строители-мечтатели!.. Что? Как? Хотите в план анархию ввести?

— Вы, кажется, из Тульского бассейна? — неожиданно для себя спросил Константин.— Как я понял.

— А? — Грузный повел глазами в его сторону.— Что такое? Давай знай, такси, в угольное министерство! Нечего тут прислушиваться, понимаешь!

Не меняя выражения лица, Константин спросил:

— Вы не двоюродный ли брат коммерческого директора Петра Ивановича Быкова? Вы хозяйственник, не правда ли?

— Малохольный... Нас везет малохольный шофер! Вы трезвы, товарищ? — Грузный пыхнул хохотом, придерживая на коленях портфель.— Какой еще Быков, драгоценный мой?

Константин сказал:

— Мне показалось. Извините, если ошибся. Площадь Ногина. Прошу вас. Министерство угольной промышленности. По счетчику. И ни копейки больше.

Он остановил машину у подъезда, насмешливо взглянул на грузного, завозившегося с полой драпового пальто — тот доставал деньги.

Они вышли. Грузный, заплатив точно по счетчику, за-

шагал по хрустевшему стеклу застывших луж — к подъезду, у широкой двери сердито-удивленно оглянулся, двое тоже оглянулись: Константин с бесстрастным выражением смотрел на серое здание министерства.

На бульварах он обогнал «Победу» Сенечки Легостаева и притормозил машину, опустив стекло,— студеный воздух, металлически пахнущий ледком, мерзлой корой зимних бульваров, охолодил лицо. И тотчас Сенечка, заметив притершуюся рядом машину, нагловато ухмыляясь, крикнул в окно Константину:

— Как делишки? Живем?

— Пожалуй.

— Вечером, Костька, время найдешь? Хочу познакомить тебя! Прелестные девушки! — Легостаев сдвинул со лба шапку, моргнул на заднее сиденье.— Как, а? Первый класс!.. Глянь! Убиться можно!

— Знаешь что...

— Так как? А?

К стеклу из глубины сиденья наклонились, прислонясь щеками, два женских напудренных личика — одинаковые пуховые шапочки, кругло подведенные брови, чересчур алые губы выделялись вместе с расширенными вопросительными глазами. Одна из них, оценивающе сощурясь, равнодушно поманила пальчиком в черной кожаной перчатке, Константин усмехнулся, отрицательно покачал головой. И тогда другая, постарше, вздернув черные выщипанные брови, грубовато просунула кисть к щеке молоденькой, ревниво отклонила ее от стекла и, засмеявшись Константину мужским смехом, поцеловала ее в губы.

— Как? Шик! Парижские девочки! — подмигнул Легостаев восхищенно.— И такие по земле ходят! Дурак ты женатый, Костька!

— Я бы тебе посоветовал бросать все это к чертовой матери! — сказал Константин.— Ты это понял?

— Чихать я хотел! К чему придерешься? — крикнул Легостаев.— Пусть план с меня требуют! Чего бояться-то? Я человек честный!

— А я бы тебе посоветовал бросать это к черту,— повторил Константин.— Ты понял, Сенька?

— Живи, Костька!

«Победа» Легостаева свернула в переулок, и Констан-

тин, нахмурясь, поднял стекло — машину продуло жестким холодом, выстудило тепло печки; он подумал почти с завистью: «Сенечка живет как хочет. Что ж, когда-то и я жил так, не задумываясь ни над чем. Но тогда не было Аси, тогда ничего не было. Было только ожидание. Что же это со мной? Страх за себя? За Асю? Страх? Может быть, опыт рождает страх? Привычка к опасности — вранье! Только в первом бою все пули летят мимо. Потом — рядом гибель других, и круг суживается...»

Он вывел машину на Манежную площадь и посмотрел на ресторан «Москва», испытывая щекочущий холодок в груди, затормозил в ряду машин у светофора возле метро, напротив входа в ресторан. Там, за колоннами, откуда от высоких дверей тогда ночью сбегали трое (он тогда увидел троих, как он помнил), сейчас никого не было. Только ниже ступеней толпа спешила к метро, переходила на улицу Горького, выстраивались очереди на троллейбусных остановках — обычная зимняя будничная толпа. И, глядя на толпу, он почему-то успокоился немного.

«Но Михеев... Соловьев...— подумал опять Константин с прежним тошнотным ощущением.— Почему он спросил о Быкове? Почему он напомнил о Быкове?»

Красный свет в светофоре скакнул вниз, перешел в желтый, перескочил в зеленый.

Ряд машин тронулся.

Руки его, от волнения ставшие влажными, вжались в баранку, привычно гладкую, округлую поверхность ее; и в это время кто-то запоздало выскочил из троллейбусной очереди, свистнул («Эй, эй, такси!»), но он проехал через перекресток на улицу Горького с облегчением, что не посадил никого.

На площади Пушкина свернул к стоянке такси — в очереди он был пятый,— вышел из машины купить сигареты. Он сунул деньги в окошечко табачного ларька, и, когда брал сигареты со сдачей, сбоку пьяно навалился, ерзая плечом, молодой парень в кепочке, осипло говоря: «Мне, трудящему человеку, «Беломор». И Константин, теряя мелочь, не увидел, не успел разобрать черты его лица, выругаться.

В десяти шагах от ларька, на углу, около телефонной будочки вполоборота стоял невысокого роста, с покатыми плечами борца мужчина в спортивном полупальто, читал,

развернув газету, невнимательно пробегал строчки и одновременно из-за газеты взглядывал на площадь, на близкую стоянку такси,— и Константин почувствовал оглушающие горячие прыжки крови в висках.

Не попадая пачкой сигарет в карман, Константин пошел по тротуару, внезапно свинцовая тяжесть появилась в затылке, в спине, в ногах. Эта тяжесть тянула его книзу, назад, непреодолимо требовала обернуться туда, на угол, но он не обернулся. Он с правой стороны влез в машину, включил мотор и лишь тогда, преодолевая эту тяжесть в спине, в затылке, оглянулся назад. Человека в спортивном полупальто на углу не было.

«Все!..— подумал Константин.— Я не мог ошибиться!.. Что же это, что же? За мной следят? Может быть, я не замечал раньше? Не обращал внимания? Или это мания преследования?»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Квартира тридцать семь — на третьем этаже?

— Кажется.

На площадке третьего этажа, пахнущей едкой кислотой, Константин отдышался, посмотрел в огромное окно, ощущая коленями накаленную паровую батарею. Машина поблескивала внизу близ тротуара, на другой стороне этой тихой и узенькой окраинной улицы; желтели окна в деревянных дома.

И мимо них, мимо фонарей и машины косо летел легкий снежок.

Константин подождал на площадке, успокаиваясь перед темными дверями незнакомых квартир с черными пуговками звонков, почтовыми ящиками; запыленная, в разбитом плафоне лампочка тлела под потолком, на стены сочился свет, как в мутной воде.

— Тридцать семь...

Он вполголоса откашлялся, подошел к двери с номером «37» — массивной, дубовой, какие бывают только в старых домах, и тут же сильным нажимом позвонил два раза.

Звонок заглушенно прозвучал за этой толстой дверью; показалось, смолк где-то в далеком пространстве, и Константин позвонил еще раз — долгим, непрерывным звонком.

Он ждал, притискивая пальцем кнопку; этот раздра-

жающе-серый огонь лампочки на площадке слабо освещал массивную дверь, и железный почтовый ящик, и потускневшую на нем наклейку какой-то газеты.

— Кто там?

— Простите, Быков здесь живет?

— А в чем дело? Кто?

— Откройте, пожалуйста.

Загремели ключом, щеколдой, защелкали французским замком, потом дверь приоткрылась, возникла в проеме, задвигалась полосатая пижама, половина освещенного лица, ежик волос. И Константин, мигом оттолкнувшись от косяка, шагнул в переднюю и сейчас же, не поворачиваясь, захлопнул дверь за собой, услышав позади звонкий стук замка.

— Здравствуйте, Петр Иванович! — проговорил он.— Сколько лет, сколько зим! Не разбудил вас? Не узнали?

— Кто? Кто?

Быков, заметно постаревший, дрогнул опавшим, даже худым, лицом с темными одутловатостями под глазами, отшатнулся к шкафу в передней, не узнавая, стал подымать и опускать руки, выговорил наконец:

— Костя?.. Константин?..

— Угадали? Что ж мы торчим в прихожей, Петр Иванович? — сказал Константин наигранно-радостно.— Проводите в апартаменты, не вижу гостеприимства! А где же Серафима Игнатьевна?

Быков, изумленно собрав бескровные губы трубочкой, попятился, отступил в комнату, из которой розовым огнем светил висевший над столом абажур, и не сумел выговорить ни слова, только хрипло дышал.

— Благодарю,— сказал Константин.

В комнате, громоздко заставленной мебелью, кабинетными кожаными креслами, старинным зеркальным буфетом, отливающим на полочках стеклом посуды, ваз, рюмок, Константин расстегнул куртку, упал в кожаное кресло, бросил на комод шапку и глянул на Быкова.

— Ну вот! — произнес он.— Теперь я вижу, как вы устроились. Кажется, неплохо. Адресный стол дал точный адрес. Прекрасный тройной товарообмен. Соседи не мешают?

— Рад я, Костя, рад... Пепельница... на буфете, Костя,— проговорил Быков и снова поднял и опустил руки.— Ах, Костя, Костя...

— Что же вы стоите, Петр Иванович?

В углу комнаты над диваном малиновым куполом светился торшер; на тумбочке стакан с водой, какой-то порошочек; вдавленная подушка лежала на диване, и Быков сел возле нее, подобрав ноги в тапочках, пижамные брюки натянулись на коленях; все его неузнаваемо осунувшееся лицо пыталось выразить нечто похожее на улыбку.

— Костя... Костя... Да, Костя, вот живу здесь... Коротаем преклонные годы... Далеко от центра, от метро. Сообщение автобусом. И... и магазинов мало,— заговорил Быков слабым, растроганным голосом.— Магазинов мало... Неудобно я обменял, Константин, неудобно... Скучаю по старой квартире. А Серафима Игнатьевна гостит в Ленинграде, у дочки... Верочка замуж вышла... А я вот третий месяц как из больницы, операцию перенес, Костя. Вот как получилось.

Константин намеренно не смотрел на Быкова, смотрел на коробок, по которому чиркал спичкой с нарочитой неторопливостью; сказал:

— А я, признаться...— Константин проследил, как дым сигареты шел к абажуру, струей толкаясь в него.— Признаться, я не думал застать вас дома, Петр Иванович.

— То есть как? Почему же, Костя? — спросил и поперхнулся Быков.— Кончаю ведь в семь часов. В театры, концерты не хожу. Стар. И болен я... Да и никогда не ходил. У меня семья... сам знаешь. Эх, Костя-Константин, вспоминал тебя, все время помнил я. Как же я рад, что заглянул ко мне, обрадовал старика. Вот спасибо. Лады. А то бирюками живем... знакомых никаких нет. Спасибо. А я слышу, звонок, думаю: «Ну кто бы это, ошибся кто?» Пить мне категорически нельзя, а может, ты рюмочку пропустишь? Ах, спасибо, что пришел! Жаль, Серафимы Игнатьевны нет, она тебя... вспоминала...

Константин заинтересованно прищурился на него.

— Признаться, я думал, Петр Иванович,— упорно договорил он,— что вы давно...— Он показал перекрещенные пальцы.— Оказывается, нет. Приятно удивлен. Просто не верится. Ну что ж, видимо, не все сразу.

— Шутишь, а? Неужто не изменился совсем? — Быков качнулся вперед, неспокойно заелозил по полу тапочками.— Ах, не изменился ты, Константин. Вроде вон седина на висках, а не изменился. Весело проживешь жизнь.

— Не верится. Неужели это вы, Петр Иванович Быков? — проговорил Константин.— Не верится.

Быков сидел перед ним, весь седой, отечный, моргая красноватыми припухлыми веками, и Константин видел его новое опавшее желтое лицо, его странно костистый покатый лоб, открытую волосатую грудь и спущенные на сливочно-белых ногах шерстяные носки, теплые тапочки — эти признаки домашности и семьи; видел ковры на стене, прочно громоздкую, не без претензии на роскошь мебель, как будто стиснувшую со всех сторон его,— и медленно повторил:

— Неужели это вы, Петр Иванович Быков? И я у вас когда-то работал?

— Что? — приоткрыл веки Быков и уперся растопыренными пальцами в диван.— Ты, Костя, вроде не в духе, никак? Ах, шут тебя возьми, всегда ты был парень с шуточкой. Давай-ка,— он устало поднялся, старчески зашаркал, зашмыгал тапочками к буфету,— пропусти малую за здоровье, да вспомним старое, мы ведь с тобой, Константин...

Константин покусал усики.

— Что ж, не пропустим, но — вспомним! Вот это ваш письменный стол, уважаемый Петр Иванович? Вот этот ваш? Что здесь — бумаги, деньги?

Быков уже держал графинчик, вынутый из буфета, повернул голову и замер; дверца буфета, скрипя, закрываясь, толкалась в его плечо, собрав складкой пижаму.

— Ты что, Константин? — спросил он и понял: — Никак, за деньгами приехал? Чудак, сразу бы и сказал. Найдем. Вчера как раз получку получил. Да много ли тебе надо? Бери. Ничего, сведем концы с концами! Бери.

С графинчиком он приблизился к широкому письменному столу, выдвинул ящик, отсчитал внутри его несколько ассигнаций.

— На, двести пятьдесят тут, потом отдашь, будет если... Ну садись, выпей маленькую. Где работаешь-то?

— В уголовном розыске,— сквозь зубы сказал Константин и подошел к столу, упрямо и зло глядя в глаза Быкова.— Меня интересуют не водка, не деньги, Петр Иванович! Меня интересуют доносы. Все копии ваших доносов! Вы меня поняли? И если вы сделаете шаг к двери...— выговорил он с угрожающим покоем в голо-

се.— Я не ручаюсь за себя! Руки чешутся, терпения нет! Ясно? Будете орать — придушу вот этой подушкой. Все поняли?

Быков, болезненно выкатив белки, не закончил наливать из графинчика, синие губы собрались трубочкой, пробомортал:

— Ты — как?.. Как?..

Он стукнул графинчиком о стол около недолитой рюмки; щеки его покрылись пепельной серизной, кожа натянулась на скулах.

— Эх ты, Константин, Константин!.. За кого ж принимаешь меня?.. О чем говоришь?

— Благодетель вы мой, запомните — я вас не идеализирую! — Константин все покусывал усики, твердо глядя сверху вниз в лицо Быкова.— Ну, я жду основное: копии доносов. Первый — на Николая Григорьевича Вохминцева. Второй — на меня. Хочу познакомиться с содержанием — и только. Вы меня поняли?

Стало тихо. Было слышно, как жужжал электрический счетчик на кухне.

Быков отрывисто и горько засмеялся.

— Эх ты, герой, ерой.— Он задергал головой; капельки влаги выступили на покрасневших веках.— Я к тебе как к человеку, Константин, а ты — эх! Герой, я у ероя еморрой! Налетчик! Ты знаешь, что за это тебе будет?.. Знаешь, что бывает по закону за насилие? За решетку посадят! Жизнь на карту ставишь?

— Да, Петр Иванович! Пока вы строчите доносики — ставлю. Пока.

— Значит, что ж — убить меня, Константин, хочешь?

— Может быть. Где копии доносов?

— Какие доносы? Обезумел? — вскричал Быков.— С Канатчиковой сбежал?

— Вот что, Петр Иванович,— сказал Константин.— Вы сейчас сделаете то, что я вам скажу, иначе... Когда у вас была очная ставка с Николаем Григорьевичем? В сорок девятом году? В этом же году вы настрочили доносик на меня после истории с бостоном? Ну? Так? Или иначе?

— Врешь!

— Садитесь к столу! — Константин резко пододвинул бумагу на середину стола.— А ну, берите ручку, пишите! Вы напишете то, что я вам скажу.

— Что-о?

— Вы напишете то, что я вам продиктую! И это будет правдой.

— Да ты что — с Канатчиковой сбежал? — опять испуганно выговорил Быков и отступил к дивану, широкие рукава пижамы болтались на запястье.— Чего я должен писать? С какой стати? Чего выдумал?..

— Вы это сделаете! — оборвал Константин.— Сейчас сделаете! Садитесь к столу!

Константин с силой подтолкнул Быкова к столу, чувствуя его мягкое, дряблое, незащищающееся тело, но то, что он делал в этой комнате, пахнущей сладковатым лаком старой мебели, и то, что говорил,— все вроде бы делал и говорил не он, не Константин, а кто-то другой, незнакомый, чужой. И вдруг на секунду показалось — все, что делал он, слышал и видел вблизи, происходило как будто бы и существовало в отдалении: и странно малиновый купол торшера, и стол, и деньги на столе, и звук своего голоса, и ватный, ныряющий голос Быкова, и действия собственных рук, ощутивших дряблое тело. Где-то в неощутимом мире жили, работали, целовались, ждали, плакали, любили, гасили и зажигали свет в комнатах люди, где-то медленно шел снег, горели фонари, по-вечернему освещались витрины магазинов, но ничего этого прочно и осмысленно не существовало сейчас, словно земля, предметы ее потеряли твердую реальность, необходимую сущность; и то, что он делал, не было жизнью, а было мутно-серым, отвратительным, водянистым, зажатым здесь, в этой комнате, как в целлофановом мешке.

— Костя!.. Что же ты делаешь?

«Действительно, что я делаю с ним? — подумал Константин.— Так не должно быть? Я делаю противоестественное?..»

Он посмотрел на Быкова.

Быков стоял перед столом в расстегнутой пижаме, пальцы корябали желтую грудь, покрытую седым волосом, зрачки застыли на лице Константина.

— Костенька, это что же, а? Зачем? По какому праву?

«У него не было страха, когда писал доносы? — подумал с отчаянием Константин.— Мучила его совесть?»

— А по какому праву...— произнес Константин, и тут ему не хватило воздуха,— по какому праву вы, черт вас возьми, писали доносы, клеветали — по какому? Если у

вас было право, оно есть и у меня! А ну садитесь и пишите: заявление в МГБ от Быкова Петра Ивановича. Что стоите? Поняли?

— Что ты говоришь? Костя! — крикнул Быков и заморгал одутловатыми веками.— Какое заявление?

— Все вспомните. И о доносе. И об очной ставке двадцать девятого января, где вы... вели себя как последняя б... Двадцать девятого января! Вот это и напишите, что оклеветали невинного человека, честного коммуниста! Напоминаю: двадцать девятого января была очная ставка!

Константин подтолкнул Быкова, подвел его к столу, и тот, выставив короткие руки, этим лишь слабо защищаясь, внезапно обессиленно повалился на стул и, сгорбясь, задергался, заплакал и засмеялся, выговаривая сдавленным шепотом:

— Что ж ты делаешь? Ты думаешь, вот... испугал меня? Да меня жизнь тысячу раз пугала... Эх, Константин, Константин.— Быков на миг замолчал, клоня дрожащую голову.— А если я тебе скажу, что много ошибался я. Если скажу... И на очной... вызвали, коридоры, тюрьма... не помню, что говорил! Ошибся!.. Только в одном не ошибся... Я ж знаю, что у меня за болезнь. Язву, говорят, вырезали! А я знаю...

— На меня тоже, старая шкура, перед смертью донос написал?

Быков запрокинул желтое, в пятнах лицо, жалко отыскал глазами Константина, а слезы скатывались по трясущимся щекам, и он по-детски торопливо слизывал их с губ, повторяя:

— Не писал, не писал! На тебя не писал! Как к сыну к тебе относился. Спрашивали, плохого не говорил... А ты знаешь, сколько мне жить-то осталось? Знаешь? С такой болезнью...

— Хватит! — морщась, перебил Константин.— Хватит проливать слезы, Петр Иванович! Ей-богу, не жалко мне вас!

— Костя, Костя... Помру, небось, вот рад будешь? А не хотел бы я...— вставая и покачиваясь, прошептал Быков и рукавом начал обтирать мокрое лицо.— Защищался я... А совесть у меня тоже есть. Что ж ты будешь делать со мной? Если я сам...

— В монастырь... Если бы можно было — в мо-

настырь. К чертовой матери я отправил бы вас в монастырь, паскуда!

— Серафима Игнатьевна и дочь у меня...

Но когда Быков, обмякший, подавленный, тихонько постанывая, расслабленно опустился на диван, никак не мог раскупорить порошок на тумбочке, Константин не смотрел на него, сжав зубы от жгучего отвращения, от смешанного чувства жалости и вязкой нечистоты, и в это мгновение едва сдерживал себя, чтобы не выбежать из этой комнаты с одним желанием — глотнуть морозного воздуха, жадно ощутить освежающий снежный холодок.

Он не глядел на Быкова, испытывая ненависть к себе.

«Нет, нет, нет! — подумал он.— Жалость? К черту! К черту!»

Он круто выругался и хлестнул Быкова ладонью по мокрой клейкой щеке.

В машине он, как всегда, привычно очищал перчаткой стекло, смотрел мимо поскрипывающей стрелки «дворника» на полосы фар, но не видел ясно ни скольжения фар по мостовой, ни по-ночному пустых улиц, синеющих новым снежком, по-прежнему падавшим из темноты.

Константин гнал машину, чувствуя горячие рывки сердца при перемене сигналов на светофорах, далеко простреливающих миганием безлюдные пролеты улиц, инстинктивно скашивал взгляд на регулировщиков — и не было момента осмыслить то, что сделал...

После того как загорелся за площадью всеми освещенными залами Павелецкий и белая полоса окон привокзального ресторана с летящим на эти теплые окна снегом выдвинулась навстречу, унеслась назад и машина нырнула в сразу показавшийся туннелем переулок, Константин затормозил машину под стеной дома и долго сидел, прислонясь лбом к скрещенным на руле рукам.

В первой комнате света не было.

Зеленый огонь настольной лампы косым треугольником упал под ноги ему, на пол, из полуоткрытой спальни, куда он вошел, и там загремел отодвигаемый стул — Константин остановился.

В проеме двери, загородив огонь, проступала темная фигура Аси.

Она запахивала на талии халатик.

И испуганный, непонимающий голос ее:

— Костя?.. Ты уже вернулся?

Она шарила по стене выключатель; Константин успел увидеть ее напрягшиеся под халатиком голые ноги, и тотчас вспыхнул свет; после темноты он был неожиданно ярок, и Константин отчетливо увидел лицо Аси, бледное, залитое электричеством, яркой чернотой блестели глаза.

— Ты уже вернулся?

— Нет. Я заехал по дороге,— преодолевая хрипоту, сказал Константин.— Я хотел тебя увидеть.

Она со вздохом опустила плечи.

— Я не ожидала тебя. Ты вошел тихо-тихо, и я почему-то испугалась.

— У тебя было открыто,— сказал он.— Ася, вот что... Я сейчас был у Быкова.

— Что? Что?

— Я был у него,— ответил Константин.

Темные увеличенные глаза Аси перебегали по его лицу, по его кожаной куртке, а пальцы теребили поясок халатика, и брови, и глаза ее никак не соглашались с тем, что сказал он.

— Ты? Был? У Быкова? — отделяя слова, проговорила Ася и отошла от него в сторону, зажала уши.— Слушать не хочу! Ничего не говори мне!

— Ася! — сказал Константин.— Ася, милая, ничего не случилось, я хотел объяснить тебе...

И тронул ее локоть; Ася почти брезгливо отстранилась, сказала шепотом, с гадливым отвращением:

— Ты был? У Быкова? Зачем?

Он растерянно проговорил:

— Ася...

— Зачем ты это сделал?

— Прости, если я...

— Зачем? Что ты наделал, Костя?

«Как объяснить ей все? — подумал Константин.— Как?»

Ася, зажмурясь, откинула голову и молчала. Он виновато приблизился к ней, увидел ее длинную шею, слабую выемку ключиц — и ему страстно захотелось осторожно обнять ее, успокоить, сказать, что он сам до конца не знает, для чего он это сделал; и ему хотелось объяснить ей, что в последнее время он живет, точно ухватившись за надломленную ветку над трясиной, что ему не

дает покоя, его мучает какая-то неуловимая, скользкая, надвигающаяся опасность, что он живет с ощущением следящего взгляда в спину — и не может преодолеть это, и боится за нее, за себя. Ему хотелось почувствовать успокаивающую тяжесть ее ладони на своих волосах и покаянно прижаться лицом к теплоте ее колен. Он все время ощущал в себе нервное, злое напряжение, готовый ко всему — к драке, к непоправимой беде, к словам, которые разрушали и еще более усугубляли что-то.

— Ася,— ответил он, стараясь говорить спокойно, но не сделал, как хотел, не обнял ее, услышал свой фальшиво прозвучавший голос: — Честное слово... ничего не случилось.

— Ничего не случилось? Неужели ты не понимаешь? Ты не понимаешь? Он ни перед чем не остановится. Ты подумал о нас? О чем ты с ним говорил?

— Теперь он ничего не сделает. Он уже сделал...

— Что? Что он сделал?

Она взяла его за борта кожаной куртки, спрашивая:

— Что он сделал?

— Ася, родная, мы еще поживем, не надо ни о чем думать,— сказал он, по-прежнему пытаясь говорить спокойно.

— Ты сказал «еще»? Почему — еще?

— Я говорю о Николае Григорьевиче.

— Прошу тебя, скажи яснее, Костя.

Но в эту минуту у него не хватало сил посмотреть ей в лицо, и, медля, Константин легонько снял ее теплые влажные пальцы с бортов куртки, прижал их к подбородку, глухо договорил:

— Может быть, я не должен был, Ася... Но я не мог. Прости меня. Я... поеду.

И тут его поразил неестественно оживленный голос Аси:

— Если ты разрешишь, я сейчас оденусь и поеду с тобой! Хоть один раз в жизни хочу увидеть твою работу. Ты хочешь?..

Константин почти испуганно взглянул на нее — Ася решительно развязывала поясок халатика, торопилась, и по лицу ее он видел: она готова была одеться сейчас и ехать.

Он остановил ее поспешно:

— Асенька, этого нельзя! Ася, это не разрешается, меня просто снимут с работы. Этого нельзя!

Тогда она заложила руки в карманы халатика и так села на стул, сказала тихо:

— Ну иди, Костя.

— Не надо.— Константин наклонился к ней и, едва прикоснувшись, поцеловал в волосы.— Не надо ни о чем плохом думать. Ложись спать, Ася. Со мной будет все в порядке. Я уверяю тебя, со мной будет все в порядке.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

К концу смены он был рассеян с пассажирами, получал деньги не считая, невнимательно и забывчиво переспрашивал, куда везти. Ощущение давящей тоски, неясности, неотпускающего беспокойства, никогда раньше не испытываемого им, заставляло его перед утром бесцельно гонять машину по Москве.

Ему было все равно: выработает он сегодня деньги или нет, и лишь немного проходило напряжение, когда он бесцельно мчал машину по пустынным переулкам без светофоров, неизвестно для чего подгоняя себя: «Быстрей, быстрей!» Но как только подкатывал к стоянке и здесь на холостых оборотах почти замолкал мотор, пустыня ночных улиц с ровным пространством мостовой наваливалась на него. Тогда он слышал, как в машине четко стучали, отсчитывали время часы с настойчивым упорством заведенного механизма.

Смена кончалась в девять утра. Константин ждал конца смены. Он не знал точно, что должен будет делать этим утром.

«Только не ждать, не ждать,— убеждал он себя.— Я хочу ясности... Но какой ясности я жду от него, какой?»

И независимо от того, как пойдет разговор с Михеевым, его мучило это «а дальше что?», и оттого, что он не в силах был полностью представить, что будет дальше, его охватывал нервный озноб, холодок змейками полз по спине.

Мотор был не выключен, печка работала, становилось душно, жарко в машине, пахло нагретым металлом, а он почему-то никак не мог согреться, и было неприятно сухо во рту.

Потом он не выдержал ожидания конца смены, в восьмом часу утра повел машину к парку.

Константин остановился на набережной, в трех мину-

тах езды от гаража,— здесь он хотел перехватить Михеева по пути, и здесь было удобно ждать,— маршрут такси к парку из центра.

Утро начиналось чистое, розовое, со звонким морозцем, с зеркально молодым, хрустким ледком на мостовой. Лопаясь, он брызнул трещинками под каблуками, когда Константин вылез из машины, разминаясь после долгого сидения.

Холодного накала заря надвигалась из-за дальних улиц, краснел лед канавы, подымался парок над незамерзшим стоком бань возле далекого моста. Там, за мостом, над крышами вертикально дымили фабричные трубы; дым не таял, стекленел в небе, и были безмолвны ближние улицы в ранней стуже утра.

Воспаленными глазами Константин оглядывал набережную и небо, хлебнул несколько раз на полную грудь горьковато-холодный воздух — и от глотков этого крепкого студеного воздуха немного закружилась голова. Похрустев каблуками по ледку, он залез в машину, и теперь не было желания напряженно думать — вот так только сидеть, расслабив тело, ощущая эту пустоту, зябкость морозного утра, в котором, словно на краю света, занималась дымящаяся зимняя заря.

«Вот так хорошо»,— подумал он.

Вместе с напряжением уходила грубая острота реальности, исчезала, покачиваясь, как на мягких рессорах, усталость, вся прошедшая ночь, разговор с Асей... И тут же как вспышка в темноте: «Михеев!.. А что Михеев? Что я должен делать с Михеевым?»

— Машина? Зачем машина? Кто водитель? Эй!

«Не заметил знак!» — вяло раздражаясь, подумал Константин и в ожидании нудного разговора с дотошным орудовцем разомкнул веки, принял удивленное выражение простецкого парня.

— А что, товарищ, разве?.. А где знак? История повторяется...

— Что?

— Один раз — как комедия, другой раз — как штраф.

И он приготовился зевнуть перед обычной нотацией, но не зевнул — за стеклом увидел досиня бритое лицо, круто выдающийся вперед подбородок; лицо кричало:

— Что? Кто сказал? Что сказал?

— Я,— договорил Константин.— Доброе утро, товарищ Гелашвили!

Он узнал машину директора парка.

Машина стояла впритирку, от работы мотора покачивался штырек антенны, и стекла, внутренность машины были в багровом освещении. Раскрыв дверцу, вынося ногу в хромовом сапоге на мостовую, Гелашвили рассерженно спрашивал:

— Почему? Почему, я интересуюсь? Корабельников!.. Сидишь и спишь? Кто разрешил? На курорт приехал? План перекрыл?

Гелашвили был в новом, белеющем меховыми отворотами полушубке, щегольски сидевшем на его сильной атлетической фигуре, как отлично сшитый костюм; правая кисть толсто забинтована, покоилась на марлевой перевязи,— кажется, вчера поранился в мастерской. Левой рукой он решительно открыл заднюю дверцу Константиновой машины, спросил:

— Что — план перекрыл? Молчишь? Что молчишь?

Гелашвили соединил в прямую линию брови, подозрительно осмотрел пол и сиденья, проверил, нет ли следов цемента или извести; материалы эти для перевыполнения плана шоферы иногда прихватывали частникам на коммерческих складах, а этого Гелашвили не прощал.

— Говори — слушаю! — сказал Гелашвили, проверив и багажник.— Почему не работаешь? Когда смена кончается, в девять? Разучился на часы смотреть? Самый образованный шофер парка, отличный водитель, в пример ставили! Пассажир ждет, скучает, а ты на курорте сидишь? (Это была излюбленная его фраза.) Не дам! Разговор короткий! Надоело — уходи, плакать не буду! Лодырей не надо! Я таких шоферов в каждой подворотне найду! Ну, говори, объясняй — слушаю! Куда смотришь? На меня смотри!

— Может быть, я и уйду,— сказал Константин, глядя на фабричные дымы, плавающие среди утреннего неба.— Может быть,— и посмотрел в глаза Гелашвили, накаленные, неотступные.

— Воевал? — лающе спросил Гелашвили.

— Опять уточняется анкета?

— Ты машину, как винтовку, бросил! — крикнул Гелашвили и хищно сверкнул зубами.— Дезертир!

Константин хмуро сказал:

— Не будь вы директором парка... А впрочем, если вы повторите, я найду не менее крепкие выражения...

— Что повторить? Что? — крикнул Гелашвили.— Может быть... Подумаю!.. Начальства испугался? Струсил? Говори, а я от правды не умру, почему стоял? Ну как мужчина говори! Не кисейная барышня,— может, пойму! Ну что, пассажира ждал из этого дома? Объясни!

И Константин понял: он хотел, чтобы было именно так.

— Вы правы, жду,— ответил Константин.

— Завтра перед сменой зайдешь! Всякие дурацкие слухи ходят о тебе — надоело уже слушать!

Гелашвили сурово фыркнул и, сгибая атлетический торс, влез в свою машину.

«Победа» Гелашвили расстелила дымок на багровом ледке асфальта, покатила по набережной в сторону парка.

«Всякие слухи? — подумал Константин, сцепив зубы.— Что ж, кажется, Илюша торопится. Нет, нет, он не так глуп! Нет! Он, оказывается, тертый парень, с виду не скажешь!..»

На часах было пять минут девятого.

Он повел машину к парку.

— Никак, захворал, Костенька? Или ремонтировался на линии? Всегда сверх плана, а сегодня — кот наплакал. Если что — бюллетень бы взял.

— Умница,— сказал Константин.— Я всегда говорил, что без женщин мужчины пропали бы... Принимай деньги, Валенька, какие есть. Михеев вернулся с линии?

Кассир Валенька, курносенькая, вся светленькая, перебирая быстрыми пальчиками тощую пачку ассигнаций — ночную выручку Константина,— не задерживая пересчета, тряхнула кудряшками.

— Друг без дружки жить не можете! Он сдавал деньги — о тебе спросил. У него двоюродная сестра заболела. Торопился как бешеный. А ты, Костенька, у Акимова, у летчика, спроси. Он его за мойкой попросил посмотреть.

— Благодарю, Валенька.

И он не спеша двинулся к мойке, мимо машин, пахнущих после рейсов маслом, теплым бензином — привычным машинным потом. Завывание моторов уходило на этажи гаража, и в эти звуки знакомо вплетался прохладный плеск воды мойки, перед которой выстроились прибывшие из ночных смен такси. Когда смолкали моторы,

было слышно, как перекликались там голоса, звучные, как в бане.

— Привет, Геннадий, привет, Федор Иванович! — сказал Константин, еще издали завидев Акимова и Плещея около мойки.

Акимов, голубоглазый, с зачесанными назад белыми, точно седыми, волосами, в летной куртке на «молниях», рассеянно смотрел на мойщиков — два паренька в рабочих халатах, деловито суетясь, били струями из шланга в ветровые стекла. Федор Иванович Плещей посасывал мундштук, прокуренным басом покрикивал, торопил мойщиков: «Бегай, бегай, как молодой в субботу!» — и его крупное, покрытое оспинами лицо было добродушно, массивная фигура прочно стояла на раздвинутых ногах.

— Еще раз здоров, что ли! — прогудел Плещей и в знак приветствия шевельнул косматыми бровями.

Акимов же ослепительно заулыбался.

— Как дела, Костя?

— Тебе известно, Гена, где Илюша? — спросил Константин и подмигнул мойщикам.— Здорово!

— Попросил проследить за мойкой, уехал к сестре — заболела, кажется,— ответил Акимов.— Или день рождения у нее. Что-то в этом роде. Пусть едет.

— Ну а зачем тебе этот долдон? — Плещей кашлянул дымом, ударом о ладонь выбивая сигарету из мундштука.— Нашел балаболку-дружка, знатока масла и аптек. Орел — вороньи перья!

— Да что вы, Федор Иванович! Парень как парень,— обиженно сказал Акимов.— Я ведь его лучше вас знаю, вместе живем. У всех у нас есть слабости. И у меня. И у вас ведь есть, Федор Иванович...

— Видел Иисуса Христа? — сказал Плещей.— А, черт тебя съешь! Тебя, брат, за доброту и наивность и из авиации выперли! — И, заметив, как покраснел и отвернулся Акимов, дружески тиснул его в объятии.— Ладно, я, брат, как грузчик, рубанул, не на паркетных полах воспитывался. Ну по кружке пивка в честь получки? А? Посидим, помолотим языками за жизнь?

— Пожалуй,— согласился Константин.

— Не вышло, братцы, гляди на выход! Домашняя орава за мной, борщ стынет! Живите, братцы! Варька зорко меня оберегает от пива — толстею!

Он, довольный, крякнул, косолапо неуклюже загребая ногами, пошел от мойки между машинами. Навстре-

чу ему в окружении четырех мальчишек стройно шла женщина средних лет, в пуховом платке с цыгански смуглым, когда-то очень красивым, тонким лицом, узкие глаза обрадованно блестели Плещею.

— Варька, молодец! Держи монеты! Есть свидетели — не выпил ни кружки! — Плещей беззастенчиво, на весь гараж чмокнул жену в щеку, отдал ей деньги, затем сгреб одного мальчишку, усадил верхом на толстую, бычью шею, приказал смеясь: «Держись за уши»,— остальных подхватил на руки, зашагал, обвешанный семейством, к выходу в сопровождении жены, смущенно следившей за ним из-под платка. Говорили, она была цыганка, Плещей увез ее из табора, когда работал грузчиком на волжских пристанях.

— Завидую ему,— задумчиво проговорил Акимов.— За такую жену и таких пацанов жизни не жалко.

— Да,— подтвердил Константин.— А ты не женат, Геня?

— Не вышло. Так пошли, Костя? Мне на метро до Таганки. До вечера буду в Москве, а потом к себе, во Внуково. Кстати, что передать Михееву? Мы с ним вдвоем по дешевке снимаем комнату в поселке. Скажи — я передам.

— Ты говоришь, ничего парень Михеев? — спросил Константин.— Ты это серьезно считаешь, Геня?

— А что, Костя?

— Знаешь, Геня, а что, если я с тобой поеду во Внуково?.. Если можно, я поеду. Ты не против? Мне нужен Михеев. Подожду его. Принимаешь в гости?

— В авиации говорят: не задавай глупых вопросов.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Дачный поселок находился в лесу, в двадцати минутах ходьбы от станции, заметенные улочки были скупо освещены фонарями, огни в окнах горели редко.

Двухэтажный деревянный дом стоял на окраине, среди гудевшего массива елей; и когда миновали калитку и пошли по тропке, едва заметной меж сугробов, сбоку сыпался колюче-сухой снег, сбрасываемый ветром с крыши сарая, обдавало пресным холодком дачной глуши, запахом мерзлых дров.

— Сейчас,— донесся спереди голос Акимова.— Сейчас отогреемся!

Пока Акимов на крыльце возился с ключом, Константин, продрогнув, оглушенный зимним шумом деревьев, смотрел в потемки, на тени елей, махающих лапами перед стенами дома.

В непрерывном гудении леса угадывались другие звуки: ветер бросал, комкал над поселком отдаленный лай собак.

— Ну и в глухомань вы забрались,— сказал Константин.

— Чем дальше от Москвы, тем дешевле,— ответил голос Акимова.— Тем более что хозяева здесь зимой не живут. Заходи. Да осторожней. Береги голову. Тут бочки, тазы, какие-то кастрюли — зачем, сам дьявол не поймет. А, бог мой! Я уже сбил ухом корыто. Нагибайся!

Послушно нагнув голову, Константин последовал за Акимовым через промерзший тамбурчик, вонявший бочоночной плесенью, затхлой кислотой капусты, наугад перешагнул порог в сплошную тьму, почувствовал, как наступил на что-то мягкое, живое; угрожающе сиплое мяуканье раздалось под ногами, затем сверкнули две зеленые искры из темноты.

— А, черт! — выругался Константин.— А кошки, кошки зачем у вас?

— Оставили хозяева, ловить мышей.

— Ловит?

— Слишком нежно воспитана. Спит в книгах, а мыши погрызли все ножки столов. Нам наверх...

Акимов пошуршал по стене, щелкнул выключателем — вспыхнул в передней свет в пятнистом обгорелом абажурчике, стала видна дверь на первом этаже, забитая наискось доской, старые, облезлые обои, крутая, с перилами лестница на второй этаж.

На нижних ступенях, взъерошив шерсть, хищно шипела на Константина огромная худая кошка.

— Зверь,— заметил Константин, подымаясь следом за Акимовым по ветхой деревянной лестнице на второй этаж. Скрип ступеней, шаги отдавались в даче, в нежилой пустоте забитых комнат, обдуваемых ветром.

...Минут через пятнадцать сидели за столом, застеленным газетами, в маленькой комнате второго этажа, пили из граненых стаканов портвейн, закусывали яичницей, поджаренной Акимовым на электрической плитке.

В печке, разгораясь, постреливали, жарко закипали в

огне березовые поленья, тянуло деревенским дымком, было уже в комнате теплее, веселее, и Константин не без интереса глядел на запыленную этажерку, заваленную книгами, чужую старомодную и обветшалую мебель, на потертый ковер перед диваном, гипсовую голову Вольтера возле высокой лампы под абажуром юбочкой — и почему-то показалось, что неожиданно задержался в этом старом, пропахшем плесенью доме, случайно обретя уют, огонь, а на рассвете надо двигаться к Висле в сыром тумане утра.

— Ты здесь с Михеевым? — спросил Константин, подливая вина Акимову и себе.— А это чей китель?

— Дачу сдает профессорская вдова,— ответил Акимов.

— А это твой китель, Геня?

На вешалке висел новый габардиновый китель с летными петлицами, но без погон, с полосой орденов и нашивками ранений — китель, словно недавно сшитый, приготовленный для парада, ни разу не надетый.

— Глаза мозолит. Демонстрация получается, леший его дери! — Акимов снял китель с вешалки, кинул его на диван, вниз орденами, сказал: — О чем ты хочешь поговорить с Ильей? Если нет смысла отвечать — вопроса не было. Мы иногда, как оглоблей, лезем в чужую душу.

Константин после колебания спросил:

— Слушай, Геннадий, значит, ты считаешь Илью честным парнем? Только откровенно.

— А что ты называешь честностью?

— Знаешь что... пошел ты! Честность есть честность со времен... когда человек стал человеком.

— Понимаю. Подожди.

Акимов лег на раскладушку, сосредоточенно уставясь в потолок, на зыбкую тень абажура, свет лампы падал на лицо его, глаза были ясными; с минуту он будто прислушивался к гудению ветра над крышей, слитному реву деревьев, царапанью и писку в щелях чердака; и Константин невольно посмотрел на потолок — он был низок, крыша, чудилось, вибрировала, где-то хлопал оторвавшийся кусок железа.

— Ты что? — спросил Константин.— Выпьем-ка лучше, Геня.

— ТУ-4, показалось. Реактивный бомбардировщик. Прости, пожалуйста,— виновато сказал Акимов и приподнялся на раскладушке, взял стакан.— Непогодка. Канитель. Совсем не летная погодка.

— Ты не ответил,— напомнил Константин.— Я о Михееве. То, что я спрашиваю, до черта серьезно, Геня.

— С Ильей? — удивился Акимов.

— Нет. Это касается меня.

Акимов откинул белые волосы со лба, облокотился на стол, взгляд его стал внимательным — исчезло то задумчивое выражение, какое было, когда он лег на раскладушку.

— Я слушаю, Костя.

— Геня, я только хочу спросить у тебя одно. По-твоему, Михеев — честный парень? Вы живете вместе. И ты должен знать его лучше меня. Михеев — честный парень?

Константин уточнял то, что, казалось, было ясно ему, но он хотел услышать от Акимова хотя бы слабое подтверждение своей правоты или неправоты; ему важно было, что скажет сейчас Акимов: его серьезность, его спокойная размеренность и то, что он не до конца открывался, как это бывает у людей, знающих что-то свое, не предназначенное для других, вызывали доверие к нему.

— Я встречался с разной честностью, Костя — ответил Акимов.

— А именно?

— Положим, было так, что мой бывший командир полка честно предупредил меня...

— Предупредил? О чем?

— Да. Предупредил, что меня готовят выпереть из испытателей во имя «расчистки кадров». Честно предупредил, но сам на комиссии ни слова не сказал в мою защиту. А знал меня почти всю войну. Считал меня своим любимцем, вместе летали на «Петлякове». Сам вешал мне ордена и обнимал перед строем. Но на комиссии молчал. И меня отстранили от испытаний.

— Но почему?

— Плен. Так я это понял. Но комиссия об этом вслух не говорила. Были только вопросы. «Где был с такого-то периода по такой-то?»

— Ты был в плену?

— В сорок пятом сбили над Чехословакией. В немецком концлагере был три месяца. Словаки помогли. Партизаны. Бежал.

Акимов замолчал, откинув назад волосы.

Крыша загремела под ударами ветра; врываясь в уши, навалился снаружи упруго ревущий гул леса, задребез-

жали стекла. Ударила ставня. Электрический свет сник, мигнул и вновь набрал полный накал. Константин покосился на лампочку, налил Акимову из уже нагревшейся в тепле бутылки. Акимов неторопливо, но жадно отпил из стакана. Константин спросил:

— И что?

— Думаю, я понимаю командира полка.

— В чем?

— Мы испытывали секретные машины. Его этим и приперли. А у меня подозрительный пункт в анкете.

— Ясно,— сказал Константин.— Твой комполка чересчур застенчив...

— Не осуждай сплеча, Костя. Иногда складываются обстоятельства.

Константин перебил его:

— Когда-то я свято поклонялся обстоятельствам. Мы победили, война кончилась, мы вернулись, пусть каждый живет как хочет! Не совсем получилось, Геня. Я спокойнее бы относился к своей судьбе, если бы без памяти, скажу тебе откровенно, не любил одну женщину! Из-за нее я бросил институт, из-за нее — все... Ты знаешь, что такое счастье?

— Видимо, одержимость... Я, конечно, о деле говорю. Но что у тебя, Костя?

— Ничего, Генька.

— А все же?

— Я встретил своего комполка.

— Я тебе не задаю никаких вопросов. Я не имею права,— сказал Акимов, и пошарил в углу под газетой, где стояли бутылки из-под кефира, и вытянул оттуда начатую бутылку «Зубровки».— Что-то, Костя, не берет меня эта портвейная дребедень. Добавим? — И тотчас обернулся к двери, прислушался.— Кажется, звонок?

— Он? — спросил Константин.

Оба прислушались. Звонка не было. Незатихающие шорохи проникали снизу, из-под пола, из забитых летних комнат, а здесь, наверху, ветер, задувая, свистел в щелях рам, и кто-то скребся, терся о дверь с лестницы.

Снова сник, мигнул свет.

— Кошка, наверно,— сказал Акимов и подошел к двери, открыл ее: пустотой зачернела площадка лестницы.— А, ты тут скреблась? Что, надоело в одиночестве?

В комнату вошла кошка, взъерошенная, озябшая; на мягких лапах проследовала к печке, к багровому жару

в поддувале, села за поленцами березовых дров, притихла там, как в засаде.

— У нас свет иногда дурит,— сказал Акимов.— Ветер провода замыкаёт, леший бы драл. Ну, добавим? — Он чокнулся с Константином и выпил полный стакан, не закусил.— Вот что, Костя,— сказал он, подхватывая подушку.— Куда сейчас поедешь? Жди Илью. На ночь он всегда возвращается. Я не буду мешать. Пойду спать, здесь есть комнатенка рядом. Можешь лечь на диван.

— Я тебя не стесню?

— Дьявольски воспитан ты.

— Спасибо, Генька. Спокойной ночи. Я посижу покурю.

Он проснулся от какого-то беспокоящего звука, давившего на голову, от внезапно толкнувшейся в сознании четкой и острой, как лезвие, мысли: случилось что-то! — и в первую секунду не сообразил, где он находится.

В темноте гулко гремело железо на крыше, звенели стекла в мутно проступающей раме окна, несло холодом,— и он понял, где он и зачем приехал. Лежал на диване одетый, не помнил, как уснул здесь, и весь закоченел от дующего стужей окна, одеревенело плечо от неудобного лежания. Печь, видимо, давно погасла, одинокий уголек неподвижно тлел, краснея в поддувале.

Ветер обрушивался, бил по крыше, на чердаке тоненько попискивало, и как будто глухо, с перерывами кашлял кто-то под полом,— и вдруг продолжительный звонок рванулся снизу, замер в глубинах дома и вновь настойчиво прорезался на первом этаже бьющимся непрерывным звоном.

«Звонят?»

Константин нащупал на столе спички, зажег, осветил часы, одновременно прислушиваясь, было два часа ночи. «Кто это? Звонят? Михеев?»

При свете огонька зашевелились в комнате предметы: стул, бутылки, тарелки на столе. Забелела газета на полу; неверный свет странно оголял комнату, делая ее заброшенной, мертвой...

Спичка обожгла пальцы, погасла, задушенная темнотой, а Константин все сидел на диване, напрягая слух, стиснув в кулаке спичечный коробок. Ему послышались людские голоса, возникшие шаги под окнами, и снова продолжительный звонок забился в его ушах.

«Кто это?»

Он знал, что ему нужно встать, включить свет, открыть дверь комнаты, спуститься по лестнице, пройти мимо забитых комнат первого этажа к тамбуру. Но он не мог сдвинуться с места, встать — что-то инстинктивно остановило его, подсказывало, что это не Михеев, это не мог быть Михеев, что там внизу, за дверями, было иное, и страх морозным холодом пополз по затылку, туго стянул кожу на щеках, отдавались удары крови в голове.

Звонок на нижнем этаже оборвался.

Весь дом был наполнен визгом ветра, шорохами, по двери скребли, как наждаком. И хлипко, ветхо скрипела лестница, приближались снизу осторожные твердые шаги, качали ее...

Он подумал: «Это Акимов»,— и, сжимая в кулаке коробок, смотрел в темноту, ожидая — распахнется дверь, войдет Акимов, зажжет свет. Но дверь на лестницу сливалась со стеной, никто не входил. Только скрипели шаги по ступеням.

— Акимов! Геннадий! — хриплым шепотом позвал Константин.

Никто не ответил.

И тут же в коротком затишье, между порывами ветра, услышал равномерные звуки за стеной, приглушенный храп — Акимов спал в соседней комнате. «Не может быть! Что же это?»

Он, застыв, смотрел в сторону двери, выходившей на лестницу вниз,— в лицо дуло пахнущим морозцем сквозняком, дверь, чудилось, приоткрылась — кто-то в потемках бесшумно входил в комнату с площадки, шурша одеждой.

— Кто?..— крикнул Константин, уже готовый на все, и стал рвать из коробка спички, ломая их, будто не своими пальцами.

Одна зажглась, слабое пламя выхватило на секунду сузившуюся комнату, стол, бутылки на нем, диван... Дверь на лестницу была открыта. Она была широко распахнута в провал лестницы.

Сквозняк шевелил газету на полу.

«Что это со мной?» — подумал он, трудно дыша. И лег на спину, оттягивая воротник свитера, давивший шею,— жаркий и липкий пот окатил его.

— Идиот!..— выдавил из себя Константин и застонал.— Мне показалось...

Он закрыл глаза и в ту же минуту порывисто оперся на локти, напрягая мускулы.

Дом гудел под напорами ветра, и в нижнем этаже — это послышалось ясно — сначала внятно булькнул звонок, затем задребезжал исступленно, непрерывно, нарастая; звонок раздавался на весь дом.

И Константин, оттягивая и отпуская намокший от пота воротник свитера, теперь точно сознавал, что он не ошибался.

«Акимова... Разбудить Акимова!..»

Оглядываясь на окно, он встал, ноги сделали движение по комнате, неся облегченное, словно высушенное, тело. Натолкнувшись на зазвеневшие бутылки в углу, ничего не видя, он хотел постучать в стену, за которой спал Акимов, но охолонутый ледяным ознобом и задохнувшись от какой-то отчаянной решимости, Константин на ощупь по стене выбрался на лестничную площадку и, тут подождав немного, охрипшим голосом крикнул в темноту первого этажа:

— Кто там?..

И с трудом зажег спичку.

Пламя спички колебалось. Лестница ходила под его ногами — под рукой раскачивались ветхие перила, он делал намеренно сильные шаги, спускаясь все ниже.

Он остановился, оглушенный звонком, пронзительно трещавшим над головой.

— Кто там?..— матерясь, крикнул Константин.— Кто?..

Ответа не было. Звонок смолк.

Он стоял вслушиваясь. Спичка погасла.

Тогда, приблизясь на несколько шагов к внутренней двери, он с размаху толкнул ее плечом и, натыкаясь на бочки в тамбуре, еле нашел, отодвинул железный засов и изо всей силы швырнул ногой входную дверь. Она распахнулась — ветер рванул ее к стене тамбура.

Константин мгновенно замер.

— Кто там! Входи!..— крикнул Константин.

За дверью никого не было. Смутно отливали снегом ступени в темноте.

Он усилием заставил себя сделать еще шаг через порог и здесь, на крыльце, в несущихся токах ветра, мерзлого запаха снега и хвои, озирался по сторонам, ослепленный темнотой ночи, чувствуя, как бешеными ударами рвется из груди сердце.

Возле дома никого не было.

— Так! — сказал он.

И внезапно, не закрывая тамбура, Константин повернулся и, расталкивая бочки с капустной вонью, вбежал в дом; потом, хватаясь за расшатанные перила, бросился по лестнице вверх, а в комнате не сразу нашел висевшую на спинке стула куртку, надел шапку и после этого, переводя дыхание, услышал какие-то звуки в коридоре. Приближались шаги. Рука со спичкой вползла в комнату; ничего не понимающее, помятое лицо Акимова смотрело на Константина поверх огонька, голос был заспан, звучал обыденно:

— Что за шум? Свет зажги... Илья приехал? Ты куда?

— Тут звонил кто-то,— проговорил Константин.— Я в Москву!..

— Ку-да-а? Кто звонил?.. Бывает, звонок от ветра работает... Михеев не приехал?

— Я — в Москву.

— Ку-уда в Москву? Электрички нет до утра!

— Доберусь на товарном. Будь здоров!

И, уже не разбирая, что кричал в спину Акимов, он сбежал по лестнице и выскочил, прыгая по ступеням крыльца, на снег, в навалившуюся на него ветреную стужу. И торопливо пошел, побежал к калитке, угадывая ногами скользкую тропку меж сугробов.

В поселке не горело ни одного огня.

Под ветром подвывали в небе провода, иголочки снега, срываемые с деревьев, резали разгоряченное и потное лицо Константина. Он бежал по темным заметенным улочкам поселка — наугад, к станции.

«Это просто я схожу с ума! — думал он, задыхаясь и видя впереди за крышами блеснувшие огни на путях.— Что же это было со мной? Что?»

Он испытывал сейчас такую ненависть к этой ночи, такое злое, презрительное отвращение, что, казалось, все, что он мог уважать в себе, было уничтожено этой ночью, и не было никакого смысла во всем, что он делал или хотел сделать. В том, что он испытывал сейчас, как бы проступил в нем второй человек, он ощущал его ненавистное вырастание внутри, его неудержимо, до унижения срывающийся, перехваченный голос, его липкий пот...

«Если *это*... если *это*, тогда — конец...»

Под Сталинградом после непрерывных бомбежек, когда в пыльной мгле пропадало солнце, он видел людей, которых называли «контуженными страхом»,— дико бегающие пустые глаза, сизая бледность или не сходящая болезненная багровость лица, внезапный фальшивый смех, жадность к еде, старчески трясущиеся руки, потерявшие силу, и отправление нужды прямо в траншее. Такие не вызывали ни жалости, ни сочувствия. Это были живые мертвецы. Таких убивало на второй день; их убивало потому, что они с животной слепотой цеплялись за жизнь, потеряв способность жить.

«Если *это*...— значит, конец!..»

Проваливаясь в разъеденных ветрами сугробах затемненной улочки под трещавшими над заборами соснами, он во всех деталях вспоминал ночь на Манежной площади, жалкое, опустошенное лицо Михеева в переулке около церкви, где они встретились, его визгливый голос: «Сам ответишь!» — и всплывал в памяти томительный разговор в отделе кадров с Соловьевым, потом человек с газетой возле стоянки такси на Пушкинской, приезд к Быкову — и, сопротивляясь тому, что подсказывало сознание, вдруг впервые ясно почувствовал взаимосвязь всего этого.

«Что же теперь? Что мне делать?.. Но если бы был Сергей... поговорить с ним, решить!..» — сказал он еще себе и сейчас же подумал об Асе, а подумав о ней, представил ее лицо: он боялся его увидеть.

«А как же Ася? Как же Ася? — подумал он опять.— Трус! Сволочь! Храбрился перед этим Соловьевым, перед Быковым, перед Михеевым... Ложь! Обманывал себя, а правда, вот она — дрожание коленок...»

Спотыкаясь, весь потный, он перешел пути под опущенным шлагбаумом, низко над землей басовито звенели телеграфные провода, светящиеся полосы рельсов уходили в раздвинутый впереди коридор лесов.

Отдыхая, поворачиваясь боком к ветру, он поднялся на платформу, по-ночному освещенную тусклым островком вздрагивающих фонарей. Ветер хлопающим громом налетел на деревянное зданьице, холод пронизал потное тело — и, затягивая шарф, ускоряя шаги, он вошел под крышу станции.

Под крышей теплее было, покойнее, темнели изрезанные, щербатые скамейки, за окошечком кассы занавесоч-

ка висела, чуть шевелилась: ветер пробирался и туда. Константин, придерживая поднятый воротник, поискал на стене расписание.

— Ждешь, дядя, никак, электричку? — послышался голос за спиной.

Константин обернулся.

— А?

В дальнем углу на скамье под лампочкой сидел плотный небритый парень в кожаном пальто и рядом другой — узкоплечий, с мальчишечьим лицом, в телогрейке, в ватных брюках. На скамье перед ними — бутылка водки, раскрытые консервы, оба деловито ели ножами из банки. Оглядев Константина, парень в кожанке отпил несколько глотков, передал бутылку узкоплечему.

— Когда... электричка в Москву? — спросил Константин.

— Неграмотный, дядя? — Узкоплечий, жуя, подошел к расписанию, стал водить, как указкой, кончиком ножичка по столбцам, обернул свое подвижное мальчишечье лицо и, смешливо пришепетывая, произнес сквозь щербинку меж зубов: — В пять утра первая... Бабушка, дедушка. Точно запомнил время, усики? Грузин?

— Пошел к черту,— проговорил Константин. «В пять утра... В пять!»

— Иди, Вась. Рубай,— вялым голосом позвал парень в кожанке.

Константин, согревая руки в карманах, прислонился плечом к деревянной стене, лихорадочно соображая, что делать сейчас,— и смотрел на жующих в углу парней, но смутно видел их лица.

Они ели молча.

«Значит, в пять. Значит, в пять утра? Ждать до утра?»

Ветер налетел на платформу, напоры его гулко разрывались вокруг станции, и донесся,— может быть, почудилось,— из ночи, из хаоса звуков слабый свисток паровоза, его тотчас смяло, унесло, как будто струйка ветра беспомощно пропищала в щели.

— Бабушка, дедушка,— хохотнул паренек с мальчишечьим лицом.— Чего, дядя, застыл, спрашивают? Садись в товарняк! Чего смотришь?

Константин почти не разобрал то, что сказал парень, только показалось на миг, что он понял что-то особое,

необходимое, страшное,— и даже руки, засунутые в карманы, налились млеющим нетерпением.

«Только бы увидеть Асю... И — больше ничего. Только бы увидеть...»

Парни кончили жевать, узкоплечий вытер лезвие о край скамьи, не отрывая смешливого взгляда от Константина.

— Чего уставился, дедушка, бабушка? Не псих ты?

Константин не ответил.

Близкий свисток паровоза, рвя ветер, несся на станцию; Константин ногами почувствовал сотрясение пола и тут же рванулся к выходу, выбежал из деревянного зданьица в пронзительный, навалившийся паровозный рев, заложивший уши.

По глазам полоснул сноп прожектора, трехглазая железная громада с грохотом, шипением мчалась, надвигаясь из ночи; и налетела на станцию, свистя паром с запахом угля; мелькнуло жаром красное окошко машиниста, Константина обдало теплой водяной пылью — и тяжело забили колесами о рельсы, наполняя станцию пульсирующим гулом, огромные закрытые вагоны.

Это был товарняк.

Константин, оглохший в грохоте, пропустил половину состава и бросился за поездом по платформе, надеясь вскочить на тормозную площадку, но не рассчитал скорости поезда.

С увеличенным бегом пронесся последний вагон, стуча тормозной площадкой. Эту площадку мотало, и мотало там темную фигуру в тулупе, и красный фонарь стремительно удалялся над открывшимися рельсами.

Константин добежал до конца платформы, схватился за перила, упал на них грудью.

«Здесь они не сбавляют скорость... Не вышло! Что же делать? Пешком идти?.. По рельсам идти? Только не ждать до утра. Все, что угодно, только не ждать!..»

Платформа была по-прежнему унылой, ночной. В поселке не светилось ни одного окна. Почти сливаясь с темью станции, проступали две фигуры у стены — оттуда смотрели на него.

«Все, что угодно, только не ждать! Только бы увидеть Асю! Только бы...»

Когда он утром, растерзанный, потный, за сутки обросший щетиной, испачканный мазутом, с полуоторванным рукавом, не вошел, а, пошатываясь, ввалился в комнату и когда чуждо, резко увидел на пороге Асю, растерянно открывшую ему дверь, Константин со спазмой в горле, тисками душившей его, хрипло прошептал:

— Асенька...— И, сдергивая с шеи шарф, точно всю ночь нес на плечах нечеловеческий груз, смотрел на нее, едва держась на онемевших ногах.

— Ты жив, ты жив?.. А я уж не знаю, что передума-

ла!.. Где ты пропадал? Не спала ночь, прозвонила все телефоны, наделала шуму — в Склифосовского, в автопарке... Ты знаешь, что я подумала? Ты знаешь?

— Я тоже... о тебе,— прошептал он, не было сил говорить.

И она еще что-то спросила его, но в эту минуту он ничего ясно не расслышал, казалось — спрашивали не губы ее, а брови, глаза, все лицо, подчиненное им.

— Костя? Костя...

— Я думал о тебе всю ночь. Только об этом. Все время...— снова шепотом выговорил Константин,— и то, что... Я не жил бы без тебя...

А она, прикусив губу, молчала и горько одним взглядом спрашивала его: «Это всё, всё?»

— Ася, нас сняли с машин в конце смены. И отправили разгружать состав с лесом... Вот видишь, такой вид. Вот... Порвал рукав...

Константин падал несколько раз на обледенелой насыпи, сбегал со шпал, когда навстречу неслись товарные поезда и, оскользаясь, скатывался в кусты сбоку путей; он сел на товарняк только в Востякове. Но лгал он ей наивно, как говорят неправду не подготовленные ко лжи, видел, что она еле заметно отрицательно качала головой, лишь так отвергая его неправду, и он договорил чуть слышно:

— Я виноват... Я не мог позвонить...

Он глядел на нее, на темную, как капелька, родинку у края губ и со словами, застрявшими в горле, думал, что он ничего не сможет объяснить ей.

— Пожалуйста, скажи мне наконец правду...— Ася даже привстала на цыпочки, отвела его волосы с потного лба, заглядывая ему в глаза.— Ну, пожалуйста. У тебя ночью... ничего не произошло?

— Нет. Я просто смертельно устал. Ася, послушай меня...

Она, почему-то зажмурясь, перебила его:

— Нет! Ничего не говори. Не надо, Костя. Когда ты найдешь нужным, расскажешь мне все. Сейчас — не надо. Сними куртку. Я зашью. И иди в ванную. Усталость сразу пройдет.

— Я... сейчас, Асенька.

Он покорно снял куртку и, сняв, почувствовал от своего насквозь мокрого свитера запах прошедшей ночи — запах едкого страха, и, отступя на шаг, повторил:

— Асенька, родная моя.

А она молча села на диван, положив его куртку на натянувшуюся на коленях юбку, разглаживая место, где был надорван рукав, опустила лицо, мелко дрогнули брови — и ему показалось, что она могла заплакать сейчас.

«За что она любит меня? — подумал он.— За что ей любить меня?» — опять подумал он, видя прикосновение своей смятой, пропахшей вонью мазутных шпал куртки к ее чистым коленям, к ее чистой одежде — это грубое соединение ее, Аси, с той страшной ночью.

И он уже напряженно искал на ее лице выражение брезгливости.

— Иди же в ванную. Я зашью. Я сейчас зашью,— сказала она с дрожащей улыбкой.

Он выбежал из комнаты. Он боялся, что не выдержит этой ее улыбки.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Константин дремал за столом, клонилась голова, смыкались веки, у него не было сил встать, раздеться, лечь на диван; ранний мартовский закат уже наливал комнату золотистым марганцем, наполнял ее благостной тишиной сумерек, и он подумал: как хорошо не двигаться, не заставлять себя что-либо делать с собой, со своим смятым усталостью телом.

«Вальтер»,— думал он.— Я должен это сделать сегодня, сейчас. Им известен даже номер пистолета. Выбросить. Выбросить! И — ничего не было. И нет никаких доказательств. Главное — улика. Уничтожить ее! Выбросить эту память о войне!»

Константин встрепенулся, как бы прислушиваясь к безмолвию, в нерешительности встал: тело ломало, болели икры — это не чувствовалось так, когда, опустошенный, сидел он за столом в мутной дреме после бессонной ночи. «Значит,— рассчитывая, подумал Константин,— взять ключ от сарая. Вернуться с охапкой дров. В коридоре не наткнуться на Берзиня, который в это время дома, он рано приходит с работы. Господи, что это я? При чем тут Берзинь? Я иду за дровами, как ходят все. Спокойно, надо спокойно».

Медленно он надел куртку, вышел из парадного, холодом защипало ноздри. Двор был тих, пуст; закат из-за крыш падал на сугробы, был багрово-ярок: еще по-зим-

нему крепко схватывал вечерний морозец в колючем воздухе. И низко над двором, окутываясь дымом печей, висел над трубами прозрачный тонкий месяц.

Скрип снега, раздавшийся под ногами, мнилось, достигал крыш; отталкиваясь, возвращался с неба — Константин по темнеющей тропке пошел на задний двор.

И вдруг остановился в двух шагах перед сараем.

Дверь сарая была открыта. Звучали голоса, и кто-то возился, покашливая там нервно.

«Кто в сарае? Берзинь? С кем?»

— Вы, Марк Юльевич? — спросил он очень громко, позванивая связкой ключей, узнав покашливание Берзиня.— Добрый вечер! Как говорят...

За порогом на чурбане сидел Марк Юльевич в очках, завязывал кашне, обмотанное вокруг горла, толстое лицо было лиловато-красное от заката, он подтолкнул на переносицу очки, ответил тоном занятого человека:

— Да, да. Это я... Это мы...— Нацелился колуном и, сидя, ударил по березовому поленцу; оно треснуло стеклянным звуком.— Что? — с задышкой проговорил он.— Тома! Подавай мне, пожалуйста, короткие... Я выбился из сил.

За спиной его в углу сарая горела свеча, вставленная в горлышко бутылки; свечу заслоняла закутанная в платок фигура Тамары; она выбирала поленья и, прижимая их к груди, как ребенка, носила к отцу.

— Это дядя Костя? — сказала она и бросила полено, поправила волосы на виске.— Это дядя Костя? — Она, видимо, сразу не разглядела его в полутьме, подошла вплотную, несмело спросила: — Вы за дровами? Вы?..

Она тихонько опустила чурбачок на землю, напротив Марка Юльевича, все не сводя с Константина спрашивающих глаз, и проговорила опять робко:

— Дядя Костя?..

Берзинь сердито, шумно высвободил колун из полена, отдуваясь, простонал:

— Дети, дети, задают столько вопросов,— можно сойти с ума! Да, я устал слушать вопросы! Да, да! — сказал он в голос и расщепил колуном полено.— Он за дровами, это ясно? Он ничего не потерял в сарае, это ясно? В школе ты учила стихи? «Откуда дровишки? Из лесу, вестимо!» Ты учила эти стихи? А мы берем дрова из сарая!

А Константин, уже не звеня ключами, смотрел не на

Берзиня, не на затихшую Тамару — смотрел на слабый и сухой червячок свечи над грудой сдвинутых дров.

Там, в этом месте, был спрятан «вальтер», завернутый в носовой платок, и сверток этот был запрятан им на уровне гвоздя, забитого в стену, где постоянно висела ножовка.

Дров на прежнем уровне не было. Они были разобраны, и он тотчас же вспомнил, что тогда ночью спрятал пистолет в дровах Берзиней, твердо зная, что у них никогда искать его не будут. И, оглушенный внезапным ужасом и стыдом, Константин взялся за покрытую ледяной, скользкой плесенью бутылку со свечой, обвел взглядом Берзиней.

Оба они безмолвно, с каким-то объединенным сочувствующим вниманием глядели на него, на свечу, которую он тупым жестом переставил на другое место; язычок свечи заколебался.

— Вы...— сказал он и замолк, потом глухо договорил: — Не буду мешать. Простите...

Берзинь закивал странно и часто, полукашляя в нос; свеча дробилась в стеклах его очков, и рядом с его лицом белело лицо Тамары,— он видел ее изумленно наползающие на лоб брови. Она откинула платок, выгнув свою еще по-детски беспомощную шею, готовая что-то сказать, но не говорила ничего.

И он почувствовал себя как в душном цементном мешке и быстро пошел к двери; на пороге сказал:

— Простите меня, Марк Юльевич.

— Нет! Мы уходим! Томочка, возьми дрова! Мы мешаем соседу! Мешаем! — Берзинь вскочил, засновал локтями нелепо, как будто собираясь бежать; концы кашне мотались на его груди.— Сопливая девчонка! Что ты сидишь, я тебя спрашиваю! — срываясь на фистулу, крикнул Берзинь, оглянувшись на дверь.— Сопливая наивная девчонка! Куда ты запускаешь глаза? Где твоя вежливость? О-о! Думать! В первую очередь человек должен думать! — Берзинь постучал указательным пальцем себе в лоб.— Мы живем в коллективе. Мы должны уважать соседей. Мы уходим из сарая!

— Папа! — закричала Тамара возмущенно.— Не кричи! Мне стыдно за тебя! Почему ты боишься? Если у тебя не хватает смелости, я сама объясню Константину Владимировичу! Константин Владимирович! — Она пе-

решла на шепот: — Константин Владимирович... Сегодня... мы брали дрова... И вы знаете... у нас...

Константин обернулся.

«Не говори! — хотелось сказать Константину.— Я все понял. Не говори ничего!»

Он молчал, покусывая усики, смотрел на растерянно моргавшего Берзиня, на шатающийся язычок свечи, на Тамару, доказательно прижавшую руку к груди, сказал, наконец, вполголоса:

— Что «знаете»?

Он не мог объяснить сам себе, почему так открыто выговорил «что «знаете»?», и, сказав это, переспросил:

— Не понимаю, что — знаете? О чем вы, Тамара?

— Паршивая девчонка! Что ты говоришь, не слышали бы мои уши! — Берзинь обвязал кашне вокруг воротника, грубо потянул Тамару за рукав.— Что ты говоришь Константину Владимировичу! Мы уходим, сию минуту уходим, Константин Владимирович! Вам не стоит слушать ее болтовню. Стоит ее послушать — и можно повеситься!

— Ах так! Так, да? — сказала Тамара зазвеневшим голосом.— Ты трус! Ты боишься самого себя! Вот смотрите, Константин Владимирович, что мы нашли в сарае! Под этими дровами! Кто-то спрятал здесь! Смотрите!

Она отшвырнула поленья, вытащила маленький серый сверток из-под дров, шепча: «Вот-вот»,— и, не сняв варежки, стала торопясь и вместе боязливо разворачивать его. Конец пухового платка мешал ей, путаясь под руками,— и в следующую секунду сверток выскользнул из ее варежек. Пистолет со стуком упал в щепу. Белые фетровые валенки Тамары стремительно отскочили в сторону от упавшего в щепу «вальтера». Берзинь, страдающе охнув, схватился за голову.

— Что ты делаешь? Он заряжен патронами!.. Можно сойти с ума!

— Он заряжен пулями,— сказал Константин.

— Что? — удивился Берзинь.

— Пулями,— сказал Константин, глядя на «вальтер».

В щепе при огне свечи он тускло, масляно отливал гладким металлом.

Аккуратные валенки Тамары приблизились к пистолету и замерли, она сказала:

— Вот!

— Пулями,— проговорил Константин.

— Что? — спросил Берзинь потрясенно.

— Пулями,— повторил Константин,— которые убивали на войне.

Усмехнувшись скованными губами, он поднял пистолет, а когда уже привычно держал на ладони этот зеркально отполированный, изящный, точно детская игрушка, «вальтер», на минуту почувствовал, как твердая рукоятка его, тонкая и влитая спусковая скоба плотно входят в ладонь, передавая коже холодную щекочущую жуть, таившуюся, запрятанную в этом круглом стволе,— стоит едва сделать усилие, нажать спусковой крючок...

Он услышал в тишине носовое дыхание Берзиня, скрип щепы под валенками — и на миг увидел в глазах Берзиня и Тамары, как бы вмерзших в одну точку, страх ожидания близкой опасности, исходившей от этого полированного металла; и обнаженно ощутил связь между собой и этим оставленным после войны «вальтером», будто он, Константин, нес опасность смерти — стоило лишь нажать спусковой крючок. И тут особенно понял, что не может ни перед кем оправдаться, объяснить, зачем он оставил пистолет, и ясно представил бессилие своих доказательств.

— Это... немецкий пистолет,— проговорил он наконец.— Старой марки. Лежит с войны...— И усмехнулся Тамаре.— Понимаете?

— Да, да, да! Это чей-то пистолет... лежит с войны! — эхом подтвердил Берзинь.— Да, да, да! Это с войны! Конечно, конечно!..

— Ты, папа, говоришь ужасную ерунду! — досадливо выговорила Тамара.— Эти дрова привезли осенью. Привез Константин Владимирович! — Она обратилась к нему по-взрослому, голос был трезво опытен, как голос зрелой женщины, и эта рассудительность поразила Константина.— Я уверена — револьвер надо сдать управдому или в милицию. Мы не знаем, зачем он здесь, может быть, готовится убийство! Это может быть?

— Н-не думаю,— сказал Константин; струйки пота, щекоча, скатывались у него из-под шапки, он добавил тихо: — Тамара, из этого оружия нельзя убить. Это «вальтер». Игрушка. Поймите — детский калибр. Кто-то привез его с войны как игрушку.

— Из револьвера убивают,— ответила Тамара.— У нас в школе мальчик принес финку. Нашли в парте.

Его исключили. Директор сказал, что весь класс потерял бдительность...

Берзинь схватился за виски.

— Какой управдом? Какая милиция? Какой директор? Что у тебя в голове! Какое твое собачье дело? Я повешусь от такой дочери!

— Папа! Перестань! Это стыдно! Я ненавижу твои истерики! Мещанские слова! Я знаю, как ты читаешь газеты, слушаешь радио — зажимаешь виски, закрываешь глаза! Да, я знаю! — Голос ее очень трезво прозвучал в ушах Константина, ошеломив его откровенностью и прямотой.— Разбираешь события со своей мещанской колокольни!

Берзинь, растирая виски, закачался из стороны в сторону.

— Что она говорит! Что она говорит, отвратительная девчонка! Замолчи! — Он весь затрясся и так дернул книзу руку Тамары, точно бы хотел рукав телогрейки оторвать.— Замолчи, глупая! Или я тебя побью раз в жизни!

Он топтался перед ней, маленький, круглый, вобрав голову в плечи — то ли готовый ударить ее, то ли сам головой и плечами ожидая удара, не веря в то, что сейчас она сказала, а лицо было как у ребенка, которому сделали больно.

— Что ты делаешь... с отцом? — обезоруженно произнес он.— Что делаешь?

Испуганно трогая руку, которую грубо дернул отец, Тамара отошла к двери, расширяя глаза со стоявшими в них слезами, оттуда проговорила упрямым голосом:

— Не смей меня больше трогать, не смей! Я комсомолка, папа. Мы никогда не должны забывать! Мы обсуждали на собрании... Мы советские люди. Разве этот револьвер нужен хорошему человеку? Зачем он ему? А если какой-нибудь вредитель ночью спрятал? Константин Владимирович, скажите же, скажите папе! Он ничего не хочет понимать. Константин Владимирович, скажите же ему! Нужно немедленно сообщить в милицию! Я сама пойду. Я не боюсь!.. Я сама пойду!

— Замолчи! — срываясь на визг, затопал ногами Берзинь.— Я тебя изобью. Ты не моя дочь!

Константин не предполагал этого — Тамара вытерла глаза, решительно перешагнула фетровыми валенками

через кучу дров, рванулась из сарая и побежала по тропке к воротам среди сугробов.

— Тамара! Подождите... Тамара!

Константин сунул «вальтер» в карман, увидел на секунду, как Берзинь в отчаянии со стоном опустился на чурбачок,— и бросился к двери, ударившись о косяк, догнал Тамару на середине двора.

Она гибко откинула голову,— бледное лицо в платке, детские глаза выступили из темноты.

— Что вы? Вы — тоже? Тоже? — вскрикнула Тамара.— Что вы... хотите от меня? Вы боитесь, да? Почему вы все боитесь? Вы тоже боитесь?

— Тамара, не делайте этого!—заговорил он, стараясь убедить ее.— Тамара, милая, вы не должны этого делать! Нельзя ничего опрометчиво делать. Никогда не надо. Вы ведь многого не знаете. Вы можете погубить сейчас ни за что человека. Может быть, это все принесет большую беду! Поверьте, все может быть! — Ему стоило усилий улыбнуться ей в расширившиеся глаза.— Ну, если это мой пистолет... Я похож на вредителя? Ну, скажите — похож? Я похож?

— Вы-ы? — протяжно выдохнула Тамара, и кончики бровей ее разошлись в стороны.— Вы?

— Разве это важно? — продолжал Константин.— Но подумайте, что это пистолет такого человека, как я... Кто-нибудь привез с фронта. Спрятал. И забыл про него. Может же это быть? Поверьте, это может быть. Вот он, пистолет, я взял его! Я отнесу его в милицию и сдам! И все будет в порядке. Вам не нужно никуда ходить! И не нужно вмешиваться. Вы ведь девушка. Зачем вам это? Совсем не женское это дело. Ну? Разве я не прав?

— Вы знаете... вы знаете,— звонко заговорила Тамара и отвернулась.— Когда случилось это с мальчиком, я не сказала. Но на меня стали как-то странно смотреть даже учителя. Я видела ножик, но не подумала. А его исключили. Но я не понимаю: стали говорить, что я из любви к нему забыла о честности. Я не понимаю...

— Идиоты были всегда! И, наверно, еще долго будут,— сказал Константин и прибавил дружески: — Вернитесь, Тамара. Вы обидели отца, но вы оба были неправы. Честное слово. Идите к отцу. Мы часто несправедливы с теми, кто нас любит. И прощаем тем, кому нельзя прощать. Поверьте, я немного старше вас. Я немного опытнее.

Замедленно проведя варежкой по щекам, словно снимая паутину, она спросила удивленно:

— Почему вы со мной... так говорите? Как с ребенком...

Он осекся, хотя ему хотелось говорить с ней.

А двор погружен был в синеющую темноту мартовского вечера с пресным запахом подмороженного снега, открывалась над границей крыш ровная глубина звездного неба, и проступал огонек свечи из раскрытой двери сарая. Все вдруг стало покойно, тихо, как в детстве. Ничего не случилось, не должно было случиться — ночь была закономерной, и закономерными были огонек свечи в сарае, звезды над двором, горький запах печного дымка и то, ужасное, что исправилось в жизни, как только он заговорил с ней. Он не знал, что это было, но он говорил с ней и чувствовал себя старше ее на много лет, и опытнее, добрее, чем, представлялось, эти знакомые и незнакомые люди за спокойно освещенными окнами во дворе. Жесткий ком пистолета, давивший на грудь,— комок зла, страха за Асю, за все, что могло свершиться,— было тоже закономерностью.

Он сказал:

— Идите к отцу, Тамара. И помиритесь. Не стоит портить друг другу жизнь. Из-за пустяка. Честное слово, жизнь неплохая штука, если быть добрым к добру и сволочью ко злу. И тогда прекрасно будет.

— Что? — одними губами спросила Тамара.— Какое зло?

— Это вы когда-нибудь поймете. Вы всё поймете. Послушайте меня, идите к отцу и скажите ему, что ничего не было. Ведь он вас любит.

Она посмотрела на него из темноты недоверчиво, шепотом сказала:

— Почему вы так говорите?..

— Томочка! — жалобным голосом позвал Берзинь из сарая.— Константин Владимирович...

— Идите! — сказал Константин, не отвечая на ее вопрос.— Идите.

Взглянув на сарай, она осторожно вздохнула и тихими шажками двинулась по тропке. В оранжевом от свечи проеме двери проступала маленькая, жалкая фигура Берзиня, покашливая, он горбился, в позе его были убитость, желание мира.

Константин пошел к парадному.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Иногда ему казалось — вся квартира была полна звуков: хлопала пружина парадного, Берзинь трубно и мужественно сморкался в коридоре; гулко, но неразборчиво шли волнообразные голоса из кухни, стихали и вновь толкались в стены, и Константин лежал на диване, в полузабытьи различал эти звуки.

Потом голоса замолкли на кухне.

«Почему люди так много говорят? — думал Константин.— Какой в этом смысл? Что это, форма самозащиты?.. Берзинь отлично понял, что пистолет мой. Но он слишком честен. И теперь смертельно перепуган. За себя, за Тамару и, наверно, за меня. Скажите мне, милый Марк Юльевич, зачем я берег этот «вальтер»?.. Почему я, дурак, не выбросил его раньше? Память? Наградное оружие? Да это же глупость! Нервы — ни к черту!.. И тогда, на даче, и сейчас. Я, кажется, болен, нервы, нервы!..»

Константин лежа нащупал во внутреннем кармане куртки пистолет — ему необъяснимо хотелось смотреть на него. «Вальтер» влип в пальцы: никель, кнопка предохранителя, литой спусковой крючок, гладкий ствол. Когда-то, несколько лет назад, в разведке этот «фоновский» пистолет был необходим всегда, легко оттягивал задний карман — запасной пистолет для себя; тогда он сам как угодно мог распоряжаться своей жизнью.

Но здесь, сейчас, в тишине комнаты, при виде этого точеного, как детская игрушка, механизма, здесь совсем по-иному — металлически и щекочуще — запахло смертью. И, со страхом, с ненавистью к этому пистолету, глядя на него, он снова ощутил вокруг себя провал, как тогда ночью, когда шел на станцию во Внукове.

«Нервы,— подумал он.— У меня размотались нервы. До предела размотались...»

Константин медлительно встал с дивана, поскрипывая рассохшимся паркетом, прошел в другую комнату, включил свет. Комната ожила вещами Аси: свитером, домашним халатиком на спинке стула. Окна блеснули черным, превратились в плоские зеркала. Они мертво отразили зеленый парашют застывшего на шнуре абажура и очертания лица Константина, выражение которого он не разобрал, когда задергивал занавески.

Он выложил на письменный стол томики Тургенева,

затем том «Жизнь животных» Брема, который необходимо было сжечь. Этот наивный тайник для «вальтера» все-таки был удобным — вырезанный бритвой футляр среди жирных строчек, и в глаза Константину бросилось несколько слов, оборванных выемкой гнезда, он прочитал машинально, не вдумываясь в смысл: «...потрясенные ревом тигра, животные...»

Он вздрогнул — громкий стук раздался в дверь из коридора.

Этот стук возник из шагов, голосов на кухне, из возбуждения в квартире. Стук начался в дверь первой комнаты, он заполнил ее, ринулся, проникая оттуда, из другого мира.

И, отчетливо услышав этот сумасшедший стук, Константин быстрым и сильным рывком охватил, сжал плоский и холодный как лед металл пистолета, а когда он оборачивался к двери, что-то знакомое, темное кинулось в лицо, мелко задрожало в тумане, жирная линия букв, смысл которых он теперь не понял; лишь в сознании его завязла мысль: «Вот оно, вот оно!»

За дверью гремели шаги. Стучали непрерывно.

И он понял, что это все — за спиной дышит пустота, в которой ничего нет, кроме угольного бесконечного провала. И еще он успел подумать, что сейчас, когда они войдут, исчезнут мать и отец, которых он уже забывал, почти не помнил, и незабытая война, и Сергей, и сорок пятый год, и Николай Григорьевич, и Ася, и ее радостно сияющие ему глаза («Прости меня, Асенька, прости меня!»), и Михеев, и Быков, и вся злость, и его мука, и его страх за Асю, с которым невозможно было жить.

«Вот и все, Костя...»

И, одним движением толкнув руку с «вальтером» в карман, глядя на дверь в другой комнате, он крикнул:

— Кто?..

В дверь прекратили стучать. Шагов не было, и только возбужденный голос сквозь дыхание:

— Константин Владимирович! Константин Владимирович!.. Вы спите? — Это был голос Берзиня.

— Кто там?.. Вы, Марк Юльевич?..

— Константин Владимирович! Откройте! Вы слышали? Вы спите? Радио... включите, пожалуйста, радио!

— Что? Какое радио?

С испариной на лбу, очнувшись, он застонал, протер

лицо, словно разглаживая на нем напряжение мускулов.

И после этого повернул ключ в двери.

— Радио... радио! Вы слышали радио? Это второе сообщение... Вы слышали?

Берзинь на коротеньких ногах вкатился в комнату, волосы встрепанно торчали с боков лысины, подтяжки спущены, били по ягодицам, как вожжи.

В руках Берзиня была мышеловка, и несоответствие этой мышеловки и выражения несчастья в глазах его, во всей его фигуре удивило Константина. Он, не понимая, еле выговорил:

— Вы что? Что?

— Вы послушайте... послушайте! Вы не слышали? Не слышали? Передали о Сталине... И сейчас передают. Вы спали, да? Вы не слышали? Включите радио! Где у вас радио?

— Что — Сталин?

— Включите радио. Включите радио! — повторял Берзинь, суетясь по комнате.— Где, где у вас радио? Передают. Сейчас!

Константин вбежал во вторую комнату; дергая зацепившийся шнур, включил репродуктор, который размеренно ронял чугунные слова:

— ...и Совет Министров Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье — тяжелой болезни товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. В ночь на второе марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга.

Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания...

На Горбатом мосту тихой канавы Константин достал «вальтер» из внутреннего кармана и резко бросил его через железные перила в неподвижную вечернюю, освещенную огнями воду.

И не расслышал булькнувший звук внизу. Вода поглотила пистолет без всплеска — и не было кругов в масляной черноте под мостом.

«Почему я этого не сделал раньше? Надеялся на что-то? Ждал? Не верил? Что ж — вот она, добренькая чер-

та: сомневаться до последнего момента! И я не верил, сомневался?..»

После, скользя по гололеду ступеней, Константин спустился на безлюдную набережную — и здесь слева раздался стеклянный приближающийся хруст ледка под чьими-то ногами. Он со споткнувшимся сердцем глянул из-за поднятого воротника. Темная фигура постового, незаметно дежурившего в тени дома, солидно, неторопливо надвигалась на Константина, голос ударил, как выстрел:

— А ну, что бросил гражданин? Что в канаву бросил?

— Пистолет. Обыкновенный пистолет,— внезапно с отчаянным спокойствием проговорил Константин.— Этого мало?

— Чего-о? Вы эти шутки бросьте. Вчера одна тоже бросила. Ночью. Утром посмотрели — младенчик на камушках. «Пистоле-ет»! Проходите, проходите, гражданин!

Ночью он сжег в печи том Брема, в котором было вырезано гнездо для «вальтера».

— Ты не спишь, Костя?

— Нет. Не могу.

— Это ужасно.

— Скажи как врач, инсульт — очень серьезно? Это излечимо?

— Да. Но это второй инсульт. Главный врач нашей поликлиники сказал, что это второй. Первый был в тридцатых годах. Мы не знали. Он без сознания. Поражены важные центры.

— Странно. Не могу представить, чтобы он был без сознания. Мы всегда думали, что он вечен...

— Когда я шла из поликлиники, на улице останавливались люди. Везде включили радио. Все молчат. Никто не ожидал. Знает ли об этом папа... там? И Сергей...

— Наверно.

— ...Письма, которые писал Сергей Сталину... Он писал о папе. Теперь я не знаю, что будет.

— Ася! Тебе неудобно лежать?

— Нет, нет... Что-то стало душно. Горло перехватило.

— Дать тебе воды? Тебе что-нибудь нужно, Асенька?

— Не надо. Ничего не надо. Возьми только руку из-

под головы. Не обижайся... Я вот так лягу. И все пройдет.

— Ася!

— Что, милый?

— Ася, все прошло?

— Да.

— Ася... что ты сейчас чувствуешь?

— Этого не объяснишь. Маленького зайца. Лапками копошится за пазухой.

— Я люблю тебя. Одну. Единственную. Я никогда никого так не любил.

— Костя, глупый, ты так сказал? А он возится там и не знает — ни тебя, ни меня. Ни то, что в мире. Он сейчас ничего не знает.

— ...Ничего не знает. Ни о тебе, ни обо мне. Ни о своем деде. Все ему не нужно будет знать. К черту ему знать это!

— Нет! Он должен знать все. Я не хочу, чтобы он вырос комнатным цветком. Нет. Он должен уметь драться, защитить себя. Он не должен давать себя в обиду.

— Я уверен, Ася, он все же будет жить при коммунизме. Кулаки необходимы будут для спорта. Это нам нужны кулаки. Ася... тебе удобно лежать?

— Да, милый. Сколько сейчас времени?

— Два часа ночи.

— Два часа... Костя, ты не выключал радио?

— Нет, радио включено.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На следующий день перед сменой Константин увидел Михеева.

Помедлив, Константин размял сигарету, помедлив, чиркнул спичкой, затянулся, потом аккуратно бросил спичку в металлическую бочку около входа — ждал, пока пройдет первый порыв злой неприязни, возникшей сразу при виде широкой шеи Михеева со щеточкой отросших волос, лежавших на воротнике полушубка, его крепкой, тугой спины, его ватных брюк, заправленных в бурки.

Боком к Константину Михеев стоял в толпе шоферов, собравшихся перед линией в закутке курилки, щеки его темнели плохо выбритой щетиной, угрюмое лицо было

непроспанно, одутловато, с похмельной, казалось, желтизной.

«Он был у больной сестры или на дне рождения, кажется? — вспомнил Константин недавние слова Акимова.— Он приезжает с линии раньше или позже меня, избегает встреч со мной!.. Или той ночью он еще где был? Что ж, и это похоже. О чем он думает сейчас?»

— А я тебе говорю — нет! Соображать надо! — донесся из закутка рокочущий бас Плещея.— Слухи, брат, как мяч, скачут!..

И Константин догадался, о чем говорили там.

Все, что задумал он, как бы теряло сейчас свою значительность, растворялось в неспокойной и сгущающейся обстановке, все как бы утрачивалось в последних событиях и незаметно отдалялось в охлаждающий туманец.

«Так что же?» — спросил он себя.

Константин зачем-то выждал минуту подле бочки с водой, отражавшей сквозь нечистые стекла окон фиолетовое мартовское небо, подошел к закутку курилки. Его никто не заметил; увидел один Сенечка Легостаев, как всегда, топтавшийся чуть в стороне с бутылкой кефира; несмотря ни на что, он закусывал перед сменой. Здороваясь, он открыл, криво улыбнувшись Константину, стальные зубы, спросил:

— Слышал? Что происходит-то на белом свете?

И, большим глотком отхлебнув из бутылки, навалился на чужие плечи, стал не без любопытства заглядывать в середину гудевшей толпы шоферов.

Шли разговоры.

— Что тут предполагать! Все может быть. Иногда и профессора ни шута не могут! — выделяясь, звучал натянутый густой бас Плещея.— Здоровье тоже было немолодое. Но надеяться надо — обойдется, может. Об этом и думать надо. А не о том, что профессора плохие. Всё козлов отпущения хотим найти!

— В войну ни одной ночи небось не спал — думал за всех. Вот тебе и кровоизлияние в голову. Сам все!

— С ним враги не особенно... Боялись. И Черчилль сволочь! И Трумэн... Всех держал. Надорвешь здоровье поди! А тут еще в юбилей письма в газетах: «Родной наш, любимый». Как сглазили!

— Да ты только, Семенов, ерунду не пори, моржовая голова! — раздраженно загудел Плещей.— «Сглазили»!

Чего сглазили? Орел ты, вороньи перья! Ты еще у бабушки на самоваре погадай! Тут даже у нас некоторые балабонят, что врачи, мол, виноваты!..

— Я что, Федор Иванович? Я не болтал такое...

— Да ты, может, и нет. Ну а чего ты сразу задом заюлил-то, Семенов? Чего скис? Чего перепугался?

И в это время Константин через головы шоферов увидел повернутое к диспетчеру Семенову грубоватое и заметное оспинками лицо Плещея, сидевшего на скамье; рядом молчаливо сидел Акимов, ресницы опущены, белые волосы зачесаны назад. Плещей сказал грустно Семенову:

— Разное болтают, брат. Это я тебе как коммунист говорю. Чешут языками направо и налево, озлобляют только всех. Всегда виновных ищем! — Он крепким хлопком выбил сигарету из мундштука.— Так, Михеев, или не так? Чего ты на меня из-за Семенова, как на огонь, смотришь? Это ты, что ли, тут утром болтал, что Сталина врачи отравили? Значит, как — профессора в ответе?

— Вы, Федор Иванович, больно уж как-то неполитично говорите,— ответил надтреснутым голосом Михеев, моргнув, как на яркий свет, глазами.

— А ну — конкретно! В чем? — рокотнул Плещей, упираясь кулаками в колени.

Михеев заговорил угрюмо:

— Разве о вожде народов кто болтает? Любили мы его, как отца. И так далее. Вы, как секретарь партийной организации, объяснение людям должны дать. А вы только людей высмеиваете, рты зажимаете. Семенову вот... Я, как беспартийный гражданин, даже не могу согласиться с вашим объяснением.

Плещей с зорким удивлением коротко остановил взгляд на Михееве и грузно ударил кулаками по своим коленям.

— Сосунок! Теленок вислоухий! — зарокотал Плещей насмешливо.— Ты меня будешь учить политграмоте! Когда ты задуман был на печке, я уже в партию вступил, Ленина видел, пятилетки строил. Ты что же, Михеев, ответственней, значит, коммунист, чем я? Значит, ты патриот и стоишь на страже? А ты, круглая голова, два уха, по-русски слово «правда» знаешь?.. Здорово, Костя! — в наступившем молчании, точно остыв и уже мягче сказал Плещей, заметив Константина, подошедшего в эту минуту сбоку Михеева; и взглянул Акимов обрадованно,

поздоровавшись одними бровями; стали оборачиваться к Константину лица шоферов.— Садись с нами, Константин! Где же пропадаешь? В обрез что-то приходить начал, не видно тебя совсем, кореш! — грубовато-ласково проговорил Плещей и раздвинул место на скамье рядом с собой и Акимовым.— Посиди-ка, расскажь что-нибудь, а то тут... мозги растопырились!

— Действительно, пропадаешь где-то, Костя,— сказал Акимов.

Но Константин не успел ответить, кивнуть Плещею, Акимову, знакомым шоферам — на секунду встретился с глазами Михеева, невыспавшимися, красными, стоячими, как у птицы ночью, затем вроде кто-то махнул по глазам Михеева, мгновенно застлал тенью,— зрачки скользнули книзу.

— Здорово, Илюша! — проговорил Константин.— А я тебя искал вчера. Или, говорят, ты меня искал? Простите, ребята! — прибавил он, обращаясь ко всем.— Я одну минуту! Он давно хочет со мной поговорить. Но без свидетелей. Пошли, Илюша! Я готов.

— Заболел? Отстань, дурак! — презрительно сказал Михеев.

И, багровея, заплетаясь бурками, как-то угловато пошел от курилки к машинам, словно бы ожидая удара от Константина, который последовал за ним.

Возле машин Михеев внезапно спросил срывающимся голосом:

— Чего от меня хочешь?

— Ничего, ничего страшного,— обняв его за плечи, ответил Константин.— Только передам тебе несколько слов от одного человека... По его просьбе.

— Какого человека? — нахмурился Михеев.— Врешь все!.. Чего пристал?

— Ты позвонишь этому человеку по телефону — узнаешь. Но тогда будет поздно. Для тебя! — Константин поощряюще пошлепал его по натянутой, как барабан, спине.— Для тебя! Пошли, Илюша. Давай вон туда. За машины. Там никто не помешает. Это секретный разговор. Я при всех не могу.

— Бешеный дурак! — опасливо проговорил Михеев.— Зачем глупость при народе болтал? Что подумают? Тебе за это — знаешь?

— Спокойно. Не надо волноваться, Илюша. Я сделал это для отвода глаз. Я ведь всю войну был в разведке,

знаю, что такое вторая игра. И конспирация. А ты еще сопливый мальчик, хотя и хорошо кое-что делаешь...

— Ты что это болтаешь? — угрожающе произнес Михеев.

«Вот оно, сейчас, вот оно!» — подумал Константин не с новью узнавания, а с каким-то жутким, даже сладостным удовлетворением.

— Пойдем, Илюша,— проговорил он.— Я все возьму на себя.

В закутке — в самом дальнем углу гаража, за старой колонкой, за стоявшими там на ремонте машинами, тускло освещенными солнцем сквозь огромные и пыльные окна, Михеев, возбужденно оскалясь, выкрикнул Константину:

— Ну, чего хочешь?

— Давай здесь,— тихо и веско произнес Константин и положил руку ему на плечо.

— Чего ты хочешь? Чего?

Михеев, весь напрягшись, враждебно-настороженно бегал взглядом по груди Константина, широкоскулое, клочковато выбритое, помятое лицо подрагивало, как от тика.

— Чего? Чего ты?.. Что за разговор?

— Разговор очень короткий. Только запоминай,— размеренно сказал Константин.— Запомни, парень... запомни... что на этом свете есть правда. Я давно хотел тебе это напомнить. Очень давно. И так уж, слава богу, устроен свет, что всяким сволочам бывает конец! Это первое...

— О чем ты? Чего ты? — вскричал Михеев, пытаясь вырваться из-под руки Константина, но не хватило силы.— Пусти!

— А ты потерпи, Илюша.

— Пусти, говорят! — Михеев астматически задвигал широкой шеей, глаза с выражением страха выкатились и будто отталкивали Константина.— Пусти! Пусти!..

— Запомни второе, Илюша,— проговорил Константин, не отпуская его.— Я прошел огонь, воды и медные трубы, а ты еще — кутенок. Если завтра же ты не перестанешь клепать на меня, Плещея и Акимова, на всех остальных из парка, на кого ты должен клепать, я сделаю так, что в кармане вот этого твоего полушубка найдут оружие, а в твоей машине обнаружат кое-что, от чего можно крепко сесть! Ты меня понял, Илюшенька?

Тем более, что в парке не найдется ни одного человека, который тебя нежно любит! Запомни, милый: все будет сделано, как в ювелирном магазине. Запомни еще! Не торопись, милый, не рассчитав силы,— можно самому себе к черту снести затылок! Запомнил? И еще, Илюшенька.— Константин, прищурясь, жестко сдавил окаменевшее плечо Михеева.— Я легко могу позвонить Соловьеву по телефону ка-ноль... и доложить о тысяче рублей, которыми ты хотел купить свое молчание. Ты помнишь, как просил у меня тысячу рублей и обещал, что все будет в порядке?

— Пусти! Какие деньги? Сволочь! Пусти-и! — придушенно выдохнул Михеев и вдруг озлобленно, разевая рот, двумя кулаками пнул Константина в грудь, стремясь оттолкнуть его от выхода из закутка, пронзительно крикнул: — Врешь! Пусти, душегуб!.. Бешеный! Не хочу! Уйди, гад! Пусти-и!..

— Заткнись, гнусная морда! — Константин схватил его за борта полушубка, всем телом притиснул к стене, подавляя желание ударить, тряхнул так, что в горле Михеева екнуло.— Молчи, харя! И запоминай, что говорят! Отвечай, шкура, запомнил? Запомнил?

Лицо Михеева расплывалось блином; он горячо дышал в губы Константина и, ворочая шеей, прижатый к стене, мычал, зрачки чернели, перебегали точками; и Константин, испытывая отвращение и ненависть, повторил:

— Запомнил, сволочь? Или еще не дошло?

— А-а! Пусти-и! Пусти-и!..

Михеев с неожиданной яростью забился в его руках, ударил коленом в живот, и Константин, превозмогая острую боль в паху, притянул его и, выругавшись, изо всей силы кинул спиной к стене, подальше от себя — он не хотел драки, зная, что не сможет удержаться.

Охнув, Михеев сполз по стене на пол и, раздвинув ноги в бурках, задыхаясь, выдавливал вместе с кашлем:

— Убить захотел? Убить? Я тебя упеку!.. Пистолет у тебя... разговорчики. Я тебя...

— Что-что! — крикнул Константин и бросился к нему.— Что ты сказал?

— Не трожь! — взвизгнул Михеев, засучив бурками по грязному полу.— Я ничего не говорил!.. Не говорил я! Убить хочешь?.. Не трожь!

«Похоже. Очень похоже,— подумал Константин.— Так и Быков».

— Убить?..

— Этого мало, сволочь!

— Чего вас пес надирает? Что за крик? — раздался голос в проходе закутка.

Константин оглянулся и тут увидел торопливо входивших в закуток насупленного Плещея, Акимова и вместе с ними весело изумленного Сенечку Легостаева, как бы всем лицом своим ожидавшего скандала. Константин сказал, сдерживая голос:

— Вот визжит парень непонятно почему...

— Что он еще, Костя? Что этот... упырь на полу загорает? — мрачно спросил Плещей, быстро окидывая глазами обоих из-под сросшихся лохматых бровей.— Разговор? А крик зачем? На весь гараж!

— Был разговор. По душам,— ответил Константин и кивнул на Михеева, медленно вставшего, злобно, со всхлипами сморкающегося в скомканный платок.— Илюшеньке захотелось посидеть на полу, охладить поясницу. Странности у него. Во время серьезного разговора садится на пол. Не удержишь.

Сенечка Легостаев захохотал, нагло показывая стальные зубы; Акимов испытующе поглядел на Михеева, затем на Константина и потупился.

— Бывает,— равнодушно произнес Плещей и сплюнул с непроницаемым видом, как если бы ничего не заметил здесь.— Иногда полезно бывает задний мост охладить. Только крика не надо. Лишнее!

Не подняв головы, Михеев по-бычьи протиснулся к выходу между Плещеем и Акимовым, вышел из закутка и заплетающейся походкой заспешил к машинам в сопровождении Сенечки Легостаева, который, ухмыляясь, спрашивал его:

— Чего бараном орал, гудок?

— Ну? — хмуро сказал Плещей и подтолкнул Константина к выходу.— На линию давай. Все должно быть как у молодого в субботу! Идеально. Ни одной придирки в смену! Ясно? Все как надо. И Акимов не понял, и я не понял. Ясно? У нас слух плохой... А Сенечка умом не допер.

— Понял, Федор Иванович,— негромко ответил Константин.— Спасибо. Я все понял.

— Давай, давай на линию!

Вечером, бреясь в ванной, Константин долго разглядывал свое лицо, темное, смуглое, похудевшее, чудилось, обожженное огнем; глаза смотрели устало и ожидающе-незнакомо. Прежде, бреясь и любя эти минуты, он насвистывал и подмигивал себе в зеркало, чувствовал тогда, как молодеет кожа на пять лет. Теперь бритье не так ощутимо молодило его, подчеркнуто открывало тронутые сединой виски, и мысль о том, что Ася видела это его новое лицо, была неприятна Константину.

Потом, ожидая Асю, он приготовил стол к ужину и задумчиво, со знанием дела, будто всю жизнь занимался этим, заваривал чай; теплый пар, подымаясь, коснулся его выбритого подбородка, защекотал веки. И он опять представлял свое лицо темным, усталым, каким видел его в зеркале, и лег на диван, поставил пепельницу на пол.

Тишина стояла в квартире теплой неподвижной водой, и звуки расходились в ней, как легкие круги по воде: приглушенные заборами далекие гудки машин, изредка позванивание застывших луж под чьими-то шагами во дворе. И было странно: то, что произошло с ним в последние дни, и то, что происходило в мире, бесследно тающей зыбью растворялось в тупой тишине, и он почувствовал, что смертельно, до тошнотного онемения устал, что его охватывает равнодушие ко всему, бездумное расслабление мысли и тела.

Он поморщился, услышав затрещавший телефон.

От неожиданного звонка закололо в висках. Но он не хотел вставать, не в силах разрушить это состояние безнадежного отрешенного покоя; затем с насилием над собой снял трубку — могла звонить Ася.

— Да...

Трубка молчала.

— Да,— повторил Константин.— Да, черт возьми!

— Мне Константина Владимировича...

— Я слушаю. Слушаю! Кто это?

— Добрый вечер, Константин Владимирович,— откуда-то издалека зашелестел в мембране мужской голос, и Константин переспросил раздраженно:

— Да с кем я говорю? Ничего не слышно!

— Слушайте меня внимательно и не перебивайте. И не задавайте никаких вопросов. Я звоню вам для того,

чтобы дать только один совет. Я понимаю, что Илья Матвеевич трус и деревянный дурак, но и вы поступаете не более умно, простите за прямоту. Мой вам совет: выбросьте немецкую игрушку куда угодно, чтобы у вас ее не было. Если вы еще не выбросили. И если вам нравится дышать свежим воздухом. Понятно, этого телефонного звонка не было и вы ни с кем не разговаривали. Не говорите об этом и жене. Это все!

Константин вытер обильно выступивший, как после болезни, пот на висках, пошарил сигареты в куртке, и, когда закурил, вобрал в себя дым, обморочно закружилась голова.

«Ловушка? Это ловушка? Но зачем она? Соловьев... У него был Михеев? Озлобился и пошел? Что ж — вот оно, злое добро? А как? Как иначе?.. Это был голос Соловьева? Он говорил? Его голос? Неужели он симпатизирует мне? После того разговора? Соловьев? Что ему? Для чего?»

Константин с туманной головой начал ходить по комнате, не понимая, не зная, что нужно делать теперь, но чувствуя, что его удушливо опутало, как сетями, что он не может решиться сейчас ни на что, ничему не веря уже.

«Неужели? Не может быть!.. И это — правда?» — подумал он.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Да, умер...

— Чего сказываешь, гражданин? В платке я, не слышу.

— Умер, говорю, Сталин. Не приходя в сознание.

— Го-осподи! А я слышу — музыка... Из Воронежа ведь я, у сродственников остановилась... Утром встала, брательник на работу собирается. «Плохо»,— говорит. А я-то говорю: «Разве врачи упустят?» Упустили!..

— Мамаша, не мешайте! Если идете — идите! Со всеми... А вы — под ногами!

— Бегут, что ли, впереди?

— Да нет. Стоят. Милиция порядок наводит.

— Когда диктор сообщал, голос так и дрожал. Говорить не мог...

— Как вам не стыдно, товарищ? Со стороны пристраиваетесь! Колонна оттуда идет! Во-он, оглянитесь!
— Это что же, родимые, его смотреть?
— ...Да, не приходил в сознание...
— Сто-ой!.. По трое бы построились! Товарищи, товарищи!
— Оживятся они сейчас... Рады!
— Как же мы теперь без него? Как же мы жить-то будем?
— Кто оживится?
— Да всякая международная сволочь. Как раз тот момент, когда они могут начать войну...
— Американцы соболезнование не прислали.
— Куда же смотрела медицина? Лучшие профессора!
— К сожалению, он был не молод. Здесь, видите ли, и медицина бессильна. Как врач говорю.
— Кто после Аллилуевой был его женой?
— Да кто-нибудь был...
— Что-о? За такие слова — знаете? В такой день — что болтаете языком, а?
— Я ничего не сказал, товарищ...
— Что было бы с нами, если бы не он тогда...
— Впереди есть милиция?
— Когда война началась, выступал. Волновался. Боржом наливал. По радио слышно было, как булькало...
— Иди рядом со мной. Не отставай!
— Верочка, не плачь! Не надо, милая. Слезами сейчас не поможешь. Я прошу тебя.
— Гражданин, это ваш сын? Смотрите, у него снялась галошка! Промочит ноги.
— Я на всех стройках... И в первую пятилетку, и потом...
— Социализм вытащил...
— Когда брата в тридцать седьмом арестовали, он Сталину письмо написал.
— Ну? Что вы шепотом?.. А он...
— Не передали ему, видать, секретари.
— Девочка, где твоя мама? Ты одна? Слушайте, чей это ребенок? Чей ребенок?
— Дедушка Сталин умер, да? Я пойду смотреть. А мамы нет дома.
— Господи! Иди сейчас же домой! Ты потеряешься! Что же это происходит?

— Те улицы оцепили. И проходные дворы. Народу-то...

— От Курского вокзала...

— Неужели Манеж перекрыли? Через Трубную?

— Слово у него было твердое. Много не говорил.

— В праздники на Мавзолее бывало стоит, рукой машет... А последнего Первого мая его не было...

— Как это не было? Я сам видел.

— Да, проститься.

— Я с сорок первого... Ничего, дойду на костыльке. Всю войну на ногах.

— Что там? Опять побежали?

— Вы ничего не видите? Почему остановились?

— Почему остановились?..

— Какие-то машины, говорят, впереди. Зачем машины?

— Девочка! Ты не ушла? Где мама, я спрашиваю? Это ваша?

— Нет, опять пошли...

— Вся Москва тронулась.

— Где? Где? Ему плохо, наверно. На тротуар сел. В годах. Товарищи, помогите кто-нибудь. Устал, видимо...

— Пошли, пошли! Ровней, товарищи, ровней!

Толпа текла, колыхалась, густо и черно заполняя улицу, с хлюпанием месила растаявший сырой пласт гололеда на асфальте; по толпе дул промозглый мартовский ветер, и никого не защищали спины, поднятые воротники; ветер проникал в середину шагающих людей, выжимая слезы; и зябли лица, отгибались края шляп, полы пальто, отлетали за плечи концы головных платков. Люди не согревались ходьбой; от обдутой одежды несло холодом — низкое, пасмурное, тяжелое небо клубилось над крышами, вливало резкий воздух туч в провалы кишевших народом улиц. С щелканьем выстрелов полоскались очерненные крепом флаги на балконах, над подворотнями; из репродукторов из Колонного зала приглушенно лились над толпами, над головами людей траурные мелодии, сгибая спины этим непрерывным оповещением смерти, непоправимостью случившегося.

— Музыка-то, музыка зачем? — закашлявшись, сказал кто-то сбоку от Константина. — И так сердце рвет...

— Смотри, женщина одна ведь!.. Из троллейбуса не выберется!

Толпу несло, вплотную притирая к цепочке стоявших под обледенелыми тополями троллейбусов. В гуле движения, в многотысячном шарканье, в липком шуме ног по мостовой не слышно было, как, закрыв лицо руками, плакала, рвалась женщина в замкнутую толпой дверь опустевшего троллейбуса. Но рядом сквозь голоса послышались бабьи вскрики, причитания, заглушаемые влажными комками платков, прижимаемых ко рту. Впереди тоненько заплакала девочка, крича испуганно: «Мама! Мама!» — и тотчас, как бы подхватив этот крик, истерически взвизгнули, зовя детей, несколько женских голосов, несдерживаемые вопли прокатились по толпе, охватывая ее, вырываясь в диком упоенном ужасе горя — и от мелодий Шопена, и от непонятности при виде этой мелькнувшей женщины в пустом троллейбусе. Кто-то крикнул:

— Стойте же! Стойте же, стойте! Она не успела выйти! Она была с девочкой! Я видел...

— Помогите ей!

— Да это кондуктор.

— Какой кондуктор? Ни одного нет!

— Боже мой, Костя, что это? Нас все время сжимают... Откуда столько людей? Ты слышишь — там впереди кричат!

Люди продвигались толчками, будто тяжко раскачивало их, сжимало стенами домов, толкало сзади волнами; впереди усилились крики женщин; крики эти и плач детей захлестывались новым слитным ревом голосов, этот рев катился спереди на людей. Никто не знал, что случилось там,— вытягивали шеи и подымались из плоти толпы, оглядывались растерянные и недоуменные лица.

— Что там? Что?

— Ася! Нам нужно вернуться! — крикнул Константин.— Нам не нужно ходить! Нам нужно вернуться!

Константин шел в середине толпы, охватив Асю за талию, защищая ее от натиска спин и ног все сгущавшейся людской тесноты,— нельзя было понять, почему так плотно сдавило, так закачало толпу, но он еще пытался раздвигать локти, напрягая мускулы плеч, он еще

держал их раздвинутыми, и вдруг его локти приплюснуло к бокам. Он сразу ощутил чье-то прерывистое, трудное дыхание на затылке, на щеке, упругое живое шевеление человеческой массы, навалившейся сзади с двух сторон. И уже изо всей силы вырывая свои одеревеневшие локти, охраняя Асю, он с тревогой увидел ее добела прикушенную губу, увеличенно напряженные глаза.

Константин успел прижать ее к себе, успел наклониться к ее побелевшему лицу, крикнуть:

— Ася! Идем отсюда! Здесь нельзя! К тротуару, к тротуару! За мной! Охватывай меня руками за пояс!

«Зачем я послушался ее? Зачем мы пошли? Она хотела посмотреть? Зачем мы в этой толпе?»

Впереди опять закричали женщины. На мгновение разорвало и стремительно понесло в прореху толпу, какие-то цепляющиеся, раздирающие руки, набрякшие, задыхающиеся лица втиснулись между ним и Асей, и тут же их оторвало друг от друга.

— Ася! Ася!..

Константина несколько раз повернуло в круговороте гущи и неистово потащило, поволокло на чужих плечах, ногах куда-то наискосок, боком к оглушительно надвигающемуся реву, это теперь не были человеческие голоса — казалось, рокочущая, вставшая до серого неба волна океана накатывалась на людей, готовая опрокинуть, утопить их.

— Ася!.. Ася!..— Константин уже не крикнул, а крик этот выдавился из его стиснутой чужими телами груди.— Ася-а!..

Он не понимал, не мог понять, что случилось и почему случилось это, он только, вырываясь из тисков человеческих тел, увидел возникшее среди голов бледное родное незащищенное лицо Аси с умоляющими глазами, намертво прикушенной губой и, ожесточенно расталкивая живую стену напирающих плеч, начал протискиваться к ней с необычайной охватившей его силой.

Он видел впереди ищущее лицо Аси, смутно чувствовал бешеные толчки своих рук, он задыхался, и в его сознании билось оглушающим молоточком: «Только бы не упала! Только бы... Только бы не упала!..»

Константин слышал впереди себя возгласы, рвущиеся

в уши, но эти удары молоточка в сознании заглушали все: «Только бы не упала, только бы...»

— Что же это... Что же это, товарищи!..

— Кто сделал? Зачем?

— Я не могу!.. Я не могу!.. Я не могу...

— Коля-а!..

— С ума, что ли, сошли?

— Почему это?.. Что устроили!..

— Я упаду... Не могу!

— Зачем взяли детей!..

— ...Что вам? Что вы делаете?

— О-о-ох!..

— Машины с песком!.. Преградили путь!

— На Петровку!..

— Зачем? Зачем?

— Что ж это такое?.. А?

— С Трубной народ...

— Фонарный столб... Смотрите!

— Витя... держись, родной мальчик!.. Держись! Ручками держись! Потерпи!.. Держись, сыночек!

— Па-па!.. Ми-илый... Папочка!..

«Только бы не упала!.. Только бы... Только бы не упала!..»

— Ася-а! Ася!..

Он уже не видел ее лица, он лишь видел платок Аси среди месива людских голов, и как бы косо вырастая из спертой черноты толпы, закачались слева голые деревья бульвара,— и оттуда вроде бы приблизились кузова грузовых машин, сереющие мешки из-за бортов, столб фонаря с прилипшим к нему телом мальчика. Мальчик, без шапки, в растерзанном пальтишке, с захлестнутым на спину пионерским галстуком, плача, обвивал руками фонарный столб, елозил маленькими, сплошь заляпанными грязью ботинками по растопыренным, вскинутым вверх, как подпорка, ладоням мужчины, человеческой массой притиснутого к столбу. Мужчина в разорванном на плече плаще глядел побелевшими страшными глазами и не кричал, а всем лицом просил о пощаде:

— Витенька, держись, сыночек, крепче!.. Витя! Родной, я здесь... Еще немножечко, упирайся мне в руки! Ну, держись! Ну, держись! Товарищи, товарищи!..

— Па-апочка!.. Не могу... Ми-иленький...

— Ви-итя!.. Сыночек!..

— Господи-и, упал! — воем прокатилось по толпе, шатнувшейся назад.— Мальчик!..

— Товарищи! Товарищи!

Константин не заметил, как упал мальчик, только что-то темное мелькнуло над головами, и толпа закачалась. Завизжали женщины, донеслись крики: «Остановитесь!»

«Где мальчик? Только бы не упала... Только бы не упала! Только бы!..— как молитва, проносилось в мозгу Константина.— Ася, не упади. Ася, не упади. Мальчик упал? И что же? Что же?..»

— Асенька!.. Ася! — крикнул он, вывертываясь и выжимаясь из клещей толпы, теперь совсем не чувствуя ногами твердость мостовой. Его приподняло и несло; кто-то, хрипя, лез сзади на плечи, упорно, обезумело упираясь кулаками ему в спину, в затылок, возникло сбоку с пустыми, вылезшими из орбит глазами, с перекошенным ртом, сизое и потное лицо парня. В исступлении колотя кулаками, он лез куда-то в сторону и вверх, на головы людей, и Константин, охваченный внезапным бешенством к этому безглазому лицу, готовому все смять, с ненавистью и злой силой ударил его головой в нависшей подбородок и еще раз ударил.

— Сволочь!.. Куда? Не видишь — там женщины, дети!..

— Ты-и!..— заревело, мотаясь, лицо.— Один хочешь смотреть? Один?.. А я из Мытищ приехал!..

— Такие сволочи детей давят! — крикнул кто-то рыдающим голосом.— Озверел, дурак?

— Товарищи! Стойте! Остановитесь! Там мальчик! Там женщины!.. Мы не должны!

— Что же это творится?

— Как случилось? Я не могу понять!..

— Дети... Мальчик... А отец, отец где?

— Милиция — что?

— Там.

— Господи! Прости, господи!

— Товарищи, товарищи...

— А ребенок... Мальчонка где? Отец где?

— Женщина кричит... Опять!..

«Только бы не упала... Только бы... Какая женщина?»

Уже еле двигая окаменевшими локтями, он пробирался сквозь толпу, плохо слыша голоса, возгласы, придушенные стоны, в ожидании несчастья искал через головы людей узкий, будто кружащий вблизи фонарного столба платок Аси, задыхаясь, рвался к этому платку, никогда в жизни не осознавая так близко несчастья, которое могло произойти там, впереди; сердце, как вытесненное, билось в горле.

— Ася!.. Ася!.. Я к тебе!.. Я иду!..

— Товарищи! Товарищи! Мужчины, в цепь, в цепь! Сюда, в цепь! — Чей-то крик прорывался слева, хлестал по толпе.— Мужчины, сюда!

Фонарь, милицейские грузовики с песком, загораживающие улицу, голые деревья бульвара колебались перед глазами; толпа шаталась из стороны в сторону, как единое тело. Фонарь, приближаясь, медленно разрезал ее водоразделом. Потом на мгновение стало просторнее, твердая земля появилась под ногами, в разорванной щели меж людей мелькнула цепь милиционеров, правее цепи каких-то штатских, взявшихся за руки.

— Ася-а!..

— Костя!..— услышал он в вое голосов, надсадных командах милиционеров слабый Асин крик и из последних сил ринулся туда, в эту образовавшуюся в толпе щель. И, едва не плача, увидел ее руки, охватившие фонарь, щеку, придавившуюся к столбу, закрытые, замершие веки.

— Ася!.. Ася! Родная моя!..— Он оторвал ее от столба, повернул к себе, заглядывая в ее кричащие, с крупными слезами глаза, капельки крови выступали из прикушенной нижней губы.— Ася... Ася... Ася...— повторял он.— Ася, что? Что?.. Ася...

Он не мог ничего больше выговорить, он инстинктивно обнял ее, пригнул голову к своей потной шее и, резко отклоняясь спиной, потянул ее сейчас же в узкую щель разбившейся перед цепью милиционеров толпы. А она еще пыталась отогнуть голову, оглянуться назад, и он чувствовал своей горячей мокрой шеей ее незнакомый вздрагивающий голос:

— Там... у фонаря... там... мальчика... мальчика... Ты ничего... Ты ничего не видел?

— Сюда! Сюда!.. Прижимайся ко мне! Сюда!..

Толпа в этот миг стиснула их, охватила толщей тру-

щихся тел; люди, сминая цепь милиционеров, кинулись в неширокий проход между стоявшими поперек улиц грузовиками. Константина ударило спиной о кузов, и он успел прижать Асю к себе, страшным усилием всех мускулов, рвя на спине куртку о кузов, успел ее повернуть боком к радиатору.

Почему-то у ската машины зачернела куча галош, огромных, растоптанных, и детских, на красной подкладке, и почему-то непонятно, разноголосо вырывался детский плач из-под машины.

Константин, как в пелене, различал: копошились там, высовывались из-под днища тонкие ножки в чулочках, появлялись возле колес красные ребячьи пальчики, тонущие в месиве грязи; оттуда несся детский вопль:

— Мама! Ма-ма! Ма-амочка!

Константин повторял хрипло:

— Сюда! Сюда!

С трудом он разжал объятия, не выпуская Асю, еще на шаг продвинулся к борту машины — и в ту же секунду толкнул ее на подножку. Она упала на нее, не вытирая слез боли, сбегающих по щекам, прикусывая губы, сочившиеся капельками крови, и молча смотрела в небо.

— Ася! Что? Что? — крикнул он.— Ася, ну что?

Она разжала губы.

— Ничего, милый... Ничего, мой мил...

— Ася! Что? Ну скажи же, скажи — больно? Живот?..

Она глотала душившие ее рыдания.

— Там... у фонаря... Мальчик!.. А люди, люди... что с ними! Мне кажется... я наступила на него. Его не успели...— Сдерживая стук зубов, она закрыла лицо руками.— Что же это... милый? Что же это? Почему это случилось? Почему? Здесь дети под машиной... Они залезли под машину. Зачем здесь дети? И тот мальчик...

Оглушенный детским воплем из-под машины, рокотом толпы, напирающей в проходе, Константин, глядя на Асю, испугался этих ярких капелек крови на губах, ее странно поднятых к животу колен и, увидев это, едва сумел выговорить:

— Его успели... Асенька. Его спасли. Ты ни на кого не наступила. Тебе показалось, родная...

Толпа чугунными катками давила на спину Константина, все плотнее притискивая его к машине, к ее крылу, к подножке, на которой полулежала Ася. Людской вал неистовым напором прорывался к проходу, наваливался сзади на машины, на Константина. А он, напрягая мускулы спины и рук, упершихся в железную дверцу грузовика, старался удержать всем своим телом натиск толпы, охранить этот уголок подножки с Асей. И видел лишь ее огромные, молящие глаза, раскрытые на половину лица от боли. Он почти не слышал крики и гул толпы, темными кругами шло в голове. «Сколько так будет — секунда? Минута? — туманно мелькнуло в его сознании.— День? Год? Всю жизнь? Я не выдержу так пяти минут... Я не чувствую рук. Что же делать? Что же делать? Я ничего не могу сделать! Неужели я не могу!.. Вот легче, стало легче...»

Сквозь пот, разъедающий глаза, он вдруг заметил под ногами цепляющиеся красные пальчики, они поползли у ската машины, и, как из серого тумана, поднялось грязное, дурное лицо девочки — она захлебывалась слезами, высовывая голову из-под машины, и, царапая ногтем по рубчатой резине колеса, звала тоненьким, комариным голосом:

— Мама... Мамочка... Я хочу к маме... Я хочу домой...

Константин увидел ее в тот момент, когда толпа, оттиснутая цепью милиционеров, качнулась назад. Он оглянулся. Знал — сейчас толпа, напираемая сзади, снова качнется вперед, забьет трещину, в нее ринутся что-то орущие милиционерам, лезущие сбоку по головам парни с ничего не видящими сизыми лицами, и приплюснут его, и сомнут девочку около ската грузовика.

Он крикнул пересохшим горлом:

— Под машину! Под машину!

Растягивая в плаче большой рот, икая, девочка повела на Константина глазами; пуговицы на ее обтрепанном пальтишке были вырваны с мясом, белые нестриженые волосы растрепанно спадали на плечи.

— Мама!.. Мамочка!.. Домой!.. Я хочу домой!..

Отжимаясь одубевшими руками от железной двер-

цы, он хотел еще раз крикнуть: «Под машину!», но голоса не было, и в эту минуту краем зрения увидел Асины протянутые к девочке руки, оттолкнулся всеми мускулами от дверцы, сделал шаг к скату, только на миг ощутил беспомощно слабенькую детскую ключицу и почти швырнул девочку к Асе на подножку. Успел заметить, как Ася прижала ее светлую голову к коленям,— дверца машины темной зеленой стеной повернулась перед глазами, он сделал обратный шаг к ней. Но в эту минуту страшным напором толпы его крутануло возле подножки, ударило левым боком о крыло грузовика. Он услышал удар о железо, оно, чудилось, вошло в его тело и оглушило, ожгло пронзительной болью. «Неужели? Меня? Меня? Неужели? Меня?..— огненно скользнуло в его сознании.— Меня? Не может быть! Не может быть!..»

Он почувствовал, что не может шевельнуться, и опять услышал жесткий железный хруст. Он хотел привстать на цыпочки, стараясь высвободиться, вдохнуть воздух, но тотчас его сдавило дышащими, рвущимися вокруг машины телами, откинуло на радиатор, мотнуло головой на железо. Готовый закричать от боли в боку, он схватился за радиатор, через текущий туман еще пытаясь найти лицо Аси, прикрытые ее руками светлые волосы девочки. Но не увидел их, ужасаясь тому, что он ничего не может сделать, даже воздух вдохнуть. И прохрипел, ощущая губами соленое железо радиатора:

— Под машину... Под машину, Ася! С девочкой... Под машину!

Он улавливал воющий, нечеловеческий крик, и как будто в зрачки ему лезло лицо женщины с развалившимися на два крыла черными волосами, ее раздирающий вопль:

— Сам ушел и детей моих унес! А-а!..

И голоса сквозь звон в ушах:

— Товарищи! Товарищи! Назад! Мы не пойдем! Милиция! Остановите!

— Людей... что сделали с людьми?

— Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват во всем?

И еще голос:

— Стойте! Стойте!..

Потом все исчезло, и пустота помчала его.

Он хрипел в эту пустоту:

— Ася... Ася... Под машину! Под машину!..

А из сплошной темноты накатывался, ревел шум моря, и он ногами чувствовал удары в сотрясающиеся от грохота камни, и ноги скользили по камням к краю высоты. Он хотел отклониться назад, найти точку опоры, но его подхватило потоком, как шерстинку, понесло между грифельным небом и бурлившей пустыней океана в ревущий хаос каких-то разорванных немых голосов, в месиво приближающихся из какого-то темного коридора лиц, раскрытых ртов, воздетых рук. И в этом каменном коридоре что-то кишело, двигалось, падало, задыхалось в судорожных рыданиях: «Остановитесь!»

Он знал, что сейчас умрет — чувствовал теплую солоноватую струйку крови, стекающую у него изо рта, он глотал ее, закрыв глаза, силясь спокойно понять, кто виноват в его смерти, кто это сделал и почему он должен умереть. Он лежал, истекая кровью, среди сумеречного поля под трассами крупнокалиберных пулеметов, различая близкие голоса немцев, шагающих к нему. Надо было немного отклонить тело, собрать усилием расслабленные мускулы, вытащить пистолет из нагрудного кармана, затекшего сплошь липким, вязким. Он нащупал скользкий пистолет, который был словно обмазан жиром, пальцы нашли спусковой крючок — последнюю пулю всегда оставлял для себя, и теперь не страшно было умирать.

Он остался один на нейтралке, не дополз к своим — и все ближе, все громче раздавались над головой шаги немцев. И он слабыми рывками приближал пистолет к виску, напрягаясь опереться на локоть и выстрелить точно... рука подкосилась — он упал лицом в жесткую землю, и в эти минуты чьи-то знакомые, прохладные ладони повернули его голову, стали гладить по щекам, по лбу, кто-то плакал, кричал и звал его на помощь из каменного коридора, из хаоса голосов, из опрокинутого пепельного неба:

— Костя!.. Костя!..

А он не мог уже ответить никому. Его качало, волокло куда-то, затем нечто серое, тусклое разверзнулось перед ним, и там зазвенело тягуче и непрерывно по железу, и он подумал, что смерть — это железное, бесконечное, с набегающим в уши звоном.

Но то, что показалось ему, не было смертью. Он лишь на несколько минут потерял сознание от удара боком и головой о железо машины.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

«Где Ася? Где же она? Где Ася?..»

Он раскрыл глаза, приподнялся, застонал — и сейчас же ощутил затылком подушку. Он лежал, чувствуя колючую живую боль в боку, слышал добрые звенящие звуки, легкие, брызжущие, и сначала подумал, что это обморочный звон в ушах. Но сознание было ясным.

«Я жив? Я дома? Как я очутился дома? Меня ударило о машину? А Ася, Ася?» — спросил он себя и, мучительно вспоминая, обвел взглядом комнату.

Весь белый, квадрат окна был широко залит солнцем. Раскаленной белизной оно висело над мокрыми крышами двора, и за стеклом мелькали струи, вкрадчиво стучали по карнизу; и где-то внизу бормотало, шепелявило в водосточных трубах, плескало в асфальт.

«Это утро? Идет дождь? — подумал он.— И я один? И я дома?» — снова подумал он и тогда вспомнил все, ужасаясь тому, что вспомнил.

«Она была со мной. Я помню, мы шли... Я помню — она была со мной...»

— Ася! Ася! — позвал он чужим голосом.

И, замирая, встал на ноги, пошатываясь, сделал несколько шагов и толкнул дверь в другую комнату, от слабости держась за косяк, и здесь, не в силах выговорить ни слова, уловил ее шепот сквозь шум струй по оконному стеклу:

— Костя... Я здесь.

Ася сидела на постели, поднятое навстречу лицо бледно, смертельно утомлено, брови дрожали, и выделялись лихорадочным блеском глаза, устремленные на Константина.

— Ася.. ты не спала? — Он передохнул, нашел ее растерянно блестевшие ему в глаза зрачки, но не хватило дыхания сказать в полный голос, спросил шепотом: — Что, Ася, милая? Ничего не болит?.. Ася... Как ты себя чувствуешь?

Константин не узнавал ее за одни сутки похудевшего лица, ее искусанного рта и, подавленный дикой, отчаян-

ной мыслью, что именно он непоправимо виноват перед ней, готовый плакать, упасть перед тахтой на колени, повторял:

— Что?.. Ася... моя Ася...

Он обнял ее, приник переносицей к ее напряженной, пахнущей детской чистотой шее, трогая ее теплые волосы.

— Ася, Ася...

— Костя, что делать? — Она порывисто уткнулась носом в его висок.— Я не знаю, что я должна делать. Как мы теперь будем?

— Что ты говоришь?

— Как жить?

— Ася, не говори так. Нас трое. Ты понимаешь, нас трое.

— Костя... Я должна идти на работу? Ты должен идти на работу? Как будто ничего не случилось? Ну вот.— Она оторвалась от него, ладонями взяла его голову, всматриваясь неспокойно.— Ну вот, слава богу, только синяк. И на боку у тебя синяк. Слава богу, слава богу, что так.

— Я знаю, как жить. Я все знаю, Асенька,— заговорил Константин.— Поверь мне. Ты хочешь поверить мне? Ты веришь, что я люблю тебя?

Она, вздрагивая, гладила, ерошила его волосы на затылке.

— Не могу представить — и мы и *он* могли погибнуть...

— Ася, послушай меня...— И он с успокаивающей нежностью поцеловал ее.— Ася, все будет прекрасно. Все будет как надо. Ты должна сейчас встать и приготовить завтрак, понимаешь меня, Асенька? Так у всех начинается жизнь, правда? С завтрака. Все люди начинают день с завтрака. И мы...

Она сказала тихо:

— Костя, что же будет?

— Прекрасно будет. Главное — вот ты, и мы дома. И я здоров как бык. И я хочу есть.

— Я одну секундочку... Ты не обращай внимания. Это просто нервы...— Она чуть в сторону повернула лицо, и он увидел: слезы поползли по ее щекам полосами. Она попыталась улыбнуться.— Я не буду. Я секундочку.

Я просто не могу. Ты не смотри на это. Вот, уже. Видишь? Уже прекратилось. Я сама не люблю...— Она виновато взглянула на него влажной чернотой глаз.— Хорошо. Пусть так. Выйди на минуточку, я оденусь. Ты готовь на стол. Хотя бы поставь чашки. Я постараюсь взять себя в руки. Я сумею. Ты знаешь, что я сумею.

— Я знаю, Ася. Я знаю.

Потом он закрыл дверь своей комнаты, присел к столу и так сидел, ослабли колени, не было сил убрать постель с дивана — ломало, стягивало все тело, как будто целую ночь спал в раскаленных железных тисках, его подташнивало, и неотпускающая боль отдавалась в голове.

Ему надо было перевести дыхание, отдохнуть несколько минут, он ждал, что эти минуты отдыха и слабости кончатся, как только послышатся из другой комнаты шаги Аси, и Константин, прислушиваясь к шорохам в соседней комнате, уперся лбом в сжатый кулак, зажмуриваясь.

Низкое утреннее солнце, прорываясь из-за крыш через мелькание дождя, входило в комнату желтовато-белыми столбами.

Дождь плескал в тротуары, с мокрых перекрестков доносились гудки машин, отрывистая трель трамваев, и Константину вдруг показалось — запахло, как в детстве: теплым паркòм влажного асфальта, сладковатой сыростью тротуаров, дождевых озер, и в лицо ему ощутимо повеяло свежестью намокшей одежды прохожих, пережидавших грозу под каменными арками, в чужих подъездах.

«Вот и дождь,— подумал он.— Я всегда любил дождь...»

Шаги в коридоре, внятный стук в дверь заставили его поднять голову, он подумал, что это Марк Юльевич, и, пересиливая себя, сказал негромко:

— Да, войдите.

И все точно легонько сместилось, все отстранило возникшее в дверях знакомое крупное лицо с влагой дождя на лохматых бровях, затем выдвинулась из коридора массивная фигура, огромные плечи неуклюже натягивали рукава брезентового плаща.

— Федор Иванович...— сказал Константин.

Федор Иванович Плещей, косолапо переваливаясь, шел к нему от двери, грубоватый голос его загудел, казалось, наполняя комнату воздухом гаража:

— Ну, здорово! Не знаешь, что в утреннюю заступаем? Ну, почему молчишь — заболел без бюллетеня?

Константин, медленно вставая навстречу Плещею, проговорил:

— Я не мог... Я был вчера там...

— А я вот к тебе, на пару слов, если разрешишь.— Плещей снял плащ, взглядывая на Константина, небритого, осунувшегося, в незастегнутой на груди нижней рубашке.— Водки бы с тобой сейчас не мешало, конечно, лупануть для хорошего русского разговора, да на машине я. Был, значит? Давай сядем, что ли. А то стоим, как-то неудобно вроде...

— Да,— хрипловато выговорил Константин.— Вы всё знаете, что было?

— Не один я, вся Москва знает. Да вон вижу — фонарь на виске, не объясняй,— сказал Плещей густым басом.— Ну? Поэтому на работу не вышел? Или другие причины?

Константин после молчания заговорил:

— Да, Федор Иванович... Я бы очень хотел, чтобы вы видели тот момент, когда на бульваре началась давка. Я этого не забуду. Нет, не об этом я хотел... Можете ответить мне откровенно?.. Только откровенно. Как теперь будет?

— Врать бы научиться можно было, да не смог, таланту не хватило.— Плещей продул мундштук и усмехнулся.— Вот ты жив-здоров, вот я с тобой здесь сижу, а не где-нибудь. Это главное. Понял ты, Костя? Время-то, дружище Константин, на месте не стоит. Не может оно стоять. Время — оно умнее нас... А синяки, брат, скоро пройдут! Скоро!..

И Константину в эту минуту показалось, что Плещей никогда не знал того одиночества, какое познал он за эти последние дни, и еще показалось ему, что в живых глазах Плещея, в его тяжелых плечах, распирающих поношенный пиджачок, были доброта и мужское спокойствие.

Константин проговорил:

— Скажите, Федор Иванович... Ответьте мне на один вопрос. Вы ведь давно в партии?

— С тридцать второго. А что?

— Нет, ничего. Просто так...

— Ася! — позвал Константин, глядя на дверь в другую комнату.— Я голоден, как тысяча чертей! Ты слышишь, Ася? Мы ждем тебя. У нас гость.

— Я иду. Я готова.

«Что было бы со мной, если бы не она? — опять подумал он.— За что она любит меня?»

Из другой комнаты приближались шаги.

1964

ВЫБОР

ГЛАВА ПЕРВАЯ

После ухода гостей было пусто и тихо, еще горели в передней бра по бокам зеркала, еще не были погашены люстры в комнатах, мягко светил нежнейшей полутенью сиреневый купол торшера над тахтой, везде пахло сигаретным дымом, чужими духами; и было немного грустно оттого, что всюду сдвинутые с мест кресла, переполненные окурками пепельницы, обгорелые спички на ковре, неприбранные бокалы с торчащими из недопитых коктейлей соломинками и горы тарелок на кухне — все это напоминало хаос незаконченного и обидного разгрома в квартире.

Васильев, обессиленный бесконечными разговорами об искусстве, лестью и приятными улыбками, проводив до лифта последних гостей жены, с облегчением подвязал ее кухонный передник и принялся сверх меры старательно убирать посуду в столовой. Однако Мария умоляющими глазами остановила его («не надо сейчас...») и села на диван, обнимая себя за плечи, задумчиво отвернулась к окну, за которым густо синела февральская ночь.

— Слава богу, наконец-то,— сказала она.— Меня ноги уже не держат.

— Ты знаешь, сколько времени? — спросил он встревоженно.— Второй час... Ничего себе! Хорошо, что ты не открыла причину торжества. Конца и краю тостам до утра не было бы. Как это, Маша,— с днем ангела? Или с днем именин?

— Я очень устала,— проговорила она, закуривая, и улыбнулась ему вскользь.— Благодарю, милый... и не будем об этом. Это все несущественные детали, и все не стоит того... Спокойной ночи! Я немного посижу одна. Иди спать, пожалуйста...

Он почувствовал неискренность ее слов, и это фамильярно-классическое «не стоит того», и это салонно-светское «благодарю, милый» как будто неприятно загородили ее, отдаляя в чуждую ей манерность, заметную в дни размолвок, прежде нечастых, которые сразу создавали головокружительную зыбкость качнувшегося моста.

— Да, Володя, иди, пожалуйста, иди же,— повторила Мария с усталой настойчивостью и, прислонив дымящуюся сигарету к краю пепельницы, налила себе красного вина.— Если ты хочешь мне что-то сказать серьезное о моих гостях, то сейчас говорить не надо — я не хочу...

— Я мало с кем знаком из твоих гостей, Маша.

— И может быть, поэтому ты был очень мил. Всех женщин очаровал.

Она отпила глоток; он увидел, как сдвинулось ее горло и осталась влажная красноватая полоска на ее губах, родственный и нежный вкус которых он так хорошо знал.

— Маша, о чем ты говоришь? Женщин? Очаровал? Этого я не уразумел.

— Я прошу тебя — давай помолчим...

Нет, он не помнил, чтобы раньше после ухода гостей она сидела вот так одна на диване, заложив ногу за ногу, рассеянно пила, в задумчивости затягивалась сигаретой, покачивая узким носком туфли,— еще четыре месяца назад он посчитал бы это за некую превеселую игру, предложенную ему (ради озорного развлечения) из какого-нибудь пошленького иностранного фильма, банального фарса, переведенного ею для закупочной комиссии на просмотре в главке, и готов был, как иногда бывало раньше, услышать ее смеющийся протяжный голос: «Ита-ак, мосье, мы проводили гостей. Ушли знаменитости! Какое облегчение! Что же мы будем делать?

Ты уедешь в мастерскую? Или останешься со своей женой?» Он сейчас не ждал подобной фразы, а несколько озадаченно глядел на то, как Мария медлительно пригубливала бокал между затяжками сигаретой, но ему почему-то не хватало решимости удивиться этому ее желанию, похожему на каприз или вызов, поэтому он сказал с шутливой неуклюжестью:

— Ты не очень разгулялась, Маша? Ничего не случилось?

— Господи! — она опустила глаза, точно преодолевая боль, и он увидел ее ресницы, тяжелые от слез.— Неужели ты не понимаешь простых вещей — мне хочется побыть одной. Пойми меня, пожалуйста, я одна хочу отдохнуть от всего на свете...

— Прости, Маша,— сказал он виновато и вышел из комнаты.

Коридор и переднюю еще праздно озаряли бронзовые свечеобразные бра, легкомысленные и бессонные в тишине ночной квартиры, и возле телефонного столика серебристой пустотой отсвечивало пространство зеркала. Васильев мельком взглянул на свое нахмуренное, бледное от утомления лицо («Лучше всего — уехать мне сейчас в мастерскую...»), потом выключил свет, эту запоздалую электрическую иллюминацию близ зеркала, мгновенно ставшего таинственно-темным, и долго в передней надевал теплейший полутулуп, любимый им, в котором зимой ездил на натуру, долго возился с «молниями» меховых ботинок, раздумывая о позднем времени, когда ехать в мастерскую бессмысленно, но Мария молчала, не останавливала его, не выходила в переднюю, чтобы проводить до двери, подставить щеку для поцелуя, что было заведено между ними.

— Я пошел, Маша,— сказал он, стараясь говорить буднично и внушая себе, что ничего серьезного не произошло.— Я пройдусь по воздуху и подышу. Спокойной ночи!

— До свиданья, Володя, я утром позвоню,— отозвалась Мария из гостиной предупредительным, почти ласковым тоном, и он вышел на лестничную площадку, закрыл своим ключом дверь.

Ожидая лифт под желтой лампочкой на восьмом этаже спящего многоквартирного дома, он услышал сдавленный смех вперемежку с шепотом и покосился в сторону окна, где подле батареи (как бывало почасту)

стояла парочка, заметил что-то знакомое в девичьей фигуре, и тут же явственно его окликнул удивленно-звучный голос дочери:

— Па-а, куда ты? И зачем ты?

Ему было не очень приятно видеть в этот час рядом с дочерью рослого, не первой молодости актера Светозарова, жгучего красавца, анекдотиста, выпивоху, любителя розыгрышей, дважды женатого и дважды разведенного, с манерами опереточного дамского угодника, и Васильев почувствовал колкий, оскорбительный холодок от наивной неопытности и чрезмерной неразборчивости дочери.

— Тебе, вероятно, пора, Вика,— сказал Васильев и оглядел Светозарова с искренним любопытством.— И вам, молодой человек неотразимой наружности, пора бы уже отпустить советскую студентку, которой вставать на лекцию в семь.

— Виктория, вы должны подчиниться старшим,— заговорил глубоким баритоном Светозаров, изображая благоразумную покорность.— Владимир Алексеевич, великодушно извините меня за непредвиденную полночность... Готов и в монастырь замаливать грехи, если бы адрес был хоть одного действующего. Негде покаяться.

— Пожалуйте вместо обители со мной в лифт. Я объясню, как поступить.

— Па-а, перестань! — возразила Виктория со смехом.— Начинаются советы и поучения! Анатолий рассказывает смешные истории, а я хохочу! Ты слышал о репетициях во МХАТе? О Массальском и Ершове? Нет? Как во время пьесы они подпрыгивали на сцене по сигналу «брэк»?

— К сожалению и прискорбию, не слышал,— сказал Васильев, насмешливо обращаясь к Светозарову, вмиг изобразившему послушное внимание домашнего мальчика.— Вы, Анатолий, не устали языком артикулировать? Посмотрите на часы, очаровательный любитель монастырей. Время уже неприличное.

— Артикулировать? Ха-ха! Как, как? — почтительно поразился Светозаров.— Не понял мысль, Владимир Алексеевич, по темноте своей! Что я не устал?

— Ну, попросту болтать без передышки.

— Вы меня обижаете. За что? Незаслуженно! Без вины виноват!

— Я очень сожалею.

«Что это со мной? Почему я раздражаюсь, когда надо сдерживаться?..»

Подошел лифт, освещенный, сиротливо пахнущий морозной одеждой, студеной зимой, с натоптанным снегом на полу, и Васильев, опускаясь в этой удобной механической кабине двадцатого века, несущей его вниз мимо затихших до утра чужих, успокоенных сном квартир, поморщился, закрыл глаза и подумал о потерянном времени и полной ненадобности всего того, что делал и говорил целый вечер дома, устав воспитанно возражать гостям, не чуждым самонадеянно утвердить и особые критерии в искусстве и, конечно, в живописи, легко переходившим (ради спокойствия) в суждениях своих премудрые житейские перекрестки,— и вдруг почувствовал, что в последнее время уже испытывал не раз смутно и счастливо умиротворяющее душу желание уехать в некий час из Москвы надолго, на несколько месяцев, на год, на пять лет, уехать однажды из дома или мастерской, ни о чем не жалея, поселиться где-нибудь на синих вологодских озерах, неторопливо созерцать естественное, первородное, жить с рыбаками, есть простую деревенскую пищу, писать облачные северные пейзажи, неизощренные портреты рыбаков, прожженные солнцем и водкой лица...

Ему не работалось месяца два. Он часами лежал в мастерской на старом, с привычнейшим скрипом пружин диване, читал «Дневники» Толстого последних лет жизни, напитывался весь исповедальной болью великого человека. Но затем, самоказняще и скептически охлаждаясь, Васильев возвращался к самому себе, ощущая обман и современную парадоксальность насильственного опрощения. И далекое от Москвы, шума и суеты убежище, которое порой облюбовывал он в воображении, представлялось после трезвых размышлений успокоительным «пленэром», либо туристским, либо курортным местом, занятым известным в искусстве человеком на определенный срок. Ему ясно было, что им в пятьдесят четыре года уже не управляла никакая честолюбивая идея (как было еще несколько лет назад), кроме двух нерушимых страстей — любви к извечной, грубой и нежной красоте природы и сумасшедшей преданности работе, этой добровольной сладкой каторге, без чего утрачивался для него всякий смысл существования.

В те дни и месяцы, когда не работалось, когда все

было притушено в нем и будто дремало, он мог легко поверить, что талант его (если он прежде был) погиб, пропал, и в такие пепельные периоды привычно высокие отзывы, хвалебные статьи казались мелкими и выспренно-ложными, участие в очередной выставке («Там обязательно должны быть и ваши вещи») запоздало ненужным, а поездки за границу, куда его стали приглашать охотно лет пятнадцать назад, занимали уже не столько вернисажем в каком-нибудь университете или частном салоне, набитом ядовитыми критиками и беззастенчивыми журналистами, но теми изощренно-уксусными диалогами о «традиционализме» и «модерне», когда он, слушая, потягивая коктейль, загорался постепенно веселой злостью против «интеллектуальной» болтовни, начинал полусерьезно спорить, опровергать эти надоевшие до черта коллажи, поп-арты, маодадаизмы, намеренно противопоставляя им сюрреализм, а не реализм, после чего с любопытством наблюдал новый поворот спора, где господствовал риторический хаос, подобный хаосу в современной живописи Старого и Нового Света. Это, конечно, были не дискуссии стоической погони за истиной (кто бы осмелился указать ее в век сомнений?), а была своего рода игра, развлечение, умственные качели, убийство свободного времени, доходная профессия взрослых, утомленных цивилизацией людей, ненавидящих художников и влюбленных в них. И общение с ними было небезынтересно Васильеву до тех пор, пока не открылась угнетающая однообразность повторений: и одни и те же разговоры, и одни и те же вопросы, и похожие один на другой отели, и «стандартфрюштуки», и «ленчи», и одинаковые физиономии портье и кельнеров.

И Васильев уже отказывался от приглашений, перестал ездить за границу, а однажды, в ресторане клуба, случайно услышал вожделенную фразу: «А я завтра наконец-то сяду в отдельное купе «эсвэ», лягу на приготовленную постель, высплюсь как следует и послезавтра буду в Париже»,— услышав эту фразу, исполненную томительного желания сбывающейся мечты, Васильев вопросительно взглянул на соседний столик, увидел там в компании коллег уважаемого акварелиста, не вполне трезвого, сладостно подкладывающего ладонь ковшиком под толстую малиновую щеку, выражающего так неодолимое влечение к вагонному отдыху, и ощутил во фразе

и лицедействе акварелиста не мечту об отдыхе в отдельном купе спального вагона, а просто тягу за границу — к пестрой толпе на зеленых, солнечных, аккуратно ухоженных бульварах, к древним островерхим соборам на отполированной брусчатке средневековых площадей, к теплу и мягкому воздуху, к сверканию зеркальных витрин и шумной многолюдности на торговых улицах, к красным огням и рекламам ночных кабаре, к маленьким кинотеатрам, полупустым, уютным, где разрешено курить,— то есть ко всему тому, к чему тянуло и его еще два года назад.

Акварелист зорко перехватил взгляд Васильева и вскинул неопрятные брови, изготовленный к раздражению и обиде (господи, спаси нас от неврозов двадцатого века!), но Васильев с невозмутимым миролюбием сказал: «Сочувствую».— «Чему же такому вы сочувствуете?» — спросил коллега, густо багровея, и выше возвел взлохмаченные брови. «Вашим хлопотам»,— ответил Васильев, не считая нужным объяснять, что хлопоты накануне всякой поездки за границу всегда связаны с ожиданием приятного путешествия и, разумеется, необычных, всегда радостных перемен: европейские вокзалы и аэропорты, неизменное кофе в баре, рукопожатия, приподымание шляп, вежливые улыбки, «Что вы будете пить?», «Не пойти ли нам вечером на нашумевший неприличный фильм?» и химическая душистость розового мыла в ванной, запах озонатора в туалете, белое сияние кафеля, тщательное бритье перед освещенным зеркалом и свежие прохладные сорочки по утрам, тесными воротниками жмущие шею на вечерних приемах, фальшиво-приветливая игра глаз, простодушное удивление по поводу того, что в России все-таки есть искусство и даже хорошие портные, вездесущие репортеры бойких газет, поджидавшие, по обыкновению, в вестибюлях отелей за столиками с апельсиновым коктейлем, стереотипные «непровокационные» вопросы, десятки раз задаваемые в разных странах мира... «Сочувствую вашим заботам, не более того»,— договорил без выражения Васильев, а его коллега, весь коньячно-багровый, натужно выпустил ненатуральный хохоток, самолюбиво выговорил: «Вы либо сноб, Васильев, либо завистник».— «И то и другое вместе»,— сказал Васильев, но тотчас подумал с грустным сожалением, что пресытился, наелся досыта, до тошноты, «заграницами», устал, удовлетворил лохматое

любопытство, и ничто заманивающее не связывало его теперь ни с Парижем, ни с Нью-Йорком, ни со Стокгольмом, городами, такими влекущими, пленительными издали и такими обыденными вблизи. Он не мог в них сосредоточиться, они не вызывали легкого пьянящего возбуждения, тщеславной дерзости, что иногда предшествовало желанию взяться за работу. Из-за границы он не привез ни одной добротной работы, лишь эскизы и беглые зарисовки в записной книжке оставались, как звук мотива или воспоминание, как дальний отсвет скользнувшего сна. И все же исключением он считал Венецию, куда дважды приезжал туристом, а третий раз по приглашению ассоциации итальянских художников был прошлой осенью вместе с Марией, уже хорошо зная колдовство города на воде, помня названия улочек, набережных и мостов над каналами, названия приветливых ресторанов близ собора и площади Святого Марка...

Здесь он тоже ничего не писал, опасаясь быть копиистом, убежденный в том, что самый плохой художник может «начирикать» пейзаж Венеции, столетиями вбиравший в себя идею света, настроение и переизбыточную красоту.

Здесь, в этот последний приезд в Венецию, Васильев впервые серьезно почувствовал свое тягостное переутомление, свое нездоровье, осложненное какой-то странно молчаливой размолвкой с Марией, ничем не похожей на прежние ссоры, мимолетные, как дождь сквозь солнечные лучи.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Февральская метель обдала его снегом с ног до головы, ожгла жесткой влагой, отрезвляя после вина, сигарет и пахучего тепла.

Была глухая пора ночи, во всем квартале крутило и вьюжило, вверху гудели обледенелые тополя, мутные фонари скрипели, вздрагивали на столбах в ветровых токах улицы.

Снег пахнул глубинным степным холодом, и Васильев, щурясь от снега, вдохнул его метельную свежесть, поглядел на потонувшие в подвижной пелене дома, отыскивая хотя бы единственный свет окна, и подумал, что давно не было такой деревенской метели в Москве, такого первозданного запаха зимней ночи. Этот запах

приносил неясное волнение далекого, навеки детского, ушедшего, и ему не захотелось сейчас в мастерскую, а внезапно потянуло куда-то в глубину ненастной дали — во вьюжный сумрак заваленных снегом замоскворецких переулков с шумящими над заборами деревьями, к наполовину разрушенным церковкам, заброшенным, мрачноватым за ржавыми, но еще сохранившимися оградами, к трехэтажным купеческим домам с каменными арками ворот, за которыми виднелись в снежной заверти маленькие дворики с сарайчиками, старыми голубятнями, врытыми в землю столами под столетними липами,— дворики, не менее живописные, чем парижские или итальянские.

До пятьдесят четвертого года Васильев жил в Замоскворечье, любил его улочки и его переулки, они снились ему, хотя много лет после войны он прожил в другом, новом районе, в другом дворе, даже отдаленно не напоминавшем прошлое, родное.

«Ночь, метель и деревенская свежесть воздуха,— подумал Васильев, возбужденный непогодой зимнего ночного часа и студеной влагой снега на бровях.— Из-за одной такой ночи стоит жить, черт возьми! Хочу в Замоскворечье! Сколько лет я там не был! Сейчас разбужу Лопатина, и до утра пойдем бродить по Москве, протопаем пешком до Павелецкого вокзала, взглянем на Шлюзовую набережную, на Озерковскую, на церковь в Вишняковском переулке...»

Друг его художник-график Александр Георгиевич Лопатин жил неподалеку, в двух кварталах ходьбы от Васильева, в одной из тихих, как тупичок, улиц с разросшимися тополями, так буйно цветущими в июне, что несколько дней неуемный пух летал в воздухе, застилал тротуары белыми пластами, скапливался в затишках возле подъездов, нежной волной облепливал ветровые стекла машин, подобно первому снегу; зимой же здесь бывало дико и провинциально-вьюжно, тополя утопали стволами в сугробах и, вздрагивая ветвями под напором ветра, скреблись и стучали мерзлыми сучьями в окна верхних этажей.

Лопатин ходил в холостяках (четыре года назад был разведен), отличался внешне безалаберной жизнью, летом постоянно бывал в поездках, ночевал где попало — в деревнях, на вокзалах, у костра, но зимой подолгу задерживался в Москве, «выписывался» за лето и осень,

запасался сигаретами, набивал продуктами холодильник, запирался, уединялся в своей квартирке, никуда не выходил, лишь еженедельно выбирался с веничком в Сандуны. Спать он ложился нередко на рассвете, вставал поздно (по заказам издательств работал главным образом ночами), и одно окно его комнаты проступало зеленым пятном во тьме тихой улицы, и порой бывало оно спасительной ракетой для Васильева.

Подходя к дому, он взглянул вверх, на высоту тополя, где обычно светилось знакомое окно, но оно было темным.

«Спит?» — подумал Васильев, озадаченный, однако, поднявшись на четвертый этаж, позвонил решительно, прислушиваясь к сонной тишине на лестнице, к испуганному всплеску звонка в квартире, от которого как бы пошли неспокойные круги в стоячей воде, и минуты через три знакомый голос низко загудел за дверью:

— Кого, хотел бы я знать, ночью леший принесли? Кто там еще?

За дверью послышалось продолжительное кряхтенье, покашливание курильщика, щелкнул замок — и в проеме хлынувшего из передней света вырос заспанный Лопатин, облаченный в длинную ночную рубаху, босиком, его взлохмаченная борода топорщилась, закрывала половину груди, придавая ему вид дьякона, поднятого с постели нежданным переполохом.

— Это я, Саша, как видишь,— сказал Васильев.— Прости, пожалуйста, разбудил тебя, как по тревоге, но если скажешь сейчас «нет», то уйду, не обижусь...

— Заходи, заходи, малюватель,— густо зарокотал Лопатин, обнимая Васильева, прикладываясь обдавшей теплом бородой к его холодной щеке.— Разбудил, так не выдумывай извинений, понимаешь ли ты. Махать руками после драки — умно, но и глупо, понимаешь ли ты. Ух, как от тебя хорошо уличным морозцем прет! Раздевайся. Давай сюда свою тулупень. Дьявол, кто тебе вешалки пришивает? Мария? Вика? Сам не умеешь? Как вешать прикажешь? За петлю? Придется тебя научить пуговицы и вешалки к одежде пришпандоривать, я, брат, в этом деле — непревзойденный мастер! Нет, не мастер, а гений из гениев, ибо суровость бытия научила. Проходи, дьявол, шлендарь, полуночник московский, пока взашей назад не выпроводил. Шагай.

Лопатин, как всегда, внушительно и кругло окая,

провел Васильева из передней в свою маленькую мастерскую, всю в книжных стеллажах, от пола до потолка, всю заваленную книгами, папками, кипами старых журналов, хаотический этот беспорядок был и на огромном письменном столе, где среди листов картона, ворохов рукописей, стопок рисунков, разнообразных массивных пепельниц, среди груд потрепанных записных книжек, фотографий, трубок, пачек табака и сигарет «Дукат» оставался под настольной лампой крошечный островок, застеленный наподобие скатерти газетой, на котором лежал лист бумаги, по обыкновению, заполненный работой начисто. Газета была испещрена отдельными словами, зачеркнутыми фразами, изрисована квадратами, березками, фигурками людей и птицами. Лопатин же объяснял эту странность прошлой бродяжнической жизнью, а именно тем, что рисовать приходилось в разных обстоятельствах на всяких столах — и кухонных, и садовых, и разделочно-рыбацких, разъеденных морем и солью,— и привычка подстилать газету осталась, присоединив к себе другую привычку: особенно сложную иллюстрацию искать сначала словами, штрихами и знаками на газете, затем, продуманную, уточненную, переносить рисунком на бумагу.

— Садись, садись, ежели в подштанниках середь ночи поднял. Устраивайся на диване, кури,— говорил владимирским напевом Лопатин, сгреб с дивана, освобождая место, кипу книг, которые, видимо, просматривал здесь вечером, и начал закуривать сам.— Крепких хочешь? Русский «Голюаз» желаешь? «Дукат» —штучка. Продирает насквозь рашпилем!..

— Одевайся, Саша,— сказал Васильев, присаживаясь на диван.— Спать — предел глупости. Предлагаю великолепный моцион.

— Куда, мой друг? — Лопатин закурил, швырнул спичку в пепельницу, закашлялся.— Куда и зачем? Опять философия? Читал старика? Или письма Ван-Гога? Надеюсь, ничего драматического не случилось?

— А если?..

— Еще что? Что значит «если»?

— Метель, ветер, снег... а ты спишь... Пойдем, побродим по улицам. Дойдем до Замоскворечья. До Шлюзовой набережной. До Павелецкого вокзала. Ночь прекрасная, а снег пахнет степью, волками и темнотой...

— Да что такое? Почему Замоскворечье? Впрочем —

не возражаю. Да, конечно, согласен,— закивал Лопатин, окутывая дымом бороду.— С наслаждением протопаюсь пешком по ночной метелице! Что? Как ты сказал? Пахнет степью, волками и темнотой? Это в цивилизованной-то Москве? Тебя погубит воображение и философия, Володька! Прелесть! Какой ты реалист?

Васильев сказал задумчиво, разминая сигарету:

— Представь, в Замоскворечье снег когда-то пахнул арбузом, Саша. Но это было давно, в детстве... У тебя есть водка? Пожалуй, по рюмке на дорогу выпить бы надо. Ты не против?

— Против? Jamais![1] Но ты-то, по-моему, уже по инерции, а? — сказал Лопатин и зашлепал по паркету босыми ногами к шкафчику, достал графин с водкой, желтеющей лимонными корочками, налил в рюмки, глянул вприщур на Васильева легкими умными глазами.— Посошок, что ль? Бедным каликам перехожим. Так, что ли, Володя?

«Нет, такое не может быть по инерции, мне не хочется пить,— подумал Васильев, взяв рюмку, стараясь как через мешающее препятствие понять, когда остроту, прежний интерес его к жизни стало подменять душное беспокойство, подкрадываясь приступами и посасывая в груди нефизической болью.— Что ж, это началось не сегодня и не после ухода гостей... Нет, все началось несколько месяцев назад, в Венеции, в дни той поездки вместе с Марией...»

— На посошок, Саша.

«Если бы... смогло помочь это дьяволово зелье!..» — подумал Васильев, испытывая страх перед неотчетливой болью, похожей на отчаяние, на предупреждение о чем-то смертельном, страшном, могущем произойти с ним и Марией, что впервые так ощутил он прошлой осенью.

— Каково, понимаешь ли ты, пить с тобой накануне утра, а? — сказал Лопатин и шумно пыхнул сигаретным дымом.— Да еще горькую. Да еще зенки не продравши. А! Давай, давай пригубим!

И, почесывая одной босой ногой щиколотку другой, чокнулся с Васильевым, выпил, громко фыркнул носом и прошел во вторую комнату, спальню, заскрипел там дверцей шифоньера, одеваясь, крикнул оттуда:

---

[1] Никогда! *(франц.)*.

— Послушай, Володя, дружище, не исключай и встречный план: на углу схватить такси, домчаться до Ярославского вокзала, взять билеты на любой поезд, сесть в теплое купе с уютной бутылочкой, которую я захвачу, и... на милый север! Куда-нибудь в провинциальный городишко денька на три! К соборам, к сугробам под ставнями, к галкам на розовом закате. А? Чудесно, старина... Ты вспомни, что такое северный русский провинциальный городишко зимой! Утром мы его можем увидеть во всей белой прелести! И без всякой московской философии! Какая грусть и свобода, дружище, поселиться где-нибудь в доисторической паршивой гостинице!..

Васильев, как-то успокаивающе обожженный и рюмкой водки на лимонной корочке с примесью, видимо, неизвестной травки, и добротным окающим гудением грубоватого голоса Лопатина, готового без долгих сомнений поддержать любую идею его, будь она самой неблагоразумной, молчал и думал, что еще в жизни не все потеряно, если есть на свете любящий его Лопатин, много повидавший и понявший.

«Да, да он любит в моих слабостях свои слабости, свой бродяжнический размах и свою полную раскованность,— соображал Васильев, вытягивая ноги на диване.— Но ведь я не свободен. И даже наоборот: не хочу быть свободным в понимании Лопатина. Я по-прежнему люблю Марию, и это уже не свобода. И этой несвободы я хочу больше всякой свободы. Любовь к ней?.. Может быть, никого я уже не люблю, а осталась только эгоистическая ревность? Но что между нами началось?»

— Скучаю я по русским северным городкам,— загудел Лопатин, входя в комнату и расправляя бороду поверх толстого грубого, ручной вязки, свитера.— Не тот комфорт, не тот кафель, а неповторимое колдовство... не сравнить ни с какими западными красотами. Чего стоит одна стеклянная тишина в малиновом инее утра! Потом — мороз, солнце, белизна. Дымящиеся проруби в толстенном льду реки с сохранившимися кое-где баньками. И красивейшие русские женщины с ласковыми голубыми глазами, с ума спятить можно от одной певучей речи их!.. А? А на закатах, брат, покой сказочный, только окошки багровым отсвечивают да целыми стаями галки мельтешат над ветхими колоколенками. Помнишь, как мы отменно посидели с тобой неделю под Новгоро-

дом? Там тоже кое-где еще остались островки Руси, слава богу.

— Не хочу, Саша, никуда,— сказал Васильев.

Он вспомнил позапрошлогоднюю поездку в Новгородскую область, поездку внезапную, зимнюю, тоже ночную, мысль о которой родилась в «Арагви», когда обмывали вторую премию Васильева, поездку вынужденную, не совсем трезвую, равную бегству от утомительной московской суеты, праздной нервозности, связанной с телефонными звонками, поздравительными телеграммами, письмами, бесконечными забегами в мастерскую целых компаний художников с несомненной целью и поздравить и выпить. Вот тогда и возникла надежда на спасительный уход в тишину, скрипучий снег, чистый морозный воздух, пахнущий древностью, заиндевелым деревом, сладким покоем и прочностью белого камня, вынужденное бегство от разгульного сумасшествия в милую русскую зиму.

«Бегство, бегство, все время я куда-то бегу. Куда? — подумал Васильев, морщась.— И сейчас бесцеремонно пришел к Александру, зная, что он простит мне все, взбаламутил его и себя...»

— Так взять мне, Володя, на всякий случай чемоданчик? — серьезно спросил Лопатин и выдернул из-за груды книг потертый полусаквояж, полупортфель, показал его Васильеву.— Тот самый, с которым мы ездили. Белье, вино, зубные щетки, бритва... Остальное покупается на месте.

— Никуда не хочу, Саша. Даже в Замоскворечье. Никуда, Саша...— сказал вдруг хриплым голосом Васильев и откинулся на диване с выражением предельной, почти обморочной усталости.

И Лопатин ядовито вскричал, вздергивая плечами:

— Вот-те раз! Как «никуда»? Совсем никуда? — Он хохотнул раскатисто.— Какого хрена ты заставил меня одеться в походную робу? Семь пятниц на неделе, искуситель ты несуразный!

— Сейчас хочу побыть у тебя немного,— сказал Васильев, закрывая глаза.— Я соскучился по тебе. Мы долго не виделись. А я устал что-то очень.

Лопатин без единого слова отбросил полусаквояж в угол, после чего сел с неопределенным кряхтеньем на кипу связанных веревочкой старых газет и сказал наконец:

— Не видел я тебя вроде бы месяца полтора. Так вроде? Как ты, Володенька, поживаешь в последнее время?

— Слава богу, не дай бог,— ответил Васильев, открыл глаза, засмеялся и потянул из пачки на столе сигарету.— «Дукат» я когда-то курил в студенческие годы. Дешево и зло. Не сигареты, а горлодеры.

— Не работал, Володя?

— Нет.

— Что так?

— Не работается, Саша. Уже давно. То есть мазал немного, но все не то...

— В связи с этим восторга не испытываю и в воздух чепчик не бросаю! Не хочется и лень или искорки нет?

— И то и другое, Саша. И даже третье... Об этом не хочу. Лучше покурим твой студенческий горлодер...

— Ладно, я замолкаю. Давай-ка лучше покурим, если не хочешь выпить. А дома как?

— Слава богу...

— Не дай бог,— договорил тоном усмешки Лопатин и, вроде отрезая необязательный разговор, не требующий никакого умственного усилия обоих, спросил строго: — Можешь, конечно, Володя, послать меня подальше, но ответь на один вопрос: ты не болен? Нет?

— Я не болен,— сказал Васильев и со сморщенным лицом потер лоб.— Хотя никто не знает, кто болен: он сам или тот, кого принимает за больного. Вот, например, с точки зрения вашей лифтерши, ты, конечно, псих и анормальный тип: бородища разбойничья, по дому и даже за газетами ходит босиком, курит вонючие сигареты и к тому же бездельник, тунеядец, ибо каждое утро на работу не ездит. Как? Не точно, скажешь? А, расхотелось...

Он не закурил, вложил сигарету обратно в пачку и, готовый, казалось, превесело улыбнуться, не улыбнулся, а, чуть хмурясь, вытянулся поудобнее, скрестил на груди руки и, было похоже, хотел задремать здесь, на этом удобном теплом диване, в зеленом свете настольной лампы, среди уютного книжного хаоса, в квартире-мастерской Лопатина, под гулкие налетающие удары метели за окном.

Лопатин легонько теребил, разлохмачивал бороду, из дебрей ее торчала зажженная сигарета, с тревожной нежностью глядел на Васильева, будто нисколько не

осуждая его за непоследовательность, но намеренный понять до конца, что хочет он, что ждать от него в следующую минуту, и Васильев не без раздражения почувствовал это наблюдающее внимание, и морщинка возле губ передернула его лицо.

— Ответь, Саша,— проговорил медленно Васильев,— тебе знакомо чувство ревности? Не анахронизм оно, а? Правда, глупый вопрос?..

— Названное тобою чувство знакомо всем,— иронически ответил Лопатин и подул сигаретным дымом на зеленый колпак настольной лампы.— Она, то есть ревность, не имеет ни пола, ни возраста, но часто вводит иных людей, охваченных ею, в порывы гневного возмездия и аффекта, смотри Отелло и сотни судебных дел об убийстве жен и мужей, а иных — в зубную боль, в депрессию, в состояние нечеловеческой муки, что хуже всякой пытки, ибо конца ей нет. Какова причина вопроса, Володя?

— Я тебя спрашиваю — тебе знакомо? — повторил Васильев и, приподнимаясь на локте, всмотрелся в лицо Лопатина.— Лично тебе? Ты же был женат на красивой женщине в конце концов.

— Мою бывшую жену я сперва абсолютно не ревновал. До тех пор, пока она не стала ночевать у так называемых подруг... Ну, тут я познал страдания ревнивца, и тут я готов был убить всех этих подруг и себя. Я рычал в бессилии, как стареющий лев, и метался по городу в поисках ее!.. Идиотическое было время! Но она — особ статья. Елена была просто милая пресыщенная потаскушка. Сейчас я свободен, дружище, понимаешь ли ты. Свободен от женщин и любви, а значит, и от ревности. Брак, Володя, мешал мне, как... пудовые кандалы, как гири на ногах. Надо полагать, я не создан для семейных сантиментов. Для меня была сущая каторга: капризы, упреки, обязанности супруга, и не то сделал, не то купил, выпил лишнюю рюмку, обкурил, понимаешь ли ты, всю квартиру и тому подобные воспитательные удобства и бытовые детали.

— Я ревную ее, наверно,— очень тихо сказал Васильев, слушая и в то же время совсем не слушая Лопатина, и, заложив руки за голову, договорил неестественно спокойным голосом: — Это и есть медленная пытка, Саша...

— Не преувеличиваешь ли ты? — Лопатин удивленно

не то застонал, не то замычал и, подавляя эти невнятные звуки кашлем, гулко спросил: — И давно?

— Что давно?

— Ну... твоя пытка началась? Когда почувствовал... эти самые симптомы?

— Спрашиваешь, как будто врач.

— Как твой друг.

— Я почувствовал это в Венеции. Почему в Венеции — объяснить не могу. Впрочем, там многое произошло, Саша. Со мной. И с нею. Нет, ничего не случилось. Все как было. Но что-то произошло...

— Можешь не слушать меня, дурака глупого, но понять тебя трудно, Володя.

— А ты думаешь, я все понимаю?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Поезд в Венецию прибыл поздним вечером. Густой туман тек вдоль безлюдных платформ, по которым одна за другой катились к вагонам пневматические тележки носильщиков, то и дело кричавших зычными голосами, а из открытых окон почти пустого поезда редко высовывались с усталым ожиданием лица, глядели на эти тележки, на мокро отблескивающий под огнями перрон, на небольшую толпу пассажиров, потянувшихся из передних вагонов к застекленному, сплошь окутанному серой мглой вокзалу.

В сопровождении проворного носильщика они спустились по скользким ступеням на брусчатник привокзальной площади, и тут сразу горьковато запахло осенью, мокрым камнем, близкой водой, все вокруг тонуло в таком плотном туманном сумраке, что видна была только часть маленькой площади, за которой чуть-чуть брезжили, плавали размытые пятна фонарей, а вверху, в дымящейся пустоте, мутно-красный конус рекламы «кока-колы».

— Как сыро! — сказала Мария, закутывая горло воротником плаща.— Где же твоя хваленая Венеция? Кажется, даже любимая Венеция? Ни зги не видно.

— Вечером в это время здесь туманы, Маша,— ответил Васильев.— Но утром будет солнце, ты все увидишь.

Она повернулась к нему боком, несколько сердито глядя в сырую, непроницаемую мглу, скрывшую знаме-

нитый город с его огнями отелей, дворцами и мостиками через каналы, с его вечерней жизнью, как будто бы придушенной набухшей толщей шевелящейся всюду пелены, едва пропускавшей дальние светы.

После того как носильщик поспешно подхватил чемоданы и с ловкой и быстрой предупредительностью помог им сойти в катер, после того как они сели на холодные кожаные диваны в салоне, слабо освещенном матовыми плафонами, и Мария закурила, поглядывая на стекла, по которым ползли, растягивались, дымились мутные водяные пласты, катер заработал двигателем, дрожа, зашумел, разворачиваясь, волной, и помчал их в туман, мимо расплывчатых очертаний подымавшихся из воды дворцов, мимо темных бесконечных причалов с проступавшими возле них голыми мачтами яхт, моторными лодками и гондолами.

— Не хочешь, Маша, с палубы посмотреть? — спросил Васильев.— Я хочу взглянуть.

— Нет,— сказала она рассеянно, и он один поднялся по трапу из салона.

Но наверху туман так хлестнул по лицу, забил дыхание осенней влажностью, что стоять здесь, на хлещущем воздухе, против валившей навстречу, текучей, качающейся слева и справа в задушенных огнях зловещей мути, стало неприятно и холодно. И все же, выстояв минут пять, он сошел вниз, в теперь очень теплый после промозглой сырости салончик, уютно пахнущий слабыми духами, синтетической обивкой. Мария сидела на диване, заложив ногу за ногу, улыбаясь, разговаривала с молодым итальянцем Боцарелли, эссеистом, критиком и знатоком живописи, встретившим их на вокзале, и Васильев заметил алые пятна на его скулах, заметил, как он пощипывал чуткими пальцами священника черную аккуратную бородку, косясь бархатными глазами на круглое, прекрасно вылепленное колено Марии, приоткрытое сползшей полой короткого плаща. Раньше Васильев лишь бегло обращал внимание на то, что Мария в своем возрасте («восемнадцать лет давно миновало», как говорила она сама шутливо) еще могла привлекать интерес мужчин, заставляя их неожиданно впадать в игриво-светский тон, распускать веером хвост и глядеть на нее более длительно, чем требовало расположение давних отношений семейной дружбы, но это сначала только будило в нем легкое чувство мужского тщесла-

вия, подогревая любовь к жене. Почти никогда прежде Васильев не задерживал любопытства на ее прилежном интересе к парфюмерии, к разнообразным средствам самой природы, помогавшим еще и в Древнем Риме сохранять женственность фигуры, опрятность во всем, поэтому прошлым летом на пляже в Крыму он внезапно поразился, увидев облитое полуденным солнцем шоколадное от загара тело жены, еще пленительно-молодое, крепкое, сильное, как у гимнастки, с подтянутым животом, и в тот день особенно изучающе, хоть и украдкой, разглядывал Марию, вслушивался в тембр ее голоса, пытаясь и вместе не желая найти признаки того, что после сорока пяти лет стал отмечать у себя даже при мимолетном взгляде в зеркало: лучики морщин вокруг глаз, седину висков, тень усталости на лице. Нет, ее темно-серые глаза не теряли теплый тайный блеск, ее губы улыбались очерченно упруго, и не было лишних морщин, этих неумолимых предвестников женского отчаяния,— она, конечно, выглядела намного моложе своих лет. Он отнес это за счет утренней гимнастики, тенниса и лыж, которыми она занималась не из спортивной любви, а из отвращения к телесному безобразию, из необходимости сохранить нужную ей форму молодости. Только седая прядь тонкой белизной слегка выделялась в русых волосах жены, загадочно подчеркивала уже прожитые годы, где не все было покойно и бесстрастно.

Стеснительный Боцарелли разговаривал с Марией, розовея пятнами, то и дело бросал взгляд на ее ноги, прямые, длинные (ноги Софи Лорен?), а Мария, зная их неотразимость, ласково улыбалась, продолжала спрашивать его о поп-арте и коллаже в итальянском искусстве, и Боцарелли жадно всасывал яркими губами дым сигареты, почему-то заикался, лепетал, трудно выдавливая отрывистые фразы. При виде Васильева он вскочил, вежливо уступая место подле Марии, и тот сейчас же подумал, с попыткой настроиться на веселый лад: «Зачем она хочет понравиться незнакомому мальчику? Или это женский инстинкт — проверка оружия самонадеянной неотразимости опытной женщины?»

— Жал оч-чен,— сказал Боцарелли, изучавший самостоятельно русский язык благодаря любви к Достоевскому, Кандинскому и Малевичу, и указал сигаретой на окно в салоне, выражая лицом крайнее огорчение.

— Что жаль, синьор Боцарелли? — спросил Васильев заинтересованно.— Вам не нравится туман разве? Я думаю, осенняя Венеция — тоже неповторима.

— По-го-да,— выговорил по слогам Боцарелли и словно бы виновато извинился пожатием плеча.

— По-моему, великолепная погода,— возразил Васильев.— Посмотри, Мария, какие сатанинские космы вытянулись вокруг фонарей, видишь? Таких космогоний днем при солнце не бывает, пожалуй.

Он обращался к ней, чтобы попытаться заразить чувством приезда в особый, любимый им город, ему хотелось увидеть мягкий, переливающийся блеск в ее глазах, напоминавший ему летний солнечный день, ему хотелось возбудить ее любопытство и приятным ощущением ожидаемой новизны, таинственной и радостной неизвестности, и он договорил:

— Знаешь, Мария, мы попали в настоящую осень в Венеции. Где еще можно увидеть такой туман?

Мария замедленно посмотрела на стекло салона, мимо которого вблизи проплывали косматые световые пятна, ничего не ответила, и Васильеву показалось, что он увидел в ее ровном взгляде зиму и снег, и томительная зябкая волна окатила его, как бывало порой с ним в часы одиночества.

«Она скрывает, что раздражена против меня? — подумал он.— Что с ней происходит? Она молчит, а я не спрашиваю, и это мучительно...»

И он на миг ощутил душное беспокойство, какое-то опасное охлаждение ко всему, что манило и привлекало его, к чему необъяснимое равнодушие выказывала Мария, умевшая так больно молчать, хотя никаких причин для размолвки между ними не было.

...Минут через десять катер причалил к тускло высветленной в тумане каменной террасе, к ее заплесневелым ступеням, скользко поблескивающим под низкими фонарями, и вверху засвётился — за террасой — старинный подъезд отеля, пробивающий сквозь толстые пласты белый прямоугольник электрического коридора.

После звука мотора, дрожания пола под ногами и едкой сырости, оседавшей каплями на рукавах плащей, маленький вестибюль маленького отеля был особенно тих, покоен, сух, пропитан теплом старого дерева, запа-

хом сигар; и очень красивый, женственно-стройный портье в черном костюме, с плоско зачесанными глянцевитыми волосами, радужно улыбаясь («боанасера, боанасера!»), взял паспорта, тотчас, подобно фокуснику, двумя пальцами выхватил из гнезд ключи, с неисчезающей улыбкой изящно бросил ключи в подставленную ладонь темноглазого мальчика в шапочке с красной кисточкой, и тот, так же приветливо улыбаясь, артистически плавно подхватил чемоданы и понес их, бесшумно побежал по узкой винтовой лестнице с ажурной чеканкой перил, застеленной алой ковровой дорожкой, растворяющей звуки шагов.

А когда на втором этаже вошли в номер, большой, обставленный под старину, повеявший плесенью от близости воды за окнами, пряной затхлостью, с просторной двухспальной кроватью, туалетным трельяжем, бархатным пуфом и потемневшими гравюрами на стенах, когда мальчик виртуозно разложил на деревянных подставках чемоданы и, весело получив чаевые, исчез в затемненном коридоре, Васильев закрыл за ним дверь и тотчас почувствовал ватную тишину комнаты, оставшись вдвоем с Марией. Она же небрежно повесила плащ, распахнула скрипучую створку шкафа, но почему-то не стала раскладывать вещи из чемодана, молча закурила, повернулась спиной к нему.

Васильев знал, что она будет молчать или сдержанно, равнодушно отвечать на его вопросы (так ему казалось, и что было в их отношениях нестерпимо), и он вдруг испугался холода неловкости, незаметно прокравшейся между ними, и, раздосадованный беспричинностью уже несколько дней продолжающейся муки, подумал с обидой: «Ну зачем же такое наказание нам обоим здесь, в Венеции? В конце концов, легче ссориться дома...»

Он подошел к ней сзади и с видом человека, предлагающего удобное решение, сказал мягко:

— Маша, у нас сегодня свободный вечер. Можно посидеть где-нибудь в ресторанчике около площади Святого Марка. Закажем что-нибудь сверхитальянское. Но можем сходить и в кино. Мне посоветовали в Риме ради любопытства посмотреть новый английский фильм. Какая-то невероятная сенсация. Кажется, «Двое» или «Трое».— Он заметил чуть насмешливое движение ее бровей и в нерешительности добавил: — И, может быть, все-таки — ресторан? Как ты?

— Я не хочу,— сказала она.— Мне уже страшно надоели, до ужаса надоели рестораны. И эти пиццы и спагетти. Я сыта надолго. Понимаешь?

Он слабо возразил:

— Но ужинать надо, Маша.

Она загасила сигарету в пепельнице, ответила безразлично:

— Я отлично обойдусь сегодня без ужина.

Она, видимо, понимала, как за последние дни стала трудна обоим эта возникшая между ними холодноватая недоговоренность, а Васильев не хотел ничего усугублять в разговоре с Марией, опасаясь, что не выдержит совершенно лишней сейчас размолвки, и мгновенно пропадет весь интерес их поездки в Венецию, уже наполовину испорченной горечью досады друг на друга.

И он сказал с шутливой покорностью:

— Я согласен на все, Маша.

— Согласен? На все? — переспросила Мария изумленно и посмотрела заблестевшим взглядом, который проник в него непонятной мучительной пронзительностью.— Согласен? И ты сказал — «на все»? Господи, боже мой, как дешево в наше время стоят слова!.. «Согласен на все». Да, да, пойдем в кино, если уж так,— сказала она торопливо и присела на пуф к трельяжу, мимолетно взглядывая на свое лицо в зеркале.— Что ж, пойдем в кино, на английскую сенсацию. И если не трудно, позвони синьору Боцарелли, пригласи его. Нам с ним будет лучше. Он хорошо знает город.

— Я тоже немного знаю Венецию. И кинотеатр мы найдем,— сказал Васильев неуверенно.— Это так просто.

— Нет, нет, пригласи, пожалуйста, нашего милого критика.

В крошечном зале кинотеатра, призрачно озаренном экраном, терпко пахнущем синтетическими плащами, уже шел фильм, когда билетерша, посветив фонариком на билеты, поспешно повела их за собой, посадила в середине пятого ряда, перед которым до самого экрана простиралась свободная сумеречность, только впереди справа виднелись две лохматые головы, рдели там двумя точками огоньки сигарет, и слоились оттуда соединенные спирали дыма, пронизанные голубоватым свечением экрана.

То, что впереди было пустынно, создавало им некоторое удобство, но минут через пять Васильеву показа-

лось, что Мария поглядывает на него непонимающе-вопросительно, ему захотелось найти на подлокотнике ее руку, ласково стиснуть тонкое запястье, сказать покаянно и миролюбиво: «И дернул же нас черт пойти на эту английскую сенсацию. Уходим отсюда, а?» — и еще сразу не решаясь подняться, почувствовал ее напряжение рядом с собой и осторожное посапывание сбоку синьора Боцарелли.

Она сидела слева от него, подперев рукой подбородок, и уже не смотрела на экран, а, насмешливо вытягивая нижнюю губу, наблюдала лохматоголовую парочку, которая со всхлипами, с протяжным стоном, с мычанием обнималась в четвертом ряду, жадно закуривая между затяжными поцелуями.

А там, на экране, где все было греховно, ядовито-роскошно, влюбленный молодой адвокат, великолепно воспитанный, из богатой семьи известной фамилии, женившись на кроткой хрупкой блондинке, озадачен, обеспокоен, никак не может взять в толк причину ее постоянной тоски, супружеского равнодушия, плохо скрытого отвращения к его близости в медовый месяц. Но однажды, придя домой неурочно, он застает молодую жену, счастливую, возбужденную, в обществе ее подруги по колледжу (что так безутешно рыдала в церкви в час венчания), занятых порочной игрой переодевания то в мужские, то в женские костюмы, и после бурного объяснения между ними герой, подавленный, растерянный, соглашается наконец с предложением находчивой подруги попробовать жить втроем, и подробности этой брачной жизни втроем — в городской спальне, на загородной вилле, в номере отеля, на берегу солнечного моря — постепенно становились для молодого адвоката его новой любовью, его страстью, раздираемой постоянной ревностью к обеим...

— Вы, пожалуйста, досматривайте фильм, а я подожду вас на улице,— сказала Мария и встала, пошла к выходу, где над портьерой искоркой светил красный фонарик.

— Синьор Боцарелли, вы как? — спросил Васильев вполголоса и тоже поднялся следом.— Терпения моего нет.

— С вами, с вами, с вами,— закивал Боцарелли и тоже поспешно вскочил, выказывая готовность немедленно идти куда угодно за уважаемым синьором Васильевым.

В вечернем городе по-прежнему стоял, клубился туман, обволакивал огни, витрины закрытых магазинов, что горели и проступали неоном, напоминая пустые театральные подмостки, мимо которых изредка двигались фигуры прохожих. Узкие улочки, наполненные шевелящейся мглой до краев, глушили шаги, немного светлее было на площадях, где порой возникала размытая громада храма (в его решетчатых окнах багрово теплился над землей отблеск электрических свечей), и снова пронизанные неоном витрин туманные коридоры улиц, опять полукруглые и зыбкие тени мостиков через невидимые каналы, промозгло дующие снизу ветром, запахом обмываемого водой заплесневелого камня.

Долго шли молча.

— Не понимаю,— заговорила вдруг Мария, сунув руки в карманы плаща и ежась.— Весь мир сошел с ума. В отвратительных извращениях ищут правду и хотят внушить людям гадливость к самим себе. Для чего? Зачем? Вы можете объяснить, синьор Боцарелли? Знаете, после этого фильма не хочется смотреть ни на мужчин, ни на женщин.

Синьор Боцарелли предупредительно заулыбался, но по его лицу было видно, что вопрос недостаточно хорошо понят им, поэтому он смущенно попросил:

— Можно по-итальянски, синьора Мария?

— Попробую,— сказала она со вздохом.— Ну, хорошо, по-итальянски.

Она повторила вопрос, и Боцарелли по-русски ответил с некоторой запинкой:

— Я думаю, пансексуализм... появился как самоутверждение интеллектуалов, синьора Мария. Их... то есть интеллектуальных людей, считали абсолютно импотентами. Тогда они разозлились, сделали... как это называется... сексуальную революцию, но... как это сказать лучше?.. Сами по-старому остались импотентами.— И он как бы испуганно потрогал аккуратную бородку.— Так я думаю, синьора Мария.

— Странное объяснение,— сказала она и задумчиво свела брови.— Вы верите в свой иронический миф, и вам все ясно? Вы счастливый человек, если так легко соглашаетесь с самим собою.

— По-моему, этот самый сексуализм, синьор Боцарелли, придумал циничный торговец и он же — очень прожженный политик,— проговорил не в меру досадли-

во Васильев.— Своего рода товар, лейкопластырь и громоотвод...

— Почему ты сводишь все к политике? — спросила Мария с раздражением.

«Как я не хочу, чтобы она говорила об этом!..» — подумал Васильев, почему-то сейчас ревнуя ее к тому, что она по роду профессии своей не однажды узнавала и, по-видимому, больше, чем он, из современных итальянских и французских романов, читая их для перевода.

— Не только, Маша.

— Не все в политике, милый Володя. И фашизм, и всякие отклонения сидят в человеке, как палочка Коха,— сказала Мария.— Иначе бы не ходили и не глазели бы на всякую белиберду вроде этой.

— О, да, синьора Мария, о, да! — вскричал согласно Боцарелли, и бархатные глаза его сверкнули горячим восторгом.— Спрос рождает предложение. Если нет спроса, то-о... нет предложения. Я учил морал и знаю, что русские не очен любят «порно». Но хочу сказать, что оно... это «порно», все равно проявление творческой свободы, которой в абсолюте нет. Здесь начало трагедии...

— Начало? — проговорила Мария удивленно.— Но что общего между искусством и патологией?

— О, синьора Мария! — воскликнул голосом бесправного упрека Боцарелли.— Разве не патология современная цивилизация? Наркомания? Насилие? Эскалация секса? Движение из ниоткуда в никуда? Посмотрите на улицы Рима, Милана, Парижа! Куда движутся машины? И разные люди в них? Да, я думаю, что из ниоткуда в никуда. Мир очен устал. А этот английский «римейк» — монастыри молчания: английские интеллектуалы уходят в них и молчат месяцами, как немые, А «ретро» — возвращение в прошлое... А магеридж...

— Магеридж?

— Я объясню. Это... групповое стремление к быстрой смерти... это среди хипповой молодежи. Что здесь должно делать искусство?

— Как все это грустно, ужасно грустно! — сказала Мария, кутаясь в поднятый воротник плаща.— Что будет с людьми через двадцать лет! Куда они идут? К пропасти?

— Очен грустно,— подтвердил Боцарелли и опять заговорил с доказательным жаром: — Сейчас в мире ни-

кому не нужен человек. Говорит о душе человека только кучка интеллектуалов. Они чего-то хотят, и они боятся, поэтому болтают о гуманизме, о гибели цивилизации на отравленной земле. Но, синьора Мария, это боязнь за себя, за мировую культуру, а не за человека, к которому они очен равнодушны.

Они шли в мокрой мгле по узеньким каменным улочкам, иногда восходили по ступеням на узкие мостики, переброшенные арками через каналы, угадывая внизу, в белеющих прорехах, водяную рябь редких фонарей, и здесь, на мостиках, особенно пронизывало осенней отсырелостью стен темных домов. Город давно спал, непогода октябрьского вечера разогнала немногочисленных в эту пору туристов, не видно было нигде ни души, и только туман властвовал повсюду, присасывался к райским световым провалам никому не нужных сейчас витрин, вкрадчиво придавливался к красноватым окнам ночных баров.

Два раза Васильев был в Венеции весной, запомнил ее солнечной, многолюдной, а эта осенняя темная Венеция, унылое безлюдье, запах древней плесени, неприятный фильм и неприятный разговор с Боцарелли по дороге в отель — все будто имело привкус неудачи, обмана, и было ему трудно дышать влагой воздуха.

«Что меня тревожит сейчас? — думал Васильев.— Или я действительно не очень здоров?»

— Боже, как я хочу курить! — сказала Мария, вздрагивая, и прижала воротник плаща к подбородку.— Какая все же здесь ужасная сырость...

— Вы сказали?.. Я прошу, синьора Мария,— проговорил Боцарелли и сделал к ней шаг, с поклоном протянул сигареты, но она, улыбаясь, остановила его благодарно:

— Спасибо. Я не курю на улице.

— Я возражу вам, синьор Боцарелли,— выговорил Васильев насколько можно сдержаннее, со стыдом чувствуя, что готов вспылить.— Вы сказали горькие слова об интеллектуалах. А я их люблю, при всех их недостатках. Без них жизнь была бы сплошной скукой и утилитарной механикой. Вы говорили как критик, а в наше время, к сожалению, критика — или беззастенчивая реклама, или публичная казнь таланта. Тем более только боги могут убивать себе подобных, а не падшие ангелы. Простите, совершенно не хочу обидеть, но почти

все критики — падшие ангелы. По тому, как вы с нелюбовью говорите об интеллектуалах, я понял, что вы тоже...

Боцарелли, довольный, блеснул молодыми зубами на худом бледном лице монаха.

— Синьор Васильев, я не писал о вашей римской выставке плохо! Я не убивал вас. Наоборот. Кое-что мне нравится очен. «Снег», «Прощание», «Женщина в красном», «Портрет». Я определил вашу манеру не как социалистический реализм, а как реализм социализма.

— Разве суть в терминах? — поморщился Васильев.— Что в лоб, что по лбу. Слыхали такое русское выражение?

— В лоб, по лбу,— застенчиво покивал бородкой Боцарелли.— Я скажу так. Критик в современном искусстве — это куртизанка, он должен любить всех. А я не люблю многих. Моя трагедия в том, что я ненавижу некоторых художников, а должен любить, то ест изображать, как куртизанка, любовь.

— И это, к сожалению, во всем мире! — резко сказал Васильев.— К сожалению, потому, что человеческая жизнь — лишь повод для искусства, а творчество — это личность, ее выражение! К черту в искусстве куртизанство, синьор Боцарелли!

— Ты не следишь за собой, этого не надо, Володя,— тихо сказала Мария, глядя под ноги.— Ты обижаешь своим тоном...

— Я не обижаюсь! — воскликнул с откровенным добродушием Боцарелли и взмахом чутких рук изобразил отсутствие обиды.— Конечно, вы, такой самостоятельный талант, не можете серьезно относиться к профессии куртизанки. Я сам немножко терплю собственную профессию, но другой у меня нет. Я очен понимаю, что всякое творчество — выявленная аномалия, и разбираться в ней должен психиатр... не жалкий критик.

— Зачем преувеличивать?

— Создавать несуществующий мир на холсте красками или словами на бумаге — не аномалия? Даже ваш, синьор Васильев, реализм... как это? Не отражение действительности, а зеркало вашего субъекта... вашего личного «я». И вот такой акт — занятие нормальных людей? Нормален бог, сотворивший наш мир? Иероним Босх жил в пятнадцатом веке, а своим воображением создал страшный современный мир уродства. Его карти-

на «Несение креста» — кто окружает Иисуса? Жестокие, садистские лица, которые представляют, как показала история, большинство человечества. Не инопланетные пришельцы, а жестокие люди распяли любвеобильного чудака. Простите, я очен, очен ушел от разговора, но я всегда думаю: что̀ должен делать талант художника — прощать человечеству кровавые грехи, войны, убийства или сердиться на него? Любить или ненавидеть?

— И прощать, и не прощать. Любить и ненавидеть,— проговорил Васильев, досадуя на неоправданную свою несдержанность, и договорил умереннее: — Я уверен, что искусство — самопознание человечества и его самонаказание.

— Что вы сказали, синьор Васильев? Самонаказание? — спросил Боцарелли и восторженно округлил внимательные глаза, точно схватил главную мысль, необходимую ему.— Имеет это какое-нибудь отношение к мазохизму?..

— Какого черта вы все сводите к одному и тому же, извините! Никакого отношения! Самонаказание — это в смысле исторической вины за всю пролитую кровь, за все страдания. Самонаказание необходимо для самосохранения человечества. Вы поняли меня, синьор Боцарелли? Искусство призвано сохранять человеческое в человеке! Без всяких этих надоевших до черта де Садов, Захер-Мазохов и Фрейдов!

— Почему ты так сердишься? — сказала Мария, пожимая плечами.— Ты грубоват, Володя.

— Разве? — проговорил Васильев вполголоса.— Вот уж не хотел.

«Да, мне что-то не по себе,— думал он, не понимая причину колючего, сжатого в груди раздражения и против нелепого фильма, и против душащего влагой тумана в любимой им Венеции, и против этого неглупого, излишне болтливого критика-итальянца, смахивающего на священника своими чуткими руками, худобой лица, скромной бородкой.— Если я не могу сдерживать себя, то почему я должен показаться этому мальчику, синьору Боцарелли, образцово воспитанным русским, который в светской любезности произносит только два милых слова: «отнюдь» и «весьма»? Ко всем чертям все эти нормы? К черту и к черту! Снова чувства? Дать бы мне бессердечный разум — и все обретет спокойствие. И все в мире станет закономерным, и я буду несказанно до-

волен, что я в третий раз приехал в Венецию, что наступит скоро утро и я увижу солнце над каналами. Но со мной что-то не так и не по себе, как будто плакать хочется. Никогда так не было...»

— Все, все прекрасно, в общем,— сказал Васильев бодрым голосом, едва скрыв в интонации фальшивую нотку, и продолжал превесело, сознавая, что говорит пошлость: — К счастью, мы остались живы после глупейшего фильма, и поэтому стоило бы сейчас перекусить и что-нибудь выпить.

— О чем ты говоришь? Двенадцать часов ночи. Я устала невыносимо. Но я тебя не задерживаю. Поступай, как хочешь.

Мария искоса посмотрела коротким взглядом, в котором он перехватил мимолетный зимний отсвет, и опять стеснило дыхание, точно бы перебои сердца или непролитые слезы мешали ему. Он овладел собой, уже сердясь на это ненормальное состояние, унижающее его, как казалось ему, и тем, что без особых причин мог сорваться, вспылить каждую минуту.

— Не посетуйте, синьор Боцарелли,— проговорил Васильев.— Я искренне сожалею, что наговорил колкостей, которые, в конце концов, абсолютно бесполезны.

В вестибюле отеля был пригашен свет, и молодой красивый портье, листавший иллюстрированный журнал под настольной лампой, с приветливой улыбкой («боанасера!») подошел к полочкам с ключами и ключ от номера подал Васильеву вместе с конвертом, плотным, длинным, на котором крупным косым почерком было написано по английски: «М-м Васильевой» и подчеркнуто дважды.

— Тебе, Маша,— сказал Васильев и увидел, как испуганно засветились ее глаза, пробегая по почерку на конверте, как заколебался в руке листок бумаги, когда она тут же, отойдя немного в сторону, быстро прочитала письмо, должно быть, состоящее из нескольких строк.

— Это мне,— проговорила она, небрежно засовывая письмо в сумочку, но голос был чрезмерно натянут, и, наверное, поэтому она постаралась улыбнуться синьору Боцарелли мягкой, обволакивающей улыбкой: — Спокойной ночи. До завтра. A rrivederci! [1]

---

[1] До свидания! *(итал.)*.

И даже взяла под руку Васильева по дороге к лестнице.

Но как только вошли в номер и зажгли свет, она, не снимая плаща, круто повернулась к нему, глядя в его глаза потемневшим, тем же испуганным взглядом, затем сказала шепотом «Боже мой», бросила сумочку на трельяж и стала ходить по номеру, клоня голову, окуная подбородок в поднятый воротник плаща. Он молча следил за ней, предчувствуя, что в эти секунды должно произойти то, чего он боялся, не хотел и вместе с тем ожидал как неизбежность.

— Я не знаю, как тебе об этом сказать,— заговорила она, торопливо закуривая, продолжая ходить по номеру.— Я не знала и не знаю, как тебе все это сказать...

— О чем? — спросил он и подумал с остротой внезапно настигшей ясности: «Вот оно, сейчас...»

— Не знаю, как сказать о том, с кем я встречалась в Риме,— повторила она с гримасой нетерпения.— Впрочем, сам прочти его письмо. Оно адресовано мне, но предназначено для тебя.

«Вот сейчас... Все случится именно сейчас... И она хочет этого. Она как будто хочет избавиться от чего-то тайного, мучительного...»

— От кого? — спросил он как можно спокойней, взял конверт, вынутый ею из сумочки, и спасительно, неожиданно для себя проговорил, усмехаясь: — А стоит ли, Маша, читать чужие письма? Имею ли я право?..

— Читай же! Читай! — крикнула она приказывающим шепотом, и нетерпеливая гримаса изменила ее лицо, сделала его некрасивым, отрешенным, страдальческим.

Он машинально развернул листок глянцевой бумаги с оттиском отеля и прочитал всего несколько фраз по-русски, написанных нервным косым почерком.

«Дорогая и многоуважаемая Маша!

Ради бога, извини меня за то, что я использую сохранившуюся частицу доброго отношения ко мне. Не хочу, чтобы моя встреча с Владимиром произошла вдруг. Такая неожиданность будет раздражительна и неприятна, что я предполагаю. Так же, как и встреча с тобой в Риме, напугавшая тебя, бедную, до полуобморока. Передай ему, ради всего святого, что я буду ждать в ресторане вашего отеля — завтра от 8 до 10 ч. утра.

Если он не придет до 10-ти — бог ему судья. Я же не пойму его неприход как казнь свою или ненависть ко мне. Илья».

— Илья?

Он второй раз прочитал письмо, и что-то смутно повернулось в нем, неуловимо промелькнуло в сознании тревожное ощущение давнего, но тотчас даже не это ощущение, а намек на нечто далекое, прошедшее показалось ему невозможностью, обманом собственной памяти об исчезнувшем в небытие времени.

— Илья? Кто этот Илья? — спросил Васильев, уже выбрасывая из сознания эту тень намека, эту слабую догадку без надежды, и проговорил, разделяя слова: — Кажется, среди моих знакомых нет ни одного Ильи. Так кто он? И о чем хочет говорить со мной?

— Это он, он! Понимаешь, он! — крикнула Мария, подходя к окну, и зачем-то отдернула тяжелую штору; туман стоял над каналом, кое-где пробитый белесыми пятнами фонарей.— Это он, Илья, именно Илья! Он жив, он живет в Риме! Он был на твоей выставке, он знает о тебе все! — повторяла она, едва не плача, не оборачиваясь от окна: — Да, мы можем удивляться, не верить, но это он, Илья Рамзин! И он хочет встретиться с тобой, а мне это ужасно не нравится, хотя у меня и был с ним разговор в Риме! Если хочешь знать мое мнение, то не встречайся с ним! Вы разные люди, все это бессмысленно, совершенно бессмысленно!..

— Ну, этого не может быть! — проговорил Васильев отрывисто, все же полностью не веря, и махнул рукой.— Илья Рамзин? Живет в Риме? Чушь какая-то! Мистика! Илья погиб на Украине в сорок третьем году. Мы с ним воевали в одной батарее, командовали взводами. Илья Рамзин? Тот самый? Илья? Встречался с тобой в Риме? Вот уж чего быть не может так не может!

Она сердито перебила его, поворачиваясь от окна:

— Почему ты так настойчиво говоришь, что этого быть не может? Надеюсь, ты не думаешь, что вот это письмо я написала себе сама? Да, я раз встречалась с ним в Риме, когда ты был на приеме в студии Спинела, и говорила с ним, живым, в течение часа. Никакой подделки, Володя! — добавила она с горькой убедительностью.— Представь — никакого кича, никаких восковых фигур из музея мадам Тюссо. Я разговаривала с

живым, живым, настоящим Ильей! И ты в этом завтра можешь убедиться, но я не хочу, чтобы вы встречались, вовсе не хочу! Дай мне спичку, пожалуйста, сигарета погасла...— сказала она, и голос ее споткнулся и дрогнул.— Господи, господи, как я суеверна. Он сейчас думает о нас обоих. Несчастный...

«Илья? Значит, он жив? Но каким образом он здесь? Плен? Он остался в живых? Неужели Илья? Последний раз я видел его в сорок третьем году... Илью разыскивали после войны. Его матери приходили ответы: «в списках живых не значится», «пропал без вести»... Тридцать лет о нем не было ни единой весточки. И до сих пор... Нет, есть вещи, в которые невозможно поверить!..»

— Несчастный? — переспросил Васильев и пошарил в карманах спички.— Скажи, как он выглядел? Ты узнала его? Его можно было узнать? В последний раз ты, кажется, видела его в сорок первом?

— Кажется, шестнадцатого или семнадцатого октября, когда были ужасные дни в Москве... Вы тогда вернулись из-под Можайска.

Он стал зажигать спичку, чтобы она прикурила, но сломал ее, и она нетерпеливо взглянула поверх поднятого воротника плаща истемна-серыми глазами, подошла и высвободила из его пальцев спичечный коробок.

— В наш век мы должны бы не удивляться, Володя, хотя все странно...— заговорила Мария поспешно.— Что ж, узнать Илью при некотором усилии можно, если бы не седина... и если бы не что-то чужое в костюме, в глазах... в жестах, что ли...

— Ты сказала «несчастный»?

Она передернула плечами, словно озябла у окна, обложенного туманом.

— Потому что... потому что он надеялся увидеть в нас прошлое. Меня как-то знобит... Если я не приму сейчас горячую ванну, то заболею после венецианской сырости.

Она покусала губы и быстро сбросила плащ, вынула ночную пижаму из раскрытого чемодана и пошла в ванную комнату, а он тотчас же подумал, что она не договаривает, скрывает что-то, связанное с этой ее немыслимой встречей с Ильей в Риме, которой нельзя было дать логическое объяснение, ибо погибший или пропавший без вести Илья, лейтенант Рамзин, его одноклассник, друг детства и юности, был жив и почему-то не в Риме,

где открылась выставка, а здесь, в Венеции, искал теперь встречи с ним.

За дверью ванной не слышно было движений Марии, отдаленно и ровно шумела из кранов вода, от этого сиротливо-однообразного плеска стало неприютно, одиноко в номере, и Васильев неуспокоенно заходил по комнате, засунув руки в карманы, наконец сказал около двери ванной:

— Маша, я — в бар за сигаретами, скоро приду!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В ночном баре, тихом, свободном, Васильев купил две пачки «Сэлем», слабые сигареты с ментолом, которые нравились Марии, затем, как это делал всегда, не зная чужого языка, чересчур самоуверенно показал бармену глазами куда-то в джунгли бутылок среди зеркальной неразберихи, сказал на понятном во всех ресторанах мира полуанглийском, полунемецком языке:

— Джин унд тоник, плиз, битте зер [1].

Толстолицый бармен в ярком малиновом жилете, виртуозно поигрывая бутылками, льдом и бокалами, ослепляя эмалью снежных зубов, сицилийской чернотой глаз, сверканием крупной булавки в галстуке, радостно поприветствовал Васильева, как давнего почтенного знакомого, хотя видел впервые, и ответил охотно, принимая его за немца:

— Ein Moment. Danke, vielen dank [2].

Справа за стойкой сидела молодая пара вполне современной наружности, двое одинаковых длинноволосых, в одинаково грубых свитерах, она держала сигарету в тоненьких пальцах, сонно потягивала из бокала, смотрела перед собой прозрачным стеклянным взором, загибая улыбкой края пухлого, детского рта, а он, обняв ее за плечи, шептал что-то на ухо ей, целовал в щеку, в шею, в губы, она же бесчувственно продолжала изгибать углы младенческого рта улыбкой, пребывая в неподвижном, мнилось, наркотическом забвении. Рядом с ними пили коктейль пожилые американцы, видимо, супруги, он худой, до блеска кожи выбритый, заметно молодящийся, в спортивном клетчатом костюме, не по-

---

[1] Джин с тоником, пожалуйста *(нем.)*.
[2] Одну минуту. Благодарю вас, премного благодарен *(нем.)*.

стариковски острыми глазами оглядывал бар, молодую пару, Васильева, стоявшего у стойки, и одновременно негромко говорил что-то своей спутнице, будто перекатывая во рту целлулоидные шарики, а она, тоже молодящаяся, подрумяненная, крупная телом, в довольно-таки кокетливой шляпке (наверняка купленной во время очередного приезда в Париж, 8 часов на «Боинге», аэродром Кеннеди, Нью-Йорк — аэродром Орли), посасывала через соломинку фиолетовую жидкость, посмеивалась басом, выказывая прекрасные выпуклые фарфоровые зубы. И, как подумалось Васильеву, их любопытство, их незастенчивая жизнерадостность были хорошо обоснованы беспечальным странствием по Западной Европе, где не менее приятно, чем в Америке, тратить деньги, наслаждаться комфортом, сервисом, переменой мест, хорошим аппетитом и европейскими музеями.

Слева от Васильева, в угрюмой сосредоточенности, уставясь на кофейный автомат, распространявший теплый, тропический запах, одиноко сутулился над стаканом виски нелюдимого вида толстяк, тяжко сопящий; его багровая шея складкой наплывала на воротник пиджака, спина была круглой, подобная подушке; и был он похож на бывшего борца или тяжелоатлета, заработавшего деньги и теперь бесцельно путешествующего по миру; на волосатых руках переливались голубым огнем перстни, и пальцы его наводили на мысль о пристрастии к картам, крупной игре и азарту.

Это была привычка Васильева — наблюдать за людьми подробно, подчас вовсе уж открыто, делая нужные отметки в памяти, но сейчас его интересовало другое. Ему представилось, что Илья, следуя за ними из Рима, остановился здесь, в одном отеле, и, вероятнее всего, можно было его встретить либо в ресторане, либо в баре. Ресторан, мимо которого он прошел, был совершенно пуст, пригашенный свет бра дремотно горел по бокам стеклянных дверей, только бар в вестибюле был весь в красноватом дымном озарении, тихонько шелестела музыка, успокоительно плыла из этого зарева, и Васильев сел к стойке, осматриваясь. Нет, человека, которого он мог бы мгновенно узнать и назвать Ильей, облик которого с детства врезался в сознание, не было в баре.

Между затяжками сигаретой он выпил джин с тоником, освежающий льдистым холодом (кусочек гладкого льда коснулся его зубов), заказал «дубль» и снова

осмотрел немногочисленных посетителей в баре, уже не понимая, почему так хотел сию минуту увидеть Илью, подталкиваемый подсознательным чувством. Но это чувство вдруг предупредило его об опасности, и разум начал тихо подсказывать сдержанную позицию умудренного опытом человека.

«Значит, боюсь встречи с ним? — подумал Васильев с презрением к самому себе.— Что я боюсь? Илью? Последствий разговора с ним? Нет, я обязан увидеть его в живых, своего бывшего друга, с которым в школе и на войне три пуда соли съели... Неужели действительно жив Илья? Не могу представить, что я его увижу!..»

— Noch ein mahl? [1]

Он услышал общительный голос бармена, произнесшего эти понятные для международного общения слова, и увидел, что тот, взбалтывая коктейль, весело косится в сторону американской пожилой пары, которая деловито наклоняла головы над разложенной на стойке свежей газетой «Коррьере делла сера», после чего заинтересованно взглядывала в направлении тучного человека с нелюдимой наружностью бывшего борца.

— Грацие, нох айн mahl, битте [2], — ответил Васильев на изобретенной им итальяно-немецкой смеси, стараясь разгадать причину веселой оживленности бармена, и тотчас убедился, что внимание американской супружеской пары направлено не на тучного человека, а на него, и бармен участвует в этой игре, являясь посредником между американцами и Васильевым.

С ослепительной и вместе извиняющейся улыбкой проворный бармен («Excuse me very sorry») [3] осторожно потянул газету у американцев, осторожно пододвинул ее к Васильеву, выражая счастливое изумление на подвижном толстом лице, произнес, исполненный уважительного восторга: «О, вери гуд! Бон! Ка-ра-шо!» И вверху газетной полосы Васильев увидел фотографию, на которой он вполоборота стоял около своих картин, выставленных в Римском салоне, вспомнил, что вчера утром в отеле давал при помощи Марии интервью рыжеволосой девице дон-кихотского роста, голоногой, не в меру накрашенной, быстро чиркающей таинственные

---

[1] Еще? (*нем.*).
[2] Спасибо, еще, пожалуйста (*нем.*).
[3] Прошу прощения, очень извиняюсь (*англ.*).

стенографические загогулины в блокноте, подумал, что «Коррьере делла сера» опубликовала вчерашнее интервью и либо бармен, либо американцы узнали его, хотя, конечно, маловероятно было встретить русского художника в этом отеле, да еще сидящим в ночном баре.

— Синьор Вас-силь-ефф? — сказал по слогам бармен вкрадчивым голосом и затем произнес длинную фразу, смысл которой, очевидно, заключался в приятной благодарности, потому что понятно было единственное слово «грацие».

«Упаси меня от заграничного тщеславия»,— подумал Васильев, смеясь над своим самолюбием, с ужасом представил, какой утомительный разговор без знания языка могли надолго завести с ним, и, заметив любопытные взгляды, кивки, означавшие готовность к знакомству, молодящихся американских супругов, казалось, намеренных незамедлительно подсесть вплотную, он забормотал «грацие, грацие» и поторопился расплатиться, сделав вид, что и бармен и американцы ошиблись.

Ему было как-то не по себе оттого, что именно сейчас, именно здесь, в баре, появилась газета с интервью и его узнали, что не так уж часто бывает, ибо хорошо изучил людскую ненаблюдательность — совпадения случайностей в доказательствах обманчивой известности не льстили и не утешали его, утомляя фальшью вынужденного внимания.

Подымаясь в номер на второй этаж, Васильев неожиданно остановился на повороте лестницы и, стиснув зубы, подумал: «Я не прощу себе никогда, если не увижу его! Никогда не прощу!..»

В номере красновато брезжил ночник, но, как только Васильев вошел, у изголовья разобранной постели вспыхнул узкий луч в лимонном колпачке, освещая на подушке лицо Марии, почудившееся утонченно-восточным, совсем девическим, бледным под цветным мохнатым полотенцем, наподобие чалмы обматывающим ее еще не просохшие волосы.

— Не могу уснуть,— сказала она.— И димедрол не помогает.

— Сигареты,— сказал он, бросив на стол «Сэлем», и подошел к постели, встречаясь со взглядом Марии, вдруг испытывая к ней безудержную нежность — к бо-

лезненной бледности, к тонкости ее лица, готовый попросить прощения неизвестно за что, чувствуя сжигающую муку: она влекла, тянула его, эта единственная женщина, не раскрытая им до конца в течение всей их общей жизни, и неутоленная жажда не проходила много лет, не отпускала его.

Он наклонился и слабым нажатием губ коснулся уголка ее рта.

— Маша...

— Я очень устала,— сказала она жалобным голосом, а он, погружаясь в ее глаза, уловил переливчатый блеск какой-то тихой боли.— Пожалей меня, Володя, не трогай меня.

И, зажмурясь, она повернула голову к стене.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ночью кто-то пьяно запел на канале, потом неподалеку глухо заработал мотор, плеснула запоздалая волна, и все затихло.

А он, лежа на спине, прислушивался к каждому звуку, к дыханию Марии, заставляя себя не менять положения, чтобы не разбудить ее, и непрерывные человеческие голоса проходили в сознании, точно прокручивалась магнитофонная лента записанных прошедших суток. И гусеницами выползали из тьмы буквы огромной газеты, навязчиво складывающиеся в незнакомые слова, что некой пирамидой должно было обозначать опасность и предупреждение, но какое предупреждение, какая опасность, нельзя было выяснить, прочесть — и это томило его, обливало жарким потом: «Илья! Илья! Он жив?..»

И, уже в состоянии полуяви, он хотел вообразить, как наступившим утром сойдет вниз, в ресторан, и здесь от углового столика стремительно поднимется тот прежний Илья с дерзкими, черными глазами, которые, вероятно, можно было узнать среди тысячи людей, тот Илья, сверх меры самолюбивый, решительный, в сорок третьем году бесследно исчезнувший на Украине после ночного боя... Что они скажут друг другу? Что они почувствуют?

Под утро ему приснилось, будто он один в пустой даче, пронизанной мертвенным лунным светом, пробудился глубокой ночью от захлебывающегося лая собаки

под стеной комнаты, где спал, и ужасом сжалось сердце, когда лай собаки оборвался, точно ее задушили,— и наступила такая тишина, какая бывает перед убийством. В этой лунной тоске, опутавшей всю дачу мутной паутиной, он услышал, как хрястнули, зазвенели стекла, затрещала под чудовищной силой рама и кто-то квадратный начал приближаться свинцовыми шагами к двери его мастерской. А тишина сжимала весь мир, и была такая тягость в этой всемирной безнадежности, что он задохнулся в одиночестве, прощаясь со своей неудавшейся жизнью, которую его друзья считали безоблачной, удачливой, счастливой... Потом кто-то в лунном сумраке голосом Марии сказал, чтобы он в последний раз пожалел себя, ее и семью, но ему стыдно было вслух просить прощения, а сердце разрывалось ужасом, и, задыхаясь, он вдруг прорвался куда-то сознанием, понял, что лай убитой собаки, безмолвие, страх ожидания — это лишь сновидение, что он не на даче под Москвой, а очень далеко от нее, в чужом отеле и что надо окончательно проснуться...

«Да, я в Венеции,— вспомнил он с отчетливостью и осторожно, чтобы не разбудить Марию, потянулся к часам на тумбочке, но в потемках не разобрал стрелок, опять лег, закрыл глаза, и тотчас за окном, пронизанным луной, встревоженно залаяла собака и оборванно смолкла, придушенная кем-то, и он даже застонал, вновь окунаясь в круговое движение повторного сна,— в периоды нервного переутомления он знал, что эти изнурительные повторы сновидений — его нездоровье.

Он принял душ, побрился, выкурил натощак сигарету и в восемь часов утра спустился в ресторан, чувствуя непрошедшее утомление во всем теле.

Ресторан был по-раннему просторен, занавески везде раздернуты, низкое утреннее солнце, разгоняя за окнами туман, косым потоком сверкало на тугих скатертях, на белых башенках накрахмаленных салфеток, на красном ковре в проходах, и за открытой стеклянной дверью большая терраса была веселой, солнечной, впуская свет с трех сторон.

«Неужели там он?»

И Васильев сначала не увидел четко, а представил там ожидающим его Илью, еще издали заметив на террасе единственного посетителя за крайним столиком, откуда удобно было наблюдать входящих в ресторан,

Нет, он сидел не за угловым столиком недалеко от входа, как воображалось ночью, а возле стеклянной высокой стены террасы и, повернув голову, смотрел через пространство ресторана на Васильева, а тот шел к нему, уже плохо слыша возникшего сбоку толстенького румяного итальянца-метрдотеля, спрашивающего о чем-то с солидной и дружеской любезностью.

— Ja, ja, danke schön[1],— машинально пробормотал Васильев, не слыша своих слов, не вкладывая в них никакого разумного смысла, потому что человек, в котором он подсознанием угадывал Илью, медленно подымался из-за стола, задавливая сигарету в пепельнице, и был не Ильей, не лейтенантом Ильей Рамзиным, а неким совсем другим, высоким, седым, заботливо выбритым человеком, в сером узкого покроя костюме, модно застегнутом на одну пуговицу, незнакомым чистоплотным иностранцем, с которым Васильев никогда в жизни не встречался. Но вместе с тем этот иностранец был Илья, с вроде бы прежней опасной и пристальной чернотой прищуренных глаз на коричневом, должно быть загорелом, лице, но Илья, не свой, не близкий с детства, а вторичный, подмененный, проживший в неизвестной дали целую, непонятную жизнь, как на другой планете.

— Здравствуй, Илья,— выговорил Васильев и напряженно протянул руку, не отрывая взгляда от впившихся в его лицо испанских глаз Ильи, а в голове мелькнула мысль о противоестественной сдержанности этой их встречи, казалось, счастливо или гибельно решающей их судьбу первыми действиями и первыми словами.

— Здравствуй, Владимир,— ответил низким голосом Илья и стиснул его руку порывисто крепким, чересчур длительным пожатием, как бы этим выражая важную необходимость встречи для себя, и добавил с излишне подчеркнутой чеканной вежливостью: — Спасибо. Наверно, для тебя встретиться со мной не так просто... Спасибо.

Васильев хорошо помнил, но почти не узнавал его голос, утративший былую естественность насмешливых или командных интонаций, произносивший сейчас фразы твердо, выпукло, правильно, как многие русские,

---

[1] Да, да, благодарю (*нем.*).

очень долго прожившие за границей,— и не внешний переменившийся облик Ильи, этого седого, несколько изысканного иностранца в безукоризненно сшитом костюме, не его полукруглые, ухоженные ногти, не его холеные пальцы, а чеканка каждого слова, под которым скрывалось тайное опасение за верность произношения,— именно это резко задело Васильева, и стало вдруг страшно подумать о прошедших годах, разъединивших их.

«Каким же кажусь ему я?» — подумал Васильев, содрогаясь от ощущения времени, от жестокой его превратности, не щадящей ничего, и сказал только вполголоса:

— Что ж, давай сядем. Стоять, пожалуй, неудобно. Завтракать, наверно, пока не будем. Подождем Марию.

— Я не должен спрашивать, удивлен ли ты,— заговорил своим чеканным, выпуклым голосом Илья, когда оба сели, и он пододвинул к Васильеву сигареты.— Встретить меня ты никак не ожидал. Нонсенс! Не правда ли? Моя великая Родина меня давно похоронила. По солдатскому разряду. Или, вернее,— по офицерскому... а я оказался жив. Фантастика, не правда ли?

Он вынужденно улыбнулся, показывая плотные хорошие зубы, то ли свои, то ли вставные, и Васильев не успел ясно вспомнить, как много лет назад улыбался молодой Илья, но словно бы что-то знакомое, прежнее мелькнуло в белизне его зубов.

— Скажи, Илья,— проговорил Васильев, насильно спокойно вглядываясь в педантично выбритое коричневое его лицо, поражавшее вот этой чужой холеностью следящего за своей внешностью человека.— Скажи, Илья,— повторил он решительней, подчиненный необоримому нетерпению.— Скажи, Илья, как все случилось? Да, ты прав, встреча с тобой для меня полная неожиданность. В общем, до конца я не верил. Нет... До тех пор, пока не увидел тебя, не верил...

— Поверил? — спросил Илья, и опять в белизне его зубов словно бы промелькнуло отражение прежней дерзкой улыбки.— Не возможно ли, что двойник Ильи Рамзина сидит перед тобой? Сидит и под личиной действительного Ильи заманивает бывшего однокашника, советского художника... коварно заманивает в паучьи сети? Заманивает и предлагает фунты-франки и жемчуга стакан. Должно быть, ты не слышал такую пошлую песню?

— Нет.

— А я имел удовольствие слышать от одного шансонье, выходца из России,— сказал Илья, чеканя слова, вновь подчеркивая избыточную правильность незабытого им ударения в произношении.— Так вот: эти сети и всякое политическое дерьмо мне нужны, прости великодушно, как овчарке люксембургской противозачаточные таблетки. Я хочу, Владимир, чтобы ты сперва знал: я ненавижу политику, поэтому — ничей... Помнишь, в войну — ничейная земля была? Помнишь — нейтральная полоса?.. Так вот, никакими пряниками меня теперь никуда не заманишь — ни вправо, ни влево. Я — колобок вне политики. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Бога нет ни там и ни там...— и он грубо выругался, но чужеродно прозвучавшую непристойную фразу свою смягчил усмешкой.— О чем иногда сердечно жалею,— добавил он,— здесь, на гнилом Западе, как о нем в России пишут, не звучит русский мат, который мы отлично использовали на войне. Никто не поймет... Но я о другом. Бог вот здесь...— продолжал Илья и постучал пальцем в грудь.— И сюда, если говорить по-немецки, «штренк ферботен!». А по-русски: вход строго запрещен. Могу догадаться, что ты думаешь обо мне. Но парадокс в том, что я не забыл и помню Москву, двор и войну... И тебя лет с двенадцати. Так вот, Владимир, в моей жизни я прошел через все обманы, поэтому скажи сначала правду: моя мать жива?

Илья спросил это и выпытывающе глянул на Васильева, не сразу, должно быть, настроенный поверить ему, но было видно, как хотел он задать этот вопрос, который, вероятно, уже задавал Марии в Риме, и как сейчас открыто-жадно ждал ответа, значившего для него много.

— Раису Михайловну я встретил год назад,— ответил ровно Васильев.— Она не работает в библиотеке, ушла на пенсию. Почти все из нашего дома разъехались в новые районы, остались она и старики Цыганковы. Ты помнишь это семейство сапожников?

— Помню, но плохо. Как она... родная моя мученица? Ей уже за семьдесят... Она была младше отца на пять лет,— проговорил Илья хрипловатым голосом и сильно чиркнул зажигалкой, поднес огонек к сигарете, металлическая точка вспыхнула в его зрачках.— Если перед кем я виноват и грешен, так перед святой моей

матерью! — заговорил он, внезапно ожесточаясь против самого себя.— Она любила больше всего книги. Таких, как она, на свете единицы. Если бы я мог, Владимир, показать ей библиотеку, которую собрал за последние годы! Без книг я давно погиб бы... На какую пенсию она живет? Рубликов пятьдесят? Сколько ей подаяния жалуют на старость, бедной моей маме?

— Как я помню, Раиса Михайловна получает восемьдесят рублей,— сказал Васильев, начиная испытывать досаду против колющих вопросов Ильи.— Знаешь, в конце концов от тебя... от твоей... послевоенной судьбы зависело благополучие Раисы Михайловны. Ты был единственным сыном, как известно, и...

— И? И едва не лишил мать крупного советского пенсиона в восемьдесят рубликов?

— То есть? Не понял иронии, Илья.

— Я был убит или пропал без вести. Ясно, что так числился в донесениях о потерях. Но никто не знал, что в это время я жрал сырую брюкву в плену. Даже ты, хотя мы с тобой до последнего боя вместе были. «Лейтенант Рамзин, командир огневого взвода, не вернулся из боя». Так писали в донесениях?

— Так.

— А я в это время сдался в плен немцам.

— Сдался? Ты хочешь сказать: тебя взяли в плен?

— Володя, солнышко! Я всегда преклонялся перед твоей чистотой и совестью... с детства!..

— Я прошу тебя, Илья, без этого кулуарного тона. На кой черт!..

— Володя, дорогой мой бывший друг детства!..

— Ну, что, Илья, дорогой мой бывший друг детства?

— Какая разница: «взяли», «попал», «захватили»... Пленным не был тот, кто до плена стрелялся, а в плену вспарывал вены ржавым гвоздем, бросался на проволоку с током, разбивал голову о камень... Те умирали. А тот, кто хотел жить, независимо от того, сам сдался или взяли,— все равно был пленным.

— Так ты сдался? Или немцы тебя взяли? Я хорошо помню ту ночь на опушке, когда мы вернулись за орудиями... Помню, как начался и кончился бой. Помню, как немцы с фонариками подошли к обрыву, где были вы...

— А ты не запамятовал старшину Лазарева, коман-

дира отделения разведки? Мордатый такой был, здоровый, как медведь, из бывших уголовников.

— Помню. У него была наколка орла на груди. Он прорывался вместе с тобой к орудиям. И тоже не вернулся, пропал без вести...

— Убит. Его убило двумя пулями возле меня. Мы вместе прыгнули с ним под обрыв, к ручью. Отличнейшим образом помню эту медведеобразную мокрицу. А фамилия у него была прекрасная — Лазарев, от имени святого. Старшина Лазарев. Была знатная фигура в батарее. И наушник к тому же. Отличнейшим образом запомнил его навсегда. Навеки. После войны ставил ему свечки в православных храмах и записывал «за упокой»...

— Но как все-таки ты попал в плен?

— Взяли. Разумеется, взяли. Окружили целыми полчищами автоматчиков и «хенде хох!» [1]. В бессознательном состоянии, тяжелораненого, контуженого, без рук, без ног. Тебя это удивляет? Так в России писали о попавших в плен?

— Такие шуточки я не принимаю, Илья. Думаю, что ты помнишь, чего стоила нам война.

— Кому — народу? Тебе или мне?

— Хотя бы тебе твой плен, черт возьми!

— Я прошел, Володя, все круги ада и чистилище, притом у меня не было гениального гида — бесподобного Вергилия. В рай не попаду, не заслужил. Много пролил человеческой крови. Прискорбно, но руки-то у меня по локоть в крови. Каяться, молиться надо денно и нощно, если по Христу. А полного смирения, блага любви во спасение и увеличения любви в душе нет. Но чужую кровь проливал и ты...

— О какой пролитой крови идет речь?

— Ежели и ты и я командовали огневыми взводами, то посчитай, сколько наших снарядных осколков достигли цели в каждом бою. И ты и я пролили цистерны крови. Крови фашистской сволочи, как мы говорили на войне. Не говорю о морях русской крови, которую они выпустили. А убивать гомо сапиенсу гомо сапиенса — самый неискупимый грех. И... в монастырь, в монастырь давно пора! Каждому воевавшему — русскому и немцу! На коленях, до спасения души выстаивать. А спасения

[1] Руки вверх! *(нем.)*.

нет. Кто мне прощение даст? Бог? Слишком далеко. Люди? Самим, подлецам и грешникам, перед ближними искупать вину надо. Так кто меня сейчас может судить — как я попал в плен: сдался или взяли? Ты? Вряд ли, Владимир. От орудий мы отходили вместе. Возвращались вместе. И прорывались вместе. Командир полка майор Воротюк? Таких в любое время вешать мало. Народ? Понятие великое, но общее, и используют его частенько демагоги — говорят от имени народа.

— Понятно, Илья. Можешь не продолжать. Значит, никто?

— Значит, никто. Нет сейчас в мире праведного суда, Владимир.

— Ну а погибшие, в конце концов! Или все забыто? Мы-то с тобой не имеем права...

«Кто дал мне право говорить с ним таким судейским тоном? Что за допрос? Я не верю ему?»

— Не хочешь ли ты обвинить меня в том, что двадцать миллионов русских полегло потому, что я в плен попал? Да какое там двадцать? Преуменьшено, конечно. Думаешь, в этом моя вина?

Черные узкие глаза Ильи, горячо вспыхивавшие когда-то в юности огнем гнева, теперь изучающе всматривались в Васильева, а тот с несогласием и надеждой старался найти в его облике, что было неизменной сутью его поступков и сутью бесповоротной решимости лейтенанта Рамзина. Но этого прежнего не хватало сейчас в опасных глазах Ильи, сквозь прищур которых проникали лишь искры лихорадочного жара.

— Нет, Владимир, пленные здесь ни при чем. Я-то знаю, кого судить за погибших,— сказал Илья четко.— Майоров Воротюков надо судить, которые и карту-двухверстку толком читать не научились. Помнишь, как он ходил, бесподобный наш командир полка: зимой хромовые, летом брезентовые сапоги в гармошку, сплошь в портупеях, летом фуражечка козырьком надвинута на глаза, затылок бугорком, зимой — папаха... первый парень на деревне. И красивая девка из санинструкторов всегда при нем, всегда под боком вместе с пройдохой-ординарцем. А каков голос — с вибрацией, с любовью к распеву: смир-рня-а-а! Не знаю, как ты, а я его помню так, будто война вчера кончилась. По телефону он кричал два слова: «Вперед!» и «Давай!» И после боя

оставалось в ротах человек по шесть. Ты хорошо помнишь майора Воротюка?

— Я помню его.

— А старшину Лазарева?

— Помню.

— Тогда «keineilei Probleme, nicht Problemen!..» [1]

— Илья, мне кажется, что ты почему-то уходишь от моих вопросов?

— Ухожу? От вопросов? Нет, Владимир, ни бога, ни черта я не боюсь. Я прожил жизнь и видел кое-что. Попил все вина мира и покурил сигареты всего света. И спал с женщинами всех марок — даже с чернокожими Цирцеями. Так скажи на милость: кого и чего мне бояться? Смерти? Просто ты, Владимир, как почти все русские за границей, осторожен и хочешь... знать: как я выжил... не службой ли у генерала Власова?

— Я хотел спросить другое, Илья,— проговорил Васильев, замечая усмешку в черноте его глаз и чувствуя царапающую горечь, как будто их обоих засасывала и не выпускала липкая тайна жизни Ильи, неподвластная прошлому.— Я хотел сказать другое... Ты был русский офицер, а, как известно, в плену...

— Не все подыхали,— фальшиво-ласково перебил Илья.— Я зубами и ногтями держался за жизнь. Больше тебе скажу. Только там я понял, что такое жизнь и что такое превратиться в падаль...

«Откуда у него этот шрам на виске?» — подумал, ненавидя себя, Васильев и сейчас же представил как оправдание пулевое ранение в левый висок, ранение, полученное той дикой, роковой ночью, когда им приказано было вытащить орудия, оставленные в окружении. И он спросил, спасительно хватаясь за это оправдание:

— В висок тебя тогда ночью ранило?

Илья, очевидно, сразу понял, о чем хотел сказать Васильев, приподнял брови, выразив снисходительное добродушие, и, приглаживая холеными пальцами ровно зачесанные седые волосы на виске, сказал:

— Нет — другое. Следы драки в одном сомнительном заведении. В сорок восьмом году. А тогда ночью,— он с нажимом произнес «тогда»,— был абсолютно целехонек. И в полном сознании. Я тебе сказал — тогда я зубами и ногтями держался за жизнь. Тогда...

---

[1] Ни малейших проблем, никаких проблем (*нем.*).

— А сейчас?

— Сейчас я ценю свою жизнь не дороже ломаного гроша.

Илья выказал в быстрой улыбке очень белые зубы, и Васильев вспомнил маленькую золотую «фиксу», надетую Ильей в восьмом классе на боковой зуб коронку, поразившую всех порочным блатным блеском, подумал, как давным-давно это было и так далеко, что возникло желание сбросить вязкое наваждение памяти.

— В конце концов,— проговорил Васильев,— в конце концов,— повторил он, не без омерзения слыша, что говорит не то, что должен был сказать,— в конце концов я не очень понимаю двусмысленность в нашем разговоре...

Илья вертел, разминал неприкуренную сигарету, и его выбритое лицо, желтое, суховатое, и безукоризненно завязанный галстук, и эти острова седины в зачесанных назад волосах — все было солидно, все говорило о годах прожитой жизни, об усталости когда-то сильного, деятельного человека, отошедшего от дел и теперь занятого своей внешностью, костюмом, поддержанием еще сохранившейся бодрости.

— Не знаю, нужно ли об этом с тобой говорить?..— сказал Илья, не прекращая мять неприкуренную сигарету.— Я не хотел встречаться с тобой в Риме, где тебя окружало много всяких и разных господ.

— Всяких?

— Не сомневайся, известный художник! — Илья прикусил фильтр сигареты и сунул ее, так и не закуренную, в пепельницу.— Разумеется, там не было Джеймса Бонда. Но кувшинные рыла торчали непременно. В Венеции посвободней. И я решился. Я хочу узнать... и именно у тебя...— Он снова вынул сигарету из пепельницы и снова принялся тискать и крутить ее в пальцах.— Именно у тебя...

— Что узнать?

— Я хотел узнать... Именно у тебя. Узнать вот что, Владимир. Как ты думаешь: пустят меня на время в Россию, чтобы повидаться с матерью? Вернее — дадут ли мне визу? Только скажи по-мужски: ты можешь узнать?

— Это ты хотел спросить?

— Это,— ответил Илья, продолжая механически

мять сигарету, сосредоточенно устремив внимание на свои пальцы, нервные, с бледными отполированными ногтями.

— Визу? Не знаю,— проговорил Васильев и положил коробок спичек перед Ильей.— У тебя что — огня в зажигалке нет?

— Благодарю. Есть.

Илья сломал измятую сигарету, швырнул ее в пепельницу, после чего взял со стола зажигалку, высек огонь, задул его и не то поморщился, не то улыбнулся.

— Не обращай внимания. Мне разрешено курить три сигареты в день. Одну я выкурил, ожидая тебя. Так ты не можешь ответить на мой вопрос, Владимир?

— Нет.

— Жаль.— Он, опустив глаза, стал неспокойно поигрывать зажигалкой и, занятый этим, все так же, не глядя на Васильева, проговорил отрывисто: — Даже если бы меня расстреляли, я все равно хотел бы увидеть мать. Даже если бы расстреляли...

«Да, вот он, вот он!» — подумал Васильев, до предельной ясности вспомнив эту давнюю его привычку: давать работу рукам в моменты раздумья перед тем, как окончательно принять решение, и зажигалка мелькала на его ладони напоминанием той старой особенности Ильи.

— Я многое знаю о России по советским газетам,— заговорил Илья упрямым голосом.— Мне стало известно, что посмертно реабилитирован мой отец в годы Никиты Хрущева. Я хотел бы приехать на несколько дней... увидеть мать.

— Даже если тебя и расстреляют? Почему ты это сказал, Илья?

— Я мало кому верю. А иногда и бессрочно надо платить по счетам.

— За что платить?

— За то, что не вернулся, а теперь возвращаться поздно. За то, что не подох в плену, не захлебнулся в дерьме, как сотни других русских за границей, а даже благопристойно разбогател в пределах, конечно, скромных. Вот вышеупомянутые «за то». Мало разве? Но у Власова не служил. Хотя вербовали в Заксенхаузене. В Иностранном легионе не воевал. В военных преступниках и карателях не числюсь... Все было. Кроме перечисленного.

Он остановил испытующий, пристальный взгляд на лице Васильева и тут же, смягчая это упорное выражение, проговорил:

— Я постарел, поэтому мне снится наш двор на Лужниковской, деревянные ворота и липы под окнами. И еще — почему-то весеннее утро в голубятне, и, знаешь, пахнет перьями, коноплей... Я хочу... я хочу увидеть мать. Помоги, если ты мне хоть немного веришь. Если нет, то скажи прямо: нет!..

Васильев отвернулся к окну террасы, освещенному рассеянным солнцем, которое серебристым диском стояло над Большим каналом, а туман уходил по намокшей набережной, колыхался паром над утренней водой, и уже ярко засинело почти летнее небо и стали видны вершины храмов за каналом, купола музейных дворцов. Но это тихое солнечное утро осенней Венеции, ее погожая синева, радостно затеплившиеся купола вдали — все вдруг показалось ему неверным по сравнению с тем прекрасным и печальным, ушедшим в невозвратимые годы, в лучшую пору голубятен и весенних утр их жизни, когда он и Илья безоглядно верили неписаным законам замоскворецкого товарищества. И было тем горше, что прошлое окрашивалось сладостной дымкой их детства, их юности, куда не раз оглядывался Васильев в последние годы, думая о собственной судьбе. Что ж, он был признан, обласкан, известен, не стеснен в деньгах, поэтому привык не лицемерить и не оправдывать ложью свои поступки. И, мучась двусмысленностью положения, после слов Ильи «помоги, если ты мне веришь», он с отвращением к себе подумал, что вот здесь оба они подошли к бездне и в ней через минуту сгинет юное, неприкосновенное, святое, их общее, которое так необходимо было им в прошлом, в навсегда минувшем времени.

— У тебя семья? — спросил Васильев после долгого молчания.— Жена? Дети?

— Я вдовец. Был женат на немке. У меня взрослый сын Рудольф. Он работает в Мюнхене. После смерти жены я девять лет живу под Римом. Здесь спокойнее, и меньше русских.

— Что я могу? Чем я могу тебе помочь? — выговорил Васильев с тем же ощущением дохнувшего бездонного провала.— Чем?

— Я хочу обратиться в советское посольство в Ри-

ме,— сказал Илья холодно.— Я прошу тебя лишь об одном: при встрече с послом рассказать, что́ знаешь обо мне. Больше ничего. За меня ты поручиться абсолютно не можешь.— Он стукнул зажигалкой о стол, провел черту на скатерти.— Что было когда-то между нами, то быльем поросло! Жаль, но нич-чего не поделаешь!..

Он начертил зажигалкой вторую границу на скатерти, и эти две проведенные рядом черты вроде бы отсекли, окончательно отрезали их друг от друга,— и Васильев сказал внешне спокойно:

— Вероятно, я увижу посла перед отъездом. Только вот что я хотел спросить...

Он не договорил, потому что Илья, быстро выпрямляясь, вставал из-за стола с напряжением, застегивая пуговицу на пиджаке, и Васильев сейчас же увидел сквозь широкую арку двери Марию, которая шла по безлюдному ресторану на террасу в почтительном сопровождении метрдотеля, изображающего наклоном головы приятную покорность. А Илья, подтянутый, выпрямленный, стоял, не отпуская с матово-смуглого сухощавого лица ласкового внимания, стоял до тех пор, пока Мария, легонько улыбаясь, не подошла к столу, и только тогда он не без подчеркнутой предупредительности, отодвинув свободный стул, пригласил ее сесть; она кивнула обоим, села со словами:

— Доброе утро, я вижу, вы еще не завтракали?

— Я не знаю ваших привычек: что вы едите на завтрак? Мне достаточно овсяной каши, двух яиц и стакана молока. Диета по-английски,— сказал Илья и в первый раз засмеялся отрывистым, жестяным и незнакомым смехом.— Но было время, когда я начинал утро не с молока. Поэтому не считаю лишним спросить: не угодно ли, Мария, хорошего вина? Ты как, Владимир?

— Очень сомневаюсь.

— Начинать день с вина — безумие, по-моему. Я присоединяюсь к английской диете,— ответила Мария, доставая накрашенными ногтями сигарету из пачки, пламя зажигалки, поднесенной Ильей, промелькнуло по ее темно-серым глазам тревожной вопросительной искоркой и тотчас растаяло в потоке солнечного света. Она, аккуратно причесанная, тронула волосы на затылке, лицо ее казалось молодо, свежо, ни тени вчерашней усталости, и Васильев подумал, что утренняя ванна, некое колдовство известного ей лицевого массажа, кото-

рый она делала втайне, удивительно молодили ее по утрам.— Вчера был туман, а какое прелестное сегодня утро,— сказала она, глядя на канал, где, равномерно постукивая мотором, разворачивалась от причала снежной белизны моторная лодка и ветровое стекло сияло на солнце брызжущим веером.— Так что — решили по-английски?

— Мне стакан горячего молока,— сказал Васильев, ему не хотелось есть.— И достаточно.

— Отлично. Херр обер! — Илья сделал неуловимое движение к метрдотелю, и это был жест человека, привыкшего к ресторанам, а метрдотель, тщательно поправлявший занавеску на слепящем окне, шагах в пяти от столика, мгновенно подошел, излучая удовольствие румяными щеками в связи с хорошим настроением гостей, прекрасным утром, положил перед каждым меню, большие, золоченые, как дарственные папки почтенному юбиляру.

Не проявив ни малейшего интереса к меню, Илья вскользь сказал метрдотелю несколько слов по-немецки, и тот, щелкнув каблуками, таинственно-намекающим тоном проговорил: «Jawohl, ein Moment»[1] ,— и деловито удалился на коротких упругих ножках бывшего военного человека.

— Он, конечно, принял тебя за немца,— сказала Мария и полистала ради любопытства меню, прочитала вслух по-французски названия блюд.— Ого, боже милостивый, утренние мясные блюда обрадовали бы Ламе Гудзака! — Она закрыла золоченую папку и взяла сигарету, прислоненную к краю пепельницы.— Илья, ответь мне на один вопрос,— проговорила она со вздохом,— кому в этом западном мире удобнее жить — американцу, немцу, итальянцу или, наконец, русскому? Ты это замечал?

Илья сказал жестко:

— Никому! Надежды давно умерли, как и боги. Семидесятые годы — критические, восьмидесятые будут роковыми. Поэтому — либо, либо...

— Что «либо»?

— Либо все удовольствия цивилизации, превращение земли в мусорную свалку и самоуничтожение к концу века, либо здравый смысл плюс новый Иисус Христос...

---

[1] Так точно, сейчас (*нем.*).

— Ты веришь, Илья, в здравый смысл? — спросил Васильев, думая о жестокости его утверждения, соглашаясь с ним и не соглашаясь.— Мне кажется, что в последние годы люди потеряли веру в самих себя. И это всех разъединило.

— Разъединила жадность, кровь и тупоголовость политиков,— проговорил Илья, поигрывая зажигалкой.— Я давно расстался бы со своей поношенной оболочкой, только... Только одно держит еще на земле — праздное любопытство: а что дальше будет? Стоило, к примеру, мучиться жизнью, чтобы вас увидеть...

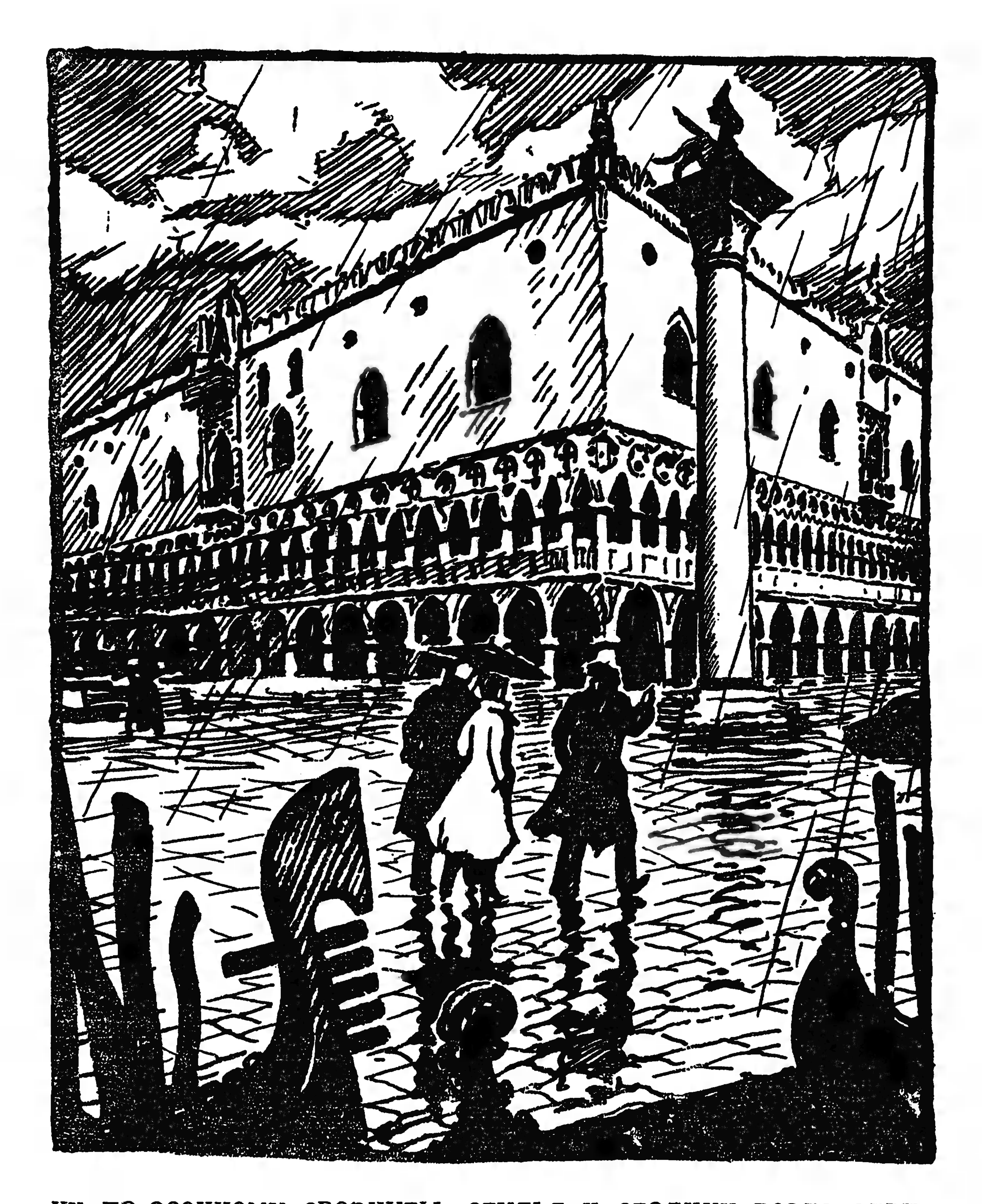
И он повел ласково усмехнувшимися глазами по задумчивому лицу Марии, а она не ответила ему, закинув ногу за ногу, чуть морща переносицу, рассеянно следила за разворотами отдаленно потрескивающих белых моторок на сплошь уже залитом солнцем канале, и тогда в сознании Васильева туманно проскользнуло: «Не может быть, чтобы у нее что-то осталось к Илье от того, школьного, от той осени сорок первого года... Что такое? Неужто я ревную?»

— Еще просьба, Владимир,— сказал будто между прочим Илья, взглядывая в окно, куда смотрела Мария.— Я решил купить у тебя картину с выставки. Она называется «Псковское утро». Если ты не против, то я...

— Не могу тебе ответить положительно,— не дал ему договорить Васильев.— Мне лучше подарить тебе, чем продать. Я подумаю.

«Как я хотел много лет назад встречи с ним,— думал Васильев час спустя, когда они расстались с Ильей.— Мы были совершенно разные в чем-то, я во многом чувствовал его превосходство, но был ли потом у меня лучший друг, чем он? Невыносимо то, что мы понимаем противоестественность... с которой ничего нельзя поделать!..»

На площади Святого Марка пахло дымным холодком осени, площадь, овлажненная недавним туманом, светло отблескивала на солнце, и здесь веселой метелью, оглушительно треща крыльями, взвихривались огромные стаи голубей, низко носились над зелеными крышами Дворца дожей, над набережными и, вновь обдавая настигающим шумом, садились на площадь, на головы и плечи трех старух американок, с возбужденным смехом рассыпавших крошки хлеба вокруг себя. Уже не работали летние кафе, тенты и цветные зонти-



ки по-осеннему свернуты, стулья и столики везде сдвинуты, а пахнущий морем ветер с Большого канала, мерцающего густо-синей тяжелой водой, шевелил, гнал у пристаней обрывки газет, смятые сигаретные пачки, пустые целлофановые пакетики, закручивал весь этот туристский мусор в шуршащие карусели возле витрин опустевших до весны магазинчиков.

— Маша, давай постоим здесь,— сказал наконец Васильев, молчавший от самого отеля после разговора с Ильей.— Ты знаешь, где мы сейчас находимся?..—

добавил он, пытаясь вернуть ощущение душевной ясности в этом необычном городе, который вдруг потускнел, темно заслонился тревожным, незаконченным, и свежее октябрьское утро, дуновение по набережной сыроватого воздуха, зеркальные вспышки ветровых стекол на бороздящих канал катерах воспринимались им как нетвердая временная реальность.

— Бывает, Маша, площадь Святого Марка в бурные весны затапливается водой, и каменные плиты храма...— проговорил Васильев и запнулся, заметив тоненькую морщинку досады между бровей Марии.

— Не надо туристских пояснений. Давай немного помолчим. Я пойму,— сказала она, наблюдая умиленных старух американок, все кормивших раскрошенным хлебом голубей на площади.— Не знаю, рассказал ли он тебе, что его спасло,— заговорила Мария минуту погодя, мельком оглядывая канал, пристань, свободные гондолы, качающиеся у высоких столбов, и нежную яркость неба над вырастающими из воды дворцами.— Получилось так, что в сорок четвертом году пленных привезли из лагеря на расчистку какого-то немецкого городка после американской бомбежки. Там Илья работал на завалах разрушенного завода и однажды каким-то невероятным образом познакомился с одной немкой. Некой Мартой Зайглер. Она была не очень молодой, представь — немного горбунья, но... с глазами Гретхен, несомненно...— Мария с насмешливым безразличием пожала плечами.— Как ты понимаешь, все это похоже на Илью. Он заговорил с ней по-немецки, а она попросила коменданта лагеря присылать его к себе на работу. В сорок пятом, после освобождения, он остался у нее. Забавная история, не правда ли? И, как я поняла, он любил богатую немецкую горбунью... несомненно, с глазами Гретхен.— Она опять пожала плечами, покусала губы.— Десять лет назад его жена умерла и оставила ему, как он сказал, маленький, но хороший заводик швейных иголок, который он недавно продал и приобрел какие-то акции. Ну, чем мы будем сейчас заниматься в очаровательной Венеции?

— Ничего не могу с собой сделать. Илья не выходит у меня из головы,— сказал Васильев.— Пойдем по набережной, Маша. Я тебе покажу мансарду, где я жил два года назад,— добавил он, и вновь ему захотелось

и не удалось вернуть легкое, молодое настроение его прошлого приезда в Венецию.

...А тогда хорошо было пройтись весенним утром по теплой, еще влажной набережной, где уже завтракали туристы в открытых кафе, с удовольствием шагать по ее брусчатнику, несколько устав от работы в снятой под мастерскую мансарде, и охватывало волнением надежды, любви, веры в бессрочность апреля.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

За последние десять лет в московской мастерской Васильева побывало много художников, и он охотно показывал каждую свою новую работу. Но все принятые в таких случаях слова, все эти «талантище», «удивил», «ну, знаешь ли», все эти восторженные или ревнивые восклицания, возведение взора к потолку, закладывание рук за спину, неопределенное мычание и глубокомысленное покашливанье, продолжительное хмыканье со значительным видом и все жесты не то ошеломления, не то вежливого неудовольствия давно утратили первородную свежесть вместе с искренностью, он же сам почасту воспринимал это как необходимые издержки общения с собратьями по профессии, без которых, однако, жить в затворничестве невозможно.

Воскресные утра обычно начинались с того, что заходил кто-либо из «картинщиков», особей физически сильных, выносливых, нередко бородатых, обладающих мускулистыми руками молотобойцев, у которых въевшуюся краску под крепкими ногтями отмыть до чистоты было нельзя. В воскресенье непроспанный голос «картинщика» иногда бывал чрезмерно густ, сниженно гудел, запухшие глазки на плутоватом лице подозрительно красны, речь то и дело переходила на бытовую тему — на опустошенный нашествием друзей холодильник, где неплохо бы про запас иметь бутылку ледяного пива после проклятой субботы,— и, покрякав, похохотав, покосившись на мольберт с начатой работой, на стеллажи, задернутые по стенам занавесью, гость наконец спохватывался, просил минеральной, на худой случай соку какого-нибудь, «можно и томатного, какой в холодильнике имеется», и, с наслаждением опорожнив бутылку холодной минеральной, безобидно уходил, к облегчению Васильева, освобожденного от утренних страданий коллеги. Затем перед обедом заглядывал сосед

по мастерской (вторая дверь в коридоре налево) пейзажист Ахапкин, приятный, с тихим голосом и томными глазами человек, зимой одетый в желтую, всю в «молниях», курточку, летом в шоколадного цвета шорты, чудовищно широкие на его худых волосатых ногах. Он тихонько стучал, тихонько открывал дверь и, бесшумно входя в мастерскую, делал осторожный шаг вперед, затем шаг назад, как бы втихомолку изображая для себя изящное па, затем переступал порог, стеснительно произносил поющим голосом одну и ту же фразу: «Добрый день, можно к вам? Простите, Владимир Алексеевич, вы на меня не обижаетесь?»

Этот изящный танец возле порога был давно замечен Васильевым, и он отнес его к суеверной странности милого, талантливого, одинокого художника, который нравился ему застенчивой немногословностью суждений и тонкой простотой. По обыкновению Ахапкин извинительно озирал мастерскую, в задумчивости кончиком пальца касаясь подбородка, сконфуженно взглядывал на палитру, на холст и, замерев, бормотал в потрясении: «Какой сияющий колорит, Владимир Алексеевич!.. Вам позавидовал бы и Эдуар Мане». Он был влюблен в манеру и стиль Васильева, не пропускал ни одной его выставки, являясь преданным поклонником, готовый смотреть его работы часами. А когда Васильев однажды возразил в полушутку, что Эдуара Мане, несмотря на звучные тона даже знаменитой «Олимпии», надо считать скорее салонным художником, чем отцом современной западной живописи, Ахапкин глянул на него взором ужаса, не произнес ни слова и тут же боком заскользил, заспешил к двери, испуганно оглядываясь, как если бы здесь хотели побить его. После этого Васильев в его присутствии перестал высказывать свое отношение к прославленному французу, ибо вступать в спор по поводу кумиров и учителей по меньшей мере неблагодарно. Тем более ему приятен был безобидный Ахапкин, не приспособленный ни к спорам, ни к злой зависти, с его ненадоедливыми визитами в мастерскую, с его восторженным, бескорыстным поклонением светонасыщенным краскам и живописи вообще, которую он ставил выше самой действительности и выше собственной жизни.

Вечером под предводительством художника Колицына приезжало скопом человек шесть, знакомых и не-

знакомых; знакомые вваливались беззастенчиво и шумно (актеры, писатели, редакторы), вносили терпкое ресторанное возбуждение, незнакомые же, жаждущие «посмотреть Васильева», стесненно топтались на пороге, точно в чужом храме, а Колицын, щеголеватый, с львиной гривой серебряных волос, облобызав Васильева, кричал полносочным баритоном, не соответствующим его сохраненной юношеской стройности, что придется, несмотря ни на что, некоторые вещи приоткрыть интересующемуся народу, который должен знать отечественные таланты,— и тогда надо было демократично показывать картины, снимать с полок, ставить на мольберт, потом к стене, потом одну на другую, в конце концов загромождая всю мастерскую. И гости, загораясь лицами от доступности художника, просили и требовали самых ранних его работ, послевоенных, которыми он, еще в Суриковском, еще донашивая артиллерийскую шинельку, заявил о себе,— замоскворецкие переулки, затянутые лиловыми морозными сумерками; тупички с сугробами около заборов; метель, пивной ларек вблизи трамвайной остановки, черная очередь, залепленная снегом; вечерние огоньки в тихих двориках, заросших липами; заледенелые полукруглые мосты через Канаву, мотающиеся на ветру фонари ночной набережной.

Ранние работы, напоенные и переполненные настроением, но, как мнилось самому Васильеву, лишенные глубокой мысли и дерзости, цветовой емкости, так или иначе вызывали неподдельный интерес Колицына. Он подолгу стоял перед ними, скрещивая руки на груди, отходил от картины и подходил к картине, вздымал брови, его одутловатые щеки розовели горячечным румянцем, в треугольных, как у старого льва, глазах появлялся стоячий влажный блеск, однако ни похвального, ни хулительного слова он не молвил, только наконец заключал неопределенно: «Н-да, молодость любопытна». Фразу эту можно было воспринимать неоднозначно, по желанию, но Васильев предполагал, что ранние его работы неким образом снимали чувство неудовлетворения у Колицына, сближали обоих и переносили в ту обещающую пору молодости, когда все в общем-то были равны перед будущим и никто всерьез не думал ни о выставках, ни о славе, ни о продаже картин музеям. Удостоенный высоких званий, занимая высокое

положение и должности, Колицын был жаден на похвалу, хотя в его искусствоведческой книге о послевоенном поколении художников Васильев не без любопытства прочитал о себе, что он заметный представитель «жесткого стиля», возникшего в конце пятидесятых годов, что опыт живописцев этого сурового направления хочет видеть жизнь такой, какая она есть, ничего не смягчая, не приукрашивая, и именно здесь его достоинства и недостатки. Тогда Васильев еще не утратил тщеславный интерес к тому, что писали о нем, и броское определение фронтового поколения — представители жесткого стиля — показалось довольно метким, ибо надоевший зализанный «академизм» и умиление в искусстве претили ему.

Они вместе учились в Суриковском, и длительное время делало их близко знакомыми, что позволяло Колицыну, живописцу, профессору, доктору искусствоведческих наук, председателю иностранной комиссии, часто заезжать в мастерскую не только по делам личным, но и по делам зарубежным. Иногда по работе своей комиссии он просил Васильева принять иностранцев, и показ картин заканчивался русским гостеприимством; иностранцы, хмельные, возбужденные, расходились глубокой ночью и со смехом, восклицаниями, лобызанием прощались возле лифта, роняя шляпы, извинялись, а Васильев потом прибирал в мастерской, испытывая опустошенность, угрызения совести после столь щедрого расхода нервных клеток и драгоценных, растраченных бесполезно часов.

В связи с последними событиями в его жизни — выставки, юбилей, лауреатство, избрание в Академию художеств — двери его мастерской уже вовсе не закрывались, особенно в субботу и воскресенье, к нему бесцеремонно стали заходить и в рабочие дни подчас совсем незнакомые люди, приносили и ранние и запоздалые поздравления, иные заискивали, иные просили денег, высказывали до стыда непотребный восторг, оставались к обеду,— и целый день опрокидывался в бестолковую пустоту невозвратно.

Но потом он понял, что это лукавила и приближалась его творческая гибель. Он понял, что надо немедленно отъединиться, запереться от всего мира, как бы уйти грешному в дальний монастырь, перестать дразнить судьбу, ибо обильные праздники слишком затянулись,

отрывали его от ежедневной работы, одержимость которой он считал единственной оправданной формой существования. И Васильев разом решил оборвать все демократические нити, сжечь наведенные мосты перед порогом в мастерскую и погрузиться в монастырское одиночество работы, которая только и способна окупить собственное предназначение на земле.

Он пригласил лифтершу вымыть полы в тщательно проветренной им мастерской, дабы отмыть, отчистить ее от духа праздности, пустопорожней болтовни, тщеславия и успеха, расставил по местам и повернул лицом к стене картины, чтобы создать простор, отсутствие плоти, свободу, заготовил холсты — и, в течение трех дней приведя мастерскую в состояние чистой кельи отшельника, вновь вернулся с еще не приходившим душевным облегчением к незаконченной работе — это был портрет режиссера Щеглова.

Ночуя в мастерской или приезжая очень рано, он запирался, не отзываясь на стук и звонки общительных и несколько обескураженных коллег, не подходил к телефону, за исключением условленного сигнала жены и дочери. Он относил себя к рабочим лошадям, и праздные человеческие голоса в коридоре вызывали в нем тоскливое бешенство, он ужасался напрасно потерянному времени и проклинал безмерное честолюбие «искусителя и завоевателя душ красотой», как сказал его друг Лопатин, шутя, предупреждая его от жажды удач, благосклонного везения и неискренней любви коллег.

И телефон, накрытый пледом, трещал понапрасну, шаги в коридоре приближались, топотали и удалялись, стук в дверь раздавался и требовательным напором, и вкрадчивым поскребыванием, Васильев не отвечал, и в этих звуках чудилось ему взорвавшаяся ярость против него и ревность — ему вроде бы не прощали уход в одиночество и работу, эту ссылку в себя, он вроде бы обманул многих, кто хотел видеть его постоянно доступным.

Но раз ночью (всю неделю он не выходил из мастерской) его разбудил телефонный звонок. Васильев вскочил, спросонок ничего не соображая, зажег ночник над диваном, взглянул на часы: шел первый час ночи. Он боялся поздних, неурочных звонков, порой ошибочных, недобрых, связанных с несчастьем, не сразу снял трубку и услышал полнозвучный голос, по-видимому, не

очень трезвого Колицына, говорившего с ерническим весельем:

— Что, разбудил тебя, бессмертный Гомер современной живописи? Нашел тебя, прости уж меня за настырность, наконец, ночью! Ну, знаешь!.. Тебя достичь сейчас потруднее, чем министра или схимника в пещерах. Как прикажешь понять: ушел в подполье, постригся в монахи? Или заела гордыня?

— Послушай, Олег,— проговорил Васильев рассерженно.— Ты на часы посмотрел? В это время спят все люди добрые, уважаемый товарищ секретарь...

— Называй меня хоть дубиной стоеросовой! — перебил Колицын.— Но уж если я тебя поймал, то я должен тебя немедленно увидеть. Ты слушаешь или нет? Я должен увидеть тебя немедленно. Я подымусь к тебе сейчас. Я звоню из автомата внизу. Через пять минут открой дверь. Я мерзну в автомате у твоего дома.

— Это на самом деле идиотизм несусветный! Какой может быть поздней ночью разговор?

Но там, в автоматной будке вблизи подъезда дома, в пустынной тишине зимней ночи, повесили трубку, и Васильев, раздраженный, подумал, что Колицын, по обыкновению, возвращался откуда-то из ресторана гостиницы после встречи на аэродроме и ужина с иностранцами и навеселе решил заглянуть в его мастерскую, вообразив, что этого не хватает для полноты чувств.

Но как только вошел Колицын, разгоряченный и, против ожидания, мрачный, в пыжиковой шапке, в расстегнутой меховой шубе, как только переступил порог мастерской, Васильев понял, что он приехал не по причине полноты чувств и не по дороге из ресторана. Был Колицын совершенно трезв, непривычно бледен, его треугольные глазки мудро стареющего льва, усталые, желто-зеленые, обежали с ощупывающей подозрительностью мастерскую, стоически повернутые к стене картины, задержались на мольберте, где начатый холст накрыт был куском материи, и он спросил с недоверием:

— Кто-то мне сказал, что ты работаешь по ночам?

— По ночам я хотел бы спать, чего желаю и тебе.

— Великий Микеланджело работал при свете свечей. И почти весь Ренессанс. И русские гении,— заговорил Колицын торопясь.— Они работали, как каторжники, прикованные цепью в мастерской, они работали на бес-

смертие. Они были обречены на бессмертие. На что обречены мы?

— В первую очередь не выпрыгивать из собственного костюма. Без брюк неприлично, знаешь ли.

— Неприлична всегда бездарность. В любом костюме, Володя.

Голос его, обладавший глубокой сочностью, порой солидными, порой добродушно-снисходительными оттенками, был сейчас низок и тускл, сдавленный возбуждением:

— Знаю, Володя, что слава художника — тень дыма, прихоть судьбы. А вот ты все же пишешь и уповаешь, что твой личный след в живописи останется, потому что умеешь думать красками. Надеешься ведь? Каждый талант надеется, иначе бы он не творил. Так, Володя? Или не так? А что делать тем, у кого хрупкий талантик? Жить в муках и бессилии? Что делать и думать травинке около куста шиповника?

— Расти рядом. Ты об этом хотел со мной поговорить? — сердито спросил Васильев и, чтобы подавить раздражение, притворно зевнул, закуривая.— Не думаешь ли ты, что дискуссия бессмысленна? Лучше скажи: кого встречал или кого провожал? Садись вот сюда в кресло. Оно хорошо тем, что девятнадцатого века. Шик прошлого.

Однако Колицын не сел в кресло, бархатное, потертое, продавленное, поэтому заманчиво втягивающее в свое буржуазное лоно мягкой глубиной. Он обеими руками откинул назад густую серебристую гриву, спадавшую на воротник, и, не отнимая гибких, почти женских рук от висков, с тоской впился замутненными глазами в одну из повернутых к стене картин.

— Работал сегодня с утра, устал, вымотался, как дьявол,— заговорил Колицын подавленно.— И ничего не поймал: белый снег, белые деревья, белые дома и синее февральское небо, уже с ощущением весны. Белое и синее. И какая-то фиолетовость. Не нашел, не поймал, не схватил! Измучился. Но не схватил февральскую прозрачность и белизну инея на солнце. А было вдохновение — полет творческой свободы!..

— Да ты не так громко,— уже откровенно зевнул Васильев.— Куда полет? Ходи по земле — так удобней. А то взлетишь, темечком в потолок мастерской врежешься. А ремонт нонеча дорог.

— Хочу серьезно спросить тебя, уважаемый метр,— проговорил Колицын, зло дергая головой.— У тебя бывают минуты полного бессилия? Когда ничего нет. Бывают минуты, когда ты чувствуешь, что бессилен передать себя... в цвете... на холст? Или ты счастливец, у тебя нет такого? Да, у тебя! Легко жить с верой в свою гениальность.

Васильев поморщился, махнул сигаретой.

— Я никогда ни секунды не сомневался в том, что гениален. Тем более что бывали минуты, когда была полная уверенность, что я не осел в искусстве, а всем ослам осел, вернее, не добротный осел, а тень осла. Что тебе еще ответить, Олег, в первом часу ночи? Могу еще добавить, что в живописи невозможно выразить, что делает чувство, когда дремлет разум. Как поступает чувство в таком случае — предмет литературы.

— Намек в мой адрес, Володя?

— В свой, твой и всей живописи. В живописи — две трети бессилие.

— Помолчи, помолчи, Васильев! Я вспомнил сегодня один твой пейзаж,— встрепенулся Колицын, по привычке все откидывая обеими руками назад волосы, и заходил около стены, где стояли повернутые картины.— Твой пейзаж, весенний — поля, фиолетовый снег в овраге, солнце в лужах на дороге... Где он у тебя? Он был здесь, вот здесь. Разреши посмотреть? Я вспомнил его сегодня, и я хотел увидеть... Ты считаешь его удачей? Как ты к нему сам относишься? Как ты?..

И, казалось, не выбирая в ряду картин, он перевернул одну из них в самом углу — весенний пейзаж, написанный Васильевым прошлым годом,— и попятился, отошел на несколько шагов, как-то пьяно начал покачиваться с каблуков на носки, вымученно улыбаясь, а его гибкие женские пальцы сбежались и сплелись за спиной в тесный замочек.

— В общем-то неудача, а какой простенький мотив,— сказал с досадой Васильев.— Непойманное мгновение, мое бессилие перед светом, если хочешь...

— Я не ошибся,— забормотал Колицын бредовой скороговоркой.— Угол в твоей весне выпал. Пустота в углу. А тут, где тени... перехолодил, надо теплее, теплее... Не-ет, ты густо замесил, но здесь ты не попал, не схватил... Я чувствую лопатками — ты промахнулся. Только небо. Вот здесь ты попал — чудесный источник

света, источник весны. А все остальное — неудача, мертвечина, непопадание. И ты, и ты, мастер Васильев, бываешь бессилен, хотя в сто раз талантливее меня, и ты бываешь слабым! Смешно и пошло, а я сегодня думал о твоей неудачной весне, об этом пейзаже! — продолжал он свинцовым голосом презирающего свою искренность человека.— Вообрази, что сегодня я весь день думал о тебе!.. В конце концов, у тебя счастливая судьба в искусстве, но ты не Энгр! Не Щедрин! И я не очень люблю твои вещи!..

— С какой же стати такой пафос? Для монографии, что ли?

— Не гений! Я сегодня подумал, что я наказан, безнадежен, потерял все, стал чиновником и — от моего таланта нет уже ни крупицы! Спасибо за твой пейзаж — нет, не я один, безумец, кусаю локти! Не я один, не я один!..

Его лицо, дрожащее выдавленной улыбкой, было измученным, измятым, его мутные, воспаленные глаза выражали недуг нервного срыва, близкого отчаянию, такого знакомого Васильеву, такого терзающего в те минуты недобро открывшегося Колицына, которого, оказывается, казнила беда сжигающего желания искать острый огонь нескончаемой пытки.

В то утро ему позировал режиссер Щеглов, родной дядя Марии, сухощавый, живой, подвижный, несмотря на почтенный возраст, и в позе раскованной вольности он то и дело закладывал ногу за ногу, отчего узкие зеленые брюки подтягивались на тонкой щиколотке, выказывая полосатые носки, модные ботинки на толстой подошве. Он не мог позировать спокойно, беспрестанно курил, говорил, острил, трескуче кашлял, и сухое лицо преображалось ежеминутно, становилось то загадочно-игривым, то сатанински-лукавым, то мудрым ликом усталого сатира, создавая эти перемены выпуклыми глазами за стеклами очков, ядовито-выразительными складками энергичного рта. И его ироническая терпкость речи, нацеленная на все сущее, в том числе и на самого себя, мнилось, не способна была иссякнуть, остановиться на чем-либо одном, освобождая Васильева от всякой необходимости занимать вопросами натуру.

— Это, конечно, грандиозно, однако не понимаю, го-

лубчик Владимир Алексеевич,— говорил Щеглов, немного картавя с томной аристократичностью, стряхивая пепел в железную пепельницу на подлокотнике кресла.— С ума сойти! Уже уйму времени вы возитесь со старым мухомором, шутом гороховым, который и для портрета собственную рожу умно сочинить не может! Плохо держу позу. Увольте — не способен! Не уразумею, зачем вам заплесневелый лицедей, совсем уж не павлин-птица, а старый дикобраз в модных парижских брюках? Впрочем, в нашем мире всё — милая, расчудесная, знаете ли, игра и лицедейство. Что? Нет? Балаган, сцена, одна и та же пьеса — и поразительная драматургия! Согласитесь, что человек всю жизнь играет и редко бывает самим собой — бог ему простит. Положим, родное искусство — развлекательная игра ума и чувств. А любовь? Самая грандиозная игра полов. Правда — лукавая игра с ложью в прятки. А ложь — игра в правду. Далее заседания, совещания и прочая — не игра ли это взрослых людей, старательно делающих серьезный вид? Теперь, скажем, слава и властолюбивые потуги — игра самых сильных и самых алчных. Лишь смерть прекращает всякую игру, но... потом начинается игра других — панихида, похороны. Согласитесь, жизнь и смерть — это грандиозный театр! А сам театр — жалкая миниатюрка жизни и смерти...

Он не смеялся в голос, только въедливо покряхтывал, постанывал смехом, взглядывая сквозь стекла очков проникающими глазами, потом вкусно подносил сигарету к змеисто-узким губам, вкусно выдыхал дым длинной струей и то и дело принимал позу человека, вынужденного в безделии нескучно провести время. Торопясь, почти ударяя кистью по холсту, Васильев хорошо слышал звук его голоса, однообразное кряхтенье, изображающее смех, но слова и смех Щеглова проходили стороной, понять их смысл мешал морозный снежный свет, веселый, уже февральский, в утренних окнах, снизу сплошь заросших ослепительными папоротниками, сверху пронизанных незимней голубизной неба, и солнечное инистое утро, и скользящее неутомимое лукавство за стеклами щегловских очков, и привычная обстановка мастерской, и эта добровольная ссылка в себя, в одиночество, как говорил он иногда, без чего нельзя сосредоточиться, найти счастливое положение равновесия,— все было так, как бывало всякий раз, когда он

весь уходил в работу, и вместе с тем не было полного растворения в этом состоянии, точно след давней тревоги тлел в его душе.

«Нет, это не после Венеции со мной что-то произошло. Нет, два года назад началось какое-то смутное беспокойство после той опасной болезни дочери. Или это раньше началось?..»

— У вас странное лицо, голубчик Владимир Алексеевич, вы меня не слушаете?

— Я слушаю, Эдуард Аркадьевич. Вот... посмотрите сюда, чуть-чуть правее холста,— сказал, встрепенувшись, Васильев и показал кистью, куда следует смотреть.— Вот так. Спасибо.

— Вижу гениальную, грандиозную пьесу о жизни негероического мужчины. Но кто автор? Где Свифт? Где Салтыков-Щедрин? Увы! Среди драматургов унылое засилье базарных талантов, друг другу на ноги тщеславно наступающих.

Щеглов говорил и поглаживал, ласкал изысканно-тонкой, плавной рукой подлокотник кресла, прицелив вспыхивающий мелкими колючими искорками взгляд чуть правее холста:

— Так вот она, жизнь мужчины: до двадцати молодому индивиду воображается, что он бессмертен, а впереди все радужно, сплошные фанфары, любвеобильный почет, лавровые венки от сослуживцев, мировое признание открытий, восторженное рыдание поклонниц, и уж, несомненно, Перикл, Сократ и Лев Толстой перед его гением жалкие голопопые щенки. Далее вступает в дело реальность: до тридцати пяти лет — женщины. Тут он познает разные прелестные вкусовые качества — от карамели и меда до уксуса и горчицы. Но, разумеется, главным образом — дистиллированную воду. И, не утолив жажды, он после сорока лет испытывает зверский голод. То есть потребность хорошо поесть, и, что называется, приняв с исключительным аппетитом рюмку водки, как пролог к священнодействию, муж познает чревоугодие. Итак, что дальше? Дальше — после пятидесяти — воскресное лежание с газеткой на диване, телевизор и сон, продолжающий удовольствие сытной трапезы. Но иногда вопрос как стук молоточка по темечку: неужели скоро конец? После шестидесяти: у одних особей — наслаждение воспоминаниями удалой моло-

дости, у других — паническая боязнь болезней и страстная любовь к парковым скамейкам и домоуправлениям, а по ночам у всех одно — бессонница и страх одиночества перед одиночеством вечным. Как вам нравится такая грандиозная картинка?

Взгляд Щеглова адски посверкал и, остро веселея, сорвался с точки в пространстве, побродил в папоротниковых зарослях солнечного инея на окне, как бы играючи заготовив там следующую мысль, и Васильев тщетно силился проникнуть, сняв подогнанную одежду его формул, к чему-то невысказанному, главному, чего никогда не касался он, как не касался и своей скрытой от всех, далеко не монашеской и не аскетской холостяцкой жизни. Он был родным дядей Марии, и, давно зная Эдуарда Аркадьевича, вездесущего, нещадно энергичного человека без возраста, Васильев ни часу, однако, не видел его ни серьезным, ни задумчивым, ни самоуглубленным, только изредка возникало на секунду в донной глубине его сарказмом искрящихся глаз нечто осеннее, печальное, связанное, казалось, с шорохом листопада, с постукиванием капель ноябрьского дождя в уже оголенном саду... Но это ощущение осени могло быть одним воображением Васильева, и, вероятно, поэтому, выбрав Щеглова, натуру трудную, не умеющую держать позу для портрета, он так долго, с перерывами работал, исправлял, переделывал, не находя того, что хотел найти в естестве его.

«Но что я хочу найти в нем? Угадать, какие мысли приходят ему в длинные стариковские ночи? Каков он на самом деле?»

— Кстати, Владимир Алексеевич, позволю заметить,— продолжал между тем Щеглов.— Личности крупные сомневались и искали, таким образом, мало имели радостей на этой земле, потому что во имя истины дарили себя роду человеческому, который вовсе уж не сразу благодарно принимал их. Напротив, легион милых завистников, армия посредственностей травили, осмеивали, даже сжигали и распинали непохожих на себя особей, именно так! Таким образом: смеет ли человек усомниться в сомнительном? Смеет? Нет? Как писать — гегемот или гигимот? Как, позвольте, «ге» или «ги»?.. Кто прав — гении или посредственности?

Указательный палец Щеглова взметнулся в воздух, выписал в полете стремительные вензеля вопросительных

знаков, и заблистала солидная золотая запонка на жесткой манжете, и внушительно колыхнул крыльями черный галстук-бабочка под зеркально-бледным острым подбородком.

— В чем же истина? В чем? Однозначна ли она? Нет ли в ней прямой и обратной стороны? Классическая ясность «да» или «нет» появится тогда, когда мы твердо определим, что есть счастье. М-м? Так что же оно? Дважды два? Прелестная падающая звезда в августовском небе? Или сумма плотских наслаждений? Или каждодневный мир с прошлым и настоящим? Или одержимость, так сказать, вдохновение, как бывает у вас, Владимир Алексееевич? Или счастье — мечта жить в раю голубых снов? Или любовь к человеку? М-м? Но гуманизм ли, если врач при родах спасает ребенка-урода и тем самым на всю жизнь возлагает тяжелейший крест на плечи матери? Однако есть единственно возможный абсолют: человек может быть счастлив только в детстве, когда пребывает в состоянии этакой душевной неразвращенности. А этот период так в нашей жизни быстротечен! Так как же правильно писать: гегемот или гигимот? А? Кха, кха... мм? Тем более что сами слова — лишь тени мыслей, вернее — ветхая одежда мыслей. Так «ге» или «ги»? Или все-таки — бегемот?

— Одержимость и вдохновение в искусстве тоже не абсолют счастья,— проговорил Васильев, стараясь поймать на холсте весело-змеистую особенность живых и тонких губ Щеглова.— Одержимость не может быть счастлива в погоне за совершенством, а неудовлетворению конца нет...

— Несом-нен-но! — артистично порхнул в воздухе плавной рукой Щеглов, не дослушав, и заговорил со скользящей легкостью: — Заметьте новый и грандиозный парадокс! Чем больше люди разрушают вековое, тем примитивнее становятся их чувства, увы! Крупные купюры добродетели разменялись на медяки кухонных склок и служебных подсиживаний. Заметьте, что гипертрофированно усовершенствуется рациональный разум и практицизм, в то время как сердце всеми забыто. И что же? Что же? Шекспировским страстям в век пластмассы не бывать уже. Любвишка какая-то бытовая. Ненависть — рыночное недоразумение в очереди за ташкентским луком. Скромность стали считать глупостью

и недотепством, хамскую грубость — силой характера. Сплошное опупение и пнизм от слова «пень»! Эт-то, конечно, грандиозно! Пощечина подлецу, как в добрые времена мужской чести,— о, какая неблагоразумность и бессмыслица, какое архаичное донкихотство! И только зависть, жесточайше душу гложущая, расцвела волшебным розарием в новом мещанстве. А?.. Мм?.. Завидуют страстно, как сумасшедшие, и по всем габаритам: деньгам, модной юбчишке, новой квартире, здоровью, даже миниатюрному, маломальскому успеху. А? Кха... И вследствие этого тайно, но сладострастно радуются чужому неуспеху, протекающему потолку у соседа, ячменю на глазу, безденежью, болезни и — не содрогайтесь! — даже смерти бывшего удачника: он уже там, а я еще тут. Или: как хорошо и справедливо, что его погребли на Востряковском, а не на Новодевичьем. Завидуют повально — и дворник, и актер, и замминистра. Что? Министр? О, я уточняю: он — нет, ни в коем случае, он, несомненно, лишен некрасивого, порочного чувства. Итак, зависть — всесильная царица проституток мира. Вожделенная и обольстительная девица. Вот куда уходят нервные клетки страстишек: поклонению, ей, куртизанке в пропахшей чужим одеколоном чужой постели! Очаровательно и мило, не правда ли?

— Ну а вам кто-нибудь завидует? — спросил Васильев, чтобы передохнуть от едкой разрушительности, от потока пропитанных иронией и желчью фраз, утомивших его беспощадной игрой насмешливого ума Щеглова.— Вам кто завидует?

— Мне? Рок миловал. Я вполне современный человек. Завидую сам. И — страстно!

— Кому?

— Каждому мужчине на улице, который идет с красивой женщиной.

— Сколько вам лет, Эдуард Аркадьевич?

— Благодарю за комплимент. Шашнадцать с половиной. Одначе, дорогой Владимир Алексеевич, мне пора сматываться на репетицию. Впрочем, актеры чудесно могли бы обойтись и без моего режиссерского присутствия. Лицезреть им меня наверняка осточертело!

— Еще пять минут я вас задержу...

— Наше заблуждение в том, что мы ползаем вокруг истины, как слепые щенки, а думаем, что мы взрослые, солидные собаки.

— Мне кажется, вы смеетесь над жизнью, Эдуард Аркадьевич,— сказал Васильев.— Изливаете на нее яд, смеясь. Но почему именно вы? Вас жизнь, по-моему, никогда не обижала.

Щеглов отбросился в кресле и маршеобразно забарабанил пальцами по деревянному подлокотнику.

— Почти все обижены на земле, мой золотой и талантливый Владимир Алексеевич. Я добрая старая собака и знаю, что жизнь требует, чтобы ей давали пощечины любя, иначе она будет вкатывать их вам ненавидя. Вижу, голубчик, что вы против эдакой превентивной стратегии.

— Это безумие, мы захлебнемся в море слов, в острословии, в ехидстве над жизнью и погибнем,— сказал Васильев, уже несколько минут не работая, стоя у мольберта, и нахмурился, опустив руку с кистью.— Кому предназначены цветы из вашего риторического сада? Актерам? Мне? Я не люблю запаха жженой серы, представьте, и всякую чертовщину.

— Никому. Я рассыпаю их по дороге и наслаждаюсь чужим наслаждением,— засмеялся Щеглов с вежливой холодностью.

«Да, я устал немного,— подумал Васильев.— Но почему он вызывает у меня какое-то беспокойство, как будто случилось несчастье. «Мы ползаем вокруг истины, как слепые щенки». Помнит ли он октябрь сорок первого года, себя в те дни, Машу, меня, Илью? Мы были тогда прекрасными, глупыми, отчаянными щенками, а он был еще молодым...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Да, был октябрь тысяча девятьсот сорок первого года.

В то время как немецкие танки продвигались к окраинам Москвы, размалывали, расплющивали скованную утренними заморозками проселочную грязь, стряхивая железным лязгом гусениц, ревом моторов последнюю ржавую листву с придорожных берез, еще местами уцелевшую от острых ночных ветров, дующих предзимним холодом с севера по осенним лесам, через которые еще продолжали вырываться из окружения остатки державших передовую оборону полков, в то время, как перекрестки на Варшавском и Можайском шоссе были

забиты колоннами немецких грузовиков, бронетранспортеров, обозами конных фур, а деревни заняты пехотой и подтягивающимися к фронту разными тыловыми службами, заранее знавшими районы, улицы и дома своего будущего расположения в русской столице, по ночам охваченной близкими заревами, куда с булькающим гулом в поднебесных этажах проходили «юнкерсы», в то время, как была взята Калуга, шли бои под Серпуховом и Можайском и немцы после тяжелых смоленских боев, завершив окружение трех армий Брянского фронта, определяли точный срок захвата Тулы и день падения Москвы,— в это же время вместе с тысячами других школьников и студентов, рывших противотанковые рвы на Можайском направлении и отрезанных прорвавшимися немецкими танками, Владимир и Илья, присоединившись к группе солдат, удачно выбрались по лесам к Москве и, голодные, грязные, возбужденные, на рассвете ступили на родные тротуары Замоскворечья, пройдя весь город. Дважды на улице Горького их останавливали патрули, потом третий раз, вблизи кинотеатра «Ударник», опять проверили документы (кроме комсомольских билетов, других удостоверений у них не было), и, от ног до головы осветив карманным фонариком, лейтенант с новенькими рубиновыми кубиками в петлицах подозрительно стал разглядывать их комсомольские билеты, спрашивая суровым баском, откуда двигаются, куда и с какой целью. И тут Илья вспылил, выговорил сквозь зубы, что лучше бы немецких диверсантов ловили, чем идиотские вопросы задавать, и тогда старший патруль, удивленный его натиском, вернул документы, скомандовал: «Проходите!»

Нигде в городе не светилось ни одного огня. Мешки с песком баррикадами лежали под окнами первых этажей. Едва узнаваемые, погруженные в холодную темноту улицы, насквозь продутые октябрьским ветром, пахли инеем, недалеким снегом, и везде над головой туго свистело в антеннах на крышах, за которыми в черном небе, загораживая звезды, тенями плавали в ледяных высотах рыбообразные тела аэростатов воздушного заграждения.

В этом гуле проводов, свисте ветреной ночи выделялись другие звуки какого-то спешного движения на мостовой, похожего и вместе непохожего на обычное перемещение войск. Грузовики без солдат, заваленные

ящиками и мешками, легковые машины, хозяйственные повозки то и дело проезжали мимо, чернеющей массой скапливались на площадях, откуда доносились приглушенные команды регулировщиков, фырканье лошадей, ругань шоферов и повозочных. Постепенно сгущенная масса колонны рассасывалась, поворачивала, вытягивалась на Садовую, и вновь проносились, встревоженно сигналили начальственные «эмки», синея маскировочными подфарниками, объезжая лошадей и повозки, которые, как ломовые, гремели колесами по асфальту, по трамвайным рельсам.

Здесь же, на соединении улиц, перед площадями, оставив лишь узкий разрыв для движения, торчали ребрами «ежи», наклонно висели врытые в землю толстые пики рельсов, эти противотанковые сооружения, воинственно и уродливо преобразившие город, и в этом изменении было что-то новое, жуткое, как и в запахе гари, которую они впервые почувствовали там, под Можайском, когда ветер приносил пепел горящих деревень. Но тут, в Москве, не было видно тлеющих пепелищ пожаров, а запах пепла в крепкой свежести воздуха накатывал волнами, и иногда чудилось, что в глубине дворов всюду жгли бумагу.

После того как их несколько раз задерживали патрули, Владимир предложил по дороге к Зацепе нигде не останавливаться, мигом вбегать под арки ворот, заходить в подъезды, чуть только впереди завиднеются люди, потому что издали не разберешь, патрули или не патрули. Однако в знакомых переулках вокруг Зацепы не встретили ни единого прохожего, не проблеснуло ни огонька в окнах, ни одной машины не проехало по мостовой. Все подъезды были закрыты, ворота заперты на засовы; ветер шумел в дворовых липах, темные тени качались, скреблись о заборы, ворохи листьев с жестяным корябаньем волокло по асфальту, сухим шорохом несло по ногам, собирало у подворотен шевелящимися кучами. Здесь, в переулках, обдавало первым октябрьским морозцем, винным подвальным запахом, а меж качающихся деревьев в неоглядной пустыне неба красным и белым лихорадочным огнем горели две крупные звезды.

— Марс и Юпитер,— сказал тогда бегло Илья.— Вот сверкают, а?

— Марс — бог войны, кажется,— ответил Владимир.— Помнишь?

— А, к черту, помнить всякую чепуху из истории Древнего Рима! Кому это нужно? А может, это не Марс и не Юпитер.

Но они еще хорошо помнили недавнюю Лужниковскую, веселую, солнечную, зеленую, и на углу оба не выдержали и рванулись к воротам своего двора, а когда, запыхавшись, остановились около калитки, откуда был виден их двухэтажный дом, загороженный липами, в эту минуту у пожарного гаража на другой стороне улицы, где обычно стояла будка дежурного, грозно всполошился сиплый оклик: «Кто там? Стой! Стрелять буду!» — и враждебно заскрежетал затвор винтовки.

— Свои, свои, если не шутишь! — отозвался услышанной на окопах солдатской фразой Владимир, подхваченный бешеной радостью оттого, что были они дома, наконец.

— Хрен с маслом в базарный день! — захохотал Илья.— Стрелять-то умеешь? Чего тюленем голосишь?

И они кинулись в калитку, хохоча, толкая друг друга, но сразу же во дворе, по-осеннему заполненном текучим шумом лип, плотная тьма, расчерченная бумажными крестами окон, окружила их, и они замолкли, осматриваясь по дороге к крыльцу, угольно-черная крыша которого заслоняла свет двух звезд над двором.

Тамбур был заперт. Никто не открывал им, когда позвонили двойными, тройными звонками, никто не открыл и после того, как минут десять упрямо колотили кулаками, упорно дергали шатавшуюся дверь. Во всем доме, вероятно, никого не было. Тогда, выругавшись, Илья спрыгнул с крыльца, на ощупь подошел к липе, росшей вплотную к стене дома, подтянулся на оголенной ветви, точно на турнике, и начал забираться вверх, что не раз делал в детстве, к окнам своей комнаты на втором этаже. Владимир стоял внизу, видел, как он долез до второго этажа и там, повиснув на ветках, постучал в стекло так решительно и громко, что эхо выстрелами толкнулось в глубине двора. Затем послышался сверху его голос: «Ма-ама, да что ж ты? Оглохли все?» — и он скатился по стволу дерева на землю, раздосадованно говоря:

— Сейчас мать откроет. Не ясно: чего они, как мыши в норы, попрятались?

Дверь открыла Раиса Михайловна, наспех одетая в халат, выговорила слабым вскриком: «Ильюша, Ильюша!..» — и отступила на шаг, нетвердо держа керосиновую лампу перед грудью, и на ее лице, еще красивом, чернобровом, выражение страха сменилось выражением страдальческой радости: «Как хорошо, что это вы, мальчики, как хорошо!..» А Илья, снисходительно чмокнув мать в щеку, взял у нее лампу, быстро пошел вверх по лестнице, крикнул на ходу:

— Покеда, Володька! Завтра с утра заходи!

— Володя, подожди минуточку,— задержала Раиса Михайловна заторопившимся голосом.— Подожди, пожалуйста, подожди. Я тебе должна сказать... Твои уехали в Свердловск. Здесь была эвакуация. Всех с детьми эвакуировали. Кого на Урал, кого в Среднюю Азию. Они уехали месяц назад. Вместе с заводом. У меня письмо, и записка для тебя, и ключ.... Но ты у нас пока... у нас побудь...

— Тем лучше! — воскликнул Илья обрадованно.— Пошли к нам, веселее будет! А пожрать чего-нибудь найдем. Верно, мать?

— Дайте мне ключ,— попросил Владимир.— Я сначала к себе...

То, что мать и отец вместе с четырехлетним братом месяц назад уехали в Свердловск, эвакуировались с заводом (где отец работал инженером), не дождавшись его, и то, что оставленный ключ словно бы доказывал их равнодушное спокойствие, было сейчас обидно ему.

Он открыл дверь оставленным ключом, нащупал в первой комнате выключатель, и свет загорелся немощно, обессиленным накалом.

В смежной комнате так же хилый оранжевый свет абажура повис в тесной полутьме, тускло проявляя знакомую мебель, завешенные маскировочной бумагой окна; книжный шкаф отливал возле письменного стола лиловыми бликами стекол; скрипнули половицы, запахло маминой пудрой, к этому родственному запаху примешивался невнятный ветерок холодноватой пыли, какие-то мышиные шорохи в опустелом доме — и Владимиру стало не по себе.

Там, под Можайском, когда присоединились к красноармейской группе, бродили по лесам, отрезанные от Москвы, он не так воображал возвращение домой, представляя вечер и уютный час ужина, эти комнаты в

теплом электрическом сиянии, родные, любящие его лица за столом и себя, рассказывающего о первой бомбежке, о немецких листовках, разбросанных ночью, об окружении... Но дома его никто не ждал — и сохранившийся запах маминой одежды в шкафу, охлаждаемый мертвенным ветерком заброшенности, ознобно пронзил его сквознячком. Может быть, все это было началом новой, давно ожидаемой жизни, что манила опасностью куда-то в неизвестное?

Он попытался прочитать письмо и записку и не разобрал ни строчки, с беспечностью решил прочитать утром, сунул конверты в карман, потом умылся под краном ледяной водой и, не защелкнув дверь на замок, пошел по коридору к Рамзиным.

Большая комната Рамзиных была озарена керосиновой лампой, особенно яркой, с начисто протертым стеклом. Илья стоял у комода, не без замедленного удовольствия причесывая перед зеркалом влажные волосы. Белый спортивный свитер, который он любил надевать на школьные вечера, крепко обтягивал его плечи, и в этом свитере, в мокрых волосах, блестевших празднично, в горячем взгляде, брошенном на Владимира, была веселая уверенность сильного, довольного собой и своей судьбой человека, наконец-то имеющего возможность насладиться домашним благом после долгого путешествия по дальним странам.

— Вообще, мать, нам полагалось бы с Володькой чего-нибудь дербалызнуть! У тебя в буфете когда-то портвейн стоял на всякий случай! — говорил он, не оборачиваясь к Раисе Михайловне, собиравшей на стол, и подмигнул в зеркале Владимиру.— Мы, мать, удачно вышли из окружения, две бомбежки на переправе проскочили, раз под минометный огонь попали, но ни черта с нами не сделалось! Домой пришли, и все в порядке. Садись, Володька, сейчас рубанем картошки и тяпнем портвейна на смерть немецким сволочам!

— Как ты грубо говоришь, Ильюша, какими-то не своими словами,— сказала Раиса Михайловна и пригласила Владимира к столу.— Неужели вы пить научились на оборонных работах? Как же так?

— Ладно, мать, приходилось пить не только молоко и воду,— ответил Илья и ловко взял бутылку портвейна, поставленную на стол Раисой Михайловной, очистил от сургуча пробку, ввинтил штопор и вырвал пробку

звонким хлопком.— Ну, теперь «хенде хох», теперь мы отпразднуем, как полагается. Ты будешь с нами, мать?

— Перестань дурачиться со своим портвейном! — остановил Владимир, покоробленный излишней решимостью Ильи и тем, что Раису Михайловну он чересчур по-новому называл «мать», а это звучало непривычно.

А Раиса Михайловна разложила в тарелки ароматно дымящуюся картошку, кусочки пахучей разваренной рыбы, дольки желтого сливочного масла, и запах домашней еды, запах горячего заваренного чая, чистая скатерть — этот милый дух родного московского дома возвращал их на четыре месяца назад, в еще довоенное школьное время, летнее, радостное, беззаботное. Все уже было другим, угарно тронутым войной, но обоим, возбужденным возвращением в Москву и рюмкой сладкого портвейна, недавние голодные скитания по ветреным можайским лесам, где на шоссе гудели моторы и слышалась немецкая речь, теперь казались малоопасным, приятно щекочущим нервы военным приключением. В эти минуты одно лишь беспокоило Владимира — эвакуация семьи в Свердловск,— и ему захотелось немедленно прочитать письмо и записку матери, которые шуршали в его кармане. Он перестал слушать рассказ Ильи о веселой и суматошной августовской ночи на окопных работах, когда, вооруженные лопатами, до рассвета ловили во ржи (но, к сожалению, не поймали) немецких парашютистов, осторожно вынул из кармана конверты и сначала прочитал записку, написанную на тетрадном листке ровным почерком матери:

«Дорогой сын Володя! Прости нас, что получилось так, что мы не дождались тебя и уезжаем в Свердловск, куда эвакуируют завод отца. Уезжаем с последним поездом, все ждали и ждали тебя со дня на день, так как в райкоме комсомола говорили мне и отцу, что все ребята из вашей школы должны вот-вот вернуться с оборонных работ. Мы все тянули с отъездом, а потом отцу приказали. Ты нас пойми. Завтра мы решили ехать. Я надеюсь, я верю, сыночек, что с тобой все благополучно. Адрес новый сообщу сразу, как приедем на место. Целую тебя, дорогой Володя. Твоя мама. 19 сентября 1941 г.».

Потом он спрятал записку и прочитал письмо, что было послано с дороги, опущено в Казани, мать писала,

что очень беспокоится, потому что он, Володя, вернувшись домой «с окопов», сразу должен взять железнодорожный билет и ехать следом за ними в Свердловск, где найдет их завод, а деньги на билет, на дорогу и на еду оставлены под его бельем в шифоньере.

— ...Я, мать, до сих пор жалею, что ни одного диверсанта не поймали,— между тем продолжал рассказывать Илья энергично, намазывая картофелины маслом.— Нам сказали: «юнкерсы» сбросили их ночью на парашютах, а они укрылись во ржи. Понимаешь, мать? Засели неподалеку, на околице деревни, где мы в сараях спали. А у нас ни одной винтовки, никакого оружия, кроме копательного инструмента. Ну, что ж, подняли нас по тревоге, приказ — вооружиться лопатами, оцепить поле, поймать диверсантов. Представляешь, мать, лазали мы по этой ржи до утра — никого и ничего. Вероятно, успели, гады, удрать в лес, а парашюты где-нибудь в землю закопали. Досадно, что ни одного не встретили... Верно, Володька? Я мечтал хоть одного...

— Я тоже,— сказал Владимир, вспомнив звездную августовскую ночь, сиренево посветлевшую к рассветному часу, вокруг мокрую от обильной росы рожь, намокшую одежду, шорох скользких стеблей, изредка насторожено перекликающиеся голоса, сполохи зарниц на западе и бледное, азартно-нацеленное лицо Ильи, шагавшего рядом с изготовленной к борьбе лопатой.

— Как же вы могли их поймать? У них оружие, а у вас... Это невозможно! — подавленно выговорила Раиса Михайловна.— Как хорошо, что вы их не встретили! Они убили бы вас...

— Слышал? — Илья подмигнул Владимиру.— Нет, мать. Лопаты тоже оружие. Еще неизвестно, кто кого укокошил бы?

— Ильюша-а, о чем ты говоришь? Твои слова просто меня пугают! Неужели ты считаешь немцев такими немыслимыми дураками! — сказала тоном беспокойства Раиса Михайловна.— Разве взрослый обученный диверсант стал бы ждать, пока ты его ударишь лопатой? Какие вы еще наивные... доверчивые мальчики!.. Что с вами будет?..

— Абсолютно ничего! — И Илья опять улыбкой пригласил Владимира удивиться этой безобидной неопытности матери, долил портвейна в рюмки, сказал с ласковой насмешливостью: — Ты только нас, маменция, за

ребятенков грудных не считай, а то, знаешь, как-то смешно получается и ни в какие ворота... Будь здорова, мать! — Он выпил, засмеялся, положил не вилкой, а пальцами целую картофелину в рот, аппетитно зажевал.— Ну а как в Москве тут? Бомбят? Нам под Можайском иногда ночью слышно было, как они сюда ползли. И как вы? Объявляют тревогу — и вы в бомбоубежище? Страшновато, мать, а?

— В подвал я не хожу, Ильюша, бессмысленно, а станция метро не очень близко,— ответила Раиса Михайловна.— Страшновато, когда начинают стрелять зенитки. Но я закладываю уши ватой и, чтобы успокоиться, начинаю читать подшивку «Нивы». Так, Ильюша, быстрее проходит время. И почти не замечаешь, что они кружат над нашим районом. Они, наверно, целят в Могэс и в Краснохолмский комбинат. Летом сгорел от бомб Зацепский рынок и снесло почти целый квартал около Овчинниковских бань...

— Ты всегда была молодец, мать. Я за это тебя люблю! — сказал не без грубоватой нежности Илья.— Трусихой ты никогда не была. А от судьбы никуда не уйдешь, это тоже ясно. Помнишь, у Лермонтова «Фаталиста»? Я иногда вспоминал его там, на окопах, и когда в окружение попали. Все, в общем, будет как надо. Как на небесах написано.

Он взглянул на мать с шутливым превосходством, а она, не замечая его веселости, сняла с чайника тряпичную грелку, пододвинула стаканы, начала разливать чай, потом задумалась, глядя на Владимира близорукими глазами, обезоруживающими ее строгое, когда-то красивое, но уже увядающее лицо.

— Что ты молчишь, Володя? Что пишет мама?

— Они ждут меня в Свердловске, Раиса Михайловна. Но я никуда не поеду. Глупо ехать куда-то в тыл. Что там делать?

— Глупо?

— Надо завтра идти в военкомат, чтобы послали на фронт, а не удирать куда-то на Урал. Я так решил...

Он запнулся. Она переспросила негромким вскриком:

— Решил? Так ты решил? И ты, Илья, так решил? Завтра?..

Раиса Михайловна уронила руки, растерянно повернула в сторону Ильи свою маленькую, молодо причесанную голову с тяжелым пучком на затылке, а он, с по-

казным удовольствием отхлебывая чай, так грубо надавил на ногу Владимира под столом, что тот вмиг сообразил о допущенной ошибке, неудобной оплошности и договорил в замешательстве:

— Это я так решил, Раиса Михайловна, а не Ильюшка. Он пусть сам...

— И что ты решил? — спросила Раиса Михайловна тихим голосом.

Илья допил чай, отдуваясь, и звонко стукнул стаканом о блюдечко, ответил убежденно:

— Я еще ничего не придумал, мать. Видно будет. Поживем — увидим, как сказал ночной сторож и проснулся днем.

И он закинул руки за голову, потянулся в сладкой истоме, преувеличенно показывая благодушную сытость, довольство, беспечное наслаждение домашней обстановкой, он явно не хотел, чтобы мать знала все, и ничем не выдавал себя, улыбаясь узковатыми, черно блестящими глазами.

Илья жил вдвоем с матерью, без отца, фотографию которого однажды показал Владимиру, старую, тронутую по углам паленой желтизной фотографию в альбоме, где бравый светлоглазый командир Красной Армии, исполненный юной отваги, во френче, украшенном пышным бантом, при шашке, стоял близ чугунной ограды. Илья объяснил, что отец после гражданской войны работал в Генеральном штабе, потом служил на Дальнем Востоке, умер же в тридцать восьмом году где-то на северном строительстве военного значения — и, сказав «умер», зло дернул ртом. Так или иначе, была здесь очевидная семейная тайна, ибо Владимир видел иногда, как фамильярно-грубовато обходился на людях с матерью Илья, однако нередко заставал его вечером возле примуса за чисткой картошки перед приходом ее из библиотеки. И бледнело, и загоралось его смуглое лицо, когда наведывался в их квартиру назойливый управдом Козин, чтобы напомнить Раисе Михайловне о своевременной уплате по жировке. Неизвестно почему управдом самолично подымался на второй этаж к Рамзиным, принося в постоянно беременном портфеле грозное письменное уведомление о квартплате, закрепленное собственноручной подписью. Но раз (уже учились в девятом классе) Илья встретил бдительного Козина на лестнице, преградил ему дорогу и, прищурясь, поднес к его

яблочно-крепкому носу натренированный боксом кулак, предупредил с внушительной неохотой: «Если еще увижу, что пристаете к матери, так без свидетелей разукрашу будку фонарями — в зеркале себя не узнаете!» Козин в онемении отпрянул мгновенно овлажнившимся лицом, кеглей скатился по лестнице, оглянулся снизу озлобленными глазами, но с того дня навещать Рамзиных перестал.

— Поживем — увидим,— повторил Илья и, толкнув под столом ногу Владимира, спросил Раису Михайловну: — Во дворе кто-нибудь остался? Или все смылись в эвакуацию? Борька Окунев здесь? Он, знаешь, мать, на окопах заболел, не то понос, не то запор, его в Москву отправили еще месяц назад. Слаба кишка оказалась. Да он и всегда сморчком был.

— Как ты о нем, Ильюша, говоришь! — сказала укоризненно Раиса Михайловна.— Боря вежливый, воспитанный мальчик. Окуневы эвакуировались в Ташкент... Они уехали в начале октября, когда участились воздушные налеты. Ведь с начала октября почти каждую ночь объявляют тревогу. Только сегодня, к счастью, спокойно.

— Мать, не пугай, мы и так с Володькой из-за мешка углом напуганы, хотя и бомбежки видели и знаем, що цэ такэ! — Илья захохотал, взял бутылку со стола, повертел ею перед огнем керосиновой лампы, будто любуясь цветом стекла.— А Маша Сергеева где? Тоже наверняка в Ташкенте? Или загорает где-нибудь на Уралах?

Он спросил это небрежно и мимоходом, не придавая серьезного значения вопросу, но Владимир почувствовал, как сразу стало жарко лицу, потому что все, что связывалось в школе с Машей, с ее ошеломлявшими многих поступками, было настолько подчас необъяснимым, пленительным, таинственным, что вызывало у него мучительное головокружение при одном звуке ее имени, при виде ее прямой спины и коротко подстриженных волос.

— Нет, она здесь,— ответила Раиса Михайловна.— Я встретила Машу вчера. У нее заболела мать, и они не уехали с театром, остались в Москве.

Когда Раиса Михайловна сказала «нет, она здесь», Илья протяжно зевнул во весь рот и встал, громко отодвинув стул, подошел к изразцовой голландке, с при-

творным молодецким кряканьем придавил руки к плитам печи.

— Мать, да у тебя тепла еле-еле. Дрова-то есть в сарае? Чем топишь?

— Всяким бумажным хламом, Ильюша,— отозвалась Раиса Михайловна.— Знаешь, получилась какая-то фантастическая нелепость. Просто совсем по-гоголевски. Кто-то украл у нас березовые дрова, просто до последней щепочки. Неделю назад пошла вечером в сарай, чтобы на ночь печь истопить, и... что же? Вообрази мое удивление и досаду. Замок в исправности, висит на дверях, а дров нет. Смешно и дико, понять не могу!

— Болванизм крепчал! — фыркнул Илья и присел на корточки против дверцы голландки.— Кому еще понадобились дрова лямзить, хотел бы я знать!

— Вы бы наши дрова взяли, Раиса Михайловна,— сказал Владимир.— Вот и все.

— Сарай пуст, Володя,— возразила Раиса Михайловна — Ни наших, ни ваших дров. Просто комедия: странные воры — только колун один оставили. Подождите, мальчики, я сейчас растоплю. Газет старых уйма, и старые журналы...

Половина комнаты была заставлена книжными шкафами, где помещалась целая библиотека мировой литературы, которую любовно собирала Раиса Михайловна долгие годы, тратя в букинистических магазинах большую часть своей зарплаты. Из этих шкафов Илья щедро давал читать книги всему классу и всему двору, и прочитанные книги, как это ни странно, без промедления возвращались, но, видимо, только потому, что связываться с Ильей было небезопасно. Владимир любил эту комнату Рамзиных, стук дверок рассохшихся шкафов, терпковатый запах сухой, старой пыльцы от дореволюционных энциклопедий, вязеобразные тиснения на корешках русских и западных классиков и потрепанные томики романов о гражданской войне, зачитанных до ветхости страниц, и обложки приключенческих журналов, открывающих пленительную голубизну мировых далей, лазурные берега райских стран, душистый воздух коралловых островов, тропическую духоту диких джунглей, свежий шум и прохладный плеск утренней волны розового моря и пылающие на солнце павлиньими хвостами крутые буруны под бортом накренившейся яхты...

И во всем этом было обещание мужества, полноты жизни, верного товарищества и любви.

— Я сейчас растоплю, мальчики. В комнате будет тепло,— заторопилась Раиса Михайловна и вытащила снизу из шкафа ворох перевязанных шпагатом газет, толстую пачку журналов, которые вдруг скользко разъехались в ее руках, посыпались на пол.

Владимир вскочил, принялся помогать Раисе Михайловне, поднял журнал, бросившийся в глаза такой знакомой, такой удивительной обложкой — «Вокруг света» — и знакомой иллюстрацией: неимоверно огромный омар, вытянув из многослойного океанского мрака гигантскую клешню, подобно плоскогубцам, перекусывает ею железный трос опускающейся круглой батисферы, бессильной лучом прожектора пробить пучину водяной толщи. Это была иллюстрация к роману Конан-Дойля «Маракотова бездна», с продолжением печатавшемуся в журнале, которым они зачитывались недавно.

— Раиса Михайловна,— сказал Владимир просительно.— Не надо сжигать...

Илья, заталкивая в раскрытую дверцу печки сжатые вороха газет, прервал его:

— На черта сейчас тебе они? Давай, давай сюда, мать, эту художественную литературу для детских яслей! — И он подхватил у Раисы Михайловны разъезжавшуюся кипу журналов, бросил ее на пол возле голландки, добавил с веселой яростью: — Даю голову на отсечение, Володенька, больше ни ты, ни я эту детскую наивную ерунду читать не будем!

— Ильюша, почему ты так уверенно говоришь?!

— Я дело говорю, мать. Давай спички.

Огонек лизнул в голландке край смятой газеты, перебросился выше, к бумажному вороху, вспыхнул ярче, шире, охватил его быстрым пламенем, загудевшим внутри, и тотчас Илья безжалостно начал разрывать журналы, запихивать в печь скомканные страницы, поддерживая и увеличивая огонь, и по тому, как рвал он заляпанные чернилами обложки «Всемирного следопыта» и «Вокруг света», которыми с упоением зачитывались они в школе, по тому, как дерзко улыбались, отражая пламя, его глаза, чувствовалось в его действии какое-то мстительное удовлетворение, точно он сжигал бесполезные теперь мосты в школьное прошлое, переставшее

быть интересным ему. Неужели от них уходили надолго, а может быть, навсегда раннее солнечное утро, шевелящиеся от легкого ветра занавески, пронизанные янтарным светом, звон будильника на краю стола, где под дуновением майского воздуха в открытое окно всю ночь нежно шуршали, перелистывались страницы?..

— Раиса Михайловна,— сказал Владимир,— дайте мне ключ от сарая. Я сейчас приду.

— Ты куда? — вскинул прищуренные глаза Илья и захлопнул дверцу пылавшей бумагой голландки, догадываясь о намерении Владимира.— А, ясно. Пошли.

В сарае белела щепа на земляном полу, огонек спички осветил дощатые стены, валявшийся в углу бесполезный колун, и Илья покрутил его, повертел, как палицу, отбросил к порогу с глухим стуком.

— Хотел бы я знать, не по указанию ли управдома Козина уперли у нас дрова? А, Володька?

— Козин, конечно, жулик, но топить надо,— сказал Владимир, подхватил колун и вышел из сарая.— Что-нибудь сообразить следует.

Предрассветный октябрьский час стоял во дворе, черные верхушки лип в пропасти неба гнулись, качались между звезд, и обдувало холодом близкого снега (так пахло всегда полной осенней ночью), и весь заросший дворик утопал в сгущенном шуме деревьев и, весь пустынный, тревожно вздрагивал под порывами ветра, который издали, со стороны Зацепы, доносил волнами гул, разорванные автомобильные сигналы,— и несло из тьмы улиц не печным дымом.

— В Москве что-то хреновое происходит, Володька,— сказал Илья, глядя в небо над двориком.— Непонятно. Неужели удирать будем? Но из Москвы — не может быть. Так что же, зайдем завтра к Маше? А? — спросил Илья и, серьезно начав курить под Можайском, слепил цигарку из собранной по карманам табачной пыли, в студеном воздухе потек горьковато-кислый запах махорки.

— Завтра в военкомате...— проговорил Владимир, будто не слушая его, и с силой поддел колуном, выворотил в палисаднике затрещавшую доску вместе с гвоздями.— Завтра в военкомате все узнаем!

Он отодрал доску и выпрямился, улавливая в гудящих навалах ветра, в скрипе ветвей отдаленные звуки движения на ночных улицах, потом ощутил в сумрачной глубине двора острую сырость земли и асфальта, прелую горечь опавших листьев, и впервые за эти часы в Москве стало вдруг закрадываться и расти в нем давящее, беспокойное чувство. Нет, он не знал, что будет с ними завтра, и не знал, почему Илья опять сказал ему о Маше, хотя еще весной едва замечал ее в школе, пренебрежительно говоря, что только по выходным может терпеть эту комнатную розочку, эту длинноногую фею со вздернутым носиком, а она в ответ смело смеялась над ним, заявляя, что более грубого животного даже в зоопарке не встречала. Нет, то была не ненависть...

— Ты хочешь зайти к Маше, Илья?

Он поднял голову и увидел за плечом Ильи над самым угольным козырьком крыльца две крупные звезды, одна воспаленно-красная, другая пронзительно-белая, как два до предела раскаленных зрака вселенной, глядящих из беспредельных пространств мрака на Землю, впоследствии, через много лет, вспоминавшиеся ему роковым предзнаменованием, тем более что две огненные звезды рядом, сближение их, по древнему календарю, о котором он узнал позднее, обозначались двумя смыслами: смерть Цезаря и гибель великой державы.

— Чего ж не зайти? Зайдем,— сказал Илья развязным тоном и нарочито, по-мужицки, сплюнул на цигарку, щелчком отшвырнул ее в кусты палисадника.— А ты что — против? По-моему, ты вроде был к ней неравнодушен, а?

— Чу-ушь! — ответил Владимир презрительно.

Когда с охапками нарубленных досок они вернулись в квартиру, пламя керосиновой лампы было экономно пригашено, Раиса Михайловна сидела на низенькой табуретке перед раскрытой дверцей голландки и задумчиво подкладывала в огонь смятые комья старых газет, по ее печальному лицу, по стенам, по корешкам книг в шкафах ходили красные отсветы. Илья заговорил весело:

— Сейчас раскочегарим дровишками, и как в Сандунах будет. Назло кочерыжке управдому! Верно, Володька? За что страдали на окопах? А? То-то!

Он шумно свалил «дровишки» к голландке, сел прямо на пол, бросая расщепленные доски в печь, и видно было, что, обуянный желанием деятельности, он готов к неукротимому бодрствованию, но Владимир сказал:

— Спасибо, Раиса Михайловна. Я к себе.

Раиса Михайловна задержала его:

— Володя, может быть, я тебе на диване постелю? Оставайся сегодня. Скучно будет одному в пустых комнатах и холодно.

— Мать, мы на земле, подложив кулак под голову, спали,— захохотал Илья,— а ты со всякими мелочами... Ладно, до завтра, Вольдемар!

Владимир поморщился: он не любил, когда Илья называл его на этот дружелюбный книжный манер, в котором вроде бы звучало не вполне серьезное обращение старшего к младшему.

Электричество сочилось ослабевшим накалом, наполняя комнаты красноватым туманцем, из него неуклюжим боком выступал квадрат старинного буфета, в углу отсвечивал кафель холодной голландки, и пятнами выделялись на окнах опущенные светомаскировочные шторы в необогретых комнатах, так скороспешно оставленных матерью и отцом. Но мысль о свободе, о полной независимости завтрашних действий, мысль о том, что ему просто повезло (нет, хорошо, что он совсем один дома!), облегчающе возбудила и успокоила его. Он нашел в потемках пахнувшего нафталином шифоньера свое зимнее пальто, лег на диван, подбил под голову диванную думку, накрылся пальто до подбородка — и тишина поползла по комнатам, заполнила весь дом, дворик под звездами, улицы, переулки, тупички Замоскворечья, и уже не слышно было со стороны Зацепы разорванных сигналов автомашин, лишь порой дребезжали стекла от какого-то неощутимого сотрясения в городе.

«Маша»,— подумал он и закрыл глаза, съеживаясь, словно окутанный зябкой паутиной, испытывая томительную неясность радости, любви и стыда, что чувствовал всегда, даже увидев Машу издали, ее гибкую поступь, волнистое колебание ее узкого с пелериной пальто, какого никто в школе не носил...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Его разбудил рев грузовиков, и он, продрогший, вскочил с дивана в темноте выстуженной комнаты, увидел щелочки утреннего света по краям маскировочной бумаги и с шуршаньем задрал ее на раме окна.

Было серое октябрьское утро. Первый иней солью лежал на распластанных листьях, примерзших к мостовой, по которой в направлении Валовой улицы медленно двигалась колонна грузовиков, дымивших в холодном воздухе. Сквозь завывание моторов прорывались взбудораженные голоса людей, люди шли у бортов машин хаотичной, растянутой толпой, резко выделялись драповые пальто, ватники, теплые ушанки, будто ночью разом наступила жестоким морозом зима. И эти возбужденные, мрачно-озабоченные лица людей, и это свинцовое утро, побеленное инеем, слитный рев, рокот грузовиков, грубые крики, чемоданы, узлы в толпе, низкое пасмурное небо над крышами — все это впилось тревогой в сонное сознание Владимира, и он подумал, что на улицах началось что-то неудержимое, угрожающее, что уже приходилось видеть ему, когда прорывались из окружения под Можайском. Он бросился к молчавшей тарелке репродуктора, забыто не включенного вчера, воткнул вилку в розетку. Звонкие удары военного марша, бодрые звуки духового оркестра празднично ворвались в комнату, как еще недавно бывало в первомайские утра или ноябрьские дни. Но этот вид бегущей по улице толпы, эти звуки торжественного марша вызвали у него такое внезапное чувство ничем не отвратимой придвинувшейся опасности, что озноб иголочками заколол и стянул кожу на щеках. Он словно наяву увидел немецкие танки, вползавшие на опустевшие окраинные улицы Москвы, и от этого невозможного видения и от тусклого отсвета хмурого набухшего неба на мокрых крышах, от звуков марша за спиной, топота, криков под окном он замерз и, сжав зубы, стал торопливо одеваться, но тут послышался стук в дверь и голос Ильи из коридора:

— Вольдемар, подъем! Выходи строиться! Взять лопаты! Пошли завтракать, жареная картошка уже на столе! Быс-стро!..

— Заткнись со своим дурацким Вольдемаром! — сердито огрызнулся Владимир, распахнув дверь.— Видел, что на улице творится?

— Видел, видел,— небрежно сказал Илья, стоя на пороге, выспавшийся, причесанный после умывания, одетый в шерстяной лыжный свитер, по-спортивному обтягивающий его мускулистую грудь.— Ну и что? Радиоламповый завод, видать, эвакуируется. Идем, позавтракаем и потопаем в военкомат.

На улицах их обволокло выхлопными газами — колонна грузовиков, вхолостую работая моторами, остановилась длинной вереницей на Лужниковской, задержанная невидимым затором впереди, а люди с выражением мрачной подавленности все скапливались, шли и бежали в направлении Зацепы, и Илья, не выдержав, наугад крикнул кому-то:

— Куда вы?

Но ему не ответил никто.

На Большой Татарской возле настежь раскрытых заводских ворот сходилась, сгущалась, гудела толпа, запруживая мостовую и тротуары, и здесь Владимир с подмывающим нетерпением обратился к сутулому морщинистому человеку в драповом пальто, истово закуривающему под фонарем самокрутку из обрывка газеты:

— Что, эвакуация? Опять?

— А не видишь своими зенками? — ощетинил редкие усики человек в драповом пальто.— Бегут, аж у всех глаза как автомобильные фары! Видал?

— Да куда они?

— Как — куда? Ты что — Ванек с Пресни? Не знаешь, что немцы фронт прорвали, на Москву прут? Правительство — слыхал где? В Куйбышеве, говорят, вот где!.. Понял?

— Слухи паникерские, дядя! — вмешался в разговор Илья.— Кто сказал, что правительство в Куйбышеве? Детских сказочек Корнея Чуковского начитались?

Человек в драповом пальто сплюнул, морщинистое лицо его озлобленно напряглось.

— Ах ты, сукин сын, щенок поросячий, учить меня вздумал? Сказки я тебе говорю? Слухи распускаю? А ты кто такой, что учить рабочий народ хочешь? Я тебе за паникера, сосунок безмозглый, все уши пооборву!..

— Напрасно ругаетесь, дядя,— сказал Илья с невозмутимостью и, опасно смеясь прищуренными глазами, молниеносно перехватил руку морщинистого человека, в несдержанном порыве гнева потянувшуюся к его уху,

сдавил ее так сильно, что тот охнул, обнажив прокуренные зубы.— А это уж совсем дореволюционные привычки, давно устарело,— договорил разочарованно Илья.— Уши драли в девятнадцатом веке, как известно, и то в купеческих семьях.

— Ах ты, молокосос, молокосос! Да ты что ж — хулиганствуешь! Патрулей позвать? Патрулей?..

— Прощайте, дядя, будьте здоровы! Зовите патрулей.

Невозможно было объяснить безудержный гнев этого человека с редкими усиками, по возрасту своему, вероятно, годившегося им в отцы, необъяснима была и его попытка «пооборвать уши». Однако они тут же забыли о случайном столкновении, подхваченные ринувшейся к проходной завода толпой, которая тесно, душно собралась и жала со всех сторон напротив раскрытых ворот, как в ожидании каких-то новых сообщений, и вокруг накалялся шум голосов, лица нервно и жадно выискивали, вытягивались туда, где стояли у проходной одетые в ватники рабочие с красными повязками на рукавах. А за воротами был виден пустынный двор, кирпичные здания цехов, легковая «эмка» на асфальтовом пространстве меж корпусов, группка людей около низенького толстого человека в кожаном пальто. Человек этот как-то зло повернулся, мотнув кожаными полами, торопясь, пошел к проходной в сопровождении группы людей, у ворот остановился, вскинул кулак и, багровея начальственно-суровым круглым лицом, крикнул властным тоном привыкшего распоряжаться человека: «А-арищи рабочие! — и мгновенно по толпе пробежал зыбью стихающий шепоток: «Директор, директор...» — и люди зашевелились, плотнее придвигаясь к воротам, ища взглядом с возникшей надеждой кожаное пальто и этот возбужденно взлетавший для удара по воздуху маленький кулачок.

— Товарищи рабочие! Всем вам ясно, что немецко-фашистские орды подошли к стенам столицы, положение чрезвычайно серьезное! Дело идет о жизни и смерти Советской власти, о нашей с вами жизни и смерти! Враг под Можайском и Малоярославцем! Поэтому я призываю вас к железной дисциплине, к бдительности, к решительной борьбе против паникеров, дезертиров и шептунов, которые изнутри подрывают нашу стойкость, сеют неуверенность, малодушие в наших рядах!..

— Надо было бы, между прочим, того субчика с усиками за шкирку взять,— сказал раздумчиво Илья, протискиваясь в толпе перед воротами, и было ясно, что он действительно жалеет о не доведенном до конца деле.— Очень уж подозрительная морда. Тебе не показалось, что витрина у него шпионская? И усики вроде наклеенные. Вернемся, проверим?

— Ну, хватит ерунду!..— одернул Владимир, не слушая Илью и видя над плечами и спинами сгрудившихся людей твердый кулачок, разрубающий воздух вместе с обрывистыми словами:

— ...должны приступить к формированию коммунистических и рабочих рот и батальонов!.. Наступила пора... тяжелых испытаний для всех нас!..

Его последние слова дошли до них издали — они наконец продрались через скопление людей у заводских ворот, толпа и гул и ее дыхание остались позади, и теперь улица до перекрестка странно опустела, липы повсюду стояли черные, и листья, впаянные в стеклянный ледок, темнели на мостовой. Но безлюдье этой улицы с ее тихими домами и деревянными заборами затихших замоскворецких двориков и только что физически ощущаемое напряжение толпы почему-то возбудили у обоих острое чувство решенной перемены в их жизни, и они переглянулись, Илья толкнул Владимира локтем.

— Понял?

— Понял.

Во дворе райвоенкомата было людно, шумно, везде толпились под тополями парни в новеньких ватниках, осенних городских пальтишках, везде курили, негромко переговаривались, иные сидели на ступеньках грязного, обшарпанного крыльца, иные притопывали по асфальту замерзшими в летних ботинках ногами, иные хмуро читали приказы и распоряжения коменданта города Москвы, наклеенные на доске рядом с газетой «Правда», где резко бросался в глаза крупный заголовок: «Враг продолжает наступать!» Почти все, кто был в этом дворике, прибыли сюда согласно полученным мобилизационным повесткам, и все ждали вызова своей очереди в комнату двадцать шестую, на втором этаже, к майору Хмельницкому, как выяснил Илья, а выяснив, предложил план

действия в обход «дуриковской толкучки», которую до вечера не перестоишь, план простой, верный, исполненный дерзости: подняться на второй этаж к комнате двадцать шестой, здесь сказать стоящим у двери, что добровольцев записывают вне очереди, и таким образом пройти в таинственную комнату к майору Хмельницкому.

Задуманный план удался необычайно легко, но, когда вошли и заявили без подготовки, что оба хотят записаться добровольцами в армию, грузный лысый майор, прочно разместившийся за столом рядом с юным остроносеньким лейтенантом, медленно возвел пустынные от бессонницы глаза, смотрел слепо поверх их голов, а лейтенант, рывшийся ловкими девичьими пальцами в куче папок, прекратил бумажную работу и радостно показал чистые смеющиеся зубы, как бы встретив давних сообщников.

— Вот, товарищ майор,— сказал он школьным мальчишеским голосом.— Слышали?

— Ясно,— ворчливо ответил майор и, не меняя выражения глаз, спросил Илью: — Сколько?

— Что, товарищ майор?

— Сколько годков от роду, спрашиваю? И какого месяца? Только не врать, по документам проверю. Отвечай. Точно, коротко и без загибона. Ясно?

— Семнадцать. Родился десятого мая.

— Ясно. Не соврал,— с одобрительным равнодушием проговорил майор и сонно посмотрел поверх лба Владимира.— Ну а тебе? Тоже семнадцать? Или шестнадцать?

— Нет, семнадцать,— сказал обиженно Владимир.— Родился в августе. А почему вы подумали, что шестнадцать?

— Идите-ка по домам, ребятишки. А лучше — уезжайте, пацаны, из Москвы. Подальше. Вот вам мой совет.

Лысый майор утомленно пощупал свой седеющий, тщательно подстриженный висок и насупился (наверное, болела голова), а остроносый лейтенант, уже не показывая ободрительно смеющиеся зубы, силился за спиной майора украдкой что-то объяснить мимикой юного пунцового лица и возводил глаза к потолку до того мгновения, пока майор не оборвал эти тайные знаки:

— Лейтенант Гулькин, не жестикулируйте глазами

и не дышите мне в затылок, зовите следующих, с повестками!

— Подождите! — заторопился Владимир, охваченный горячим сопротивлением против равнодушия лысого майора.— Мы были на окопах под Можайском, товарищ майор, и... вернулись, чтобы пойти в армию. Мы не хотим эвакуироваться.

— Аха-ха, ребятýшки, братцы солдатýшки! — майор прикрыл ладонью рот и так судорожно зевнул, что выступили слезы на красных веках, затем проговорил с коротким выдохом: — Ох и дурь у вас молодецкая в пустых головках, все песенки поете, соловьи вы бесхвостые! Сводку Совинформбюро сегодняшнюю слышали? Знаете, что немцы под самой Москвой? Соображаете, что положение на Западном фронте серьезно ухудшилось? Что вы мне голову морочите? Куда я вас возьму до сроку, скажите вы мне на милость, пацаны замоскворецкие? В добровольцы разрешено зачислять людей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти. Вам-то восемнадцать через целый годочек будет! Годо-очек! — протянул он, и его помятое невыспавшееся лицо выразило безмерную скуку.— Чапаев небось из башки у вас не выходит? Тачанки, сабли и прочие игрушки-побрякушки!

— Нет, товарищ майор,— самолюбиво вмешался Илья.— Это уж мы знаем: против танка в трусиках не попрешь...

Остроносенький лейтенант прыснул смехом, но тут же достал носовой платок, с серьезным видом высморкался, сказал звонким голосом:

— Товарищ майор, у нас есть разнарядка в артиллерийское училище. Конечно, туда тоже с восемнадцати, но...

— Подпевала и хода-атай ты у меня, орел, летать тебе негде,— прервал майор раздраженно.— Небось сам рвануть куда повеселее задумал! Дети вы дети, в чердаках ветер гуляет, хоть вы и дубины на вид здоровые, одной минутой живете. Ну ладно, совет и слова вас не научат, жизнь вас научит. И не враз, а всю задницу исклюет, тогда и поймете, почем нюх табаку! В артучилище, значит? Раньше призывного сроку? Вместо эвакуации? — спросил со скучной злостью майор, тяжелые морщины набрякли, обвисли мешочками под его непроспанными все понимающими глазами, и, увидев радостное

просветление на лицах Владимира и Ильи, насупил брови, скомандовал голосом веской значительности: — Лейтенант Гулькин, запишите адреса! Через пару деньков вызовем, если все на своих местах останется и если не передумаете!

Они вышли из военкомата, испытывая счастливое возбуждение людей, которым могло не повезти и неслыханно повезло, и в этом везении была не случайность, а благосклонная судьба, завершение их прежней жизни и начало новой, серьезной, веселой, ожидаемой...

— Если бы не лейтенант, все пропало бы! — воскликнул взволнованно Владимир.— Этот сухарь майор и разговаривать бы не стал! Эвакуироваться, и все!

— А дятел — парень ничего,— поддержал Илья, не без удовольствия закуривая на улице.— По мордашке-то слабак, манная кашка, маменькин сынок, а на деле — все как надо соображает. Слушай, Вольдемар, есть предложение,— с добродушной развязностью заговорил он, удовлетворенно оглядываясь на двухэтажное облупленное здание райвоенкомата за сквозными тополями во дворике.— Дома делать нечего. Пошатаемся по Москве, поглядим, авось кое-что прояснится. Подзаправимся где-нибудь в забегаловке.

— Кажется, я тебе давно сказал: пошел на фиг со своим Вольдемаром. Где ты и когда вычитал какого-то идиотского Вольдемара?

— Ладно брыкаться! Любя я, Володька, любя.

Это сплошное движение, отчетливо набухавшее, соединенное колоннами грузовых и легковых машин, заполняло Зацепу и Валовую улицу, без конца накатывалось и накатывалось по Садовой, через Серпуховскую площадь в сторону Курского и Казанского вокзалов; и шестирядный поток завывающих моторами машин, нагруженных заводским оборудованием, архивами; шагающие цепочкой люди в заношенных пальтишках; запах северного холода и остывшего пепла, что мелкими хлопьями, угольной пылью оседал на утренний иней подоконников; дощатые щиты в витринах закрытых магазинов, «ежи» на перекрестках, зияющие проходы уличных баррикад, сооруженных из мешков, набитых песком; подозрительно снующие фигуры с ведрами и картонными коробками в переулках вблизи шоколадной

фабрики, группки нетрезвых и небритых мужчин, толкущихся неподалеку от мясокомбината, угрожающие милицейские окрики в глубине проходных дворов, хлесткие выстрелы, полновесно отраженные между заборами эхом октябрьского воздуха; вооруженные военные патрули и проверка документов на углах; молчаливые, прижатые к стенам очереди около столовых, где по талонам выдавали скудные, пропахшие подгорелым маргарином обеды; опять рокочущее, нескончаемое движение машин по Садовой; наглухо закрытые подъезды опустелых учреждений; утробный рев, мычание коров посреди Калужской площади, хаотичное скопище голодных животных, пригнанных из подмосковных деревень, занятых немцами или уже обстреливаемых орудиями, злые крики пастухов, щелканье кнута поблизости окон и арок домов, грохот по асфальту колхозных тракторов, тянущих прицепы с косилками и веялками вслед за стадами; не вполне объяснимый внезапный пожар в керосиновой лавке на Самотеке, звон и гудки проносившихся красных машин, тревожное мелькание золотых касок, жиденькая толпа поодаль пожара и оцепление из гражданских вперемежку с милицией, осторожные разговоры в толпе о ракетчиках и диверсантах в городе («Вчера одного на чердаке с ракетницей и револьвером поймали!», «А когда ночью налет был, дежурный смотрит — на крыше против Могэса фонарик мигает, сигналы самолетам подает, где, значит, бомбить», «Теперь они мосты взрывать начнут, диверсанты-то...»); шоссе Энтузиастов, донельзя забитое машинами, слитое месиво рокота, крика, лиц, глаз, одержимых лихорадочной торопливостью, растерянные люди с наспех собранными ночью вещичками, устремленные из Москвы к загородному шоссе, к железным дорогам на восток — в направлении Волги, Куйбышева, Горького, Казани, куда немедленно эвакуировались в тот день некоторые заводы и учреждения; и вымершие западные окраины, только колонны рабочих батальонов на булыжных мостовых, гулкий звук шагов, военные команды, хруст палой подмороженной листвы, грузный стук артиллерийских колес по булыжнику, изредка дробное перекатное погромыхивание обозных повозок; последние деревянные домишки, сараи, осеннее поле, покатое к оврагу, покрыто инеем, кристаллы блестят в жесткой стерне; военные сутулые «эмки» на шоссе, правее поля, и низ-

кое небо, неприютно набухшее студеной зимой, снегом, на западе, как бы ограниченном черной полосой дальних лесов, откуда надвигалось на Москву смертельное, страшное, чужое, о чем никто не мог даже подумать еще неделю назад, надеясь на какую-то особую, вдруг вступившую в действие силу, способную задержать, разбить немецкую мощь.

И весь этот пасмурный день и все увиденное ими было бесконечным и кратким, подобно времени между отчаянием и надеждой, и все это было Москвой взбудораженной, прифронтовой, новой для них, возбуждающей приближенной вплотную опасностью, ожиданием главных событий, до конца неясных, как бывает в истории в моменты поворота многих судеб, перед угрозой неизвестности.

Кто-то сказал им, что в районе Арбата работают продуктовые магазины, и они дважды прошли через арбатские переулки в поисках открытой булочной или гастронома. Но везде висели на дверях замки, витрины были заложены деревянными щитами, в одном месте разбитое стекло валялось грудой осколков на тротуаре под вывеской ювелирного магазина, из пролома тянуло мрачной пустотой, как из заброшенного помещения, и манило, влекло заглянуть туда, в нежилой каменный холод, где, видимо, прошлой ночью совершилось преступление. Арбатские переулки были тихи, мертвы, их продувало осенью, клочки газет, обрывки афиш несло мимо заборов, волокло по асфальту, собирало бумажным мусором вокруг фонарей, подле закрытых парадных старых особнячков, украшенных выгнутыми мускулистыми торсами атлантов, так же неустанно подпиравших плечами балконы, как и сто лет назад... И тут, за углом переулка, в малозаметном подвале без вывески, они, уже потеряв уверенность найти магазин, обнаружили по запаху пережаренного мяса чудом работающую шашлычную, обрадованные, спустились в шумный, душный, задымленный табаком зал, до отказа переполненный военными и гражданскими. Здесь маленькие окошки под сводчатым потолком запотели от спертого воздуха, сюда едва просачивался серый октябрьский день, в табачном чаду лампочки светили туманно, пьяные голоса скопленно ворочались в каменных стенах подвала,— и над всем этим плыл запах подгорелого шашлыка, так головокружительно ударивший в ноздри, что оба

сглотнули слюну, предвкушая, как аппетитно вопьются зубами в кусок сочного мяса.

С трудом нашли место в закутке зальчика вблизи дверей на кухню, откуда шел луковый дух и то и дело выбегали, распространяя с железных блюд острые ароматы, два немолодых официанта с озабоченными лицами, в грязных передниках, надетых поверх ватных брюк. Илья панибратским решительным жестом остановил в проходе и подозвал официанта, быстро заказал двойные порции, к ним по стакану красного вина («какого-нибудь портвейна или сухого»), и в предвкушении шашлыка, голодные, они закурили, разглядывая подвал и соседей за столом. Молоденький распаренный паренек, беловолосый, конопатый, как сорочиное яйцо, распахнув на груди просторную, не по росту, телогрейку, доедал с нескрываемым наслаждением соус в железном блюде, макал корочку черного хлеба и при этом зажмуривался, звучно обсасывая хлеб маслеными губами. Рядом с ним тяжело работал бульдожьими челюстями глыбообразный человек, его запухшие угрюмые глазки были неотрывно прикованы к одной точке на столе, под локтем была крепко придавлена потертая меховая шапка.

— Обрати внимание на этого шпендрика,— сказал Илья, бровью показывая на белобрысого паренька.— Видишь, как наворачивает? Чавкает наверняка лучше, чем музыку сочиняет. Мне нравится его завидная энергия!

— А что? Я тебе мешаю разве? — чутко услышав слова Ильи, белобрысый паренек снизу глянул светлым, детским взором, стал смачно облизывать край тарелки.— А если я голодный! А если я жрать хочу! — задиристо заговорил он, принимаясь обсасывать поочередно пальцы.— Я два дня как следовает не ел, а я тоже человек. Без талонов никуда не сунешься. А я не московский, а родных здеся никого!

— Ты что — приехал в Москву? — спросил Владимир, удивляясь этому задиристому «а».

— А я из Калуги. Рванул в столицу, когда немцы подошли. Бабка осталась одна, старенькая, ветхая. Не пошла со мной: «Некуда, говорит, мне идти, окромя земли сырой». А я дал ходу, когда фашистские танки в центре города стреляли. А на шоссе меня стариканистый красноармеец в полуторку посадил, а потом я

пешком: сам чапал и чапал до самой Москвы. Четыре дня я тут...

— Молодец! Ты хорошо букву «а» знаешь! — одобрил Илья и со снисходительным дружелюбием протянул раскрытую пачку роскошных папирос «Пушки», по баснословной цене купленных сегодня с рук около метро.— Прошу, маэстро из Калуги! Куришь?

— Не-к,— отказался паренек, мотнув светлыми волосами на лбу.— Глупостью не занимаюсь. И тебе не советую.

— Ох ты! — воскликнул Илья.— Ну и дурак, если советы даешь.

— А ты сроду так! — неожиданно взъерошился паренек, и его ясные глаза, приготовленные к обороне, заморгали.— Чего ругаешься, как старый козел? Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай!

— Молодец! — опять одобрил Илья.— Вроде злиться умеешь. У вас все такие калужские? Четыре дня в Москве, а культурка у тебя слабенькая, руку вон по локоть в рот засунул и чавкаешь просто музыкально. Прелесть! Как звать-то тебя?

— Сам прелесть! Ну, если Ваня, тогда что?.. Небось две ночи поспал бы на полке в вашем нивермаге, то враз узнал бы, что музыкально, а что бабально! Подумаешь, учитель какой! — заговорил паренек обиженно и вытер облизанные пальцы о колени под столом.— На вокзале ночевал под лавкой, так чего ж — к утру убег: холодом пробирает и документы без конца проверяют, гонют на улицу — и все! А какие у меня документы, ежели я беженец? А два раза в комендатуру забирали. То ись сам я просил, чтобы меня взяли — и к начальнику. Чтоб объяснить: в армию, мол, направьте, туда хочу. А они: какая армия, когда шестнадцать годков, двух лет не хватает, и — шасть меня в эшелон к вакуированным, в Казахстан куда-то... Ну, я деру, больно мне надо вакуироваться еще, детей у меня навроде нет, а бабка в Калуге осталась, двигаться ей некуда. Иду вчерась по Москве, жрать хочется и настроение хуже губернаторского, соображаю: чего-то делать надо, иначе все одно вакуируют. А смотрю: по улице бойцы с винтовками поют: «Украина золотая, Белоруссия родная», а усатый старшина сбоку петухом чапает, а сам лицом строгий, а ножки в хромовых сапожках, тоненькие, ровно спички. Я думаю: пристроюсь сзади, может, никто не

заметит, в ватниках тоже кое-кто в строю есть. Пристроился, песню стал горланить со всеми, дошел аж до самой казармы. А там во дворе проверять и выкликать по списку начали. Ну, старшина на спичках таращился, таращился в мою сторону, потом ко мне подчапал, усы растараканил: «Кто такой? Откуда? Не наш? Прошу покинуть посторонних строй!» И — от ворот поворот. Иду и думаю: неужто на вокзале опять под лавкой ночевать? А тут около театра вашего, самого большого, какие-то парнишки через дорогу зашмыгали и почему-то мне крикнули: «Айда!» — вроде за своего приняли. Я — за ними. В нивермаге вашем центральном двери открыты, никаких замков, а продавцов нет и народу никого. Мы с ребятами на какой-то этаж тихо забрались, где материалу всякого — уйма, вагон и маленькая тележка! Один парнишка, из Можайска беженец он оказался, и говорит: «Мы не воры, мы спим тута. Ты, грит, рулон с шерстью или валюром раскатай, завернись в него и дрыхуна заводи, в рулоне тепло будет!» Две ночи там проночевал, как кум королю. А вчерась всех нас — взашей!..

— Положеньице,— хриплым голосом сказал глыбообразный человек с большим лицом, не отводя сумрачных щелочек-глаз от одной точки на столе, а челюсти его продолжали по-бульдожьи двигаться с заведенной однообразностью.

Все трое посмотрели в его сторону, но тот не обратил на них никакого внимания, механически бросил в рот кусочек черного хлеба и, тупо пережевывая, выдавил тем же охриплым голосом:

— Положеньице...

— Это верно,— вздохнув, согласился белобрысый паренек.— Положение мое хуже телячьего. А что делать?

— Ночной горшок купить,— насмешливо сказал Илья.— А что еще? Эвакуироваться тебе надо с каким-нибудь детским садом. В армию? Не-ет, не возьмут, друг мой Ваня. Два годика ждать придется. Два годика на горшочке посиди.

— Опять? Опять дразнишься? — встрепенулся Ваня и возмущенно заморгал белыми ресницами.— Ты меня за что же так не уважаешь? Морда моя не по нутру тебе?

— Ну, перестань, Илья, подначивать! С какой ста-

ти? — сказал Владимир, невольно защищая Ваню, но при его словах «морда моя не по нутру тебе» не сдержал смеха, и этот смех, заразивший Илью и следом самого паренька, произвел странное действие на глыбообразного человека с застывшим взглядом.

Он прекратил наконец работу сильных челюстей, осмысленно поглядел вокруг, и его большое с красными жилками лицо перекосилось.

— Чего ржете, жеребцы? Чему такому радуетесь? — выговорил он злобно.— В башках свистит? Подумали бы своими балбешками! — Человек постучал прокуренным заскорузлым пальцем себя по лбу.— Подумали бы, что с вами-то будет, если немец Москву возьмет? Чего хохотаете без толку, когда плакать надо! О матерях бы своих подумали!..

Нет, они не думали ни о матерях, ни о чрезвычайности положения на фронте, ни о крайних обстоятельствах в Москве, не верили в то, что угроза велика и смертельна, не представляли, что немцы могут войти в город, стать хозяевами всех этих знакомых с детства улиц, трамвайных перекрестков, Садовой, Красной площади, Арбата, улицы Горького, Нескучного сада, замоскворецких переулков, знаменитых летом цветущими липами, прохладными задними двориками с сараями и голубятнями... Они не только не могли представить все это в подчинении враждебной чужой силе, но, еще не испытавшие до конца гибельного страха, защищенные неутраченной верой юности, едва терпели сомнение в других, презирая и отвергая слабость, как трусливое малодушие.

— А вы неужели думаете, что немцы Москву возьмут? — спросил Владимир и переглянулся с Ильей, который не спеша курил, выражая позой ленивое хладнокровие.

— Много паникеров развелось,— проговорил Илья, ни к кому не обращаясь.— И все ноют и ноют. Несмотря на приказ коменданта Москвы генерала Синилова — нытиков, шептунов и дезертиров расстреливать на месте.

— Значит, так — издеваетесь, сопляки, герои лопоухие?

Глыбообразный человек, лилово багровея, засопел, сомкнутые бульдожьи челюсти перекатывали жесткие бугры желваков — нечто угрожающее, темное проступало во всем его громоздком облике, и оробевший Ваня

вскрикнул тенорком, предупреждая небрагоразумное столкновение:

— Чего вы, дяденька хороший, закраснелись, ровно рак вареный? Вас никто не трогает, и вы сидите, ежели одни слова говорят! Интерес есть — с нами побеседуйте, умное дело скажите, а мы послушаем человека взрослого!

— Ух вы, зелень садовая, ух вы, ухари ученые, спасу от вас нету! — заухал, задвигался на стуле глыбообразный человек, охлажденный, однако, уважительным вступлением Вани, и заговорил трубным голосом:— Да вы что — от сиськи, грудные? В Москве разные шкуры сломя голову на вокзалы табунами бегут, а вы не кумекаете? Во где паникеры! Во кого расстреливать надо! В шесть рядов на Садовой пробку из машин устроили, все в Горький, в Куйбышев рванули!

— Эвакуация,— вставил Илья с наигранной бесстрастностью.— Что поделаешь...

— Ох ты, умница чертова! Кому эвакуация, а кому и навар жирный под большой шумок! Наш-то бухгалтер с кассиром за зарплатой в банк поехали, да только их собачий дух и видел, и нетути обоих с мешком денег, вот тебе и... Завод второй день без материалу стоит, зарплата панихиду господу богу заказала, дураков уму поучила, а бухгалтер наш, Семен Борисыч, небось уже в Горьком чаи с водочкой на казенные рабочие денежки распивает. И нету ему дела, дает завод противотанковые гранаты или не дает. Во тебе — что делает твоя эвакуация! Понять — хрена с два поймешь!..

Глыбообразный споткнулся на слове, выкатил кровяные глаза на дверь кухни, распахнувшуюся с треском, откуда из-за толстой засаленной портьеры выскочил пожилой испуганный официант в грязном переднике, задохнувшимся криком напрягая жилы на шее:

— Граждане! Воздушная тревога! Граждане! Тревога!..

— Чего, чего? Зачем так кричишь несуразно? — послышались вокруг голоса.— По радио передавали? Или причудилось?

Шум говора начал постепенно стихать в подвальчике, головы поворачивались к пожилому официанту, затем произошло быстрое движение у входной двери, несколько человек один за другим выскользнуло наружу, суматошно затопали бегущие ноги по каменным сту-

пеням вверх, промелькнули по тротуару мимо окон, и кто-то за соседним столом с опаской сказал:

— Вот дурье! Куда от смерти бежать-то?

— В метро «Арбатская» кинулись ребятки.

— Как они часто налетать стали. Впрочем — от Можайска «юнкерсам» несколько минут лету! С Можайского аэродрома и летают.

— А здесь не хуже твоего метро! Глянь, потолок бетонный, как в бомбоубежище! Нич-чего! Вы-ыдержит!

— Какую! Пятикилограммовую или тонную? Остряк, спина в ракушках!

— А на кой, скажи, убегать? Можно и компанией культурно пересидеть. Хуже смерти ничего не будет!

— Эх, бегать по тревогам остохренело!

— Что ж делать будем? Сидеть?

— Ты чего стоишь, как стеклянный? — озверело закричали из угла подвала на официанта, который с худым, обросшим щетиной лицом растерянно озирался на столы.— А ну, неси свой шашлык, жареную подметку, пока всех нас не разбомбило! Давай бегом!

И официант попятился к кухонной двери, для чего-то вытирая пляшущие руки о несвежий передник, спиной запутался в портьере, стал снующими локтями отбиваться от нее, прорываясь на кухню под нервный и подстегивающий хохоток за столами. Илья снисходительно сказал:

— Трусишка зайка серенький...— И тут же крикнул вслед официанту с негодованием: — Послушайте, товарищ, мы подыхаем с голоду! Сколько можно ждать?

— На каких таких основаниях разоряешься? Зачем голос подымаешь, вроде как взрослый? — в сердцах одернул его глыбообразный.— Это он трусишка? Да у него, может, детей мал мала меньше? Все герои, когда на морде пол-уса выросло. Легко грудь выставлять, когда за спиной пустенько — ни жены, ни детей! Ну, мальцы, мальцы! Нюхали вы, что такое семью прокормить? Геройство у вас в башках? Война навроде игрушки! Вот как игрушечки противотанковые делать по тринадцать часов! — Он показал Илье большую, покрытую буграми коричневых мозолей правую ладонь, договорил: — Вот этой бы кувалдой бухгалтеру всю шею пообломал! Так что, герои, здесь подвиги совершать будете? Или в метро, по-умному?

— Умираем с голоду,— сказал Владимир, преодолевая молчание Ильи.

— А что? Я поел, пузо трещит,— деловито заявил белобрысый Ваня.— Мне ваша кумпания не очень подходит. В метре хоть погреюсь. А в подвале закоченеешь, не топят.

— Айда, сопляк!

Глыбообразный сорвал со стола примятую меховую шапку, а когда двинулся к выходу, оказался не очень великого роста, но неимоверно широким в плечах и шее, растоптанные кирзовые сапоги остервенело забухали по цементному полу рядом с цапельными шажками худенького Вани. Дверь захлопнулась за ними, после чего кирзовые сапоги твердо прошагали мимо окон, позади порхнули тонкие парнишкины ноги, и тотчас (Владимир еще не успел оторвать взгляд от окна) пожилой официант с необузданной дикостью выскочил из рванувшейся вбок портьеры и, опахивая духом пережаренного лука, подгорелого мяса, со звоном раскидал металлические тарелки на их столике, поставил два стакана красного вина. Илья засмеялся от восторга, воскликнул: «О! Рубанем!» — и предвкушенно понюхал воздух, изображая пришедшее наконец блаженство, подхватил оловянной раскоряченной вилкой кусок облепленного луком мяса, впился в него зубами.

«Значит, воздушная тревога?» — подумал Владимир, злясь на себя за то, что, очевидно, больше, чем Илья, был встревожен застылой тишиной на улице и понемногу затихшим галдежом в подвале, но при появлении тарелок на столе он (с видом лихого завсегдатая) взял скользкий холодный стакан и, хотя всякое вино было тогда ему противно, отхлебнул храбро глоток красной жидкости, имеющей мерзкий вкус морозного железа, сказал: «Здорово!» — и принялся за шашлык, захрустевший на зубах пахучей подгорелой корочкой.

В следующую минуту стаканы на столе подпрыгнули, расплескивая вино, задребезжали тарелки: под окнами и, казалось, в двух метрах за дверью, бешено зачастили, зазвенели, оглушающе захлопали удары зенитных орудий, металлически отрывисто, торопливо забили пулеметные установки. Но сейчас же обвальным громовым раскатом толкнуло, закачало землю, электрический свет в подвале сник и погас. С отпотелого потолка дождевой дробью посыпались крупные капли,

зашлепала по столам штукатурка, кто-то сдавленно сказал: «На Кремль... сейчас еще бросит...» — и все замерли. А над головами маятниками качались на шнурах погасшие лампы, и лица, ставшие известковыми, недвижно застыли, поднятые к потолку. Потом лица начали покрываться мутным жирным блеском, в ужасе ожидая внезапное развержение его бетонной плоти, пробитой упавшим с неба железным и смертельным бревном многотонной бомбы.

Владимир почувствовал мерзкое потягивание в животе, уже испытанное во время бомбежки на переправе под Можайском, но это еще было алчное любопытство к самому себе, к выражению чужих глаз, к смертному ожиданию в многолюдности подвала («нет, нет, ничего опасного не произойдет сейчас, не должно произойти»), и, угнетаемый неприязнью к этому кислому запаху нечистой одежды скученных людей, к жирному поту на их лицах, к запаху предсмертного ужаса, он взглянул на Илью и прокричал ему, отчаянно веселея от собственной решимости:

— Пойдем! Посмотрим на улице!

Илья, вытаскивая вилкой из стакана с вином кусочек штукатурки, ответил готовым к действию взглядом, незамедлительно отсчитал трешками деньги, поискал глазами пожилого официанта, однако не нашел его, сунул деньги под край дребезжащей тарелки с недоеденным шашлыком и, поднимаясь, сказал притворным голосом балаганного шутовства:

— Граждане уважаемые, по теории вероятностей, бомба сюда не попадет! Доедайте свои шашлыки спокойно!

Несколько испуганных окликов рванулось им вслед от крайних столов: «Эй, пацаны! Назад!» А когда открыли тяжелую подвальную дверь и перешагнули порог, оглушенные грохотом зенитного огня, беглой стрельбой близких орудий, захлебывающимся стуком крупнокалиберных пулеметов, тугими хлопками воздушных разрывов, они сразу же натолкнулись здесь, за порогом, на человека в пальто, с красной повязкой дежурного, который выглядывал из-под железного навеса, задирая голову, прижмуриваясь, как при ослепительном свете.

— Эй!.. Нельзя! Куда-а? — закричал человек, оскаливая зубы, и оттолкнул их к дверям.— А ну, здесь стойте! Туда нельзя, нельзя! Не видите — центр бомбит! Пропустили его, заразу!

Отсюда, из-под навеса, они видели часть улицы, голые тополя за каменной оградой, видели часть неба над крышами, повсюду изрытого черными и снежно-белыми пробоинами в тучах, частым звездообразным сверканием, и везде как будто сыпалась в высотах морозная изморось, лопаясь дымами, разбрызгиваясь рваным огнем, и все, что отсюда было видно вверху, было прошито в разных направлениях трассами зенитных пулеметов, которые сходились, рассыпались веером, отталкивались, скрещивались, шагали к небу, щупая где-то посреди распадающихся звезд и комет невидимую цель. Бесконечные пунктиры трасс стремительно уносились с земли, пронзали первые этажи туч и дальше уплывали такими медленными рубиновыми огоньками в небесных высотах, что невозможно было оторваться от запредельных подвижных огненных конусов, от этой зловещей и неестественной иллюминации над городом. И, заглушенный треском, звоном, грохотом неистового фейерверка, чужой булькающий звук едва пробивался оттуда, нес в поднебесье тугую железную тяжесть, выделяясь угрожающим присутствием среди этого обезумелого и оглушительного ликования звездного дождя, вспышек, уплывающего за пределы пунктирного света. И хотя слева распространялось меж дальних крыш бледно-лиловое зарево, хотя там горело небо и снизу все сильнее набухало сочной багровостью, Владимир не испытывал выворачивающего душу страха, точно бы веря в свое бессмертие и бессмертие людей, и чувствовал, как вся эта зловещая красота, разыгравшаяся скачками, параболами, пульсированием светового хаоса, странно завораживала его.

Было удивительно и то, что позднее, на фронте, сполна познав утраты, случайность и липкий страх, он порой ночным затишьем, поверяя часовых, вставал лицом к зареву, залившему горизонт, подолгу смотрел на него, как смотрят на закат, и в том зареве был мир, тихие сумерки, запах акации...

Тогда, в Москве, Владимир не знал и не задумывался, откуда шла эта неведомая власть над ним — из глубин инстинктов или из бездны биологической защиты, не позволяющей до срока осмысливать возможность собственной беды и собственной гибели в беде и смерти другого, но его переполняло ощущение победного и

вместе с тем веселого буйства зенитного огня, и он возбужденно сказал Илье:

— Черт возьми, вот красотища-то!

— Ага,— неопределенно сказал Илья, глядя вверх, на железный навес, по которому дробно стучало, скребло и корябало.— Осенний карнавал в парке культуры и отдыха. Только смотри, какие красивые штуки с неба сыпятся!— И он подхватил со ступеньки длинный осколок зенитного снаряда, зазубренный кусочек серого металла, упавший сюда с покатого навеса.— А знаешь, Володька, угодит такая штука с верхотуры на голову, укокошить может дуриком. Вот тебе и получится: от своего осколка пострадал.

Владимир потрогал и пощупал осколочек, еще не потерявший тепло, заостренными краями колющий пальцы, осмотрел его с интересом человека, нашедшего крупицу космического тела, сказал не без сожаления:

— Зениток много, но почему не собьют ни одного?

— А тебе, парень приятной наружности, никак невдомек, что значит сбить «юнкерс»...

Дежурный, не досказав фразу, вскинул глаза к небу, точно молитвенно вслушиваясь взглядом в неутихающее над головой безумие, а там, откуда-то из невидимых воздушных тоннелей, из закоулков высот сорвался и на всей скорости отвесно помчался к земле трамвай, стал падать все вниз и вниз по сумасшедше визжащим рельсам, так пронзительно впиваясь в воздух этим визгом, скрежетом, воющим звуком гигантского металлического тела, что острая жаркая боль всверлилась в уши от накрывшего землю дикого звука.

Отвесные рельсы оборвались над крышами — трамвай, уже кувыркаясь, несся к земле без скрежета колес по рельсам, железный визг достиг предельного неистовства. Потом огромное, тяжкое глухо ударило в землю, затрясло ощутимым колебанием цементный пол под навесом подвала, и ураганный грохот позади домов землетрясением качнул улицу. Разрыв ослепил огненным смерчем, поблизости зазвенели, разбиваясь, стекла. Ветер поднял в воздух жестяные листья, клочки афиш, обрывки газет с мостовой,— дохнуло железистым нутряным теплом, как будто земля разверзлась вокруг Арбата.

И Владимир, отброшенный ныряющим сотрясением пола к ступеням, увидел пустынный ужас в обмершем взгляде дежурного, бледное, злое лицо Ильи, обращен-

ное на стену соседнего дома, что наискосок расползалась, разрезалась зигзагом трещины, обнажившей за штукатуркой фасада красную утробу кирпича, откуда струйками сыпалась пыль.

— Ну-у, лупанул! — сказал громко Илья и глянул на Владимира несмеющимися глазами.— Сюда б угодила, пыль от нас осталась бы...

— Не угодил,— насильно выговорил Владимир, намереваясь ответить Илье невозмутимым тоном, но вмиг исчезло зрелищное возбуждение, созданное зенитным огнем, не помешавшим немецкому самолету сбросить на центр города что-то гигантски чудовищное, прокатившееся землетрясением по всем окрестным улицам.

— Собьют гада или нет? — сказал Илья и выругался.— Куда они стреляют, дундуки?

— Тонную... кинул. В Кремль метил, а левее попал... в жилой...— шепотом сообщил дежурный, и подбородок его прыгал, и во взгляде не вытаивало окостенение ужаса, а зарево за крышами расширялось, разрасталось, огрузшие тучи багрово кипели, снизу зажженные огнем большого пожара.

— Неужели не собьют? — сказал мстительно Владимир.— Да что же?..

А все небо по-прежнему гремело, грозно сверкало осколками, пронзалось трассами, прошивалось пулями, все изорванное гремящим металлом, сквозь который невозможно было прорваться. Но еле угадываемый булькающий гул бомбардировщика освобожденно удалялся, тихонько отползал в этом небесном, раскаленном железном мешке. И явственное представление небесного мешка, забитого от земли до зенита пулеметными очередями, осколками снарядов, в горячей гуще которых отдалялось бульканье неуязвимого самолета, потом долго преследовало Владимира.

...В сумерки они зашли к Маше Сергеевой.

Еще из передней было видно, что в комнате царил полнейший беспорядок, как если бы здесь целый день собирались и никак не могли собраться в дорогу. Может быть, поэтому Илья счел нужным сказать на пороге, что вот «вперлись без приглашения», однако, засмеявшись, Маша свела ладони лодочкой перед подбородком, будто бога благодарила за счастливую неожиданную встречу, и воскликнула: «Ой, мальчики, как я рада вам, просто вы не представляете!» — и поочередно чмокнула

их в щеки пахнущими чем-то сладким губами, ввела в неприбранную комнату, говоря обрадованно:

— Слушайте, как получилось здорово! Познакомьтесь, пожалуйста, это — Илья и Владимир, мои друзья, прошу их любить, дядя Эдуард, и ты, Всеволод! Мама, посмотри, кто к нам пришел, они ведь были на окопах!

— Очень рад! Весьма! Во всех отношениях! Сверх меры приятно во всех смыслах! — иронически отозвался сухощавый капитан средних лет в новой суконной гимнастерке, по-домашнему без ремня, и вновь наклонил голову с зачесанными на плешинку волосами к раскрытому на стуле чемодану, занятый укладкой вещей и продуктов, разбросанных повсюду в комнате.— Так ты должна сейчас подумать, Тамара, потому что завтра будет поздно,— заговорил он убедительно, вероятно, продолжая прерванный разговор и не обращая никакого внимания на Илью и Владимира.— Да, подумать и решить, дорогая моя! Ты пребываешь в состоянии какой-то сомнамбулической нерешительности!..

Мать Маши, Тамара Аркадьевна, актриса, лежала на диване, накрытая поверх пледа белой меховой шубкой, и, подперев подбородок, читала толстый том Куприна, ее горло было обмотано пуховым оренбургским платком, как при ангине (на тумбочке в изголовье виднелись порошки, пузырек с аптечной этикеткой), ее точеное лицо со светлыми русалочьими глазами, в которые при встречах на улице Владимиру боязно было смотреть, поблекло, похудело, синеватые тени под медлительными ресницами выделялись болезненно-темно. Тамара Аркадьевна улыбнулась им обоим приветливо, посмотрела пытливо на Машу, и опять грустная задумчивость пала на ее глаза, устремленные в книгу. Здесь же, у изножья дивана, сидел, ссутулясь, незнакомый тощий подросток, приметный острыми коленями, унылостью моргающих век, и Владимир подумал: «А этот, что за прыщ такой — Всеволод?»

— Да, сладкая моя, золотце мое, сестричка моя, красавица ненаглядная, послезавтра будет поздно! — продолжал сухощавый капитан, которого Маша назвала «Эдуард Аркадьевич», и принялся укладывать в чемодан на запасы нижнего белья банки кофе, плитки шоколада, какао со сгущенным молоком, целое довоенное богатство, блистающее пленительными ярлыками.— То, что я завтра утром улетаю в Югославию,— это не

бегство, Тамарочка, и не эвакуация. Это счастливое стечение обстоятельств, и я рад тому, что буду снимать действия партизан до энного момента. До энного, понимаешь, сестрица моя?

— Что значит «до энного»? — спросила Тамара Аркадьевна, не отрываясь от книги, и морщинка пролегла меж атласных ее бровей.— Ты действительно считаешь?..

— Я считаю, золотце мое, что сейчас... вот в эти дни каждый решает свою судьбу... В сущности — мы перед трагической дилеммой...

И в этот момент Маша сказала:

— Не будем слушать жуткие споры. Со вчера в доме началось светопреставление, как будто немцы в Москву вошли, а я не верю, не верю, не верю, и даже смешно слушать эти тр-рагические дилеммы. Давайте лучше дядин шоколад лопать и, пожалуйста, рассказывайте, рассказывайте, как вы и что?..

Она на ходу подхватила со стола початую плитку шоколада, обернутую роскошным тоненьким серебром, провела их к книжной этажерке, к мягкой, покрытой бархатным покрывалом тахте — в свой уголок этой большой с лепным потолком комнаты, усадила обоих в кресла, сама села напротив на тахту и, весело хмурясь, стала разламывать, хрустя серебром, плитку шоколада на равные доли.

— Дядька у меня — добрый малый, его посылают с кинохроникой в Югославию, а главное, ему дали царский сухой паек,— сказала она шепотом, показывая смеющимися серыми глазами на Эдуарда Аркадьевича, проворно уминавшего вещи в чемодане.— Вот, держите и вовсю ешьте. Имейте в виду — «Золотой ярлык». Помните, каким чудесным веером эти плитки лежали на витрине кондитерских на Серпуховке? А сейчас — фьюить! Черта с два!.. Так когда же вы вернулись? Вчера? Сегодня? Когда? Говорите же!..

— Ночью,— ответил Илья.— И, как видишь, в полном здравии. И решили нанести тебе визит.

— Милые, как это хорошо на вас смотреть! И лица у вас стали какие-то грубые, коричневые! Как у красноармейцев!..

Она свистнула, сунула им в руки по куску разломанной плитки, и Владимир почувствовал теплый запах шоколада, смешанный с вкусным меховым запахом Машиной безрукавки, когда она наклонялась к ним, обдавая

заговорщицки-озорным светом улыбки, вспомнил довоенный декабрський вечер, вьюжный мороз на улице, нетопленую голландку, зимнюю тишину этой комнаты, где они лежали в головокружительном дурмане на веявшем и пылью и духами ковре (ковер и теперь застилал комнату), с замиранием вспомнил ощущение ее упругих и нежных губ — и шершавые иголочки озноба затрясли изнутри его. Он ничего не мог забыть из того счастливого вечера, что случилось два года назад, а она будто ничего не помнила, и во взгляде, в голосе, в улыбке ее не было и малейшего отсвета той, наверное, еще детской непостижимой близости между ними, после которой она ни разу не приглашала его к себе.

— Я не люблю шоколад,— сказал Владимир, пересиливая беспричинное сопротивление всему тому, что делала или могла сделать сейчас Маша, подумал: вот отчего были сладкими губы у нее, когда она чмокнула их обоих в щеки, и договорил нарочито грубовато: — Не понимаю, как можно есть приторную чепуху?

— А я люблю, давай сюда,— сказал с шутливым превосходством Илья, шутливо отобрал у Владимира его долю, сложил куски шоколада вместе и откусил так звучно и аппетитно, что Маша засмеялась, зажала уши, говоря своим протяжным голосом:

— Ой, бедненький извозчик из петербургского трактира девятнадцатого века! Пожалей общество, не шокируй девиц! Ну, перестань дурачиться! (И Илья мгновенно принял вид жеманной девицы, стал жевать с осторожностью, брезгливо, капризно поджимая губы.) Ну, перестань, перестань же, а то мне не смеяться, а плакать хочется! (Она оглянулась на Эдуарда Аркадьевича, на мать, и глаза ее заблестели умоляюще.) Рассказывайте, пожалуйста, что вы там видели? Немца хоть живого видели? Говорят, они уже... Нет, подожди, Ильюша, дай-ка расческу, у тебя есть? Как вы ужасно обросли на окопах! Как папуасы! Смотреть страшно! Немедленно дай расческу!

Илья небрежно пошарил по карманам, конечно же, несерьезно покоряясь начатой игре, подал расческу, преувеличенно галантно подув на нее, продолжая выражать покорность, а она спрыгнула с тахты, подошла вплотную к нему, сидевшему в кресле, и начала медленно зачесывать назад его черные волосы. Весь притворно послушный, неподвижно улыбаясь, Илья смотрел на

золотую (у самого лица) пуговицу ее командирской безрукавки, распространявшей вкусный запах нового меха, и в этой необычной свободе Маши, в том, что она стояла, почти касаясь коленями Ильи, и он мог поцеловать под незастегнутой безрукавкой ее свитер, пахнущий ею, была какая-то пьянящая мука, обманчивая порочность, как в блаженном сне, увиденном раз Владимиром предновогодним декабрьским вечером. Илья, по-видимому, не знал этого чувства и был спокойно дурашлив с Машей, не прилагая, как всегда, никаких усилий завоевать ее благосклонность — его не интересовали с некоторых пор «невинные сю-сю, ку-ку на скамеечке школьного парка»,— и, понятно, он не мог знать того зимнего вечера в этой тихой комнате, когда она, Маша, чудесно пыталась играть воображаемую ею ветреную женщину, а он, Владимир, обмирая от нежности к ней, в горячем обморочном тумане целовал бархатный холодок ее маленькой груди.

— Так как-то лучше. Теперь начинаю узнавать тебя,— услышал он голос Маши и увидел, как лучистая чистота ее глаз на секунду соединилась со снисходительной усмешкой во взгляде Ильи, и она повернулась к Владимиру, тронула пальцем его волосы.— И тебя? Почему ты так на меня смотришь?

— Я? Никак не смотрю.— Он отклонил голову и, чтобы оправдать невольную резкость слов, сказал сердито: — Не люблю, когда меня причесывают, как какую-то кошку.

— Если я похож на кошку, то твоя наблюдательность потрясает.— Илья развалился в кресле, без стеснения оглядывая комнату, он умел быстро осваиваться и обладал завидным качеством преодолевать препятствия и неудобства в любой обстановке.— Маша, мы шатались по Москве с самого утра, зашли, чтобы удостовериться, не уехала ли ты. Весь двор пуст, все смылись в эвакуацию. Ты не уезжаешь?

— Я не знаю. Ничего не знаю. Если мы поедем, то только с мамой, когда она выздоровеет,— проговорила Маша и села на тахту, кутаясь в широкую ей безрукавку.— Не будем об этом. Не хочу, не хочу. Лучше скажите, мальчики, что же такое под Москвой? Неужели все так страшно?

В ожидании ответа она потерлась подбородком о мех телогрейки, Владимир подумал, что у нее замерзли гу-

бы, вообразил их прохладную вишневую упругость, с внутренним ознобом ощутил звук ее голоса, близость ее лица, ее коленей, чуть толстоватых сейчас, обтянутых плотными шерстяными чулками, и его пронзительно обдул ветерок радости, перехватывающей дыхание каждый раз, когда он видел ее... Но этот ветерок, похожий на ожидание праздника, и одновременно предчувствие беды были настолько властными, что сразу изменяли в нем что-то, делали его против воли резким, грубым.

Илья полусерьезно стал рассказывать о рытье окопов под Можайском, о том, как однажды ночью, вооружившись лопатами, ловили в поле, но так и не поймали сброшенных с самолета немецких диверсантов, о том, что неделю назад все были подняты по тревоге, уже обойденные справа и слева танками, и по лесам вместе с остатками какого-то разбитого стрелкового полка выходили из окружения к Москве...

— О, Гераклы, Александры Македонские! О, грандиозные герои нашего времени! — выговорил, массажируя вспотевший лоб, Эдуард Аркадьевич и от неуложенного чемодана круто развернулся к столу, налил рюмку коньяка, замученно закатил выпуклые глаза к потолку, выпил, сказал еще раз «грандиозные Гераклы» и опять принялся страдальчески массажировать лоб, утомленно закатывать глаза, ходить по комнате от стола к дивану, где накрытая пледом и шубкой задумчиво-грустно читала Тамара Аркадьевна.— Ваш грандиозный рассказ, молодой человек, потрясает до глубины души! — заговорил он вдруг, несколько манерно картавя с пасмурной едкостью.— Какая изумительная пора детства и юности! Впереди, конечно, две счастливые жизни, а молодость и здоровье бесконечны! Все друзья красивы, благородны и бессмертны, а враги косолапы, косорылы и бессильны! Как я хотел бы, как мечтал бы хоть день, хоть час, хоть несколько минут пожить в этом милом, совершенно грандиозном состоянии детства! В этом рае голубых и лазурных снов! О, счастливая пора, когда все на свете — ла-адушки, ладушки, где были — у бабушки! Ты слышишь, Тамарочка, милая? Поистине не хочу пребывания в зрелом, разумном, практичном благолепии, но хочу детства, господи, прости за мечты тщетные! О, милая пора, очей очарованье! Кажется, так у Пушкина, мои ребятушки, ладушки?

— Вы ошибаетесь,— мрачно сказал Владимир и по-

краснел.— У Пушкина не так. «Осенняя пора, очей очарованье». И... какие мы еще «ребятушки, ладушки»?

— Особенно вы здорово насчет голубых и лазурных снов,— вставил Илья в поддержку Владимира.— И насчет ладушек и Пушкина.

— Дядя! — крикнула возмущенная Маша.— Почему вы слушаете наш разговор? Даже как-то странно, стыд какой. На вас совсем непохоже и... просто, просто зачем вы так?

Эдуард Аркадьевич воздел руки к лепному потолку, потрясая ими, сдаваясь в плен без сопротивления.

— Извини, извини, богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды! Я услышал случайно, я грандиозный осел, да будь тебе известно, ибо уши мои шибко грамотные, родная моя! — Он шустро направился к столу, взял бутылку коньяка, но, прежде чем налить себе, иронически-выжидательно уставил выпуклые свои глаза в сторону Ильи и Владимира.— Вы не желаете ли, юные люди, чокнуться оч-чень недурным армянским? У меня, простите, вторые сутки разламывается голова, а коньяк иногда помогает. Хотите? Ан нет, понимаю, рано, рано, придет время, познаете все, испьете горечь познания, печаль великую и будете в большой тоске думать о бытии своем! О, прелесть, запах солнца!..— простонал он, маленькими, дегустирующими глотками выцедив рюмочку и сладостно закусил долькой шоколада, все расхаживая в неподпоясанной гимнастерке по комнате.— Да, кстати, о прошлом и настоящем,— заговорил он, быстрой ощупью гибких пальцев как бы проверяя, ушла ли головная боль наконец.— Да, где же прошлое, милое, довоенное ясное утро? Прошлое — метафора. Настоящее темно, хмуро, трагично в своей непостижимости. Будущее — за семью печатями. О, ч-черт, как трещит башка! Ни пирамидон, ни коньяк не помогают, хотя был сдержан и не пил вчера, как пожарник! Не пил, не пил! Нервное это, абсолютно нервное! Дамское! И — фрейдистское! Не могу, не в силах забыть, Тамара, утреннего разговора с одним своим другом. По дороге со студии я зашел к нему. Представь картину: недавно изысканно одетый, приятный, чистый, а тут небритый, грязный, в валенках, сидит в кресле возле печки и сжигает какие-то бумаги и фотографии. А глаза — воспаленные, безумные. И бормочет только одно слово: «ложь, ложь!..» Грандиозная нелепица, сцена из Достоевского. Бесы!

А его сын — студент авиационного института, хромой с детства после полиомиелита, умненький такой, красивый мальчик, тоже возле голландки рвет бумаги, и вид у обоих, знаешь ли, не то что страшненький, а дикобразный. «Ну, что, Женечка, спрашиваю, едешь в Алма-Ату или, миленький, остаешься?» А он и засмеялся как-то по-сумасшедшему, по-бедламски, знаешь ли. «Я сегодня ночью,— говорит,— дежурил в свою очередь и хорошо, очень хорошо видел, как заминировали мост через Москву-реку. Грузовик стоял у ворот, был наполнен ящиками со взрывчаткой, значит — заминировали абсолютно все мосты. И не только мосты. На Лубянке и в центре жгут архивы. Значит, война проиграна, Москва обречена. Что касается меня, то извини,— говорит,— я абсолютно ничему не верю! Нельзя объединить человеческое стадо, каждый рвет кусок себе, своя рубашка ближе к телу. Выкинули беднякам лозунг: «Бей богатых, экспроприируй, отбирай!» Отобрали, экспроприировали, разделили,— лучше стало?» И заявляет мне: «Мы решили с сыном: остаемся. Я беспартийный, а Миша комсомолец, ну что ж, другие времена, другие песни: Миша зароет комсомольский билет, будет спокойно работать». И, знаешь ли, хромой и убогий Мишенька ему кивает: «Да, зарою и буду спокойно работать. Я — калека и никому не нужен...» Грандиозное безумие, апокалипсический кошмар! Не могу, Тамара, из головы выбить этот разговор с Женей, не в силах представить, как он решился! С ума сойти! Хотя...— Эдуард Аркадьевич помассажировал виски, растрепав волосы, начесанные с боков на лысину, и замолчал, выпукло глядя затосковавшими пепельными глазами в пространство над головой сестры, которая оторвалась от книги и смотрела на него беззащитным взором, умоляя не ворошить запретное, что не надо слышать и знать посторонним людям.— Хотя,— продолжал Эдуард Аркадьевич, погружаясь в состояние рассеянной отрешенности,— хотя обстоятельства в высшей степени трагические! — сказал он и повернулся к ней спиной.— Непонятно, немыслимо, уму непостижимо! Шестнадцатого октября сообщили, что немцы прорвали фронт, и началась паника. Немцы рядом — подумать только! Калуга взята, они на подмосковных дачах... В электричках немецкие солдаты сидят и переобуваются — грандиозные картинки! Невозможно ведь, невоз-мож-но! В Москве так называемая последняя эва-

куация, вывозят заводы, народец бежит с узлами на Горьковское шоссе. Грабежи начались, господи упаси, хотя на всех углах развешаны приказы генерала Синилова. Прямо во дворах расстреливают провокаторов и грабителей, а немцы-то наступают. Они завтра могут быть в Москве, завтра!.. Никто ничего не гарантирует! Завтра?.. Или послезавтра?.. Грандиозный кошмар! Что получилось? Как это получилось? Кто даст ответ?! — вскричал срывающимся голосом Эдуард Аркадьевич и внушительно воздел руки к потолку.— Будь готов к труду и обороне. Дальше всех, выше всех, быстрее всех. Сколько было сказано грандиозных слов! Что же получилось? Немцы на канале, на Истринском водохранилище, под Химками. Ты можешь мне ответить, милая Тамара? Можешь объяснить — каким образом? Или вы, юные комсомольцы, можете ответить что-нибудь? Как? Каким образом?

— По-моему, тебе не нужно больше задавать вопросов,— сказала Тамара Аркадьевна низким простуженным голосом, обеспокоенно оправляя на шее пуховый оренбургский платок.— Но только, пожалуйста, не вмешивай сюда детей. Они не виноваты.

— Ты пойми, пойми! — Он прижал щепотку ко лбу и выкинул, разжал пальцы в воздухе.— Ни тебе, ни Маше нельзя медлить, нельзя оставаться здесь, эт-то безумие, которому объяснения нет! Твоя ангина и твоя судьба — не смешно ли? Пересиль себя, сестра чудная! Оставаться в голоде, в холоде, в неизвестности хотя бы на неделю двум женщинам без серьезных средств... двум почти в пустом доме — это не только риск, но самоубийство, по меньшей мере! Представь худшее — вы не успели уехать, в Москве катастрофа. На какие средства вы будете жить — продадите серьги, кольца, барахло-тряпки? На сколько хватит? А потом? На панель Арбата? Ну, прости, прости! Я раздражен, разумеется, но суть-то, так или иначе, в одном. Болеть в Москве ангиной сейчас — недопустимая роскошь! Надо ехать в Ташкент, золотце мое, догонять свой театр, ехать немедленно, завтра, завтра! Уезжать!

— Я не понимаю, дядя,— тихонько сказала Маша, все кутаясь в меховую безрукавку, точно было ей зябко.— Вы говорите так, будто завтра... завтра в Москву войдут фашисты. Неужели вы так думаете? Они что — войдут?

— Машародненькая, драгоценная моя племянница! — воскликнул в изумлении Эдуард Аркадьевич.— Этого не знает и сам господь! И никто не скажет, не сообщит заранее, к большому сожалению, если даже Москву окружат немецкие танки, перережут дороги! Но по всем признакам — положение сверхсерьезное, какого на нашей памяти еще не было! Да, Машенька, юное мое, очаровательное существо, твой возраст — несокрушимый оптимист, но в такие дни быть беспечным — смертоподобное легкомыслие!.. Ты понимаешь, Машенька, что значит женщинам оставаться в городе, в котором, возможно, начнутся уличные бои! Пойдете на баррикады, подобно Жанне д'Арк? Актриса и девочка — смелые воины!..

От слов Эдуарда Аркадьевича, от энергичности его пальцев, которыми он то растирал высокий лоб, то нервно и продолжительно хрустел, сводя руки за спиной, от его голоса, чудилось, рассыпающего вокруг себя ядовитые иглы, исходила острота тревоги — и неприязнь к нему загоралась у Владимира запальчивым огоньком. Илья, щурясь на Эдуарда Аркадьевича, слушал его чутко, не пропуская ни одного слова, и рот был сжат терпеливо, будто его вызывали на драку, которую надо принимать не сразу. И Владимир не выдержал:

— Вы просто трусите!..

(О, спустя много лет он не сказал бы этого, но тогда, в пору октября сорок первого года, была та искренняя чистота, наивная вера юности в справедливость и честность человеческого мира, которая потом четыре года зажигала костры самосожжений.)

— Благодарю вас, юноша, благодарю! Я трус? Чудесно и великолепно! — слабо посмеявшись, поклонился Эдуард Аркадьевич, открывая искусный начес на ранней лысине, и продолжал миролюбиво: — В вашем возрасте, мой друг, всех людей моего нынешнего возраста я считал ничего не понимающими в жизни старыми ишаками. Это слово было модно тогда. Так что я вполне вам сочувствую и вполне разделяю ваше благородное негодование! — Он опять сделал поклон в сторону Владимира, излучая ироническую признательность, после чего приостановился у изголовья Тамары Аркадьевны, заговорил страстным, убеждающим тоном: — Но каким бы трусом я ни представал перед юными героями, я настаиваю, сестрица, на твоем отъезде с Машей утренним поездом! И умоляю вас собраться сегодня. А! Дай-ка,

дай-ка, пожалуйста, я сам посмотрю! Ты без конца меришь температуру! — Он стремительно выхватил у нее градусник, дважды взглянул недоверчиво и, встряхивая, проговорил с недоуменным пожиманием плеч: — Милая! Я уже не знаю, что делать! Тридцать семь и девять. Но пересилить себя надобно, взять в руки, заставить решиться, наконец! Пойми, это невозможно будет исправить!..

Тамара Аркадьевна приподнялась на локте, брови ее печально изогнулись.

— Ты тоже меня пойми,— сказала она и вздохнула жалостно.— Я боюсь... я хочу уехать, но не могу. Целую неделю меня мучила высокая температура. Я просто обессилела. Я умру где-нибудь по дороге. Ты хочешь, чтобы меня похоронили где-нибудь на сельском погосте?.. У меня нет сил, Эдуард...

— Грандиозно! Мило!.. А дети? — вскричал Эдуард Аркадьевич, растопыривая подвижные пальцы и потрясая ими.— Эт-то же безумие, сумасшествие! Оставаться с детьми на краю пропасти!.. А как Всеволод? Как Маша? Ты подумала об их судьбе?

Всеволод, подросток с прыщеватым унылым лицом, все время молча сутулившийся в ногах Тамары Аркадьевны, все время робко слушавший пропитанную соленой тревогой непрекращающуюся речь Эдуарда Аркадьевича, вдруг порывисто прижал кулачки к щекам, затрясся судорожно, замычал глухим отроческим баском и, раскачиваясь, начал ниже и ниже склоняться к коленям, точно за шею его сзади пригибали, и повторял шепотом: «А я как? А я куда?» И Владимир тут увидел, как бледное лицо Маши обезобразилось гримасой гадливости, и голос ее зазвенел негодованием:

— Перестань, пожалуйста, Всеволод! Стыдно видеть, как ты превращаешься в бабу! И вы, дядя, перестаньте нас мучить! Пока мама не выздоровеет, мы никуда не поедем, никуда! Вы что-то страшное выдумали. Мы пока будем здесь, и Всеволод останется с нами! А теперь молчите, а то я буду визжать и не давать вам говорить! Вот так, слышите?

Она завизжала отчаянно и пронзительно, потом насильно засмеялась, поспешно вскочила, пересела на диван к матери и, защищая, успокаивая ее, обняла за плечи, целуя ее в волосы (Тамара Аркадьевна зажмурилась, всхлипнула, отворачиваясь к стене), и Владимир подумал, что он с Ильей лишние здесь, пришедшие не

ко времени гости, и, чтобы избавиться от неудобства увиденной ссоры, чтобы больше не слышать отчаянного, еще сверчавшего в ушах визга Маши, он сказал излишне непринужденно Илье:

— Салют, что ли?

Это была известная в школе фраза, обозначавшая вынужденное прощание в особых обстоятельствах, и Илья, поняв, встал, проговорил отсекающим тоном:

— В приказе коменданта города Москвы мы сегодня прочитали: дезертиров и паникеров расстреливать на месте! Вы не из тех?..

Он ожег взглядом Эдуарда Аркадьевича и, направляясь к двери, ребром ладони, точно на перемене показывал прием джиу-джитсу, небрежно ударил по краю стола так, что звякнули бутылки коньяка в окружении банок консервов, и почтительно обратился к Тамаре Аркадьевне, глядевшей на него с недоумением:

— Извините, мы пришли к Маше и не знали, что у вас громкий семейный разговор.

— Что, что? — шепотом спросила Тамара Аркадьевна.— Почему «громкий»? Почему «семейный»? О чем вы, Илья? Вы как-то ведете себя невоспитанно и грубо...

— Ба, какие у тебя грандиозные рыцари, Машенька! Такие могут и побить! Судьба, упаси встретиться в темном переулке! — выговорил с шутовским испугом Эдуард Аркадьевич и шутовски усердно перекрестился, отдуваясь, играл полуобморочное состояние.— Уходите, ради бога, вон, уходите, пока я... пока я не позвал патруль или милицию. Подите, подите прочь, молодые люди, и не лезьте в чужие дела, ум-моляю вас!..

— Дядя, перестаньте, пожалуйста, клоунствовать! — закричала Маша и снова так оглушающе-пронзительно завизжала, что мать отвалилась головой на подушку, страдальчески зажав уши пуховым платком, а Эдуард Аркадьевич упал в кресло, руками прося пощады, завел глаза под лоб.— Вот вам! Вот вам за моих друзей! — крикнула Маша, не то смеясь, не то плача.— Я не дам вам сказать ни слова. Ни слова! Ни буковки!

— Уходим прочь. Карету нам, карету,— усмехнулся Илья и кивнул молчаливому Владимиру.— Где оскорбленному есть чувству уголок.

Они вышли на улицу, вечернюю, усыпанную примерзшими к тротуарам листьями, и здесь Маша догнала их; студеный ветер отбросил ее волосы, мотнул по-

лами незастегнутого длинного пальто, облепил ноги. И Владимиру даже показалось, что резко подувший холод загнул ее темные мохнатые ресницы, заставил откинуть голову, а она стояла перед ними, всматриваясь в лица обоих, стараясь улыбаться, говорить весело, и вмиг стала прежней Машей, от одного взгляда которой сбивалось дыхание.

— На моего дядечку не надо было обращать внимания,— заговорила она торопливо своим гибким голосом.— Он не в себе, конечно. Всеволод его приемный сын от первой жены, и он хочет, чтобы Всеволод уехал с нами, понимаете?

— Понимать нечего,— ответил Илья.— По-моему, твой распрекрасный дядя — фрукт с паникерского дерева.

— И — субчик! — подтвердил Владимир.— Да еще брехун первого сорта.

— Ах, какие вы глу-упые дурачки! — протяжно сказала Маша.— И все-таки я вас люблю. Обоих. Хороших, странных дурачков, которые ничего не понимают.

Она левой рукой ласково погладила двумя пальцами по щеке Илью, правой рукой тронула подбородок Владимира, обдала обоих ласковой лучистостью глаз, вспыхнувших из-под загнутых ресниц, и Владимир почувствовал зыбкость земли и от прикосновения ее теплых пальцев, и от этой лучистой бездны ее непонятного ему взгляда, обещающего что-то блаженное, тайное, порочное, отчего начинался озноб и холодели зубы. Она спросила:

— Что вы будете делать в Москве? Вы остаетесь? Нам не дали поговорить в этой дурацкой кутерьме. Я хочу знать, что вы будете делать?

— Мы? Мы в армию,— сказал Владимир с незатруднительной искренностью и, сказав, достал пачку папирос «Пушки», предложил Илье.— Мы были сегодня в военкомате.

— Володька не соврал,— поддержал вскользь Илья и взял папиросу охотно, зажег спичку, давая первым прикурить Владимиру.— Мы этот вопрос почти решили.

— Вы курите, мальчики? — удивилась Маша.— Вы там, на оборонных работах, научились? Какие-то вы странные, на самом деле взрослые стали... В армию, я уже догадалась, что в армию,— повторила она и покусала губы.— Ах, как я тоже хотела бы в армию! Но ничего, ничего не выйдет. Я не могу бросить маму.

Илья, прищурясь от дымка папиросы и, казалось, ни о чем трудном не думая, сказал:

— Машенька, ты чересчур красива для армии. Дуэли среди мужчин начнутся. Так что уж сиди с мамой и жди нас. А точнее — Володьку. У меня пять родинок на левом плече — значит, впереди судьба скитальца, как цыганка нагадала. Да если и убьют, беда небольшая: поплачут и перестанут. Верно ведь?

(Зачем он сказал тогда эту роковую фразу?)

Маша прямо посмотрела на Илью, точно угадывая причину непробиваемой его несерьезности, его бездумной шутки над тем, над чем нельзя было смеяться, но тоже сказала тоном легкомысленной беспечности:

— Как все невероятно смешно! Пять родинок на левом плече? И как это романтично, какие-то испанские повести Мериме! Не Кармен ли нагадала, Илья?

— Хуже,— Илья притворно вздохнул.— Хотя цыганка была фантастической красоткой. Ресницы два метра и ноги, как у богини.

— Хуже? Хуже кого? — взмахнула мохнатыми ресницами Маша.— Как это понимать — «хуже»?

— Хуже в том смысле, что таких, как Кармен, в мире уже нету,— Илья сожалеюще пощелкал ногтем по папиросе.— Красота измельчала, а всякие сантименты давно пора в музей сдать. Устарело, как каменный топор.

Маша напряженно выпрямилась.

— Глупо! И даже не вызывает жалости. Я всегда знала, что ты груб, как камень. Твой бокс и твои мускулы — достаточное тому доказательство. Что же это за музей открылся? Где?

— Откроется. Музей сантиментов. Мы живем в грубый век силы. Впрочем, я не шучу! — Он поперхнулся дымом, смеясь, выказывая отличные, ровные зубы.— Я действительно подумал, что в армии ты можешь устроить переполох. Ведь чокнутых дураков еще много, и каждый считает себя неотразимым красавцем, созданным для сентиментальной чепухи.

— Вот уж глупость, которая потрясает меня до глубины души! — воскликнула Маша, удивленно пожимая плечами.— Может быть, ты... Может быть, ты ревнуешь меня?

— Правильно,— сказал Илья.

— С каких же это пор?

— Не имеет значения.

— Почему же не имеет? Земля полна слухами, что ты не без успеха ухаживал за тренершей в волейбольной секции из спортивной школы. Неотразимая белокурая красавица. Не помню, как ее звали... Кажется, Полина?..

Илья докурил папиросу, швырнул ее на решетку водостока, где сумеречно мерцала корка льда и жестяно торчал из него не смытый дождями, вмерзший уличный мусор, притянул Машу за локоть, заговорил с той взрослой фамильярностью, когда трудно было понять, в шутку он говорит или всерьез:

— Ты неплохой малый, и не знаю, как Володьке, а мне немного нравишься. У тебя ресницы гораздо длиннее, чем у той цыганки.

— Это что же такое? Милые шутки? Объяснение в любви, что ли, в стиле Дон-Жуана? — Маша блеснула глазами по невозмутимому лицу Ильи и, озябнув, подняла воротник, засунула руки в карманы пальто.— К чему это ты говоришь? Ах, понимаю! Демонстрация самонадеянности... Не спутал ли ты меня с Полиной или какой-нибудь другой влюбленной в тебя грешницей из спортивной школы?

— Ни с кем не спутал. Никакая не демонстрация,— сказал Илья тем же тоном наигранной опытности.—Просто нам прощаться надо и давай целоваться...

Маша вскинула голову.

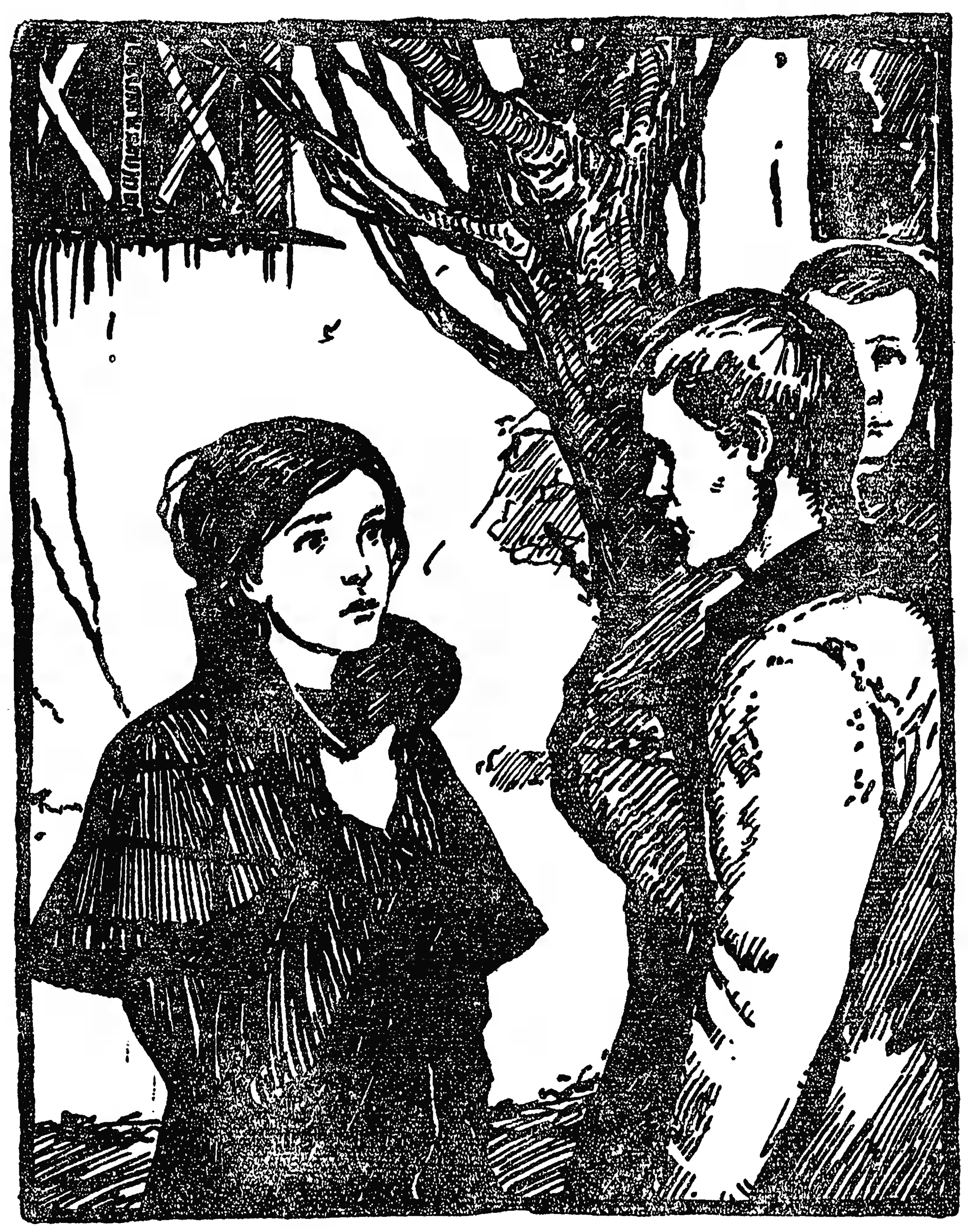
— Как то есть целоваться?

— В лоб целуют маленьких детей. А тебя — в губы, конечно. Показать, как?

— Это забавно. Попробуй, если у тебя получится.

С закинутой головой она стояла, смотрела на него, не вынимая рук из карманов, подставив сомкнутые вопрошающие округленные улыбкой губы навстречу какому-то близкому ужасу, и он, нисколько не стесненный, как будто привычно делал так каждый день, притянул ее за локти и медленно прижался губами к ее улыбающимся губам таким смелым долгим поцелуем, что она легонько стала отклоняться назад, затем вынула руки из карманов, уперлась ему в грудь, осторожно отжимая его, наконец, задыхаясь, освободила свой испуганный рот, прикрыла его пальцем, выговаривая странным шепотом:

— Зачем ты так грубо? Если ты со мной прощаешься, то неужели ты хочешь, чтобы я запомнила твою грубость? Нет, ты какой-то фавн, питекантроп...



— Разве? Грубость? Питекантроп? — ласково усмехнулся Илья.— Просто у тебя вкусные губы. Можно еще?..

— Нет, не надо! — Она отстранилась, бледнея, и с фальшивой, неумеренной поспешностью подошла к Владимиру, а он сразу упал в глубину ее туманного взгляда и потонул в ее зрачках мучительно.— Мы с тобой тоже должны проститься? Что ж, поцелуй, пожалуйста...

Колючая спазма сдавливала горло, и он не мог произнести ни звука в те минуты, когда Илья говорил с Машей и целовал ее, не стесняясь его, как бы считая

это вполне допустимым при их дружбе, и то, что Илья на ее слова о грубости ответил ласковой усмешкой мужской опытности, а она испугалась его шутливой настойчивости и, как за спасением, кинулась прощаться с Владимиром — все было до бессилия открыто и непонятно, хотя все выдавал ее взгляд, дрожание ее ресниц, растерянное покусыванье губ — и он повернул голову в сторону, чтобы не видеть ее лица, и молча пошел по улице, боясь не сдержаться и обнаружить то, чего стыдился. Слезы душно заслоняли дыхание, и, наверное, надо было для облегчения освободиться от них, но он не умел...

А ранняя темнота заволакивала улицу, металлически пахло инеем, гарью бумажного пепла, который сыпался и сыпался в воздухе, и красноватое зарево пожара в центре растекалось над заборами, черно выделяя сеть нагих ветвей.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В дверь позвонили.

Васильев сказал рассеянно: «Пожалуй, на сегодня кончим»,— и положил палитру на стол, отомкнул замок (он запирался во время работы) — и в мастерскую, стуча каблуками сапожек, вошла Виктория, в монгольской дубленке, отороченной белым мехом, и сразу запахло уличным ветерком, свежестью утреннего морозца. Она холодными губами поцеловала отца в небритую щеку, взглянула темно-серыми, Марииными, глазами на Щеглова, позирующего в кресле, сказала:

— Здравствуй, па, здравствуй, дя!

И тотчас Эдуард Аркадьевич чрезвычайно проворно вскочил, выражая восхищение, любовь, рыцарскую преданность, и летящей балетной походкой, мелькая зелеными безупречно узкими брюками, сверх меры восторженно подбежал к Виктории, принялся растроганно целовать ей руки, приговаривая при этом журчащим голосом:

— Красавица моя, золотце мое, бесподобное сокровище, самая чудесная наша умница в мире! Ну, что сделать для тебя, жар-птица, золотой башмачок отыскать, коня на ходу остановить, в горящую избу войти?

— Перестаньте, дядя,— засмеялась Виктория, высвобождая руки.— Если я попрошу у вас сейчас двести рублей, то вы достанете портмоне, ахнете и скажете: к со-

жалению мой кошелек чист, как моя совесть. Правда? Но все равно я вас люблю, дя, за вашу безалаберность!

— Королева моя, жемчужинка моя, радость моя, я всегда виноват и всегда безденежен, аки собака,— смиренно прожурчал Эдуард Аркадьевич и сделал жест горчайшего сожаления.— Сам бы прерадостно занял некоторую сумму, да звание и годы, миленькая, не позволяют. Ну-с! — И он еще более оживился, закряхтел, сладострастно замычал, схватил обеими руками тонкую кисть Виктории, начал нежно клевать ее носом, показывая бледную лысину с щегольским мастерством начесанными от уха до уха волосами.— Я умчался, я исчезаю, я улетучиваюсь, ибо запаздываю на репетицию, где будет крупнейший разговор с одной актрисулей, сущей ведьмочкой, прости господи. Голубушке под шестьдесят, старость давно мельтешит в окошке, а она, старая кочерыжка, все норовит, все рвется, старая перечница, двадцатилетнюю сыграть. Не сыграешь, не сыграешь на балалайке, коли сковородка в руках. Владимир Алексеевич, я вас горячо целую!

Он спешно надел пальто, модное, в крупную светлую клетку, натянул кожаные перчатки и, напоминая энергичного щеголя адвоката, уходящего со сцены, выбежал из мастерской, послав воздушный поцелуй на пороге: «Процветайте, милые!»

В мастерской после его ухода что-то померкло, утратилось, будто пронесся, продул комнату сквозняк, захлопнул дверь, и вновь наступило безмолвие, прежнее состояние покойной обыденности, а недописанный портрет был загадочен, выпукло проблескивали за очками глаза, чуть-чуть змеился край еще крепкого старческого рта, приготовленного к ядовитой или иронической фразе вместе с едва уловимой грустью, проступавшей порой ненадолго, когда задумывался он в середине разговора.

«Почему все-таки мне жалко его? — подумал Васильев.— Мне кажется, что он все время убегает от самого себя».

— По-моему, ничего,— сказала Виктория, постояла у мольберта и, не раздеваясь, опустилась в соломенное кресло-качалку позади Васильева.

Он услышал скрип кресла, шорох расстегиваемой дубленки и обернулся в предчувствии нежданного разго-

вора с дочерью, которую он не каждый день видел у себя в мастерской.

— Можно, па? У тебя, кажется, «Филип Моррис»? — спросила Виктория и, не дождавшись разрешения, полированными матовыми ноготками потянула из пачки сигарету — так доставала сигарету Мария,— а он вдруг почувствовал тоскливое теснение в груди при виде огонька зажигалки в этих несильных, слабых пальчиках дочери и при виде дыма сигареты, выпущенного ее юными невинными губами, заметил приоткрытую откинутым воротником дубленки белую, лебединую шею, показавшуюся тоже слабой, незащищенной, подверженной невидимой опасности, и подумал, что не в силах ничего запретить дочери, что она начала курить после той болезни и после того незабытого, загадочного, что случилось с ней два года назад за городом, но о чем ни она, ни Мария не вспоминали позднее.

— Ты, наверное, хотела мне что-то сказать? — спросил Васильев и подошел к Виктории сбоку, поцеловал в легкие волосы, пахнущие родным теплом, чистотой.— Ты не часто у меня, Вика..

Она, не поднимая глаз, думая о своем, хмурила брови.

— Па, именно об этом я хотела тебе сказать,— проговорила она строго.— Тебя четыре дня уже нет дома. Ты постоянно стал ночевать в мастерской зачем-то. Не знаю, что происходит между тобой и мамой, но все странно. Она молчит, а я вижу, как она мучается. Понимаешь, па? Она ведь не пожалуется никому, хоть ей и очень плохо будет. Нет, пожалуйста, не подумай! — поправилась она с решительностью.— Никакие секреты я знать не хочу! Но с вами что-то произошло после Италии, вы стали оба странные, и я не понимаю, па, что с вами? В доме просто затишье мертвое! Знаешь, как раньше в пьесах ремарки писали: затишье в доме как перед грозой! Откуда гроза, папа?

Он посмотрел вопросительно, а она под его взглядом бросила с сердитым выражением сигарету в пепельницу, и ее нежный изгиб шеи, болезненная бледность тонкого лица, неестественно широкие серые глаза в мрачноватой тени густых ресниц — все было хрупким, родным, Марииным, поразительно повторенным в ней, в его дочери, повторенным его любовью к Марии, тайным колдовством генетического кода, подчиненного двадцать лет

назад только им двоим, и полужалость, полунежность прошла в душе Васильева.

И он обратной стороной ладони, не запачканной в краске, погладил щеку дочери, сказал:

— Я не стал другим, Вика.— Он отошел к раковине и принялся мыть кисти в мыльной воде.— Даже больше,— сказал он, с виноватой улыбкой поглядывая на Викторию и в то же время думая о внезапности простого, сейчас осознанного им ощущения: «Неужели вот это сидит в кресле моя дочь, неужели в ней часть Марии и часть меня, наша сущность, наша единственная надежда, наше продолжение в мире? Что же я должен сделать для нее, чтобы она поняла, что они — Мария и она — мне дороже всего, что жить я без них не смог бы...» — Даже больше, Вика. Ты так и скажи маме: он любит нас сильнее, чем раньше. Но я должен побыть немного здесь, в мастерской, поработать, подумать. И вы немного отдохните от меня. Вы должны немного отдохнуть от меня,— повторил он.— Так надо.

— Скажи, па, откровенно: в последнее время между тобой и мамой ничего не произошло?

«Произошло разве?» — подумал он, чувствуя в своем состоянии равные и правду и ложь, потому что ничего не произошло, нарушившего их прежнюю жизнь, и вместе с тем произошло нечто неудобное для обоих, некоторое время назад незаметно создавшееся, что трудно стало преодолевать, когда они оставались вдвоем, и, уезжая из дома, запершись в мастерской, он убеждал себя, что и это надо тоже пережить в работе и одиночестве.

— Все в порядке, дочь, между мной и мамой никаких страшных событий не произошло,— сказал почти шутливо Васильев.— Может быть, мы чуть-чуть устали оба.

— Мама стала ужасно много курить. Она даже похудела.

— И ты тоже куришь, дочь. Надо ли?

Она не ответила.

Он разложил кисти на столике, заляпанном краской, и тут заметил ее взгляд, обращенный мимо него в солнечное сверкание окна, огромного, заиндевелого. Она сидела в распахнутой дубленке, облокотясь, подперев согнутым указательным пальцем подбородок, ее глаза, пронизанные белизной морозного света, уже смотрели

куда-то в февральское утро, были задумчивы, отдалены, грустны,— и знакомая спазма жалости удушливо стиснула горло Васильева, будто он был виноват в ее болезни, случившейся два года назад, в ее бледности, вот в этой пугающей его задумчивости. Он спросил вполголоса:

— Ты здорова, милая?

— Меня нет дома, па.— Она пожала плечом.

— Ты не хочешь мне отвечать?

— Я здорова, как слониха.— Она закрыла глаза, откинулась затылком к спинке кресла, сказала ненатурально веселым шепотом: — Только душа немного болит, па. Тихонечко себе ноет и не перестает, Но это — пустяки, пройдет. Понимаешь, па?

— Что значит «тихонечко ноет», Вика?

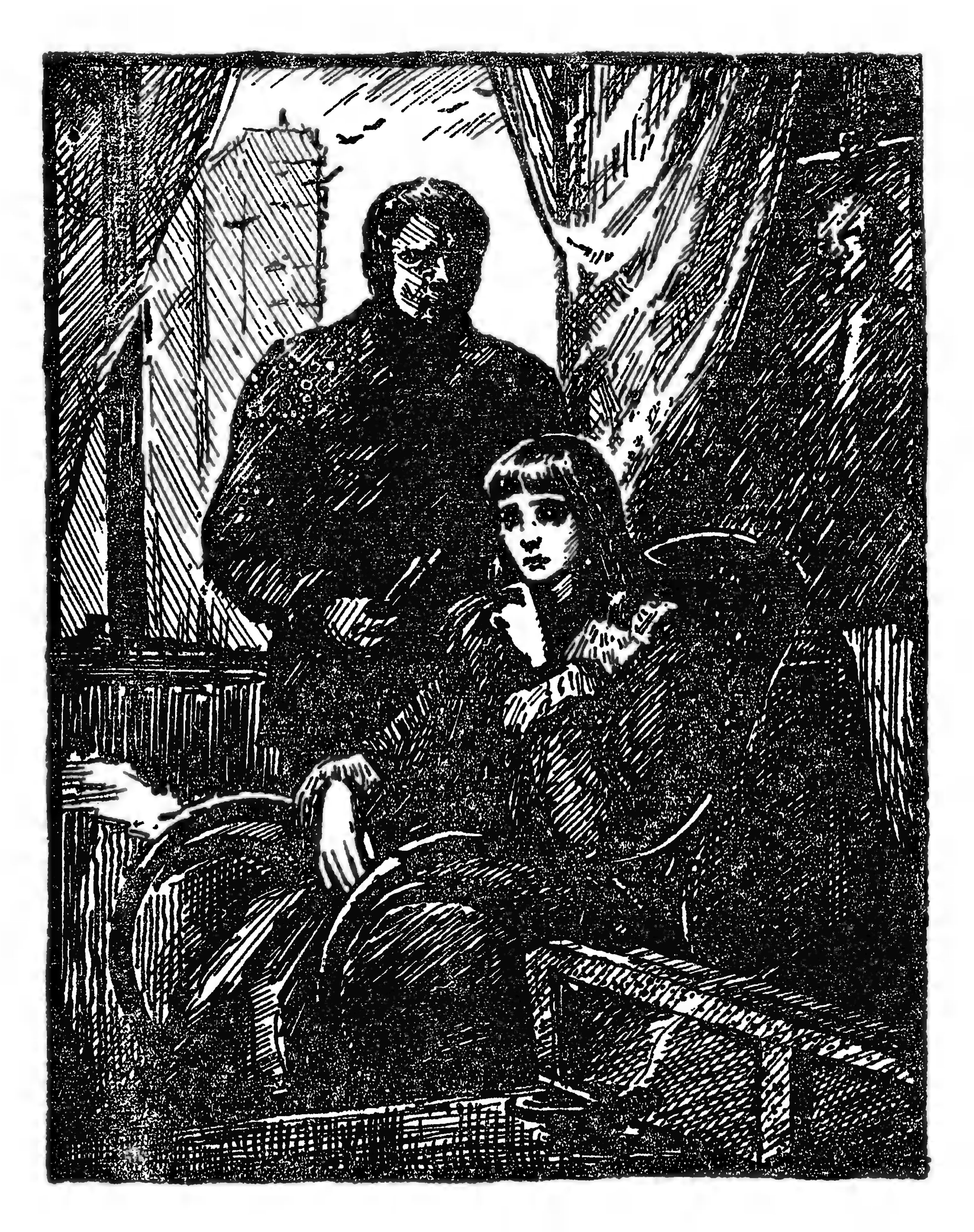
— Я не знаю, что со мной будет. Вот и все.

— То есть? Я не понял, дочь,— сказал встревоженно Васильев, но тотчас спохватился и заговорил успокоительно-ровно: — Пожалуй, довольно ясно, что может быть с тобой в течение этой пятилетки. Кончишь свой актерский, начнешь сниматься, выйдешь замуж...

— Оставь, папа! — брезгливо проговорила Виктория и скривила брови.— За кого замуж? Зачем? Дикий хохот какой-то! За этих длинноволосых сопляков или за этих отутюженных домашних мальчиков в заграничных галстуках, которые мечтают только о карьере? Почему-то большинство из них учится в дипломатическом. Смешно! Пусто вокруг, папа, пустынно, сморчки какие-то, плечики узенькие, ножки тоненькие, глазки сладенькие... Современные гусары, кавалергарды, обеспеченные женихи! О, гадость! Кстати, знаешь, шалопай Светозаров сделал мне вчера что-то вроде предложения, па! И на полном серьезе. Конечно, он болтун, балбес, сквозняк в голове и, кажется, два или четыре раза женат, наплодил целый десяток детей... даже не помнит их имена! — Виктория внезапно захохотала, качнулась в кресле, блуждающе глядя в потолок.— О, шалопай, шалопай! Но с ним легко, бездумно, он лжет и говорит, что лжет! Он такой воздушный шарик в праздничный день. Вернее — легкомысленный авантюрист возле бабьих юбок. Смешение наигранного сю-сю и лирического трепача в компаниях.

— И что же ты ответила? — спросил Васильев.

— Что я ему ответила? Я спросила его, не хочет ли



он хорошо пожить на денежки моего папы, известного художника Васильева. И представь — он не обиделся: «А что? Почему бы и нет?» Я сказала ему, что серьезно подумаю, взвешу все «за» и все «против», скрупулезно подсчитаю количество его бывших жен и детей, чтобы знать, на кого же я меняю дорогую свободу...

Сначала она говорила это живо и размеренно качалась в кресле, забавляясь собственным рассказом, потом оживление сошло с ее задумавшегося лица, сменилось

гримасой насмешливого презрения, и она умолкла, раскачиваясь все медленнее и медленнее.

— Как это мелко и мерзко, па! — сказала она исполненным глубокого отвращения голосом.— И как все пошло и неинтересно в этой дурацкой любви! Представляешь, сейчас глупые девицы выходят замуж из-за престижа. Боже, спаси меня от дураков-женихов, которых я ненавижу!

Он знал, что никакими словами не сможет помочь своей двадцатилетней дочери смягчить безразличную и холодную ожесточенность, и ее холодок проникал в душу его, и любовь к дочери становилась тем обостреннее, чем больше он чувствовал ее отчужденность от сверстников, которые, как это ни странно, постоянно крутились вокруг нее.

— Ты не преувеличиваешь страсти-мордасти? — проговорил Васильев не очень серьезным тоном, хотя понимал, что повода для шутки не было.— Может, не стоит ничего осложнять? Жизнь сама по себе есть жизнь, и особенно в твоем возрасте — прекрасна...

Равномерно поскрипывая качалкой, Виктория попрежнему смотрела в потолок, а темно-серые, пронизанные солнцем глаза ее были далеко в запредельном пространстве, и чуточку была выгнута назад слабая тонкая шея — поза равнодушия, усталости, загадочной отстраненности — и все было в ней знакомое, родственное, взятое у Марии поры довоенной юности, и одновременно хрупкое, жалкое, беззащитное перед всем миром.

— Боже, спаси меня,— повторила Виктория и перевела дыхание, точно на самом деле молилась исступленно.— Па, тебе никогда не бывает не по себе от людей? — спросила она шепотом, не поворачивая к нему головы.— Понятно, тебя спасает твоя профессия, ты должен любить всех. А я не могу. И так бывает тяжело, па. И так иногда невыносимо вставать утром.

По ее лицу ходили смутные тени, и он помолчал, зная, о чем она думает, затем с неловкой легковесностью сказал:

— Есть в твоем возрасте одно прекрасное средство, дочь моя. Это жить, как подсказывает биологический закон...

Она взглянула вопросительно.

— Я не сообразила, па. Что значит биологический закон?

— Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет.

— Твой любимый Гете, что ли? — Виктория презрительно повела плечом.— Древо? Пышно зеленеет? Он лжет, твой великий поэт,— сказала она непреклонно.— А если и не очень лжет, то пышное дерево цвело когда-то, в девятнадцатом веке, а сейчас его срубили на лесозаготовках для выполнения плана.— Она перестала раскачиваться в кресле, брови ее подрагивали как от смеха.— Ты не заметил, как люди пытаются красиво говорить? Не обратил внимания? А я знаю для чего. Чтобы замаскироваться как следует. И вот ты тоже, так называемый прогрессивный художник, а такую новогоднюю елочную игрушку подарил мне для забавы: «а древо жизни пышно зеленеет». Ну зачем, добрый па, смысл какой?

— Что бы мы ни говорили с тобой, Вика,— сказал Васильев,— а вся наша жизнь — любопытная штука, и молодость — чудесный подарок, который, к сожалению, быстро отбирает время. У тебя этот подарок пока есть — и прочь всякое самоедство! Именно так, Ви! Именно здесь смысл биологического закона.

— Да здравствует биозакон в обстановке трудового и идейного подъема, претворяющий в жизнь предначертания,— сказала Виктория и даже шмыгнула носом, выразив восторг тупого лекторского самодовольства.— Бурная овация — и дальше. Гуси, гуси, га, га, га... Есть хотите? Да, да, да. Ну, летите! Нам нельзя, серый волк под горой... Глупость! Нам не страшен серый волк! — воскликнула Виктория с передразнивающим победоносным восторгом и легко вскочила, остановив качалку, запахивая дубленку, как если бы счастливо, благополучно кончилось все.— Будем воспринимать жизнь, смеясь!

И она, смеясь, приблизилась к зеркалу, старому, пожелтевшему, из которого извергался снежный свет солнечного февральского дня, стала рассматривать свое лицо, капризно морща переносицу, затем, разглаживая мизинцем брови, спросила превесело:

— Па, ты не ждешь гостей?

— Нет.

— К тебе никто не должен приехать?

— Никто. Почему ты спрашиваешь?

Она потрогала мочки ушей, где серебристо поблескивали серьги.

— Па, можно тебя ограбить? Ты понимаешь, о чем я говорю, и если у тебя нет, то так и пойму: нет. Я не обижусь и доживу до стипендии... хотя то, что я видела, стоит пять моих стипендий. Баловство, разврат, антипедагогично, порча молодого поколения. А... можно, а?

— Какова причина ограбления? — спросил Васильев, вытер тряпкой руки, открыл дверцу тумбочки и выдвинул ящик, где лежали деньги.— Не секрет, Вика?

— Серьги. С великолепными изумрудиками на висюльках. Впрочем, нет, не надо. Они не очень хорошие. Просто они даже безвкусные, невероятно глупые, и все комодообразные бабы, мещанские каракатицы, будут останавливать меня на улице и спрашивать, где я купила. О, гадость какая!..

Она повернулась от зеркала с брезгливым сопротивлением, но снова заулыбалась настречу озадаченному взгляду Васильева, не совсем прочно задвинувшего ящик в тумбочке, и быстро приблизилась к нему и не поцеловала, а коснулась кончиком носа его щеки, говоря:

— Па, немножко помни о нас. Мы не такие уж плохие и не такие уж хорошие, но все-таки женщины, а ты у нас один. Пока!

Уже в тот момент, когда Виктория направилась к двери, зазвонил телефон, она оглянулась на отца, с озорной решимостью спрашивая его поднятыми бровями: «Помочь, а?» — и сняла трубку, произнесла не без манерной протяжности: «Да-а»,— и после минутной паузы, наслаждаясь некой разыгрываемой ролью, заговорила тоном неприступного высокомерия:

— Вы ошиблись: Вики нет дома. Есть Виктория, точнее — Виктория Владимировна. Пожалуйста. Я принимаю ваши извинения и прошу в следующий раз не называть так. Насколько мне известно, вика — какая-то трава, как клевер, или какой-то горох, известно вам это? Я сказала, что принимаю ваши рыцарские извинения. Нет, его нет в мастерской, он вышел. Когда будет, не знаю. А что ему передать? Кто звонил? Ах, еще позвоните? Всего хорошего.

Она положила трубку, мимолетно сказала:

— Не назвался. Но, по-моему, Колицын. Жирный голос преуспевающего солиста оперного театра. Наверняка ты ему нужен.— Она заулыбалась, прощально помахала пальцами.— Па, не забывай нас! Я пошла.

«Я не хочу никого видеть в этом гадком мире!» —

вспомнил он рыдающий вскрик дочери во время болезни два года назад, но вспомнил без прежней остроты, с притупившейся болью, когда стук сапожек Виктории замолк в коридоре, и подумал, что она дерзкой, наигранной легкостью отстраняет, заглушает в себе то, полностью незарубцевавшееся, и что им тоже не забыто потрясшее его тогда отчаяние больной дочери, которую он до той болезни, казалось, не знал, считая ее милым ребенком, проявляющим почасту взрослость.

Потом Васильев ходил по мастерской и сбоку смотрел на незаконченный портрет Щеглова, неточный в переходах, чересчур нервных, жестких, торопливых, и, неудовлетворенный, совершенно недовольный сегодняшним утром, вновь возвращался мыслями к Марии, к Виктории, и не покидала его, тихо тревожа, душевная расслабленность, словно непреодоленная давняя вина, что время от времени стало повторяться с ним в последние годы, когда он утомлялся от работы и бывал один.

Телефонный звонок второй раз раздробил безмолвие мастерской, задребезжал неумолимо, и Васильев в нерешительности, с внутренней дрожью усталости, ожидая и почему-то опасаясь услышать голос Марии, снял трубку, сказал невнятно: «Ты, Маша?» Но в трубке прозвучал бархатисто-сочный баритон, приятно вибрируя и перекатывая слова, укутанные в удобные одежды:

— Владимир Алексеевич, дорогой Володя, я прошу у тебя прощения за то, что врываюсь с утра в часы работы. Олег Колицын говорит («Вика угадала — это он. И звонит уже несколько раз? Что ему?»), Владимир, дорогой, я тогда ночью побеспокоил тебя, был переутомлен, как собака, возбужден, взвинчен до идиотизма, так что не попомни зла, великодушно прости! А если что из ряда вон наерундил, хочешь, на колени стану, прощения всенародно попрошу? — Он засмеялся полнозвучным смехом незлопамятного, широкого, расположенного к самонаказанию человека, и Васильев подумал, что он действительно ничего не хочет помнить о ночном приходе Колицына и разговоре между ними.— Ты в другой раз, Владимир, просто взашей выгоняй надоедливых посетителей, когда спать надо, а не языком работать. А звоню я по делу к тебе, Володя, по убедительной просьбе нашей иностранной комиссии... Не сможешь ли одного иностранца принять, который весьма рвется к тебе? Вернее, так: это одиночный турист, итальянец, а точ-

нее — выходец из России, русский по национальности. Не пугайся, не пугайся... Причина посещения: он видел твою выставку в Риме и Венеции и хочет побывать у тебя в мастерской, если, разумеется, дашь согласие. Ради всех святых, Володя, найди время для него, ибо не я прошу...

Васильев не слышал больше ни слова; баритон Колицына сразу потерял свои многослойные цветовые окраски, насыщенность звуковыми соками, слился в серую волнообразную полосу, и сквозь зыбкое колебание его потерявшего плоть и смысл голоса возникало пока еще не очень четкое и не очень определенное понимание того, что свидания с ним, очевидно, ищет приехавший в Москву Илья Рамзин, в чем Васильев уже не мог сомневаться, хотя невероятно было убедительно представить реальную возможность его туристского приезда, получение визы, наконец, разрешение МИДа на въезд в страну русского человека, не вернувшегося в сорок пятом году из плена на родину... После прошлогодней венецианской встречи с Ильей Васильев на приеме у советского посла в Риме, говоря о впечатлениях поездки, не твердо и не совсем настойчиво все же передал просьбу о визе бывшего своего друга детства, негаданно обнаруженного в живых на заграничной земле, в туманной осенней Италии, что походило и тогда и теперь на сон, на наваждение воспаленного воображения. И Васильев, неясно слыша уплывающий в трубке баритон Колицына, переспросил хрипло:

— Кто он, ты сказал — итальянец? Русского происхождения? Его фамилия Рамзин?

И голос невидимого Колицына набрал в трубке полную сочность красок, обрадованный этому вопросу:

— Да, да, да! Синьор Рамзин. Имя и отчество — Илья Петрович. Что, ты с ним знаком разве?

— Какое это имеет значение,— ответил Васильев, весь в испарине волнения, испытывая желание сесть, обессиленно откинуться в кресле с закрытыми глазами, вспомнить прошлогодний разговор во время завтрака в венецианском отеле солнечным октябрьским утром, которое невероятно тоненькой, шаткой, провисшей над провалом жердочкой соединялось с другим утром, летним, жарким, украинским утром сорок третьего года, когда началось все, не предвиденное ни Ильей, ни им...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На опушке соснового бора они сели на теплые корневища, расстегнули воротники гимнастерок, с наслаждением вдыхая свежую струю прохлады, овеявшей их снизу, от ручья, который был виден впереди вдоль железнодорожной насыпи. Справа пустынно белела песчаная дорога, подымалась из низины к полуразрушенному деревянному мосту, обрываясь на том берегу, где торчал на переезде полосатый шлагбаум, а слева, под насыпью, накаленной зноем, виднелся конек крыши и густо зеленел, пестрел сетчатыми тенями на траве чей-то разросшийся до самой воды сад.

— А дальше вроде нейтралка начинается,— сказал бодро сержант Шапкин и, прислонясь к сосне, пилоткой, как веером, помахал перед распаренным лицом.— Вчерась в данном районе два пехотинца были. С «максимкой» сидели, а более никого на железной дороге. Ни наших, ни ваших. Да вон она, только наша артиллерия родимая! — сказал он и, развеселившись, мотнул головой вправо: там на опушке бора бугрились свежие навалы песка.— А пехтуру лешие съели! Смехи! Артиллерия стоит заместо пехоты!..

«А что это Шапкин веселится? — подумал Владимир и покосился на Илью.— Что он нашел смешного в отсутствии пехоты?»

Илья сидел на корневищах, сдвинув назад пилотку со смоляных, слипшихся на лбу волос, смотрел на железнодорожную насыпь, на песчаную дорогу возле моста, и глаза его суживались с выражением интереса предполагаемого риска, которого можно было ждать здесь.

— Если немцы остались на насыпи,— сказал Илья,— то где-то сидят и снайперы. Значит, ручей, сад, железная дорога — вся эта нейтралка может простреливаться, так я понимаю, Володька? Карта в этом случае ни хрена не объяснит. Пошли к орудию. Проверим. И оттуда посмотрим, что и как.

Он быстро встал, и следом за ним споро поднялся Шапкин, в немецких сапогах, в щегольских немецких галифе с выпуклым кантом, весь ловкий, крепенький, как грибок, своими голубыми глазами, молодеческой походкой создающий впечатление азарта беспроигрышной игры, где нет ни смерти, ни страха, а есть одно: бедовое и жестокое пренебрежение жизнью. Эта игра

на виду у всех раздражала Владимира, однако ему нравилась живость Шапкина, его легкоподъемный нрав, бесцеремонное мальчишеское тщеславие. Он заслуженно получал награды после каждого боя и, круто выпячивая грудь, которая звенела, переливалась, золотилась, говорил, посмеиваясь, что вернется с войны в Осташков, наденет «боевые медяшки», пройдется по улице, все девки с разинутыми ртами из окон на мостовую попадают. Он не скрывал и того, что при случае (если повезет, конечно) заработает и Звездочку, и раз в присутствии Владимира спросил Илью, имеет ли право кто из офицеров представить его к Герою по кровью заслуженному делу.

И все-таки Владимир недолюбливал его за шумливость, за громкий голос, за немецкую губную гармошку, отделанную серебром, на которой сержант Шапкин не умел играть (только посвистывал и гудел), но постоянно носил в нагрудном кармане напоказ, и выправкой, и походкой изображая ко всему годного парня. И сейчас, когда Шапкин лихим манером поднялся за Ильей и зазвенели ожившим золотом его ордена, Владимир подумал, что здесь, на нейтральной полосе, сержант играет перед офицерами полное бесстрашие, и сказал недовольно:

— Вот лупанет снайпер с насыпи по вашему иконостасу, тогда будете знать. Не понимаю, почему ордена не сняли? Кажется, девки из окон не глазеют!

— Да ни бум-бум со мной не будет! — азартно отозвался Шапкин, точно приглашая к очередной забаве.— Не-е, не стреляют тут живые фрицы. Я вчерась вечером кое-что вынюхал. Откуда ж, вы думаете, помидоры приволок я? С базара? Да не-е, вон с тех огородов. Видите, на том бережку, где сад кончается? Я аж туда ползал — через ручей вброд и достиг туда. А пехота... их там ноль целых ноль десятых, два ручных пулемета на всякий случай...

— Ну, молодец, Шапкин,— сказал Илья с суховатой одобрительностью.— Так веди к своему орудию, Васильев. Что остановились?

Был уже знойный полдень, и обдувал лица жаркий воздух, напитанный млеющей хвоей, разогретой смолой, речным запахом песка, и странно было — на той стороне неугомонно трещали в траве кузнечики, и весь сад, облитый украинским солнцем, объятый полуденной ленью,

слепя пыльной листвой тополей у плетня, тоже был переполнен их горячим звоном.

— Кого еще сатана прет? — вполголоса окликнули из окопа на бугре вблизи опушки леса, и нехотя высунулась и исчезла голова из-за бруствера.— Ежели свои, так мотай мимо. Делать у нас нечего. Ежели чужие — по табакерке пальну. Без документу останешься. Ясно, нет?

— Ты, Лазарев? А это я, кореш! С офицерами иду! — крикнул с озорством Шапкин, выскакивая вперед, и заговорил, похохатывая: — Чего ты, Лазарев, палить собрался по своим? Шнапсу опились, никак?

— Ладно болтать-то, ежовая задница. Прыгай в ход сообщения, ежели сюда офицеров ведешь!

Здесь, на бугре, был недавно вырыт мелкий ход сообщения, начинавшийся из леса, и по этому ходу они вошли в прохладный песчаный орудийный окоп, где двое артиллеристов лежали на животах меж станин, возле котелка, набитого доверху свежими медовыми сотами, и, видимо, поздно завтракали или рано обедали. На расстеленной плащ-палатке грудой навалены лоснящиеся на солнце красные помидоры, молоденькие пупырчатые огурцы, лиловые головки мака, рядом стоял плоский котелок с водой.

— Где остальные? — спросил Владимир, удивленный безлюдьем на орудийной площадке.

Командир отделения разведки старшина Лазарев, крупный, щекастый мужчина, обросший светлой щетиной, с крутым вырезом злых ноздрей, окинул взглядом из-за плеча подошедших, однако не подумал встать (как положено по уставу приветствовать офицеров), а лежа пробасил по-медвежьи утробно:

— Спят после кавардака вчерашнего. Очухиваются, русский, немец и поляк танцевали краковяк... Проходи, офицеры, садись с нами пожрать.

— Небось медок в сотах никто из вас в жизни на язык не пробовал? — угодливо спросил замковый Калинкин, узкий в кости, жилистый, тоже обросший, с голой худой шеей, всегда вытянутой из пропотелого воротника гимнастерки.— Берите соты, огурцами закусывайте. Угощайтесь, товарищи лейтенанты, пока мы богаты. А то одни воспоминания останутся.

И он вытянул из котелка золотисто-желтую пластинку, истекающую медом, откусил половину, принялся с

причмокиваньем жевать, сосать ее; янтарные капли отрывались от сотов, скатывались по его грязной волосатой кисти в засаленный рукав, а он почему-то не замечал эту вяжущую липкость, эту клейкую щекотку на запястье.

— Откуда продуктовые запасы? — поинтересовался Илья и вместе с Шапкиным нестеснительно выбрал в котелке внушительный кусок и, наклоняясь, чтобы не закапать гимнастерку, начал аппетитно обсасывать медовую вафлю, глядя на Лазарева.— Пасеку раскурочили или немцы на парашютах подбрасывают? — спросил он насмешливо.— Или родная кухня медом снабжает?

— Глянь, лейтенант,— сказал старшина Лазарев лениво.— Мы ребята ежики, в голенищах ножики. Во-он, на ту сторону, глянь, лейтенант. Видишь крышу под железом? И сад видишь?

— Положим. А дальше?

— А дальше плечи не пускают, лейтенант, голову просунул, а плечи — никак,— едко ответил корявым басом Лазарев.— Вон там, на нейтралке, наша продуктовая база. Раскумекал?

— На той стороне ручья боя не было,— вставил Владимир.— И огонь туда мы не вели.

Только сейчас стали видны за изгородью тополей, среди зелени сада, скат железной крыши, отблескивающей на солнце, побеленная стена дома, испещренная тенями яблонь, увитая около крыльца плющом,— и непознанным чужим уютом потянуло оттуда, будто прогретым воздухом.

— Кто в доме? — спросил Илья, держа на отлете медовую вафлю.— Немцев, полагаю, там нет, если вы за трофеями туда ползаете? Тогда где немцы? За насыпью?

— А ты у связиста узнай,— вдруг зло округлил ноздри Лазарев и обернулся к Шапкину, который с упоением вонзался зубами в мякоть переспелого помидора.— Он промышлял на нейтралке самолично. Он тебе и расскажет по уставу.

— По уставу это должен знать командир отделения разведки,— сказал Илья холодно.— Поэтому и задаю вопрос.

— Некому мне на вопросы отвечать! — проговорил Лазарев и передернул крутыми ноздрями.— Нету их, кому я отвечал. Закопали их позавчерась.

— Чего окрысился, старшина? — ухмыльнулся при-

миритально Шапкин и взял второй помидор.— Тебя как человека спрашивают, чудила, новый год!

Он вожделенно впился ртом в помидор, сок брызнул ему на грудь, и он, вытирая рукавом звякнувшие ордена, дожевывая, заговорил охотно:

— Немцев там нету. В доме — никого живого, товарищ лейтенант. Когда переполз я туда и первым делом в хату заглянул — все чисто, чин-чинарем, мебель на местах, рушники висят, а ни одной живой души. Видать, убегли куда, когда вокруг стрелять начали. Так предполагаю.

— Так, да не так,— не согласился Лазарев.— В доме баба есть.

— Ишь ты! Не заметил я! — воскликнул Шапкин, намекающе поиграв голубыми глазами.— Молодая?

— А тебе зачем? Чего возрадовался, как телок? — охладил его Лазарев.— Гляжу — не зря мешок орденов и железок нахватал! Ерой ты на баб у нас, сержант, ерой...

— Ты мои ордена не трогай, урка ноздрятый!..— выговорил Шапкин, и лицо его разом подтянулось, а уши прижались, как у хищника перед прыжком — Охренел, что ль? Ты, разведчик, нас, связистов, не цепляй, а то мне и штрафная не страшна... Понял?

— Я-то все давно понял. Когда ты голым пупком по занозам на полу елозил.

— А вы не очень пьяны, Лазарев? — суровым голосом одернул Владимир старшину и хмуро сказал Илье: — С кухней вчера ночью канистру водки привезли на весь взвод, а потери какие, знаешь...

Лазарев макнул огурец в вытекший из сотов мед в котелке, откусил половину огурца, лениво задвигал челюстями, с невозмутимостью самоуверенного человека подмаргивая Илье:

— Во-во! На взвод привезли, а одному орудию досталось. Чем не жизнь — рай и малина! Два месяца наступаем, кровью умываемся, «уря», «уря» шумим, потом водку за мертвецов пьем. Калинкин, кому говорю! — крикнул он зычно. — Плесни-ка из канистры офицерам, а то уж больно нервничают, об немцах очень беспокоятся! Где, мол, они? А то скучно без них вроде!

— Плескать нет смысла. Не буду. Ох уж эти ребята ежики,— сказал Илья, вглядываясь в сад на том берегу, и спросил невнимательно: — Вот именно, где они?

— Сейчас их увидишь, лейтенант! Смотри в левый край сада!

— Как это понимать, старшина?

— Смотри, говорю, смотри!

— Еще долго будет продолжаться болтовня, Лазарев? Мне уже надоело,— проговорил Илья, задетый грубоватым самоуверенным тоном командира отделения разведки, и повторил сухо: — Я спрашиваю — еще долго?

— Болтаю не я, дурак болтает. Говорю — перемирие у нас с немцем,— мертвым голосом отрезал Лазарев, но тут же глянул на трофейные ручные часы и, не дожевав огурец, кинул огрызок под ноги.— Смотри, говорю, сейчас фрицы выползать будут. Их время.

Он тяжело поднял свое грузное сильное тело, встал вплотную к Илье, весь неуклюжий, пропахший порохом, крепким потом, и ткнул пальцем в направлении левой окраины сада:

— Вон там, за кустами малины, помидоры, огурцы и бахча кавунов малая есть. Там и пасемся. Мы — до обеда, фрицы — после обеда. Да, вон, вон, пополз один с насыпи... Глянь-ка, лейтенант!

Летний покой — без ракет ночью и дежурных выстрелов днем — нерушимо стоял здесь с позавчерашнего вечера, после того как в сумерках немцы наконец отошли, замолк бой и похоронили убитых. А сейчас сказочная благость июльской жары, треск кузнечиков, запах теплой травы, прохлада песка, зелень яблоневого сада отодвинули войну, немцев, бой, вчерашнюю вонь тола, гибель второго орудия, отодвинули за тридевять земель,— и когда Владимир увидел какое-то неясное шевеление среди густых теней в кустах малины на левом краю сада, куда ткнул пальцем Лазарев, он не только не придал серьезного значения его словам, но подумал, что над ним, командиром взвода, и над назначенным сегодня на должность командира батареи Ильей недобро смеются, и он спросил строго Лазарева:

— Что за перемирие? Что за чушь такая?

— Да-а, у тебя весельчаки собрались, Васильев,— сказал Илья.— От смеха умереть можно. Перемирие, значит, устроили? Они у тебя всегда так? Командира отделения разведки ты специально для смеха в свой взвод пригласил? Почему старшина торчит у твоего орудия?

Владимир молчал, внезапно ударенный болью, темным туманом поднявшейся к глазам, почувствовал тошное потягивание, головокружение, шум в ушах, и все зыбко поплыло перед ним. Он отвалился назад на снарядном ящике, приник спиной и затылком к земляной стене орудийного окопа, надеясь, что прикосновением земли охладит, растворит тошнотворную боль, которая мучила его после позавчерашней контузии. В эти приступы головокружения его малярийно трясло, стучали зубы, и он не знал, как согреть холодеющие пальцы с мертвецки посинелыми ногтями.

«Нет, нет, это не контузия, я просто отравился помидорами»,— думал Владимир, морщась при воспоминании, как вчера днем в наступившем затишье всем расчетом объедались до отвращения помидорами, принесенными в вещмешках из-за ручья Лазаревым, как позже он начал немецким штыком разрезать на снарядном ящике два испачканных землей, прокаленных солнцем мелких арбуза и на расстеленный брезент, на сапоги старшины брызнули семечки, скользкие красные куски мякоти. Эта распоротая внутренность арбузов показалась омерзительно липкой, соленой, как кровь, а немецкий штык, затупленный, грязный, тоже ржаво чернел старой, запекшейся в желобке кровью. И тут впервые после контузии Владимира вытошнило надрывно и тяжко, и приступами стала раскалываться голова болью, заставившей его сегодня на рассвете отправиться в ближние тылы на поиск санроты, так им и не найденной. Но вернулся он на передовую уже вместе с Ильей, которого назначили на должность убитого в позавчерашнем бою комбата.

— А, Васильев? Что скажешь? Пока ты в тылы ходил, ребятки развернулись! Так кто перемирие установил? Господь бог, командующий фронтом или же твой взвод? — проговорил Илья с насмешкой и, не заметив в зрачках Владимира узенького лезвия заострявшейся боли, с недоверием пристально следил за покачиваньем кустов малины на краю сада, возле ската к ручью, где за яблонями круглились между листьями полосатые тела арбузов.

И Владимир через силу посмотрел туда, испытывая от припекающего солнца резь в надбровьях, звон в ушах, и арбузы на бахче вдруг ясно представились ему маленькими зебрами, истомленными зноем, устало лежащими под деревьями, что нависали наподобие низких

пальм с красными плодами. «Нет, мне не по себе». Он чувствовал, как накалило солнцем голову и остро нажгло сквозь гимнастерку спину, не охлажденную землей, как необоримо бил его озноб, соединяясь с колючим жаром, и не было у него воли справиться с дрожью зубов. «Что же со мной такое, я упаду сейчас?» — подумал Владимир и встал с дурманной неустойчивостью, шагнул к брустверу, упал локтями на бровку, пытаясь наблюдать рядом с Ильей. Но зеркальные вспышки облитой солнцем листвы, движение солнечных бликов в траве под яблонями ослепляли его горячей яркостью. Он не очень отчетливо видел то, что возбуждало внимание Ильи, и, потерев заломившие глаза, наконец освободил из футляра бинокль. И тотчас неправдоподобно приблизились кусты малины и чье-то молодое, совсем мальчишечье лицо с еле обозначенными полоской усиками, поднятое к этим кустам, наивно и смешно вытянутые губы, измазанные соком, мягко хватающие крупные ягоды, сочные, спелые, упруго налитые сладкой ароматной влагой, и были странно радостными слегка прижмуренные в потоке солнечных лучиков глаза этого мальчика-немца, завиток волос, прилипших к потному лбу. В благостном изнеможении он лежал на земле под кустами, в жаркой недвижной духоте малинника, и зеленый мундир был до ремня расстегнут, его пилотка, наполненная с верхом ягодами, лодочкой стояла в траве, и, наслаждаясь затишьем, золотым днем, безопасностью, он лакомился и ласковым вытягиванием своих улыбающихся губ будто играл с нависшими над его лицом ягодами. И в сознании Владимира на минуту возникла неведомая пахнущая лавандой Германия, некий островерхий чистый домик в саду с подстриженной травкой, желтый песок на ровных дорожках и здесь же немецкий мальчик, в белых чулочках, в белой панамке... Где он видел это? На фотографиях, найденных в документах убитых?

Все было до отчетливых подробностей различимо в бинокль, и так близко было лицо немца, капельки пота на лбу, незагорелая шея, открытая распахнутым воротником мундира, что почудилось, случайно обнажена была часть чужой жизни и чужое забвение. Но в безобидной его забаве, его мальчишеском удовольствии, его радостной ловле улыбающимся ртом спелых ягод представлялось одновременно и что-то запрещенное, непозволенное, чего не хотелось видеть сейчас.

— Пасется себе, как теленочек! Ах ты, сволочь милая,— жестко сказал Илья, вероятно, хорошо разглядев немца под кустами малины и полоснув опасной чернотой глаз по невозмутимой спине Лазарева, приказал негромко: — Шапкин, дайте-ка мне свой карабин! Разрывными заряжен?

— Завсегда разрывными. У пули головка красненьким покрашена,— чересчур браво отозвался Шапкин и, качнув округлыми плечами, подскочил к Илье, выкинул в руке новенький немецкий карабин, с которым никогда не расставался и обычно носил его на ремне, стволом вниз.

— Ползаешь там и пасешься? Ах ты, сволочь милая,— повторил Илья и, точно леденея смуглым лицом, взял карабин на изготовку, упер раздвинутые локти в покрытую дерном бровку бруствера, прицелился, вжав выбритую щеку в полированную ложу.

Никто не успел ничего сказать ему, никто не успел остановить его — громом рванул тишину, прокатился выстрел, эхом сорвался по лесам окрест, и в то же время немец испуганно вздернулся, непонимающе озираясь, суматошно застегивая мундир, затем схватил с земли наполненную малиной пилотку, плоский котелок с помидорами, оказавшийся у него под боком, и осторожно, на коленях стал отползать назад, исчез на несколько секунд за кустами малины и внезапно стремительно выбежал из-под крайних тополей сада, бросился вверх по крутой солнечной насыпи, загребая, оскальзываясь по песку сапогами, в одной руке держа пилотку, наполненную малиной, в другой алюминиевый котелок с помидорами. И тотчас вторично треснул над ухом выстрел, ударил в нос вонью пороха, и немец на насыпи странно подпрыгнул, качнулся назад, вскинул руки, точно в ужасе хватаясь за голову, за растрепанные светлые волосы. Выпущенный котелок покатился вниз по насыпи, рассыпая помидоры, пилотка с малиной шлепнулась в песок, и, зачем-то повернувшись обезображенным страхом лицом в сторону выстрела, он, спотыкаясь при каждом шаге, побежал обратно, в сад, и там под крайними тополями упал, зарылся лицом в траву, плечи его дергались, похоже, от рыданий, и было страшно видеть, как белокурые волосы его и трава вокруг начали отблескивать красными жирными пятнами на палящем солнце.

— Готов фрицевский птенчик!..

Илья отбросил на бруствер карабин, гневно глянул на Шапкина, сказавшего эту фразу, потом наткнулся на растерянный взгляд Владимира, на угрюмо сверлящие стальными буравчиками глазки Лазарева и сел с выказанной непоколебимостью на снарядный ящик при всеобщем молчании, тонкая смуглость сходила с его щек.

— Из-за помидорного дерьма устроили перемирие с немцами? — проговорил Илья тугим голосом.— Забыли, как позавчера половину вашего взвода хоронили? Забыли братскую могилу вот за этим лесом? Хороши у тебя ежики, Васильев! За жратву маму родную продадут! Дерьма такого не видели?..

Он выругался и, выхватив из котелка лоснящийся упругой плотью помидор, неизвестно зачем с размаху влепил его в песчаную стену снарядной ниши. Помидор расплылся по стене красным месивом, стекая мякотью на дощатую крышку ящика, и опять тошнота подкатила к горлу Владимира. Он успел выбежать из орудийного дворика, а на опушке рвота и кашель заставили его схватиться за ствол сосны, он долго мучился, едва не плача в бессилии, его душило отвращение перед чем-то густым, красным, жирно поблескивающим там, в саду, под тополями, и здесь, на стене ниши, на досках снарядного ящика.

В тот же миг гулкий вихрь пронесся над головой, обесцвеченные солнцем молнии просверкали возле орудия, пули звонко и сочно защелкали вблизи, сбитая хвоя посыпалась на пилотку Владимира. Вытирая губы, слезы на глазах, он кинулся обратно к огневой позиции, еще не сообразив, откуда дал очередь по орудию немецкий крупнокалиберный пулемет.

Все на огневой позиции смотрели в одном направлении, где слева за железнодорожной насыпью продолжался лес, где издали светились коричневые стволы сосен и ослепительно синело небо меж кронами. Но всюду стояла звенящая кузнечиками тишина. И непонятно было, откуда стрелял пулемет,— не могли же привидеться Владимиру оранжевые трассы, этот гулкий грохот крупнокалиберных очередей в ответ на два выстрела из карабина. «Мне надо выспаться, все смешалось у меня в голове, бред какой-то...»

— Теперь ясно, где немцы окопались! Но мне не ясно, почему братание с ними устроили! — заговорил Илья

непререкаемым тоном.— Впереди нашей пехоты нет, а вы, как вижу, хорошо, ребята, живете!

— Зачем стрелял, лейтенант? — скучно спросил Лазарев, и его щекастое лицо угрожающе закаменело.

— Дальше, старшина,— Илья неторопливо поставил ногу в брезентовом сапожке на снарядный ящик, медленно оглядывая железнодорожную насыпь.— Продолжайте, я слушаю, старшина.

— Зачем ни с того ни с сего ты нашу обстановку нарушил? — раздувая ноздри, повторил Лазарев.— У тебя подчиненный взвод есть, там и фордыбачь. Чуешь? Никто тебя сюда не звал, лейтенант.

Он не повышал голоса, но взгляд его стал свинцовым, остановленный на брезентовом сапожке Ильи, ладно сидящем на ноге (сапожки эти были выменяны на трофейный «парабеллум» у интендантов в тылах стрелкового полка), и Владимир тоже увидел поставленный на снарядный ящик узкий сапожок, аккуратный на вид, немного облепленный сбоку песком и хвоей. Еще в артучилище и здесь, в полку, Илья по-особому тщательно носил новую форму, полевые погоны, подшивал к гимнастерке непонятно где раздобытый целлулоидный подворотничок (мечта всех молодых офицеров), и форма шла ему, гладко, без складок облегала его плечи и сильную грудь, перетянутую портупеей, продетой под свежевыстиранный или извоженный землей погон, а этот сапожок, уверенно поставленный на снарядный ящик, подчеркивал вроде бы его независимую и легкую силу, так раздражавшую, наверное, Лазарева, взбешенного этими неожиданными выстрелами Ильи, разом нарушившими безмятежный покой около орудия.

— Сапожки нафигарил на ходули и думаешь, лейтенант, все перед тобой в батарее на задних лапках ходить будут? — выговорил Лазарев, и кругло набухли жилы на его толстой широкой шее.— Подмять нас дисциплинкой хочешь, лейтенант? Кишки через нос потянуть, чтоб издали боялись? — проговорил Лазарев с задушливым хохотком.— Ты меня плохо знаешь, в разных взводах были, а ты хоть офицер, а я невзначай обидеть шибко могу, ежели меня к земле ногтем давят! Понял?

— Обидеть? Шибко? Меня? За что? Ах ты, глупец, Лазарев! Ну, здравствуй, если ты такой нервный! Давай пять, чего смотришь! — сказал несколько недоуменно Илья, обнажая ровные зубы холодной улыбкой, и, не

убрав брезентового сапожка со снарядного ящика, протянул старшине руку.— Здравствуй, уважаемый, здравствуй!..

— Чего?

— Здравствуй, говорю.

Лазарев разъяренно взглянул на протянутую ему руку, явно не понимая этого жеста, но сейчас же, видимо, мгновенно решив проучить чужого лейтенанта раз и навсегда, с силой ударил огромной бугристой ладонью своей в ладонь Ильи, так что раздался хлесткий звук, и клещами охватил, сдавил его пальцы.

— Тогда гляди, лейтенант, косточки переломаю, ровно барышне! — пообещал Лазарев с тем же сиплым хохотком и, уже приглашая всех в предложенную игру, подморгнул набрякшими складками век Калинкину и Шапкину, который присел на станину в удивленном ожидании, заломив на затылок пилотку.

— Ломай, Лазарев, не жалей,— разрешил Илья и с опасным жестким спокойствием заглянул в намеренно заскучавшие глазки Лазарева перед борьбой.

Минуты две они стояли друг против друга, соединенные в противоестественном поединке, стискивая поворачивающим один другому кисти рукопожатием, старшина Лазарев все сильнее, все беспощаднее ломал пальцы лейтенанта, пытаясь придать щекастому лицу сонное, скучающее выражение, тупо глядя в бледный лоб Ильи, омытый капельками пота.

— Пошли, пошли сюда, Микула Селянинович,— сказал вдруг Илья и потянул Лазарева к нише, где было посвободнее, и здесь они опять стали друг против друга, сцепленные враждебным рукопожатием.

Потом, раскорячив бревнообразные в кирзовых сапогах ноги, Лазарев не без ленивой уверенности бодающе ударил головой Илью в плечо, предлагая начать борьбу, но тот порывисто и гибко полуотвернулся и, качнувшись вперед, молниеносно перекинув руку Лазарева через свое плечо, рванул ее так резко, что сустав хрустнул, и тотчас, морщась от горлового вскрика старшины, изданного сквозь оскаленные зубы, как-то боком бросил тяжелое тело на бруствер орудийного дворика и, сделав шаг к поверженному Лазареву, выпрямился над ним, глубоко дыша, оправляя на груди портупею, сбившуюся в борьбе. А Лазарев, весь потный, с широкой, надувшейся шеей, жадными глотками хватал воздух, затрудненно

подымался, держась за локоть, и повторял с задышкой:

— Ты, значит, хрящ мне хотел сломать, та-ак? Запрещенным приемом, значит, хрящ сломать?..

— Правильно. Хотел. Но не сломал. В другой раз сломаю. И в госпиталь отправлю, дурака чертова.

Одергивая гимнастерку, Илья говорил вполголоса, точно удерживаемый презрительной неохотой объяснять что-либо, а его прищуренные глаза горели неумолимым огоньком, в котором было убежденное преимущество.

— Если у тебя в голове есть хоть пара извилин, то слушай, Лазарев, и запоминай,— продолжал Илья с непререкаемой вескостью.— Во-первых, таких, как ты, я встречал еще в школе и училище и, уверяю тебя, клал на лопатки. Во-вторых, ты будешь мне подчиняться как шелковый. Ясно? Я — командир первого взвода, и меня назначили исполнять обязанности командира батареи. Тоже ясно? Все раскусил, старшина? Или не все?

Лазарев стоял перед Ильей, задыхаясь, щетина разительно выделялась на его озлобленном, посеревшем лице; однако он нашел в себе силы, чтобы выговорить тоном ласковой ненависти:

— Может, научишь хитрому приемчику, лейтенант?

— Не научу.

— Смотри не прогадай, еще моей дружбы попросишь. Я ведь парень ежик, в голенище ножик. Сегодня твоя взяла, завтра — моя.

— Се ля ви[1], как говорят французы...— сказал с ответной деланной любезностью Илья и так передразнивающе-нежно похлопал ладонью по крутому плечу Лазарева, что тот лишь каменно сжал челюсти.— Договорились? Или еще требуются аргументы?

В этой внезапной схватке со старшиной Илья не скрывал своего насмешливого превосходства над командиром отделения разведки, человеком старше его лет на десять, избалованным собственной силой, но все же вынужденным подчиниться ему, офицеру,— мальчишке, пришедшему сюда на огневую, в новом качестве старшего на батарее, и мигом нарушившему установленный здесь порядок.

Владимир знал по школе и по военному училищу

---

[1] Такова жизнь.

нетерпимость Ильи к чьей-либо физической силе, знал, как он одержимо занимался с седьмого класса то гимнастикой, то в секции бокса, нагоняя мышцы непрерывными упражнениями, подтягиванием на турнике, постоянным сжиманием в кулаке резинового мяча — и уже к девятому классу приобрел славу самого сильного «из четвертого дома», и никто из соперников в замоскворецких переулках не пытался заносчиво вызвать его «на стычку» один на один. Когда в артиллерийском училище он, похудевший на скромном пайке, забыв, мнилось, былые увлечения, стал вновь обтираться снегом на утренней зарядке и ходить по вечерам на занятия самбо, показалось это лишним, смешным, подобно довоенной тщеславной игре ловкостью натренированного тела на глазах девочек в гимнастическом зале. И раз Владимир сказал Илье об этом, но тот принял его замечание почти добродушно и ответил, что не только в детстве, но в некоторых случаях жизни необходима отлично развитая мускулатура, дабы не быть униженным силой других.

Унижение Лазарева было явным, и ему едва хватало воли, чтобы расчетливо справиться с бессильным припадком ослепляющей злобы, что еще больше унизило бы его в глазах офицеров, а опытный ум подсказывал вернуть хотя бы видимость равновесия, смягчить поражение, и елейным безумием прозвучал его охрипший голос:

— Может, на ножичках еще договориться попробуем? По цыганскому обычаю! У вас, вижу, финочка отечественная, у меня трофейная... разница с гулькин хрен, если до первой крови!

И вытянул из ножен, словно из ненавистной жертвы, тонкую, с кровожелобком, финку, поплевал на ноготь, потрогал стальное лезвие, и Илья, уже теряя самообладание, упруго шагнул к нему, сказал, гневно кривясь:

— Хватит! Кончай блатной цирк, Лазарев! Или я тебе действительно шею сломаю, ясно?

Лазарев не без ритуальной осторожности вытер финку о рукав, и широкощекое лицо его с изобильной сладостью закивало Илье.

— А финочка в деле была. Испробована.

Илья повторил:

— Я спрашиваю — ясно? Или нет?..

И в его голосе было столько властной силы, столько подчиняющей уверенности в своем действии, готовности

пойти на все ради душевного порядка и ради порядка формы взаимоотношений, что Лазарев, по-видимому, трезво осознал в тот миг, на что может решиться командир первого взвода назначенный на должность комбата.

— Ясненько,— ответил Лазарев и втолкнул финку в ножны.— Так и запишем. Ясненько.

— Ну, то-то. Советую заняться целями для батареи и, пока не поздно, оборудовать энпэ[1], а не братание устраивать! — посоветовал резко Илья и сказал Владимиру: — Надо поговорить, Васильев.

Они шли по лесной дороге, усыпанной хвоей, испещренной солнечными островками, отовсюду наплывало тепло растопленной смолы, накатывало из-за кювета духом нагретой малины, и Владимир опять вспомнил, как губами тянулся к спелым ягодам белокурый мальчишка-немец, как второй выстрел настиг его на открытой насыпи, как упал он лицом в траву, выронив пилотку с малиной, и волосы его стали жирно набухать красным.

— Зачем ты?..— сказал Владимир, чувствуя недомогание.— Не надо было...

— А ты, Володенька, сердобольный, как вижу. Или ты что — вместе с Лазаревым перемирие с немцами подписал? Тоже мне — командир отделения разведки называется! Перекочевал в твой взвод, делает вид, что сидит на передовой, жрет, кантуется, а где немецкая передовая, не знает. Твое орудие стоит на прямой наводке, насколько я понимаю, а немцы где?

— Немцы были на насыпи.

— Где — на насыпи? На мои выстрелы один пулемет откуда-то слева ответил — и все. Ну, где перед тобой передний край немцев? Куда стрелять будешь?

«Он разозлился и на меня?» — подумал Владимир, сотрясаемый ознобом, опустошенный, еще не опомнившийся после позавчерашнего боя, еще не забыв свое разбитое орудие и погибший расчет во время контратаки танков, километрах в двух позади этого соснового леса.

— Ты, пожа-жалуйста... за меня не беспокойся,—

[1] Энпэ — наблюдательный пункт.

возразил Владимир, и его слова, смятые стуком зубов, заставили Илью быстро взглянуть на него.

— Слушай, может, тебе в госпиталь надо с твоей контузией? Ты что дрожишь?

— Н-нет, это так, ничего,— пробормотал Владимир.— Контузия несильная. Пройдет.

Илья расстегнул воротник гимнастерки, задержался возле кустов дикой малины, разросшейся за обочиной дороги, опахнувших горячей листвой, древней духотой леса, и сорвал несколько крупных ягод, кинул их в рот.

— Пакость... теплые какие-то. Как он их ел?..

Он брезгливо сплюнул и полез за портсигаром, немецким, металлическим, с виньетками готического рисунка на крышке, вынул папиросу, в его глазах прошла мрачная тень злого воспоминания, и властно поджались губы, как бывало всегда, когда он не хотел чувствовать себя неправым.

— Вот что, Володя,— заговорил Илья, садясь на поваленную сосну неподалеку от просеки, на которой виднелись замаскированные плащ-палатками два орудия, и солдаты, закрыв лица пилотками, лежали на траве, грелись и дремали на солнцепеке.— Глупость положения вот в чем. Впереди тебя нет нашей пехоты и нет немцев на насыпи. Мои орудия после боя держат эту дорогу. И, как видишь, солдаты загорают. Приказ стоять, и мы стоим, как слепые. Ты думаешь, танки пойдут на этот лес? Что-то не очень похоже. Позавчера все было ясно. Мы наступали, они драпали. А где сейчас немцы — за насыпью или еще дальше отошли — бог его знает. Таким образом, мои два орудия мы снимем отсюда и поставим метрах в ста от твоего, на опушке. Так будет разумнее. Если и пойдут танки, то они наверняка попрут через железнодорожный переезд, а потом через мост...

Он закурил, пожевал кончик папиросы, бисеринки пота выступали у него над сдвинутыми бровями от духоты парного воздуха. И пахло здесь тяжелой пряностью тлена, сонно жужжали над дорогой зеленые мухи, точками сверкали на солнце, садились на вдавленные колесами в песок разбросанные здесь предметы позавчерашнего боя — расплющенные колесами ребристые цилиндры немецких противогазов, железные лотки из-под мин, смятые коробки сигарет, разбросанные сахарно-белые пластинки искусственного спирта — загадочные иноземные предметы, притягивающие любопытство Вла-

димира заключенной в них иной жизнью, имеющей свой запах и свой смысл.

— Где-то поблизости убитые,— сказал Владимир, ощущая в парном воздухе липкую струю разлагающейся плоти, как бы приносимую сюда жужжанием зеленых мух.

Илья поморщился, каблуком вдавил в песок пустой магазин немецкого автомата.

— Глупость положения заключается в том, что мы с тобой во многом зависим от Лазарева,— продолжал Илья раздраженно.— А я неопределенности терпеть не могу!

— Ночью Лазарев выберет энпэ на насыпи. И все будет в порядке.

— Нет!

— Что «нет»?

— Нет,— сказал Илья.— Во-первых, до ночи далеко. А во-вторых, Лазареву что-то я не очень верю. По-моему, мордой в землю его придется тыкать не раз. Поэтому думаю Шапкина назначить командиром отделения разведки, а Лазарева на его место, на связь. Так будет надежней. А там — посмотрим.

Илья без колебания принял командование тремя полковыми орудиями и девятнадцатью солдатами, оставшимися после позавчерашнего боя, когда погибли командир батареи старший лейтенант Дробышев и командир взвода управления лейтенант Курочкин, убитые вместе со всем расчетом четвертого орудия. Они были убиты прямым попаданием — две самоходки засекли орудийные выстрелы, незаметно зашли с фланга на поросшие кустарником высотки и ударили с дальности двухсот метров по открытому орудию. Третье орудие стояло на перекрестке полевых дорог, шагах в ста пятидесяти правее четвертого, самоходки, не медля, перенесли на него огонь, а когда Владимир, оглушенный раскаленным грохотом, засыпанный землей, давясь кашлем, очнулся, то увидел, что весь край придорожного кювета был развален, срезан дымящимися воронками, острые края осколков торчали из обугленной почвы, и это было роковое счастье, везение, снисходительность судьбы, сохранившей его жизнь несколькими сантиметрами уцелевшего пространства. Он был контужен, и временами слитый в сплошной звон стрекот сверчков заполнял уши, как если бы лежал он на крыше сарая

звездной ночью в деревне, порой плотная глухота окружала его, было больно, пьяно в голове, и он не слышал своего голоса. А то, что осталось от четвертого расчета, то, что надо было собирать потом по кускам и хоронить возле исковерканного орудия в наскоро выкопанной могиле, было настолько ужасающе безобразно, что невозможно было никого узнать даже по одежде, назвать по фамилии, невозможно было различить старшего лейтенанта Дробышева и лейтенанта Курочкина. Контузия, затмившая сознание Владимира, сместила реальность, его охватила бешеная неистовость, и, отдавая команды единственному теперь орудию из его взвода, он ругался в злобе, плакал и кулаком размазывал слезы по исполосованному пороховой копотью лицу.

Пехота подымалась в атаку несколько раз, залегала и вновь подымалась свистками, криками и ракетами, вскоре поле до самых немецких траншей густо затемнело бугорками убитых, и последняя атака была совершенно обессиленной — редкие фигурки оторвались от земли, двинулись в огненный хаос трассирующих очередей.

В темноте бой кончился, все смолкло. Пехота, потеряв в течение дня половину недавно прибывшего пополнения, наконец захватила траншеи немцев, втянулась в лес и поздним вечером заняла железнодорожную станцию за лесом.

Орудия получили приказ сняться, первому взводу Рамзина занять позицию в районе просеки, вблизи дороги, на танкоопасном направлении, а второму взводу Васильева (одному оставшемуся орудию) стать на прямую наводку напротив железнодорожного переезда. К середине ночи оборудовали огневую позицию, вырыли ровики в полный профиль, и целый следующий день, неподвижный, знойный, прошел в состоянии полусна, когда не хотелось двигаться, есть, говорить, когда у Владимира, не вылезавшего из своего ровика, звенело в голове и всплывали в памяти рваные окровавленные куски одежды с металлическими офицерскими пуговицами, воронки между станин, что-то студенисто-красное, лохматым сгустком прилипшее к щиту скособоченного орудия, и по всему полю бугорки убитых из недавно прибывшего пополнения — новые шинели, нелепо встопорщенные на спинах, еще незаношенные обмотки, толсто накрученные на ногах...

Утром его разбудил командир орудия сержант Демин,

позвал к расчету на царский завтрак — мед, огурцы, помидоры, арбузы,— но Владимир наотрез отказался: все возникал перед глазами тот жирный студенистый сгусток на щите разбитого орудия, и разом начинало мутить, выворачивать пустой желудок, вызывая судорожным кашлем обильные, унижающие его слезы, которые он стеснялся показывать солдатам.

Он не хотел вспоминать позавчерашний бой, не хотел, чтобы Илья знал о контузии, завидуя его педантично выбритому смуглому лицу, его несомневающейся силе при утверждении себя в новом положении командира батареи, и его командный голос, каким он заявил сейчас о недоверии командиру отделения разведки, был исполнен решимости и действия.

— Думаю, что лейтенант Курочкин, пусть земля ему будет пухом, до невыносимости избаловал Лазарева, сам за него все делал, а он пускал пыль в глаза,— сказал Илья.— Для чего, спрашивается, мне такая артиллерийская разведка? Не знает точно, где немецкая передовая! Но ходит по батарее индюком.

— Ты знаешь, что Лазарев сидел до фронта в тюрьме и вообще — темный тип, с ним не хотят связываться.

— Знаю, но знать не хочу. Мне плевать, кто он был. Мне важно, кто он есть. Гнать Лазарева из разведки надо, немедленно гнать! В шею! Удивляет меня, конечно, то, что этот милый старшина считает себя пупом в батарее. Не хочет, видишь ли, подчиняться. Глупец! Я его заставлю выполнять обязанности, как образцового солдата, или сломаю ему хребет, дураку!

— По-моему, ты его уже приложил достаточно.

— Так нужно было! А впрочем — ничего прощать я ему не намерен.

— Тебе видней, Илья. Разведка и связь в твоем подчинении.

— Вот именно. В моем.

«Разве можно согласиться с тем, что решение Ильи в тот июльский день 1943 года сыграло роль в его судьбе, изменило всю его жизнь? И я ничего не мог сделать, предугадать? Но можно ли было его остановить?»

Они вернулись к орудию, и Илья объявил о перемещении командиров отделений взвода управления. Выслушав приказ, Лазарев мерцающими нацеленными глазами охватил с ног до головы плотную фигуру Шапкина, затем с ленивой яростью сплюнул через бруствер и присел к котелку с медовыми сотами, внешне несокрушимый в собственной правоте. Это перемещение ничего, по существу, не изменяло в жизни Лазарева («что разведка, что связь батареи — один черт!»), но по тому, как Лазарев, расширив ноздри, сидел на станине орудия и жевал соты, с напускным интересом глядя на вьющихся вокруг котелка ос, по тому, как упорно молчал, видно было, какого усилия стоило ему подчиниться полностью жесткой воле нового комбата, оборвавшего его прочное положение независимости от командиров огневых взводов. Калинкин, вытянув голую шею, принялся озабоченно разрезать арбуз на брезенте, остальные лежали в тени брустверов, негромко похрустывая огурцами, никто не решался посмотреть в лицо Лазарева, который постепенно перестал жевать, широкие его скулы затвердели.

— ...Так вот что. Два орудия из леса передвигаем на опушку, к орудию взвода Васильева,— сказал Илья голосом приказа ни в чем не сомневающегося человека.— Перемирие с немцами кончено. Это стоит уяснить, Лазарев. И сачкование кончено. Шапкину энпэ занять и оборудовать немедленно на железнодорожной насыпи. В районе сада и домика. Даю два часа на оборудование. Лазареву даю столько же на связь с пехотой.

Ровно через два часа ему доложили, что наблюдательный пункт выбран на железнодорожной насыпи, связь проложена к окопанным на опушке трем орудиям, установлена с правофланговым стрелковым батальоном, занимавшим станцию, и Илья перебрался на другую сторону ручья, к насыпи, чтобы обосноваться на наблюдательном пункте батареи.

И снова летний покой солнценосного дня потек из чащи соснового леса, обволакивая орудия жарой, тишиной, однотонным гудом лесных ос, и наползала вязкая пелена дремоты, и после еды слипались у солдат веки. Часовой Калинкин сидел на станине крайнего орудия, изредка протяжно зевал в сладострастной истоме,

хлопал по-бабьи корявой рукой по рту, а сержант Демин, крепкогрудый, русоволосый красавец, устроился под бруствером и, надвинув на лоб пилотку, жмурился на кучевые облака, сияющие краями в синеве неба. Остальные солдаты расползлись с солнцепека, с голого места у орудия — кто в открытые ровики, поближе к земляной прохладе, кто в нишу для снарядов, прикрытую брезентом.

Владимир лежал на плащ-палатке, разостланной на опушке леса, возле огромной сосны (чуть внятный холодок шел здесь от земли), и чувствовал, как отпускает головная боль, и весь он будто растворяется в этой мирной лени сытого часа, в пестроте бликов, в этом благолепии щедрого лета, которое настойчиво обещало вечную неизменную жизнь с зелеными, светообильными днями, пропитанную любовью, радостью, как когда-то было, в дачные сумерки Малаховки, затянутой сизыми самоварными дымками, озвученной патефонами из заросших сиренью переулков, поздними гудками и шумом электрички за озаренным луной лесом.

Мучительнее всего было то, что Илья получал письма от Маши, треугольнички, свернутые из разлинованных листков школьной тетради, и, подняв насмешливые брови, читал их, затем говорил несколько удивленно: «А!» — и не без небрежности засовывал письма в полевую сумку. И всякий раз Владимир не мог побороть себя, спросить, что и о чем она пишет из Ташкента, и всякий раз Илья, передавая ему Машин привет из эвакуации, прибавлял с усмешкой: «Представляешь, они еще за партами решают задачки по геометрии. Восторг, умиление, птичий щебет в садах! Ну что ей отвечать? «А мы, знаешь ли, Маша, дорогая, стреляем по танкам»? Лучше ответь ты, хочешь?»

В его отношении к ее письмам была снисходительная досада взрослого человека на детские слова школьницы, с которой вроде бы вскользь виделся много лет назад, а теперь не вполне хотел утруждаться регулярной перепиской. А Владимир охотно писал ей, вернее — отвечал за двоих, но письма по-прежнему приходили не ему, и чувство обиды и несправедливости испытывал он время от времени. Надо было, очевидно, не вспоминать ее часто, пора было относиться к тому наивному, школьному так, как относился к прошлому Илья,— с дружеским снисхождением офицера, понявшего на войне гораз-

до больше, чем он — за девять месяцев учебы в артиллерийском училище и за двенадцать месяцев фронта, где оба командовали огневыми взводами и разлучались лишь изредка, поддерживая огнем разные батальоны.

К командованию батареей Илья был готов давно по складу своей натуры. Бывшего комбата старшего лейтенанта Дробышева, человека немолодого, тугодумного, неповоротливого, призванного в армию из запаса «гражданского тюфяка», Илья не принимал всерьез, однако выполнял его приказания с той искусственной старательностью, какая помогала ему скрыть личное нерасположение.

«Теперь в батарее он заставит всех слушать себя,— думал Владимир, разморенный дремотой, лежа на плащпалатке под кроной сосны.— Он заставит всех выполнять свои обязанности и не потерпит ничего лишнего».

Вверху за широкой зеленой вершиной высоко таяли нежнейшим дымом закруглений насыщенные светом облака, и ему чудилось, что когда-то знойным днем после купания он вот так же лежал в лодке, опустив весла, слыша хлюпанье воды за звучными бортами, все чудесно пахло летней рекой, мокрым полотенцем, а мимо текли дачные берега Клязьмы, и плыли вдоль зарослей камыша опрокинутые в воду круглые облака.

И сквозь дрему вспомнился конец лета в Москве, когда начинали съезжаться к учебе,— долгие августовские вечера во дворе, в переулках Замоскворечья отдавали тепло асфальта, в школьном саду на закате подымалась розоватая пыль над многолюдной волейбольной площадкой, а когда он принимал мяч, поданный Машей, то видел, как взлетали ее выгоревшие волосы, блестели удовольствием и смехом глаза от ощущения юной гибкости послушного тела и от сознания своей власти над теми, кто чересчур внимательно поглядывал на ее золотисто-загорелые плечи, почти шоколадные в сумерках от морской воды и южного солнца...

Владимир пошевелился и сел, привалившись к стволу сосны, его окатывал, наплывая волнами, смолистый воздух, а вокруг все лежало в прокаленной сонной одури, усыпляемое треском кузнечиков. От орудия, из снарядной ниши, из-под брезента доходил солдатский храп, внушая чувство нерушимое, домашнее, точно позавчера и не был похоронен в братской могиле весь четвертый расчет. Часовой Калинкин с карабином на коленях, за-

дремывая на станине, затяжно зевал, ворочал красными белками и, внезапно разбуженный толчком ноги Демина, отозвался обиженным вскриком:

— Ты очумел, никак?

Тогда Демин приподнял с земли красивую русоволосую голову, позвал не без юродствующей вкрадчивости:

— Калинкин!

— А?

— Дурака на!

— Опять свое? Что я тебе сделал? К чему измываешься? Земляк ведь ты мне, Демин. Сколько нас тут, воронежских: раз, два и обчелся,— заговорил голосом тихой укоризны Калинкин, и верхняя, рассеченная осколком губа его, похожая на заячью, съежилась виновато.— Не обижай ты меня, за-ради бога... Двое нас из земляков осталось. Позавчерась Макарова свалило... из Малых Двориков. Осколком так грудь и разворотило. Последние мы с тобой.

А Демин, потягиваясь на земле молодым телом, наслаждаясь ничегонеделаньем, сытой истомой, снова позвал притворно-озабоченно:

— Калинкин! Слышь, Кали-инкин! Или, как глухарь, оглох?

— Ну чего? А?

— Дурака на. Умный очень. Потому тебя на посту в храп тянет. Башка хитрит. Откель ты хитрый такой?

— Для какой своей нужды пристаешь ты, Демин? — жалобно спросил Калинкин, и подобие улыбки сморщило его изуродованную верхнюю губу.

— Лопу-ух. Как не думаешь, так не думаешь, а как подумаешь, так что ты думаешь? — проговорил Демин, преисполненный напускного ликования, и просторной грудью выдохнул воздух.— Сундукам из вашей деревни везет завсегда. Особенно ежели ухи лопухами,— продолжал с издевательской растяжкой слов Демин, радостно следя за изменением облаков в небе.— А у вас лопухастых за каждым плетнем. И полдеревни Калинкиных. Надо же! Куда ни плюнь — все в какого-нибудь Калинкина попадешь. И все коровы Дуньки, а собаки — Шарики. От дуроломы несусветные!..

— Чем же мы тебе не по душе-то? — робко забормотал Калинкин.— Деревня наша маленькая, всего пятнадцать дворов: люди хорошие, работящие. В вашем-то Михайловском парни дерутся, бывало, а у нас в Двори-

ках тихо, гармошка играет, девки поют. Мы — тихие, у нас садов и пасек много. Мы никого не забижали.

— Я тебе и говорю — святой ты дворицкий, будешь сто лет после войны на гармошке наяривать, а потом на небеса вознесешься — и прямо в рай,— сказал Демин, колыхнув смехом грудь, и через минуту позвал скучающим голосом: — Калинкин!

— Ну че?

— Оглобля через плечо!

— Опять свое? Что я тебе сделал, Демин?

— А я тебя спрашиваю сурьезным русским языком, Калинкин, на каком основании у вас в колхозе все собаки — Шарики?

Были беззаботно-праздными эти часы июльского дня, который запомнился Владимиру, как жгучий солнечный блеск перед чернотой...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Когда после заката в темно-розовой, вечереющей воде начали задремывать неподвижные пепельные облака, когда потянуло травянистой сыростью, из низины, с наблюдательного пункта позвонил веселый Илья, сказал, что «хватит отсыпаться, приходи чай пить с маком в известный домик под деревьями»,— и Владимир, проверив у орудий часовых, перешел по бревенчатому мостику на другой берег ручья, уже погасшего, на ощупь спустился крутым откосом в сад. Здесь потемки дохнули запахом зреющих яблок, сухостью плетней, еще не остуженных прохладой.

Домик был скрыт яблонями, под звездным светом крыша сумеречно отливала в гуще листвы синей жестью, на побеленной стене застыли слабые лапчатые отпечатки теней дикого винограда, в трех шагах от крылечка ртутно поблескивало отполированное старое ведро на жердине «журавля», окруженного темнотой сада,— все было по-деревенски покойно, уютно, с глухим стуком падали в траву переспелые яблоки. Часовой, одурев в одиночестве, придушенным голосом окликнул подле дома: «Стой, кто идет?» — и вышагнул на тропку меж деревьев, причем трескуче разгрыз яблоко, заговорил, обрадованный взбодриться разговором:

— Благодать-то какая и чудно как-то... Ни ракет, ни

выстрелов. Вроде и немцев нигде нету. Только вон сверчки очереди дают. Осатанели...

Он говорил с полным ртом, посапывая, глотал сок яблочной мякоти,— в этих звуках было тоже что-то древнее, успокаивающее, пришедшее из глубины веков,— и Владимир переступил порог домика, смутно испытывая волнение.

В первой половине обдало парным духом кипящего самовара, на столе высокая керосиновая лампа освещала тарелки с нарезанным салом, бутыль зеленого стекла, заткнутую тряпочкой, горку крупных яблок, раскроенный на половинки громадный арбуз, чернеющий семечками, оранжевый мед в блюдцах — целое богатство, пахучее, обильное, что напоминало о непрекращающемся празднике живых, который начался позавчера независимо от людей, отодвигая роковой час.

Илья, в расстегнутой гимнастерке с целлулоидным подворотничком, сидел за столом в красном углу, под иконой, украшенной расшитыми рушниками, снисходительно-ласково усмехался женщине лет тридцати, очевидно, хозяйке дома, которая в ответ кротко улыбалась яркими большими губами навстречу его веселому взгляду, и в ее влажной улыбке мерцала виноватая покорность.

Старшина Лазарев вместе со связистом возился у телефонного аппарата, прозванивал линию, проверяя связь между орудиями, вопрошающе взглядывал через плечо на Илью и женщину, но в разговор не вступал, мудро удерживаясь вмешиваться в дела нового командира батареи.

— Вот и он, лейтенант Васильев! Познакомься, Володя, с прелестной хозяйкой гостеприимного дома! Видишь, какие красавицы есть еще на свете? А ты говорил — кончилось все в девятнадцатом веке!..— живо, как обычно, когда бывал в ударе, заговорил Илья, точно всю жизнь только и занимался разбиванием женских сердец, и обвел черными глазами круглую шею, полную грудь женщины.— Вот так вот убьют, к черту, и такого прекрасного экземпляра не увидишь. Что ж, целый вечер будем целовать вам ручки, Наденька.

Он преувеличивал насчет неотразимости красоты молодой женщины, но был явно в отличном расположении духа, каким давно не видел его Владимир, говорил то-

ном приятной шутки, и этот тон никого не обижал, а, напротив, располагал к его манере разговора.

«Все же хорошо, что мы с ним в одной батарее»,— подумал Владимир и кивнул хозяйке дома в знак состоявшегося знакомства.

— Вы насмехаетесь надо мной, Илья Петрович,— сказала женщина мягким голосом, ответив стеснительным кивком Владимиру, глядя на заварочный чайник, который она заливала крутым кипятком из самовара; вместе с паром распространялся жар разомлевшего смородинного листа.— Сидайте, будьте добры, вот сюда. Туточки удобненько вам будет.— Она показала Владимиру место на лавке под окнами, занавешенными слоем старых газет, и голос ее нежно обвил его волной певучей пронизывающей ласки.— Вы покушайте...

— А я серьезно говорю, Наденька,— продолжал Илья и взял ее загорелую, грубоватую кисть, галантно встал и поцеловал ее смело.— Здесь никаких шуток.

— Да что вы, что вы... Не надо так...

Краснея сквозь загар, она запротестовала, сделала слабую попытку освободить кисть, но Илья не выпустил ее, крепче сжал пальцы и, прямо заглядывая ей в замирающие карие глаза, улыбаясь, поцеловал второй раз. Он не стеснялся открыто ухаживать за этой женщиной, которая, по-видимому, нравилась ему, и Владимир почувствовал в его игре непростые намерения.

— А когда немцы у вас были, неужто ручки бабам целовали? Или как? — спросил с невинной заинтересованностью Лазарев, не оборачиваясь от телефонного аппарата.— Насчет всякого тити-мити немцы бо-ольшие профессора! Картинки-то недаром с собой возят, вроде инструкции.

— Не уразумел,— тоже невинно сказал Илья.— Что конкретно имели в виду, Лазарев? Вы хотели сказать, что вам не нравятся топографические немецкие карты?

— Баб, говорю, они некоторых наших испортили... и заразили,— проговорил елейно Лазарев, не принимая во внимание смягчающую фразу Ильи.— Так стояли у вас немцы, красавушка? Целовали ручечки? — опять спросил он, и в елейном тоне его был разлит подслащенный яд, несомненно приготовленный не для нее, а для Ильи.— Или каким образом?

Женщина завернула кран самовара, накрыла чайник крышечкой, стала пододвигать к самовару чисто вымы-

тые чашки с отколотыми краями, потом робко отвернула лицо в тень, где в простенке, над комодом, покрытым кружевной дорожкой, веерообразно висело несколько давних фотографий, среди которых в центре угадывалось строгое скуластое лицо парня в железнодорожной фуражке с довоенным значком на кармашке тужурки; женщина сказала волнистым голосом:

— На станции стояли, а у мэнэ не... Моя ж хата в стороне, а воны не любять крайние хаты. Раза четыре на мотоциклах приезжали. «Матка, давай курка, яйка, шпек». Помылись у колодца, натрясли яблок, взяли меду да уехали.

Покатые плечи Лазарева вздернулись.

— И — никаких зверств? И не приставали? Ай, люли?

— На станции учительку замучили и повесили... В сорок першем року прыихала к нам. Из Киева. Така синеглаза была...

— А тебя, красавушка, звери-враги не тронули? Чистенькая, значит, птичка, с белыми лапками. Это хорошо. А то, бывает, ваши бабешки сами к фрицам бросаются, а потом — глядь: фрицененок сивенький под столом бегает. Как думаешь, лейтенант, такого птенчика не может быть у красавушки?

Он, Лазарев, видно, не мог простить себе изгрызающего душу унижения, которое пришлось ему узнать сегодня, и мстил Илье косвенно, а тот, удивляя неисчезающей добродушной улыбкой, смотрел на молодую женщину, на то, как она, опустив голову, тупо и бесцельно передвигала чашки под самоварным краном, почему-то не решаясь разливать чай, а ее живое карееглазое лицо мигом стало измученным.

— Вы сильный парень, старшина, это я знаю,— вдруг ровно сказал Илья, и интонацией подтверждая эту неоспоримую новость.— Но если сейчас еще вякнете что-нибудь вумное, Лазарев, головой в окошко выкину, чтобы и духу вашего здесь не было. Ясно? Поймите, вумник, наконец,— продолжал он с безмятежной сухой вежливостью, отмеренно постукивая ногтем указательного пальца по столу.— Я несколько лет занимался боксом и самбо не для того, чтобы таким, как вы, давать на шею садиться. Тоже ясно? Так вот. Если вашу тончайшую интеллигентную натуру я еще сегодня не научил уму-разуму, то сделаю это завтра в удобное для вас время.

Злые ноздри Лазарева кругло раздувались, его глаза побелели до дымной пустынности, он проговорил хрипло:

— Жми, дави, лейтенант! Только уж гляди! Я тоже медведя завалить могу. Я охоту люблю... и заваливал...

Его крупная рука тяжело, случайно и скользяще тронула ножны финки и мгновенно отпустила их, в белую пустыню его выеденных ненавистью глаз страшно было глядеть, однако Илья, не дослушав угрожающего намека, нехотя встал, проникая любопытным взглядом в его опаляющие зрачки, скомандовал вполголоса:

— Марш на энпэ, старшина. И поменьше торчите у меня на виду, пока не поумнели.

— А что? Мы можем. Это мы враз. На энпэ так на энпэ,— осклабился Лазарев и, притворяясь по-службистски подтянутым, схватил с лавки автомат, враскачку подошел к испуганной хозяйке: — Спасибо, красавушка, за угощенье, до гроба помнить буду и чай, и сало, и самогончик. Сыт от пуза.

— Да я ж... да не кушали ж еще вы, да не выпили...— растерянно проговорила хозяйка в крутую спину выходившего Лазарева.

— Ничего страшного. Такие, как он, Наденька, с голоду не умирают. Ну, да ладно,— сказал Илья беззаботно и вынул тряпочку из горлышка бутылки, разлил самогон в чашки.— По сто грамм можно, думаю, а? Что, Наденька, чокнетесь с нами? — продолжал Илья добродушно и, подняв чашку, вновь обратился к хозяйке: — Разрешите, Наденька, за вас... за милую гостеприимную хозяйку! Как, Володя, ты поддерживаешь мой тост? За Надю, за то, что нам повезло встретиться с такой милой женщиной!

Он хотел понравиться ей и был возбужден этим бездумным ухаживанием, ни к чему не обязывающей легкой болтовней, этим почти городским уютом не тронутого войной чистенького домика, в котором хозяйка жила одинокой загадочной жизнью и теперь отвечала на его веселые слова растерянно дрожащей на длинных губах улыбкой, и Владимир неловко спросил, разглядев над комодом фотокарточку строгого парня в фуражке железнодорожника:

— А муж на фронте?

Она ответила ослабленным певучим голосом:

— Ушел, как война началась, и ни слуху ни духу. Год мы только и пожили. Убитый он...

Он проснулся оттого, что его трясли за плечо и кто-то повторял шепотом:

— Володька, вставай!

Он вскинулся на лавке, очнувшись от сна, услышал в духоте хаты равномерное посапыванье задремавшего связиста у аппарата, глубокую тишину ночи: на столе немощно горела керосиновая лампа, пахло перегретым закопченным стеклом.

— Вставай же!

Возле стоял Илья в распоясанной гимнастерке и без портупеи, его шепот осекался ласковой хрипотцой, в полутьме лицо светилось мягкой удовлетворенной усталостью.

— Что? — спросил Владимир быстро.— Что ты?

— Иди,— сказал Илья и толкнул его в плечо.— Она тебя ждет.

— Кто ждет? — не понял Владимир.

— Надя. Она на сеновале, во дворе,— ответил Илья и сел рядом на лавку, горячий, потный, коротко засмеялся.— Ну и женщина! — Он потрогал губу и заговорил, возбужденно прищуриваясь:— Если завтра не будет следов от зубок, значит — повезло. Не женщина, а сатана. Но, знаешь, она все разрешает, только боится этого... Слушай, такие роскошные груди, бедра... Иди! Она сказала, что не я, а ты ей нравишься. Так иди, Володька, что смотришь? Она ждет, говорю тебе.

Илья обнял его за плечи, подтолкнул с дружеским поощрением:

— Ступай.

«Сейчас он был на сеновале с той милой молодой женщиной и там целовал ее длинные губы... а теперь он хочет, чтобы пошел я? Пойти к Наде после него? Разве можно целовать женщину после кого-нибудь? Нет, у меня не хватит смелости. Я не могу...»

Но эта незнакомая Надя нравилась и ему, а когда она сидела с ними и угощала обоих за столом, от близости ее полной груди, крепких бедер, ее опрятного сильного молодого тела было порой тесно и томительно жутко и перехватывало дыханье от близости ее карих глаз,

иногда нежных, покорных, лишь только он встречался с ней взглядом, принимая из женских ухаживающих рук чашку с заваркой смородинового листа.

— Не проснулся? Что пнем сидишь? Иди! И хватит думать. Сеновал в клуне. Выйдешь — и увидишь. Проводить тебя, что ли?

— Перестань глупить, Илья. Я сам знаю, что мне делать.

Владимир слегка оттолкнул его, поднялся и через маленькую, напитанную духом хлеба кухню, отблескивающую крохотным оконцем, вышел в темноту сада на росистый воздух. Все было тихо, свежо: на траву, на листву деревьев пал влажный холодок глухой ночи, над ветвями, играли, переливались июльские звезды.

Часового не было около дома, не слышно было его шагов, шуршанья по траве — наверное, стоял или сидел где-нибудь в саду, вслушивался в это безмолвие ночного часа.

Сарай проступал черным пятном в конце дворика, и там ждала его на сеновале молодая женщина, которую Илья, не стесняясь, называл Надей, Наденькой, которая так краснела и мягко улыбалась им то робеющими, то расширяющимися глазами на загорелом лице, так прямо держала спину и круглую шею с тонкими, светлыми завитками волос, как будто в одиночестве долго ждала, чтобы тоже понравиться им своей сохраненной девической статью, своей опрятностью, не уничтоженной деревенской работой в доме.

«Это — трусость. Как просто ухаживал за ней Илья и как непросто все у меня! Для чего все это? Я не хочу... Я думаю о Маше и не могу пойти к ней... Но что подумает обо мне Илья?..»

Клуня с сеновалом была в двадцати шагах от дома, только надо было пройти мимо тополей рядом с колодцем посреди дворика, подойти к полураспахнутой двери и здесь позвать тихонько: «Надя»,— и там не будет стыдно в непроглядном мраке, и он упадет вместе с ней, с ее крепким телом, куда-то в гибельную жуть сладчайшего хаоса, что не в полную меру испытал раз до войны, словно бы во сне.

— Наденька,— сказал он, пробуя произносить ее имя шутливо, как произносил Илья, но подражание получилось натужным, насильным, и он проговорил шепо-

том в пугающий его проем двери: — Надя!.. Надя, послушайте...

— Иди ж сюда, хлопчик. Иди ж...

Он стал шарить рукой по стене, слыша сумасшедшие, рывки сердца, потом дверь заскрипела, шатаясь, заелозила на старых петлях, откинутая к стене сарая, а впереди из темени, пропахшей деревенскими запахами, сквозь удары крови в голове доходил до него неразборчивый шепот, певучий, быстрый, в одурманивающем медовом аромате сухого сена, и вдруг он наткнулся на горячие ловкие руки, потянувшие его к себе, на жарко дышащие раскрытые губы, ощутил мучительную близость полных, прохладных грудей, шелковистое тепло ее живота, чистоплотный, свежий огуречный запах ее шеи и плеч, упал вместе с ней на подстеленное одеяло в сено и, чувствуя, как подались ее колени под его коленями, внезапно замерз от влажных ее зубов, от ласкающего, бесстыдного движения ее объятий, от плывущего волнистого шепота, окутавшего его оранжевыми кругами:

— Ох, лышенько мое, хлопчик... Той лейтенант... такий удалый... Он сказав, шо я тоби нравлюсь, так целуй же мэнэ, хлопчик милый...

— Надя,— прошептал он, дрожа в ознобе, не зная, почему не в силах назвать ее Наденькой, как умело мог называть Илья, и повторял в знобящем его тумане стыда: — Надя, Надя... вы красивая, вы прекрасная...

— Хосподи, прости,— услышал он ее сдавленный, молящийся голос.— Муж мой убитый давно, а я одна як перепелка, сама себе муж и хозяюшка. Хосподи!..— произнесла она опять не то смеющимся, не то рыдающим голосом.— Який же ты гарный, ясный хлопец!.. Тэбэ зовуть Володя? Хосподи, лышенько мое! Володенька, хлопчик!..

Она, не вставая, жалобно вскрикнула, в тот же миг из тьмы озарилось зеленым светом, возникло ее лицо, огромно разъятые глаза со стоячими в них слезами — и странный свет умчался в раскрытую дверь клуни, мелькнул в саду, и все померкло.

Сначала он не понял, что за свет поднялся за садом, пронзив клуню, ее щели, не понял, потому что не расслышал выстрела. Но тут же совсем рядом раздался бутылочный хлопок, нарастающее шипение, и красно-зеленая комета широко распалась в вышине над железнодорожной насыпью, осыпаясь на макушки тополей

угасающей пылью. И вновь возникло, забелело вскинутое лицо полураздетой женщины с непролитыми слезами расширенных глаз, и Владимир, уже почти отстраненно соображая, зачем он здесь, уже предчувствуя что-то внезапное, неотвратимое, что должно случиться сейчас, вскочил на ноги и, на ходу затягивая ремень, выбежал под огненный дождь опадавшей третьей ракеты, нестерпимо ярко высветившей весь дворик, колодец-журавль, крупные яблоки на отяжеленных ветвях, железнодорожную насыпь вверху, за пирамидами тополей.

В этот краткий, растянутый на несколько секунд промежуток между светом и тьмой Владимиру почудилось движение фигур на железнодорожной насыпи, тотчас оттуда донесся нечленораздельный дикий крик, точно вывернутым горлом, и, обрывая, заглушая его, сверху пробили острым громом автоматные очереди. Трассы малиновой иллюминацией махнули по верхушкам сада, разрываясь в ветвях фиолетовыми огоньками. Два переспелых яблока, срезанных пулями, упали вблизи плетня, покатились по тропке, исчезли в траве.

Владимир увидел эти яблоки с необычной четкостью при буйном хаосе встававших впереди ракет, вздымающиеся фейерверки качались, свешивались за железной дорогой, и там перебойно, гулко гудели моторы, отдаваясь в лесу, все накаляясь и накаляясь железной вибрацией, и Владимир поразился: «Откуда появились танки? Ведь было двое суток так тихо...»

Возле двери домика он едва не столкнулся с Ильей. Тот выскочил во двор, полностью одетый, подпоясанный, перекрещенный портупеей, на бегу взглянул в ракетное небо, крича Владимиру:

— Начали? Ночью? Что-то на немцев не похоже! Давай со мной на энпэ! Яснее будет!

Когда выбегали из сада, от крайних тополей, росших вдоль кювета, метнулась суматошно под яблони темная фигура в зашуршавшей по ветвям плащ-палатке и взвился всполошенный оклик:

— Кто такие? Стрелять буду!

— Часовой! — позвал звонко Илья.— Назад! Свои! Куда рванул, спрашивается? Бегом, ко мне!

Часовой подбежал на заплетающихся ногах, голос его прерывисто сипел:

— Товарищ комбат, думал: немцы... за немцев вас принял...

— Ошалел? Откуда немцы в саду?

— Померещилось мне давеча: на насыпи галька вроде хрустела...

— Когда «давеча»?

— Минут десять назад похрустывать вроде начало...

«И мне тоже показалось какое-то движение на насыпи,— подумал Владимир.— Тоже померещилось?»

— Тогда почему раньше тревогу не поднял, часовой? О чем мечтал, балбес чертов?! — проговорил с презрительной яростью Илья и левой рукой так пхнул в грудь солдата, что тот, путаясь сапогами в траве, упал задом на землю, вскрикнул узким горлом:

— Не спал я, товарищ комбат!..

— А ну — прочь с глаз, дерьмо! — выругался Илья брезгливо.

Когда они вскарабкались по откосу насыпи к короткому ходу сообщения, когда увидели здесь, в окопе наблюдательного пункта, то, что с неотразимой остротой отбросило все сомнения, в первый момент показалось, что немцы уже отрезали их, зашли с тыла — две ракеты взмыли над опушкой леса, на том берегу ручья, неподалеку от огневых позиций трех орудий, загадочно померцали и погасли в загоревшейся на мгновение воде. Эти ракеты позади НП были так неожиданны, так опасны, что Владимиру явственно послышались крики немецких команд в стороне опушки леса, где стояли орудия, и он еле перевел дыхание:

— Все ясно, Илья! Кажется, немцы обошли! Я — на батарею!

— Погоди! Сейчас разберемся! Не паникуй!..— скомандовал Илья, бегло глянув назад, на опушку леса, и бросился влево к краю окопа: там, навалившись грудью на бруствер, сержант Шапкин короткими очередями стрелял из автомата вдоль железнодорожного полотна.— Слева обходят? — крикнул Илья.— Что? Автоматчики? Окружают энпэ? Где два пулеметчика из пехоты?

Шапкин обернулся, обнажив розовые зубы звериным оскалом, но не смог ничего членораздельно ответить, лишь мотнул головой в пространство, заполненное трассами, ревом моторов, полыхающими дугами ракет, вылетами орудийного огня, ослепляющими чернотой.

В этих промежутках выплесков огня и черноты Владимир увидел за железнодорожной насыпью начинавшееся правее леса поле, покрытое длинными скирдами

сена, между которыми шли, выползали из леса танки, вытянутым углом продвигались по полю вправо, вдоль фронта, к окраине станции. А около крайних станционных домов, позади бугорков пехотных траншей обеззвученно хлопали наши сорокапятимиллиметровые пушки, огрызаясь с лихорадочной торопливостью, а танки неуязвимо шли, все приближаясь к окраине, и при свете ракет тени их чудовищно вытягивались, изламывались, бросались толстыми щупальцами выстрелов к домам.

— Давай к орудию! — приказал Илья Владимиру.— Из сорокапяток только по мухам бить. Выводи орудия на прямую, поставь на насыпи! Отсюда удобно будет! Ну!..

— Лейтенант! Командир батальона у телефона! Пятый! Пехота тебя требует!

Из ответвления окопа неуклюжим силуэтом вырос старшина Лазарев, и Владимир, выбегая из хода сообщения, услышал, как прокричал Илья «пятому» в трубку, что орать, как зарезанному, на себя никому не позволит, что танки видит, сейчас поддержит пехоту огнем прямой наводки, и затем, услышав приглушенное его ругательство, обращенное к Лазареву, скатился по откосу насыпи в темную низину сада, то и дело озаряемого зарницами ракет.

Он ринулся напрямик, не разбирая тропинок, к мосту через ручей, увидел во дворе колодец-журавль под деревьями, клуню с раскрытой дверью, откуда недавно вылился ему в лицо запах молодого сена, парного молока и где тогда возник в потемках жаркий шепот женщины, ее притягивающие руки, ее откровенные движения тела, которые ожгли его стыдом,— и тотчас же мелькнуло в сознании, что ей надо немедленно сказать, предупредить о том, что здесь начался бой, находиться опасно, и он на бегу заглянул в плотную медовую темь сарая, крикнул задохнувшимся голосом: «Надя, вы слышите меня?» Никто ему не ответил. В следующую минуту он повернул к знакомому домику, толчком плеча распахнул дверь, снова крикнул в оранжевое зарево керосиновой лампы в углу маленькой кухни: «Надя! Уходите отсюда, немедленно уходите!» — и после того, как охнул жалобный голос и силуэт женщины заслонил ламповый свет, он отпрянул от двери, напрямую бросился к окраине сада, поскальзываясь в траве на подгнивших яблоках, а когда уже перескочил поваленный плетень

и, обливаясь потом, достиг бревенчатого моста, дыхания совсем не хватало, удары крови болью отдавались в контуженной голове, ракетный фейерверк прыжками кидался сзади, из-за спины, мчался над садом к верхушкам соснового бора, резал по глазам, рассыпаясь впереди на опушке, где будто выпрыгивали из тьмы на голый свет орудия, горбато выгибались буграми, и подпрыгивали, и приседали в невиданном танце вокруг них фигуры людей.

На подгибающихся ногах, шатаясь, утопая сапогами в вязком песке, он устремился к орудиям с командным криком:

— Передки на ба-атар-рею-у!..

«Опять я ничего не слышу! Я опять оглох!» — пронеслось у него в голове, скованной пульсирующей болью, но тут вблизи он увидел лиловые пятна лиц, замельтешившие сбоку орудий, нечетко всплывали голоса солдат, повторяемые команды, железный стук сводимых станин и почему-то пресекающийся тенорок замкового Калинкина, вонзенный в уши:

— Что деется, что деется!..

Наверное, разбуженные тревогой, ездовые еще не очнулись полностью, упряжки с передками выехали из укрытия в лесу не очень ладно, задергались вправо и влево на бугре, наконец скатились к орудийным позициям, и здесь ездовые, крича на лошадей, бестолково суетясь в седлах, неловко развернули передки, зигзагообразными рывками подали назад, орудия с грохотом крюков прицепили, так что вскинулись дышла, задрав головы лошадей, и Владимир вспрыгнул на подножку передка выехавшего первого орудия, одновременно на другую подножку вскарабкался сержант Демин.

— Рысью! На дорогу! Через мост! К переезду!

— К переезду, мать вашу! — заревел Демин, наклоняясь вперед, к ездовым.— Быстра-а!..

Ездовые захлестали лошадей, лошади рванули с места, захрустел песок под колесами, увязшими сразу за огневой, затем передок забросало по колдобинам, справа налево, Владимир еле удержался на передке, вцепившись в поручни, затем копыта лошадей крепко застучали по набитой дороге, глухо забили в бревенчатый мост через ручей, спереди стремительно начала приближаться полоса переезда. Там, за железнодорожной насыпью, каскадами извивались стаи ракет, пронизанные встреч-

ными потоками трассирующих пуль, а слева, внизу, появлялся и пропадал в прыжках света яблоневый сад, домик среди деревьев, где была женщина с ее бесстыдными руками и полной грудью...

«Сейчас мы проскочим переезд, повернем налево к НП...» — скользнуло у Владимира, и он хотел подать команду ездовым, но не успел, и не понял, что произошло в следующий миг...

Орудийная упряжка выскочила на переезд, на высоту насыпи, как бы взлетев в небо над пожарами в станционном поселке, над ползущими телами танков впереди, вытянутых слева направо к окраинным домам,— упряжка выскочила на переезд, и тогда железным треском ударило в уши, ослепило взорвавшимся под ногами лошадей пламенем. Две выносные на полном скаку грохнулись на передние ноги, коренные с храпом налетели на них, передок подбросило и перекинуло на бок, и, заглотнув немецкого тола, наползающего клубами дыма, оглушенный на земле силой страшного толчка, Владимир смутно сообразил, что стреляли по орудию в упор, с невероятно близкого расстояния, потому что не было слышно выстрела, и, пытаясь подняться, он напрягся крикнуть второму орудию, чтобы остановились внизу, не выезжали на переезд, на это открытое место,— и в ту же секунду увидел метрах в шестидесяти справа, прямо на железнодорожной насыпи темную неподвижную громаду танка с низко опущенным, длинным, подрагивающим стволом.

Второй снаряд лег точно в середину второй упряжки, выносные, вздернутые рванувшимся снизу огнем, встали на дыбы, ездовых выкинуло из седел, коренные потащили передок куда-то влево, вслепую поволокли орудие под откос, и оно перевернулось на одно колесо, с металлическим скрежетом отламываясь от крюка передка, покатившегося вместе с коренными лошадьми в низину.

Танк, вышедший к железнодорожному полотну, расстреливал в упор орудия, не приведенные к бою, и предсмертное бессилие дохнуло вдруг могильным холодом, и Владимир, подавая какие-то команды, крича, приказывая, видел солдат, ползущих к орудию, и не видел никого в отдельности, ненавидя себя и их за вот это отвратительное муравьиное ползанье по земле перед тан-

ком, неумолимо расстреливающим на переезде орудия, еще не сделавшие ни единого выстрела.

«Успеть бы выстрел, только бы один по танку»,— промелькнуло в его голове, и, лежа на переезде, не слыша своего голоса, он повторял команды солдатам, приказывал, умолял привести орудие к бою, заряжать на коленях и гневно ругался, и чувствовал, что плачет слезами бессилия.

Потом он услышал третий выстрел танка. Танк стрелял по третьему орудию, свернувшему после двух выстрелов с железнодорожной насыпи в сторону от дороги. Орудийная упряжка неслась по откосу прямо в низину, к плетню сада, и танковый разрыв рванул позади щита, не задел ни орудие, ни расчет, который рассыпался по низине.

«Успеть бы выстрел, только бы...» — думал он и, как в бреду, торопя солдат, наталкиваясь руками на чьи-то потные плечи и спины, помогал расталкивать железо тяжелых станин, обрадованный тем, что танк выпустил из поля прицела два оставленных им орудия на переезде, стрелял по третьему, уходившему из-под разрывов, и эти секунды передышки, случайно данные ему последней попыткой вырваться из этого смертного дурного сна, колотили его дрожью безумия одной и той же мысли: «Успеть бы выстрел, только бы выстрел».

Он не знал тогда, что от этого выстрела отделяла его целая вечность, сотня возможных случайностей, вся человеческая жизнь и секундный чужой взгляд в цейсовский прицел. Но тогда он очень точно знал, что его орудие, подобно мишени, торчит на переезде в шестидесяти метрах перед танком, выделенное угольно-четкой выпуклостью щита,— и («Господи, помоги!») все пустынно открыто металлическому холоду гибели. Тогда он не был готов к смерти, к этой величайшей несправедливости, и видел муть страха, тупое отчаяние, ожидание крайней секунды в глазах солдат, хищно застывшее лицо сержанта Демина, по-звериному, на четвереньках подползавшего к прицелу, разъятый зев казенника, раздвинутые станины, упертые сошниками в костыли отполированной рельсы, дрожащий подбородок Калинкина, сутуло наклоненного над расколотым снарядным ящиком, упавшим со станин в тот момент, когда, оглушенные разрывом, коренные лошади натолкнулись на убитых осколками выносных.

«Где Илья? Илья же должен был видеть с НП, что произошло с нами на переезде»,— хотел сообразить Владимир, в то время как он выкрикивал одну и ту же команду, имеющую для всех значение общей гибели, и в беспамятном бешенстве, опережая Калинкина, выхватил из ящика снаряд, втолкнул в казенник, елозя на коленях около станин.

Когда кислотным воздухом сгоревшего пороха ударило по лицу, он, ослепленный молнией выстрела, не мог определить попадание своего снаряда, только тут же огненный вихрь просвистел над головой, хлестнул по железу, и кто-то охнул возле орудия, вскрикнул: «Что деется, что деется, с тылу бьют!» — и сержант Демин оглянулся от прицела сумасшедшими глазами. Снизу к переезду подымалось на рыси третье орудие, впереди с автоматом через шею бежал Илья, кричал что-то ездовым, испуганно пригнувшимся к спинам лошадей, а сзади, с опушки соснового бора, где недавно стояли орудия, бил им вслед немецкий ручной пулемет трассирующими очередями. И Владимир понял, что Илья, увидев с НП то, что происходило на переезде, бросился навстречу третьему орудию, чтобы вывести его на огневую позицию против танков, атакующих станционный поселок. Но лишь на мгновение мелькнули бегущий по дороге Илья с автоматом, орудийная упряжка, близкие очереди немецкого пулемета с тыла — и все исчезло в скачках пламени и треске, в грохоте, визге, в удушье немецкого тола. Неистовой силой разрывов орудие подбрасывало на переезде, дым, разрываемый зубьями огня, проносился над щитом, расчет, кашляя, задыхаясь, отползал под насыпь, появлялась и пропадала в этих слепящих сполохах скрюченная спина сержанта Демина и с заглушенным криком («Демин, Демин!»), отталкиваемый от орудия дикими обвалами раскаленного ветра, забивающего рот и ноздри, Владимир различил в какой-то задымленной проруби света очертания задранных к небу лошадиных голов выскочившей на переезд упряжки третьего орудия, скошенные в страхе на Илью глаза переднего ездового, а Илья с упорством дергал за повод упирающихся выносных, злобно озираясь на залегший под разрывами расчет. «Встать! Встать! К орудию!» Звук человеческого голоса слабо выплескивался из хаоса воющих и скрежещущих звуков — грохот выворачивал шпалы вокруг переезда, разламывал землю справа и впе-

реди орудия, и Владимиру чудилось, что уже несколько танков, отрезая станционный поселок, вышло из-за скирд в поле, поднялось из низины на железнодорожную насыпь, где чадно дымил первый танк («Попал я, попал!..»), и перекрестные снарядные трассы взрывались смерчем с двух сторон на переезде. Он хотел точнее определить, откуда били танки, и, задушенный гарью, с трудом поднял голову, ставшую многопудовой.

Не было упряжки третьего орудия и переднего ездового с искаженным в страхе лицом, повернутым к Илье, не было и самого Ильи, отчаянно дергавшего за повод выносных лошадей,— все это возникшее на переезде минуту назад черным спутанным клубком катилось под откос, туда, в низину, откуда только что по дороге выводил упряжку Илья. Орудие, не сдерживаемое расчетом («Где они? Убило всех?»), железной силой тяжести волокло за собой перекосившийся поперек дороги передок, четырех лошадей без ездовых, с ржанием боли встающих на дыбы, падающих на колени, ломающих ноги. Вся спутанная, раздерганная, не управляемая ездовыми упряжка скатывалась по насыпи вниз, а с опушки бора и уже из сада прошивали тьму автоматные очереди зашедших с тыла немцев, вонзились в этот огромный клубок, добивали обезумевших под танковыми разрывами лошадей.

«Погибнуть?.. Вот здесь? Сейчас?..» — стучало в висках Владимира, придавленного визгом, раскаленностью осколков к шпалам, а они вздрагивали под ним, толкали его в грудь, и, контуженный, с тошнотными судорогами в животе, он не ждал боли, разрывающей осколками тело, этого прощального ощущения плоти, он ждал впивающегося удара в голову и мгновенного обвала в черноту... И с ненавистью к гадливой скользкости своего страха, прижавшего его к земле, он пытался сообразить, что надо встать к орудию, продолжать огонь, и пытался поднять голову. «Илья! Где Илья? Где Илья? Где Демин? Где Калинкин?..»

— Володька! Жив?..

Кто-то тяжело упал рядом с ним, затряс за плечо со злобной силой, и вплотную увидел он налитые неистовством глаза Ильи, его искривленный рот, его черные волосы, косо прилипшие к потному виску. Он кричал яростно:

— Что лежишь! Подыхать будем?.. Два офицера у

орудия — и подыхать? Заряжай! Заряжай! Заряжай, Володька, заряжай!..

И, отталкиваясь от плеча Владимира, стремительно встал на колени, потянулся к прицелу, но его левая рука ползла к маховику неуклюжими толчками, а вся кисть и рукав гимнастерки были почему-то дочерна замазаны землей, и он не сумел охватить маховик подъемного механизма, его пальцы, сплошь замазанные грязью, ткнулись в металл, как мертвые.

— Что? Что? — крикнул Владимир, на коленях вбрасывая снаряд в казенник.— Что, Илья?

— Заряжай! Подыхать потом будем! Пото-ом!..— выхрипнул бешеным шепотом Илья и перекосился всем корпусом, попеременно вращая маховики правой рукой, торопливо вжался лбом в наглазник прицела, оскалил зубы и нажал спуск.

Передние танки входили в станционный поселок, окраинные дома пылали пожарами, по улочкам валы красного дыма катились вместе с каруселью искр, затопляли низину, подступали к железнодорожному полотну возле здания станции, где в огненном месиве сновали серые людские фигуры, сталкивались трассы автоматов и, зачерняя небо крутыми клубами, горела на путях за крышей пакгауза цистерна с нефтью. И там, ближе пакгауза, освещенные пожарами танки подымались на железнодорожное полотно, переваливали насыпь, выходили на другой берег ручья, прорвав оборону нашей пехоты...

...Они успели расстрелять по танкам два ящика снарядов, оглохнув в грохоте выстрелов, не слыша команд друг друга, почти инстинктивно угадывая попадание трасс, матерясь обезумелыми словами ненависти при всплеске багрового пламени на танковой броне, но внезапно снарядный грохот срезала неправдоподобная тишина. И автоматные очереди, пущенные сзади и справа, с отрывистым звоном пробили по телу орудия. Илья, стоя на коленях у прицела, отшатнулся вбок, ослепленный трассой, глянул узкими глазами в том направлении, откуда прилетела она, и с неузнаваемо изуродованным злобой лицом сейчас же упал животом между станин, вырывая из кобуры пистолет:

— А, сволочи! С тыла обошли!

Он упер в станину вытянутую руку и выпустил несколько пуль подряд по групповому движению людей

на бревенчатом мосту, откуда неслись пульсирующие вспышки, и в тот момент Владимир заметил в отблеске пожаров на насыпи цепочку немцев, которые продвигались вдоль рельсов к переезду, рассыпая пучки очередей, а снизу, из сада, подымались по откосу бегущие тени и насыпь близ переезда, и мост, и дорога прошивались, прожигались насквозь автоматным огнем — дикая метель разрывных пуль сгущающимися огоньками танцевала в траве по откосу, по железнодорожному полотну, опаляя смертельным ураганным жаром,— и невозможно было поднять головы.

— Нас отрезали, Илья! Видишь?

— Все! — дошел до Владимира его хриплый, задохнувшийся голос.— Окружили, сволочи! Уходим! Все! По ручью! По ручью! К станции!.. За мной!..

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Он не помнил точно, как они прорвались к ручью, скатились по насыпи вниз и здесь, в низине, на несколько секунд задержались, поджидая отставших, кто по команде Ильи поднялся за ними и снова залег на дороге, с трех сторон придавленный огнем к земле. И тут, в низине, в минуту этой передышки, Владимир наконец увидел, что левая кисть Ильи, безжизненно ткнувшаяся перед стрельбой пальцами в маховик орудия, была измазана не грязью, а кровью, и сообразил, что он ранен. Присев на землю, Илья сунул пистолет за ремень, зубами разодрал индивидуальный пакет, стал наспех обматывать кисть бинтом. Лицо его при этом досадливо скривилось, и, кривясь, он кивком приказал Владимиру завязать болтающийся конец бинта, выругался скороговоркой:

— Онемела, сволочь, как деревянная!

И это был последний звук, который разборчиво слышал Владимир вместе со звуками стрельбы. Все поплыло в вязкую звенящую глухоту. Он увидел приказывающий взмах пистолета, зажатого в правой руке Ильи, потом обагренные заревом, напрягшиеся, с выпученными глазами лица Демина и Калинкина, распятый задышкой рот старшины Лазарева, спотыкающимися скачками сбегавшего по откосу, кроваво-красный звериный оскал сержанта Шапкина при вспышках автомата, который тот часто вскидывал к плечу, и после каждой очереди

как-то боком пятился, соскальзывая по обрыву к берегу ручья.

А Владимир то окунался в глухой, плывущий колокольный звон, то выныривал в просвет оглушающей реальности, тогда жестокая внезапность ночи вставала в его сознании. Но вся неумолимость обстоятельств ощутилась им, как только пробежали километра два по низине ручья, прорвались в лес, и здесь Илья остановил всех, придерживая раненую руку, обметал солдат ненавидящими глазами, проговорил, задохнувшись:

— Значит, бросили орудия? Мы?..

— Неужто, лейтенант, в плен захотели? — сырым голосом крикнул Шапкин, обтирая пилоткой пот с шеи.— Еще б немного — и «хенде хох, битте!». Объегорили нас фрицы...

— Мерзость! — выговорил Илья, и ненависть не угасала в его глазах.— Мерзость, мерзость...

Звуки боя оставались позади, но скоро стрельба, громы разрывов приблизились спереди и слева, а когда миновали полосу леса, открылось в сером рассветном воздухе зеленеющее поле и заросшая соснами высота в межлесье. Там, на дороге, у подножия высоты стояли два запыленных бронетранспортера, невдалеке в глубоком кювете, возле задранных стволов минометов появлялись и отскакивали в момент выстрела солдаты. С жесткой звонкостью мины уносились в зенит, разрывы вздымали землю в конце поля, где перебежками отступала наша пехота и уже окапывалась, закреплялась на скате высоты, вблизи дороги, что уходила через пшеничное поле до самой станции. Станционный поселок, окруженный ночью и взятый немцами к рассвету, горел за этим пшеничным полем, за железнодорожным полотном, затягивая дымами светлеющее небо, а из-под этих дымов широкими квадратами переваливали насыпь танки, ползли куда-то влево от станции к опушке леса, и крупнокалиберные пулеметы били с насыпи по всему полю и высоте.

Около двух бронетранспортеров толпилась группа пехотных офицеров, усталых, обросших в течение бессонной ночи; жадно курили, отдавали команды связным, наблюдали станцию в бинокли, и один из них с грозными круглыми глазами начальственно закричал, выпрастывая руку из-под полы плащ-палатки:

— Что за люди? А-аткуда? — И, тотчас узнав ар-

тиллеристов, двинулся навстречу Илье, заговорил с изумлением: — Ах, полковая батарея? А где же пушки? Где пушечки, лейтенант? Куда это ты ведешь людей, интересно? Не на прогулочку ли по окрестностям? Пушечки где?

— Мне надо доложить командиру полка,— проговорил Илья сжатым голосом, каким никогда раньше не унизился бы говорить со старшим по званию офицером, и подбородок его вместе с голосом дрогнул.

Занятые наблюдением офицеры опустили бинокли, подозрительно, недружелюбно покосились на Илью, на сгрудившихся артиллеристов, расхристанных, потных, тяжко дышавших, закопченных толовой гарью, с опрокинутым внутрь рыскающим взглядом, который бывает у людей, еще помнивших кожей дыхание заглянувшей в душу смерти,— растерзанный вид солдат, сбившиеся ремни, провалы щетинистых щек отразились на лицах пехотных офицеров раздраженной неприязнью, и кто-то скрипуче сказал с раздавливающим приговором:

— Бросили пушки и драпанули, трусы? В пехоту их, капитан Гужавин! А после боя — под трибунал!

Владимиру до судороги в горле не хотелось видеть человеческую плоть этого скрипучего голоса, с таким нещадным равнодушием подписавшего им приговор, точно от этой секунды все изменилось, все подчинилось неписаному закону войны, молниеносно обесценив их жизни, вывернув наизнанку перед незнакомыми пехотными офицерами нечто безобразно-позорное, унижающее, и теперь не было ни понимания, ни прощения в мире после постыдно совершенного преступления.

— А ну! В пехоту! Всех! Кроме офицеров! Давай сюда! — скомандовал капитан Гужавин и грозными глазами приказал следовать в направлении высоты, где за дорогой окапывалась пехота.— Бегом!

— Нет! — сказал Илья и шагнул к капитану, побелев лицом.— Никому я своих людей не дам! Пока командиру полка не доложу!..

— Мо-олча-ать! — пронзительно крикнул Гужавин и, круто откинув полу плащ-палатки, уронил правую руку на кобуру.— Силой погоню,— как дезертиров, если пикнешь хоть слово!

— А вы тоже — молча-ать! — взвизгнул Илья в каком-то захлестнувшем его безумии, и по тому, как он взбешенно выхватил из расстегнутой кобуры задрожав-

ший в его пальцах пистолет, по тому, как сузились его посинелые губы, было видно, что он готов к самому крайнему в своем неистовом сопротивлении.

— Что ты сказал, лейтенант? Что-о?

— А то, что слышали, капитан!

Владимир чувствовал, что сейчас случится непоправимое между капитаном Гужавиным и Ильей, но все испытанное ночью — гибель лошадей в упряжках, расстрелянные танками орудия на переезде, прорыв из окружения семи человек, оставшихся в живых от батареи,— все выглядело в глазах пехотных офицеров бегством, непростительным спасением жизни ценой брошенных орудий, и это сопротивление Ильи было в их глазах жалкой попыткой бессмысленной защиты.

И капитан, помедлив, сказал с пренебрежительным согласием издевки:

— Давай-давай, герой, докладывай командиру полка! Он тебя к орденку представит за храбрость! Девять граммов получишь на закуску или рядовым в штрафной батальон, как подарочек. Пошли, доведу, пошли! Герои из города Драпова! Храбришься еще! Интеллигентик мармеладовый! Ты — молодец!..

Он зло хохотнул, перескочил кювет и, решительный, непримиримый, зашагал вверх по высоте, крепко и прочно ставя хромовые сапожки.

Вталкивая пистолет в кобуру, Илья пошел за ним, слегка покачиваясь, будто в обморочной пустоте, трава мокро зашумела по его голенищам, а предутренний туман курился, стекал прядями по скатам, переваливался в кустах разорванными дымными пластами.

Позади бой не затихал, но здесь, на высоте, было безлюдно, сумрачно, сырой воздух зарождающегося утра прохладно и липко омывал потное лицо Владимира, и все тошнотно потягивало в животе от злого молчания капитана, с мстительной твердостью ступающего вверх по скату, от угрюмой замкнутости Ильи, который, стиснув зубы, ни разу не оглянулся на солдат, оробело приотставших за спинами офицеров. И Владимир вдруг подумал, что их ведут на казнь, что ничего не поможет им и никто из них не сумеет оправдать сложившиеся обстоятельства на железнодорожном переезде и те никем и ничем не рассчитанные минуты, когда батарею отрезали, окружили автоматчики и когда пришлось бросить

орудия, с трех сторон расстреливаемые в упор... «Что же это? Что случилось со всеми нами? Почему мы не остались драться в окружении и не погибли там?..»

На вершине высоты, в межлесье, стояли три «виллиса» и зеленая штабная машина с открытой торцевой дверцей, из которой доносились электрические разряды радиостанции. Около машины четверо солдат в распоясанных гимнастерках копали ровики, по-видимому, для штабных офицеров, сгрудившихся над картой, разложенной на пеньке, возле которого двое связистов устанавливали, заземляли телефонный аппарат. Рядом с ними расположился на плащ-палатке, поджав под себя ногу худенький, остролицый, с седеющими висками майор Воротюк. Он брезгливо жевал бутерброд, белый сухарь, намазанный маслом, и так же брезгливо запивал его молоком из железной кружки, вскидывая на офицеров глаза, сквозные, коричневые, узко посаженные к крюковатому носу, что придавало ему ястребиное выражение, вызывающее желание уклониться от его зрачков. Поблизости, сдвинув тугие колени, открытые тесно натянутой суконной юбкой, сидела белокурая, вся будто выточенная из белой дорогой кости молоденькая фельдшерица из медсанбата, «фронтовая подруга» командира полка, как говорили иные офицеры, вернее — его жена, которую майор любил без памяти и возил с собой повсюду, не стесняясь укоров начальства. Майору Воротюку, храбрейшему и исполнительному офицеру в дивизии, чьи батальоны всегда принимали на себя самый нелегкий солдатский крест (взятие высоток, первоначальное форсирование рек, разведка боем), прощалось многое, тем более что язвенная болезнь позволяла ему беспрепятственно лечь на излечение в госпиталь, отвергаемый им в периоды затишья.

Плоские губы Воротюка были в молоке, он неохотно, как лекарство, цедил его из кружки, белокурая фельдшерица, строго опустив ресницы под украдчивыми взглядами копающих ровики молодых солдат, тоже завтракала, негромко грызла сухарики, макая их в тарелку с медом, поставленную озабоченным полковым старшиной на расстеленную посреди поляны скатерть, необычную чистоплотной огромностью на траве и диетической едой — молоко, масло, сухарики,— которой и довольствовался майор Воротюк.

Владимир ни разу не встречал в подобных обстоя-

тельствах командира полка, обыденно занятого завтраком, в то время как они обязаны были доложить ему о неуспешном ночном бое на железнодорожном переезде, о брошенных в безвыходном положении трех орудиях,— и холод надвигающейся опасности прошел по его влажной спине в ту минуту, когда капитан Гужавин остановился перед белым полем скатерти, выпростав из-под плащ-палатки правую руку, и начал с решительной злостью докладывать Воротюку. Майор вскинул сквозные ястребиные глаза на Илью, перевел взгляд на группу артиллеристов, замерших в виноватом ожидании, и в этом хищно нацеленном взгляде стало накаляться металлическое безжалостное острие, навстречу которому тогда самоотрешенно сделал шаг Илья, выговорил глухо:

— Товарищ майор...

— Молчи,— еле внятно произнес Воротюк тонким хриплым голосом и поставил кружку с молоком на скатерть около кучки сухариков.— Отвечать будешь, когда я спрашивать начну. Назначил я тебя командиром батареи, лейтенант Рамзин, и совершил ошибку. Выправка у тебя гусарская, а душонка заячья. Что, драпали так, что ноги в зад влипали? И ты от позора пулю в лоб себе не пустил? — Он потер детскими пальцами живот, где, наверно, грызла его боль, и помолчал, впиваясь остриями зрачков в лицо Ильи.— Ты хорошо знаешь, что полагается офицеру за дезертирство с поля боя?

Илья, по-строевому вытянувшись, молча стоял впереди всех, в трех шагах от командира полка, и заметно было, как напрягались лопатки под его пропотевшей до нитки гимнастеркой.

— А вы, вы, боги войны, хорошо знали, что делают с дезертирами? — повторил тонким режущим голосом Воротюк, вонзаясь зрачками во Владимира, потом в группу артиллеристов.— Когда бежали от орудий, знали, что вы уже не воины, а мертвецы? Знали, что вас, как трусов и дезертиров, по приказу двести двадцать семь расхлопают к хренам? Так чья пуля слаще — немецкая или русская? А я-то считал, что вы погибли как герои... Как герои! Расстреляли все снаряды и погибли под гусеницами танков, но не ушли, не драпанули!.. Ах, трусы, трусы!

Он произнес последние слова с брезгливым сожалением, однако в облике его — худенькой фигурке уже се-

деющего мальчика, сплошь сверкающей золотом и серебром груди, в остром книзу лице — все было непоколебимым, жестким, холодным.

— Дозвольте сказать всю правду, товарищ майор?

— Это кто еще там? Какую там еще правду?

— Мы бы не ушли, товарищ майор, ежели б не приказали...— послышался прерываемый густым дыханием тяжелый голос, и внезапное ощущение необратимой беды душным крылом царапнуло по виску Владимира, отдаваясь ударами в голове: «Что говорит Лазарев? О чем? О каком приказе?» — Ежели б не приказ, стояли б до последнего и танки к станции не допустили. А приказ офицера для солдата закон...

И майор Воротюк перебил его нетерпеливым вскриком:

— Кто именно отдал приказ бросить орудия? Кто именно?

— Не отошли бы мы, товарищ майор. Не в первый раз с танками,— покорно загудел Лазарев.— Лейтенант Рамзин приказал, ежели всю правду...

Внизу гремучим звоном распадались разрывы танковых снарядов, заглушая пулеметные очереди, и по краям поляны парил над травой легчайший туман, и неестественность чисто-снежной скатерти, зачем-то расстеленной на траве, горка пшеничных сухарей, котелок, наполненный синеватым молоком, маленькая, отчетливая фигурка Воротюка, сидевшего с поджатой ногой, неприступно опущенные ресницы белокурой его жены, переставшей грызть сухарики, и этот нагловатый, корявый бас старшины Лазарева, вроде бы исполненный жажды справедливости и правды, неожиданной силой угрозы вырвали Владимира из состояния оцепенения, и, может быть, потому, что у него заболели глаза, разъеденные пороховой гарью, он не очень ясно различил Лазарева, выступившего вперед. Весь потный, до пояса заляпанный грязью (сначала бежать пришлось по топкому берегу ручья), он в позе послушной готовности застыл в трех шагах от скатерти, округливая злые ноздри.

— Вы о каком приказе говорите? — спросил Владимир с замедленным непониманием.— Я что-то вас не видел возле орудий, когда мы стреляли по танкам...

— Дозвольте уж сказать всю правду товарищу майору! Вы мне рот не затыкайте! — повысил гудение баса Лазарев и одновременно как-то заискивающе попы-

тался поймать щекастым своим лицом внимание Воротюка.— Ежели б товарищ лейтенант Размин... я извиняюсь, товарищ майор, не с бабой ночку проамурил, мы бы огневую позицию за насыпью успели занять и прямой наводкой огонь по танкам открыть. Запоздали с огнем.

— Да что еще за баба? О чем балабонишь, старшина? — опять перебил его Воротюк, обнажая мелкие, сахарные зубы, и искоса глянул на зарозовевшее лицо своей молодой жены, видимо, раздосадованный объяснением Лазарева.— Откуда еще в батарее у вас баба?

И Лазарев, напруживая вдохом могучую грудь, ответил сниженным тоном невинного простодушия:

— Баба молодая в доме была, около энпэ нашего, товарищ майор. С ней у лейтенанта Рамзина амуры начались. Немцы в атаку пошли, а лейтенанта на энпэ нет, с бабой на сеновале балуется...

«Да он клевещет на Илью»,— пронеслось в голове Владимира, удивленного молчанием Ильи, а тот попрежнему стоял впереди остальных, намертво соединив каблуки, разведя плечи, окаменев в строевой подчеркнутости образцово вышколенного офицера, виновного перед высшим начальством.

— Какая чепуха...— сказал Владимир бесплотным, потерявшим силу голосом, какой бывает в бреду, когда распирающий крик колотится в горле, но вырывается немощным звуком.— Был с женщиной я, а не лейтенант Рамзин! — вдруг упруго выговорил он, уже беспамятно подымаясь в неуправляемые поднебесные края отчаянного и опаляющего бесстрашия, не разумом, а стыдом сознавая необходимость истины независимо ни от чего, от одной мысли, что может предать Илью, прошлое, Москву, школу, все между ними, согласный на собственный позор, на самую предельную самокарающую искренность.— Лейтенант Рамзин находился в доме на энпэ, а я был... это я был на сеновале,— продолжал Владимир, ощущая разламывающую боль в висках.— Когда начался бой, лейтенант Рамзин приказал мне поставить орудия на новую позицию против танков. Впереди не было пехоты... Немцы начали атаку, и мы открыли огонь. Дело не в запоздании... Убило лошадей в упряжках. Нас окружили на переезде. При чем здесь женщина?

— Товарищ майор, дозвольте сказать! — с доказы-

вающей правотой убежденного в святой неопровержимости человека заговорил Лазарев и при этом ступил на шаг ближе к Воротюку.— Товарищ майор, веры мне мало, не офицер я. А лейтенанты дружки школьные. Они и женщину, извиняюсь, на двоих употребили, об чем говорить не хотел... а то ведь вроде все вранье в моих словах, товарищ майор. Как присягу, хочу сказать: нету тут солдатской вины. Приказ лейтенанта Рамзина был — и орудия бросили...

— Значит, приказ выполняли,— жарким шепотом переспросил Воротюк.— Бросить орудия? Драпать? Пропустить танки к станции? Вон, смотрите, где они!.. Ну-ка, сюда смотрите! Все смотрите, сукины сыны, артиллеристы козьи! — выкрикнул он визгливым голосом и вскочил на ноги, малый ростом в щегольских брезентовых сапожках, завеса орденов всколыхнулась на груди, плоские губы его повело вкось.— Кто их должен был остановить? Христос? Кто?..

— Товарищ майор, вас первый... командир дивизии...

— Первый? — Воротюк разгоряченно вырвал у связиста протянутую трубку и, выдохнув: «Четвертый слушает»,— начал нервно поглаживать живот, а худое лицо его стало еще больше подрезаться, приобретать желтоватый оттенок, и он повторял с придыханием: — Так точно, товарищ первый, буду контратаковать. Буду контратаковать. Полковая батарея погибла на прямой наводке, танки прорвались на станцию. Мой грех. Мне искупать. Разрешите доложить обстановку через два часа, товарищ первый?

Вся высота, мокрая поляна, деревья и кусты, туман, волнисто плавающий над похолодевшей травой, были уже отчетливо видны в прозрачном воздухе июльского рассвета, а внизу, в той стороне, куда сбегали по крутому склону сосны, соединялись дымами обесцвеченные утром пожары на станции, учащенно перекатывались удары разрывов, черно и выпукло проступали меж горящих домов немецкие танки, и вместе с завыванием моторов ввинчивался в уши и клейкий голос майора Воротюка, закончившего разговор с командиром дивизии.

— Так кто же должен был танки остановить? Хрен моржовый или морж без хрена? Кто, я тебя спрашиваю, лейтенант? Я? Командир дивизии? Командующий армией? Кто, я тебя спрашиваю? Неужто среди вас не нашлось ни одного Матросова? Гранатами бы обвязались

и — под танки, если другого выхода не было! — Его близко посаженные к носу глаза всосали в себя Илью и, распятые гневом, стали обезображенно дикими, неукротимыми.— Эх вы, герои моего полка! Немчишки батарею окружили, а вы ноги в руки и драпать? Жизнь свою драгоценную спасали? Что молчишь, командир батареи (Илья стоял навытяжку в окостенелой тупой неподвижности)? Так вот мой приказ, лейтенант, слушай сюда внимательно, если жить хочешь! Всем назад — к орудиям! Сумели бросить, сумейте и взять! Что угодно делайте — атакуйте, выкрадывайте свои орудия, выносите по частям из окружения! Что хочешь делай, комбат, но чтоб орудия в полку были! Чтоб были они, как у молодого в субботу! Вот здесь, у высоты, были! Не будет орудий, пойдешь под трибунал! В первую очередь именно ты, комбат! И все с тобой! Ты за все в ответе! Все тебе ясно, лейтенант? Иди и подумай, какая пуля слаще! Наша или немецкая! Иди! Ма-арш отсюда! Уводи людей! Ма-арш!..

Он полоснул рукой по воздуху, отрубая этим жестом иную возможность, и в тот миг Владимир подумал, что Воротюк не остановится ни перед чем в своем гневе, в своем осуждении батареи, не сумевшей задержать танки на подступах к станции, которую два дня назад успешно взял его полк.

— Постой-ка, лейтенант,— сказала белокурая фельдшерица и поднялась, тоненькая, нахмуренная, взяла Илью за локоть, осмотрела перевязку на его кисти.— Потерпи, я свежий бинт наложу. А то столбняк получишь.

Он высвободил локоть, не отвечая ей.

— Ясен приказ, лейтенант? Ясен? — повторил накаленно, поглаживая живот, Воротюк, как бы взвинченный приступом язвенной болезни, но еще и тем, что Илья по-прежнему молчал в той же позе вышколенного строевого офицера.— Так вот, запомни, лейтенант! Не будет орудий, отдам как дезертира и труса под короткий суд! Ясно это, спрашиваю!

— Ясно. Но я не хочу предоставлять вам этого удовольствия,— с тихой сумасшедшей яростью сказал Илья и не то засмеялся, не то всхлипнул задавленными в горле слезами.— Лично вам, товарищ майор.

Все смотрели на него.

Больше ни звука Илья не произнес, повернулся рез-

ким механическим поворотом, будто сработала пружина внутри его, и тут стало видно — страшное ледяной застылостью, стянутое на скулах, утратившее обычную смуглость и без кровинки лицо приговорившего себя к мучительной смерти святого,— а когда он быстро пошел прочь от Воротюка, голова вздернулась, взгляд цепко нашел фигуру Лазарева и точно физическим толчком ненависти отодвинул его в сторону.

— А этот старшина — гадина,— вполголоса сказала фельдшерица, не без вызова обращаясь к Воротюку.— Вы не видите, товарищ майор, что он врет? Врет как сивый мерин!

— Лучше всем до одного умереть героями, чем гнить в земле падалью! — выговорил Воротюк.— Кто из них врет — не меняет дела!.. Пропустили танки — кровью, кровью пусть вину искупают!..

— За мной,— хрипло сказал Илья, и те, кто ждал и боялся этой команды, двинулись за ним обратно по этой поляне, по заросшему склону вниз, туда, где рев танковых моторов разрывал, дробил, колыхал клочья тумана в низине и наползающая сырость раздробленного воздуха окунала лица в знобкий холод.

Офицер в плащ-палатке, капитан Гужавин, зло покусывавший травинку во время разговора, пальцем поманил Лазарева, и они, отстав, спускались последними.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В лесу сначала бежали вдоль фронта, потом шли, не делая ни привалов, ни коротких передышек,— справа непрерывно, колесообразно, катились звуки недалекого боя, иногда обваливались на опушку грохоты разрывов, а слева утренняя тишина отзывалась перекатами эха в туманной чаще.

Илья с рукой на перевязи шагал впереди, как заведенный, не подавал команд, не торопил, не оглядывался на остальных; его гимнастерка на лопатках потемнела разводами пота, к засохшей грязи и пыли, черневшей на вчера еще новых брезентовых сапогах, слоями прилипла хвоя, расстегнутая кобура беспрестанно цеплялась за кусты, болталась на правом бедре, выказывая рукоятку пистолета.

Владимир шел позади него, чувствуя душную тяжесть в этом непробиваемом спокойствии Ильи, в этой

молчаливой разъединенности всех, кто безропотно двигался за ними, подчиненный приказу Воротюка, который даровал им несколько часов жизни, чтобы сделать попытку вытащить орудия из окружения. «Как вытащить? Без лошадей? На руках? А немцы?..»

И все назойливее, все настойчивее билась в сознании фраза Воротюка, сказанная там, на высоте, командиру дивизии по телефону о том, что полковая батарея погибла, и непонятно было, защищал ли он этой фразой артиллеристов или ему так легче было оправдаться за отступление стрелковых батальонов и легче оправдать захват немцами станции.

— Илья! — позвал ссохшимся голосом Владимир и, ускорив шаги, догнал его, заговорил через силу: — Нам без орудий возвращаться нельзя. Но не надо быть идиотом: на горбу три орудия мы не вытащим из окружения. Что будем делать?

— Умирать,— тоном бесстрастного хладнокровия сказал Илья, и Владимира поразила длинная усмешка, изломавшая его залитую потом щеку.— Какая пуля слаще, а? Немецкая или русская, а? — повторил он слова Воротюка, не выходившие, вероятно, у него из головы.— Нет, живые мы ему не нужны. Он уже доложил начальству, что мы геройски погибли, раздавленные гусеницами, и только поэтому танки заняли станцию. Наша смерть — его оправдание, Володька. Воротюк никогда не отступает. Мы погибли вместе с орудиями? Понял?

— Я тоже об этом думаю.

— Все ясно, как дважды два, Володька. Нас похоронили.

Илья подтянул на перевязи замотанную грязным бинтом левую кисть, кулаком правой руки резко смахнул пот на щеках, убрал слипшиеся смоляные волосы под козырек недавно аккуратной, но теперь замызганной фуражки и вдруг круто повернулся назад и посмотрел туда, откуда донесся сиплый крик:

— Лейтенант, лейтенант!

Этот крик остановил всех, и люди, затравленно дыша, охолонутые страхом оттого, что где-то сзади, очевидно, обнаружили немцев, оборачивались, стискивали оружие, изготовленное к последнему действию, вспыхнули суматошные голоса:

— Что там? Кто кричит? Эй, что?..

А позади двое замыкающих отходили влево, к кус-

там орешника, и плотный, как грибок, сержант Шапкин озверело толкал снизу вверх стволом немецкого автомата в живот Лазарева, угрожающе командуя: «Руки, руки!..» — а тот, похоже было, в наигранном испуге подымал руки и грудным басом, коряво говорил с осторожным, полузаискивающим хохотком:

— Да нажми, нажми спусковой крючок, дай очередь, угробь, ежели ты, христосик святой, правду знаешь! А ежели правда твоя вроде штанов — голую задницу прикрывает!

— Сволочь мелкая! — крикнул Шапкин, дрожа от ярости, и сильнее ткнул стволом автомата в живот Лазарева.— Сука предательская! Ты что наговорил майору? Выслуживался? Лейтенанта закладывал, уголовное дерьмо? Всех нас закладывал? А ну-ка, братцы! Идите сюда! — скомандовал Шапкин, опаляюще глянув голубыми глазами на остановившихся артиллеристов.— Лейтенант, поди сюда! Пусть сука всем скажет, зачем нас заложил! Пусть скажет!..

Никто не двигался с места, все стояли настороженно и молча, заглатывали воздух, затравленно озираясь по сторонам, никому не хватало воли тратить оставшиеся силы на эту мстительную ненависть, которой горел Шапкин, внезапно осознав то, что произошло на высоте. Его мальчишеское лицо, всегда веселое, открытое любой шутке, было искажено, крупные капли пота скатывались по лбу, застревали в изогнутых бровях, он выкрикивал в неукротимой злобе:

— Укокошить сволочь мало, лейтенант! Он тебя заложил, он тебя обпакостил, комбат, тебе он мстил, знаю, за что! На чужом горбу хотел в рай съездить, урка проклятый! Самый храбрый, оказывается, из нас, ему приказ помешал под танк броситься! А ну, вверх руки, вверх! А то всю очередь выпущу в живот, сука подзаборная!

И в этом неистовстве, в упоении ненавистью он как штык вдавливал в живот Лазарева ствол автомата, на изготове обхватив пальцем спусковой крючок. («Откуда у него автомат? И где его немецкий карабин?») А Лазарев, притиснутый спиной к сосне, неуклюже воздев руки, не отрывал омертвело прикованного взгляда от его согнутого пальца, все заметнее, чудилось, надавливающего на спусковой крючок, и пытался судорожно

натянуть на лицо мерку обычного превосходства, выдыхая смятые слова:

— Твой защитник, комбат. Моргни ему — и убьет... на радость тебе. Руки вверх, как фрица, заставил держать. Таких ценить надо. У тебя-то у самого ручка болит!..

Илья выговорил сухую звонкую команду, вонзенную в лесную затаенность кратким звуком жестяного эха:

— Оставьте эту падаль, Шапкин!

И узкими глазами оглядел Лазарева, его обросшее щекастое лицо, его мускулистую грудь с лиловой татуировкой, видной из-за распахнутого воротника гимнастерки, его яловые сапоги на крепких ногах, оглядел неспешно, потом почти вяло сказал Шапкину, не сразу опустившему автомат:

— У меня еще будет время проверить его храбрость.

В этом заторможенном голосе Ильи была какая-то твердая отсрочка расплаты, прикрытая внешним бесстрастием, и здесь почувствовал Владимир, что он все-таки полностью не знает Илью, его злопамятное и самолюбивое упорство.

— Он хотел утопить меня, глупец, перед Воротюком,— сказал Илья жестко, когда они снова двинулись по лесу впереди растянувшейся цепочки артиллеристов.— Ка-акой дурак! Какое опасное ничтожество! —И он рвущим жестом подтолкнул расстегнутую кобуру пистолета поближе к бедру, выговорил с прежней жесткостью: — Молю бога об одном: если что... то успеть бы — две пули ему, одну себе.— Он засмеялся, показывая белые сцепленные зубы.— Чтобы эта б... ходила победителем по земле — не-ет!..

— К черту твоего бога! — выругался Владимир, покоробленный отрывистым, деревянным смехом Ильи.— Вытащить орудия нам с тобой бог не поможет!

— Все может быть,— сказал Илья.

За блестящей чернотой его глаз стояло выражение непреклонности, выражение, которое появилось у него после оскорбительного объяснения с майором Воротюком на высоте. Это был словно бы незнакомый Илья, раздавленный, обвиненный в трусости, несостоятельности офицера, не оправдавшего своего нового назначения, и вся унижающая несправедливость командира полка, не желающего знать никаких причин, и собственная вина оттого, что не сумели остановить танки на участке же-

лезнодорожного переезда, и злость на Воротюка за то, что он оставил этот участок оголенным, не прикрыв батарею ни взводом, ни отделением пехоты, и невыполнимый приказ вытащить орудия из окружения, и вот это возвращение к месту ночного боя подточили и перевернули что-то в Илье. И стоячая пепельная жуть в его глазах, выражение решимости на любое действие, лишь бы доказать свое и восстановить недавнее к себе уважение, передавались Владимиру нервным, морозящим током и объединяли его с Ильей одним выходом в неизмеримую темноту последнего шага, где еще могло быть чудо, везение, некая роковая случайность. Но все стало отчужденным в Илье, и злая, отталкивающая острота исходила от него, когда он вдруг сказал с неприязненным отрывистым смехом:

— Посмотри назад. Где идет Лазарев? Я не хочу оглядываться... Как глупо все, Володька, как глупо!..

Он опасался оглядываться, наверное, потому, что не хотел, чтобы видели его лицо, необычное, искривленное дрожью и этим рубленым, рыдающим смехом, со сжатыми до скрежета зубами. Он не мог овладеть собой, и новое, непривычное в облике Ильи, утратившем снисходительную самоуверенность, делало его постаревшим на несколько лет.

— Посмотри назад, я тебе сказал! — повторил Илья криком раздраженной команды.— Где Лазарев?

— Он шел за нами. Да что он тебе, Илья?

— Посмотри, говорят тебе!

Знойкий пот на веках не давал ему четко видеть поднявшееся за лесом июльское солнце, которое космато сквозило между вершинами деревьев, отчего стволы сосен выступали черными из уходящего туманца, и везде был радужный хаос вспыхивающих капель ранней росы — на траве, на листьях, на матовой зелени орешника. Лес извергал живые шевелящиеся повсюду искры, переливался, мнилось, плыл медный звон по намокшим кустам, и среди этого тягучего звона, уханья дальних разрывов, терпкого запаха овлажненной хвои, облепившей обмытые росой сапоги, Владимир увидел всех пятерых, оставшихся от батареи, шедших растянутой цепочкой позади, в дымящихся гимнастерках, и последним двигался Лазарев, голодно грыз, выбирая из пилотки. сорванные по дороге еще неспелые орехи, выплевывал скорлупу под ноги.

— Идет замыкающим и грызет орехи, индюк,— сказал Владимир, силясь улыбнуться, и добавил: — Вот что! Не обращай на эту гадину внимания!

— Идет замыкающим. Так. Ясно,— отозвался Илья, думая о чем-то, и прищурил веки, словно примериваясь к цели, спросил: — Ты знаешь, что он следит за мной?

— То есть как следит?

— Ох, наивняк ты, неисправимый наивняк! Ты видел, как этот капитан Гужавин шептался с ним? Обратил внимание, что они шли вместе?

— Ну и что?

— Милый наивнячок! Ты никогда не задумывался, где мой отец?

— Это неважно, что я думал. По крайней мере, кое о чем догадывался.

— Счастливый ты человек. У тебя прекрасная биография.

— Перестань глупить, Илья.

— Тогда слушай, Володька, внимательно! — Илья цепко опустил правую руку на плечо Владимира, на его прокопченный пороховой гарью погон.— Так вот. У меня какое-то идиотское чувство... или предчувствие... Если кто-нибудь из нас останется жив после всей этой катавасии, то матерям никаких жалобных подробностей не писать. Ясно?

— А ты еще про бога скажи... «Молю бога»...

— Нет! Теперь — все. Не хочу ни о чем... Все противно! И отвратительно! Подумать только — нас считают трусами. Отвратительно!..— сказал он отрывисто и втянул ртом воздух.— Но мы еще посмотрим, посмотрим!.. И пусть помогает сам бог, черт, сатана, ангел, дерьмо!.. Ты понял меня, понял? Ну, ладно, хрен с ним, страшнее смерти ничего не будет! — оборвал себя Илья и спросил с резкой усмешкой: — У тебя хоть с Надей получилось что-нибудь?

— С какой Надей? Ах, да... Н-нет, Илья. Бой ведь начался.

— Мне грустно от твоей невинности и чистоты, Володька, дружище!..

И еще он запомнил Илью в те часы, когда пришли наконец на то знакомое место в лесу, где два дня назад вблизи ведущей к железнодорожному переезду дороги были вырыты на поляне укрытия для орудийных

передков: тут до сих пор отпечатывались колеи тяжелых колес в песке, вдавлины подков в настиле хвои. И здесь же услышали со стороны опушки громкие голоса немцев, позванниванье лопат, смех, упали по команде на землю, отползли в чащу и пролежали в кустах под соснами до темноты, до того крайнего мига, прерванного приказом Ильи идти за ним (он шепотом выкрикнул всех по фамилиям, оставив на всякий случай в прикрытии двоих с автоматами — лейтенанта Васильева и заряжающего Калинкина),— и все пятеро канули в бархатную темь вызвездившей ночи, и тогда в последний раз увидел Владимир повернутое к остающимся злое, одержимое лицо Ильи, и в последний раз прошелестела его удаляющаяся команда: «Шапкин и Лазарев — вперед!»

А он вместе с Калинкиным лежал на опушке леса, и оба вслушивались в замолкшую тьму низины, откуда тянуло прохладой ручья, свежестью яблоневого сада; там уже перестала шуршать трава, волгло шумел под ногами уходивших песок, и померещилось: пятеро бесплотно растаяли в бездонной глубине пространства перед железной дорогой, и все там затопилось накаленным треском сверчков, раскалывающим тишину до звезд.

«Молю бога...» — вспомнил Владимир непривычные слова Ильи, и, притискивая к плечу ложе автомата, упираясь занемевшими локтями в охлажденный песок, он теперь не различал, звенит ли у него в контуженной голове или эта предгибельная ночь, звезды, сверчки железным звоном наполняют уши, и повторялась в сознании одна и та же мысль. «Если мы вытащим хоть единственное целое орудие, я поверю в счастливую судьбу. Пусть нам повезет, пусть повезет, пусть повезет...»

Потом впереди раздался осторожный щелчок, из низины вертикально вылетел в звездное небо огненный шарик, послышалось шипение, стремительно разрастаясь, и водопад химического света хлынул с небес на землю и вытолкнул из потемок железнодорожную насыпь, бревенчатый мост через ручей, загоревшийся зеленым стеклом, переезд с обломком опущенного шлагбаума, бугры убитых на путях лошадей, перевернутый передок и конусообразный силуэт орудия, столкнутого с переезда под откос,— водопад света подхватил это все и смыл, унес в пропасть сгустившегося мрака. И одновременно

окатившей землю световой волной откуда-то снизу пролаял угрожающий окрик:

— Halt! Wer ist da? Halt! [1]

«Заметили? Напоролись на немцев? Или померещилось мне после контузии?»

— Ha-a-alt!..

Нет, он уже не сомневался, что там, внизу, куда повел солдат Илья, случилось непредвиденное, потому что вновь донесся щелчок, стало разрастаться змеиное шипенье ракеты, впереди снова заорал немецкий голос «Ха-альт!» —затем поблизости от переезда грохнула на дороге, разорвалась коричневыми перьями ручная граната, ответно вылетели две автоматные очереди с того берега ручья, резанули по переезду («Они там, на левом берегу, они переправились!»). И при тускнеющем отливе светового наваждения заметил Владимир, как наклоненные фигуры прыжками начали выскакивать из калитки сада, на секунду лунно освещенного фиолетовым сиянием, побежали по насыпи к переезду, отбрасывая на откосе уродливо скошенные тени («Немцы! А Надя — что с ней? У нее — немцы...»).

— Что деется, что деется... напоролись наши-то... Капут нам... Не вытащим мы теперя пушки...— с всхлипывающими выдохами Калинкин елозил, елозил локтем по песку, по корневищам сосны, на которых они лежали, и, морща заячью губу, оборачивал к Владимиру длинное лицо, страшное от сознания случившегося.

— Да замолчи ты! — крикнул Владимир задушенным шепотом, ужасаясь неисправимому, свершившемуся сейчас там, в низине, и заговорил в отчаянии: —Жди ракету! Видишь калитку в саду? Бей, как выбегут! Я — по насыпи!

— Что деется, что деется...

— Прекрати свое «деется»! Жди ракету — и огонь!..

Не помнил, сколько времени продолжался огонь, сколько раз, боясь выпустить весь диск, он останавливал нажатие окостеневшего пальца на спусковом крючке, сколько раз приказывал Калинкину экономить патроны, чтобы в безрассудстве горячки не выйти из боя и не оставить Илью без прикрытия. А в поднебесье одна за другой торопливо разрывались ракеты, переплетались над берегом ручья, крест-накрест сшибались автомат-

---

[1] Стой! Кто там? Стой! *(нем.)*

ные трассы, бегло грохали немецкие гранаты, и, чудилось, какие-то голоса, похоже, немецкие и русские, неразборчиво носились в воздухе, распарываемом смерчем очередей. И этот свистящий ветер удушливыми крыльями замахал вокруг головы Владимира, сшибая кору с сосен на плечи и спину. Острый осколочек щепы уколом вонзился до крови ему в руку. Он инстинктивно зубами выдернул его, секундно ощутив смолистый вкус древесины. И тут же, в предчувствии раскаленного удара, понял, что это знак дохнувшей в лоб смерти, понял, что их пристреляли немцы с насыпи и надо немедля менять позицию. Он крикнул Калинкину, что надо менять место, вскочил, метнулся за деревьями влево по опушке, пробежал метров двадцать, с разбега упал грудью на толстые корневища, и рядом тяжким мешком повалился запыхавшийся Калинкин, удушая кислым махорочным перегаром.

— Что деется, что де...

Он поперхнулся концом слова, вцепился в рукав Владимира, вытягивая к нему оцепенелое лицо: в низину упала последняя ракета, и стало тихо везде.

«Конец? Все? Там — все? Где Илья? Где остальные? Почему они не стреляют?»

В ночи плыла тишина — в ее невесомом безмолвии плавала знобкая горькость пороха, и только дальним эхом колебались тоненькие строчки сверчков, и нигде не взлетали ракеты. Но потом в той стороне переезда послышались настороженные чужие голоса, зажглись и задвигались карманные фонарики, протянули щупальца лучей по дороге, в сторону моста, и цепочкой остановились, по-видимому, на краю обрыва к ручью. Лучи нацелились вниз, пошарили вправо и влево, и лишь тогда по этому скопленному ищущему движению фонариков понял Владимир, что Илья и его группа отстреливались из-под укрытия берега, где их сверху забросали гранатами.

Немцы стояли на бугре и светили фонариками вниз, вероятно, рассматривали убитых русских, отдаленно переговаривались, перекликались с веселой возбужденностью, и Владимир, представив под обрывом, на берегу ручья, убитого Илью, вдруг пронзенный отчаянием беды, хотел крикнуть Калинкину: «Стреляй же, стреляй!» — и, заглатывая воздух, будто давясь, без слез плача, мстительно обхватил пальцем скользкий спуско-

вой крючок и выпустил оставшуюся очередь по цепочке скопившихся фонариков на краю обрыва. Вскочив, он отбросил автомат с опорожненным диском, отбежал на несколько шагов, упал меж деревьев и лежа потянул с бедра кобуру пистолета, вслух убеждая себя в беспамятстве: не тратить сейчас все патроны, оставить хоть один...

Немцы разом погасили фонарики и открыли ответный огонь, не прекращая его минут десять.

Целую ночь пролежали на опушке леса, прислушиваясь, ожидая поймать слухом плеск воды или шелест травы в низине, звук зовущего голоса из темноты, еще надеясь, что кто-нибудь вернется. На рассвете, окутывая мозг, наплыло, подобно туманной завесе, дремотное забытье, и начала сдвигаться в плавном скольжении земля.

Когда оба очнулись, разбуженные сырым дуновением, холодком утра, где-то неподалеку однообразно пиликала губная гармошка. И, вздрогнув, Владимир мгновенно увидел всполошенное, смятое лицо Калинкина, его погибающие глаза, затем увидел немцев на переезде, крышу домика в саду и верхушки тополей, чуть-чуть алеющие на раннем солнце. Все было спокойно, мирно, буднично, теплело на востоке небо, и два немца в плащпалатках, с автоматами на груди сидели спиной к ним на опущенном сломанном шлагбауме, один пиликал на губной гармошке (может быть, взята она была у убитого Шапкина?), другой курил, овевая голову дымкой сигареты. Немцы ходили и по саду, еще росистому в тени низины, заспанно разговаривали, скрипела жердь колодца, позванивала там бадейка на цепи, подымался изза яблонь сиреневый дым, и вкусно разносился в утреннем воздухе запах жареного мяса. И от этого запаха и от чужого пиликанья гармоники стала подкатывать горькая мука, забивать дыхание, и, пытаясь освободиться от мерзкого удушья, он морщился, кашлял, стонал, не находя себе места, безвыходная тоска разрывала ему грудь.

«Неужели Илья, Илья, Илья?..»

Потом в лесу опять был знойный июльский день, ленивая благость солнечного покоя, теплый дух разомлевшей малины, а они двое шли туда, где погромыхивало дальними обвалами, и порой дрожащая горячая пелена

заслоняла лес, солнце, траву, и в этой пелене прыгали, скрещивались лучи фонариков на берегу ручья, направленные под обрыв, откуда уже не раздавалось ни одного выстрела,— и он задыхался, царапал грудь, слезы жгли ему щеки, но не становилось легче.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Да, сейчас мы увидимся... Но какая несуразность, какая нелепость, что вместе с ним Колицын! В его присутствии не может произойти серьезного разговора между нами!..»

Он привычно вымыл кисти, счистил мастихином краски с палитры, накрыл тряпкой холст на мольберте, после чего протер руки одеколоном и, раздумывая, долго рассматривал в настенном шкафчике бутылки, коробку шоколадных конфет, приготовленную Марией для нежданных гостей, затем взглянул в широкое окно, все серебристо-солнечное, в круглых февральских протаинах, увидел медленно въезжающую во двор меж синеватых сугробов антрацитно-черную «Волгу» («Это он — Илья!») — и жаркий толчок в висках заставил его пройтись несколько раз по мастерской, чтобы унять волнение.

Надо все же сделать спокойным лицо, в меру приветливым («Что это я — неискренен, фальшивлю? Хочу встретить Илью как иностранца, приехавшего поглазеть на советского художника и купить картины?»), и следует суховато поздороваться с обоими, сказать Колицыну, что располагает сорока минутами, однако с Ильей надо будет по-настоящему встретиться позже, вместе с Марией.

И Васильев принял это решение, но когда раздались шаги в коридоре, стук в дверь, когда в роскошной меховой шубе, розовый от возбуждения и коньяка, расплываясь одутловатыми щеками, шумно вошел Колицын и за ним проследовал бледный, педантично выбритый высокий человек в сером пальто, в мягкой шляпе, прямой, даже изящный, в котором уже нельзя было узнать лейтенанта Рамзина сорок третьего года, как и при встрече прошлой осенью в Венеции, где он удивил совершенно чужими, незнакомыми манерами, одеждой, интонацией голоса, и сейчас Васильев, против воли опережая

его, первый протягивая руку, проговорил излишне уравновешенным, деловым тоном:

— Здравствуй, Илья. Мы с тобой не виделись четыре месяца. Раздевайся. Вешай пальто сюда. Давай я тебе помогу.

— Но, но, но, я справлюсь! — запротестовал Илья оживленно и сам повесил пальто на вешалку в передней, тронул ровно уложенные на косой пробор седые волосы и живо прошел в солнечную мастерскую, прищурясь озирая стены, переводя улыбающиеся, немного воспаленные глаза на Васильева.— Ого! У тебя очень мило и уютно. Ты здесь творишь, Владимир? Ты здесь создаешь?

Владимир поправил его насколько можно шутливо:

— Творю — это громко. Работаю. Творят боги, и то не каждый день.

— Но отлично у тебя, отлично, много солнца! — продолжал Илья и тщательно растер, помял пальцы, будто согревая их; этого жеста Васильев никогда не замечал раньше.— Я рад, Владимир, видеть тебя, очень рад быть у тебя в мастерской!

— Я тоже рад.

Между тем Колицын возился в передней, весело и некстати очищался щеточкой, вытирал ноги, причем мычанием напевал нечто модное, как бы являя характер беспечного, хорошо принимаемого здесь человека, всегда настроенного на приятное времяпрепровождение. Васильев же вспомнил, услышав это мелодичное мычание, его нетрезвое возбужденное лицо, с этими сытыми одутловатыми щеками, его злобную раскрытость в не забытую им ночь, не без досады подумал: «Как он будет сейчас мешать нам!» — и тут же, усадив Илью в кресло («Посиди секунду, я сейчас!»), вышел в переднюю, где Колицын, все еще напевая, щеточкой оглаживал перед зеркалом свой отлично сшитый костюм, сказал ему негромко:

— Послушай, Олег, ты бы оставил нас на часок поговорить. Привез его — и спасибо. Кроме того, знаешь ли, вести разговор мне будет сейчас и трудновато и утомительно.

Колицын царственно отвел назад львиную гриву, его треугольные глаза превратились в трапеции, но щеки, раздвигаясь, продолжали выражать игривое простодушие, не помнящее зла, и он ответил шепотом:

— Не забывай, Володенька, что иностранцами занимаюсь я. О ля-ля! — И, заполняя пространство своей элегантной фигурой, сочным бархатистым баритоном, излучая легкомысленную радужность и довольство любящего мужское общение джентльмена, Колицын ступил в мастерскую, фокусоподобно вытянув из портфеля бутылку армянского коньяку, наклонился над креслом Ильи.— Думаю, господин Рамзин, что потягивать превосходный ароматный коньяк и смотреть картины лучше, чем смотреть картины и не потягивать превосходный коньяк.

Надо полагать, это была светская острота, которая должна быть произнесена в подобном случае, приглашающая посмеяться в избытке хорошего настроения, однако Илья посмотрел на Колицына дружелюбно, словно тот повторял забавный и бесполезный фокус, сказал с улыбкой:

— Благодарю, господин Колицын. Я абсолютно не пью. Давно выпил всю свою отпущенную сроком норму.— Он улыбнулся Васильеву:— Если господин Васильев, мой старый друг по Венеции, угостит меня стаканом молока, буду премного благодарен. Молоко — мой напиток.

«Господин Васильев... Господин Колицын... Господин Рамзин... Мой старый друг по Венеции». Он не хочет, чтобы Колицын знал, как давно мы знакомы. Но Илья, Илья... Господин Рамзин? Вот он сидит в кресле — не Илья, а совсем другой человек. Это господин Рамзин и вместе Илья, оставшийся после войны в Западной Германии, теперь поселившийся под Римом, проживший целую жизнь за границей. Что в нем осталось от лейтенанта Ильи Рамзина, от той ночи, от того июльского утра, когда мы возвращались к орудиям, брошенным в окружении? Как он все-таки попал в плен, он так и не ответил в Венеции. И все-таки — как?..»

— К сожалению, у меня нет молока! — сказал Васильев и в ту секунду еще не понял, почему мысль об осенней встрече в Венеции была тревожной.— Какая досада, что я не держу молока в мастерской. Я не пью молока.

— Но хоть рюмки-то для гостей ты держишь, Рембрандт? — спросил исполненный добродушного протеста Колицын и откупорил бутылку коньяку, поставил ее

артистичным манером на середину стола.— Никогда! Никогда! — уловив вопрошающий взгляд Ильи, вскричал он с театральным возмущением, изображая переливами голоса гостеприимного русского гуляку в приятельском кругу.— Мы договорились, не будем пить, не будем пить — о, нет! Мы лишь наполним рюмки ради этой встречи и, подобно афонскому монаху, не притронемся к ним.

— Афонский монах? Что за афонский монах? — спросил Илья и опять прищурился, лучики жестких звездообразных морщинок прорезались сбоку глаз, но от этого знакомого прищуривания лицо его не обретало, как прежде, самоуверенного выражения нацеленности к действию, а становилось внимательно-усталым, прислушивающимся.

— Афонский монах, видите ли, каждую ночь ложился между двумя девственницами и не трогал ни одну из них. Ха-ха, представляете муки укрощенной плоти?

— Н-да, монах,— неопределенно сказал Илья.— Читал где-то я, читал. Не в житии ли святых?

— Затрудняюсь ответить. Запамятовал в суете мирской.

«Эк он хочет понравиться Илье, но... зачем?» — нахмурился Васильев, доставая из шкафчика бутылки с айвовым соком, взглянул на обаятельно-словоохотливого Колицына и подумал решительно, что в его присутствии никакого разговора с Ильей быть, конечно, не может, что только время будет непростительно потрачено в болтовне и, неожиданно восставая против своего рабского терпения, сказавшегося и тогда ночью, когда он позволил приехать Колицыну, чтобы выслушивать его, и сейчас, еще больше сердясь на его избыточную фамильярность, Васильев сказал с вежливо сдерживаемой злостью:

— Олег Евгеньевич, твоя притча о монахе очень интересна и в высшей степени поучительна, но в самом деле... («Напрасно я ему это говорю. Я не могу удержаться от резкости и наживаю на всю жизнь врага!»)... у меня нет времени, Олег Евгеньевич. И я прошу тебя дать мне возможность спокойно поговорить с господином Рамзиным хотя бы час.

Колицын между тем ловко разливал коньяк, в ответ на слова Васильева только полукругло поднял бро-

ви, расставил рюмки на три угла столика, пробархатил сочным баритоном:

— Да, но, родной...

— Умоляю тебя, без ненужной фамильярности, сделай одолжение,— попросил Васильев, справляясь с желанием сказать ему, что он чрезмерно навязчив, представляя добрейшую душу мифической русской гостеприимности господину Рамзину, который знает это, ибо сам русский.— Послушай, Олег Евгеньевич,— продолжал Васильев не без упрямства.— Тебе не нужно тратить нервные клетки... занимать гостя приятным разговором. Мы давно знаем друг друга.

— Ваша дружба в Италии уже известна, и, представьте, это похвально и великолепно! — воскликнул с изобильной радостью Колицын, пропустив мимо ушей эти задевающие его слова Васильева.— Не так уж часто мы находим поклонников за рубежом! — Он, оттопырив мизинец с отполированным ногтем, взял рюмку со стола, взглядом чокнулся с Ильей и Васильевым.— За ваше знакомство в волшебной Венеции, которое свело вас в Москве...

Васильев перебил его раздраженно:

— Мы знакомы были до Венеции.

«А нужно ли это ему знать?..»

— Как «до»? Ах, да, по твоим картинам, которые раньше выставлялись в Италии?

— Совсем нет! Мы знакомы с детства, если ни аллаха не понятно,— сказал Васильев с той вызывающей резкостью, которая избавляла его сразу от ложной двусмысленности и вместе обезоруживала в чем-то Колицына.— Надеюсь, ты понял, Олег Евгеньевич, почему не надо делать дипломатические реверансы.

Колицын в напряжении стянул припухлые веки, его треугольные глаза осмысленно посветлели, обмерли на невидимой границе в воздухе над головой Васильева, и он заговорил ненатурально размягченным голосом:

— Ах, вон что... Никогда бы не мог подумать, в голову бы никогда не пришло. Ах, вон оно что...

— Ну, что удивляться,— сказал Васильев.— Что тут ахать, Олег Евгеньевич! Мы давно знакомы.

— Прошу извинить! — Колицын поставил недопитую рюмку на место, и в его белом с чуть отвислыми щеками дородном лице неподкупно проглянула гордая независимость воспитанного человека.— Да, я все понял.

Приношу извинения. Я позвоню сюда через час... Вы не против, господин Рамзин?

Илья кивнул с некоторой церемонной благодарностью:

— Хорошо бы через два. И так будет точно, господин Колицын.

— Я позвоню точно через два часа.

Не без солидного достоинства Колицын тряхнул длинными волосами в общем поклоне и гибкими шагами вышел в переднюю и там, энергично надевая шубу, превесело замычал некую мелодию, так же энергично, звонко щелкнул замком входной двери, и тогда Илья первым нарушил молчание:

— Господин Колицын — босс художников в иностранных делах, а ты вел себя как капризная знаменитость. Так, Владимир, допустимо? Такое не повредит?

— Какая там еще, к черту, «капризная знаменитость»! — отмахнулся Васильев и закурил сигарету, с размаху повалился в старое, зазвеневшее пружинами кресло, заговорил поспешно, почти недовольно: — Не могу тебе сказать, искренне рад я или не рад, что ты приехал. Прости за откровенность. Но разговаривать нам с тобой нужно без свидетелей. И без чужих глаз. У нас с тобой — свое.

— Ты сказал: у нас «свое»? Имел в виду что?

— Когда-то в детстве мы дня не могли прожить друг без друга. И на войне были в одной батарее. Я был счастлив, что мы вместе. В прошлом году наша встреча в Венеции не то чтобы поразила меня, а как-то... Я много лет жалел, все время жалел, что нет тебя в живых... моего друга, с которым можно было в огонь и в воду. Все так, Илья. Но мы уже не те... В Венеции понял: ничего общего, кроме воспоминаний. К сожалению, Илья. Поэтому не будем фальшивить: ты приехал в Россию не потому, чтобы в сентиментальном настроении купить мои картины. Чем могу помочь?

— Страшная штука жизнь,— сказал Илья и откинулся в кресле, сложил ладони, задумчиво подпер кончиками пальцев подбородок.— Страшная штука... Как говорят французы, никто не знает, зачем людям правда, но все знают, зачем ложь. Не так ли? Люди никогда не узнают друг друга до дна, даже примерные супруги, прожив вместе общую жизнь. Боюсь, Владимир, что ты

исчерпывающе не знал меня ни в школе, ни на войне. И я тебя тоже.

Илья засмеялся жестяным коротким смехом, неприятно отдалявшим и старившим его, и поразили Васильева эти воспаленные, ничему не верящие, сверх меры познавшие житейскую мудрость глаза и что-то совсем незнакомое, немолодое в его еще довольно прочной шее, может быть, в складках кожи над воротничком сорочки, сухость и ровная бледность безукоризненно выбритого лица, серые с отливом в голубизну волосы — какую упорную работу проделало время; он, казалось, еще больше поседел за эти четыре месяца!

«Но кто же истинный Илья? Тот лейтенант, мой друг, которого мне все время не хватало после войны, или этот уставший от жизни, чужой мне человек? И где истинный я: там, в детстве, или в июле сорок третьего, или здесь, вот в этой мастерской, пятидесятичетырехлетний человек, которого ничем не удивишь?»

— Ты сказал, что я не знал тебя,— проговорил Васильев, хмурясь.— Возможно... Просто я верил в чистоту и святость дружбы и верил, что мы никогда друг друга не предадим. А в общем, в этом была прекрасная молодость. На Украине, когда тебя назначили комбатом, я восхищался: как ты великолепно утверждал себя! Помнишь: жара, домик под насыпью, тишина, немец в малиннике в саду, перемирие, которое устроил старшина Лазарев? Потом в домике оказалась молодая женщина. Я хорошо помню ее имя... Ее звали Надя. Твоя решительность была необычайной, Илья.

— Необычайной? — повторил Илья и в раздумье потер, помял руки возле подбородка.— Володя, Володя! Ты многого не знал в то время. Но кое-кто из дотошных в полку отлично знал, чей я был отпрыск. Каким образом меня поставили на батарею, до сих пор додуматься не в силах. Вернее всего, наш храбрый комполка Воротюк решил рискнуть, как всегда рисковал. Уверен, что и расстрелял бы он меня так же красиво, как и назначил. Молодец. Поразительный был майор. Много лет не могу вспомнить его без нежности.

— И, конечно, старшину Лазарева? — прибавил Васильев и спросил то, что при первой встрече спросить не успел: — Скажи, как погиб Лазарев?

— Смертью храбрых.— Илья, усмехнувшись, равно-

душно взглянул на потолок.— Царство ему небесное, хоть он и не стоит его.

— Почему не стоит, Илья? Смерть на войне уравнивает.

— С ним — нет.— Илья поднес рюмку к подбородку, вдохнул аромат коньяка, однако не отпил ни капли, поставил рюмку на место, сказал отчетливо: — Была сильная самолюбивая личность, дьявольское начало, а впрочем — гиньоль. И в конце концов — ничтожество. Я многое о нем забыл, но ты вспомнил именно его...

— В общем, смертью он искупил, как говорится, свои грехи. Искупил гибелью, когда ты попал в плен.

Auch [1],— ответил сухо Илья.— Я стер его из памяти. Хотя не раз ставил свечки за душу убиенного. Он был убит, а я жил, несмотря ни на что. Но...— Илья с пытливым выжиданием посмотрел на Васильева, потом неторопливо заговорил тоном необходимого обоим благоразумия: — Нам с тобой нет резона вспоминать войну. Лазарев давно в вечном покое, бог с ним. Смерть — искупление... Он избежал самого страшного, чего не избежали мы с тобой,— прожить жизнь. Господь наказывает и смертью и жизнью. Не так ли?

— Ты веришь в бога, Илья?

— В нашем возрасте надо во что-то верить, ибо очень скоро предстоит единственное...

— Что единственное?

— Прощание с земным. Прощание, Владимир. Недолог срок — и за небесными вратами придется поклониться апостолу Петру.

«Я хорошо помню, что он сказал, когда мы шли по лесу,— подумал Васильев.— Он хотел сохранить три патрона в пистолете: два для Лазарева, один для себя. Он не застрелился и попал в плен. А как... как погиб Лазарев?»

— Неужели надеешься попасть в рай, Илья? Я, признаться, не рассчитываю на комфорт у господа бога.

— Если успею в тяжких грехах раскаяться, господь не даст исчезнуть в муках навечно. Да, Владимир, я не шучу. Вся жизнь — бесконечный выбор. Каждый день — от выбора утром каши и галстука до выбора целого вечера — с какой женщиной встретиться, куда пойти, каким образом убить проклятое время. Все совершается пос-

[1] Тоже *(нем.)*.

ле выбора: любовь, война, убийство. В последние годы я часто думаю, что управляет нашим выбором при жизни? Но кто знает, есть ли выбор после смерти? Ад? Рай? Сон? Что там будет за краем?

«Как изменила его жизнь! Его? Я подумал о нем и не подумал о себе. Он говорит так, как будто хочет не раскрыться в чем-то, не объяснить себя, какого я не знаю, а уйти от главного. Но что я хочу? Понять, кто такой сейчас Илья? Он неискренен и лжет? А смысл какой? Никто не знает, что случилось с ними в ту ночь, когда они пошли к орудиям. Теперь я наконец-то понял, что меня раздражает: я подсознательно ищу в нем прежнего Илью, хочу увидеть, вернуть того, молодого Илью, того лейтенанта Илью, а его нет. Тот Илья, которого я любил, несовместим с этим, чужим в сущности. Да может ли так быть? А я совместим с самим собой, прежним?»

— Что же у тебя за тяжкие грехи, Илья? — спросил Васильев и, досадуя на свои вопросы, которые могли показаться чересчур назойливыми, продолжал полусерьезно: — Я не верю в загробное благолепие и обвиняю себя в страшных грехах: в бездарности, трусости и бессилии. Моя казнь — бессонница, вот уже несколько лет. Это старость, Илья. Нам уже за пятьдесят.

— Разреши не согласиться, Владимир. Все гораздо хуже, чем тебе кажется. Это последний круг перед финалом, а не старость. Я задыхаюсь, но бегу из последних сил, вижу финиш и слышу крики приветствий уже закончивших бег...

— Любишь черный юмор? Очень уж пессимистично... до неправдоподобия!

— Напротив...

Илья взял рюмку, поднял ее к заблестевшим чернотой глазам, посмотрел сквозь рюмку на солнечный свет зимнего окна, с длительным наслаждением вторично понюхал коньяк, сказал размеренно:

— А какая прелесть, какое упоение, какая жизнь в этом аромате. Но через год-полтора ты еще сможешь вдыхать прелестный запах так много выпитого мною разного коньяка, а я уже буду там... Как странно и страшно, не правда ли? Ты еще будешь рисовать свои картины, а от меня — ни-че-го... Был ли он? Ходил ли он по земле? Непостижимо. Немыслимо. Представь, я все о себе знаю. Но, как видишь, не бьюсь в истерике, не

устраиваю трагедий, и говорить об этом смысла нет.

— Не понял, Илья.

— Знаешь, что такое фрустрация[1] бытия, Владимир? Тщетная надежда. Ожидание крушения. Все мы случайные туристы на белом свете, и каждому назначен срок покидать снятый номер в отеле. Кстати, у тебя в гостях я тоже не задержусь... хотя очень и очень хотел увидеть тебя.

Он засмеялся искусственным, жестяным смехом, который так раздражающе несвойствен был Илье, и, может быть, потому, что глаза его не смеялись, лишь делались узкими, печально-холодными, как если бы ему вовсе не нужен был этот смех.

— Виноват, что-то я не совсем понимаю. О каком сроке ты вспомнил? — проговорил Васильев и нахмурился.— Что за год — полтора года? Кто тебе нагадал?

— Я слишком много истратил денег на клинику, чтобы верить в гадание,— ответил Илья по-прежнему спокойно.— Благодарю бога, что не завтра последний день. Мне еще дано сделать выдох...

«Последний день?» — с внезапной ясностью понял Васильев, представив Илью не здесь, в Москве, еще внешне крепким, выхоленным, элегантно-седым, сидящим сейчас в его мастерской, а где-то в знойных пригородах Рима, в его пустой вилле, на втором этаже, одиноко лежащим на застеленной простынею кровати со сложенными восковыми руками, и полуденное солнце пробивается сквозь ветви пиний под окнами в покойную тишину дома, где пахнет духотой и смертью.

«Через год-полтора? И он знает это? — и Васильев, всматриваясь в кисти Ильи, сухие, женственно ухоженные, с удлиненными стерильно чистыми ногтями, в прошлом очень сильные маленькие кисти (когда в юности он занимался гимнастикой, боксом и самбо), тотчас вообразил бессонные ночи Ильи наедине с самим собой, с одиночеством, точным сознанием своего последнего срока, и, ощутив всю безвыходную тоску этих ночей, подумал еще: — Я не смог бы так ждать приближения казни».

— Что за болезнь у тебя, Илья? Сердце? — проговорил Васильев, мучаясь вопросом, которого не смог избежать сейчас, стараясь не называть неизлечимую, роковую болезнь, одно лишь краткое колючее звучание ко-

[1] Обман (*лат.*).

торой рождало мысль о зыбкости всего в этом мире.

— Выбор был сделан не мной... Но иллюзии кончились,— с усмешкой сказал Илья.— Четыре года назад я прошел через операцию, а после нее живут пять лет, от силы шесть. Обжаловать приговор невозможно. Поэтому я знаю то, чего не знал раньше. Впрочем... я хотел увидеть тебя не для этих разговоров. Об этом не стоит.

И он с заинтересованностью оглядел стены и потолок, струисто-светлый от снега, сугробов во дворе, от предвесеннего солнца, ярко брызжущего сквозь джунглеобразные морозные заросли уже оттаивающих стекол, брызжущего на плакаты выставок, на стеллажи в мастерской, просторной, веселой в белизне погожего февральского дня, и, оглядев, сощурил веки, точно любопытно и больно было видеть этот праздник зимнего света здесь, сказал с насмешливой грустью:

— Помнишь зимний день на Воробьевых горах, мороз, иней, а мы идем всем классом на лыжах по берегу замерзшей Москвы-реки. Счастливое время! Так ведь оно и было? Или — вечер, снег сыплется вокруг фонарей, каток в парке культуры и отдыха, и мы с тобой и Машей едва на ногах держимся от катания, зашли прямо на коньках в буфет, пьем горячее какао и грызем баранки с маком, а они после мороза пахли так аппетитно. Ты и Маша тогда были влюблены. Было это?

— Ты не совсем точен, Илья.

Васильев замолчал, не желая говорить о Маше, которая тогда была влюблена не в него, а именно в Илью, а он, Илья, на девочек не обращал серьезного внимания, занятый таинственными «лирическими» увлечениями в секции гимнастики, носил полосатый тельник под рубашкой, матросский ремень с медной бляхой (так модно было), и тогда терпеть он не мог душевных излияний в любом проявлении.

«Только... почему он заговорил о Маше? Не может быть, чтобы я ревновал ее к нему через столько лет. Нет, тут что-то другое. Он как будто хочет оправдаться передо мной. В чем? Странный брак с немкой после плена? Какой-то заводик швейных или патефонных иголок. И невозвращение после войны. Его жадность к жизни, его болезнь, если это так?.. Он вызывает у меня какое-то необузданное любопытство, и я спрашиваю его, а не он меня...»

— Мне кажется, ты еще не виделся с матерью? — спросил Васильев, чувствуя по всему, что Илья не встречался с Раисой Михайловной.— Она знает, что ты в Москве? Ты надолго приехал?

— На неделю. Поверишь ли, Владимир, ехать один к матери я боюсь,— с неуверенностью проговорил Илья и, облокотясь на кресло, загородил лоб ладонью.— Она, как мне известно, нездорова, и я боюсь пуще смерти, выдержит ли она? Я просил — помнишь в Венеции? — чтобы вы хотя бы туманно намекнули ей обо мне... что я жив.

— Да, Маша говорила с ней. Была у нее дома.

— И что?

— Ее реакцию можно понять. Раиса Михайловна сказала, что ты убит и она не хочет верить в чудеса,— ответил не сразу Васильев и с горечью подумал, что нет у человеческих желаний никаких гарантий, и жизнь вернувшегося из небытия Ильи, если он действительно серьезно болен, через малый срок будет закончена, и теперь чудовищно было это представить. Значит, смерть наготове сидит в каждом из нас, ходит неотступной тенью и ждет своего часа: «И все мигом к черту: солнце, вот этот снег, мои холсты, громкие слова о творчестве, часы работы вот тут в мастерской, моя любовь к Маше и Виктории, двум женщинам в целом мире, и все то, что было... и могло быть. Как все висит на тончайшем волоске!..»

— Что я должен сделать? — спросил Васильев и встал, заходил по мастерской, по заляпанному красками солнечному полу.— Чем я могу тебе помочь? Съездить к Раисе Михайловне? Поговорить? Когда ты готов ехать к ней?

— Завтра,— ответил Илья глухо.— Сегодня не хватит сил. Я прошу тебя, Владимир, поехать со мной... не как провожатого. А как... как бывшего друга. Так будет легче... мне и ей.— Он натолкнулся глазами на сумрачно-задумчивый взгляд Васильева, попросил вполголоса: — Позвони ей и предупреди, что приедешь завтра не один... Сейчас, при мне позвони, если можно. Скажи и объясни, что я жив и здоров, прибыл в Москву, чтобы ее увидеть...

«Я ей скажу эту фразу и вступлю в обман вместе с Ильей. Но может быть, он приехал для того, чтобы проститься с ней»,— подумал снова Васильев и, нахму-

ренный, заложив руки в карманы, некоторое время стоял против тумбочки с телефоном, а когда снял трубку, и сбивчиво, два раза ошибившись, набрал номер Раисы Михайловны, то ощутил на миг застывшую тишину позади и упершийся взгляд в спину, от которого стало не по себе: Илья открыто просил его помощи в первом свидании с матерью, сомневаясь, видимо, в чем-то очень важном для себя.

К телефону долго не подходили.

— Раиса Михайловна, это я, здравствуйте,— заговорил Васильев, услыхав, наконец, несильный, мягко-растянутый, мнилось, теплого, коричневого цвета голос, и заговорил с невольной заминкой, подыскивая слова, которые не выстраивались в нужный дипломатический ряд: — Да, это я, Раиса Михайловна. Да, это я. Нет, я не забыл вас. Я не звонил, не видел вас целую вечность, простите меня. Но я хотел вам сказать... То есть мне надо заехать к вам завтра и не одному, с моим старым другом, которого вы лучше меня знаете... («Глупец! Грошовый дипломат! Просто образцовый глупец, при чем здесь невыносимо жалкий юмор?») Дело в том, что в Москву приехал... Илья, и я встретил его, Раиса Михайловна. Да, приехал из Италии Илья, живой, здоровый («Я повторяю слова Ильи?»), и он рвется к вам сейчас же («Лжец! Лжец!»), а я прошу его отдохнуть у меня после самолета...

Он, запинаясь, выговорил последнюю фразу, проклиная свое неловкое, натужное участие в этой придуманной для правдоподобия игре, и тут же наступившее молчание Раисы Михайловны в трубке после его наивного и неумелого дипломатического хода зябко дохнуло предвиденным осложнением, он испугался, что это молчание взорвется вскриком, заглушенными рыданиями, прерывающимися неудержимыми слезами ее вопросы об Илье, и почти не расслышал ослабленный усталым смирением, ускользающий ее голос:

— Я знаю, Володя. Он приехал.

— Откуда вы знаете, Раиса Михайловна? — изумился Васильев и перевел дух, неудобно помялся у тумбочки, стараясь не поворачиваться к Илье.— Вам кто-то сообщил?

— Мне снился нехороший сон, Володя,— невнятно проговорила она.— И Маша сказала. Неделю назад она была...

— Когда? Неделю назад? Что она сказала?

— Она сказала, что он должен приехать.

— Он уже в Москве, Раиса Михайловна. Мы завтра приедем к вам... завтра приедем...

«Каким же образом Мария узнала о приезде Ильи? Как она могла узнать?»

Он положил трубку с сердцебиением, сбившим дыхание, убеждая себя, что Раиса Михайловна перепутала, сказав о встрече с Марией неделю назад («Зачем Марии нужно было от меня скрывать это?»), и чтобы подавить унизительное чувство подозрения, он сказал Илье нарочито обыденно:

— Наверное, суть разговора тебе была понятна. Она знает, что ты приехал. Чем еще могу помочь?

— Не торопи, ради бога.

Илья продолжительно вытирал платком виски, покрывшиеся испариной во время разговора Васильева по телефону («Чего он ждал? Отказа матери? Сомневался в том, что она захочет его увидеть?»), и в изнеможении отвалился на спинку кресла, хрипловато сказал:

— Разреши выкурить сигарету?

— Сделай одолжение.

— Благодарю. И разреши несколько минут помолчать и подумать.

Илья раскрыл на колене серебряный портсигар, отделанный перламутром, достал из глубины его единственную, прижатую шелковой резиночкой сигарету, последнюю из его трехштучной (как помнилось по Венеции) дневной нормы, и Васильев, заметив дрожание бровей, когда он прикуривал от знакомой газовой зажигалки, решил, что встреча с Раисой Михайловной будет для Ильи трудной, много ему стоящей, встреча, которой он ждал и боялся.

— Покажи что-нибудь. Пока я покурю,— попросил тихо Илья, выдыхая дым с задерживаемым и видимым удовольствием, смакуя вкус и крепость табака.— Покажи хоть одну картину. Ты уже знаешь, что я твой поклонник. И я купил бы, если бы ты...

Он не договорил, с всхлипом затянулся сигаретой.

— Спасибо. Но я что-нибудь подарю тебе лучше,— машинально забормотал Васильев, шагая по мастерской, и остановился у стеллажей за мольбертом, напротив холстов, поставленных на полу лицом к стене, вытащил одну картину, подул на нее, очищая от пыли, прислонил

к ножке мольберта и, заложив руки в карманы, отошел к другой стене мастерской, говоря рассеянно:

— Вот такая штука.

Над этой вещью он работал несколько лет, отдаваясь этой счастливой воздушности ясного летнего утра, свежести зелени, спокойной прозрачности воды (речная галька была видна как в увеличительное стекло), возле которой лежала в безмятежной дреме молодая девушка, еще недавняя девочка, одна рука закинута за голову, отчего нагая грудь остро напряглась, и от всего юного, тонкого тела ее исходило прохладное сияние невинной прелести, утренней чистоты, непорочной доверчивости, еще не знающей стыда,— во всех вариантах Васильев убирал и не мог до конца убрать загадку чувственности, добиваясь господства телесной женской тайны, без желания прикоснуться к ней с неосторожным вожделением.

— Однажды в сумерки,— говорил Васильев, искоса глядя на картину издали,— в галерее Уффици я вошел в зал и щекой... понимаешь, щекой почувствовал тепло, как будто жар от печки, как будто теплый ветерок... Посмотрел: слева от меня была «Венера» Тициана. Я чувствовал тепло ее тела. Вот это чудо, это было поистине чудо! А я... я пытался передать совсем другое... Холодок и прелесть чистоты.

Илья сказал, грустно усмехаясь:

— От твоей Венеры веет несовременной девственностью. Мечта о давно забытом. Для мужчин — streng verboten [1].

— Нисколько. Красота — категория вечная, так же, как и безобразие. Рафаэлевская «Сикстинская мадонна» не вызывает чувственность. И в то же время это идеал женской красоты.

Илья в расслабленности привалился затылком к спинке кресла, медленно рассматривая картину, вполголоса проговорил с подчеркнутым удовлетворением:

— Ты по-старомодному верен себе... влюблен в одну Марию. Пожалуй, и здесь есть что-то ее...

— Больше меня интересует другое,— попытался шутливо ответить Васильев, в то же время злясь на это фальшивое удовлетворение в словах Ильи.— Как у тебя? Кто она?

---

[1] Строго запрещается *(нем.)*.

— Ее нет в природе,— ответил Илья и договорил не без снисходительной насмешки над самим собой: — Все в прошлом. Женщины меня уже мало интересуют.

— Что?

— Их было слишком много.

Илья смял докуренную сигарету в пепельнице, оперся на подлокотник, закрыл лоб ладонью.

— Господи, прости меня, грешного,— заговорил он преувеличенно бодро и из-под руки обвел Васильева взглядом непритворного страха, умоляя его о помощи.— Так скажи... как она примет меня?

— По-моему, ты не о том думаешь,— сказал Васильев.

— О том, о том,— возразил Илья.— Больше всего боюсь ее... равнодушия. Да узнает ли она меня?

— Что ты хочешь этим сказать, Илья?

Илья молчал, заслоняя рукою влажный лоб, и явно было, что он опасался и не хотел говорить об этом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На углу Вишняковского переулка отпустили такси и долго смотрели на церковку, где теплились сквозь решетчатые узоры окон огоньки свечей, темнели фигуры старух на паперти, а вокруг, будто в тихом чужом городе, розовели стекла верхних этажей, розовел снег на карнизах, горели предзакатным солнцем кресты высоких куполов, до войны разрушенных, теперь обновленных, и галки с провинциальным щелканьем носились над колокольней. И Васильеву вдруг вспомнился промозглый ветер, холод, звезды, погромыхиванье железа на вершине колокольни, когда они октябрьской ночью сорок первого года возвращались с окопных работ под Можайском и, пройдя всю Москву, вышли по Новокузнецкой улице вот в этот переулок, чтобы сократить путь к дому.

Только здесь, слева на углу, была раньше маленькая булочная-кондитерская в двухэтажном доме, куда неизменно бегали до войны за батонами и где весенними утрами тепло, сладко пахло новоиспеченным хлебом, и стояли здесь, в Вишняковском переулке, крепкие купеческие дома с мезонинами, с травянистыми двориками, с дровяными сараями, на их пышущих жаром толевых крышах гуляли голуби, вышедшие из сетчатых

нагулов, а надменные коты в майские полдни лениво грелись на солнцепеке подоконников, подергивая ушами от сумасшедшего крика воробьиных свадеб в глубине разросшихся лип. В конце июня тополиная метель бушевала на улицах, в переулках, во всех тупичках Замоскворечья, пух нежной пеленой скользил по мостовым, летел в раскрытые окна, плавал над прилавками полуподвальных овощных магазинчиков, прилипал к афишам на заборах, к стеклам газетных киосков, белыми волнами окружал каменные тумбы около подворотен, цеплялся за столбы чугунных фонарей. Его мягкое прикосновение щекотно чувствовалось на лице, на бровях, на ресницах, и хотелось засмеяться, сдуть его...

Васильев не был здесь несколько лет — не хватало часу приехать сюда или, быть может, подсознание намеренно оберегало его и от прошлого, и от всех этих новых изменений близ знакомой с детства церковки в Вишняковском переулке. А тут уже не было ни булочной-кондитерской, ни овощных магазинчиков, ни обжитых особнячков с мезонинами, ни каменных тумб подворотен, ни сытых голубей на крышах нагулов. Там, где были эти дворики, старые особнячки, столетние липы, громоздко возвышался, грязно серел многоэтажный дом, нелепо и плоско врезался панельной стеной в лиловеющее к вечеру небо, торчал вывесками магазина радиотехники, неопрятными балконами, на которых сушилось пестрое белье, стояли ящики и лыжи, а напротив церкви, за ее оградой, высокомерно, неуклюже уходила вверх над переулками четырнадцатиэтажная башня,— и эти чужие пришельцы, эти чужестранные завоеватели враждебно лезли в глаза Васильеву циничной, модной безобразностью,— и он понял, что опоздал приехать сюда, в край своего детства, что совершился обман, подобный необъяснимому насилию.

На углу Лужниковской он взглянул на Илью. Но тот замкнуто молчал, и еле угадываемая растерянность смутной судорогой проходила по его лицу. И показалось, что это была незавершенная слабая улыбка, похожая на отсвет неясного узнавания детского, давнего, что еще осталось в голубоватых проемах осевшего снега на ветвях уличных тополей, в оттепельно-мокрых, обледенелых водосточных трубах, в капающих сосульках, наросших на карнизах, в тюлевых занавесках первых этажей, в уже незимней косматости низкого солн-

ца над дальними крышами, такими белыми с мучительной синевой на теневых скатах, какими бывали близко к весне и почему-то запомнились в навсегда ушедшие годы. Все это было не тронуто временем — и лед на желобах, и искры солнца на сосульках, и капель, и тени, и даже февральский воздух, пахнувший чем-то влажно-горьковатым, точно бы печным дымком. И Васильеву внятно послышалось, что Илья шепотом произнес: «Помнится, так было»,— и втянул носом воздух, блуждая глазами по крышам домов.

— Ты что-то сказал? — спросил Васильев.— Ты сказал: так было?

— Я молчал. И думал — все забыл, все...— замедленно ответил Илья, и удивила Васильева сухая беззвучность его голоса.— Сейчас будет пожарная команда... и наш дом. Похоже... номер четыре... Я хорошо помню на той стороне — гараж.

— Я тоже его помню.

Здесь был знаменитый на целый район гараж пожарной команды, ворота которого до войны были постоянно выкрашены в травяной цвет, а в жаркие летние утра, по обыкновению, не закрывались, и там, внутри, в темноватом, веявшем маслом холодке, упругими струями обмывали из брандспойтов и до того гладко отлакированные водой красные машины с тревожно-звучным золотым колоколом, что начинал воинственно звонить, едва машины по тревоге выезжали из гаража, и звонил до тех пор, пока они не скрывались по направлению Зацепы в густом шалашном сумраке тополей, нависших над улицей. Теперь вместо зеленых ворот гаража шелушилась облезавшей штукатуркой стена, люминесцентным светом бледно синело окно какой-то мастерской...

Нет, это было ошибкой — сопровождать сюда Илью! Это было разрушение в душе радостного уголка детства, молодого времени, довоенного и послевоенного (лучшие годы его жизни), и эта ошибка стала особенно явной, когда он увидел родной двор без забора и ворот, убогий, жалкий, крошечный, наглухо заваленный сугробами, не двор, а остаток двора, стиснутый справа серыми панелями нового пятиэтажного дома, а слева — бетонной стеной тоже нового серого с квадратными стеклами здания, наверное, построенного в последние годы на месте двухэтажных особняков с крылечками

под навесом (где прохожие когда-то прятались от дождя), с железными решетками балконов, подпертых мощными плечами атлантов, мускулатуру которых тепло освещало закатное солнце сквозь листву лип.

Двора и всего того, что составляло двор, не было, однако двухэтажный их дом, закопченный, темный, его покосившийся обветшалый тамбур, деревянные ступени остались целыми, только на первом этаже пыльные окна были всюду завешены изнутри пожелтевшими газетами — никто уже не жил внизу. Но верхние окна с раздернутыми занавесками вроде бы еще сохраняли человеческое дыхание, и мелкая дорожка между сугробами вела к тамбуру. Возле ступеней незнакомая женщина в пуховом платке выбивала на снегу половой коврик, и сердце дрогнуло у Васильева: Раиса Михайловна?.. Однако женщина разогнулась, глянула исподлобья на обоих, по-хозяйски расставила толстые ноги в сапожках, плосколицая, короткотелая, никогда раньше не жившая в их дворе, заправила выпроставшиеся волосы под платок и снова гулко заударяла палкой, выбивая пыль.

Они пошли по тропке, Илья приостановился подле тамбура, угадывающе взглядывая на женщину, пробормотал «здравствуйте» и тотчас обернулся к Васильеву с беспокойством вопроса: «Кто она, эта женщина, которую я, наверно, забыл?» — «Тоже не знаю»,— ответил пожатием плеч Васильев.

Раньше в тамбуре на крепкой лестнице пахло добротным давнишним деревом, сухой пылью, по утрам толкущейся в солнечном столбе бокового окошка, обжитым духом кухни, чем-то непередаваемо домашним, а теперь было здесь заброшено, неприютно, разбитое оконце заколочено досками, пропускавшими в щели дневной свет, и пахло затхлостью, мышами, чердачным холодком.

Лестница на второй этаж оказалась маленькой, тесной, как и унылый коридор наверху, и оказались крошечными обшарпанные двери, и стали по-деревенски низкими подоконники — все вернулось измененным, бедным, когда они поднялись, и Васильев со сладкой болью огляделся на втором этаже.

«Вот здесь было когда-то безоблачно, солнечно, счастливо...»

Они переглянулись.

— Господи, помоги,— покорно сказал Илья и, обреченно сняв шляпу, держа ее в опущенной руке, двинулся к своей двери, первой справа, с давно облупившейся краской, где косо висел тоже облупившийся почтовый ящик с наклеенной на нем полоской бумаги, и вслух прочитал шепотом:

— Раиса Михайловна Рам-зина...

И не то чтобы Васильева поразило неуверенное лицо Ильи, его костяная бледность, а этот его запнувшийся голос, произнесший собственную фамилию, как чужую, будто впервые так на слух ощутимую.

— Пожалуй, тебе лучше будет одному. Я подожду здесь,— сказал Васильев, глядя в конец коридора, где яично желтела крайняя дверь, обитая новым дерматином, незнакомая в этой яркой нынешней желтизне, за которой все-таки должны были быть две их комнаты, смежные, с окнами во двор, всегда распахнутые с весны в радостную зелень, в прохладу лип. Кто жил сейчас там, за этой ужасающе желтой дверью?

— Я прошу тебя, хоть на минуту со мной,— выговорил Илья, и такого робкого, беспомощного выражения никогда раньше не видел в его глазах Васильев.— Умоляю, Володя, помоги...

— Ты постучи, Илья.

— Сейчас...

Он постучал несмело, за дверью никто не отозвался. Он постучал еще раз и, прислушиваясь, осторожно надавил пальцами на дверь, она отворилась без скрипа и ржавого визга петель, как нередко бывает в разрушающихся домах, и первое, что ощутил Васильев,— нерушимым стойким покоем пахнуло из комнаты, освещенной в два окна солнцем.

Здесь царствовала тишина, тут было ее владение с теми же книжными створчатыми шкафами вдоль всей левой стены, с тем же старинным трюмо в раме из резного дерева, с тем же комодом, но этому ощущению нетронутого, давнего сразу что-то неспокойно помешало: не было письменного стола Ильи и не было его первобытного, украшенного зеркальной полочкой дивана, на котором иногда валялся он, поигрывая гантелями для укрепления бицепсов.

Что осталось и изменилось в правой половине комнаты, Васильев не успел подробно разглядеть, потому что увидел там отворенную дверцу прогорающей гол-

ландки и в кресле напротив обеденного стола (перед окном, выходившим на занесенную снегом крышу тамбура) худенькую, до сплошной белизны седую женщину в очках с металлической оправой, какие носили до войны старые учительницы. Он не узнал, а скорее догадался, что это Раиса Михайловна, и сейчас же услышал глухой, сдавленный голос Ильи: «Мама!..» Нелепо держа шляпу в одной руке, он шел к ней, а она, выпрямляясь, как-то механически переложила толстую книгу с колен на край стола, сняла очки, слабо проговорила: «Ильюша?..» — и встала, мелкими шажками пошла навстречу ему.

— Мама!..

Он, обняв ее, приник щекой к ее виску и замер так, а она, закинув голову с седым пучком на затылке, стояла омертвело, только белые губы ее шевелились, произносили неуловимые, еле угадываемые слова:

— Почему ты, Ильюша... так мог... так долго?

— Мама,— бережно выговорил Илья в склоненном положении, не выпуская ее из объятий, с забытой неловкостью еще держа шляпу за ее спиной, но брови его прыгали, как от задушенных рыданий.— Мама, дорогая моя, вы простите меня за все... Я виноват перед вами, виноват...

— Разве это ты, Ильюша? — прошептала она и чуть отклонилась, вглядываясь в него с вымученной улыбкой.— И ты жив?

— Это я, мама. Я приехал, чтобы вас увидеть.

— И ты такой стал, Ильюша? Морщины, совсем белый? — говорила она, гладя его щеку, и он, зажмурясь, поймал ее руку, прижался ртом.— Когда Маша рассказала, как вы встретились за границей, я не могла представить тебя седым. Ты все время снился мне мальчиком.— И она кивнула стоявшему у дверей Васильеву.— Когда вы с Володей на войну уходили, Ильюша, вы были еще дети... И целая жизнь прошла. Как во сне прошла...

И только тут она заплакала, содрогаясь, силясь сморгнуть мелкие старческие слезы, но тотчас же, приглашая мокрыми глазами Илью в комнату, взяла у него шляпу, положила на стул и попросила Васильева окрепшим голосом:

— Раздевайся, пожалуйста, и ты, Володя, раздевайся... Сколько, сколько прошло лет! Слава богу, ты

жив, Ильюша! — проговорила она, все моргая влажными редкими ресницами.— Я помню, как вы вернулись с окопов, как вы сидели за этим столом. Сколько прошло лет...— повторила Раиса Михайловна дрожащим шепотом.— А я одна всю жизнь прожила... Сколько я передумала о тебе, Ильюша, верила и не верила. Какая пришла страшная бумага: пропал без вести... И как пусто в душе стало!.. Где ты? В плену? Убит? Что с тобой? Сколько я передумала, сколько слез пролила ночами, Ильюшенька! И ни одного письмеца, ни словечка от тебя!.. Как ты мог так долго? Сын, мой единственный, родной человек... Я могла умереть... За что же так жестоко было мучить меня столько лет?..

— Мама, если можете, простите меня, простите, ради бога,— говорил Илья, снимая пальто и с умоляющим лицом торопливо оборачиваясь к матери, как бы страшась ее слез, еще не пережитого ею отчаяния потери, непроизвольно вырвавшегося упрека.— Я все вам расскажу, вы должны выслушать меня, мама, я хочу вам все рассказать...

— Вот ты говоришь мне «вы», Ильюша,— сказала Раиса Михайловна.— Почему ты говоришь мне «вы», как чужой?

— Простите, мама. Я помнил, я все эти годы помнил вас...

— И ты совсем вернулся? А где же твоя семья?

— Прости, мама,— со стоном выдохнул Илья и, весь будто сникший под ее спрашивающим взглядом, приблизился к ней, потер, сжал и опустил руки в виноватой покорности.— У меня нет семьи. Я приехал один... Я должен был тебя увидеть, мама.

— Один? А где твоя жена, Ильюша?

— Я вдовец, мама.

«Никогда не мог представить Илью таким влюбленным в мать и таким растерянным перед ней,— подумал Васильев, испытывая острое неудобство от своего присутствия, стоя у дверей и не раздеваясь.— Но меня мучит, преследует мысль, что Илья приехал, чтобы проститься. Как он ласково смотрит на Раису Михайловну, как хочет улыбнуться ей, трет руки, робеет от ее вопросов... Да, да, вот этот Илья, со вкусом одетый в великолепный костюм, тщательно выбритый, даже красивый, он уже мертв. Через год, через два его не будет на земле. Но этого не знает Раиса Михайловна. Она

переживет его. Если я все время думаю об этом, значит, я никак не хочу согласиться с его смертью!»

— Раиса Михайловна, я отлучусь за сигаретами. Забыл, понимаете, пачку в мастерской. Здесь, кажется, на углу киоск? Я сейчас. Жалость какая!

И Васильев доказательно похлопал по карманам и сейчас же вышел в коридор, не ожидая, пока его будут задерживать. Он понимал, что уже не мог помочь ни Илье, ни Раисе Михайловне нечаянным участием.

В коридоре Васильев повернул, однако, не к выходу, а направо, в конец коридора, к неудержимо притягивающей его желткового цвета двери, сверкающей металлическими шляпками гвоздей по обивке новым дерматином. Он присел на подоконник и, слушая тишину за дверью этих теперь чужих комнат, думал, что хотел бы заглянуть хоть на минуту туда, чтобы увидеть только одну кафельную голландку, напротив которой стоял его диван.

— Вы, гражданин, куда? Кого надо вам? А?..

Короткотелая, в пуховом платке женщина, та, что давеча встретилась им во дворе, со свистящей одышкой, исподлобья уставилась на Васильева воинственным белесым взором, крепко обхватив на животе свернутый коврик.

— Вы... в этой квартире? А я, видите ли, когда-то...— начал Васильев, странно задетый тем, что вот эта некрасивая, неприветливая женщина живет в их комнатах, что ее плоское лицо словно изготовлено к раздирающему крику, к злобной борьбе в защите собственных дверей, и не договорил, оборвал себя иронической улыбкой: — Пардон, мадам. Я не к вам. К сожалению, здесь я вас никогда не видел. Очень сожалею, мадам, что вы не украсили собой этот дом раньше,— сказал он ерническую, неизвестно почему пришедшую на ум фразу, совершенно бессмысленную, и, сказав, щелкнул каблуками, наклонил голову по-кавалергардски, одновременно тоскливо думая об этом мальчишестве: «Кажется, я схожу с ума...»

— Ишь ходют, с виду антиллегентные, в шапках, а сами выглядывают,— зашевелился позади скандального оттенка голос, когда Васильев направился к лестнице.— Фулиганы...

«Фулиганы в шапках антиллегентные ходют»,—

звучало в нем язвительной напевностью, пока он не спустился в пропахший плесенью тамбур.

Обдало мягкой влагой, оттепельным ветерком, но он не почувствовал полного облегчения и на дворе, где в раннем закате пламенела вся стена соседнего пятиэтажного дома, за которым то вибрирующе ревел во всю мощь, то снижал обороты мотор, скрежетали гусеницы, раздавались тяжкие удары, и что-то сыпалось, шуршало, текло под этими ударами, оглушавшими переулок.

«Фулиганы в шапках антиллегентные ходют»,— мысленно смеялся над собой Васильев, а тропка среди краснеющих сугробов вывела его на то место, где раньше были калитка и ворота.

Здесь он приостановился, оглядываясь, вдыхая запах талого снега, и вдруг ему представилось другое: далекие летние сумерки, тихое закатное тепло в неподвижных верхушках лип, покойный и теплый отблеск чердачных стекол, как маленьких лесных озер на вечерней заре, а внизу пробиваются кое-где сквозь листву свет абажуров, приглушенные голоса, звон посуды из раскрытых окон... Потом жаркая июльская ночь, звезды над деревьями, над темными антеннами; калитка закрыта до утра на задвижку дворником дядей Ахметом, ночной двор вроде бы замкнут, обособлен от затихших переулков и улиц, от мостовой, и объединен внутри почти родственным доверием друг к другу: под каждым окном вынесены старые кровати из сараев, устроены постели на стульях и досках, впотьмах белеют подушки, негромко переговариваются перед сном соседи, иногда раздается прикрытый одеялом детский смех, а вокруг двора беззвучно плывет ночная умиротворенная тишина других дворов, ближних улиц, всего Замоскворечья. И в эти часы хотелось подолгу смотреть из постели на шевелящееся колдовство темно-синей глубины, таинственное смещение, загадочное перестраивание звездных трапеций и треугольников и, засыпая и просыпаясь, чувствовать лицом дуновение похолодевшего ветерка и, поеживаясь от ощущения тайной связи с небом, слышать откуда-то издали завывающий шум позднего троллейбуса.

«Что это было такое? Милая патриархальность купеческих дворов? — думал Васильев, так отчетливо представляя детскую радость тихой ночи, звезды, темные верхушки лип во дворе, что ощутил запах утреннего

ветерка и прохладной подушки под щекой на свежем воздухе.— Нет, было другое. Что же это? Умиление прошлым? Нет, несмотря ни на что, была доверчивая близость живущих вместе людей. И была одна надежда. И был у всех одинаковый, скромный достаток... Где все это? Кануло в реку времени? Ушло бесследно?»

Мотор сотрясал ревом воздух, гудел за пятиэтажным домом, тупые удары доносились равномерно, и Васильев, не вытерпев, дошел до угла переулка с желанием посмотреть, что строили там.

За дощатой изгородью по навалу битых кирпичей рывками двигалась гусеничная машина, напоминавшая подъемный кран, на ее крюке нацеленно, грозно размахивался, неуклонно ударял в изуродованную грудь стены стальной шар — коричневая пыль висела в воздухе, сыпалась штукатурка, обрушивался, стучал разбитый красный кирпич, обваливались балки толстых перекрытий. Стена пока стояла, чудом сохраняя фронтон особняка, украшенный лепными фигурами, внизу сквозили бреши изломанных окон, проем широкого балкона с витой чугунной решеткой, переплетенной черными лепестками распустившихся лилий, а атланты под решеткой, запыленные, полуразрушенные, из последних сил еще поддерживали напрягшимися плечами балкон, подрагивающий при каждом ударе неумолимого стального шара гулко звенящим металлом. Был это остаток фасада двухэтажного особняка, кажется, бывшего владельца кондитерской фабрики, где до войны помещалась детская библиотека. И от того, что необъяснимо и непонятно было, зачем сносили этот старый особняк, всегда красовавшийся посреди разросшихся вековых лип своими балконами, фигурными бойницами, поющими над башенками флюгерами, своим подъездом в виде высокого портала — и от вибрирующего танкового рева мотора, гибельных размахов и ударов шара у Васильева заболело в висках. Он с отвращением глядел на тупо и грузно раскачивающийся перед исковерканной стеной шар и думал об Илье, о Раисе Михайловне, о несуществующем дворе, о тщете человеческих усилий сохранить себя во времени.

«Я готов согласиться, что тоже виноват во всем этом, Но откуда эта разрушительная дьявольщина? Неужели

прошлое не останется и никто ничего не будет помнить? И никого из нас? Разрушат старый дом, построят новый, панельный, а другие следом за нами разрушат панельные и построят более безобразные... И, может быть, все наше прошлое рассеется, как пылинки во вселенной. Только память немногих... Только, может быть, искусство что-то немногое сохранит...»

И, раздраженный нелепостью разрушения, он ходил в переулке, сотрясаемом таранным громом, и почему-то вспомнилось, как однажды январским послевоенным вечером вот тут в переулке особенно свирепо крутила вьюга, снежный дым срывало с крыш, с верхушек сугробов, несло, вращало воронками на мостовой, повсюду раскачивались, скрипели фонари вместе с мерзлыми липами, по залепленным заборам мотался то вверх, то вниз замутненный свет, и через эту метель едва пробивался дымящимися квадратами на углу освещенный дом с его сторожевыми башенками, по-разбойничьи свистящими флюгерами, а он — еще в шинели — шел с Машей, колюче, весело исхлестанный вьюгой, и не видел ее глаз, загороженных мехом воротника, видел только часть лба, мохнато заснеженные брови. И, улыбаясь, он часто останавливался («Маша, Маша!»), привлекал ее за плечи, отгибая от лица воротник, скользкий, мокрый, и так нетерпеливо целовал влажные, пахнущие зимой, неутолимо сладкие губы, что она зажмуривалась, рукой в варежке упиралась ему в грудь, а он с ненасытной нежностью все не отпускал ее...

«И этого тоже нет,— подумал Васильев.— Только осталось в моей памяти».

Плотный звук стального шара, разбивающего остаток фасада, походил на удары танковых болванок в кирпичную стену (так было раз в Каменец-Подольском, возле крепости, когда пошли в атаку немецкие танки), и равномерный звук врезающегося в кирпич металла сопровождал Васильева до поворота на Лужниковскую, до места бывших ворот его дома, а ломящая боль в висках не стихала. Он сожалел, что, по-воловьи занятый нескончаемой работой, тщеславным самоутверждением, лет десять не приезжал в этот край детства, и так бы и не увидел его последних остатков, если бы не Илья. Он не мог простить себе необратимую утрату времени, обманчивое и успокоительное откладывание «на потом», будто надеялся на вторую жизнь.

«Что ж, прощай, милый переулок. Я давно должен был приехать сюда с этюдником, но не приехал...»

Ему трудно было возвращаться к Рамзиным, не хотелось видеть свой коридор, победную россыпь серебристых головок обивочных гвоздей на желтом дерматине родной с детства двери, которая, мнилось, отталкивала его неким совершенным предательством, унизительным подобострастием времени перед той плосколицей угрюмой женщиной.

Часа через полтора он поднялся к Раисе Михайловне, чтобы проститься, а когда постучал, услышав приглушенные голоса, и открыл дверь, в первый момент остановила мысль, что все-таки пришел не вовремя, но уйти было уже невозможно. Обернувшись от стола, Илья взглянул на Васильева словно бы с подавляемым неудовольствием: «Да входи, входи, не топчись на пороге! Секретов нет!» — и вновь заговорил, обращаясь к Раисе Михайловне, в голосе его звучала растерянность:

— Мама, иначе я не могу уехать! Ты меня должна понять! Я хочу, чтобы твоя старость была спокойной.

Она сидела в кресле, скорбно закрыв лицо сухонькими руками, на столе же близ чашек и розеток с вареньем виднелась пачка новых зеленых купюр, и Илья подвигал их ближе к Раисе Михайловне, продолжая говорить в замешательстве:

— Мама, я не бедный человек, поверь мне. Ты не разоришь меня. Каждый месяц я буду присылать сто пятьдесят долларов на расходы. В Москве отличные магазины «Березка», и ты на валюту сможешь...

Раиса Михайловна отняла руки от лица, снизу вверх посмотрела на него сухими глазами с горьким выражением перегорелой беды, душевной усталости, сказала со слабой улыбкой:

— Как поздно, Ильюша. Вся жизнь прошла. Ты приехал к концу моей жизни.

— Я чувствую, мама, ты не рада, что я приехал,— проговорил Илья, не сумев скрыть обиду.— А я хотел. Ты не можешь представить, как я хотел тебя увидеть. Мы с тобой одни остались. Одни на целом свете.

Раиса Михайловна обморочно качнулась вперед, зажала виски ладонями, отклонилась в кресле, заговорила молитвенным шепотом, пугающим прорвавшимся страданием, внутренними, непролитыми слезами:

— За что мне послано такое наказание! Всю жизнь

ты прожил без меня, Ильюша. И ты мог... без меня где-то жить. А теперь вот приехал и говоришь, что любишь, и предлагаешь деньги... Зачем, Ильюша, на старости лет мне заграничные деньги? Я ничего уже не хочу! Не возьму же я их с собой в могилу! — воскликнула Раиса Михайловна, вглядываясь в серую бледность его худых щек; а он все стоял в двух шагах от кресла, уперев пальцы в край стола так, что они гибко выгнулись, побелели, и прикованно смотрел на вазочку с вареньем.— Мне нужна была только твоя любовь, Ильюша. А ты мог всю жизнь без меня,— повторила Раиса Михайловна безучастно.— Прости, я все сказала... чтобы мы не мучили друг друга фальшивыми обязанностями. Ах, как я устала сегодня, сил моих нет...— И она в переутомлении закрыла глаза, посидела так немного, потом договорила с дрожью слабости в голосе: — Иди, Ильюша. Володя тебя заждался. Заходи еще... до отъезда. А деньги возьми. Тебе нужны будут деньги...

— Я зайду, мама, с твоего разрешения,— сказал Илья и приблизился к креслу на прямых ногах, окостенело и робко нагнулся, поцеловал мать в висок, где выделялись синие жилки, а она тихонько коснулась щепоткой его плеча.— Мама, мама, прости и до свидания,— проговорил он.— Прости за все...

Васильев хорошо помнил, как Илья слепо заталкивал пачку зеленых банкнот в бумажник, как Раиса Михайловна, не вставая с кресла, кивала им утомленно-печально, как спускались они по шаткой лестнице в тамбур и вышли в переулок, оглушенные ревом бульдозера, объединенные и разъединенные молчанием. Только на углу Вишняковского Илья пробормотал: «Стоп»,— и задержался, глядя в меркнущий закатом пролет улицы, где над голыми сучьями лип висел по-раннему прозрачный в светло-зеленом небе предвесенний месяц, и потянул носом насыщенный влажностью талого снега воздух, говоря с сумрачной едкостью:

— Блудному сыну надо ли возвращаться в святые места? В наше время дорого стоит романтизм! «Где стол был яств, там гроб стоит»!

Он говорил это, бледнея и смеясь над собой, но лицо его стало откровенно злым, жестким, напоминавшим чем-то другого Илью, из сорок третьего года, в то утро возвращения к окруженным немцами орудиям на железнодорожном переезде.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Сначала его удивил свет в окнах своей квартиры, полосой горевших на восьмом этаже, а когда Мария открыла дверь, поразили траурные тени под ее глазами, и он бегло поцеловал ее, уже не сомневаясь, что дома случилось неладное, спросил, встревоженный:

— Маша? Что с тобой?

— Спасибо, что ты приехал. Я позвонила тебе в мастерскую, потому что не могла...

Она прошла в комнату, опустилась на подлокотник кресла под торшером, поправила халат на ногах, взяла с края пепельницы дымящуюся сигарету. Ожидая его, Мария, по-видимому, в одиночестве читала здесь: развернутая английская книга лежала на журнальном столике.

— Я не хотела тебя будить,— сказала Мария, зачем-то положила на колени книгу.— Но, прости, мне как-то не по себе. Все это становится ужасно! Виктория позвонила в шесть часов вечера, сказала, что говорит из автомата по дороге домой, а сейчас два часа ночи. И ее нет. Ты не можешь вообразить, чего я только не передумала. Гос-споди...

— Подожди, Маша, подожди,— остановил Васильев с напускной успокаивающей легкостью.— С кем она была? Ее провожал кто-нибудь?

— Я не спросила, с кем она была, мне не пришло в голову, потому что еще было рано. Я знаю, что иногда они ездят куда-то на Дмитровское шоссе, к преподавателю актерского мастерства. Ну, как же его фамилия? Довольно известный режиссер. Помнишь этот нашумевший фильм о деревенском мальчике? Так как же его? Ну, ты должен вспомнить, ты знаешь...

— Я не помню фильма, Маша. Я просто его не видел.

Мария нетерпеливо повела коленом, поддерживая развернутую книгу, сползавшую по материи халата.

— Ну, ты должен помнить. Господи, я не вынесу...— сказала она, и по тому, как взглянула в раскрытую дверь комнаты на молчавший телефон в коридоре, по тому, как говорила она и придерживала мешающую ей книгу, он ощутил ее раздражение, сейчас необъяснимое, и подумал, что лучше всего не замечать этого и забыть мгновенно, как пытался забыть нечто новое в их отно-

шениях, мучительно возникшее препятствием между ним и ею с одного осеннего утра. Тогда они завтракали, она смотрела в окно на туманные крыши, а он вдруг с волнением увидел — струились глубинным теплом ее темно-серые глаза, переливались молодым блеском,— почувствовал, что влюблен в нее с давней нежностью, стал говорить ей веселую чепуху о том, что любит ее больше, чем тридцать лет назад, но она вопросительно хмурилась, ночью же в его объятиях лежала, казалось, как-то отдаленно, мертво, отворачивая в сторону лицо, пряча губы от его поцелуев, и в этой ее холодности, в ее равнодушно-покорной близости было что-то незнакомое, страшное, умопомрачающее.

Нет, все началось гораздо раньше. Ее отчужденность он ощутил еще в Венеции, когда она отказалась вместе ужинать, а он пошел в бар, чтобы выпить там и расслабиться. В тот вечер он принял ее отказ за капризную усталость в результате переездов, встреч на выставках, приемов в Риме, он никак не связывал непонятное охлаждение Марии с письмом Ильи, его появлением на римском вернисаже и даже свиданием с ней в пригородном ресторанчике (о чем она рассказала позже) — было бы смешно ревновать к тому детскому, предвоенному, ушедшему. И все же унизительная мысль о смехотворной ревности в его возрасте и одновременно то, что Мария знала заранее о приезде Ильи в Москву и сообщила о дне приезда Раисе Михайловне, ничего не сказав ему, коготком царапало его душу, хотя он и не хотел думать об этом.

— Ты, наверное, знаешь, Маша, что приехал Илья,— сказал Васильев, не глядя ей в лицо, чтобы не увидеть неестественного удивления.

— Приехал Илья? Да, я знаю,— ответила она вскользь, бросила книгу на кресло и начала ходить по комнате, крестообразно обняв себя за плечи.— Илья, ты говоришь — Илья... Почему ты заговорил об Илье? При чем тут Илья?.. Ну, где она может быть? Скажи мне, пожалуйста, где? Если они заехали к своему режиссеру, то что они могут делать до двух часов ночи? А если она не у режиссера, то где она? Где? Где? Как его фамилия? Как же его? Любарев? Никонов? Нет, нет! Ах, вспомнила — кажется, Тихомиров! Да, да, Тихомиров...— Она покусала губы, взглядывая вокруг в поиске ускользающего имени, и повторила: — Да, да, ка-

жется, Николай Степанович Тихомиров. Я помню, она называла его имя. У нас должен быть его телефон, должен быть!..

В коридоре она выдернула из-под наваленных на тумбочке писем и разных счетов телефонную книжку и принялась быстро листать ее, роняя пепел с сигареты. Васильев подошел сзади, увидел в зеркале ее сосредоточенно наклоненное лицо, жалкое и родное в каждой морщинке, опять с горечью подумал, что все в этом мире висит на волоске, и внезапная спазма перехватила его голос:

— Разреши, я позвоню, мне будет удобней.

— Только... только бы с ней все обошлось... Ты нашел его телефон?

— Успокойся, Маша.

Он нашел записанный почерком Виктории телефон Николая Степановича Тихомирова, набрал номер, и торопливое вращение диска громко прожужжало в безмолвии коридора, как сигнал зыбкой надежды. Но трубку никто не снимал, и гудки, длинные, безответно-однообразные, доходили из затаенной пустыни чужой квартиры. Трубку не сняли и после того, как он в третий и четвертый раз набрал номер. Неизвестная квартира на другом конце города по-прежнему молчала. И когда Васильев отыскивал номер, звонил, ждал ответа, то ежеминутно наталкивался в зеркале на глаза Марии, мрачно-серые, замершие, и он пытался успокоить ее взглядом, испытывая растущее беспокойство и от тревожного оцепенения в ее глазах, и от пустынного, повсюду зажженного электрического света в квартире, и от сиротливых гудков в трубке, как бы из небытия возникающих и в небытие пунктирами утекающих — в непроглядную бездну ночной Москвы, где могло случиться всякое... Он не хотел верить в это ночное и темное, но когда представил гибкую, лебединую тонкость дочери, хрупкую беспомощность ее шеи и плеч, чересчур длинных ног, малоразвитой груди, всегда вызывавших в нем пронзительную жалость, когда представил ее приглашающую улыбку, плавный голос: «Здравствуй, па-а!» — он почувствовал уже не беспокойство, а леденящее шевеление страха под ложечкой, и сразу же все стало ничтожным, кроме этого чувства.

— Послушай, Мария,— сказал Васильев, не снимая руки с телефонной трубки.— Есть еще один беспечный

человек, у которого она может быть. Это твой чудный дядя — Эдуард Аркадьевич. Его монологи бывают беспредельными. И уклониться от них не так-то просто...

Она зябко передернула плечами.

— С половины первого ночи я начала обзванивать всех. Звонила и Эдуарду, и твоему Лопатину, и этому балбесу Светозарову. Не поверишь, балбес оказался дома, смотрел какой-то хоккей и уверил меня, что Вику сегодня не видел. Какое бессилие, какое ужасающее бессилие!..

— Маша, давай посидим и спокойно подумаем,— сказал строго Васильев.— Где бы Виктория ни была, нам остается одно — ждать.

— Ты говоришь — ждать? — повторила она и вдруг сказала с самоказнящей насмешливостью: — У тебя нет такого ощущения, что в этой гостиной я уже два года жду свою дочь?

— Что ты хочешь этим сказать, Маша?

В гостиной зашипели часы, стукнул молоточек, и вместе с нарастающим шипением упал густым, органным басом отрезанный удар, отдаваясь тягучим гулом в коридоре и комнатах. Бой смолк, и снова ровно и одиноко отстукивал в тишине старый «Павел Буре». И в этих отсчетах безразличных ко всему секунд глубокой ночи на мгновение встал перед глазами Васильева утонувший в мартовской тьме их дом с тревожно-яркими, пронзающими темноту тремя окнами, за которыми неудержимо утекало необлегчающее время.

«Вероятно, мы были бы повально счастливы, если бы наши чувства были выше времени,— подумал некстати Васильев.— И спасение приходило бы в лазурных снах».

— Наверное, наша дочь взрослая девица, влюблена в какого-нибудь парня и, конечно, между ними все может быть, как бывает в молодости,— сказал Васильев, совсем не желая этого «все может быть», но стараясь успокоить Марию.— Представь, что двое молодых влюбленных людей забыли обо всем на свете, телефона в квартире нет, к автомату бежать не хочется. Так, Маша, может быть?

— Ты... ничего не знаешь! — ответила Мария шепотом.— Ничего ровным счетом не знаешь... Ты не знаешь, как два года назад я вот так же ждала ее до утра...

Она стояла, зажмурясь, подставив лицо невидимому

ему ужасу, вспоминая только то, свое, неотстранимое, что он еще не мог знать и предположить,— и страх, смешанный с любовью к каждой черточке в ее лице, сжал его знакомым ознобом.

— Что я не знаю, Маша? — спросил он.— Что ты скрываешь от меня?

— Я не хотела...

Она села в кресло около торшера, ненужно положила ту же английскую книгу на колено, не к месту открывшееся полой халата своей белой округлостью и полнотой, и молча клонила голову к страницам, и он увидел ее опущенные ресницы, набухшие от слез.

— Может быть, ничего не нужно мне говорить, Маша? — сказал он, намереваясь смягчить напряжение, чувствуя, как жалость к ней охватывала его зеленой колючей тьмой.— О чем ты?

— Я не хотела тебе рассказывать,— заговорила Мария носовым голосом и вытерла две расплывшиеся капли, упавшие на страницу.— Мужчине и отцу этого не надо знать. Ты помнишь болезнь Виктории? — Она не выдержала, слезы замелькали по ее щекам, и, жалобно отворачиваясь, она в тихой обессиленности сказала: — Конечно, ты всего ужасного не знаешь...

Нет, он не знал всего, что случилось два года назад, знал только, что болезнь дочери началась довольно-таки загадочно после поездки за город, в какую-то Грибановку. Это было дачное место под Москвой, где у одного из студентов собиралась после окончания экзаменов компания первокурсников. Виктория вернулась домой на рассвете (в ту ночь Васильев работал у себя в мастерской), а когда ранним утром позвонила Мария и он, пораженный ее замороженным голосом, приехал немедля на квартиру, она, задушенно всхлипывая, припала виском к его груди, прошептала: «Не надо к Вике заходить сейчас»...— и по ее шепоту, по тишине, по запаху лекарств он понял, что произошло что-то серьезное, опасное, так молниеносно изменившее все в доме. Потом она ушла в комнату дочери, он же сидел у двери, сосал незажженную сигарету и слушал, как за стеной прерывисто плакала, звала Марию, вскрикивала в забытьи Виктория, улавливая отдельные слова, бессвязные фразы, ее бред, ее мольбу, обращенную к какому-то шоферу такси, к каким-то парням, готовым к убийству, к какому-то милиционеру, который не хотел

ничего предпринимать, и эти повторяющиеся вскрики, неутешные рыдания его восемнадцатилетней дочери отдавались в нем ударами боли. И была непонятность того ужасающего, что случилось с ней вчера за городом. А Мария неумело лгала ему, сбивчиво говорила о неких психических женских особенностях возраста, чего мужчине, по ее словам, объяснять не полагалось, наняла ночную сиделку, бывшую медицинскую сестру, взяла отпуск и сама целый месяц не отходила от Виктории, осунулась, подурнела, перестала улыбаться, а по вечерам чутко сидела с книгой у торшера, прислушиваясь к шорохам в комнате Виктории, вздрагивала от малейшего звука за стеной, и он думал с неисчезающей тревогой: «Что они скрывают от меня? И ради чего?»

Васильев увидел дочь через восемь дней, когда июньским утром его впустили наконец в ее комнату, проветренную, наполненную солнцем (везде стоял свежий летний тополиный запах), увидел на снежно-белой подушке такое же белое истонченное лицо дочери с черным, спекшимся, искусанным ртом, с осиненными глазами, ставшими такими огромными, иконописными, испускавшими такой печальный беззащитный свет смертельно раненного животного, что его стиснул малярийный озноб, и, боясь показать ей это, выговорил фальшиво-бодро:

— Здравствуй, моя дочь, как ты чувствуешь себя, милая?

Она повернула голову, посмотрела на него и в первую секунду попыталась даже улыбнуться ему своими огромными глазами. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, и тоже улыбнулся, но лицо Виктории вдруг задрожало, скривилось, капли одна за другой покатились по ее искривленным запекшимся губам, и, выпрастывая из-под простыни руки, она вся рванулась к нему, обнимая, плача, крича, ударяясь лбом о его шею, умоляя его:

— Па-па! Миленький... помоги мне! Помоги мне, па-па!..

И, прижимая ее, теплую, дрожащую, беспомощную, успокоительным родственным объятием и ощутив ее тонкие несильные позвонки на спине, он внезапно испытал такое отчаяние у зыбкой грани между жизнью и смертью близкого, дорогого, просящего помощи существа, что ни слова выговорить не сумел, лишь чувство-

вал, как мокрые родные щеки терлись о его подбородок, и она порывисто повторяла, судорожно икая:

— Папа, миленький, помоги мне, я не могу, не хочу... видеть людей!.. Я не хочу их больше видеть!..

— Что с тобой, Вика? Что с тобой, милая?

— Я не могу, не могу, папа, тебе рассказать, не могу, не могу, не могу!..

Потом слова дочери преследовали Васильева, не давали покоя ему, повторяясь все с одной и той же интонацией, с той же мольбой, надеждой и неистовой жалобой, и познанная им отцовская мука была тем непереносимее, что Виктория инстинктивно искала его защиты, а он бессилен был ей помочь.

И сейчас, вспомнив свое состояние неразрешенной бессильной жалости, обвившиеся вокруг его шеи доверчивые руки дочери, ее рыдающий вскрик: «Папа, миленький, помоги!» — он подумал, что то, потрясшее его, не кончилось у Виктории, что Мария связывала тяжкое нездоровье дочери с ее сегодняшним ночным отсутствием — и, чтобы разжать железную петельку в горле, он спросил:

— Что было тогда с Викторией?

Она посмотрела на него снизу вверх, и он точно прикоснулся к влажному осторожному свету.

— Нужно ли тебе знать, Владимир?

— Решай сама, Маша. Наверное, нужно.

— Об этом страшно говорить,— помолчав, сказала она и задержала на его лице глаза, напряженные, потемневшие, за которыми все обрывалось.— О господи, надо же было ей тогда запоздать и не поехать со всеми к этому своему однокурснику! Она слезла с электрички и в темноте заблудилась в сосновой роще, отыскивая эту ужасную Грибановку. Но самое чудовищное было то, что ей встретились два местных парня с велосипедами, приятели однокурсника, и, представь, со смехом и шуточками взялись проводить до той улицы, где была дача, которую она искала... Она думала, что пришло спасение, а эти рыцари с велосипедами затащили бедную девочку в какой-то заброшенный сарай, зажали ей рот, угрожали ножом, распяли на грязной соломе...— с омерзением выговорила Мария, отворачиваясь.— Ты можешь представить, что она вынесла, что она вытерпела, какую подлость, какую грязь! Кто-то проходил по дороге мимо, и ей удалось закричать, вырваться, ис-

царапать рожи этим велосипедистам, и они оставили ее...

Мария швырнула книгу на журнальный столик, ее лицо, измененное судорогой, источало гадливое отвращение, было болезненным, исстрадавшимся.

— И мерзко было потом, когда Виктория выбралась из страшного сарая, дошла до электрички. На платформе оказался постовой милиционер, и она, истерзанная, ты можешь представить, стала говорить, объяснять, что на нее напали, а он ясно видел ее разорванную кофточку и твердил одну и ту же несусветную глупость, что, мол, джинсы носите, водку пьете, потому и драки учиняете. Понимаешь, драки учиняете! Этих «рыцарей» с велосипедами нетрудно было найти, но... «Но» заключалось в том, что этого не хотела сама Виктория. Представь одно только унизительное обследование врачей. При воспоминании о Грибановке ее охватывал ужас, какая-то лихорадочная дрожь, ее даже начинало тошнить...

Васильев, раздернув шторы, стоял у окна, не отвечая Марии, глядя на синеющие снежные крыши. Дуло от стекла студеным воздухом, а лоб его был овлажнен горячей испариной, и ясно виделось ему то детское отчаяние, переполненные слезами глаза дочери, когда он обнимал ее, судорожно икающую от рыданий, потрясенный птичьей хрупкостью ее позвонков под пижамой и тем, как она просила его: «Папа, миленький, помоги мне...»

Раз в прошлом году, поздним сентябрьским вечером, на даче, Виктории захотелось яблок, и они оба вышли в сад, осенний, холодный. Возле забора в верхушках берез не по-летнему шумел, сыпал листьями ветер, крупные звезды выстроились несметной силой над черной крышей дачи, и меж угольных елей проступал высоким белым поясом Орион. В потемках Васильев тряс стволы яблонь, включал карманный фонарик, нащупывая лучом в траве круглые бока антоновок, и Виктория, шурша корзиной, собирала их, радуясь этому вечернему приключению: «Смотри, па, какой огромный дурачище, лежит и притаился!» Последние яблоки падали на землю с крепким сочным стуком, а когда внесли полную корзину в дом и высыпали антоновки на стол террасы, везде разнесся ночной холодок ветра, и будто чистота прозрачного речного льда, первозданная свежесть исходила от Виктории, от ярких,

приглашающих к искренности и веселому пиршеству ее широких серо-синих глаз. И успокоенно он подумал, что Вика полностью оправилась после болезни и вернулось к ней прежнее ощущение жизни. Но через полчаса, поднявшись на мансарду, в мастерскую, он увидел, что свет наверху погашен, в огромных, во всю стену, окнах стояла чернота ночи с пылающими созвездиями, а Виктория лежала под окном на тахте и плакала глухо, тихо, и глаза с блеском слез посмотрели ему в глаза умоляюще-испуганно, когда он наклонился к ней, спросил, что случилось. «Нет, ничего, свет, пожалуйста, не зажигай»,— ожесточенно ответила она и села на тахте, стала грызть яблоко, всхлипывая по-детски носом, больше не сказав ничего.

«Папа, миленький, я не могу, не хочу видеть людей!..» — опять вспомнил он ее слова безысходного отчаяния в дни болезни и, заставляя себя не поворачиваться от окна к Марии, услышал, как она подошла осторожно сзади, приникла головой к его плечу, спросила шепотом:

— Почему ты молчишь?

— Ни ты, ни я не помогли ей. Единственное, что я могу сказать,— проговорил он с резким сожалением, словно не хотел сейчас прикосновения Марии.

Она отстранилась.

— Но — как?.. Володя, ты привык и не замечаешь, как любит тебя Виктория. Ей было бы невыносимо, если бы она узнала о нашем разговоре... Она хотела бы остаться прежней в твоих глазах,— сказала Мария и погладила его плечо с насильной нежностью.— Я даже уверена, что она тебя любит гораздо больше меня. Но, кажется, ты в чем-то меня упрекаешь?

— Ни в чем.

— С нами происходит что-то нехорошее.

— Просто ты стала нас меньше любить,— проговорил он, еще не сознавая, зачем сказал эту фразу, и мимо отстранившейся Марии прошел в коридор, из конца в конец оголенно залитый электричеством, с большим, пусто отблескивающим зеркалом, с бессмысленным телефоном, оделся быстро и, откидывая цепочку, приостановился, настигнутый ее жалким окликом:

— Володя, куда?

— Я буду ждать Викторию около дома,— ответил он и вышел на лестничную площадку к лифту.

Ему во что бы то ни стало надо было глотнуть освежающего воздуха и расслабить в себе сжатую пружину удушья. Выйдя из подъезда, он сдвинул меховую шапку с еще влажного лба, расстегнул на груди пуговицы — сырость ночи обмыла его сквозь свитер, и стало немного легче.

А вверху гудело, грохотало по крышам, накатывало волнами, вязко плескалось во тьме, шумело где-то за домами море, порывами хлопала и разрывалась в клочья намокшая парусина, и из-за угла дома набрасывался ветер, забивая дыхание.

Васильев шел по хрумкающему ледку, а впереди над сучьями тополей месяц то появлялся в светлеющей глубине проруби, то мчался, нырял в сизом дыму. В воздухе всюду пахло мартом, в пахучей, набухшей темноте улицы волновались деревья. Их морской гул вместе с гудением проводов проносился тугими потоками, перехлестывал крыши, и, подточенный южным ветром, талый снег срывался с карнизов, обвально гремел в водосточных трубах.

«Уже весна?.. И я не заметил, как она пришла. Еще позавчера был февраль...— думал Васильев, вдыхая сладкую влагу мартовской ночи, удивляясь скоротечности и не радуясь весне, всегда вызывавшей у него в дни молодости возможность и ожидание неутраченной надежды.— Что со мной происходит в последнее время? Я нездоров. Или я заболеваю какой-то мучительной болезнью. Я чувствую себя виноватым перед всеми — перед Машей, перед Викторией, перед Ильей... И это похоже на боль... Но в чем моя вина? В том, что мы вовремя не можем помочь друг другу? Но Виктория хотела и не хотела помощи».

И, оглушенный шумом деревьев, глухим плеском в водостоках, он кругами ходил вблизи дома, по краю бульвара, мимо перезимовавших машин, которые уже вытаяли из сугробов под деревьями, показав горбатые спины, голубовато отливающие под месяцем.

«Где сейчас может быть Виктория?»

Стояла непроницаемая предрассветная пора ночи. Ни единого прохожего не было на окрестных улицах, нигде не светилось ни одного окна. И острый внутренний холод стал вонзаться в него, и, подняв пропитанный насквозь влагой воротник, Васильев замерзал в дурном предчувствии настигающего, неотвратимого, жестокого,

как напоминание и предупреждение о том, что рано или поздно надо расплачиваться за пятнадцать лет спокойной работы, за эти так называемые успехи, признание, покупки музеями его картин, поездки за границу с выставками — не слишком ли он был занят самим собою в эти удачливые годы?..

Внезапно он очнулся и поднял голову от звука мотора, от волгло плещущего шума колес по проталинам, от хруста ледяной крошки. В конце неосвещенного проулка вспыхнули фары, лучи их протянулись по лужам, по продавленным в буром снегу колеям, высветили отчетливо забрызганную ограду, отсыревшие стволы тополей, — и машина, обдав масляной теплотой мотора, затормозила напротив угла дома, фары, обляпанные грязью, погасли.

Он различил, что это такси, однако зеленый огонек не загорался, никто не выходил из машины, за ее стеклами было непроглядно черно. Но тут Васильев почувствовал такую рвущуюся легкость в груди и такую неимоверную тяжесть в ногах, что привалился спиной к водосточной трубе, внутри которой картаво бормотала, звенела вода, вдохнул несколько раз воздух, чтобы успокоить бег сердца.

Нет, он не увидел Викторию, не услышал ее голоса, но в этой единственной появившейся из ночных улиц машине и в том, что в проулке она зажгла и погасила фары, выискивая удобное место для остановки, и в том, что она затормозила вблизи угла их дома, было неопровержимое присутствие в ней Виктории, и он, не сомневаясь, пошел к машине с еще работающим мотором, и тотчас открылась задняя дверца.

— Папа, миленький, ты? Ты встречаешь меня?

— Я тебя жду...

Виктория, в меховой шапке, в длинной дубленке, отороченной мехом, вылезла из машины и, тонкая, выпрямилась перед ним, и это была реальность: ее всматривающиеся с улыбкой глаза, прохладное прикосновение родственных губ к его щеке и запах вина, который он ощутил упреждением опасности, и ее нежный молодой гибкий голос без малейшего оттенка вины, перевитый легким, свободным непринуждением:

— Папа, я не знала, что я заставлю тебя ждать так поздно... Но я не одна. Меня провожают, и совершенно не нужно было беспокоиться. Илья Петрович, что вы

застеснялись и не покажетесь папе? — с нарочитой веселостью сказала она в открытую дверцу, безобидно забавляясь тем, что непредвиденно создавало любопытное положение.

«Илья Петрович? Илья? Каким образом? Как они встретились? Где?»

С улыбкой невинного интереса Виктория посмотрела на отца, он понял, что она ожидала его удивленного или неприязненного выражения, Васильев же только нахмурился, увидев, как через меру неторопливо выбрался из машины Илья в своем коротком пальто, мягкой фетровой шляпе, и забелело худое лицо в тени ее полей.

— Добрый вечер... вернее, доброй ночи, Владимир!— проговорил Илья излишне чеканным серьезным голосом, нисколько не склонный ни к шутке, ни к оправданию...— Признаюсь, не предполагал встретить тебя. Но уж если встретил... прими свою сказочную дочь в целости и сохранности!

— Не слишком ли, Илья, черт возьми! — не сдержался Васильев.— Как прикажешь все это понимать?

Илья снял шляпу, несколько изысканно поклонился Виктории, затем Васильеву, ответил тоном непоколебимой правоты:

— Прошу тебя, поговори с дочерью, она объяснит абсолютно все. Спокойной ночи. Я сегодня нарушил все свои режимы и должен ехать в отель. Сегодня я смертельно устал. Разреши, Владимир, позвонить тебе утром? Я уезжаю послезавтра.

Он влез в такси, захлопнул дверцу с металлическим щелчком, громко отдавшимся в узком проулке, машина тронулась, влажно зашуршала шинами по проталинам, свернула в сторону центра вдоль трамвайной линии.

— Виктория,— начал Васильев сдержанно, зная, что смысла нет высказывать сейчас удивление, досаду или недовольство.— Ты взрослый человек и понимаешь, что делаешь. Мне позвонила мама в мастерскую в половине второго, и мы ждем тебя три часа. Посмотри — без десяти пять...

— Па, ты плохо меня ругаешь,— сказала Виктория и взяла его под руку.— Может, ты меня любишь и не умеешь ругать...

Они вошли во двор, и здесь он невольно взглянул вверх, на светящиеся окна на восьмом этаже, где над крышей мелькал посреди дымных фиолетовых туч зер-

кальный месяц и высоко переплескивалось близкое море марта. Сверху несло в лицо теплой сыростью, мелкими каплями, пахнущими намокшей корой осины — весенним запахом ночи. Виктория перехватила внимание отца на окнах, задумчиво наморщила переносицу и мягко извлекла невесомую кисть из-под его руки.

— Па,— сказала она просящим голосом,— давай покурим и погуляем вместе немного. Я не хочу домой... Я хочу с тобой поговорить. Ты согласен, па?

Он кивнул, готовый согласиться на все и вместе испугавшись ее доверительного тона, ее искренности.

— Только позвони маме. И скажи, что все в порядке и мы с тобой около дома. Пошли к автомату. У тебя есть две копейки?

В автоматной будке она покопалась в сумочке, доставая монету, и когда заговорила с Марией, он подумал, что вот сейчас наконец ослабло в душе что-то натянутое до предела, и состояние, близкое облегчению, коснулось его в эту секунду.

«Надолго ли?» — подумал он, увидев, что она закуривала, выйдя из будочки, не стесняясь его.— Но как... почему она приехала с Ильей?»

— Па, я знаю, тебе неприятно, когда я курю,— заговорила она своим гибким голосом и взглянула с озорной нежностью, снова просунула кисть ему под руку.— Но ты меня любишь и простишь. Тем более отучиваться поздно...

Они миновали двор и пошли по обочине бульвара, сквозного, скребущего на ветру ветвями в пустынном уличном коридоре.

— Пожалуй, дочь, от моего прощения или непрощения уже почти ничего не зависит,— сказал притворно-спокойно Васильев.— В твои годы я командовал батареей и в чем-то был самостоятельным парнем. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, ты стала тоже принимать самостоятельные решения... не советуясь ни с матерью, ни со мной.

— Откуда ты знаешь, папа?

— Что?

— Что я приняла самостоятельное решение.

Легким и требовательным нажимом кисти она заставила его остановиться, потянула за локоть к себе, и ее недавно улыбавшееся лицо обрело строгое, недоверчи-

вое выражение человека, готового ни с чем не соглашаться.

— Откуда ты знаешь, папа, что я приняла решение?

— Какое решение? — спросил Васильев озадаченно.

Она опустила голову, вторичным нажимом кисти повлекла его за собой и, выбирая сапожками нерастаявшие бугорки звучно хрустящего льда, пошла рядом.

— Как странно, папа! — сказала она с сердитым осуждением.— Почему ты не спрашиваешь об Илье Петровиче? Ты ведь удивлен, правда?

— Ну что я должен спрашивать — как вы встретились? Я догадываюсь...

— Нет, ни о чем ты не догадываешься.

— Хорошо, пусть так. Что ты хотела мне сказать, Вика?

Она затянулась сигаретой, отвернула лицо и нежными вытянутыми губами выдохнула дым в сторону.

— Па, не сердись, когда я заходила к тебе в мастерскую, то схитрила немножко. Я тогда не сказала, что приедет твой друг Илья Петрович, хотя знала, что приедет. И мама знала. Ты понимаешь меня, па?

— Не понимаю, но... я слушаю, Вика.

— После вашей поездки в Италию маме как-то взгрустнулось, и она показала мне в альбоме фотокарточку Ильи Петровича и твою. Где-то вы там стоите около турника на фоне какого-то сарайчика, какой-то голубятни... Два довоенных мальчика, два мускулистых Аполлона, просто прелесть. Таких сейчас и в помине нет. Илья Петрович был, конечно, до войны неотразим. Па, скажи откровенно: в те времена он был кумиром мамы, да?

— Возможно, это было, Вика.

— Не выдавай меня, но после вашей поездки мама стала получать письма от него из Италии и скрывала их от тебя. Скажи, ты ревновал когда-нибудь маму к нему? Хоть раз?

— Мы были друзьями, и я верил Илье Петровичу,— сказал Васильев искренне, чтобы не отпугнуть Викторию уклончивой двусмысленностью.— Я не хотел ревновать, но ревновал все же. Я любил маму без памяти...

— Мне давно известно, что ты любишь маму гораздо больше, чем меня. Ты однолюб, па.

— Я люблю вас обеих, Виктория.

Она засмеялась вынужденно:

— Но ты не имеешь права не любить своего ребенка.

— В таком случае у меня два ребенка.

— Слушай, папа, что я тебе скажу,— заговорила Виктория, доверительно пожимая его локоть.— Когда я увидела последнее письмо Ильи Петровича в бумагах у мамы, я не выдержала и прочитала — видишь, какая я дрянь ужасная? Он написал маме, что приезжает двадцать шестого и заказал номер в гостинице «Метрополь». Слушай, па, как получилось... Я очень хотела увидеть его, твоего старого друга и бывшего маминого кумира, неотразимого Аполлона на той фотокарточке. Было чертовски любопытно узнать телефон, позвонить ему в номер из вестибюля «Метрополя» и увидеть, как он на лестнице вытаращил на меня глаза: «Как? Вы дочь Марии? Поразительно! Не может быть! Впрочем, очень похожа, настоящая юная Маша!» Вот так и случилось, а потом было забавно слышать, как он два раза оговорился — назвал меня Машей. Знаешь, мне было интересно с ним: в нем есть трагизм и горечь какая-то...

— Но для чего тебе это, Вика, милая? — едва не застонал Васильев, страшась ее прозрачной, наивной чистоты, ее неосторожных поступков, этой незащищенной, пугающей доверчивости дочери, и хрипло договорил: — Не будь это Илья Петрович, тебя можно было понять не так, как надо.

Виктория пренебрежительно свистнула.

— Папа, только не надо о дурацком благоразумии! Ведь это ложь, лицемерие, трусость и черт знает что такое! Боже, сколько в мире ложных спасательных кругов! Для кого они? — с вызовом сказала Виктория, поперхнулась сигарным дымом, и получился тонкий звук, похожий на детское всхлипывание, кольнувшее болью Васильева.— Нет, папа, все зависит от нас самих! — овладела собой Виктория, сердито бросила под ноги сигарету, продолжала брезгливым тоном: — Знаешь, кто создает ад на земле? Не природа и никакая не темная сила. Нет, папа, сам человек великий творец земного ада. Эту фразу стоит запомнить, она не лжет, как многие другие.

— Кто так сказал, дочь? Из какой пьесы?

— Не преувеличивай мудрость наших драматургов. Это сказал Илья Петрович... Послушай, па, и не удивляйся тому, что я тебе скажу,— проговорила Виктория,

отпустила его локоть, плавно переступила сапожками проталину и, постукивая каблуками по ломким стеклянным закраинам луж, где раскалывалось и отблескивало скольжение месяца, отошла шагов на десять вперед, потом повернулась, высокая в своей узкой дубленке, сказала издали необычно звонким, как отточенное лезвие, голосом: — Па, я, наверно, поеду в Италию! Он приглашает, и я решила.

— Он приглашает в Италию? — выговорил, обмирая, Васильев.— Приглашает? Когда? Зачем?

— Он пришлет приглашение, папа, и я поеду. Не знаю, на какой срок: на месяц, на год, на пять лет — не знаю. Только не надо разговоров о благоразумии. Иначе мы поссоримся. И не говори, что вы против потому, что любите меня,— это запрещенный прием. Знаю, на всем белом свете вы только двое меня любите. Но что же, па, делать? Я решила... и гадко отступать, трусить.

И он увидел на ее лице безмерное презрение к возможной трусости и возможному отступлению.

— Подумай об одном, Вика,— проговорил он не сразу, в мучительной попытке найти точный смысл возражения.— Ты убьешь маму. Мы не имеем права быть беспощадными друг к другу.

— Меня уже убили, папа,— сказала она почти весело и так безнадежно развела руками, как бы подставляя себя гибельному року, что он не выдержал, захлестнутый любовью, бессильной жалостью отцовского чувства, ощутив отчаянное, детское, слабое в ней, обнял и поцеловал ее в прохладный родной лоб.

— Вика, моя Вика...

— Не надо, папа, а то я заплачу,— выговорила Виктория шепотом и не уткнулась головой ему в грудь, а отстранилась, не принимая помощи, быстро пошла к дому под морским шумом тополей на бульваре.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В десятом часу вечера после долгих, требовательных звонков и стука в дверь Васильев отщелкнул замок, и в мастерскую поспешно вошел Олег Евгеньевич Колицын, поставил в передней портфель под вешалку и, не здороваясь, распахивая шубу, проговорил запальчиво:

— Не поражайся, Васильев, я сегодня ворвался к тебе не с дипломатическим визитом! Спасибо, коллега, спасибо за твою надменность, великий мастер. Спасибо за то, что ты меня в шею выгнал, как сопливого мальчишку, в присутствии иностранца, именно — взашей выгнал из мастерской этакую мелкую назойливую бездарь, которая втирается тебе в закадычные друзья! За что, спрашивается, ты меня оскорбил? Я всей душой к тебе, а ты? За что?..

Был Колицын неумеренно возбужден, говорил раздерганно, его треугольные мутно-красные глаза смотрели со злой растерянностью, и Васильев, сожалея уже о проявленной им несдержанности в день приезда Ильи, не желая ничего обострять (у него не хватило бы душевных сил для напрасного объяснения с Колицыным), сказал примирительно:

— Во-первых, здравствуй. Во-вторых... если я вел себя как-то по-глупому, то прошу у тебя прощения, Олег Евгеньевич. Раздевайся, пожалуйста.

— Разденусь, даже если ты не пригласишь! Но з-занятно, все занятно у тебя, Володя!.. Я тебя по имени, ты меня — по отчеству. Вон как! Как будто мы знакомы только по официальной линии! Что ты хочешь подчеркнуть этим? Нашу несовместимость? Пропасть между талантом и посредственностью?

— Так уважительно принято на Руси,— кисло возразил Васильев, стыдясь вспоминать собственную бесцеремонность, и спросил: — Ты встречал кого-то сегодня?

— Ошибаешься! Никого! Никого я не встречал, не провожал, не ласкал комплиментами! — заговорил Колицын накаленно, кидая шубу на кресло.— Сегодня я принадлежал не известному тебе чиновнику Колицыну, а только себе... своему «я». Без кельтов, гуннов и янки — и не было ни коктейлей, ни джина с тоником! Я счастлив сегодня, Васильев! А был у меня в мастерской один мой старый приятель, и я показывал ему... Мы смотрели мои вещи с утра, я показал ему все! Мне хотелось показать все свои работы: он был потрясен... Не вам же, гениям, ха-ха... Не вам всю славу мира, а как в той песенке — «цыплята тоже хочут жить!» Так снизойди, снизойди! — закричал Колицын и схватил влажной рукой за руку Васильева, с цепкой силой притянул его.— Ты должен, ты сейчас должен поехать в

мою мастерскую, немедленно! Одевайся, ты у меня не был никогда! Не был! Никогда, никогда! Раз в жизни, единственный раз ты можешь заставить себя ради институтского товарища пожертвовать двумя часами? В мастерской ты не видел ни одной моей вещи! Я для тебя персона чиновничья в нашей живописи! Поедем, Володя, поедем на Масловку!

— Сейчас?..

И Васильев зашагал по мастерской, представляя, какая это может быть нечеловеческая мука — ехать к ночи на Масловку смотреть работы с перевозбужденным Колицыным, выслушивать его неупрятанные, неперемолотые обиды и упреки, говорить что-то о цвете, о композиции, хвалить, фальшивить — это было бы нещадным убийством времени, тратой нервных клеток, напрасным самоугнетением, на что недоставало духу решиться, но он сказал миролюбиво:

— К сожалению, ты слегка разгорячен, а я — в монашеской ясности перед сном. Я встаю в шесть, Олег.

— Брезгуешь мной? — желчно выговорил Колицын и зашагал рядом с Васильевым по мастерской, ероша, теребя длинные, серой седины волосы.— Не-ет, мы поедем, поедем ко мне, Васильев! Ты не откажешься, не побрезгуешь! Я к тебе прямо из своей мастерской! Я за тобой приехал, за тобой! Я с этой целью приехал!..

Никогда за многие годы Колицын не проявлялся в возбуждении до такой степени, вдруг утратив внушительную внешность, солидную улыбку приветливого лица, победоносно-утверждающую походку, и каким не видел его Васильев раньше, и грубой вязки свитер его, видимо, надеваемый для работы, был продран на локтях, испачкан краской, неаккуратно заправлен в затерханные джинсы, глаза, налитые кровью, воспаленно-набрякшие, бегали по картинам, повернутым к стене, то и дело натыкаясь на закрытый материей мольберт, который, должно быть, будоражил его любопытство.

— Значит, не поедешь? Значит, пренебрегаешь? — проговорил он осекающимся голосом и, пошатываясь, вывалился в переднюю и внес оттуда объемистый портфель, увесисто стукнул им в стол, спешаще расстегивая никелированные замочки.—Ладно. Утремся. Ладно. Стукнулись мордой о скалу высокомерия — и утираемся, утираемся! Тогда что ж, Володя, снизойди посмотреть хоть это... Взгляни хоть на эти вещички. Я никогда те-

бе своих работ не показывал и не просил... Да, вот три вещи, они мне дороги, посмотри, посмотри!

Он трясущимися руками достал из портфеля тщательно обернутые фланелевой тряпкой три работы маслом, каждая размером в тетрадный лист, аккуратно разложил их на столе и потом зашел сзади Васильева, задышал шумно за его плечом. Кислый посторонний запах винного перегара раздражающе дошел до Васильева, он нахмурился, глядя на картины, и Колицын выговорил затрудненно:

— Что? Что? Не нравится?

И Колицын задрожал за его спиной, как в ожидании смертного приговора, задевая коленом о ножку стола, и его нервное сопящее дыхание, кислота винного перегара и дрожащее прикосновение ноги, качающей стол, внезапно потрясли Васильева ожиданием и робостью этого благополучного в жизни человека, которому, к сожалению, надеяться в искусстве было не на что. Ранние, студенческие работы Колицына, его пейзажи, его натюрморты, насколько помнил Васильев, хотя и были не вполне самостоятельны, но выступала в них свежесть молодости, солнечный свет, лежала зеленая пестрая тень летнего дня, и тогда о нем кто-то из метров сказал: «Себя, себя погрубее искать надо, а не глаз импрессионистов в себе, и, может быть, толк будет». Эти ободряющие слова, ставшие известными всему курсу, вскоре забылись, но толк был, и Колицын успешно окончил институт, чуть позже его пригласили преподавать, затем избирали на разные общественные должности,— искал ли он себя в эти годы, обремененный чинами, заботами, работой в иностранной комиссии, коктейлями, аэродромами, совещаниями? Он редко участвовал в выставках. Кто здесь был виноват?

— Ты уверен — тут твое лучшее? — спросил Васильев, призывая на помощь смягченные, неповоротливые участливые фразы.— Почему, Олег, именно эти три работы ты показываешь мне?

— Я прошу... Я хочу знать твою оценку. Только честно, честно! То, что думаешь... Я посоветовался. Мой приятель... тот, что был у меня, порекомендовал показать тебе эти три вещи. Он в восторге, ты извини, он в восторге.

— Он в восторге, черт его дери, он в восторге,— повторил неопределенным распевом Васильев, рассмат-

ривая картину, где в старательных подробностях был написан интерьер затопленной солнцем мастерской — круглый деревянный столик в углу с пепельницей, заваленной чадящими окурками.— Ну, если честно, Олег, то и названьице ты умопомрачительное дал: автопортрет... Обскакал модернистов по всем статьям, объехал их милые прелести, деваться им некуда. А тут что? — спросил Васильев и не смог подавить неудовлетворение, увидев на второй картине хорошо выписанный угол русской печи, протянутую веревку от гвоздика до гвоздика, на которой вплотную с хоругвеобразными кальсонами и рубахами висели, сушились связанные за ушки растоптанные кирзовые сапоги.— Не понимаю подобной красоты, Олег. Подштанники в обществе с сапогами. Русский неореализм, что ли? — с хмурой иронией спросил Васильев и перевел внимание на третью картину — пейзаж с речным косогором, до единой травинки высвеченный последним лучом заката, розовеющим в камышах и воде.— Прости, здесь я тоже чего-то не очень понимаю. Вроде талантливый замысел по простоте. Но в чем мысль, черт возьми? Пейзаж без мысли бессмыслен. И по манере... архаично, много красивых завитушек и подробностей на косогоре, дробится глаз, как в калейдоскопе. Да нет, не о том я,— оборвал свою речь Васильев, раздраженный собой.— Не о том, Олег. В общем, ничего, и никого ты не слушай,— Васильев махнул рукой и отошел от стола, избегая глядеть на эти обнажающие Колицына картины.— Все условно в искусстве, все субъективно, в конце концов. Мое мнение о твоих вещичках не сделает их ни лучше, ни хуже.

«Я не хочу говорить правду,— подумал Васильев, все больше мрачнея,— и я обманываю его, подкладываю соломку лжи и унижаю себя добренькой болтовней. А что она изменит, моя правда? И зачем ему она? Честолюбие? Тщеславие? Он преуспевает, прочно стоит на ногах — доктор, профессор, секретарь, преподает в институте, метр, учит студентов... И он хочет знать мое мнение?»

— Вот что мне пришло в голову,— заговорил нахмуренный Васильев.— Ты зачем-то просил меня честно сказать, хотя мое мнение никакого значения для тебя не имеет. Знаю, что одна и та же природа, одно и то же событие по-разному воспринимаются разными людьми. Наверно, в разном, Олег, прелесть жизни и искусства.

Но нелепо держать в руках курицу, а воображать, что поймал жар-птицу. Не обижайся, у меня такое ощущение, что ты держал в руках курицу, но не ощипал и ее. Отпусти ты пернатую, Олег, ради бога, отпусти, пусть себе гуляет,— Васильев вздохнул необлегченно,— а сам пиши на здоровье свои книги о композиции и колористике и только студентам своей придуманной изысканностью в живописи глаз не порть. Ведь им эта красивая красивость хуже заплесневелой пастилы. Реализм — беспощадная штука...

Он говорил это и силился уйти от грубоватых слов, в то время как Колицын со скрещенными на груди руками, в позе римлянина, вызывающе откинув голову, стоял перед ним, и смертная, почти покойницкая бледность наползла на его оледенелое лицо, на его ставший восковым нос, который пугающе заострился, и, казалось, Колицын насильственными вдохами втягивал воздух, чтобы прервать глубокие накопленные рыдания. «Да он упадет сейчас»,— мелькнуло у Васильева, но тотчас Колицын ослепленно откачнулся назад и с выражением страдания бросился к мольберту и, сильным рывком сдирая материю с холста, с подчищенного вчера портрета режиссера Щеглова, который никак не удавался Васильеву, лихорадочно заговорил, обжигая кипящими словами злобы:

— А ты думаешь, что твои работы предел х-художества? Образец совершенства? Может, ты считаешь себя законодателем современного искусства? Может, ты думаешь, что ты единственный видишь мир цветом и мазками? Не-ет, Володенька, это умели великие, мировые мастера, недосягаемые вершины, а ты холмик, бугор по сравнению с ними! И еще... еще неизвестно, кто из нас талантливее! Неизвестно! Я плевал на твое мнение, Васильев! Плевал на твои звучные тона, на весь твой жесткий стиль, который не стоит и одной моей детали, плевал, плевал!.. Новатор дерьмовый! Любая моя неудача на голову выше всех твоих успехов! Ненавижу, ненавижу всю вашу послевоенную братию! Со всеми вашими стилями! Жесткими и мягкими! Ненавижу!..

Колицын уже кричал скандально-отвратительно, безудержно, его большая львиноподобная голова тряслась в яростном исступлении, набухшие веки сжимались и разжимались, выкатывая крупные оловянные слезы; а когда в крике его прорвались не то рыдающие нотки,

не то нотки истерического смеха, Васильев, пораженный, подумал, что, должно быть, так, в припадке бессильной ненависти, люди сходят с ума, и, отвернувшись от Колицына с чувством стыда и неудобства, желал сейчас только одного — чтобы тот скорее, скорее уходил из мастерской, скорее... «Завтра с сожалением он будет вспоминать о своем безумии!»

— Гений, ты — гений! Ответь ты, великий Моцарт, скажи, скажи мне, ничтожному Сальери! — с театральным хохотом, в котором клокотали слезы, крикнул Колицын и так взбешенно ударил кулаком о кулак, что раздался костяной звук.— Поч-чему, поч-чему ты уверен, что бог дал тебе талант, а мне кукиш с маслом? Ответь, ты ответь — считаешь меня бездарью и считаешь, что я, гнусный червяк Сальери, завидую тебе, божественному Моцарту? Завидую? Так считаешь?

— Ты просил сказать правду. Я сказал полуправду и превратился в глупца, чему теперь уже не удивляюсь,— выговорил Васильев.— Поэтому прошу тебя не кричать и уйти.

— Ах ты-и... вон-он-как! Значит, второй раз выгоняешь!..

— Я вынужден попросить тебя уйти.

— Замолчи! Замолчи! О, если ты скажешь еще слово, я тебя ударю! — И Колицын в неистовстве опять стукнул кулаком о кулак, расплющивая так ненавистное, враждебное ему, и выжженная злобой пустыня его глаз, и его щеки, смоченные слезами, и эти до дрожи сжатые кулаки, ударяющие друг о друга, подтвердили Васильеву то, во что он не смог бы прежде никогда поверить,— встала между ним и Колицыным необходимая и уточнившая их взаимоотношения ясность, разъединяющая их окончательно, но он проговорил мягко:

— Я хочу попросить тебя, Олег, еще раз: уходи, пожалуйста.

— Уйду и запомню я этот вечер, на всю жизнь запомню, гений!..

Треск захлопнутой двери прозвучал выстрелом в вечернем коридоре, а Васильев, стискивая зубы, морщась, ходил из угла в угол и неуспокоенно вспоминал, как яростно плакал, истерично ударяя кулак о кулак Колицын, как кричал он вот тут, в мастерской, корчась от самой глубокой, ничем не излечимой раны.

Он ворочался с боку на бок, и все тело его изнемогало в такой ледяной тоске, таком гибельном страхе, что он боялся громко закричать, вскочить с постели, сделать неразумное, ужасающее, и, чтобы освободиться от этого неподвластного страха тела, он пытался внушить себе, что через несколько часов настанет утро и тогда отпустит, ослабнет истерзавшая его душевная боль...

«Что же это за страшный сон снился мне?»

Сначала в небе шли два огромных вертолета, затем висели, как прямоугольные дома над церковью, выстроенной кольцевыми этажами, подобно Вавилонской башне, острием уходящей в высоту сумеречного неба. На каждом этаже горела толстая свеча, по круглым этажам ходили люди, в гигантских вертолетах тоже зловеще светились багровые огни, и там, в небе, за этими огнями, приготавливалось враждебное, убийственное. Но тут из-за ограды церкви вылетела навстречу первому вертолету цепочка странных трасс, подобно раскаленным камням, прямоугольный дом в небе взорвался, брызнул рваным пламенем, и обломки, кувыркаясь, падали над церковью, нанизывались на крест, кощунственно сотрясая острую громаду купола.

Оглядываясь на закачавшийся храм, готовый рухнуть всеми этажами, они бежали по дороге, босые, в серых рубахах с невероятно большими рукавами, каменистая дорога, раскаленная африканским солнцем, нестерпимо обжигала ноги, колючки впивались в пятки железными крючками.

Кто были они? И от кого они убегали? И кто был тот, который летел впереди, не касаясь земли ногами, над горячей, красноватой, выжженной солнцем дорогой, размахивал длинными рукавами, зигзагообразно бросался то вправо, то влево? По спине и затылку он был похож на Илью, лица же невозможно было разглядеть, но в этом не было смысла, потому что чья-то команда криком подстегивала их бег: «За мной! За мной! В сад!»

Левее дороги возникла ограда, за ней открылся сад, запахло сухой каменистой пылью. И, задыхаясь от едкого удушающего запаха, они стали карабкаться на деревья, на колючие запыленные сучья, которые игла-

ми лезли в глаза, царапали до крови кожу. Вокруг оттягивали сучья загадочные желтые плоды в толстой жесткой кожуре, и они срывали их, с сумасшедшей торопливостью заталкивая в карманы, набивали за пазуху, мучимые голодом и долгой погоней. А погоня была где-то вблизи, в окружавшей их пустыне, и тогда Илья крикнул с соседнего дерева, упираясь оголенными ногами в раздвоенный ствол: «Вот так разгрызай!» Их надо было разгрызать, наподобие яблок, толстокожие плоды, кожура отскакивала стальным панцирем, и крошечный орешек таял во рту. По примеру Ильи он ел их жадно, утоляя голод, все время озираясь на угрожающую пустыню за садом, откуда уже вплотную надвигалась гибель... И тут внизу под деревом он увидел Марию. Она стояла юная, тоненькая, в черной, покрытой слоем пыли косынке, каких никогда не носила, лицо было бледно, брови изгибались темными полосками, огромные темно-серые глаза немо умоляли его. А он, слабея от любви и нежности, начал спеша кидать ей на землю плоды, поняв, что она упорно следовала за ним через пустыню и тоже неимоверно голодна. И в тот момент, когда под деревом появилась Мария, он понял, что они сейчас умрут. Метрах в ста позади ограды, среди знойного песка, мелькнули человеческие фигуры, двое мужчин, один в белой рубахе, широкоскулый, молодой, другой постарше, в форменной фуражке с железнодорожными молоточками на околыше, лицо человека, увиденное на миг, показалось знакомым: млечные одутловатые щеки, треугольные, львиные, в припухлых веках глаза. Кто это? Колицын? Неужели? Нет, нет! Но как он походил на Колицына! В руке этот человек крепко держал черный саквояж, где позвякивали колющие и режущие орудия, приготовленные для мучения беглецов...

Их поймали только двоих (Илью не нашли с ними) и привели к деревянному помосту в центре дышащей огненным жаром пустыни, с них сорвали одежду, и его, связанного, возвели на помост и рядом уже разложили на досках острые, леденящие кровь никелированные инструменты, чтобы терзать его, а Марию оставили внизу, под помостом, и там мучили ее, и он слышал оттуда ее стоны боли, видел, как выгибалась на песке ее нежная шея, как запрокидывалось лицо с закрытыми глазами, из которых текли слезы, и чувствовал, что у него

сейчас разорвется сердце от этих рыданий Марии. И не в силах высвободиться, помочь ей, он закричал хрипящим голосом, чтобы убили его и отпустили ее... Он просил, он звал их, зная, что это единственное, чем он еще может облегчить муки ей.

И тогда человек с треугольными глазами подошел к нему и, стеклянно заглядывая в самые зрачки, стал ногой подвигать все ближе и ближе табуретку, на которой были по размеру аккуратно разложены никелированные инструменты...

— Володя, Володя, почему ты так стонешь?

Он проснулся с душным биением сердца и, очнувшись, долго смотрел в темноту, где светлела на окне штора, испытывая такое одиночество, такую разрывающую душу тоску, ощутив рядом Марию, которая ладонью робко трогала его потный лоб, что едва удержался, чтобы не прошептать, еще весь охваченный не уходившим из сознания кошмаром: «Маша, милая, почему нам стало так тяжко?» Но тоже робко он поцеловал ее запястье и сказал совсем другое, обыденное, ложно-мужественное:

— Снилось что-то запутанное. Какая-то ерунда.

— Да, ты метался, стонал. У тебя ничего не болит? Ты весь в поту. Тебе дать валидол?

— Не надо, Маша...

Она тихонько отвернулась и скоро уснула. И опять сад, погоня, помост в пустыне, и опять все повторилось, все представлялось до пронзительности реальным, и реальным был тот человек, в форменной фуражке с молоточками, пытавший сладострастно их обоих. И Васильев ворочался, заглушенно мычал в подушку, неслышно растирал сердце, а оно колотилось, с перебоями вырывалось из удушья, он боялся внезапно умереть, и эта боязнь подымала его с постели. Он вставал, не зажигая света, стараясь не разбудить Марию, пил воду на кухне, ходил взад-вперед по коридору, скрестив на груди руки, и шепотом повторял ссохшимися губами:

— Тоска. Какая тоска.

Острая, давящая пустота в груди мешала ему найти равновесие, и, отдернув занавеску, приоткрыв форточку, впускавшую холодную струю, он с тупым вниманием смотрел в окно на сереющую рассветным воздухом улицу и думал: «Да, я заболеваю. Я все чаще стал замечать в себе это...»

Потом он оделся и, осторожно защелкнув замок, спустился в пустынный двор, еще закованный предутренним морозцем.

Все это утро бредовый сон не выходил у него из головы, вставал пережитой явью, а когда он начал работать, солнечный мартовский свет несовместимо, разяще разобщил и раздробил то, что хотел на холсте соединить Васильев. Он видел внутренним зрением горячую пыль, раскаленную красную пустыню, жгучий блеск зноя, какой-то помост для казни и внизу под ним распростертую на земле Марию с запрокинутым, залитым слезами лицом, а он, связанный на помосте, не мог в бессилии пошевелиться, даже перевести дыхание, и Васильев, обливаясь потом, не в силах сосредоточиться, замечал неверные мазки кисти на холсте.

...Над этим пейзажем он работал давно, этюд был написан осенью, под Псковом, около бывшего мужского монастыря, от которого остались одни развалины, и каждый раз, когда он возвращался к незаконченному пейзажу, волнение обдавало его беспокойством неопределенной утраты.

На холсте был яркий прощальный день конца октября, белое солнце стояло низко, сквозило между стволами дальних берез, которые на косогоре против солнца казались черными. Дул ветер и оголял заброшенный монастырский сад, голубое совсем летнее небо с летними облаками сияло над махающими верхушками деревьев, над разрушенной каменной стеной, освещенной сбоку. Одинокое упавшее в траву яблоко лежало возле стены, еле видимое сквозь облепившие его листья.

Да, он был совершенно один в окрестностях того монастыря, и был тогда солнечный, сухой, просторный день, густо шумели, переливались золотом оставшейся листвы старые клены, мела багряная метель по заросшим дорожкам сада, и все было прозрачно, свежо, прощально. Почему прощально? Почему после пятидесяти лет, особенно в яркие, сухие, звонкие дни осени, он не мог уйти от чувства, что и с ним скоро случится то, что случилось с миллионами других людей, точно так же, как он, ходивших вот по таким заросшим тропинкам вблизи других стен, с грустным наслаждением вдыхавших октябрьский холодок другого обветренного забро-

шенного сада, с тою же мыслью о невозможности и неотвратимости расставания навсегда? Думал ли об этом Врубель или Нестеров? Но, может быть, в познании хрупкости и недолговечности красоты всего сущего в мире, ее радостного мгновения есть великий обман жизни и есть великий сладкий самообман, в котором проскальзывает теплый лучик счастья, спасительная надежда на нечто такое, что будет после нас...

Может быть, красота осознается только в роковой и робкий момент ее зарождения (утро, переход в полдень, начало сумерек, конец грозы, первый снег) и перед ее неизбежным исчезновением, увяданием, на грани конца и начала, на краю пропасти?

Ничего нет недолговечней красоты, но как непереносимо ужасно то, что в каждом зарождении прекрасного есть его конец, его смерть, день умирает в вечере, молодость в старости, любовь в охлаждении и равнодушии. И только пойманный миг красоты, в которой уже незримый зародыш обреченности,— сладчайшая ложь и вместе несогласие с кратким земным сроком, вера в постоянство, здоровье, бессмертие, как и великая наивность всей человеческой жизни. Да, прекрасный и великий самообман...

Так что ж — в зарождении прощание и наоборот?

Васильев положил кисть на стол, вытер руки и с задумчивой медлительностью начал снимать со стеллажей и ставить к стене пейзажи, написанные в прошлом году.

Ранние зимние сумерки, сиреневые березы в вечереющем воздухе околицы, угол деревенского дома с забитыми крест-накрест окнами, последний багровый луч на скате сугроба, завалившего крыльцо, и тишина многоверстная, первобытная, с далеким, чудилось, перелаем собак, и одинокой первой звездой; широкое окно террасы, распахнутое в жаркий, зеленый день, прошла гроза, все сочно, радостно, обмыто: нескошенная трава и яблони отяжелели от влаги, сверкают под веером лучей из-за уходящей тучи, веселая вода струится из переполненной бочки, где плавают сбитые бурным дождем яблоки, тянет по саду влажной свежестью, и кажется, что в ушах еще гудит летний ливень, падает на крышу террасы дробным глухим грохотом (какое наслаждение и какое грустное чувство было писать тот миг быстро исчезнувшей молодой радости лета!); ав-

густ, в тихом и теплом предзакатном воздухе золотятся верхушки осин, везде блаженный покой, безмятежное прощание дня с жарой, запахами нагретых трав и листвы, и неподвижность всего в ожидании заката, сумерек, нового превращения жизни (как он хотел поймать это щемящее состояние перехода!); северное вечернее небо, выметенное ветром, пасмурная вода осени до горизонта и две видавшие виды лодки бок о бок у берега, связанные накрепко заржавленной цепью, как двое неразлучных во всем белом свете, соединенных любовью, временем, страхом, обязанностями, два связанных одиночества... (как грустно, все грустно!); апрель, лимонная луна стоит в голом березняке, освещает черноту земли, оставшиеся островки снега, прошлогоднюю опавшую листву. И вновь в этом было беспокойство скорого прощания, одиночества, прелесть утраты и ожидания прочного, долгого, солнечного, чего никогда не было в его жизни...

«Никогда этого не было после войны... И все-таки было... Но с чем это связано? С детством? С войной? С Марией?»

Васильев упал в кресло, зазвеневшее пружинами, и, оглядывая картины, начал по вычитанному где-то совету поглаживать виски, чтобы взбодрить себя, надеясь, что пройдет тяжесть в голове и станет легче. Ясный мартовский день вливался в окна мастерской весенней щедростью света, и воздух, тянувший в форточку, почему-то пахнул молодой яблочной спелостью, напоминая милое волнение прошлого, еще не обремененного усталостью, странным недомоганием, постоянной виной...

«Да в чем моя вина? Я переутомился, я беспредельно устал...»

Он гладил виски, но боль не проходила, и постепенно дурнотная слабость стала расползаться в руках, в животе, будто от сильного голода, от истощения, потом на спине и груди выступила испарина, и ему захотелось лечь, отдохнуть на диване и, лежа на спине, не думать ни о чем в облегчающей рассредоточенности, точно плыть по воздуху окутанным бархатным невесомым туманом, где не было ни угрызений совести, ни вины, ни жалости, ни душевной боли, изнуряющей его часами.

Это сложное нервное состояние было замечено им полтора года назад, когда однажды в августовские сумерки он, чрезмерно утомленный работой над трипти-

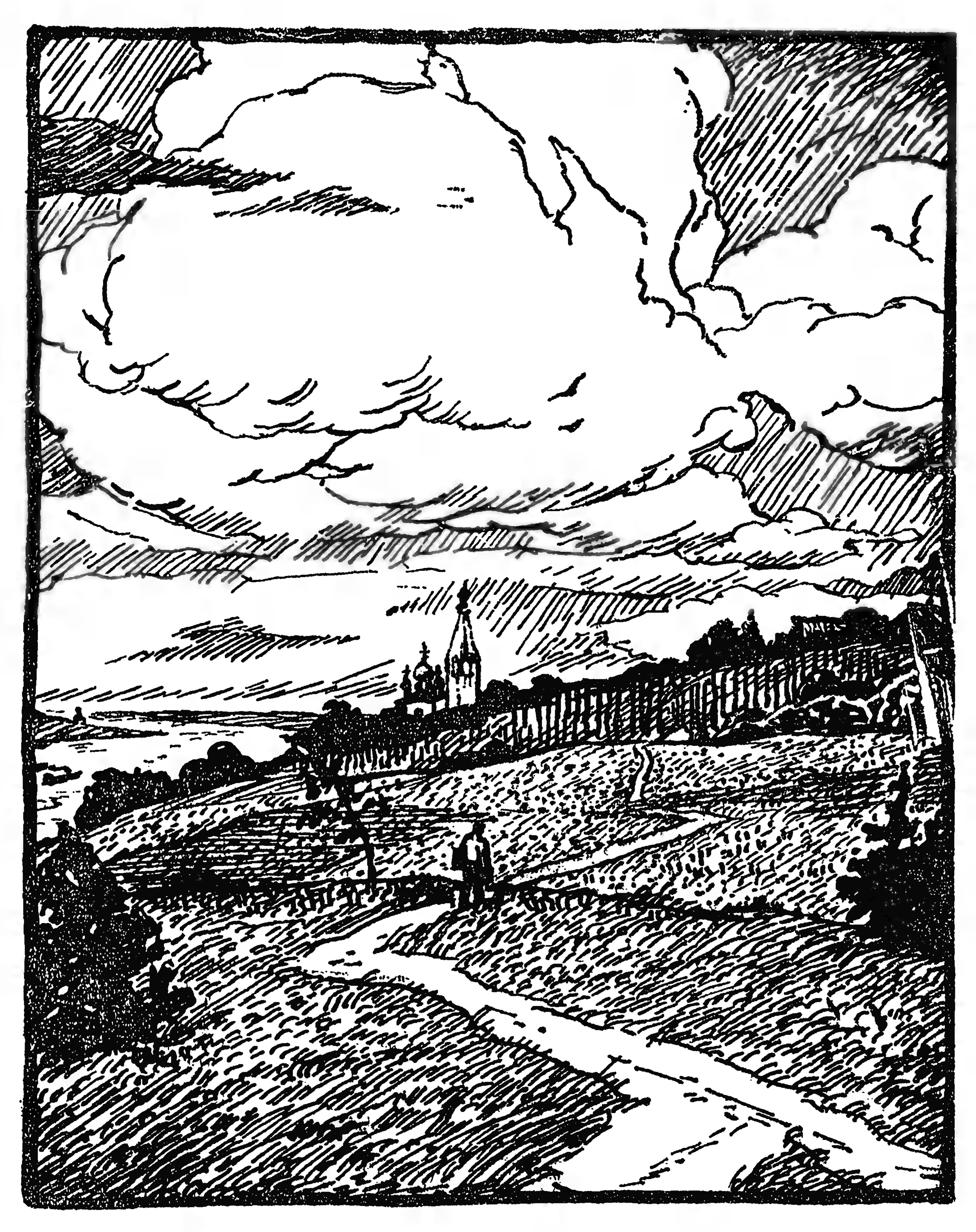
хом, задремал в кресле возле мольберта и его разбудили резкие телефонные звонки, заставившие его вскочить с ударами крови в голове.

Вся мастерская, затопленная пыльно-лиловым дымом угасавшего заката, была погружена в полутьму, прямоугольный холст зловеще, ребристо отливал кровавыми красками, а телефон так судорожно, призывно трещал на тумбочке, что Васильев в раздражении сорвал трубку, долго не понимая, кто звонил ему. Старческий голос или голос, ослабленный расстоянием, неразборчиво произносил фразы, полный смысл которых не доходил до Васильева, лишь можно было догадаться, что звонил какой-то художник, его поклонник с Дальнего Востока (он так и сказал: «с Дальнего Востока»,— не назвав города), завтра выезжающий в Москву для того, чтобы посетить мастерскую... Какой художник? Какой поклонник? И почему с Дальнего Востока? В первое мгновение Васильев так ничего и не сообразил, сердясь, досадуя, что телефон внезапно вырвал его из спокойного сна, но в следующую минуту морозным ветерком подуло по его лопаткам: кто звонил ему? Ведь он сотни раз слышал этот немного глухой, слабый, порой по-птичьи дребезжащий голос! Нет, кто же это, кто?

И, подталкиваемый неодолимой тревогой, Васильев вновь рванулся к телефону, принялся узнавать в справочной междугородных переговоров, кто сейчас звонил ему, из какого города (здесь не исключался и розыгрыш), но телефонистки не сумели выяснить и ответить толком, кто и откуда звонил,— и тогда, сидя один в шуршащей темноте мастерской, почти не напрягая память, он вспомнил, чей это голос. Было чудовищно и дико согласиться с тем, о чем подумал он в тот миг, но старческий голос, порой глухой, слабый, порой по-птичьи дребезжащий, был голосом его покойного отца, умершего десять лет назад. Васильев понимал, что подобное совершенно невозможно, что начинается просто безумие, и вместе с тем это не было ни слуховым обманом, ни галлюцинацией,— он так ясно помнил голос в трубке и особенности интонации отца.

«Может быть, все приснилось мне?..»

Это чувство противоестественности обострилось спустя неделю: никто с Дальнего Востока не зашел в мастерскую, никто из приезжих не позвонил, и теперь тот



нежданный звонок в августовские сумерки представлялся ему сигналом предупреждения во сне, каким-то знаком мистического напоминания о прошлой его вине перед отцом. А отец жил не так далеко от Москвы (одна ночь в поезде) на берегу Псковского озера в рыбачьем поселке, куда переехал из Москвы, уйдя на пенсию. Лет пятнадцать назад Васильев часто бывал у него и там работал на натуре с весны до поздней осени, исписав все, что можно было, и только тут понял, почему отец, страдающий астмой, уехал из Москвы и ку-

пил домик на чистом воздухе. Здесь был простор, солнце, тишина, высокая синева неба с кудрявыми холмами облаков, опрокинутых в нежную зеркальность озера, здесь, за отмелью, просмоленные рыбачьи лодки плавно покачивались, слегка позванивая в полуденной жаре цепями якорей, изредка визгливо кричали чайки, усаживаясь на забеленные пометом борта баркасов; теплый воздух ласково тянул по белому песку меж красных валунов, шевелил нагретые кустики репейника, над которыми туго гудели полосатые шмели; пахло водорослями, донной сыростью от развешенных на заборах сетей; голуби ходили по деревянному причалу, коровы, лениво жуя, разморенные зноем, лежали на песчаной косе или стояли по колено в воде, помахивали хвостами, бессмысленно глядели на старые заржавленные рыбацкие мотоботы, наполовину затонувшие, где загорелые босые мальчишки сидели с удочками; а закаты были яростные, безмерные, таинственно и подолгу не потухавшие в небе и озере, ночи глубокие, звездные, как манящая в себя разверстая жуть вселенной...

Он помнил, как в те приезды отец иногда останавливался за его спиной в часы работы на натуре, замирая от восторженной гордости за своего сына, сумевшего благодаря труду и таланту вырваться в люди, достичь успеха, известности, и боялся пошевельнуться, нечаянно нарушить его работу астматическим дыханием, клокочущим кашлем. Но Васильева раздражало это надоедливое присутствие отца за спиной, его благолепное восхищение в тусклых глазах и то, как он умиленно и длительно рассматривал, ощупывая ласкающим взглядом, этюды и готовые картины, поставленные на террасе для просыхания красок. «Незаурядный у тебя талант, Володя. Береги его. Природа наградила тебя». И неудобно было, когда отец смущался, краснел склеротическими пятнами, стеснительно заикался как-то, кряхтел при виде денег, которые Васильев давал ему на расходы. Отец, пряча глаза, бормотал всегда одни и те же фразы о том, что никаких денег пока не надо, пенсии вроде хватает, а Васильеву каждый раз мнилось, что отец неискренен, лицемерит, и было неловко видеть его розовое, возбужденное лицо, жесты, его руки, прячущие ассигнации в карман.

И поразило, что после его смерти все деньги, что давал и переводил он ежемесячно, оказались нетрону-

тыми, неистраченными и были письменно завещаны сыну вместе с домом и скарбом и десятком новых рубашек, в целлофановых неоткрытых упаковках, ни разу отцом не надетых, по разным случаям даренных ему Васильевым.

Но горше всего было то, что за год до смерти отец в письмах очень деликатно спрашивал, удобно ли приехать на денек в Москву, посмотреть новые картины и внучку посмотреть — не будет ли Мария обижаться на его стариковское вторжение? Васильев читал эти письма поверхностно, бросал их в кучу других писем, приглашений, договоров и бумаг, не часто отвечая, двумя строчками, собираясь все подробно написать, что приехать надо обязательно, как только он будет свободнее от неотложной работы. И обычно в следующем письме отец униженно извинялся («Я понимаю твою занятость, сын, прости меня, надоедливого»), но немного погодя снова нерешительно спрашивал, может ли на денек в мастерскую приехать: «Погляжу на картины, на внучку, а утречком в поезд сяду — и домой».

Он так и не выбрал этого времени для отца, хотя тратил в ту пору целые дни и целые вечера на всякого рода заседания, пустопорожнюю «интеллектуальную» болтовню и бесполезные встречи в клубе. Отец, робкий его поклонник, не осмелился приехать на денек без приглашения, опасаясь помешать сыну в святой работе, а скоро Васильеву пришлось ехать на похороны отца, испытывая вдруг такую пустоту, такое угрызение совести, что всю ночь напролет простоял у окна вагона, задыхаясь при одном воспоминании о его последних письмах...

А когда он увидел в гробу застывшее, неузнаваемо помолодевшее лицо отца, его скорбный, недвижный в удовлетворенной полуусмешке рот вместе с надменным выражением потустороннего спокойствия, Васильев поразился тому, как с беспощадным высокомерием подменяет смерть живые черты, накладывая вместо них навечную свою печать отчужденной тайны. Но что же, что было в горьких складках его губ, сжатых так незнакомо? Познание того, что не знали живые и весь этот суетный мир? О, как всезнающе и горько жалел он остающихся на земле!.. Просто, может быть, ему ничего не нужно стало: ни славы сына, ни приезда в его мастерскую, ни краткого пребывания в гостях у

внучки. И Васильев, прощаясь, прикоснулся к каменной руке отца (веря, что надо дотронуться до покойника и наступит облегчение), но это не помогло ему ни в тот день, ни потом. Можно было убедить себя, что живые всегда виновны перед мертвыми, что в век нервных перегрузок многим не хватает лишь одного шага на пути к добру, поэтому угасает на земле и родственная привязанность, и взаимопонимание близких. Эта оправдывающая его логическая попытка вызвала у него чувство стыда, и он не мог простить себе свою черствость («Черт меня возьми, принимаю же я иностранцев, показываю часами картины, бываю терпеливым, вежливым, отвечаю на всякую несусветную чепуху! А для отца не нашел времени!»). И непростительным было то раздражение в дни приездов к отцу на Псковское озеро, против его ненасытного любопытства к работе «знаменитого сына», против его почти раболепной влюбленности и его с трудом подавляемого кашля, когда он из-за спины Васильева наблюдал рождение картины. Раз, в момент такого тихого кашля, наверное, душившего отца («для чего, наблюдая мои руки, он задерживал дыхание?»), Васильев обернулся, нахмуренный, и встретился взглядом с его обмершими васильково-голубыми старческими глазами, которые говорили ему: «Прости меня, прости!» Потом, удушливо закашлявшись, отец улыбнулся сквозь выступившие слезы, будто виноват был в том, что еще жил на белом свете.

И эту улыбку страдальческого извинения запомнил Васильев навсегда.

«Неужели, помимо воли, я не стал близок самому родному мне человеку? Отец боготворил меня, а я отвечал ему молчаливым раздражением занятого собою себялюбца!..»

И тот странный вечерний звонок с Дальнего Востока, слабый, по-птичьи дребезжащий голос толкнулся в нем отравленным острием старой вины, и, видимо, тогда он почувствовал первые признаки нездоровья.

Телефонный звонок расколол тишину мастерской, однако Васильев, вытирая испарину на лбу, чувствуя дрожь слабости в животе, сидел по-прежнему напротив расставленных у стены картин. Но теперь не видел этих похожих томительной недосказанностью пейзажей, с

удивлением прислушиваясь к несмолкаемо звенящей сеточке боли внутри себя. Он понимал, что это не физическая боль, а нервы расстроены до крайности, что его сжимает, давит, гнетет глухая тоска, жалость к Виктории, к Марии, к покойному отцу, как если бы он, Васильев, жестоко предал их. Разум Васильева пробовал доказывать, что нет ничего бесплоднее самоистязания, что его переутомление и его начавшееся нервное расстройство — результат многолетней работы без отдыха, и вкрадчивый, помогающий кому-то голос внушал ему: «Ты талантлив, удачлив, материально обеспечен, женат на любимой женщине, разве ты не познал состояние счастливого удовлетворения? Что тебе еще нужно? Не уйдешь, не уйдешь...» и этот настойчивый голос боролся в нем с чем-то, преследовал его неотвязно в долгие часы, когда он оставался наедине с самим собой.

«Не может же быть, чтобы моя жизнь была сплошной виной перед другими! — подумал Васильев с сопротивлением, с желанием вырваться из тоскливой тесноты, и снова помогающий кому-то вкрадчивый голос ответил ему тихо: — А почему бы нет, счастливец?.. Илья попал в плен, ты — вернулся. Маша любила его, а стала твоей женой. Илья серьезно болен, а у тебя только нервы. Но не уйдешь... жизнь не терпит одного лишь цвета удачи. Надо платить за все... Возвращение старого долга. Должник равновесия, жертва безжалостных весов жизни. Как смешно звучит слово «жертва». Нет, не уйдешь, не уйдешь... Должник истины и правды. Кому нужен твой долг? О, какая тоска, какая тоска!..»

Телефон прерывался и вновь трещал со злой, нарастающей требовательностью. Васильев, не сомневаясь, что звонит Илья, и не готовый к разговору с ним, помня его слова о Виктории, все же снял трубку, и тотчас внезапные слезы радости сбили его ответ до шепота: «Да, Саша...» Звонил художник Лопатин, его единственный близкий друг, которого он не видел довольно давно: тот, вероятно, работал, избегая столичной суеты, прячась в любимом убежище — приволжской деревушке.

— Здорово, Владимир Мономах! Как дышишь?

— Саша, дорогой, приезжай немедленно, прошу тебя, приезжай,— заговорил Васильев, захлебываясь, едва справляясь с собой.— Ты мне очень нужен, очень!.. Сейчас же приезжай!

— Угадай, откуда я тебе звоню, Рафаэль, леший?—

забасил Лопатин, посмеиваясь.— Из кабака, который называется «Арагви». Заехал, понимаешь ты, узнать насчет шашлыков, соскучился, понимаешь ты, в деревне, а тут какой-то театр гуляет. Дамы, понимаешь ты, в перьях, мужики в штиблетах, чего-то обмывают, не то звание, не то премьеру, дым коромыслом, весь кабак ходуном, у официантов обмороки. Лучше ты приезжай, Володенька, столетие я тебя не видел, черта! Шашлычков отведаем! На народ посмотрим...

— Никого не хочу видеть, кроме тебя, Саша! — взмолился Васильев.— Никого, кроме тебя. Приезжай, ради бога, я тебя жду, очень жду!..

Ответ Лопатина провалился в бездну, продутую пощелкивающими ветровыми шорохами не вполне исправного автомата, и выплыл из звукового хаоса, подобно обещанию долгожданного облегчения:

— ...приеду, Володя. Минут через тридцать буду. Я на своем тарантасе.

«Вот оно, спасение, вот оно... Он всегда спасает меня в тяжкие минуты,— думал Васильев, с охватившей его надеждой шагая по мастерской из угла в угол и ломая пальцы.— Мне стоит только увидеть его... его бороду, его легкие мудрые глаза, как становится легче».

Когда минут через сорок ввалился Лопатин, в своей потертой на меху куртке, в мохнатой большой шапке, привезенной вроде бы из Сибири, с Нижней Тунгуски, когда из-под косматых, пробитых сединой бровей он нежно глянул сиреневого цвета глазами, рокочуще говоря: «Здорово, здорово, академик, разбойник кисти, леший тебя возьми!» — Васильев с волнением кинулся к нему, обрадованный негородским его видом, густым окающим баском, дважды поцеловал в пахнущую, казалось, дымом приволжских костров бороду, проговорил растроганно:

— Спасибо, Саша, спасибо. Ты не представляешь, как я рад, что ты приехал!..

И вдруг сам услышал, как голос его перехватили слезы, неподвластные, отвратительные немужским проявлением, которое неприятно было ему ощущать у других, и испугало то, что не сумел овладеть собой.

— Весьма благолепно, благолепно, попал на вернисаж,— заокал Лопатин, раздевшись, делая вид, что не

заметил излишнюю возбужденность Васильева, и запустил руку в бороду, разглядывая не без веселого удовольствия пейзажи, выставленные у стены один возле другого.— Слушай, леший!.. Какая удивительная мыслишка вот в этой штуке с открытым окном в сад. Раньше я ее, понимаешь ты, не видел. И как счастливо и грустно, до осеннего холодка! Какая чистота переливов света и какие насыщенные тона, скотина ты эдакая! Ведь это прощание с детством или вообще прощание с детским счастьем жить на земле, понимаешь ли ты! — говорил он и подходил и отходил от пейзажей, озадаченно и громко хмыкая в бороду.— Хорошо это, Володя, что ты работаешь и работаешь, в тебе больше таланта, чем тщеславия. А этого у нашей братии хватает: казаться, а не быть. Пузыри мыльные, понимаешь ты, мы пускать ловкачи. Нет, я давно говорил, что твоя живопись открывает новую эру. В пейзаже особенно. Взгляд современного человека на природу вокруг себя: погибнет красота, уйдет она, и погибнет вместе с ней человек и жизнь. Не умиление, а грусть, тревога, равная отчаянию века... Ты колдун света, Володя. В этом твое счастье и несчастье. Несчастье потому, что завистников рождаешь много.

— Хвали, хвали, Саша, я знаю, что ты любишь меня,— заговорил Васильев, все шагая по мастерской и нервно стискивая до хруста пальцы.— Скажи еще о резкости или мягкости тревожного рисунка, о трепетности воздуха, о пылающих тонах, о сатане в ступе, о чем Колицын мастер болтать. Зачем ты говоришь обо всех этих выдуманных глупостях, мудрый мой, умный Саша? А твой восторг могу объяснить только тем, что мы давно не виделись. Все это ни к черту! Нет, не прими за чрезмерную скромность! Давно знаю, что в искусстве нарочитая скромность — это знамя прохвостов! Но...— Васильев мотнул головой в сторону пейзажей,— ни к черту по сравнению... с тем, что чувствую. К несчастью, я умею передавать на холсте только одну треть.. но не в этом дело, не в этом дело!.. Милый Саша, я рад, я соскучился, я не говорил с тобой целую вечность! Где мы с тобой последний раз встречались? На Марсе? На Венере? Садись вот сюда, чтобы я мог тебя видеть. Что будешь пить? Что ты так на меня нерешительно смотришь?

— Я на тарантасе, понимаешь ли ты,— возразил

Лопатин и, теребя бороду, попятился от пейзажей.— Раз, скажу тебе, некий инспектор Сироткин уже устремлялся отобрать у меня водительские права. Причем предварительно заставил дышать ему в физиономию, невзирая на мою волосатость. Второй раз рисковать хоть и занятно, но ни к чему, с точки зрения благоразумия. И солидности. А? Подожди, что за страсти такие? Ни бельмеса не соображаю, что за дрянь у тебя накопилась?

И Лопатин осуждающе воззрился на бутылки, выставленные из шкафчика Васильевым, придирчиво осмотрел медали на роскошных цветных этикетках, с некоторой подозрительностью знатока повертел бутылки и так и сяк, наконец заговорил рассудительно:

— Виски распрекрасно пить где-нибудь в Африке под тенью баобаба. Джин хорош для согрева нутра фермера, который намерзся осенью на пронизывающих до костей ветрах Альбиона. Чинзано — вожделение современных джинсовых курдючков, мечтающих о шикарной заграничности. И то, и другое, и третье терпимо, когда за бугром вечерами разлагаешься в каком-нибудь уютном баре при отеле. В России — что? — в России ничем не заменима водка. Но вынужден, Володя, сказать: спаси Христос. Инспектор Сироткин был мой верный ангел-хранитель. Ибо находился я под большой булдой. Кого я встречу на этот раз? Выдвигаю встречный план: рвануть из Москвы за город по Старокалужскому, поглазеть на силуэты деревенек...

— Нет, нет! Никуда не поедем, Саша! — вскричал Васильев и приостановился посередине мастерской, точно вспоминая необходимое, важное, не высказанное еще Лопатину.— Я с тобой должен поговорить, Саша. Ты мне очень нужен. Пусть машина стоит, уедешь на ней завтра. Куда и когда угодно я тебя отвезу на такси. Садись, садись.— Он усадил несколько озадаченного Лопатина в кресло и задержался у окна, глядя в синеющее весеннее небо над крышами.— Какая быстрота, какая быстрота в этой весне,— проговорил он, не оборачиваясь к Лопатину, и без всякой последовательности спросил: — Где ты был, Саша? У себя, в деревне? Писал?

— Был неделю на Азове. Не написал ничего. Пустотища за спиной,— ответил Лопатин и посмотрел на Васильева светлыми отгадывающими глазами.— Ты здо-

ров, Володя? У тебя что-то бледноватый вид. Не переработал?

— Извини за мое дурацкое гостеприимство! Угощаю, называется, друга! Бутылки вытащил, болван! Для чего, спрашивается? Для вернисажа? Так ты сказал — водку? Да, водку, я согласен. Именно водку. Все остальное — жалкая витрина дилетанта. Водку, водку! Да что за рюмки — воробьев поить!

Васильев встрепенулся, чересчур быстрыми шагами подошел к столику и, не садясь, разлил по рюмкам водку, расплескивая на стол, торопливо чокнулся с Лопатиным, выпил резко, как пьют не очень посвященные в этот ритуал люди, и, обожженный, выговорил, поперхнувшись:

— А как, как на Азове? Зачем ты был на Азове?

— Ругался вдрызг с местным начальством. И ни одного пейзажа не привез. Приехал на море, и тут рассказали страшненькое...— сказал Лопатин и, не торопясь, выцедил из рюмки водку.— В прошлом году химией травили комара в плавнях, и вся дрянь химическая, понимаешь ли, на головы дураков бы ее вылить, постепенно снеслась течением Дона в Азов. Представь утреннее море все белое, все будто в огромных белых плотах — тысячи мертвых сазанов, вверх брюхом. Идиотизм, понимаешь ли ты, несусветный, глупость перворазрядная, тупость вселенская! Пнизм — и только! Для того чтобы ногти почистить, руку отрубают. После нас хоть потоп. Головками не хотят думать, что будет завтра. Зато комариков нет. А комариков нет — и птицы нет. А птицы нет — и в садах и огородах ничего нет, гусеница все жрет. Зато комарики не кусают. Каково, а? Восторг! Сократы! Мыслители, хрен бы их взял!..

— Как грустно это, Саша! Как грустно!..— сказал Васильев, продолжая ходить по мастерской в неотпускающем напряжении, ибо водка никак не расслабляла его.— Я хотел с тобой посоветоваться,— заговорил он, и ему не хватило дыхания.— Я, кажется, серьезно заболеваю, Саша, со мной что-то произошло... Не знаю что, но я места себе не нахожу, милый мой Саша. Если бы ты знал, как тяжко мне в эти дни. Вот здесь болит. Как зубная боль.— Васильев чуть поморщился, вдохнув воздух, показал себе на грудь.— Иногда плакать, как мальчишке, хочется, но не могу. Не умею. Если бы ты знал, дорогой мой дружище, какая тоска, какая безыс-

ходная, нескончаемая тоска. И ничего не могу с собой сделать...

— Да что такое, в самом деле? — встревожился Лопатин и поглядел на Васильева, вздымая косматые брови.— Причина-то в чем? Здоровенный мужик, гантелями каждое утро балуется, свежим воздухом на живой натуре дышит,— ворчливо забасил он, завозившись в кресле большим телом.— Талант ты цвета, можно сказать, волшебник колорита, радоваться ежесекундно своему дару должен, а ты... Стыд и позор, леший тебя возьми! Кому служит искусство — богу или дьяволу?

— Да, да, именно, именно!.. Кому служит искусство, кому? — повторил Васильев и, будто озяб, засунул руки в карманы.— Ты думаешь, кому-то сейчас очень нужна живопись? Одному чудаку из ста или пятисот тысяч? А-а, это все равно. Она бессильна, она ни на кого не воздействует, она не может ничего изменить, исправить... Замечаешь ли ты, что человек стал хуже, злее, безжалостнее, чем двадцать, тридцать лет назад, что мы потеряли что-то важное?.. Чего же достойны люди — ненависти, лечения, наказания? Кто они, люди? Венцы творения, цари мироздания или раковые клетки на теле земли? Я не знаю, что делать, как жить дальше, Саша. Понимаешь, как жить... И был ли смысл в том, как я жил раньше? Нет, не то я тебе говорю. Все приобрело смысл, который не имеет смысла. Бывают моменты, Саша, когда я ненавижу все человечество и тут же чувствую вину... как будто я виноват во всем. Я не знаю, что со мной, дружище...

Лопатин не двинул ни единой чертой грубоватого обветренного лица, порылся крепкими пальцами в бороде и спросил пониженным тоном:

— Что у тебя произошло, Володя?

— Только тебе я могу рассказать, Саша, тебе одному... Только тебе.

И, продолжая метаться по мастерской мимо прислоненных к стене пейзажей, мимо накрытого тряпкой мольберта, иногда круто останавливаясь против Лопатина, слушавшего его с насупленным лицом, иногда задерживаясь у окна и потирая грудь под открытой форточкой, точно воздуха недоставало, Васильев рассказал ему все: и страшная тайна дочери, открытая спустя два года, и постоянный страх Марии за каждый ее шаг, и ошеломившее его решение Виктории уехать,— все не-

мыслимое и безобразное вновь было пережито Васильевым, как и та загородная роща вблизи дачного поселка, и тот заброшенный сарай, воняющий грязной соломой, а когда он закончил и подошел к столику, весь горячий, в испарине, возбужденный, Лопатин проговорил, решительным оканьем обостряя слова:

— Весь наш гнев — пустое дело и звуки! Все ожидал, только не это. Ох, велосипедные мерзавцы! Казнить таких на площадях мало! Ладно, давай разберемся дальше. Откуда пришла эта идиотская идея с Италией? От твоего бывшего друга? Он приглашает ее уехать? Она тебе не сказала, как родилась эта гениальная мысль?

— Не уверен, Саша, что идея исходила от него. Дело в том, что Виктория сама нашла его в гостинице, сама хотела встречи.

— Сама?

— Она ничего не скрывает.

— Тогда остается вот что,— сказал Лопатин твердо,— объяснить сперва твоему русскому итальянцу, чтобы он выбросил из башки романтическую дурь и сам убедил Викторию, что реализация выезда невозможна в настоящее время. Тем более никакие заграницы в мир благолепия не ведут и ни от чего не спасают. Впрочем, я знаю характерец Виктории, ее убедить нелегко... Но откуда он явился? Где он вдруг откопался? Фантастика какая-то! Сколько он пробудет, твой подозрительный знакомый, в Москве?

— Завтра, по-моему, он уезжает. Да, завтра.

— Так едем к нему хоть сейчас. В какой он гостинице?

— Сейчас? К нему?

— Не задавай, Володя, глупых вопросов. Именно сейчас. А почему бы нет, я спрашиваю тебя? — Лопатин отставил рюмку и встал, тотчас надевая куртку с видом готовности к немедленному действию.— Не будем откладывать чего не надо. Тем более, что мне хочется увидеть эту легендарную личность. Твоего друга детства. Звони ему!

Неустанная энергия Лопатина, хорошо известная Васильеву незамедлительностью поступков, подхватила его и возбудила даже надежду на возможность разумного выхода, а после того как он набрал номер гостиничного телефона Ильи без уверенности застать его,

когда услышал чужой голос, ровно и нараспев произнесший по-немецки: «Ja-ja-ja[1] — он, обескураженный, вторично попросил к телефону Илью Рамзина, и тот же голос, ответивший по-немецки, сделал стремительный звуковой скачок, засмеялся коротким жестяным смехом, заговорил по-русски:

— Это... я с тобой говорю, Владимир? Не вдруг, но узнаю твой голос. Я тебя жду. У меня, кстати, гости. Не скажу кто. Приедешь — увидишь. Адью.

Пока Васильев говорил по телефону, Лопатин, уже одетый, натянув на затылок лохматую сибирскую шапку, досадливо кряхтел и, выказывая недовольство, открыл дверцы шкафчика, принялся шарить в нем, однако не нашел, что искал, и, неудовлетворенный, выругался на всю мастерскую:

— Ч-черт! Валидол, валидол где? Я выпил рюмку водки, а на свежем воздухе будет нести как из бочки. У жрецов ГАИ ха-роший нюх, а ехать надо на своем тарантасе — иначе глупо, как бритье ежа. Дай-ка закусить валидолом. Отлично отбивает амбрэ...

— Саша, может, лучше на такси? — посоветовал Васильев в неопределенном раздумье.— Как некстати эти гости у него. Если бы ты знал, как не хочется никого видеть. Вот, возьми валидол, Саша.

— А ты смотри на всех сатаной, так свободнее будет,— сказал Лопатин, бросая в рот таблетку валидола.— Тщеславию художников границ нет, это и курице известно. Но ты, кажись, сыт всем по горло, поэтому заранее освободи себя от поклонов.

— Ни разу в жизни, Саша, я не отбивал поклонов.

— Не преувеличивай, старикашка, не преувеличивай. Все мы не раз чувствовали гибкость своего позвоночника. Поехали, Володя. Бог в помощь, как говорили наши деревенские предки.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В вестибюле гостиницы, очень просторном, тихом, нелюдном в этот час, пахнувшем теплым ветерком лаванды и синтетической кожей чужих чемоданов, швейцар с налитой шеей уважительно выставил мясистый под-

[1] Да-да-да.

бородок навстречу внушительной бороде рослого Лопатина (вошедшего хозяином в раскрытые двери), но затем отсекающим взором измерил Васильева, проговорив заученно и подобострастно:

— Вы к нам? Карточку вашу...

— Я? Вы меня спрашиваете? — ответил Васильев, не ожидая этого препятствия, и вдруг вспыхнул, что редко бывало с ним раньше.— Я к господину Рамзину. А что, собственно, угодно?

— Он со мной,— густо забасил Лопатин и по-шальному заиграл глазами, не без ернического увлечения вступая в объяснение со швейцаром: — Вернее, я с ним, дорогой наш суровый и бдительный товарищ, потому что перед вами академик живописи, известный художник Васильев, а я лишь скромный деятель искусств. Что надобно еще добавить? Пачпорт? Удостоверение личности? С удовольствием...

В это время из глубины вестибюля бесшумно подошел красивый молодой человек, гладко и плоско причесанный на косой пробор, с любезной улыбкой спросил, кого они хотят видеть, и, узнав фамилию, прошел за стойку, возле которой стояло несколько чемоданов (там перебирал стопку зелененьких листков молоденький белокурый опрятный портье), довольно-таки быстро просмотрел какой-то список на столе и пригласил с той же искусственной любезностью:

— Пожалуйста. Двести пятнадцатый номер. Его занимает господин Рамзэн.

— Как вы сказали — господин Рамзэн? — не понял Васильев, думая, что ослышался, хотя произношение молодого человека с отлакированной прической было весьма четким.— Не Рамзэн, а, наверно, Рамзин?

— Я сказал: господин Рамзэн,— ответил молодой человек и посмотрел невинно в переносицу Васильева.— Пожалуйста, проходите... Можете на лифте, можете по лестнице.

— Любопытно,— пробормотал Васильев.

Они стали подыматься по лестнице.

— Не Рамзин, а Рамзэн, оказывается,— сказал Лопатин, отдуваясь, когда поднялись на второй этаж и после кратких расспросов дежурной за столиком приблизились по малиновой дорожке к массивной двери с медной ручкой.— Разница, оказывается, незначительная: в одной букве. Рамзин, Рамзэн. «Ин» или «эн» — деталь

на западный лад,— заметил едко Лопатин и постучал в дверь.

И эта случайно узнанная новость — изменение знакомой с детства фамилии на одну букву — раздражающе подействовала на Васильева, как будто Илья этим скрывал нечто постыдное, связанное с прошлым, выбрав себе новое обозначение в мире, что придавало ему иную сущность, неприятно отдалявшую его. Но еще неприятнее стало Васильеву, когда они вошли в обширный номер с большими зеркалами, тяжелыми портьерами, старой добротной мебелью, и первое, что кинулось в глаза, был накрытый стол, торчащие бутылки шампанского из серебристых судков, набитых льдом, и — огромные темно-серые глаза Виктории, готовые улыбнуться и не улыбающиеся, изумленно устремленные на Лопатина, и рядом с ней Эдуард Аркадьевич Щеглов, оживленный, как всегда; редкие волосы с тщательным мастерством от уха до уха начесаны на лысину, стекла очков рассыпают трассы ядовитых искр, хотя черный пиджак и черный галстук-бабочка на белоснежной сорочке придавали ему официально-гостевой облик человека, вернувшегося с коктейля в посольстве; и какой-то подчеркнуто освеженный вид (будто сейчас прохладную ванну принял) Ильи, одетого в серый костюм, в голубую, молодившую его рубашку, только лицо, иссера-бледное, с кругами в подглазьях, не могло скрыть тайного физического нездоровья. Он несильно пожал холодной рукой руку Васильева и, приподняв брови, настороженно взглянул на Лопатина, показывая этим выражением, что не знаком, не встречался или не помнит, даже если встречались когда-либо.

— Лопатин, Александр Георгиевич, художник, график, мой друг,— представил его Васильев в ответ на вопрошающее внимание Ильи.— Вы не знакомы, можешь не напрягать память. Учились в разных школах и вместе не воевали. Слушай, мы могли и не найти тебя,— заговорил Васильев полусерьезно.— В вестибюле я с интересом услышал, что в гостинице проживает господин Рамзэн. Подумал, почти твой однофамилец. Оказалось — приятно ошибся, ибо Рамзин и Рамзэн одно и то же лицо.

Илья засмеялся.

— А, забыл тебе сказать, что в своей жизни я имел три фамилии: Рамзин, Зайгель и, наконец, Рамзэн.

Зайгель — фамилия моей покойной жены, Рамзэн — мое изобретение. Так фамилия звучит более неопределенно, чем с окончанием «ин», которое точнее указывает на мое русское происхождение. На Западе спокойнее жить, когда не выделяешься ничем. К Джеймсу Бонду такая конспирация не имеет никакого отношения.

И он с приветливой обходительностью гостеприимства провел их к столу, свободно усадил к чистым приборам между Викторией и Щегловым, налил всем шампанское, через меру подчеркивая мужское радушие, затем сел на место хозяина в конце стола, в кресло с прямой спинкой, наполнил свой бокал, глаза его обошли лица гостей, светясь болезненно обжигающей чернотой.

— Сегодня последний день в России, и я нарушил диету и строгий режим,— проговорил Илья, держа бокал трясущимися тонкими пальцами.— Но я не об этом... Здесь четверо мужчин и среди них одна представительница прекрасного пола, дочь старых моих знакомых («Странно, что здесь нет Марии»,— подумал Васильев, удивленный нездоровым жаром в глазах Ильи),— прелестная умная девушка, которая чистым... чудным алмазом украшает наше общество. За ее здоровье, за расцвет ее красоты! Не знаю, спасет ли красота мир, но мир без красоты и молодости был бы чудовищен!

Он не стеснялся в выборе слов, но что-то неестественное, насильственное обвивало его фразы, и нарочитое сквозило в его голосе еще и потому, что Илья показался нетрезвым, а она, Виктория, взглядывала на отца с вынужденной улыбкой, умоляя его не обижаться, простить ей эту непредопределенную встречу, и переводила лучисто теплеющие глаза на Лопатина, морщила нос и брови, здороваясь так и без слов переговариваясь с ним. Лопатин же хитровато подмигивал ей, намекающе кряхтел в бороду и поминутно остренько скашивался на Илью, наблюдая его с любопытством. После того как выпили шампанское и Илья вновь наполнил гостям бокалы, Эдуард Аркадьевич, стеклами очков жизнерадостно разметав над столом пучки иголочек и, живо поднявшись, заговорил, отвечая Илье со своей обычной шаловливой и наполовину ядовитой иронией:

— Ваш тост в адрес моей любимой племянницы

слишком лиричен и отнюдь не схватил за хвост божественную истину, которая имеет две стороны, прошу у глубокоуважаемого нашего хозяина множество извинений! Во-первых, мы все — дети и несем в себе грехи наших отцов. Во-вторых, кто отцы и кто дети? О, где оно, грандиозное взаимопонимание, а не биологическая трагедия! Но... самое большое мужество в наше время — обходиться собственным умом. Не спрашивай, мое золотце, никогда у старых корыт и перечниц мудрого совета — и да восторжествует неблагоразумная, но закономерная истина молодости! К примеру, чему научить могу я, мое золотце? Пошленьким мизансценам? Банальным жестам? Ветхим словам? Трусливым запретам? Если в неделе шесть будничных дней, то воспринимай молодость как седьмой день — воскресенье, ибо оно быстро кончается и наступает быт понедельника. Есть одно — сама жизнь, как удовольствие жить, и разумный эгоизм, деточка, как метод этой жизни! Коли можно, принимай эту подаренную нам случаем любви жизнь, как карнавал!..

«Как обычно, его принимать следует с просевом... Но он как будто уговаривает ее в чем-то»,— подумал Васильев с сожалением и неприязнью и хотел сказать вслух: «По-моему, вы забиваете голову Виктории чепухой»,— но тут Лопатин зафыркал носом, сочно заокал, опережая его стремительным натиском на Щеглова:

— Я приветствую вас, но не могу поздравить, Эдуард Аркадьевич, с вашим театральным спичем! К чему он так благоухающе пронесся над головами античным любомудрием, позвольте спросить? Вы познали смысл жизни, понимаешь ли ты? Ваш смысл, стало быть, в гедонизме, хо-хо! Так смилуйтесь — укажите, научите наслаждаться бытием как вечным воскресеньем и карнавалом. Возьмите в ученики, учитель! Спасите дурака глупого от греховного неразумения! Только когда хлеб сеять, ежели все время на карнавале ногами дрыгать?

— Ах, Александр Георгиевич, наконец-то я слышу ваш громкий голос, драгоценный голос моего постоянного оппонента! — воскликнул Щеглов и резво выпустил посредством очков целую стаю воинственных с острыми копытцами искр-бесенят во взъерошенную бороду Лопатина.— Но вы должны были бы заметить, милейший Александр Георгиевич, я ничего категорического не утверждаю. Ибо всю молодость свою я только и делал,

что разрушал и утверждал. Более того, мудрость имеет такое же преимущество над глупостью, как и глупость над мудростью. И я, преизумительнейший осел двадцатого века, задаю вам вопрос: с кем повенчана правда? Чья она невеста? За кем она замужем? И однолюбка ли она? Ответьте, ради всего святого, мне — и я с презрением затопчу гнусную мысль о гадкой любви к жизни и прочей мерзкой пакости, недостойной нашего передового современного человека, и скажу себе: «Старый осел, у тебя плохо меблирован чердак!».

Инквизиторским жестом неподкупного судьи Эдуард Аркадьевич изобразил вокруг головы хаотические зигзаги, обозначающие, как у него плохо мог быть меблирован чердак, и Васильев увидел глаза Виктории: они подавались, расширяясь и наполняясь смехом, от которого ему было не по себе, так же, как и от иссера-бледного, педантично выбритого лица Ильи, овлажненного потом.

— Браво, неплохой текст,— сказал Лопатин.— Я бью в ладоши. Но есть ли смысл начинать сию минуту тяжбу между нами, Эдуард Аркадьевич?

— И тем не менее, с кем же она в брачном союзе, не посетуйте на придирчивое любопытство, Александр Георгиевич? — повторил Эдуард Аркадьевич и снова выметнул из стекол очков стаю ехидных чертей, просверкавших копытцами в направлении Лопатина.— С кем она, родненькая, об руку ходит, хочу очень услышать?

— Услышите мало. И неутешительное,— ответил Лопатин, посапывая носом.— Во-первых, правде возбраняется быть насильно повенчанной с сильными мира сего. Если выражаться вашим языком, Эдуард Аркадьевич. То есть выходить замуж с материальным расчетом. Во-вторых, и главное: пусть ходит независимой и гордой русской девой, которую надо любовью и умом завоевывать, а не покупать на ночь на панелях другого мира, чужую красавицу, понимаешь ли ты, в чужеземном платье. Пусть извинят меня Виктория и иностранный гость...

Илья молчал, возбужденно прищуриваясь, глядя на Лопатина.

Эдуард Аркадьевич просиял восторгом и два раза коснулся ладонью о ладонь, изображая знак рукоплескания.

— Грандиозно! Эт-то, Александр Георгиевич, грандиозно! Я — за классическую ясность. Но смею ли я преклониться перед вашей душевной неразвращенностью и усомниться в сомнительном? Александр Георгиевич! Конечно, чем идеальнее мы, тем не-мы страшнее греха смертного. Вы против заемной правды, но... Спасите от козней дьявола, душа моя! Вопрос в том, не повенчана ли правда некоторым образом с ложью? Такой пикантный, знаете ли, аномальный брак, к которому многие из нас привыкли, к величайшему огорчению!..

— Экий собачий хохот! — выругался Лопатин пренебрежительно.— Чрезвычайно игриво что-то вы закатили, Эдуард Аркадьевич!

— Я удивлен вашему удивлению, мой милейший Александр Георгиевич! О, мы в силу своей особой морали ежесекундно и ежеминутно режем в особом принципиальном молчании друг другу правду в распахнутые светлые очи. Мы никогда не опускаемся до лжи, до такой безнравственности, чтобы мерзавцу, жулику и дубочку в кресле вслух напомнить, кто есть кто. О, такие выпады — признак невоспитанности и совсем уж не признак мужества. Так что же это — ложь? Или страшная правда? Мы защищаем себя каждую минуту, а не правду, Александр Георгиевич.

— Правда всегда страшна,— проговорил Илья споткнувшимся голосом, заглушая окончание последнего слова глотком шампанского, и узко усмехнулся Щеглову, с заостренным вниманием глянувшему на него.— Правда, как и память, дается человеку в наказание. Вспоминая плохое, страдаем. Вспоминая хорошее, чувствуем горечь невозвратимого. Иногда мне приходило на ум, что ложь есть правда, а правда — ложь... Что правда необходима для того, чтобы скрыть ложь, Эдуард Аркадьевич,— сказал он и так же неутоленно и жадно, как пил шампанское, закурил сигарету, шумно выпустил ноздрями дым, поближе переставил на подлокотник кресла пепельницу, уже набитую окурками.

Было несомненно, что он нарушил свой режим, которого, по-видимому, долго и прочно держался, и явно чувствовалось, что он пьянел,— лицо становилось все бледнее, жестче, и будто туманным воспоминанием проглядывало в усмешке его что-то давнее, военное, острое, свойственное в ту пору Илье. И Васильев хотел поймать это выражение, понять и вспомнить, с чем оно

было связано, и хотел твердо решить, как начать с ним разговор о Виктории, о ее неразумном и нелепом желании, но Эдуард Аркадьевич мешал ему, воспламененный замечанием Ильи, и продолжал без устали чеканить и кидать на стол нашпигованные жгучим перцем формулы:

— Фу, как ужасно вы сказали, Илья Петрович! Вы, как я понял, имели в виду ту... зазаборную ложь и правду! Уверяю вас, что наша мораль — удар по лжи, которая пышным цветом расцветает только за забором! Там она! Чужая правда — это сорняк! Или же — пух поросячий! Бильярдный парадокс! Сапоги в простокваше!

— Это вы в мой огород булыжник зашвырнули? — поинтересовался Лопатин.— Валяйте дальше!

— В ваш и в свой, Александр Георгиевич. В общий!

И Щеглов сел на место, сдернул очки, заморгал безресничными веками и начал визгливо покряхтывать, постанывать смехом, слегка тряся черной бабочкой на туго сжатой воротничком еще крепкой стариковской шее (так он смеялся, вернее — не умел смеяться) и, чистоплотно протирая очки кончиком носового платка, вновь молниеносно и жарко возбудился, заговорил не без колючего вдохновения:

— А мировая история человечества — что это? Жизнеописание Адама и Евы в раю? Увы! Это кровь, пот, несчастья, преступления, сплошной кошмар! Как ее назвать — поиск правды? Несомненно и без-условно! Иисус Христос был всего-навсего распятый проповедник, но... стал сыном божьим, потому что его страданиями люди хотели утвердить правду, прийти к любви. Утвердили? Крестовыми походами? Инквизицией? Так где же, где эдемская благость? Ась? Нет, вся прошлая история Европы — история безумия! Вся нынешняя машинная цивилизация — история безнравственных ученых, водородных бомб, убийств, национализма! Ради истины внесу поправку! История человека должна быть биографией правды, а не сюжетом красивой и доступной дамочки, которая на деньги любовника наряжается по его вкусу то в одно, то в другое платье! Здесь я согласен с вами, милейший Александр Георгиевич! Только здесь, мой друг! — Он изящно бросил очки на переносицу, выразительно нацелился выпуклым испытующим взором на Лопатина и вторично залился неумелым брызгающим смешком:— Ее, матушку-правду, можно не

только повенчать с ложью, но и стибрить, то есть украсть, облить помоями или прогнать в три шеи. Как вы это назовете? Порочный брак с гордой девой?

— Вот соображаю, как можно назвать ваш трактат о правде, Эдуард Аркадьевич! — проговорил Лопатин тоном невинной рассудительности.— Позвольте вас обидеть невзначай? Выдержите?

— Чудесно! За что же? А ну-ка, ну-ка!.. Как вы желаете меня обидеть, коли я ни бельмеса не соображаю в повсеместной посадке кукурузы? Как назвать хотите?

— Унылая философия осеннего листа. Нудеж, плач, стон, причитания и скулеж. Пессимизм — нехитрая штука.

— Я оптимист, родной мой. Именно я люблю все человеческое. Пессимизм — это ползание на четвереньках, а я с детства мечтал расти в высоту, как дерево, не боясь молнии.

— Какие молнии, когда осенний ветер срывает листья. И темнеет в четыре часа. Записки ноября.

— Да, да, это грустное зрелище.

И Эдуард Аркадьевич, ценя слово, ничем не проявляя обиды, в переизбыточной бодрости задвигался всей своей сухонькой деятельной фигурой, приветствуя полемическую формулу оппонента.

— Осеннего листа записки! Чудесно! Эт-то что же, что же, Александр Георгиевич, вы преклонный возраст мой имеете в виду? Или же вливаете яд в мой кубок, готовый чокнуться с вашим?

— Нисколько. На кой леший! — грубовато отмахнулся Лопатин.— Хочу сказать, что горький вкус осеннего листа под ваш развеселый аккомпанементик вызывает у меня кручение в животе. Выть на луну хочется и бежать до ветру. Вы все мировыми категориями по башке оглоушиваете, все вселенскими масштабами. А вот скажите, Эдуард Аркадьевич, златоустый Сократ двадцатого столетия, скажите, как вы-то сами в бытие правдуматку утверждаете в наши-то либеральнейшие времена? В своем краю родных берез... Хоть мизинчиком пошевелили?

— Во-первых, милейший Александр Георгиевич, я не карманный максималист,— Эдуард Аркадьевич привскочил, шаркнул ножкой и с язвительной учтивостью поклонился Лопатину.— Во-вторых, неужели вы не види-

те, что она, матушка, становится такой ветреной, что сил нет! — продолжал он неутомимо.— Не задумывались ли вы, что она, дева-страдалица, в грошовые детективы и пошлости по телевизору сбежала. В футбол, в полированную мебель, в ювелирные магазины, сиротинушка, удрала. Ее, матушку родимую, хватательный инстинкт с ног сшибат и в грязи вываливат, по-сибирски говоря. Подойдите, родной Александр Георгиевич, душевно прошу, к очереди у ювелирного магазина и абсолютно серьезно произнесите приблизительно такие диогеновские речи: «Братья и сестры, уважаемые граждане, да неужели смысл вашей жизни в этом желтом металле! Никого из вас он не сделает ни красивее, ни счастливее, а уж бессмертия никак не принесет. Красота — в подаренной вам жизни, в том, что вы дышите, видите солнце, работаете, ходите по земле. Разойдитесь по домам, подумайте о том, что не для этой очереди вы родились. Золото — не хлеб, не вода. Что вам даст лишнее колечко или медальончик?» Какова, вы думаете, будет реакция, милый Александр Георгиевич? Первое: если вы прилично одеты, да к тому же на манжетах вот такие вот, как у меня, буржуазные украшения, купленные еще в тридцатые годы,— Щеглов артистично тряхнул манжетами и, посмеявшись, повертел кистями, демонстрируя запонки,— то на вас, вне всякого сомнения, заорут так: «Ишь ты, высунулась харя в шляпе, сам чемоданы золота имеет, а нам, выходит, не надо!» А если уж на вас помятое пальтишко, то подадут голоса таким манером: «Из психички, видать, бежал! Держи его! Милиция! Где милиция? Перекусает еще всех! Его куда следует отправить надо!» Третьи, не обращая внимания на вашу шляпу, полезут с вытаращенными глазами, попрут мощной грудью на вас: «А ну, проваливай, пока это самое... чего порядок нарушаешь? Без очереди впереться хочешь, такой-сякой!» Подобную сценку, не для пьесы нарисованную, несколько лет назад вообразить себе было трудновато. Что-то произошло, от нас с вами не зависящее. Мировой микроб потребления, как грипп, перенесся к нам. Но там, за бугром, от соблазна, от рекламы, от пресыщенности, наконец, а у нас от чего? От нехваток? А когда начинается погоня за вещичками, в головках многих духовная образуется пустынька, и две госпожи — истина и мораль — уже редко приглашаются сюда в гости.— Щеглов паль-

цем постучал себе в темечко.— Зачем они? В гардероб не повесишь на плечиках! Лучше уж сервизы в сервантах да хрустальные вазы — до слез престижно! А зонтики, плащики, чулочки, люстры — а? Умилительно! С кем бороться, родной Александр Георгиевич? С самим собою? Мысленным взором окидываю себя: я весь в вещах, на мне отечественные только носочки и еще кое-что. Бороться с микробами, против которых нет вакцины? Это начало духовной трагедии, мой дорогой Александр Георгиевич! Не сомневаюсь, что вы станете красноречиво защищать честь мундира. Но эта истина не имеет определенного места жительства! Она не прописана нигде! Она без паспорта! — повысил тонкий насмешливый голос Эдуард Аркадьевич и в беспристрастной послушности, уважительно склонив голову, посмотрел выпуклыми глазами в конец стола на молчавшего Илью, продолжал не без веселой жестокости: — Я не сомневаюсь ни на йоту, что сумасшедшее человечество утратило высший смысл своего существования и заблудилось... Или уж наполовину заблудилось в бетонных лабиринтах больных и перенаселенных городов!.. И я не уверен, что завтра его найдут и спасут. Кто найдет? Кто спасет? Другие миры? Обитатели летающих тарелок? Инопланетяне? Да, возможно, что они обращают на нас внимания не больше, чем мы на муравьев. Найдет и спасет ли себя само человечество? Оно дискредитировало себя... Оно должно очиститься, Александр Георгиевич. Но — как?

— Пустозвонство! Художественный свист! Звуковое сотрясение воздуха! — загремел с презрительным негодованием Лопатин и даже кулаком ударил по краю стола, в порыве несогласия уже не стесняясь Ильи, который непрерывно подливал себе в бокал шампанского и как-то замкнуто пил мелкими глотками, все более бледнея, капли пота собирались островками на его висках.— «Смысл жизни». «Человечество». «Инопланетяне». «Правда». Леший не разберет, во имя чего вы, Эдуард Аркадьевич, замесили столько громких слов и во имя чего такую циничную кашу бочками наварили! Все человечество вы сейчас с ног до головы облили ядом, весь род людской в вещизме обвинили и обсмеяли, правду выдали замуж за лжеца-негодяя и оставили одни руины, как Мамай какой все копытами вытоптали! Содом и Гоморра! Бесплодная пустыня после вас оста-

лась. Выжженная земля! Чего же вы хотите — очистительного всемирного потопа... и искупления? И не жалко род человеческий? А вы как же сами? Вы не особь человеческая? Вы кто — коза, трава? Букашка?

— Козочкой хотел бы по зеленой травке ходить,— сказал Эдуард Аркадьевич и развел руками с сокрушенным смирением.— Счастлив был бы безмерно.

То, что, по обыкновению, легко заявлял сейчас Щеглов, и то, что было не по душе Лопатину, задевало в эту минуту Васильева не сущностью их несогласных позиций, а тем, что замечал, как сумрачно темнели под ресницами глаза Виктории, и он страстно хотел понять, что происходило в этой красивой светловолосой головке дочери, так алчно впитывающей терпкий яд слов Эдуарда Аркадьевича, словно бы сквозь смех наслаждавшегося самоуничижительной горечью разочарования.

«Мне ясно, что он хочет понравиться Илье, но его вдохновляет спор с Лопатиным и внимание Виктории,— подумал Васильев.— Иначе откуда этот ливень сарказма и иронии? В нем есть какая-то наркотическая сила зыбкости. Как он нехорошо действует на Викторию, и как это нехорошо видеть!..»

— Кого жалеть, Александр Георгиевич? Скажите, пожалуйста? — спросила вдруг Виктория с брезгливым вызовом.— Лжеца? Грабителя? Дурака? Они еще больше станут лжецами, грабителями и дураками.

— Совет, Вика! Что касается дураков,— попытался поиграть ее словами Лопатин, обеспокоенный гневной вспышкой Виктории,— то надо вырабатывать в себе дуракоустойчивость. Или, пожалуй, считаться с ними, Вика, ввиду их численного превосходства. Надо, пожалуй, верить...

— Верить? Чудесно! Вы сказали «верить». А что такое вера — страх или убеждение? — перебил его сейчас же Щеглов, и бесовский костер взвился искрами в глазах его.— Вера? Пережитая истина или эмоциональное отношение к истине? В какую веру вы обращаете Вику?

— Перестаньте, дядя,— строго сказала Виктория, и по ее горлу прошла еле заметная судорога.— Так стало модно очень. Все сразу переводить в шутку. И вы стали так, Александр Георгиевич, хотя вам не идет. Для чего говорить слова, одни слова на все случаи жизни? Кому нужны ваши длинные монологи? — поморщилась она

гадливо.— Кого это делает счастливым? Как страшно, что все говорят, призывают, клянутся, учат друг друга, а на самом деле — совсем другое. Просто страшно!..

— Вряд ли, Вика, вряд ли вы справедливы полностью,— забормотал Лопатин неловко, копаясь пальцами в бороде, пощипывая ее.— Вы напрасно нас так...

— Викочка, пощади, золотце, юная герцогиня наша! — прискорбно заговорил Эдуард Аркадьевич и воздел руки, словно в молитве призывая на помощь само небо.— Я хотел бы научить тебя быть счастливой, красавица моя! Но — как? Счастье — это лишь то, что мы представляем о нем. Мираж, мечта жить в сладости весенних снов. Кого можно научить счастью? Я могу научить лишь злой веселости, но это не для тебя. Поверь, как будущая актриса,— только искусство стоит чего-то в жизни. Но и оно не может научить счастью, оно лишь развлекает приятной сказочкой: будь честным, смелым, добродетельным...

— Боже, какой мед, какая сладость! — воскликнула Виктория с ненатуральной радостью.— К черту ваше искусство, дядя! Могу ли я быть актрисой, если мне ни перед кем не хочется лицедействовать! Илья Петрович, скажите, пожалуйста... вы как-то молчите, а я хочу, чтобы вы ответили мне! Что думаете вы? — проговорила она иным тоном, обращаясь к Илье, а он с каплями пота на лбу курил, смотрел на нее немигающим тяжелым взором, смотрел в отстраненном молчании, потом проговорил хрипло, с кривой улыбкой:

— Я не типичен, Виктория, в вашем споре.

— А что вы думаете? Что — вы?

— Что я?.. Как только человек заглянул в свою душу, он познал ад. По крайней мере, у меня это началось после войны, в шестидесятом году.

— У вас давно. А у меня...— начала, усмехнувшись, и не договорила Виктория, и пасмурная тень прошла под ее вздрогнувшими, длинными — Марииными — ресницами.

«Что объединяет их, что общего между ними, что сближает их — Илью и мою дочь?» — подумал Васильев и почти с отчаянием почувствовал, что Виктория в неисчезающей брезгливой ожесточенности не хочет никого слушать, кроме Ильи, и оттого, что она спорила с любимым ею Эдуардом Аркадьевичем и в особенности с Лопатиным, которого обычно слушала

ласково, и оттого, что сама искала себе выход, он вновь испытал острую отцовскую муку, похожую на страх навсегда потерять ее.

— Знаешь, что я вспомнил, Вика? — сказал Васильев, стараясь говорить спокойно.— Я вспомнил, как однажды прошлым летом пошел на мотив часов в восемь утра. Спустился к Москве-реке, устроился на ступенях, а впереди — мост, зелень на том берегу и набережная в тени и бликах. И главное — прекрасное утро, солнечный, прохладный воздух, радость пробуждения. Но вдруг вместо сиреневого и серебристого цвета на холст лезет синий — чертовщина, я ничего не понимаю, но уже нет прозрачных утренних теней, зыбкости воды. И чувствую, что пишу ночь вместо утра. Солнечный колорит, а у меня — ночь.— Васильев помолчал, внезапно ужасаясь тому, что начал рассказывать, и боясь, что увидит на лице Виктории недовольную гримасу.— Сзади какие-то туристы — американцы на набережной, наблюдают сверху, а я спиной загораживаю мольберт и думаю: что за наваждение? Что за подмена? Вокруг свет, солнце, сверканье воды, а на холсте ночь... До сих пор не могу объяснить странной метаморфозы. Ты видел эту картину, Саша, помнишь?

— М-да, лунная ночь,— пробормотал Лопатин.

— Зачем ты рассказал это, папа? — спросила Виктория, и морщинка раздражения прорезала ее переносицу.— Неужели так похоже, что чудесное летнее солнце я выдаю за унылую луну? Нет, па...— Она пересела ближе к нему, на краешек свободного стула, прикоснулась пальцем к его руке.— Нет, па, ты всегда будешь смотреть на меня, как на ребенка. Не обманывай себя. Я уже взрослая. Па, я ведь знаю, что и тебя и меня выбили из колеи,— добавила она шепотом с покаянным дрожанием губ в полуулыбке.— Прости меня и маму. Хотя мы обе не виноваты. Но ты прости...

Она опустила голову, и ему стало тягостно и жалко ее в этой неожиданной всепонимающей покорности.

— Послушай, дочь,— он взял Викторию за подбородок, приподнял голову, заглянул в глаза, недавно отчужденные, хмурые, и увидел струистую грустную их глубину, такое знакомое выражение, какое бывало во взгляде молодой Марии, напоминающем теплую тень на траве.— Я хотел сказать, что в твоей жизни только

началось утро. Что бы ни было, еще утро. Все пройдет, дочь.

— Нет, папа, я не гожусь для святых женщин-мучениц, таких, как мама!

— Как похожа на Марию, умопомрачительно похожа, особенно, когда смотрит сбоку,— раздался голос Ильи, резковатый, излишне уверенный, и этим вмешательством, почти неприятным Васильеву, обрезал нить разговора между ними, прервал пронзающую фразу Виктории.

«Она сказала «таких святых, как мама»? Да может ли это быть? Что ж, Мария призналась Виктории, что еще со школы терпела мою дурацкую влюбленность много лет, а сама вынужденно несла крест? Значит, только один для нее был — Илья? Это, наверно, так!»

— Как она похожа на Марию,— повторил Илья громко.

Он стоял по другую сторону заставленного бутылками стола и держал в правой руке бокал с шампанским, в левой — зажженную сигарету. Его лицо с крупными каплями пота на висках выделялось мертвенной бледностью, какой-то задумчивой, наркотической пристальностью расширенных зрачков, устремленных на Викторию. Был он уже явно нетрезв, но пил шампанское и подливал его себе и гостям неумеренно, так же неумеренно курил одну сигарету за другой, и эта его алчность после подчеркнутого строжайшего режима в еде, в курении, после полного воздержания от вина и даже слабых коктейлей при встречах в Венеции и здесь, в Москве, пугала Васильева разрушительной беспощадностью, словно он убивал установленное стоическое и рациональное в себе, что еще берег и расходовал по частицам вчера. Может быть, Илья предполагал иное свидание с матерью, и не растопленный его приездом холодок в душе Раисы Михайловны, ее не растворенная временем обида пошатнули в нем некую надежду, и теперь, мнилось, он мстил своему наивному и несбывшемуся желанию.

— Овал лица, выражение глаз, голос — как все повторилось в твоей дочери, Владимир,— говорил между тем Илья, чуть покачиваясь с каблуков на носки и безжизненно улыбаясь.— Мой сын Рудольф ничем не похож на меня. То есть русского в нем — нуль. Педантичный, бережливый немец. Надеется торговать с

Sovjetunion[1], но русский язык выучил плохо. Зова крови никакого. Россия интересует как выгодный торговый партнер, Америка — как идеал, образец. Рудольф... Рудольф Рамзэн. Вот видишь, Владимир, и у меня сын. Но... в общем, какой смысл? Видимся мы раз в год. В рождество. Он равнодушен ко мне. Кровный след, как видишь, я на земле не оставил.

— Я как-то очень сегодня устала, папа. Мне пора. Я попрощаюсь с вами, Илья Петрович,— сказала Виктория и, поправляя волосы, отклонила голову, взяла сумочку со стула.— Завтра в котором часу самолет?

— Провожать не надо, прощания напоминают похороны,— сухо предупредил Илья и прищурился на Викторию сплошь черными, вспоминающими и неразмягченными глазами.— Вы сможете выполнить одну мою просьбу, Виктория?

— Конечно, если я в силах, Илья Петрович.

И, высосав шампанское из бокала, он ненасытно задохнулся сигаретой, в раздумывающей медлительности вышел на слегка шатких ногах в другую комнату и вернулся через минуту.

— Передайте маленький сувенир вашей матери, которая, к большому сожалению, плохо себя чувствует, как мне известно, и здесь быть не смогла,— сказал Илья с преувеличенной чопорностью и подал Виктории красную полированную коробочку, продолговатый ювелирный футляр.— Подарок куплен не в Италии, а в «Березке» на... как его... Кутузовском проспекте. Хочу надеяться, что выбранные мною серьги понравятся вашей матери. А это вам, Виктория. С робкой надеждой, что скромный презент понравится вам тоже,— добавил Илья, наклоном головы прося позволения до конца быть любезным и не отказывать ему, подавая вторую такую же полированную коробочку Виктории.

Она спросила быстро:

— Что здесь, Илья Петрович?

— Кулон. Авось не будете меня бранить.

Она, краснея, вопросительно промелькнула глазами по лицам отца и Ильи, раскрыла коробочку и тотчас потянула оттуда тончайшую цепочку кулона, приложила его к груди перед зеркалом, но сказала без особой радости:

---

[1] Советским Союзом *(нем.)*.

— Очень женственно. Спасибо. Как тебе, па?

— Я не люблю подарков, Вика,— нашел нужным сказать Васильев и выговорил раздосадованно Илье:— Думаю, что ты достаточно разумный человек для того, чтобы понимать, что дорогие подарки двусмысленны. Зачем эти жесты, Илья?

— Не думал, признаться.

— Владимир Алексеевич, помилуйте! — с сомнением выговорил и замычал выжатым упрекающим смешком Эдуард Аркадьевич.— Вы в высшей степени щепетильны и мнительны! Напрасно, напрасно! Мы сами создаем себе неудобства...

— И шут с ним! Что «напрасно»? — загрохотал Лопатин, вспылив неожиданно.— На каком основании мы должны друг перед другом раскавычивать цитаты хорошего тона! Хохот собачий! По-моему, Эдуард Аркадьевич, вы представили, что находитесь на приеме в некоем посольстве и у вас оторвалась пуговица в неподобающем и неудобном месте в момент вашего тоста!

— Позволю спросить, при чем посольство и почему в таких официальных обстоятельствах приняла участие пуговица?

— Пуговица в самый патетический момент вашего тоста с визгом оторвалась, проклятая, и упала в тарелку с ананасами.

— Какой ужас! — сказал Щеглов и схватился за голову, сделав испуганно-кислое лицо.— Ваше воображение, Александр Георгиевич, нарисовало потрясающую картину брейгелевского свойства, но... мы с вами в гостях, и, следовательно, должны...

— В данный момент никому ни копья не должен, хотя раньше и бывало! — гулко и нестеснительно забасил Лопатин, разъяренный чем-то.— Должен только одной строгой даме, вокруг которой вы давеча долго кокетничали и искокетничались вдрызг. Имя дамы — Правда, как вы изволили правильно догадаться, Эдуард Аркадьевич! Поэтому сейчас я должен отдать ей один из должков — кто у кого в гостях? Мы у господина Рамзэна или господин Рамзэн у нас?

Тогда Щеглов отозвался тоном колкой учтивости:

— Вы переступаете границы, уважаемый Александр Георгиевич, врываетесь, так сказать, с ломом...

И Лопатин отчеканил с отгораживающей свирепой вежливостью:

— Я готов стать нарушителем границы светского тона, Эдуард Аркадьевич, для того, чтобы задать вопрос господину Рамзэну. Кто у кого в гостях? Он у нас или мы у него?

А Илья, весь взмокший от пота, весь белый, как кость, не отвечал на вопрос, выкраивая пепельными губами узкую усмешку, в которой не было ни сопротивления, ни защиты, ни задетого самолюбия. Его лицо было недвижно, но эта усмешка распространяла словно бы беспредельную усталость, тихую горечь всепрощающего сожаления.

— Нет,— неотчетливо выговорил Илья.— В гостях — я. Но я — чужой. Как, впрочем, все мы на земле. Чужие. Что касается до подарков, то они — маленькие житейские радости. Возможно, нам, мужчинам, их не понять. И, право, нет причины. Однако я не в силах отмести подозрения...

Его печальная усмешка, его слова, сказанные покойно, источали болезненную покорность судьбе, намекам чужого недоверия и вместе некую оцепеняющую силу грустного внушения, и видно было, как серые глаза Виктории наполнялись мягкой, искрящейся влагой, точно она извинялась перед Ильей за произнесенные здесь грубости. (Неужели за эти дни он приобрел такое влияние на нее?) Потом она оглянулась на Лопатина, взглядом призывая его отказаться от ненужных резкостей и подозрений, и сказала наперекор всему, что могло сейчас стать препятствием:

— Я возьму подарки, папа. Со мной ничего не случится. Спасибо, Илья Петрович. Я передам маме.— Она придвинулась на шаг к нему, встала на цыпочки и очень серьезно поцеловала его в подбородок.— Провожать я вас не приеду. Вы не хотите. И хорошо. Потому до свидания. Кстати, жить чужой среди чужих лучше всего. Никто никого не знает. Никому до тебя нет дела. Хорошо. Жить, как киплинговская кошка. Помните, она ходила сама по себе?

— Не кошка, а кот,— поправил Лопатин, мрачнея.— В этом есть разница, Вика.

— Все равно! Еще раз до свидания!

Илья с отяжеленным дыханием поцеловал ей руку, ноздри его сжались и разжались, как если бы он втянул запах оздоровляющего лекарства в тепле ее кожи, выговорил застревающим в горле шепотом:

— Прощайте, Виктория. Я все сделаю, что обещал.

— Почему «прощайте», Илья Петрович? Почему вы так грустно сказали?

Он промолчал, глядя ей в лицо. Она повторила:

— Почему «прощайте»?

— В моем возрасте никому не ведомо, проснешься ли утром здоровым,— насильственно-бодро и вежливо объяснил Илья и, уронив голову в поклоне, промокая влажный лоб платком, напряженно-ровными шагами проводил Викторию в переднюю.

Когда же он вернулся в комнату и с видом вольности в мужском обществе расстегнул на все пуговицы пиджак, отпустил узел галстука, когда потер скомканным платком дрожащие пальцы, вроде согревая их под этим платком, показалось, что весь он ледяной, мокрый под костюмом, и пот, покрывавший его лоб, его виски, был щекотливо-холоден, а шампанское, которое он плеснул в бокал и отхлебнул, войдя в комнату, не в состоянии было растопить в нем что-то замороженное, заковавшее его.

— У тебя обаятельная дочь, Владимир,— проговорил Илья надтреснутым голосом.— Да, обаятельна и умна. Но по молодости не знает, что мир идет от плохого к худшему. Сейчас человеку плохо везде. Везде и всем.. Ни у кого нет богов. И нет веры в себя. И в других... Все мы путешествуем в пустоте, не зная, куда и зачем.— Он замолчал и, усиливаясь твердо держаться на ногах, обошел стол, с замедленной тщательностью долил бокалы, так подчеркивая неуемное желание продолжать пить со всеми, и стал чокаться поочередно.— В последние годы я убиваю время чтением. Помню фразу одного русского писателя: «Будем пить на сломную голову!» Что касается до моего режима, Владимир,— прибавил он и недобро засмеялся, чокаясь с Васильевым особенно протяжно и значительно,— то придется расплачиваться по крупному счету. И наличными. Alles[1].

— Тогда остановись, Илья, ты это можешь,— сказал Васильев.

— Зачем? Не вижу смысла. Сегодня надо пить. Завтра — адью, аллес.

Да, этот переутомленный жизнью, серьезно больной человек не имел ничего общего с самим собой в навеки

---

[1] Всё *(нем.)*.

ушедшем прошлом, и все-таки связь эта была. Она была и в том, как он сказал о внешнем сходстве Виктории и Марии, и в том, как печально поцеловал руку его дочери, и в том, как, прощаясь, долго и вспоминающе глядел ей в лицо, наверное, находя повторенные чудом Мариины черты, той Маши из неповторимой и прекрасной юности, когда он, Илья, был другим. Было похоже, что в Виктории, ее глазах, гибком голосе, ее улыбке он видел прежнюю молодую Марию и, быть может, в попытке вернуть лучшие свои годы, что-то оправдать, искупить, помочь, с чем-то проститься, готов был на неоправданное в его положении безумие, переворачивающее все в их взаимоотношениях.

— Я должен тебе сказать, Илья...— раздельно произнес Васильев и, сразу заискрившись гневом, договорил с трудом уравновешенно: — Очень жаль, что получилось так. Очень жаль, но я попросил бы тебя оставить в покое Викторию... Думаю, что ты хорошо понимаешь, о чем я говорю. Мне не хотелось бы пакостить нашу «зарю туманной юности»... и все то, что было... Да, именно так. Поэтому разреши откланяться и пожелать тебе счастливого пути, Илья!

Васильев встал, сверх меры спокойный, отчужденный этим смертным спокойствием, которое внутренне подавляло его, и прибавил необлегченно:

— Пожалуй, встречаться нам с тобой не имело никакого смысла. Мы кое-что испортили напрасно. А впрочем, так должно было быть...

— Подожди! — не разжимая зубов, крикнул шепотом Илья, и его лицо приобрело заостренное, жесткое выражение.— Подожди! — повторил он хриплым горловым выдохом.— Может быть, мы с тобой уже никогда не увидимся. Не торопись...

— О, владельцы истины! — вмешался Эдуард Аркадьевич и воздел подвижные руки в умиротворяющем недоумении.— О, два рыцаря истины! Научите, как жить! Как? И каким образом? Заграница — бяка, а мы — нака? Но, друзья, вспомните о голубке мира бесподобного Пикассо!.. Где ей, драгоценной, вить гнездо? Есть ли для нее география? Виктория — та же чистая голубка...

— Опять прет пустозвонство! — оборвал, яростно засопев, Лопатин и с видом человека, потерявшего терпение, выставил огромный палец в сторону Эдуарда

Аркадьевича, загремел оглушительно, не давая ему говорить.— В данных обстоятельствах ваше участие и ваша ирония так же необходимы, как заднице галоши в апрельский день!

— То есть как? Что за грубые выражения вы допускаете, многочтимый Александр Георгиевич? — тонко воскликнул Щеглов, объятый искренним возмущением.— Викторию я родственно люблю! Как вы можете?..

— Тем более — галоши не нужны!

— Вы позволяете себе неприличности барсука! — закричал Эдуард Аркадьевич и выказал короткий злой оскал, вмиг уничтоживший его светскую, игривую легкость, всю его расположенность к безнаказанным удовольствиям спора, но сейчас же он испуганно опомнился, точно злобным оскалом нечаянно позволил увидеть собственную физическую неполноценность, и молниеносно привел лицо в порядок — с прискорбной иронией прыснул постанывающим визгливым смешком, поглядывая направо и налево, затем изящным и плавным жестом балетной кисти, омоложенной стерильной белизной манжеты и крупной запонкой, подхватил бокал со стола, произнес прешутливым тоном:

— Самый лаконичный тост, милые друзья: «Keineilei Probleme»[1]. Не в этом ли зарыта изюминка счастья?

Никто не отозвался ему; Лопатин хмыкнул в бороду с хмурым неодобрением, а Васильев смотрел на Эдуарда Аркадьевича, приятно размягченного, дружелюбного, приглашающего к миру, но еще видел недавнюю волчью улыбку, изменившую минуту назад его облик, и думал: «Где же его правда?» А Илья на прямых ногах стоял посреди комнаты, не выпуская бокала из подрагивающей руки, затягиваясь сигаретой, и взгляд его упирался в узоры ковра на полу, губы неповоротливо проговаривали отрывистые, угловатые фразы:

— Пойми, Владимир, я не неволю Викторию. Не принуждаю. Я не предаю тебя, Владимир. Она сама... Ошибочно было бы думать... мне уже ничего... не надо...

В голосе Ильи была плоская, лишенная звуковой плоти стылость, по-прежнему безжизненно припаян был его взгляд к переплетенным узорам гостиничного ковра, и стекали извилистые струйки пота по его наклоненному лицу с пепельными обводами в запавших под-

[1] Никаких проблем *(нем.)*.

глазьях. И хотя все слова различимо выговаривались им, но походило на то, что Илья молчал, не произносил ни звука, отчего стало жутко: он молчал даже тогда, когда отчетливо говорил,— он был как будто наедине с самим собою.

— Я не обвиняю тебя в предательстве,— сказал Васильев.

Илья не взглянул на него, только, мертвея глазами, присосался к бокалу с шампанским, оторвался не спеша и, не успев перевести дыхание, со всхлипом задохнулся дымом сигареты. Эта замеченная его манера поражала — после каждого глотка затягиваться сигаретой, должно быть, намеренно смешивая алкоголь с дымом, и Васильеву внезапно подумалось, что, вероятно, когда-то, до болезни, Илья пил оглушающе, скверно.

— Я не обвиняю тебя в предательстве,— повторил Васильев.— Речь о другом...

— Речь о другом,— согласно и безразлично выговорил Илья и с вялой презрительной вопросительностью оглядел себя снизу — зимние ботинки с металлическими пряжками, серые брюки, выглаженные до безупречности, полосатый галстук,— оглядел, усмехнулся, чуть дернув землистой щекой, возвел не пропускающие вовнутрь ночные глаза на Щеглова, увлеченно счищающего кожуру с апельсина, и устало спросил: — Сколько вы прожили на свете, Эдуард Аркадьевич, простите, ради бога?

— Мало, Илья Петрович. По сравнению с Адамом невероятно мало,— ответил Щеглов и положил дольку апельсина в улыбнувшийся рот.— Адам прожил, коли не ошибаюсь, девятьсот шестьдесят лет, по библии... до грехопадения. Я — весь в грехах, ибо родился в конце прошлого века.

Илья длинной затяжкой вдохнул дым сигареты, запил его глотком шампанского, безучастно глядя на Щеглова, на его испускающие сатанинские молнии стекла очков.

— Вы боитесь смерти?

Эдуард Аркадьевич аппетитно дожевал дольку апельсина и, точно бы застигнутый врасплох, живо промокнул салфеткой до гладкой чистоты выбритый, еще крепкий старческий подбородок.

— Какая разница, Илья Петрович,— раньше ли, позже ли. Раньше — обидно, разумеется. Позже — зна-

чит, на какую-то сотню вот таких вот вкуснейших апельсинов съешь больше. И, разумеется, больше нелепых пьес поставишь. А все же лучше позже. Собственно, чем дальше, тем ближе. Чем ближе, тем дальше... Смерть — обратная сторона бытия и наша тень, и пора привыкнуть, что мы носим ее в себе...

— Ложь и обман,— сухо проговорил Илья.— Вы прожили долгую жизнь, но вы панически боитесь смерти, как и все мы. Боитесь панически. Не так ли, Эдуард Аркадьевич?

— А если так? Что ж из того? Имеем ли мы право осуждать жизнелюбцев? — проговорил невинно Эдуард Аркадьевич и выверенным прикосновением ладони пригладил волосы, уложенные на лысине.— Можно ли до предела познать вкус жизни? Много ли Фаустов среди нас?

— Все мы рабы, трусы, пленники страха,— заговорил Илья, снова упираясь взглядом в узоры ковра под ногами.— Все свободы — придуманная видимость, мираж. Страх и свобода исключают друг друга. Есть одна великая свобода... когда человек становится над собой и над всеми богом. Абсолютная свобода. Но такого почти не бывает. За исключением...

— За каким исключением? — спросил Васильев, подгоняемый ударами сердца при этих чеканных и незаконченных словах Ильи.

— Героев и сумасшедших,— проговорил Илья коснеющим языком, с затруднением следуя за какой-то навязчивой мыслью, порой ускользающей из сознания.— Человеку плохо везде. Sehr schlecht [1]. В эти дни я походил по Москве, как по музею,— по магазинам, по улицам... Рая нет. Унылый мировой стандарт. Почему в Москве так рабски подражают Западу? Кто-то у вас, как безумный, влюблен в чужой стиль... в бездушный... гибельный пошлый стиль — и становится тошно. От архитектуры... Гаражи для людей... И смешно. И сойти с ума можно. Нет ни рая, ни родного угла... Послушай, Володя, есть ли начало времени и конец пространства? Ты думал об этом? О времени? Кажется, ты мне об этом говорил. Наверняка все наше прошлое — детство, наша молодость — было вне времени. Не приходило в голову? А все другое... началось потом? Мне разрешили

[1] Очень плохо *(нем.)*.

приехать... Я оказал некоторые услуги своей родине после войны, но какие всё пустяки. Возможно, мы пылинки в потоке мировой судьбы. Вселенной... Страшная штука жизнь... Я заболел, хотел забыться и убивал время чтением. И великую печаль познал я... как царь Соломон. Пылинки, поток и... бессилие. Страшно не умереть. Страшно умирать. Можно оставить след, но можно и наследить, хуже всего — пустое место. Стра-ашно это — пу-устое место! Не думаете ли вы, что все человечество — подопытные кролики на земле и кто-то проводит с нами чудовищный эксперимент? Похожий на медленное приведение приговора в исполнение. Нет, не бог. Это сила выше бога. Послушай, Володя, мой старый друг. Все смертны, абсолютно все. И те, кого мы любим, и те, кто кого-нибудь любит. Не мы делаем выбор, а господин эксперимент. Лохматое, звездное, далекое... И всякому приходит час прощания. И прощения, если не проклятья. Выбор — самоопределение. Или — или. Кто внушает нам «или»? Стра-ашно. Это — пустое место. Не черная, не белая дыра во вселенной, а бездонная пустота... Проведен эксперимент, познано, на что способны люди,— и пустота. Лаборатория покинута. Удался опыт или не удался — не мы судим. На это разума не дано. Выбор, выбор... Жизнь или смерть — выбор. Кто внушает? Вселенная?.. Или несколько всесильных людей, которые хотят править миром?..

— Кажись, твой приятель — вдребодан,— сказал в мрачной задумчивости Лопатин, слушая Илью с чуткой серьезностью, как слушают бред душевнобольного, удивляясь одержимой его убежденности, по-видимому, соглашаясь и не соглашаясь с выводами его разгоряченного ума.— Но он говорит невероятные вещи, и у меня волосы шевелятся...

— Н-да, сколько людей, столько и истин, согласитесь,— возразил Щеглов, не без грустного наслаждения купаясь в разъедающей кислоте чужой мысли.— Просто он говорит нетривиальные вещи, Александр Георгиевич.

— Нам пора уходить,— сказал Васильев, чувствуя вползающий в грудь жутковатый холод от размышления Ильи, которое все так же чудилось ему закрытым звуком голоса, его молчанием, хотя он явственно воспринимал смысл его слов и это новое, не произносимое им раньше обращение: «Послушай, Володя, мой старый

друг». А Илья неподвижно смотрел под ноги на эти нелепо асимметричные узоры ковра, и светлые ниточки пота стекали по бритым щекам, губы шевелились, в его опущенной руке осыпала пепел на отглаженные брюки докуренная до фильтра сигарета, и что-то больное, одинокое, необратимое было в облике Ильи, то, чего не хотел видеть и знать Васильев, что окончательно, бесследно уничтожало их общую юность, которую он не мог представить без непоколебимой веры в счастливую судьбу и веселой, самонадеянной силы Ильи,— и тогда Васильев проговорил громче: — Нам надо идти, Илья. Пожалуй, тебе стоит отдохнуть перед полетом. Я позвоню утром, если ты не возражаешь.

В тот момент, когда они начали отодвигать стулья, подыматься из-за стола, выходить в переднюю, где висели их пальто, Илья не двинулся с места, ни словом, ни жестом не остановил никого, только поднял голову и проводил всех неочнувшимися глазами, затем лицо его дрогнуло, перекосилось, как от ужаса, увиденного вблизи, но тут же он напряженно выпрямился, через усилие прочно поставил порожний бокал на стол и, почти не шатаясь, вышел в переднюю, чтобы проводить гостей.

И была неприятная минута, когда молчаливо одевались.

В эту минуту он ждал сбоку зеркала, спаянно стиснув челюсти, вроде теперь нельзя было разжать их для произнесения нескольких слов напоследок, морщины в углах полуприкрытых век мелкими лучиками суживались, казалось, от съедающего его, задавленного внутри страдания или надвигающейся тоски (останется здесь один в огромном номере со своим безысходным, казнящим молчанием, которое уже не заглушить словами),— и Васильев, еще не надевая шапку, протянул руку, сказал хмурясь:

— До завтра. Я позвоню.

— Не звони, Володя, тебе позвонят,— выговорил Илья, еле раздвигая непослушные губы, и морщины в углах глаз задрожали заметнее.— Мы с тобой не поцеловались, когда я приехал,— добавил он, виновато и жалко усмехаясь, и шагнул к Васильеву, не совсем уверенный, очевидно, что они могут проститься не так, как встретились.— Хочу тебе сказать на прощание... Может быть, в последний раз...

— Ты уверен, что мы не увидимся?

— Хочу сказать, что ты не можешь мне простить сорок третий,— опять еле разлепил губы Илья, и голос его опал, увяз в хриплом шепоте: — Но тогда было тоже «или — или»... Тот самый выбор... Господин эксперимент... Или Лазарев, или я. Одну пулю я пожалел только для себя... Ты это хотел знать. А теперь прощай, Володя. Мы больше не увидимся.

— Прощай, Илья. Все возможно на этом свете.

— Не все, Володя, не все.

Васильев не любил мужских поцелуев, и они неловко качнулись друг к другу, однако не поцеловались, а коротко, неудобно прижались щеками, и это прикосновение мертвецки-ледяного, влажного от пота лица Ильи потом долго и мучительно помнил Васильев. Он ощущал эту холодную влагу и когда в машине Лопатина подвозили Щеглова к театру, и когда ехали до мастерской, и когда, расставаясь, Лопатин густо покашлял, вздыхая, потеребил бороду, пробормотал в сожалеющем раздумье: «Экземпля-ар очень не простой, понимаешь ли ты, леший его возьми»,— и затем в окружившей его привычной, родной тесноте мастерской, ноевым ковчегом поплывшей в вечерней тишине вместе со стеллажами, мольбертом и пейзажами, утром расставленными по двум стенам и забыто неубранными, глядевшими нежной золотистостью предзакатного покоя на вершинах берез, ранним солнцем розового зимнего утра, прощальной оголенностью поздней осени...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В десятом часу утра Васильеву позвонили из гостиницы и после неоднократного уточнения фамилии, имени и отчества сказали, что на его имя от господина Рамзэна оставлено письмо, за которым очень просят поторопиться приехать, ибо есть обстоятельства, требующие некоторых незамедлительных формальностей при передаче корреспонденции под расписку. Как только Васильев услышал этот незнакомый воспитанный голос, объясняющий интонациями витиеватой обходительности причину его желательного и немедленного приезда в гостиницу (голос явно всего не договаривал), он без сомнения понял, что дело, конечно же, не в официальном вручении оставленного на его имя письма, а в чем-то другом, и поэтому выразил непонимание на-

ивным вопросом: что в конце концов случилось и с кем имеет честь говорить? Воспитанный голос представился администратором гостиницы, даже поклонником искусства, для которого лестно познакомиться с известным художником и лично встретить его в вестибюле гостиницы, чтобы оказать посильное внимание и содействие.

«Что-то произошло с Ильей, и, видимо, я должен там быть и помочь ему как-то»,— сообразил Васильев, покрываясь испариной волнения, и повесил трубку с растерянной поспешностью человека, не способного побороть влекущую остроту возможного недоразумения.

Вчера вечером Илья решительно отказался от провожания в аэропорт, более того — просил не обременяться утомительными звонками по телефону, самолет же рейсом на Рим вылетал в одиннадцать сорок, стало быть, выехав из гостиницы за час до посадки, он должен быть теперь в Шереметьеве. Но почему до отъезда в аэропорт он не послал письмо обычным почтовым путем, почему оставил его администратору и почему, наконец, создал некую таинственность вокруг своего отъезда?

В вагоне метро всю дорогу до центра и потом, уже поднявшись на площадь, утреннюю, солнечную, весеннюю, слепящую лучами в лужах, стеклами троллейбусов, горячими бликами нескончаемо шелестящей автомобильной вереницы, он думал о преувеличенной вежливости в интонациях администратора, по всей видимости, не сказавшего главного, уведшего в сторону льстивыми словами о любви к искусству,— и неспокойно сдавливало сердце в ожидании этого непредполагаемого письма Ильи, который разрешил себе вчера многое после воздержания и долгого режима, связанного с его болезнью.

Возникшее предощущение чего-то необычного, изменившегося в гостинице за ночь по причине вчерашнего дурмана, обострилось у Васильева, как только он вошел в вестибюль, и здесь навстречу повернулись настороженные глаза белокурого портье за стойкой, и тотчас по ковровой дорожке заспешил наперерез, излучая заученную радость, маленький лысый человек, одетый в черный, с жилеткой, застегнутый на брюшке костюм, вероятно, тот самый администратор, звонивший по телефону, и, с приятным достоинством представляясь, но

не подавая руки, предупредительно показал по направлению лестницы и лифта, заговорил учтивым, воркующим тенором:

— Спасибо, что вы приехали, Владимир Алексеевич. Прошу вас в номер господина Рамзэна. С вашего разрешения, я вас провожу. Как хотите? На лифте? По лестнице?..

— Не все ли равно,— сказал Васильев, помня, что вчера взбирались с Лопатиным по лестнице на второй этаж, и все же не понимая, зачем надо подыматься в номер Ильи, судя по времени, пустой из-за его отъезда в аэропорт, и спросил в полушутку:

— Вы хотите торжественно вручить мне письмо в номере, где проживал господин Рамзин?

— Господин Рамзэн,— вкрадчиво внес поправку администратор, и широкая лысина его порозовела.— Вы сказали «Рамзин»?

— Ах да, да, именно так: господин Рамзэн,— поправился Васильев.— Да, Рамзэн, конечно.

Этот маленький лысый человек четко всходил по лестнице, прочно неся свое солидное брюшко, двигая энергично, деловито локтями, в коридоре же, на втором этаже, неподалеку от номера Ильи, круглое лицо его мигом начало отчуждаться, брови вползли на лоб в осуждающем изумлении, и с силой суровой неподкупности он проговорил у массивной двери, берясь за медную ручку:

— Оч-чень удивлен, оч-чень...

И встав как-то боком, неприступно наклонив голову, пропустил вперед Васильева, но за ним в номер не последовал, исполненный надменной почтительности, закрыл из коридора громоздкую дверь,— и вдруг сдавливающим безмолвием беды дохнуло на Васильева здесь, в передней, когда он увидел на вешалке серое пальто и шляпу Ильи, когда ощутил горький перегар сигарет, несвежий запах вчерашней еды, кисловатую терпкость разлитого вина, когда ему бросился в глаза большой неубранный стол, блюда с остатками заливных и винегретов, непочатые бутылки шампанского в судках с растаявшим льдом и порожние бутылки, неопрятно торчащие меж чистых приборов, салфеток в кольцах и нетронутых закусок (вчера был заказан обед словно бы на двадцать персон), когда увидел двух незнакомых людей в комнате, разом взглянувших на не-

го одинаково ощупывающими недоверчивыми взорами. Один из них, пожилой, с сухим морщинистым лицом, перекинув пальто через спинку кресла, однако не сняв фетровую шляпу, выпрямленно сидел у края стола, барабанил прокуренными пальцами по разложенному на открытой папке листку бумаги, на две трети исписанному, возле папки лежала многоцветная автоматическая ручка. Второй человек — довольно молодой, высокий, в легком весеннем плаще, хорошо причесанный, внешностью своей похожий на способного работника посольства, обернувшись на пороге другой комнаты, по-видимому, спальни, вгляделся в нахмуренное лицо Васильева (сам Васильев ощутил нервный озноб от этого бесцеремонного на себе внимания), сказал официально, бесстрастно:

— Вы — художник Васильев Владимир Алексеевич? Мы вас побеспокоили, простите уж за необходимую формальность. Сядьте, пожалуйста. Садитесь, садитесь, Владимир Алексеевич! — приказал он, мимоходом пододвинув стул, прошел по ковру до конца стола, где постукивал пальцами сухолицый, там сделал поворот кругом, совсем по-балетному мотнул полами светлого плаща и, приближаясь на упругих ногах и точно издали вползая изучающими зрачками в глаза Васильева, неизвестно зачем севшего на стул против двери спальни, проговорил вполголоса:

— Известно, Владимир Алексеевич, вы были другом или... старым знакомым господина Рамзэна? Дело в том, что...

Дверь спальни была открыта, и оттуда цепеняще вытекала бездыханная тишина, и прежде, чем услышать все, что должен был сказать этот молодой человек, Васильев почувствовал, что из раскрытой двери спальни веет ему в лицо чужим запахом смерти, внепредельным запахом высушенной пустыни, что там, в соседней комнате, на спине лежит Илья, уже никуда не спешащий — ни в аэропорт, ни к рейсу самолета, сразу переменивший для себя и смысл и цель весеннего погожего утра, мартовской капели за окном, яркого синего неба над мокрыми крышами Москвы, живой, далекой от этого номера и от всего того, чего Васильев еще не понял внятно из загадочного разговора с администратором. И хотя Васильев видел в открытую дверь спальни только часть большого трюмо и откинутую крышку неуло-

женного чемодана на подставке, край постели и смятой простыни, опущенной углом к полу, он не сомневался, не обманывался надеждой, возможностью ошибки,— ему знаком был запах смерти в доме — серый, сухой, всюду проникающий запах, может быть, самого воздуха, вещей, предметов, одежды умершего, но вместе и чего-то другого, материального и бесплотного, распространенный сигнал тревоги, предупреждения, напоминания о кратком земном сроке и едином конце...

— Вы хотите сказать, что господин Рамзэн умер? — проговорил Васильев деревянным голосом.— И вы хотите сказать, что пригласили меня... чтобы передать мне письмо покойного. Так это?

Молодой человек снова сделал поворот кругом, крылоподобно взмахнув полами кремового плаща, и допрашивающие зрачки его снова стали вползать в глаза Васильева.

— Я не хочу сказать, а обязан,— поправил он Васильева переламывающим тоном неоспоримой истины.— Обязан сказать, что господин Рамзэн не умер естественной смертью, а убил себя.

— То есть... как убил?

— Пройдите за мной, Владимир Алексеевич,— предложил молодой человек, с промедленной подозрительностью все вкалываясь зрачками в Васильева, и тот машинально встал, плохо слыша подталкивающие его слова: — Нет, не в спальню, а в ванную, прошу вас...

Он не успел сообразить, почему его приглашают в ванную, но впереди зашуршал, загородил дверь спальни кремовый плащ, задвигался и возник в окружении белого кафеля, никелированных кранов и громадных зеркал с матовыми полочками, на которых куда-то вкось мелькнули, сместились флакончики лосьона, туалетной воды, одеколона, зубная паста, незакрытый бритвенный прибор, затем плащ мгновенно продвинулся мимо зеркал и полочек, потом из смещающегося сияния зеркал, фаянсовых раковин и кафеля чужой недоверяющий голос сказал какую-то полуутвердительную фразу относительно странных способов самоубийств,— и то, что открылось Васильеву, было ужасающим в своей неожиданности и своей совершившейся бесповоротности, как бесповоротен всегда самый тайный и самый решительный акт человеческой смерти. Но то, что увидел Васильев в ванной, было не Ильей и в то же

время было им, потому что человек, погруженный по грудь в стоячую бурую воду, будто спал, чуть откинув голову в тихом покое, усталости и изнеможении, лицо потеряло жесткость черт, нервность вчерашнего возбуждения нетрезвого Ильи, мягко разгладилось, успокоилось, седые волосы свесились мальчишеским колечком на лоб, и лицо что-то вернуло себе из той давней юной мужественной красоты Ильи, кумира школы и зацепского Замоскворечья, и тут заметил Васильев, что от света матового плафона, продолжавшего гореть в ванной, тень его некрепко сомкнутых ресниц слабой полосой лежала под веками.

«Зачем тебе, Ильюшка, такие ресницы? Отдал бы кому-нибудь из девочек»...— вспомнил Васильев шутливо-вызывающие слова Маши, сказанные ею еще в счастливом тумане детства, от которого ничего отчетливого в облике Ильи не было, ни вчера, ни при встрече в Венеции, а сейчас знакомо проступало,— и, вспомнив, внезапно увидел на кафеле широкий веерообразный след засохшей крови, невольно поискал с мутным головокружением глазами по ванной комнате, наткнулся на измазанную красными затеками опасную бритву, валявшуюся у стены на полу. И до физического ощущения явственно представил, что сделал этой бритвой Илья, напустив воду в ванну, как тугим фонтаном брызгала кровь из вен на кафельную стену, на лезвие, и как, обожженный болью, он отшвырнул ненужную уже бритву и опустил руки в воду, ожидая последнее, закинув голову, закрыв глаза...

— Бритва,— охрипло сказал Васильев и наклонился, чтобы поднять острое поблескивающее орудие, которым убил себя Илья, но тут же его сильно отбросило от стены натренированное плечо молодого человека, едва не сбившего его с ног и резким толчком и властной командой:

— Наза-ад! Не трогать! Вы что — с ума сошли?

— Не понимаю, что вы...

— Потом поймете. Прошу за мной в спальню! — волевым голосом приказал молодой человек, и вновь светлый плащ зашуршал, колыхнулся впереди в распахнутой двери из ванной в спальню.

Здесь громоздкое, на половину стены, трюмо (стиля купеческого ампира), кое-где попорченное желтизной, с поразительной четкостью, однако, отражало часть ком-

наты, разобранную двухспальную постель, отброшенный к ногам скомканный конверт пододеяльника, помятую подушку — постель, которую лишь мельком увидел Васильев, мгновенно вообразив, как одиноко лежал на ней голый Илья в крайние минуты, думая, прощаясь с миром перед тем, как пойти в ванную.

У изголовья на тумбочке, неаккуратно залитой пятнами, клейкими на вид, осыпанной пеплом, стояла порожняя бутылка из-под шампанского, возвышались грудой окурки в пепельнице и валялась пустая пачка «Сэлем».

Молодой человек, не задерживаясь подле кровати, приблизился к туалетному столу, внимательно склонился там, после чего кивком хорошо причесанной головы подозвал Васильева, спросил с веской загадочностью:

— Его почерк на газете? Узнаете? У кого же он просил прощения? У вас, Владимир Алексеевич? Посмотрите...

Васильев посмотрел.

Это была газета «Вечерняя Москва», купленная, надо полагать, Ильей в вестибюльном киоске, развернутая на столе, наверно, прочитанная или приготовленная для чтения, или, может быть, подстеленная с иной целью, но остро и неестественно кололо глаза вверху на просвете полосы сжатое молящее слово, дважды написанное нетвердым почерком: «Простите!», «Простите!» Оно, это слово, впивалось в сознание тайной своей необходимости, сложностью и простотой нераспознанной цели, необъяснимостью движения предсмертной мысли Ильи, оно проникало в грудь щекочущим холодом смертельного острия. И Васильев спросил, вспыхивая раздражением против веской уверенности молодого человека:

— Почему вы считаете, что Илья Петрович Рамзин должен был просить прощения у меня?

— Потому что письмо покойного адресовано лично вам, Владимир Алексеевич,— произнес молодой человек с неразрушимым достоинством справедливости, исключающей всякую натяжку, и с вкрадчивой плавностью отвернул полосу газеты на столе, прикрывавшей незаклеенный конверт.— Письмо предназначено вам, Владимир Алексеевич, поэтому мы вынуждены были побеспокоить вас, оторвать, так сказать, от творческого

процесса, от создания полотен, воспевающих трудовой...

— Вы не из бывших критиков? — желчно перебил Васильев, задетый фальшивой фразой молодого человека.— А то похоже, что вы цитируете свои статьи о современной живописи. Я могу взять с собой письмо?

— Нет. Прошу прочитать его здесь.

— Насколько я понимаю,— передернулся Васильев,— оно предназначено мне. Но я его взять не могу, а содержание вам уже известно?

— Разумеется. Я обязан был ознакомиться с ним по роду сложившихся... неординарных обстоятельств. Мы не на коктейль сюда приехали, Владимир Алексеевич,— поправил властно молодой человек и, глядя в лицо Васильеву, сам подал конверт, не без требовательности добавляя:— Прошу вас здесь ознакомиться с содержанием письма покойного и, пожалуйста, оставить его нам до конца расследования... Надеюсь, вы разумный человек и понимаете, что в жизни бывает все и даже вены иногда вскрывают не своей рукой и не по своей воле... Пока мы в исканиях, так сказать, истины. Но мы найдем ее, уверяю вас.

— Я, видимо, не разумный человек,— сказал Васильев неприязненно и отошел к лампе, горевшей на конце стола, стал спиной к молодому человеку, чтобы тот не видел его лица и дрожи его пальцев, когда он взял мелко исписанный лист бумаги.

«Дорогой Володя!

Прости меня за уход, подобный Сенеке. Но так проще и легче. Мой бывший друг, позаботься только о единственном — чтобы меня похоронили на каком-нибудь московском кладбище, и прости за тягостные хлопоты, которые доставлю. Я хочу (зачеркнуто) здесь, даже если Рудольф (зачеркнуто) потребует через посольство. Итальянцы очень уважительно относятся к покойникам и могут не разрешить.

Все мы трагично одиноки на этом свете и все смертны. Везде ужасно (зачеркнуто)...

Мне никто не может помочь — ни деньги, ни женщина, ни твоя дружба, Володя.

Я был честолюбив, но судьба не была милосердной. Никакого следа я не оставил после себя на земле. Только прошлое было прекрасно — наш двор, школа, моя дружба с тобой, юность, которой уже нет и не будет во

веки веков. Наверное, на том свете я не узнаю ни тебя, ни Марию. Да что там будет, в бесплотности?

Что бы ни было, мы неразлучимы перед вечностью, и я, мой единственный друг Володя, не отрекаюсь от прошлого, от нашей молодости.

Не знаю, чего люди больше достойны — жалости или ненависти, но Лазарев был моим роком, и я был вынужден (зачеркнуто), чтобы выжить в плену. На том свете объяснимся. Я ему не простил и мертвому.

Поцелуй Марию и скажи ей, что она напрасно избегала встреч со мной в Москве. Я так ее и не увидел. Прости и за Викторию. Я исповедуюсь, и я прошу отпущения грехов.

Наверное, когда-то мне нравилась Мария. И не знаю, что было бы между нами, если бы я не попал в плен. Мою покойную жену звали Марта Зайгель. Она любила меня без памяти, как любят сумасшедшие. Марта была горбуньей, святая, с глазами печальной мадонны.

Проснуться бы в другом мире летним солнечным утром и все начать сначала. Впрочем, сентиментальная чепуха.

Жаль мне, мой старый друг Володя, что и ты, талантливый человек, к сожалению, не купаешься в лучах счастья. А есть ли оно вообще?

Finis [1], ничего не поделаешь, мой друг! В моей бутылке кончилось шампанское, а было так легко писать. Кончаю. Мне все ясно... Вот он, последний выбор, который я могу сделать.

Не орудие ли человек в чьих-то руках? Кто производит над нами безумный эксперимент? Кто хочет над нами власти?

Простите! Простите! Простите!

Сейчас 3 часа ночи.

Думаю, что мама, железная женщина, спокойно отнесется к моему уходу. Бог милосерден. Одно меня мучит...

Адью!

Ваш многогрешный Илья».

Он три раза подряд прочитал письмо Ильи, который убил себя, оказывается, глубокой ночью, а теперь лежал там, в ванной, по грудь погруженный в окрашенную его

[1] Конец (*лат.*).

кровью воду, и уже не мог ответить на главный вопрос: «зачем?» Нет, никакие предсмертные объяснения никогда не помогали этому вечному «зачем», и Васильев опять представил, как несколько часов ворочался вот здесь на постели Илья, обдумывая целую жизнь и уходящие мгновения своей жизни перед приближающимся концом, сомневаясь вдруг, покрываясь весь липким потом, пережив последние, оставшиеся на один вдох секунды, обрыв света. И, отвергая слабость колебания, трусость, обвинял и убеждал себя решиться на все завершающий, сполна все оплачивающий шаг, после которого хлынет из пропасти тьма, навсегда смыв сомнения, весь белый свет короткой, будто ожог, болью. Он представлял, как, решившись, Илья лежа наливал и пил шампанское вот из этого бокала, сохранившего следы капель, может быть, разговаривал вслух и вслух прочитывал фразы, лихорадочно курил одну сигарету за другой, изредка взглядывая вокруг и в страхе встречая слева в зеркальном пространстве чье-то худое, без единой кровинки чужое лицо, уже приговоренное к смерти, уже обреченное. Вероятно, он вздрагивал, не узнавал свое лицо, вставал и всматривался в каждую морщинку, в глубь глаз, холодея на краю бездны, дышавшей темнотой, зло смеясь над вновь вползавшим в душу ужасом, потом разделся полностью, и, прежде чем пойти в ванную, напустить воду, приготовить и осмотреть острие бритвы, он, обнаженный, точно для казни в Древнем Риме, упал спиной на постель, глядя в высокий лепной потолок, чуть серовато-пыльный от времени и прекрасный обыденной простотой, закрывавший влажное небо весенней ночи...

Умел ли Илья плакать? Так ли это было? Почему он, Васильев, видел последние часы Ильи именно такими?

— Я попросил бы вас, Владимир Алексеевич, ответить на несколько необходимых вопросов. Если это, конечно, вас не затруднит... Скажите, пожалуйста, вчера, кроме вас и вашей дочери Виктории Владимировны, в гостях у господина Рамзэна были еще двое — режиссер Эдуард Аркадьевич Щеглов и художник Александр Георгиевич Лопатин?

— Что? Да. Именно так. Были, были...— пробормотал Васильев, слыша вскользь натянуто-вежливый голос молодого человека, в то же время не в силах избавить-

ся от завораживающего желания вглядеться в зловещую свидетельскую глубину зеркала, как если бы отпечаталось там среди недвижных отражений кровати и стены и могло всплыть из другого серебристого мира бескровное, почти незнакомое лицо Ильи, еще живое, прощавшееся, искаженное презрением к себе или терпением страдания в тот момент, когда надо было сделать первый и последний шаг к двери ванной. «Так вот еще почему занавешивают зеркала в доме умершего»,— возникло в сознании Васильева, и он, не отдавая отчета в том, что делает, шагнул вплотную к зеркалу, так, что оно запотело от дыхания, глянул на отражение двухспальной кровати со смятой постелью, щекой ощутил морозный ветерок сбоку, из распахнутой двери ванной, где лежал сейчас Илья, положил конверт с письмом на туалетный стол и вышел в другую комнату, по-весеннему свободно и тепло залитую солнцем, по сравнению с затемненной спальней, просторную, подобную даже какому-то веселому банкетному залу.

— Вы меня спросили... что вы меня спросили?..— поморщился Васильев, садясь в кресло, ощущая заболевший затылок, который просверливали тупые штопорки.

— Я не мог не задать вам вопрос: кто был вчера вместе с вами в гостях у господина Рамзэна? Ваша дочь, режиссер Щеглов и художник Лопатин?

— Да,— сказал Васильев, охваченный безразличием и физической усталостью.— Но, собственно, зачем же спрашивать, если вы это хорошо знаете?

— Владимир Алексеевич, вам придется потерпеть и постараться ответить на формальные вопросы,— проговорил с холодной мягкостью молодой человек, подчеркивая слово «придется», и опустился на подлокотник кресла напротив Васильева, отвел полу легкого плаща, достал из кармана пиджака ронсоновскую зажигалку, закурил и уважительно показал сигаретой на узколицего морщинистого человека за столом.— И на некоторые вопросы моего коллеги, необходимые для уточнения деталей.

Узколицый пожилой человек закончил выжидательно барабанить по столу и неохотно заговорил ржавым, вероятно, от курения голосом, стал уточнять, в котором часу пришли и ушли гости из номера, все ли ушли вместе или кто-то остался, быть может, вернулся назад, не было ли телефонных звонков господину Рамзэну в ча-

сы застолья; и голос его глуховато скрипел, колющей жестяной паутиной окутывал Васильева, и Васильев отвечал механически, угнетаемый этой скрупулезностью подробных и запоздалых расспросов, мучимый тупой болью в затылке (он знал, когда появлялась такая боль), и видел, как то и дело нацеливалась костлявым пальцем автоматическая ручка и текучие строчки гусеницами извивались по листу бумаги, расползаясь сверху вниз ровными аккуратными абзацами, плотными квадратами, целыми полками жирных голубых гусениц, заполняя и заполняя белый прямоугольник неисчислимыми легионами слов, проясняющими, выявляющими и уточняющими то, что никогда оставшимися в живых не будет ни объяснено, ни выявлено, ни уточнено.

«Ничто это не поможет и не откроет истину»,— думал Васильев, испытывая тоскливое ощущение духоты, а узколицый все тем же тоном непристрастной справедливости продолжал спрашивать его, записывал ответы, шелестел бумагой, делал значительные паузы, изредка бросал строгий взгляд тускло-зеленых глаз в проем открытых дверей спальни, как бы утверждая особенность случившегося и серьезную необходимость заданного вопроса, и оправлял при этом узел толсто завязанного галстука под острым кадыком.

Иногда же он скрещивал руки на груди, прекратив запись, однообразно улыбаясь, но тусклый свет не уходил из его недоверчивых глаз, направленных прямо в лоб Васильева, и тогда Васильев, подавляя раздражение против служебной скрупулезной подозрительности, выработанной этим человеком, замолкал или отвечал кратко, сквозь зубы, готовый взорваться, вспылить от протокольных, ничего не устанавливающих в сути дела вопросов, бессмысленных после письма Ильи, и наконец, не выдержав, сказал с нескрываемой досадой:

— Не кажется ли вам, что мои ответы ничего не добавляют к тому, что случилось? Все это напрасно. Вы ошибаетесь, если думаете, что можете у меня найти ключ ко всем замкам. К сожалению, это не так.

Молодой человек в светлом плаще неслышно посмеялся, дыша дымом, глядя в потолок ясным взором, сказал:

— Ключик, говорите?

— Н-да, ключ... Еще один вопрос, Владимир Алексеевич,— проговорил узколицый настоятельно и покатал

бугорки желваков на впалых щеках...— Покойный господин Рамзэн был итальянским подданным русского происхождения, как известно. В своем письме перед смертью, адресованном вам... и на газете, не без цели оставленной им на туалетном столе, то есть на видном месте, им два раза написано русское слово «простите» с восклицательным знаком. Не можете ли вы сказать, что его беспокоило? Не было ли какой-нибудь размолвки или ссоры вчера?

— Размолвка или ссора? Была,— сухо ответил Васильев.— Но это из другой области и ничего не объяснит.

Узколицый выразил бровями повышенное внимание:

— Была? Размолвка? Какого порядка?

— Я не нахожу нужным говорить о том, что не имеет прямого отношения к самоубийству,— сказал Васильев, и по тому, как сердитым рывком поднялся с подлокотника кресла молодой человек в плаще, круто ввинчивая в пепельницу докуренную сигарету, по тому, как забарабанил пальцами по столу и косо посмотрел узколицый его коллега, он понял, что им обоим поручено расследовать обстоятельства и причину смерти иностранца, стало быть, независимо ни от чего они будут задавать вопросы до тех пор, пока не убедятся в истинности аргументации, доскональной и обязательной для выяснения дела. Оба они, конечно, не могли знать всю сложность его взаимоотношений с Ильей, весь их длинный путь от школьных довоенных дней до вчерашнего обеда, когда Илья (лишь сейчас многое приобретало логичность) начал убивать себя тем неограниченным питьем шампанского и курением и тем погружением во внутреннее молчание, замеченное вчера Васильевым. Он, видимо, уже держал в сознании принятое решение, иначе не было бы того прощания и неловкого поцелуя Ильи, вернее, мужского прикосновения щеками при расставании навеки — ледяной пот его щеки еще не остывал щекотной влагой. Нет, такое нельзя было никому объяснить, кроме одного не испорченного ничем Лопатина; как его не хватало в эти минуты, вдвоем им было бы легче и яснее осознать каждую фразу Ильи, произнесенную вчера, за несколько часов перед смертью. Но Васильев чувствовал ту самую непознаваемость решимости самоубийц и ту непознава-

емость их воли, которой обладал Илья, будучи сильнее и упрямее других.

И Васильев сказал ровным голосом безмерно уставшего человека:

— Я вспомнил... и подумал... «Пусть погибнет весь мир, но восторжествует юстиция»... Как хорошо знать истину... Но ведь страшно и смешно — кому и для кого истина нужна, если ее торжество образует пропасть... между людьми... Вы понимаете меня? Я не хочу, чтобы кого-нибудь без причины подозревали. Вы же видите, что здесь произошло. Здесь не убийство. Я больше ничего не могу добавить.

— Вы нелюбезны, Владимир Алексеевич, я не очень вас понимаю,— полуупреком выговорил молодой человек в кремовом плаще и, мелко вздохнув, опустил словно бы страдающие глаза.— Перед вами здесь был представитель посольства Италии, и все может быть не так, как вы думаете... Вы не хотите отвечать на наши вопросы, кое-что уточнить?

— Разве главное в том, что я вам скажу? Я не знаю главного. Никто о жизни и смерти не может знать главного.

— Тогда я прошу вас письменно, так сказать, объяснить, что было вчера вот в этом номере.

— И вы считаете — тогда восторжествует истина?

— Я прошу вас. Очень прошу.

Все сверкало, сияло, шелестело шинами проносившихся по площади машин, вдоль бульвара вспыхивали, играли зеркальными зайчиками стекла троллейбусов, роняя фейерверочные искры с проводов, и косматo разбрызгивалось по лужам мартовское солнце, и везде сладко пахло весной, талым снегом, теплой влагой воздуха, и подымался парок от мокрых тротуаров, усыпанных колотым льдом, и дымился кое-где подсыхающий на солнцепеке асфальт площади. А в центре, как всегда, оживленно шли, двигались толпы прохожих, уже одетых не по-зимнему, уже многие в легоньких пальто, уже многие без шапок; и оживленно между двух подошедших интуристских автобусов, зашипевших тормозами, повалила к подъезду гостиницы разноцветная заграничная толпа в шуршащих куртках и длиннокозырь-

ковых каскетках, с пестрыми дорожными сумками, с фотоаппаратами, и Васильева окружил иностранный говор, нестеснительный смех, мимо скользили довольные, сытые, невнимательные взгляды, поплыл запах чужого приторно-горького лосьона, чужой помады, он услышал знакомое слово «яволь», сначала иглой вонзенное в память, потом закачавшееся в солнечном зное подобно остроконечному красному поплавку. И тотчас подумалось ему, что «яволь» — это война, немцы, жара на Украине, лейтенантское звание, их юность с Ильей и тот неравный ночной бой на железнодорожном переезде, последние еще счастливые перед пленом и роковые часы Ильи, который лежал сейчас вот в этой гостинице, куда направлялись немцы, в своем номере на втором этаже, в освещенной всю ночь матовыми плафонами ванной, погруженный по грудь в кроваво-бурую воду, закончив все тяготы с жизнью, любимцем которой он должен был быть, но не стал... Но кто знает, где именно была его гибельная вина и когда все это началось? В замоскворецком детстве? Или летом сорок третьего? Там, у переезда, когда оставили орудия и возвращались, а он, взбешенный, берег в пистолете три пули — две для Лазарева, одну для себя? И этого никто точно не знает. Самое главное было то, что ушел из жизни Илья — тот юный, сильный, решительный, подчиняющий своим горячим и опасным блеском черных насмешливых глаз, и другой Илья, измученный жизнью, больной, разочарованный, не желающий больше ничего желать...

«Понимаю ли я, что произошло? Отломилась часть моей жизни? Без Ильи я не могу представить ни своего детства, ни войны, ни молодости...»

И Васильев не видел ни синеющей глубины неба над площадью, ни слепящих брызг солнца в лужах, ни капели на улицах, ни хаоса толпы, этого весеннего и неудержимого калейдоскопа пробудившегося от зимы большого города. Он вошел в автоматную будку на углу гостиницы, весело звеневшую под отвесно хлещущими по ней струями с крыши, набрал номер Лопатина и с комком в горле, не слыша гудков, закрыв глаза, долго стоял в этом неистово-сумасшедшем шуме струй.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Через несколько дней в середине ночи он проснулся в своей мастерской от душного беспокойства, со стоном приподнялся на постели, упираясь затылком в стену, стараясь глубоким дыханием успокоить перебои сердца.

«Нет, этого я никогда не испытывал раньше,— думал Васильев.—Я просыпаюсь каждую ночь и места себе не нахожу. Но почему у меня не проходит это?.. Я был другим еще пять лет назад. Удобно жил и обманывался успехами, любовью Маши и нескончаемой любимой работой в мастерской. Как это было мучительно и радостно — искать красоту в лицах, в руках людей, в холодном серебре летней росы на придорожных лопухах, в осеннем воздухе, в снеге тихой синей ночи!.. И что же? Нашел? Так ответь себе, что такое красота— правда? Обнаженная суть природы? Любовь? Страдание? А можем ли мы истинно знать, что для нас значит красота? Так в чем же? В чем? И опять жалость ко всем и эта мука беспокойства, как будто мы потеряли что-то и не сознаем, зачем мы все нужны друг другу. А без этого ничто не имеет никакого смысла. Нет, не в этом суть. Каждый из нас хочет жить придуманной жизнью, и мы потеряли естественность. Мы все виноваты друг перед другом. Асфальтом задушили землю... Неужели это выбор двадцатого века? О, если бы мы смогли понять суть самих себя! Нет, я должен перестать думать сейчас об этом, я должен заснуть — и в этом спасение. Ни одной мысли, и все будет легко... Это тоже выбор — не думать. Где-то здесь, на ночной тумбочке, был димедрол, я положил вечером, и вода в стакане, принять еще одну таблетку и погрузиться в сон, в сон...»

Он почти облегченно нащупал на тумбочке таблетку димедрола и так же, с ожиданием успокоения запивая ее водой, трудно сделал глоток, затем лег на спину, чувствуя холодное онемелое пощипывание на языке, где была таблетка.

«Сейчас, сейчас будет легче...»

Спасительный сон не приходил, только властная сила потянула его назад, в недавний сырой, преддождевой день, и там, в этом преддождевом дне, наступило некоторое облегчение, когда все прощальные процедуры были закончены и первым уехал присутствовавший при

погребении молчаливый представитель итальянского посольства, а четыре парня-могильщика в расстегнутых куртках, вспотевшие, быстро завершили работу, подбросив лопатами откатившиеся комья к продолговатому земляному холмику, выросшему на окраине ржавых оград подмосковного кладбища. Они начали устанавливать венки, сухо, жестко шуршащие искусственными цветами, и Васильев отвернулся, чтобы не видеть их пошлого грима. А вокруг голые березы, уже набухающие соками, стояли в сиреневом тумане, и черные грачи с толстыми клювами хозяйственно ходили, переваливаясь, по мокрой прошлогодней пашне, и везде был рассеянный свет ранней весны — теплое солнце угадывалось за тучами, хотя собирался дождь, и пахло недавно растаявшим снегом, сырым воздухом. Только левее кладбища расчищалось — и в ослепительном мартовском небе над крышами недалекой деревни летели белые облака, грузно наполненные, надутые, как паруса, влажным ветром. «Надо это запомнить,— машинально мелькнуло у Васильева, и он тут же с неприязнью к себе подумал, что навсегда отравлен привычной работой памяти, которую ежедневно тренировал всю жизнь до предела, изощряя ее.— Нет, это неисправимое безумие — я смотрю на каждого, и мне кажется, что угадываю его мысли и запоминаю выражение глаз...»

Раиса Михайловна, два дня больная сердечной слабостью, сердито отвергла всякую помощь Марии, неизвестно чем жестоко обиженная, не захотела ехать на кладбище со всеми, попросила «оказать услугу» Викторию, приехала в ее сопровождении на такси, но из машины не смогла вылезти, к ней подходили с соболезнованием поочередно. Видимо, ей не хватало сил, и в момент погребения, когда уже сбрасывали лопатами землю на крышку опущенного в коричневую щель гроба, она, не отпуская растерянную Викторию, сидела за закрытым стеклом на заднем сиденье. Там виднелось маленькое, безучастное, застывшее в гордой обиде гипсовое лицо, и клоунски нелепая черная шляпка моды тридцатых годов траурно выделялась на ее седых волосах. Она уехала, не сказав ни слова, и Виктория, повернувшись к заднему стеклу, делала всем какие-то непонятные, прощальные знаки, и брови ее изламывались, как от безмолвного плача и отчаяния. И тогда Ва-

сильев вспомнил слова, сказанные ею вчера в мастерской: «Па, прости меня за глупость, прости...»

Потом молча двинулись к машинам, оставленным на проселке за кладбищем. Лопатин открыл багажник своей потрепанной «Волги», достал полиэтиленовую канистру с дистиллированной водой, и они принялись мыть руки, измазанные липкой глиной, той горстью земли, которую каждый бросил в могилу.

— Свой срок, свой срок... Все там будем,— вздохнул Щеглов, промокая носовым платком пальцы, расстроенный, ошеломленный еще неостывшими подробностями смерти Ильи, гнетущей обстановкой морга, откуда брали тело покойного, замшелыми старыми крестами, покосившимися оградами запущенного кладбища на окраине Москвы, этого сельского погоста, где разрешили похоронить Илью. Щеглов с задумчивой скорбностью снял очки, беспричинно потер их о меховой борт печально молодящей его дубленки, пожевал губами, и вдруг здесь, на чистом полевом воздухе, открылась старческая прозрачность, сухость его лица, жилистые складки шеи, немощные морщины близкого к небытию человека, которому давно за семьдесят, и голос его послышался неузнаваемо ослабленным, неживым, не сумев набрать обычную полнозвучную едкость, призывающую жить смеясь.

— Все грустно, грустно и грустные для всех нас звоночки из вечности... Напоминание о том, что всем срок отпущенный дан. И там в небесном списке роковой крестик в один прекрасный день будет поставлен. Милостивый, пронеси, оставь меня здесь, глупого, грешного, влачить дни свои,— сказал он спустя минуту молитвенным и одновременно скептическим тоном опять взятой игры, очевидно, закрываясь и страшась выказать то панически ужасающее перед неизбежным, что против его воли, неожиданно обнаружилось в его лице.— Извините великодушно, друзья, но грандиозную штуку в прискорбный час вспомнил,— продолжал он, нарочито растягивая слова, будто неунывающе смакуя их, и надел очки, выразительно собрав морщины на лбу под надвинутым, тоже молодящим его, беретом.— Месяца три назад хоронили старого режиссера Серебровского на Новодевичьем. Все чинно, мирно, красивые эпитеты: «выдающийся», «незабвенный», «старейший». И прочая... А когда в конце все к воротам, думая о поминках,

направились, ко мне подходит молодежь из его театра, здоровенные, знаете ли, бугаи и кобылицы, и так это озабоченно спрашивают: «Ну, а ваше здоровье как?» Грандиозно и прелестно! Мм?..

— Это вы уже рассказывали. Нам что — следует улыбаться? — угрюмо проворчал Лопатин и прекратил тряпкой вытирать руки, покосился на Марию, задержавшуюся у могилы и торопливо раздававшую из сумки деньги четырем парням с лопатами.— Маша, лишнее! Хватит! Не развращай ребят, слышишь! С ними расплатились сполна и больше! — зарокотал он, укоризненно окая, и Васильеву особенно очевидно стало, что без энергии и помощи Лопатина невозможно было бы пройти через целый лабиринт разрешений и формальностей, согласований, бумаг и бумажек для того, чтобы похоронить на родной земле человека с иностранным паспортом.

— Странно, как странно...— шептала Мария, медленно подходя с опущенными глазами, и ее ресницы были тяжелые от слез.

Щеглов взял ее под локоть, слабо поцеловал в черную замшу перчатки около запястья и подвел к машине.

— Все странно, Машенька, на этом свете, все странно,— выговорил Эдуард Аркадьевич, потупясь, сокрушенно соучаствуя в скорбной растерянности Марии.— И странно то, родная, что после смерти человека его жизнь кажется простой штукой, как овечье «ме».

— А мне никогда этого не казалось,— возразил с хмурым преодолением в голосе Васильев.— Вы чушь, простите, сказали. Не понимаю вашего нелепого остроумия и вашего неуместного веселья.

— О, вы стали ужасными! Вы оба беспощадны ко мне! И вы, Александр Георгиевич, и вы, Владимир Алексеевич! Вы стали невыносимыми! — тонко взвизгнул Эдуард Аркадьевич и заморгал, задышал носом, всхлипнул совсем по-детски обиженно (а этого с ним прежде никогда не случалось, вроде все подпорки в нем разом сломались) и, сгорбленный, тряся головой, отчего оскорбленными кивками мотался на его голове широкий берет, на ощупь схватился за ручку дверцы лопатинской машины, тщетно силясь открыть ее, и повторяя слезными, упрекающими вскриками: — Скорее, скорее, прочь отсюда! Я прошу отвезти меня домой...

Боже, мое веселье! Веселье человека, которому невесело жить! Вы оба меня не любите!.. Вы меня ненавидите... и это чудовищно несправедливо! Я прошу вас уважать хотя бы мою старость!..

Но главное, оставшееся в памяти Васильева, был не этот нервный срыв Эдуарда Аркадьевича, а то, что потом вспоминал все эти дни в мельчайших до боли подробностях.

Едва лишь успокоили Эдуарда Аркадьевича, сели в машины и тронулись, пришлось тотчас съехать с про-

селка на обочину, освобождая дорогу пешей похоронной процессии, которая направлялась к кладбищу со стороны деревни.

Их шло по дороге человек десять, и мерно покачивалось впереди что-то узкое, красное, сначала напоминавшее полусвернутое знамя, но затем ясно стало, что это несли красную крышку гроба, непривычно маленького, младенческого. И следом за крышкой тихой раскачкой шагал невысокий парень без пальто, в новом стального цвета костюме, очень белая свернутая простыня была перекинута у него через плечо, а на этой повязке он нес детский гробик, придерживая его в изножье и изголовье, неотрывно глядя вниз, на то, что вплотную видел перед собой там, среди ангельски-снежного, то и дело заворачиваемого ветром покрывала. Сильный преддождевой ветер забрасывал светлые волосы парня ему на лицо, загораживая соломенной завесой,— и по тому, как шел он заведенной походкой потрясенного человека, Васильев ощутил все...

Дальше в молчании двигались толпой молодые люди с набитыми авоськами, с продуктовыми сумками, неизвестно для чего взятыми сюда, на кладбище, и в центре толпы, утирая распущенным платком щеки, безголосо и дурно рыдала, задирая голову, покачиваясь, распухшая багровым лбом некрасивая молодая женщина, которую неловко вел под локоть пожилой мужчина в ватнике. Кто она была? Мать младенца? Родственница? Сестра парня?

Они завернули налево к краю кладбища, откуда отъехали и задержались на обочине, пропуская похоронную процессию. И Васильев вдруг испытал такую родственную, такую горькую близость с этим потрясенным светловолосым парнем, с этой некрасивой, дурно плачущей молодой женщиной, со всеми этими обремененными авоськами людьми на дороге, как если бы он и они знали друг друга тысячи лет, а после в гордыне, вражде, зависти предали, безжалостно забыли одноплеменное единокровие, родную простоту человечности...

— Господи,— сказала Мария и, зажмурясь, прислонилась переносицей к скрещенным на руле рукам,— какие мы все несчастные...

Он молчал, хмурясь. Потом она сказала, всматриваясь в его лицо:

— Господи, как я тебя люблю. Случись что... и я тоже умру...

И глаза ее лучились влажным теплом ему в глаза, вливались, струились выражением вины, тихого запоздалого покаяния, а он через силу стал целовать ее длинные брови, ее моргающие, соленые от слез ресницы, которые во время похорон он видел разительно черными, опущенными, набухшими, и охрипшим голосом говорил ей не то, что должен был сказать:

— Я не знаю, почему все так случилось, Маша.

Но было иначе: тогда он ничего не ответил ей, не нашел воли поцеловать подставленные губы, видя, как моляще, виновато и бесправно светились ее глаза, и плохо слышал голос Марии, а где-то рядом нарастало завывание мотора, прозвучал грубый сигнал объезжавшей их лопатинской машины, которая сразу начала набирать скорость по проселку между полей, качая на заднем сиденье съеженную за стеклом, жалкую и старческую фигурку Эдуарда Аркадьевича...

Голова была еще ясной, димедрол едва действовал, и Васильев чувствовал неуловимый озноб ровной тоски, как и в тот печальный день, подавленный искренностью Марии, ее вырвавшимися в машине словами («Господи, какие мы все несчастные!») и ее робким, неулыбающимся сквозь слипшиеся ресницы взглядом, пытавшимся облегчить и поправить случившееся между ними, когда у обоих уже не было сил.

И в дрёме, откидывая на подушку голову, он подумал о димедроле: «Слава богу»,— и скоро забрезжило круглое, заросшее камышами лесное озерцо, окруженное глухим лесом, но сплошь розовое в закатном свете, угасавшем над зубчатыми вершинами елей. Потом все вспыхнуло ярчайшим летним утром в уральском городке (куда он увез ее), и почему-то снизу (будто плыл под ними) он видел мокрые доски купальни, голубые щели, пронизанные сверху припекающим солнцем, а ласковая, светлая до гальки вода хлюпала, обмывала еще прохладные, заплесневелые бархатной зеленью мостки, и пахло чистой рекой и сочными прогретыми лугами... И, оказывается, все это летнее, утреннее было радостно связано с Марией, с ее загорелым, крепким телом, пахнущим солнцем и свежестью купальни. Но было жаль,

что его возвращение в то послевоенное лето промелькнуло так быстротечно, обманчиво, как обманчива была почти прозрачная тающая глубина в ее, казалось, озябших от долгого купания глазах, когда она лежала в траве и, кусая губы, глядела мимо него в высокую синеву неба, а он навсегда запомнил запах ее шоколадных плеч в сенокосном аромате млеющей травы, влажный, речной вкус ее губ и ее невнятный шепот: «Зачем же, зачем?..» И это издали возникшее слово цепочкой стало вращаться впереди, опускаться в зыбкую пустоту, и нечто расплывчатое, темное тревожно плавало там на черных крыльях перед глазами. А он хотел понять, откуда пришла сейчас мешающая мысль, зачем она так навязчиво повторялась, неспокойно выскальзывая из тьмы и ускользая во тьму целой фразой, которую ловила и запоминала его память:

«Мы несчастны, потому что видим только поверхностный слой жизни...»

«Кто и когда сказал эту фразу? Щеглов? Илья? Лопатин? Кто недавно говорил о смысле жизни?» — хотел сообразить Васильев во сне и в то же время как бы наблюдая себя со стороны в этом мягко окутывающем его сновидении.

И он увидел маленький старинный городок с бело-розовыми стенами древней крепости, с башнями, с лазоревой рекой вокруг стен и деревянным мостом на окраине, под которым четко стояли в воде нежнейшие облака, городок весь полевой, со сладким деревенским воздухом, обещающим радость, любовь, покой, безмятежное наслаждение простотой жизни. С ощущением томительного блаженства он чувствовал этот чудесный, ничем не тронутый городок, куда приехал зачем-то, и до необыкновенной ясности видел его силуэт, купы садов, мирные крыши, купола над рекой, видел и одновременно спал на гостиничной кровати в большом провинциальном номере, пропахшем тесовыми полами, и думал с тихим восторгом:

«Как хорошо вечно жить в таком городке, в такой любвеобильной тишине и несуетливом покое. Но мне придется уехать отсюда, увозя чувство милого прошлого, молодой любви, тоски вот по такой русской реке, теплому небу и белым облакам, по вот этому существующему где-то блаженству... ведь здесь сама явь радости».

Затем очень громко раздался стук двери, послыша-

лись грузные шаги в соседнем номере, звук одежды, похожий на вязкий шелест прорезиненного плаща, и через стену проникло мученическое, хриплое мычание вместе с бегающими шагами незнакомого человека.

«Скорее, скорее, скорее!..» — вскрикивал он горловым голосом, и явно было, что человек за стеной сходит с ума, мечется по номеру, тяжелый, неодолимый, лохматый, в плаще, в сапогах, отбрасывая на своем пути мебель, мычит по-звериному, обуреваемый каким-то неистребимым проклятьем: то ли любовью, то ли страхом, то ли преступлением.

И внезапно почудилось: все смолкло там, а кто-то стоит в комнате Васильева у изголовья его кровати, уже раздетый, в одном сереющем в темноте нижнем белье, стоит напряженной плоской тенью, чтобы сделать затаенное, страшное с кем-то другим, кто еле различимым силуэтом вошел следом в номер (как они попали сюда сквозь закрытую на ключ дверь?), и Васильев, охолонутый ужасом, не поворачивая головы, не открывая глаз, хорошо видел рядом этого плоского человека у самого своего изголовья, его длинное сереющее тело, его затемненное, длинное по-лошадиному, без губ и глаз лицо — затемненное удлиненное пятно с выражением немой угрозы.

Ему надо было подняться немедля. Ему надо было молниеносно вскочить на кровати, чтобы предупредить чудовищное, нечеловеческое преступление, что готовилось произойти здесь с ним, но мутная дьявольская сила сдавила его в колоду, и он не смог даже шелохнуться, перевести дыхание.

Когда же наконец, как в обморочном переоборении, с ватным, застревающим криком: «Кто здесь?» — он рванулся на постели, ожидая увидеть у изголовья человека и подробно разглядеть его безглазое, безгубое лицо, в номере никого не было. Везде шуршал ночной сумрак. И, придвинутая к изголовью его кровати, пусто темнела чья-то вторая кровать. И ползли тени по углам клубящимся туманом...

«Слава богу, это только приснилось мне,— весь облитый потом, подумал Васильев, сознавая, что во сне видел второй сон, который был продолжением чьей-то всплывшей из памяти фразы, не имеющей никакой связи с маленьким бело-розовым городком, его стенами

древних крепостей, радостными облаками в реке и длинной фигурой человека без лица у своего изголовья в номере гостиницы,— запомнить, хочу запомнить этот сон? Но где же тут разумное? — продолжал он думать во сне, ворочая голову на овлажненной потом подушке.— Кто объяснит, почему так безумны, так тяжелы были его шаги за стеной, его мычащие вскрики не то угрозы, не то страдания, его резиновый отвратительный шелест плаща! Я боялся помочь ему, он был чужим мне, значит, я виноват перед ним. Но кто он, человек с темным пятном вместо лица,— мой враг, убийца, преступник или святой, нераспознанный брат? Ведь мы должны знать друг друга, ведь мы одинаково бессильны перед смертью... Только раз в степи я испытал чувство, равное бессмертию,— веяние полынного ветра, блеск солнца, трава, тысячелетние сухие запахи, безлюдье — и ты как трава вокруг, обласканная солнцем... И только блаженное ощущение, что именно ты травинка этой травы или одинокий теплый камень на холме, частичка прекрасного мира,— и вся философия. Да, вот оно, счастье: и мне тогда хотелось сделать этот выбор. Но был ли он по мне? Я искал другой смысл во всем. И зачем? Не искушение ли — моим человеческим бессилием познать тайну правды и красоты времени? Не отсюда ли эта повторяющаяся у меня мука вины, тоска и сожаление о том, что весь мир висит на волоске, что исчезнет что-то главное? Что исчезает? Доброта? Вера? Доверие и жалость друг к другу? Нет, не красота спасет мир, а правда равной неизбежности и понимания человеческой хрупкости каждого. Всех. Не сила, а трагическая слабость всех перед смертью. И здесь ничто не поможет. Ни талант, ни слава, ни положение. Ничто. Илья сделал свой выбор в сорок третьем году, чтобы выжить... А я после войны выбрал свой путь в искусстве к вершинам тщеславия через смирение: работать, работать, работать. Как одержимому. Значит, я был трудолюбив и удачлив — это что, счастье? Смысл моей жизни? А что же есть смерть? Самоисчерпаемость? Нет, Илья не исчерпал себя... Неужели смерть — тоже выбор, опыт вселенской силы, которая проводит свой эксперимент над человечеством и мешает познать истинный смысл жизни? О чем я? О чем я думаю, что я хочу осознать и объяснить? Имею ли я право? Я сплю и понимаю, что думаю во сне и

переступаю какую-то страшную грань, за которой начинается бездна... Вот отчего мне душно и хочется плакать, а нет слез, и горько как-то давит... Что я хочу понять? Сделанный Ильей выбор? Марию? Викторию? Себя? — думал Васильев с закрытыми глазами, зная, что мысли были сновидением и вместе такими реальными, осязаемыми, как будто он плыл в поднебесном звездном пространстве ночи под контролем чужого, наблюдательного и жестокого разума, не дающего ему полного забытья.— И все-таки я хочу понять: есть ли единый смысл жизни? И есть ли единый смысл смерти? Неужели я хочу понять что-то запредельное, мистическое, непознаваемое? Нет, не волю придуманного бога, а высшую силу вселенной, ее разумную энергию, что, может быть, проводит над нами опыты, как убежден был Илья. Неужели она обманывает нас и правдой, и ложью, глупой надеждой на вечное здоровье, на помилование смертью и испытывает даже умопомраченной любовью... И разбивает общность духа. Так ли это? Но если все так, то нет единого смысла жизни и нет единого смысла смерти. Значит, на земле тысячи смыслов и тысячи выборов — и что же тогда? Может быть, поэтому я замечал, как логична и красива ложь и как неуклюжа, нелогична правда. Но невозможно согласиться с этим и невозможно сделать выбор второй моей юности и второй моей судьбы, потому что это единственное и началось давно в другой сказочной жизни на другой счастливой планете, где был прекрасный смысл всего мира — в бессмертии фиолетовых студеных вечеров в Замоскворечье и юной бессмертной прелести Марии...»

Но тогда, очень и очень давно, была зима, непроглядные бураны, заносы на трамвайных линиях, жесточайшая стужа, а он томительно подолгу ждал ее вечерами возле деревянных ворот, космато залепленных многодневной метелью, часами мерз на углу в переулке, который из конца в конец сумеречно синел огромными сугробами, и сыпалась, сверкала изморозь в конусах света фонарей. Она, улыбаясь ему, сияя глазами, выходила в белой меховой шапке из дома, царственно брала его за руку, и они бежали по красным квадратам окон своего заснеженного переулка, добегали до

Шлюзовой набережной, окутанной морозным паром, потом катались на заледенелых дорожках вдоль тротуаров близ маленьких магазинов и угловой аптеки на Зацепе, всегда изнутри ярко желтеющей мерзлыми стеклами, обросшими сплошь алмазно переливающимся инеем.

Он помнил, как в этой игре она останавливалась перед ним, по-мальчишески возбужденная, и, смеясь, тянула его к мерцающей ледком раскатанной полосе, с задором предлагая:

— Ты разбегись и попробуй на одной ноге. Ужасно хорошо! Или я разбегусь, а ты стань в конце дорожки, чтоб я не упала!

И он ловил ее в конце дорожки, а она как бы в безгрешной игре весело падала, разбежавшись, прокатясь по льду, ему в объятия, хваталась за его плечи, пар их дыхания смешивался, и он чувствовал под пальто ее грудь упругими бугорками.

Раз в конце ледяной полоски, под самыми окнами аптеки, она с разбегу столкнулась с его грудью как-то особенно плотно и, вся отжимаясь, закинув голову, прикусила губы, а он тогда с туманным головокружением прошептал ей нечто отчаянное и нежное и испугался ее гнева, впервые в этой игре увидев, как исчезало смеющееся выражение на ее лице.

— Да? — пряча подбородок в мех воротника, переспросила она, в то же время ее глаза увеличивались, расширялись, росли, в них блестящими запятыми стояло удивление.— Ты? Меня? Любишь?

До сих пор он до конца не мог объяснить причину той решительности Маши, почему она так вызывающе откинула нагретый дыханием мех воротника и подставила ему улыбающийся рот, говоря прерывающимся шепотом:

— Хорошо. Я согласна. Ты умеешь?

Он наклонился к ее поднятому в ожидании лицу, поцеловал робко и неуклюже влагу ее раздвинутых губ, а она с легкой капризной гримаской сказала еле слышно: «Я замерзла почему-то»,— и, поеживаясь, попросила проводить ее домой.

В молчании они дошли до освещенных фонарем ворот, забитых снегом, и здесь, не прощаясь, ничего не объясняя, она рукой в варежке потянула его во двор своего дома. Он послушно пошел за ней, и только у

двери на втором этаже она зашептала, что мама из театра придет поздно, в квартире же по коридору надо идти на цыпочках, тихонько-тихонько, чтобы, упаси боже, какой-нибудь дурацкий велосипед или глупое корыто соседей плечом не задеть. Она осторожно открыла дверь английским ключом. И, оглядываясь с озорной таинственностью, приложив палец к губам, вскользнула первой в напитанную теплом печей полутьму коридора общей квартиры, по которому они воровски добрались до двери ее комнаты. И тут, вторично щелкнув замочком, она втянула его в сплошную душистую темень, почти горячую с мороза, приятно повеявшую по лицу запахом духов, сладкой ковровой пыли.

— Раздевайся,— приказала она шепотом.

И тотчас вспыхнул свет в середине большого розовато-лимонного абажура, низко висевшего над столом, покрытым красной бархатной скатертью, и он в первый раз увидел эту удивительную комнату, где она жила с матерью, актрисой московского театра. Все было здесь уютно, старинно, мягко, на полу лежал толстый ковер, пленительно поблескивала фарфоровая посуда за узорчатым стеклом буфета, и необыкновенной величины овальное зеркало висело меж темноватых картин на стене, отражало в своих манящих просторах туалетный столик (заваленный разнообразными флакончиками, костяными щеточками, пудреницами), приоткрытый книжный шкаф и половину широкой софы, зеленеющей бархатом, где удобно и как-то по-восточному покоились плюшевые подушки с лохматыми кисточками.

— А я вот здесь лежу, читаю и думаю,— сказала она, перехватив его взгляд, и с тихим смехом упала спиной на софу, свесив ноги, болтая неснятыми ботами.— Помоги же мне,— приказала она негромко и подозвала возбужденными глазами, осветившими его прихотью королевской власти.— Расстегни, пожалуйста, и сними боты, если ты рыцарь. Да не так, не так это надо делать, ты порвешь застежки, неловкий какой! — сейчас же проговорила она и капризно оттолкнула его.— Уходи немедленно, вот туда в кресло. Сиди и пока не смотри на меня. Возьми альбом, вон там на тумбочке. Он интересный, там всякие забавные актеры и актрисы двадцатых годов, с кем мама когда-то начинала. Все надутые какие-то и очень серьезные, как будто все на Луну улетать собрались...

И он неловко утонул в кресле, чувствуя, что не может переборить дрожь, сбивающую дыхание, взял с тумбочки увесистый, в бархатной отделке альбом, сурово звякнувший серебряной застежкой. Он наугад развернул альбом на коленях, смутно различил на добротных листах прочный глянец с золотым тиснением фотографий — солидные, бородатые, чистоплотно бритые лица, старинные сюртуки, белые бабочки под высокомерными подбородками, внушительные, дородные фигуры мужчин и женщин в буденновских шлемах на фоне неубранных декораций.

Туманно и невнимательно он глядел на фотографии и в те секунды, завороженно подчиняясь ей, опасался пошевелиться, взглянуть на нее, случайно увидеть, что она делает за туалетным столиком, а когда, наконец, услышал голос: «Пожалуйста, теперь можешь смотреть», и поднял голову, она подошла к нему, чуточку улыбаясь, уже успев что-то женское, колдовское сделать у столика: глаза стали еще больше, страшнее, загадочнее, мохнатые ресницы чернее. Он смотрел ей в глаза, ослепленный, а она продолжала улыбаться, проникая взглядом в глубину его зрачков, словно спрашивала этой длительной улыбкой: «Ну, что, правда, я красива?»

— Иди сюда, оставь в покое дурацкий альбом и эти несносные декорации,— сказала она, вытаскивая его за рукав из кресла, потом засмеялась, повлекла его за собой, садясь на ковер между покрытым бархатной скатертью круглым столом и изразцовой голландкой, от которой обволакивающей волной опахнуло сухое тепло.— Садись вот сюда, здесь будет отлично. Я ужасно люблю сидеть здесь на полу, греться у голландки и смотреть книги. Слушай, у меня есть одна противная книга. Я как-то нашла ее в мамином шкафу. Но там какие-то восточные гаремы и очень красивые женщины, просто красавицы. Интересно, скажи, какая тебе понравится? Ты не покраснеешь? — сказала она с пытливой насмешливостью, кинув ему книгу, и он под ее взглядом, едва удерживая дрожь зубов, начал осторожно листать гладкие, атласные страницы с цветными рисунками, которые были вклеены между текстом под папиросной бумагой. Кажется, это было описание на английском языке мусульманского Древнего Востока, его быта и нравов, и на иллюстрациях изображались беспе-

чально богатые под лазурным небом дворцы, пальмы, танцы крутобедрых полунагих красавиц перед возлежащим на коврах соколиноглазым бородатым повелителем, ленивые позы томных молодых женщин со сливовыми глазами, мечтательно и влюбленно разглядывающих в бирюзовой воде мраморного бассейна отражение узенького вечернего месяца.

— Ну и что же? Тебе кто-нибудь понравился из этих ста красавиц какого-то султана или шейха?

— Вот эта ничего... на ступеньках...— выговорил он, наверно, лишь для того, чтобы не показать жаркое оцепенение, овладевающее им, как дурманный июльский зной, как медовый яд, который она разрешала ему пить в своем присутствии.

— На ступеньках? Покажи, пожалуйста,— серьезно сказала она, на коленях подползла к нему, села рядом на ковре и, стыдливо заслонив глаза растопыренными пальцами, сквозь них совсем кратко взглянула на рисунок.— Глупость! Еще говорит — «ничего»! Что ты вообще понимаешь в женской красоте? Оставь сейчас же книгу, это тебя развратит! Ты лучше — знаешь что? Ты хочешь меня поцеловать, но боишься? Да?

Она с веселой насмешкой выхватила у него книгу, захлопнула, бросила ее в сторону софы, и с замиранием он встретил ее глаза, раздвинутые, огромные, как-то порочно очерненные ресницами; переливчатая радуга страшно приближалась к его зрачкам, и страшно приближались ее улыбающиеся губы, чуть вздрагивая нежными уголками.

Он и сейчас помнил упругую мягкость ее губ, сначала холодных с улицы, еще пахнущих свежим снегом, затем теплых, влажных, то разомкнутых, шевелящихся в скользком неутоленном соприкосновении, то непроницаемо сжатых, как будто в обморочном забытьи она переставала дышать, чувствовать его, будто в этот момент его не было рядом, а она пыталась вспомнить и сравнить что-то тайное, скрытое, не известное ему...

Потом она медленно легла спиной на ковер, ладонью закрыла глаза, сказала слабым шепотом:

— Обними меня так... Ложись же...

И на всю жизнь он запомнил, как лежали они на ковре подле голландки в той уютной, натопленной ком-

нате, где овеивало пряными духами, старинной, тоже душистой пылью бархатной скатерти, свисавшей в тень из розоватого, мягчайшего света абажура, помнил, как у него и у нее стучали зубы, как они оба оглохли в пьяном тумане и уже не слышали ни звуков соседей за стенами, ни дальнего шума трамваев на Новокузнецкой, ни вечернего затишья метели, ни скрипучих шагов прохожих за окнами. Они оба, отделенные от земли, вжимаясь губами друг в друга, плыли в раскаленном и неоглядном звездном мраке вселенной, изнемогая в невозможной телесной близости, жаждая последнего, что должно было сейчас произойти между ними, но страх обоих и ее стыд разрывал, преграждал их сближение и мешал последнему...

В забытьи он с ненасытностью впитывал в себя мучительный вкус ее губ, уже распухших, не утоляющих его, а она, обессиленная, изнеможенная его поцелуями, внезапно с трудом перевела дыхание, легонько потянула его руку к своему бедру, задохнувшимся шепотом попросила помочь ей расстегнуть жавшую на правом чулке пряжку,— и этот шепот ее искристой пылью посыпался из черноты вселенной, золотой россыпью мелькнул над ними, и ему почудилось на миг — знойной силой понесло, повлекло их обоих в пылающий хаос на край пропасти, где все кончалось, гибло во мраке и все начиналось заново в жарком светлом огне...

— Ну, что ж ты... что ж ты...

Он не знал, сам ли сумел расстегнуть пряжку на ее чулке, шерстяном, плотном, еще немного хранившем холодок улицы, только впервые в жизни он увидел так близко обнаженность ее бедра, его женственную полноту, и ощутил телесное тепло ее кожи, сразу покрывшейся мурашками, возбужденно озябшей.

— Ну что же ты... Ну, быстрей, быстрей! — повторяла она, и было в ее словах нетерпеливое, безумное разрешение, но когда он почувствовал ее тело, содрогнувшееся от тихого плача, обжигающего горячими слезами его подбородок, когда решился, наконец, посмотреть ей в лицо, она лежала, стиснув зубы, закрыв глаза, в ресницах ее стояли, накапливались слезы, скатывались по щекам.

А он, ошеломленный тем, что произошло между ним и ею, ее юной открытой наготой, уже не защищенной стыдом, от которого только что у обоих холодели в оз-

нобе зубы, готовый ради мгновения быть с ней пойти на любую казнь и тоже готовый плакать от незавершенной нежности, целовал ее маленькую грудь, как бы омытую летней прохладой утреннего леса, земляничной свежестью, наталкиваясь на ее ослабленно загораживающие пальцы, почти не разбирая ее шепот, ветерком плывший из звездных бездн, и повторял с отчаянной свободой:

— Я люблю тебя, Маша...

— Если бы... если бы узнал Илья, что бы он подумал... Он удивился бы... Правда? Правда?

Вместе с ее голосом над ним окольной стороной проходили тугие порывы поднявшейся к ночи метели, ее хлопающий гул, ветер, ударявший по крышам, по стеклам снаружи, протяжный скрежет мерзлых ветвей во дворе, донесенные поверх заборов издали звонки трамваев, заблудившихся в снегу завьюженного замоскворецкого вечера. А его окутывало домашним жаром голландки, шерстяным запахом согретого ковра, на котором они лежали, в забытьи касаясь друг друга, и было ощущение, что он летит куда-то в бездонное сияние апрельского неба, обещающее вечную весну, бессмертие, любовь навсегда.

— Отпусти меня, отпусти... Я не могу больше. У меня губы уже не шевелятся...

— Маша, я люблю тебя... Ты понимаешь, как я люблю тебя?..

В полночь он вышел в ненастный переулок, мокро хлестнувший пресным холодом, колючестью вьюги по разгоряченному лицу. Фонари, опутываясь крутящимся дымом, горели белыми пятнами. Он взглянул на окно, розовеющее в снежном дыму, задернутое шторой, где сейчас оставалась она, снова почувствовал вдруг такую ликующую нежность к ней, такую растерянность между бедой и надеждой, такое свое радостное одиночество в окружении этих дымящихся сугробов, заснеженных заборов, мутных фонарей, что неожиданно перехватило дыхание в горле...

Она целую неделю не ходила в школу; но когда он увидел ее на перемене, она отвернулась быстро, лицо было бледным, измученным; затем, вызывающе откинув голову, она подошла к нему, сказала со смехом: «Здравствуй, Ромео, запомни, что никакого свидания с Джу-

льеттой у тебя не было и никогда не будет. Надеюсь, ты благородный рыцарь и забыл все...»

Он ничего не мог забыть, и поэтому боль была долгой, жестокой, непроходящей, порой мучившей его даже на войне.

«Может быть, ради этой боли стоило родиться на свет... Нет, среди тысяч смыслов и выборов есть один — великий и вечный...»

И он застонал во сне, очнулся, открыл глаза, испытывая смутное состояние молодой, неизбывной радости, молодой надежды, той своей бесконечной влюбленности, похожей на счастливую гибель, и спазма сдавленных рыданий мешала ему дышать, как когда-то очень давно, в снежную и метельную полночь его далекой юности.

— Маша,— позвал он ее тихо из темноты, тускло отсвечивающей красками картин, и, не услышав ответа, зная, что ее нет здесь, проговорил шепотом: — Маша, я люблю тебя... Что же мне делать, Маша?..

Стояло глухое безмолвие в потемках мастерской.

За окном влажно шумел и шумел деревьями ветер, по карнизам звонким непрерывным дождем стучала капель, зеленая весенняя одинокая звезда дрожала на мокром стекле, и было три часа самого пустынного и безнадежного времени мартовской ночи.

ВБЛИЗИ И ВДАЛИ ОТ ВОЙНЫ

Почему «Тишина» и «Выбор»? Почему, например, не «Берег» и «Выбор» — они и по времени написания и по некоторым внешним (тематическим и композиционным) признакам ближе друг к другу, в то время как «Тишина» совершенно четко выстраивается в ряд с повестями «Батальоны просят огня» и «Последние залпы»?

Согласимся: возможны и тот и другой варианты, возможны и иные. Все дело, видимо, в том, что повести и романы Юрия Бондарева так внутренне связаны между собой, так пронизаны общею идеей нравственного выбора, что почти в любом соединении, в любой расстановке они корреспондируют друг с другом как части какой-то одной, главной книги.

У Бондарева, кстати, есть свои определения Главной книги, одно из них говорит, что это необычный взлет души и вместе исповедь писателя и его поколения. Это книга самой большой помощи людям, это безоглядная искренность перед миром: смотрите, я раскрыт перед людьми, я воюю и борюсь за добро, я хочу вам помочь...

Не знаю, считает ли так сам Юрий Бондарев, но мне представляется, что все его повести и романы — это части Главной книги, которую он пишет всю жизнь, книги Поколения, которого сейчас уже почти нет,— Поколения павших — защитников Отечества, рожденных в начале 20-х годов. Об этом поколении сказал поэт Федор Сухов: «Нас все меньше и меньше, нас почти никого не осталось...»

За отметкой «почти» — Юрий Бондарев, год рождения 1924-й, фронтовик, защитник Сталинграда, писатель, поставивший своей целью «как можно полнее и подробнее... рассказать о своем поколении», убежденный в том, что в душевном опыте, в сознании, в характере этого поколения запечатлелись все основные идейные, нравственные и психологические драмы глобального катаклизма, каким явилась вторая мировая война.

Не случайно поэтому первый большой успех писателю принесла повесть «Батальоны просят огня» (1957). Это было смелое, неожиданное для военной прозы произведение, в нем, на фоне

смертоубийственной сшибки двух миров, с полной серьезностью, с душевным волнением Бондарев заговорил о человечности и справедливости. Здесь же, впервые, он вывел на авансцену великой битвы ее главных действующих лиц — своих сверстников, своих любимых артиллеристов — капитана Ермакова и старшего лейтенанта Кондратьева. С этой повести вступил в силу важнейший творческий принцип Бондарева: «Написанное должно стать не только твоей правдой, но правдой всех». С этой повести начинается Главная книга писателя, книга Поколения павших. С этой повестью Юрий Бондарев вступает в тень великих предшественников как законный наследник и продолжатель традиций русской классической литературы. Вступает в тень, чтобы светом своего опыта и таланта размыть ее очертания, встать рядом.

Офицеры Юрия Бондарева не однажды возвращают нас мыслью к Андрею Болконскому, Пете Ростову, капитану Тушину, есть в их характерах, в их нравственном кодексе черты общности. В следующей повести — «Последние залпы» — писатель еще ближе подошел к Толстому, вглядываясь во внутренние мотивы поведения, поступка персонажа, подступая к нравственно-философской сущности жизни или, более конкретно, к нравственно-философской сущности войны и отношения людей друг к другу на войне, осмысливая ценность человеческой жизни, изменчивость категорий добра и зла в условиях войны.

Есть ли, может ли быть на войне *добро в чистом виде?* Вот вопрос, который раскрывает содержание внутренней жизни капитана Новикова, молодого командира, воспитанного в традициях революционного гуманизма, видящего в человеке величайшую ценность мира и в то же время вынужденного обстоятельствами то и дело посылать людей туда, «откуда никто не возвращался!».

Можно ли представить себе более драматическую внутреннюю коллизию!

Раз задавшись этими вопросами, воспарив над раскаленной лавой жизни, Бондарев уже и не помышляет о том, чтобы изменить творческое поведение, успокоить взыскующую к истине душу.

Не приходит это успокоение и в «Тишине», первом и при том «мирном» романе Бондарева. Если предприимчивый, ловкий Константин Корабельников довольно быстро приспосабливается к обстоятельствам послевоенного быта с его продовольственными карточками, лимитами, коммерческими магазинами, Тишинским рынком — этим горьким порождением войны с ее нехватками, дороговизной, бедностью,— то Сергей Вохминцев, бывший капитан-артиллерист, человек более тонкой душевной организации, еще не может обрести уверенности в себе, душевного покоя.

Оказавшись дома, в послевоенной Москве 1945-го года, в ми-

лом родном Замоскворечье, он наслаждается тишиной и скромным комфортом мирной жизни, возможностью принять душ, закурить, валяясь утром в постели, смотреть на крошечных котят, на то, как сестра растапливает печку и как уютно потрескивают в ней дрова... Бондарев с такими живописными подробностями, с такой свежестью восприятия все это показывает, как может, наверное, показать тот, кто сам ощутил этот резкий переход от грохота и гула войны, от ее походного быта, ночных тревог, от гибели боевых друзей, от крови и пожарищ к тишине морозного замоскворецкого утра, солнечным бликам на стене комнаты, к теплу и чистой постели.

Но жизнь казалась Сергею неопровержимо прекрасной лишь в моменты тех, долгое время не испытанных им маленьких наслаждений, которые целиком и прочно связывались с мирной жизнью, с детством и навсегда милым Замоскворечьем. Одни они не могли поселить покоя в душе.

«Вечером или особенно декабрьскими мглистыми сумерками, когда фонари горели в туманных кольцах, это чувство полноты жизни исчезало, и боль, странная, почти физическая боль и тоска охватывали Сергея. В доме и во дворе, где он вырос, его окружала пустота погибших и пропавших без вести: из всех довоенных друзей в живых остались двое».

Война, это великое бедствие в жизни народа, преследует людей, так или иначе вовлеченных в ее кровавую орбиту, целые десятилетия, об этом мы сейчас можем говорить, имея горький опыт. Но как же она безжалостна была к нам сразу после ее окончания, как преследовал, внушал ужас ее злобный оскал...

Если Константин счастлив одним лишь сознанием, что остался жив, вернулся из кромешного ада войны и живет ясно и просто, приспосабливаясь к обстоятельствам и не слишком задумываясь над моральными ценностями бытия, то Сергей все еще видит военные сны, терзается от душевного неустройства, не может изжить из памяти великих человеческих потерь и мучается оттого, что не может, не знает, как и чем окупить свое избранничество.

Люди типа Вохминцева, видно, особым знаком мечены, и, конечно, случай сводит Сергея — уже в начале романа — с человеком из войны, с человеком, на его глазах проявившим себя трусом и ставшим виновником гибели многих солдат, но вышедшим сухим из воды, подло обвинив невиновного.

Так, вскоре после ее окончания, война догнала Вохминцева, втащила его в водоворот человеческих страстей, где перемешались чистота и мерзость, благородство и низость, человечность и нравственное мародерство,—втащила, перевернула всю его еще не устоявшуюся, не получившую мирной закалки жизнь и не выпус-

кала из жестких, железных объятий до тех пор, пока, уже почти на исходе сил, не пришлось начинать эту мирную жизнь сначала.

Теперь трудно даже представить, какие трагические узлы в человеческих отношениях завязала минувшая война. Она выявила великую стойкость, выдержку и мужество нашего народа, но она также выпустила из подполья души темные, страшные силы зла. А после своего окончания она еще опустошала души тех, кто проявил слабость, кто не захотел смириться с послевоенными невзгодами и возжелал сразу получить компенсацию за потери военных лет — потери в отдыхе, в любви, в развлечениях...

Война преследует Сергея Вохминцева в образе Уварова, того самого офицера, из-за головотяпства и трусости которого погибла чуть не вся батарея на фронте, а ныне студента, пятерочника, общественника — словом, процветающего по всем статьям человека, удачливого и готовящегося занять видное место в жизни.

После первого же столкновения этих двух людей, после их случайной встречи в ресторане, когда Вохминцев ударил Уварова, а тот постарался избежать объяснения с милицией, боясь разоблачений, после этого психологического и морального поражения нам уже ясно, что Уваров примирился только внешне, что этот человек может терпеливо и долго ждать, но непременно дождется своего часа и не постесняется в средствах, чтобы взять реванш за свое поражение.

Так в конце концов и происходит.

Тишина, как видим, взрывается почти в самом начале романа, она оказалась обманчивой, как тишина перед боем или после боя.

Можно согласиться с Е. Горбуновой: «Роман «Тишина», написанный о мире, в действительности оказался и романом о войне, которая не кончилась не оттого, что память о ней никогда не сотрется, но и потому, что... война продолжалась. Только в новых формах и по новому поводу». И та, минувшая, война настигает героев романа и в 1945-м, и в 1949-м, и в 1953-м годах (эти даты соответствуют времени действия трех частей произведения), но автор после первой же баталии между Вохминцевым и Уваровым переводит ее в психологический ракурс, в ракурс нравственный.

Бондарев сам как-то объяснял, что название романа — «Тишина»,— пришедшее к нему не сразу, наиболее полно выражает мысль произведения, его генеральную (или — руководящую, как говорил Твардовский) идею. Критикой замечено (М. Козьмин), что мотив тишины возник еще в повестях о войне, но, разумеется, в мирное время он наполнился иным содержанием, теперь название вобрало в себя различные оттенки тишины, начиная все-таки от главного — тишина после боя, после четырехлетнего грохота вой-

ны — и кончая молчанием совести, нравственной летаргией, которая тоже ввергает людей в пучину страданий.

Добро и зло, обнаженно противостоявшие на войне, низость, мерзость и высокая человечность, проявлявшиеся там с полной наглядностью в один какой-то критический момент, сразу освещавшие душу, давали понять, кто есть кто. В мирной ситуации критические моменты возникают не так часто и отнюдь не всегда носят бескомпромиссный характер. Кроме того, как зло ведет свою разрушительную работу, облекаясь во внешне пристойные формы, так и добро — истинное добро! — не выставляет себя напоказ. Это не тайная война, она может принимать и открытые формы, но имеет и много подводных камней.

В романе «Тишина» войну добра и зла олицетворяют прежде всего (я не беру в рассуждение второстепенные, побочные сюжеты) Сергей Вохминцев и Уваров. Их развела еще война, развела не по линии фронта, а по различному пониманию долга и, стало быть, по уровню нравственности. В мирной ситуации, в, казалось бы, самой располагающей к взаимному общению и сближению студенческой среде столкнулись два мировоззрения. И поначалу ведь, после бурной первой стычки, Вохминцев и Уваров действительно уживаются в одном студенческом коллективе, происходит такое незаметное, притупляющее нравственные принципы примирение добра и зла, которое — в конце концов — неизбежно должно окончиться торжеством зла, хотя бы и временным, хотя бы и неполным.

Сергей мучительно размышляет об этом своем примирении: «Он искал в себе прежней острой ненависти к Уварову — и не находил. Он не мог определить, понять точно, почему так произошло, почему это недавнее, жгучее незаметно перегорело в нем, как будто тогда, встретив Уварова впервые после фронта, он вылил и исчерпал всю ненависть, и постепенно ее острота притупилась, чудилось, против его желания. Но, может быть, это и произошло потому, что никто не хотел верить, не хотел возвращаться назад, к прошлому, которое было так близко,— ни Константин, ни майор милиции, ни те люди в ресторане, ни все те, кто смеялся, разговаривал теперь в этой комнате с Уваровым; они не поверили бы в то, что произошло в Карпатах. Он спрашивал себя: что же изменилось — время или наша победа отдаляла войну? Или было желание плюнуть на все, что не давало покоя ему, мешало жить? Он еще сопротивлялся, не соглашался с этим, но замечал, как люди уже неохотно оглядывались назад, пытаясь жить только в настоящем, как вот и сейчас здесь...»

В компании молодых людей, собравшихся встретить Новый год, он особенно остро почувствовал это общее желание отрешиться от недавнего прошлого, не вспоминать об ужасах войны. В та-

ких ситуациях нередко даже и те люди, кого прямо задело военное лихо, кто потерял на войне близких, невольно впадали в эйфорию празднества, торжества жизни. Сергею же не давало покоя остро развитое в нем чувство справедливости, тем более, что ведь тут же, рядом был человек, который постоянно напоминал ему своим присутствием о жертвах своего предательства, и он еще раз, уже на встрече Нового года, вступает в открытый конфликт с Уваровым, отказав ему в праве произносить тост — «говорить от имени солдат!».

И в самом деле — другие не знали, а он-то знал, что это право не заслужено Уваровым, что это кощунственно — присваивать себе святое право представлять на празднестве солдат, ибо в земле лежат истинные солдаты, которых он предал, а теперь приравнивает себя к ним, к их подвигу, который оплатили они жизнью. И притом как умеет держаться! Как подает себя! Попробуй, заподозри такого в предательстве, не зная доподлинно обстоятельств дела! И на этот раз Уваров вел себя умно и безупречно, даже по отношению к Вохминцеву сохранил полное внешнее дружелюбие, тем самым внушая окружающим веру в эту безупречность.

Но Уваров, внешне примирившийся с Вохминцевым, затаивший зло под маской дружелюбия, дожидался часа, когда можно нанести удар, когда можно взять реванш за позор своего унижения, он понимал, что новогодний праздник — это еще не тот случай. А случая пришлось ждать довольно долго, но зато, по мнению Уварова, он оказался беспроигрышным. По подлому доносу был арестован отец Вохминцева. Об этом стало известно в институте, а Сергей пришел туда просить об освобождении от летней практики, сославшись на болезнь сестры Аси, скрыв при этом, что отец арестован. Вот тут-то в присутствии прямолинейного Свиридова, секретаря парткома, и декана Морозова и повел на него атаку Уваров. И Вохминцев понял: «это была тихая, беспощадная атака на уничтожение», расчет был сделан безукоризненно, время и обстоятельства выбраны оптимальные.

Вот тут-то в палитре художника снова появляются батальные краски, тут-то мы снова видим — в психологическом аспекте,— как война настигает ее участников. «Было четыре года затишья, звучали случайные редкие выстрелы, устойчивая оборона, белый флаг висел над окопами — расчетливый Уваров выждал удобные обстоятельства, и силы, которым Сергей теперь не мог сопротивляться, окружали его, охватывали тисками, как бывало во сне, когда один, без оружия попадаешь в плен,— немцы тенями касок вырастают на бруствере, врываются в блиндаж, связывают, и нет возможности даже шевельнуться...»

Еще перед этой «атакой», как бы предвидя ее, Вохминцев дрогнул, ответил на особой значимости рукопожатие и улыбку Уварова унизительной улыбкой и непроизвольным фальшивым рукопожатием, вскоре же показавшимся ему самому взяткой за лживый мир между ними... Бывают ситуации, как бы нарочно созданные для торжества подлости. В такую ситуацию — в его нравственном конфликте с Уваровым — попал Вохминцев, и в первой атаке Уварова потерпел полное психологическое поражение.

Он попытался дать бой Уварову на партийном бюро, где разбиралось его «дело» о сокрытии ареста отца, но было уже ясно, что и здесь Вохминцев не добьется успеха. Это была отчаянная контратака с гранатами против пушек и танков, против превосходящих сил противника (Уваров сумел склонить на свою сторону тех, кто имел здесь решающее влияние), отчаянная попытка удержать свои позиции ценою каких угодно потерь. На этот раз поражение было не только психологическим, но и моральным. Вохминцева исключили из партии.

Так, по крайней мере по внешнему сюжету, кончается тихая война между Сергеем Вохминцевым и Аркадием Уваровым, двумя бывшими офицерами, студентами одного вуза, членами одной партийной организации и тем не менее непримиримыми врагами. Справедливость растоптана, зло торжествует.

Мы знаем, какие обстоятельства способствовали в те годы (а это был 1949 год) подобной развязке,— нарушение ленинских демократических норм жизни, кроме, разумеется, превосходного, поистине артистического умения зла рядиться в одежды добродетели.

Но, помимо внешнего сюжета, в прозе Юрия Бондарева всегда ощутимо глубинное течение. Это психологический подтекст, дающий опору нравственным принципам, которые с такою последовательностью и страстью писатель утверждает еще начиная с военных повестей.

Его Вохминцев — это, по сути характера, командир батареи Ермаков из повести «Батальоны просят огня» в его мирном продолжении, это капитан Новиков из «Последних залпов», а потом еще и Княжко — из «Берега» — тоже в их продолжении... Да, он из тех, любимых, персонажей Бондарева, его артиллеристов, его лейтенантов и капитанов, которых отличает высокая человечность, благородство, совестливость, нравственный максимализм. Как ни парадоксально звучит такое утверждение, это подлинные интеллигенты на войне, несмотря на жесточайший характер битвы, несмотря на кровь и смерть товарищей, несмотря на пылкую молодую страсть: она корректируется скорым повзрослением.

Вот почему, прослеживая характер Сергея Вохминцева в ро-

мане «Тишина», сопереживая ему в самые драматические моменты жизни, вникая — вместе с автором — во внутренний мир этого человека, мы не сомневаемся в его конечной победе над Уваровым, в победе справедливости, в победе добра над злом, то есть в моральной победе. К этому ведет и логика характеров, и логика обстоятельств, и лучики надежды, проникающие в атмосферу демагогического угара, лучики понимания и сочувствия Сергею, и его страстное желание освежить, взбодрить себя работой до седьмого пота.

И, конечно, эту веру укрепляют параллельные сюжеты, данные в развитии образы Константина Корабельникова, сестры Сергея, удивительно чистой, прелестной в своем юном максимализме, в своей запальчивой, угловатой непримиримости к малейшей фальши Аси. Если Константин совершает эволюцию от легкого и легко приспосабливаемого скольжения по жизни к ее иному пониманию, к осознанию нравственной ответственности перед людьми, перед обществом за себя, за свои поступки, за Асю, которую он нежно и преданно любит, и любовь сыграла немалую роль в том, что он стал иным, что обнаружил и проявил лучшие черты характера, заложенные в нем, если Ася, расставшись с юношеским ригоризмом, приходит к мудрому пониманию жизни, сохраняя при этом неприкосновенными нравственные принципы семьи Вохминцевых, то в этом мы, читатели, тоже видим конечное торжество справедливости.

Третья часть романа — это отдельная повесть, она таковой и была вначале и публиковалась под названием «Двое». Но она продолжает основную его мысль, его идею утверждения высокой нравственности, противостоящей фарисейству, лжи, лицемерию и демагогии.

Бондарев не приводит своих любимых героев к торжеству справедливости и тем самым не ориентирует на легкую победу, дает понять и нам, читателям, что зло многолико, и хотя ему в новых обстоятельствах жизни все труднее приходится скрывать свою подлую, античеловечную сущность, но только общими усилиями честных людей, их неуступчивым отношением ко всякой лжи, лицемерию, двуликости можно в конце концов побороть его.

После военных повестей в романе «Тишина» Юрий Бондарев как художник предстает как бы в новом качестве, на новом этапе зрелости, уверенным в себе и своих силах. Если в первых повестях кое-где еще можно было ощутить усилия автора в придании отрывку, эпизоду или всему произведению законченности, совершенства, ощутить некоторые психологические пробелы, то в «Тишине» писатель с блеском раскрывает «диалектику души» главных персонажей романа, наряду с дорогими его сердцу бывшими офицерами создает удивительной чистоты, обаяния, скрытой жен-

ственности образ Аси, достигает органичнейшего слияния слова и жеста. Письмо его становится еще более плотным, психологически насыщенным, романное мышление позволяет раздвинуть рамки повествования за пределы сюжета.

С точки зрения не тематической, а именно романной (композиционная структура, сюжетные пересечения, масштаб событий), «Тишина», думается, стала успешной пробой сил и перед первым *военным романом* — «Горячий снег» (1969). В военных повестях Бондарев — баталист и психолог — редко выходил за пределы артвзвода, батареи. В «Горячем снеге» он показывает войну в трех разрезах. Это батарея лейтенанта Дроздовского, штаб армии, которой командует генерал Бессонов, и Ставка Верховного главнокомандующего. Панорама войны (а в основу сюжета положен бой под Сталинградом) таким образом расширяется, с годами и зрелым опытом, новым знанием приходит умение видеть и изображать события мирового значения в исторической перспективе, давать им философское осмысление. Бондарев в «Горячем снеге» — не только писатель-баталист, писатель-психолог, знаток солдатской души, военного быта, это еще и мыслитель. Человек на войне поставлен у него в «контекст» мировых событий, ибо битва под Сталинградом стала поворотным моментом не только второй мировой войны, но и истории.

Разумеется, в романе «Горячий снег» есть бондаревские артиллеристы (я уже назвал лейтенанта Дроздовского), но принципиально новыми для него являются образы генерала Бессонова, члена Военного совета Веснина и, конечно,— Верховного главнокомандующего. И опять-таки не сами по себе образы высокопоставленных военачальников имеют большое значение (хотя образ комиссара Веснина действительно покоряет своею человечностью, большой внутренней правдой), а их роль в философской концепции романа, где сшибка двух миров осмысливается с точки зрения ценности человеческой жизни, борения добра и зла и нравственной правомерности насилия над злом во имя торжества справедливости.

Роман «Берег» (1975) непосредственно предшествует «Выбору» (1980). Героя этого романа Бондарев ввел в писательскую среду. Нельзя, разумеется, при этом отождествлять образ писателя Никитина из «Берега» с его автором, писателем Бондаревым, но, как часто бывает в литературе, многие дорогие автору мысли он доверяет наиболее близкому ему персонажу. И Никитин в романе Бондарева действительно близок автору, это легко почувствовать и понять, читая произведение.

Некоторые критики, анализируя роман «Берег», выделяют из него военные эпизоды, считая их высшим достижением писателя. Надо отдать должное, возникающие в памяти Никитина эпизоды

минувшей войны, уже в ее последней фазе, раскрывающие высочайшую — до самопожертвования — человечность советского воина в образе лейтенанта Княжко, относятся к лучшим страницам современной прозы. Но в этом романе, мне думается, нельзя не видеть и остросовременных проблем — поисков путей, которые бы помогли преодолеть вражду и недоверие между людьми, народами и государствами, помогли утвердить веру и надежду людей на лучшее будущее, помогли утвердить социальную справедливость. Эти проблемы находят художественное воплощение в сюжетных перипетиях, связанных с поездкой Никитина в ФРГ, в диалогах, в столкновении характеров и в самих характерах основных персонажей. И надо, видимо, особо отметить, что актуальность у Бондарева ни в какой степени не конъюнктурна, она теснейшим образом связана с фундаментальными (а чаще мы называем их вечными) вопросами человеческого бытия.

Метафорически емкое название дал Юрий Бондарев роману «Выбор» (впрочем, как и всем предыдущим крупным произведениям). Его герой художник Васильев свой главный выбор в жизни сделал. Писателя занимает жизнь Васильева в искусстве, осложненная в последнее время нравственным и творческим кризисом. Это образ сложный, ибо в нем как раз и сосредоточен клубок нравственно-философских идей произведения, в нем и происходит драма борющейся души, традиционная для русской классической литературы, он и бьется над вопросом: что же есть выбор двадцатого века, в чем он, каков он?..

Угнетенное состояние, в котором мы застаем Васильева, все время приходит в противоречие с эпикурейски-праздничным разливом жизни за стенами мастерской, квартиры, гостиницы, Бондарев рисует ее щедрою кистью и с наслаждением. Пожалуй, он не упускает ни одного подходящего случая, чтобы показать торжество этой внешней и общей для всех жизни. И особое место в этой живописной панораме занимает Замоскворечье, которое у Бондарева прекрасно в любое время года. Он пишет его с таким лирическим самозабвением, с такою ностальгической верностью, будто впервые объясняется в любви. Мы помним Замоскворечье по роману «Тишина», помним с его тихими переулками, обжигающим декабрьским морозом, инеем, солнцем, сверкающим чистейшей белизной снега... Мы увидели его тревожной, опасной осенью 1941 года. Теперь же, сопровождая Илью Рамзина, своего друга детства, к матери, Васильев до сладостной истомы вспоминает, как здесь, в Вишняковском переулке, перед войной, весенними утрами тепло, сладко пахло новоиспеченным хлебом из булочной, какие были уютные зеленые дворики, столетние липы, какая тополиная метель бушевала в конце июня...

Высокое доверие к жизни, ее заданному, изначальному, естественному ходу Бондарев выказывает в любых, самых порою драматических обстоятельствах, достигая художественного эффекта его контрастностью, несоответствием событиям, которые изображает. Так не раз было в его военных повестях, в романе «Горячий снег», в романе «Берег», так — особенно эмоционально и пластически выразительно — выписана картина, предшествующая необычно напряженному и драматическому эпизоду в «Выборе», «роковому часу», картина выгаданного артиллеристами опасного «перемирия» с противником.

Эйфория этого короткого «перемирия» прерывается гибельным хаосом ночного боя, окружением, позором отступления оставшихся в живых...

Юрий Бондарев еще «Тишиною» решительно опроверг тех критиков, которые прикрепили к нему бирку «военный писатель». Он вышел за пределы военной темы эстетически вооруженным и теперь уже показал, что ему как художнику подвластно отображение разнообразного опыта, разнообразных сфер человеческого бытия, человеческого духа. И в «Выборе» есть прекрасно написанный военный эпизод, но все же роман написан не о войне, здесь скрещиваются два совершенно несхожих характера в поисках истины — нравственной, философской, жизненной. Автор романа все время подводит читателя к мысли о бескомпромиссности выбора и ответственности за его последствия и в то же время показывает, какие невероятные сложности — внешние и внутренние — встают перед человеком, делающим этот выбор в жизни. Конечно, военный эпизод имеет огромное значение и для понимания характеров главных персонажей и для понимания сложности выбора.

Илья Рамзин — новый тип в галерее бондаревских персонажей. Он привлекает внимание не только сам по себе, но еще, во многом, и как антипод Васильева. Они и показаны автором в трех временных отрезках практически рядом — в юности, на войне и в пору зрелости, когда приходит время подводить жизненные итоги. Илья в юности был более предприимчив, напорист, решителен, уверен в себе, ему как бы от природы предназначалась роль лидера, он культивирует в себе физическую выносливость, силу, грубоватое мужское достоинство. Володя Васильев, как правило, находится в тени, но он натура более тонкая, чувствительная, менее приспособленная к жизни.

Собственно, эти же черты характера обоих проявляются и на войне — властная сила и уверенность Рамзина и некоторая вяловатость, но душевная порядочность и честность Васильева, который не щадит себя ради того, чтобы защитить своего друга перед командиром полка. И кстати говоря, в последний момент, ос-

тавшись вдвоем с Калинкиным, уже в тылу врага, Васильев словно выходит из тени и действует решительно и смело.

И вот встреча через тридцать пять лет. В первом же разговоре в Венеции со своим бывшим другом Рамзин — даже с некоторым вызовом — признается, что тогда, в кризисной ситуации, зубами и ногтями держался за жизнь. И это тот самый Рамзин, который днем раньше отчаянно дрался с врагом, вел стрельбу из орудия прямой наводкой, когда в каждую секунду мог быть сражен пулей или снарядом. Значит, в нем произошел какой-то психологический сдвиг, ведь в предсмертном письме он сделал признание: «...Лазарев был моим роком, и я вынужден (зачеркнуто), чтобы выжить в плену» (Речь идет о старшине Лазареве, бывшем уголовнике, с которым у Рамзина произошла стычка и который, ненавидя, подло оболгал его перед командиром полка.)

Различные догадки, которые приходят в голову, так или иначе проистекают от характера Ильи Рамзина, от его *экзальтированной страсти к жизни и непомерного честолюбия* и того унижения, которое он испытал за последние сутки перед пленением. «Я был честолюбив, но судьба не была милосердной»,— сказано в предсмертном письме. Это так. Не столкни судьба Илью с майором Воротюком или не подставь на его пути что-нибудь похожее по жестокости и бессмысленности, и он — с его честолюбием, командирской выучкой, бесстрашием — мог бы совершить подвиг, и жизнь Рамзина могла бы пойти совсем по иному руслу, ведь и Васильев считал, что Илья должен был бы быть любимцем жизни. Но при этом, видимо, надо иметь в виду, что экзальтированная страсть к жизни (как болезнь) и непомерное честолюбие могли и не в столь экстремальных условиях спровоцировать его на непредсказуемый поступок.

Рамзин не пошел служить к генералу Власову, не стал военным преступником, но выкарабкался на поверхность жизни, пройдя все унижения и, разумеется, не без уступок своей совести, чтобы на финише сказать: «Сейчас я ценю жизнь не дороже ломаного гроша»,— чтобы, ощутив трагическое одиночество, сделать свой последний выбор — добровольно уйти из жизни и быть похороненным в родной земле. Это и кладет трагический отблеск на судьбу Ильи Рамзина, человека с хорошими задатками, но сломленного жизнью, не выдержавшего ее беспощадного, убийственного напора.

В пору поздней человеческой зрелости, когда они встречаются в Венеции и затем в Москве, образ Васильева уже не теневой, он — в центре внимания (и сюжета), и пойди Бондарев по вполне логичной и потому сравнительно легкой схеме, он мог спокойно предоставить здесь уверенное лидерство главному герою романа,

который сохранил в себе — с юности, со школьных лет — душевную отзывчивость и честность, который во всех отношениях — в глазах людей — безупречен. Однако увенчанный наградами и премиями, признанный и обласканный критикой художник не только не купается в лучах счастья (это заметил и Рамзин), но находится в состоянии глубокой депрессии.

Поначалу Васильев предстает перед нами в полной бездеятельности, когда притушены две его нерушимые, казалось бы, страсти — любовь к извечной, грубой и нежной красоте природы и сумасшедшая преданность работе. В эти «пепельные» периоды он легко мог внушить себе, что талант его погиб, пропал, и все хвалебные отзывы, участие в выставках и прочее кажутся ненужной суетой, ложью.

Еще об одной причине васильевской депрессии мы тоже догадываемся, а потом и узнаем из его разговора с художником Лопатиным. Это — Мария, жена. Ее нервное возбуждение и появившаяся отчужденность к Владимиру после встречи с Ильей, любовь к ней, казалось бы, такая спокойно-нерушимая, хоть и омрачавшаяся размолвками, а теперь — ревность к прошлому, к Илье, которому тогда, в юности, она явно отдала свои симпатии...

Теперь о Васильеве-художнике. Хотя Колицын, этот функционер от искусства, пусть иронически, в стычке с Васильевым называет его Моцартом, а себя — Сальери, Васильев, конечно, не моцартианского склада художник. Он как раз, скорее, Сальери, великий труженик. Но этот пятидесятичетырехлетний Сальери предстает перед нами разновидностью довольно типичного для литературы русского интеллигента, склонного к рефлексии, к сомнению в самом себе, в жизненном призвании.

В очень напряженном нравственном испытании, каким явилась для него встреча с Рамзиным, Васильев внутренне ни разу не сфальшивил и предстал перед бывшим другом человеком с чистой совестью. Во время разговоров с Рамзиным он старается найти верный тон и более всего — поначалу — хочет увидеть в нем того молодого Илью, которого искренне любил, с которым можно было в огонь и в воду...

Образ Васильева сопровождает рефлексия, предчувствие чего-то неотвратимого, как напоминание, что надо расплачиваться за спокойствие, успехи, признание, за то, что слишком был занят собой. В размышлениях об искусстве как раз и сквозит горечь сомнения. Думая о краткости человеческой жизни, о вечной погоне за прекрасным, он в то же время думает о его хрупкости и недолговечности. Находясь вот в таком состоянии расслабленности, творческого и нравственного кризиса, Васильев чувствует себя больным человеком.

Ясно, что не физическая боль мучает Васильева. Он находится в психостеническом состоянии, его гнетет глухая тоска, жалость к дочери Виктории, к Марии, к покойному отцу, как если бы он жестоко предал их. Именно тогда приходит в голову идея *расплаты*. Расплаты за удачу, ибо «жизнь не терпит одного лишь цвета удачи. Надо платить за все...» Васильев приходит к мысли, что он «должник равновесия» и, стало быть, «истины и правды». Но в то же время кому платить? Кому нужен его долг?

И тут Васильев подходит к крайней точке своей депрессии — он говорит не только о *бессилии* искусства что-либо изменить в жизни, но и задает такой вопрос: «Кто они, люди? Венцы творения, цари мироздания или раковые клетки на теле земли?»

Чтобы задать себе подобный вопрос, надо пережить большое разочарование. Когда юная Виктория, пережившая страшное потрясение, теряет веру в людей, мы можем понять ее: то первое жестокое потрясение в безоблачной жизни восемнадцатилетней девушки, она еще встретит на своем пути немало достойных людей. Не будем спешить и с осуждением Васильева. В годы войны он был свидетелем таких взлетов духа, самопожертвования, героизма, что этой меры да еще в период нервного перенапряжения, и близко не может выдержать наша обыденность. Не забудем также, что Васильев и сам взваливает на себя крест вины за все это... Тоже типично русская черта.

Итак, рефлексия, связанная с искусством, сомнениями в таланте, предназначении, долговечности прекрасного, началась раньше, до появления Рамзина на страницах романа. С появлением Рамзина она усилилась личными мотивами. И прав, бесконечно прав Васильев, когда говорит Илье, что встречаться им «не имело никакого смысла». Мертвецы не возвращаются. Своим возвращением Илья разрушил то, что было самым прекрасным в их неодинаково сложившихся судьбах,— сказку детства.

Поняли это оба, Васильев и Рамзин, может быть, Васильев раньше, так как Рамзин еще хватался за соломинку, еще пытался вернуть лучшие свои годы, что-то оправдать, искупить... Ощутив тщетность и неестественность, разрушительную инерцию своих попыток, он — в последней встрече с Васильевым — предстает духовным мертвецом. От его охолаживающего душу безверия, от его облика повеяло могильным тленом.

Илья Рамзин сделал свой последний выбор, к которому его привела логика характера. А что же Васильев, какова логика *его* характера, в чем, наконец, заключается философская идея романа, связанная с его образом, с его рефлексией? Сколь бы ни была отрывочна его рефлексия, композиционно осложненная символикой снов, она не лишена внутренней логики. Она — сплошные вопро-

сы. Поиски истины всегда идут через бесконечные вопросы, на которые, как правило, не находится исчерпывающих ответов. Как же трудно, как невероятно трудно среди «тысяч смыслов и тысяч выборов» находить безошибочные, и среди них — один главный.

Один выбор Васильеву кажется бесспорным и единственным — это его юность, его судьба... Но — судьба? Не приходит ли такой вывод в противоречие со всеми предыдущими сомнениями насчет верности пути? Да, вторую судьбу не выберешь, но в руководящей идее романа, в его финале судьба не становится рядом с юностью как понятие, равнозначное по своей непреложной истинности, чистоте, ощущению прекрасного смысла всего мира. Ее упоминание вместе с юностью кажется здесь случайным.

Иное дело, когда «прекрасный смысл всего мира» видится «в бессмертии фиолетовых студеных вечеров в Замоскворечье и юной бессмертной прелести Марии...» Это убеждение, возникшее из толчеи вопросов и неразрешимых противоречий, из мучительной рефлексии, возвращает Васильева в юность, с отчетливой ясностью, с трогательными деталями рисуя сцену интимного свидания с Машей, которая была тогда влюблена в Илью, но в порыве какого-то до сих пор непонятного Васильеву возбуждения отчаянно решилась на близость с ним. Через несколько дней она перечеркнула все радужные надежды Владимира, сказав ему со смехом: «Здравствуй, Ромео, запомни, что никакого свидания с Джульеттой у тебя не было и никогда не будет. Надеюсь, ты благородный рыцарь и забыл все...»

Боль, которую ему причинила Маша, была долгой, жестокой, непреходящей, но это была боль любви. «Может быть, ради этой боли стоило родиться на свет... Нет, среди тысяч смыслов и выборов есть один — великий и вечный...»

Какой же?

«— Маша,— позвал он ее тихо из темноты, тускло отсвечивающей красками картин, и, не услышав ответа, зная, что ее нет здесь, проговорил шепотом: — Маша, я люблю тебя... Что же мне делать, Маша?..»

Это уже не во сне, это — наяву.

Итак, среди тысяч смыслов и выборов есть один — великий и вечный — *любовь.*

Вспомним: у Алексея Толстого в конце романа «Сестры» Рощин говорит Кате:

«— Екатерина Дмитриевна, (...) пройдут года, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только — кроткое, нежное, любимое сердце ваше...»

Ослепительная живая точка в хаосе — сердце любимой женщины. Любовь. Все остальное эфемерно, преходяще. Здесь нет пока

и не может быть равновесия, гармонии. Это — для Рощина, человека, потерявшего нравственную опору в жизни вне личных отношений.

А для Васильева? Для человека, живущего в мире искусства?

Еще вспомним: перед глазами умирающего Жан-Кристофа проходит вся его жизнь — неимоверные усилия юности, ожесточенная борьба за право на существование, радости и испытания дружбы, расцвет искусства, изнуряющий путь к вершинам и поражение в поединке с божеством, осознание предела своих возможностей...

Цитируем Ромен Роллана:

«Тогда ему явилась его возлюбленная; она взяла его за руку, и смерть, разрушая преграды его тела, влила в его душу чистую душу подруги. Вместе они вышли из земного мрака и достигли вершин блаженства, где, подобно трем грациям, держась за руки, ведут хоровод настоящее, прошедшее и будущее. Там успокоенное сердце видит, как рождаются, расцветают и угасают скорби и радости, там все — Гармония...»

Последний порыв к любви, к искусству, порыв на пороге смерти, означает его победу, *победу искусства,* его вечную, не поддающуюся тлену, возвышающую силу, могучее равновесие...

Почему же в Васильеве угасает эта вера в искусство как цель и средство, как цель единичного существования, творчества во имя жизни и средство облагораживающего, одухотворяющего воздействия на людей? Почему остается только любовь? И так ли это вообще?

Писатель апеллирует к *вечным* категориям, из которых наипервейшая — любовь, она дает начало и продолжение жизни. Бондарев убежден, что самое ценное на земле — любовь.

Здесь возникает желание обратиться к небольшому эссе из книги «Мгновения», названному автором «Вопросы». Оно действительно более чем наполовину состоит из вопросов, главный среди которых: способна ли литература взять на себя ответственность за судьбу человека и человеческой нравственности? В этом эссе есть и ответы, имеющие если не прямое, то, по крайней мере, косвенное отношение к философской идее романа «Выбор». Ведь речь здесь идет об искусстве и, в частности, о том, что «только трагическое мироощущение художника может потрясти и обновить душу...» При этом не отрицается полнота жизни, ибо трагическое осмысливается писателем в диалектике развития как «остановленная секунда жизни между прошлым и будущим, между минувшим и наступающим, еще не потерявшим надежду на облегчение».

Силу и призвание художника Бондарев видит в служении людям. «Но для этого,— говорит он,— надобно сойти с борта гибельного неверия на континент человечности...» А «след человека», он

убежден, теряется «в исходном добром разуме, в любви к женщине, а значит — к детям, к красоте сущего, к матери-природе». И нам уже ясен ответ на вопросы, заданные в конце: «Что больше объединяет людей — любовь или искусство? Не синонимы ли это?»

В финале романа Васильев не говорит и не думает об искусстве, вторжением в его жизнь Ильи и его кончиной он отвлечен от живописи, от своего призвания, его рефлексия погружена в нравственно-философскую сферу, в которой искусству как будто бы не остается никакого места. Значит, любовь, только любовь оказывается единственным смыслом и движителем жизни? Может быть, и Бондарев ушел от «Вопросов», может быть, и он (как его Васильев) разуверился в жизнепреобразующей силе искусства?

Вчитаемся повнимательнее. Сон и сон во сне. Воспоминание о первой интимной встрече с Машей в юности. Весь финал романа — какой-то сгусток противоречий, пережитого, перечувствованного, и — пробуждение от сна, явственно прозвучавшая мелодия «молодой, неизбывной радости, молодой надежды».

Васильева терзает сомнение не в верности выбора (искусства), а в верности пути в искусстве, достижения цели, нравственного принципа («к вершинам тщеславия через смирение...»). Тогда и искусство может уйти из его жизни не только как профессия, но и как призвание, как жизнетворящая сила, поскольку она питается любовью. Любовью к женщине, и значит — к красоте сущего, к людям. Так не должно ли искусство обрести более глубокий смысл и красоту после сильных нравственных потрясений, пережитых Васильевым?

Утверждая один смысл, один выбор как «великий и вечный» — любовь, Бондарев утверждает в романе «Выбор» и другой, тоже объединяющий людей, смысл-синоним, выбор-синоним — искусство, нравственное в своей первооснове. Таким образом он отвечает и на вопросы «Вопросов», и на главный из них — способно ли искусство (литература) взять на себя ответственность за судьбу человека и человеческой нравственности.

Элементарным, недискуссионным этот вопрос может показаться тому, кто никогда не истязал себя перед чистым листом бумаги или загрунтованным холстом, кто постоянно и прозрачно ясен и кто больше любит себя в искусстве, а не искусство в себе. Лев Толстой, написав повести «Детство», «Отрочество», «Юность», «Семейное счастье» и «Севастопольские рассказы», решил, что как писатель он ни на что не годен и что писать такие повести, какие он писал,— совестно. Это мера совести и понимания ответственности художника за судьбу человека, к которому обращены его творения. И тот художник достоин восхищения, который исчерпает свои творческие ресурсы до конца. Владимир Васильев не исчер-

пал своих нравственных и творческих ресурсов, ему еще предстоит это сделать.

В представленных здесь романах, как и во всем творчестве, Юрия Бондарева увлекает исследование характера человека, внутренние мотивы его поведения, даже какого-то не очень значительного поступка, его увлекала и продолжает увлекать тайна человеческой души — борющейся и смиренной, страждущей и потухшей, злой и доброй, затаившейся в потемках и открытой для любви и взаимопонимания. Глубокий психологизм, строгий нравственный спрос к человеку — отличительные особенности таланта писателя. Юрий Бондарев наследует их вместе с другими лучшими традициями русской классической литературы.

Ал. МИХАЙЛОВ.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Васильевич БОНДАРЕВ

ТИШИНА. ВЫБОР

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1983, 736 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» Ю. Алексеевой

Редактор В. Полонская

Художественный редактор И. Смирнов

Технический редактор В. Новикова

Корректор Е. Анищенко

Сдано в набор 6.07.82. Подписано в печать 1.02.83.
Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура латинская.
Печать высокая. Печ. л. 23,00. Усл. печ. л. 38,64. Уч.-изд. л. 41,00.
Тираж 265 000 экз. (2-й завод 100.001 — 265 000 экз.). Зак. 2—37.
Цена 2 руб. 80 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Полиграфкомбинат ордена «Знак Почета» издательства
ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Киев-119, ул. Пархоменко, 38—42.

В 1983 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Адамович. Хатынская повесть. Каратели.

А. Айвазян. Треугольник. Повести. Рассказы. Перевод с армянского.

М. Алексеев. Ивушка неплакучая. Роман.

Ф. Алиева. Корзина спелой вишни. Романы. Перевод с аварского.

Ю. Бондарев. Тишина. Выбор. Романы.

Д. Досжанов. Шелковый путь. Роман. Рассказы. Перевод с казахского.

Т. Зульфикаров. Мудрецы. Цари. Поэты...

Р. Иваничук. Манускрипт с улицы Русской. Романы. Перевод с украинского.

О. Иоселиани. Звездопад. Романы. Рассказы. Перевод с грузинского.

Ю. Казаков. Рассказы.

Л. Карелин. Ступени. Романы.

А. Ким. Собиратели трав. Повести.

В. Митрошенков. Эффект Доплера. Повести.

Ю. Трифонов. Нетерпение. Роман.

Эстонские повести.